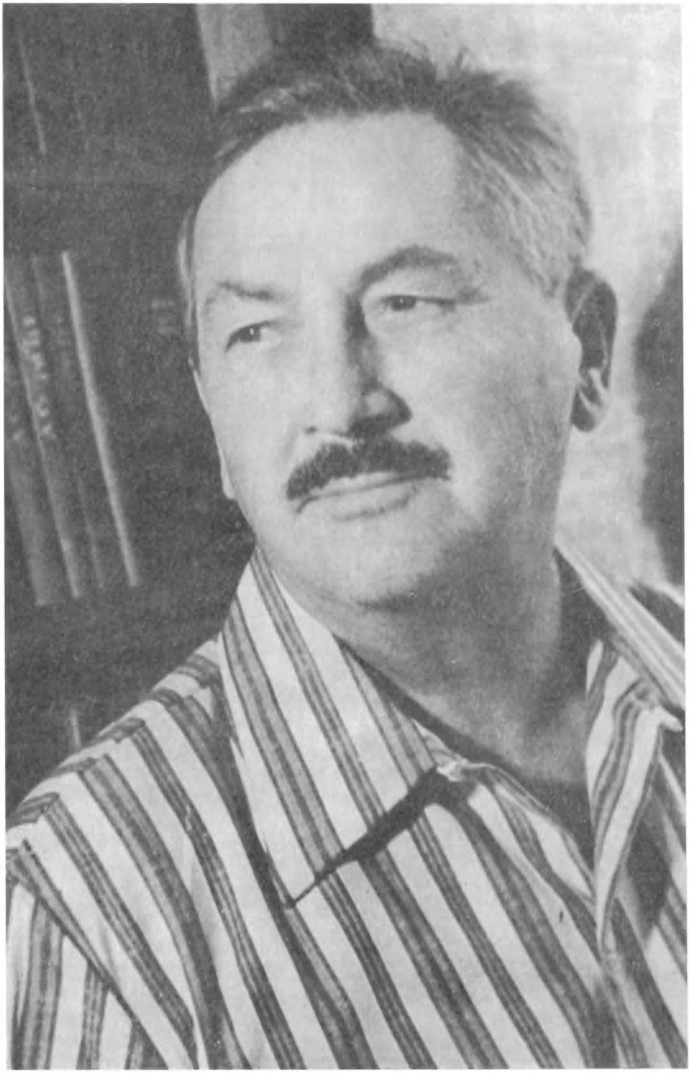
Родительский дом



Сергей Воронин



Сергей
Воронин

Родительский дом

Повести и рассказы

МОСКВА • 1974

Р2
В75

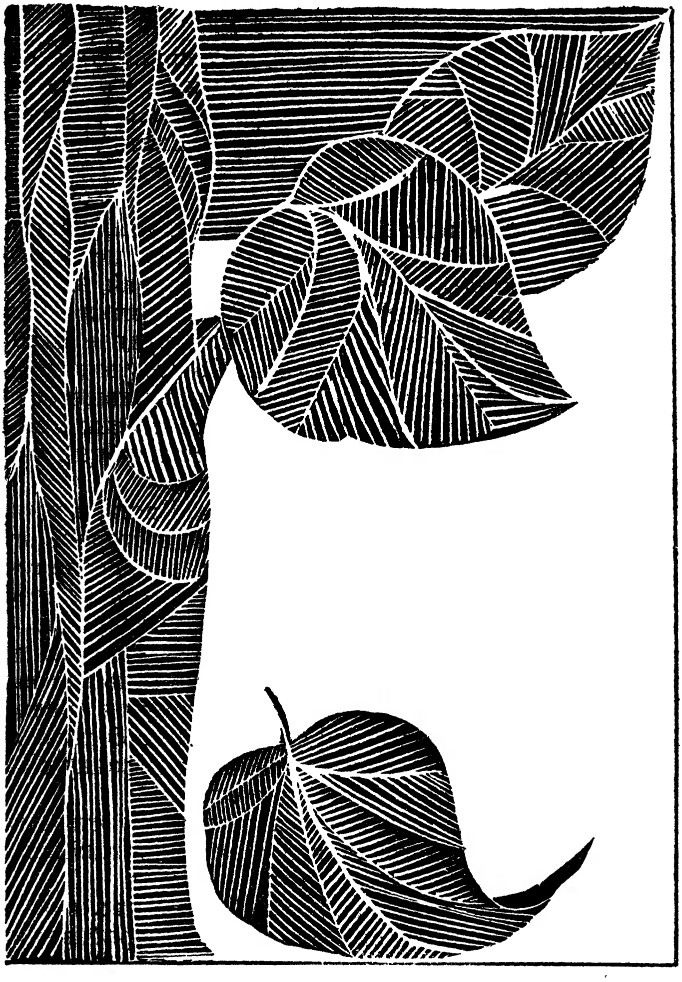
Воронин Сергей Алексеевич.

В75 Родительский дом. Повести и рассказы. М., «Современник», 1974.
558 с. 1 л. портрета

В настоящем сборнике представлены повести «Ненужная слава», «Деревянные пятачки», новые повести «Заброшенная вышка» и «Последний меценат» и рассказы, написанные в разные годы.

Проблемность — одна из основных черт творчества Воронина. О чем бы ни говорил писатель — читатель всегда соприкасается с раздумьями автора, с острыми вопросами, с морально-нравственными проблемами.

В $\frac{70302-172}{М\ 106(03)-74}$ 46—74 Р2



Повести

НЕНУЖНАЯ СЛАВА

1

Никогда не скажешь заранее, что принесет любовь. Малахову она принесла столько горького, что не доведись никому испытать! Но эта горечь явилась много позднее того дня, когда он впервые увидел Екатерину Романовну Луконину — Катюшу, как ее запросто называли свои.

В тот год шла война. До села Селяницы, растянувшегося по берегу Волги на три километра, не долетали вражеские самолеты, не доносился гул орудий, но все же война чувствовалась: почти не осталось мужчин в колхозе, все чаще раздавался бабий плач, все труднее было подымать землю — МТС не работала. Но что удивительно: земля, словно понимая всю тяжесть свалившегося на страну бедствия, приносила невиданно богатые урожаи, каждый куст картофеля давал по ведру клубней, травостой был такой, что не продиралась коса.

Малахов приехал в колхоз за сеном. Часть, в которой он служил, стояла много ниже Селяниц, в стороне от заливных лугов. В эту часть он попал недавно, после госпиталя. На первых порах был рад тому, что может свободно ходить, что-то делать, хотя после рева снарядов, грохочущих танков никак не мог свыкнуться с покоем далеких от битв деревень, с людьми, которые больше говорили о своих делах, нежели о войне. Поэтому он приехал в Селяницы хмурый. Его раздражали куры, беспечно купавшиеся в пыли, мальчишки, тащившие корзину с плотвой, две женщины, смеявшиеся у колодца.

Он остановил коня и спросил тем отрывистым голосом, каким всегда разговаривал с провинившимися солдатами, где председатель колхоза.

Женщины переглянулись и, улыбаясь, хотя, как казалось Малахову, улыбаться было нечему, перебивая одна другую, ответили, что председатель уехал за Волгу, а если нужна Катюша Луконина, то она, поди-ка, на ферме. И Малахов понял, что после председателя она первое лицо в колхозе.

Справа от села сверкала на солнце Волга, мирная река, ничем не похожая на ту, которая текла мимо фронтового города. Ту бомбили с воздуха, над ее водой носился запах гари, и вся она была продымленная, суровая. Здесь же неторопливо подымалась баржа, на песчаной косе, поджав ногу, стоял высокий кулик, недалеко от него, на берегу паслись гуси.

Вдоль дороги тянулись дома, то покосившиеся, со сдвинутыми на лоб козырьками крыш, то двухэтажные каменные, то обшитые «в елочку», с красивыми, резной работы, наличниками, такими затейливыми, каких еще не доводилось видеть Малахову.

Некогда это было торговое село. Славилось оно картофелетерочными заводами, ветряными мельницами, базарами и престольным праздником, который назывался «третий спас». В гражданскую войну село дважды полыхало от рук «зеленых» — сгорели заводы; словно отбиваясь от огня, отмахали в последний раз крыльями мельницы, мало уцелело домов. Жизнь в Селяницах стала потише. Но все же раз в году воскресало прежнее — буйное празднество «третьего спаса».

В первый день согласие и тишина царили на улицах. Даже самые заядлые недруги, забыв свои распри, стояли в церкви плечо к плечу, размашисто крестились и давали подзатыльники ребятишкам, если те начинали ершиться промеж себя.

Второй день праздника начинался с драки самых маленьких. За них вступались братаны постарше. Потом, поплевав на ладони, вырывали из огородов колья отцы и деды. И начиналось смертоубийство — с ножами, кастетами, гирьками. Единственный милиционер, зная повадки односельчан, забирался с утра в подпол и там терпеливо высиживал до полуночи, пока не стихали вопли.

На третий день все обиды забывались, и жители Селяниц дружно выходили в поле, где уже стеной стояли боровчане, парни и мужики из другого приволжского села. Тут уж баталия начиналась покрупнее. Самое главное было — не дрогнуть, не побежать. Бегущих избивали поодиночке, насмерть.

И опять целый год в Селяницах царили согласие и покой. Пострадавшие залечивали раны, вылеживались. Тех, кого «третий спас» отправил на погост, оплакивали матери, жены, невесты. Но село было слишком большое

чтобы заметить потери, — и жизнь продолжала идти своим чередом.

Со временем нравы в Селяницах менялись. Из армии приходили толковые парни. Они в бога не верили, поэтому в «третий спас» работали. После коллективизации совсем уже отошел в область преданий престольный праздник с его поножовщиной. Какая же могла быть вражда, если «недруги» трудились в одной бригаде, а колхозы стали соревноваться друг с другом. Правда, поначалу соревнование проходило несколько странно, на издевках, если та или другая сторона допускала промашку. Постепенно и это прошло. Сдружились. Начали родниться. Например, Катюша Луконина из Селяниц вышла замуж за боровчанина Тихона Авдеева. Но ее жизнь — это особая линия, а что касается нравов в Селяницах, то они, бесспорно, изменились к лучшему.

Малахов застал Луконину возле фермы. Она стояла, опустив голову, что-то считая на пальцах. На ее груди лежали две тугие косы, и он вначале подумал, что перед ним девушка.

— Предписано получить в вашем колхозе фураж. Прошу дать указание, — не слезая с коня, сказал Малахов и протянул документ.

Катюша, не разжимая на одной руке пальцы, взяла другой бумажку и, шевеля губами, стала читать, в то время как Малахов разглядывал ее. Нет, это, конечно, была не молоденькая девушка, а женщина. Но до чего же красива!

— Не знаю, что и сказать-то вам... У нас и самих в кормах недохватка, — ответила Катюша и неожиданно осветила Малахова яркими синими глазами. Они спокойно смотрели, выражая недоумение.

Нет, таких глаз он никогда не видал. Словно вся небесная синь Волги собралась в них.

— Ладно, — подумав, сказала Катюша, — завтра будет в вашей части фураж. — И, не разжимая пальцев, ушла на ферму.

Малахов поглядел ей вслед, улыбнулся и, ударив коня, помчался по дороге.

Так произошла первая встреча Малахова с Катюшей Лукониной, — встреча случайная и мимолетная. Но что удивительно — не забылась, и стоило Малахову попасть в Н-ский госпиталь после второго тяжелого ранения, как

он вспомнил эту женщину. Может, вспомнил потому, что Селяницы от Н-ской находились в каких-нибудь двадцати километрах. Не так уж далеко. И почему бы еще раз не встретиться с ней?

Катюша получила письмо поздно вечером. Недоуменно пожала плечами: кто бы это мог писать? Читая, она не сразу вспомнила того молодого офицера, который в прошлом году приезжал за сеном. А когда вспомнила, то чуть не всплакнула, представив, как, должно быть, одиноко себя чувствует этот офицер, если ей, совсем незнакомому человеку, шлет письмо. На маленьком листке бумаги он спрашивал о жизни колхоза и говорил, что будет рад получить ответ. Это письмо Катюша не сделала тайной: поговорила с Дуней Свешниковой, подружкой, парторгом колхоза, посмеялась, пожала плечами, не понимая, чего этот офицер вдруг вспомнил ее. И поехала, навязав узел гостинцев от колхоза.

Войдя в палату, она растерялась, не найдя среди раненых того человека, которого видела всего одну минуту. Воздух в палате стоял тяжелый, какой обычно бывает в хирургических отделениях. Некоторые раненые стонали, иные молча сидели на койках. Один, в самом дальнем углу, лежал с забинтованным лицом. В белые щели глядели черные злые глаза. Катюша испугалась, что этот больной и есть тот офицер, и от жалости у нее тоскливо защемило сердце. Но тут же позади услышала кашель, оглянулась и увидела Малахова. Она даже засмеялась от радости, что лицо его осталось неизуродованным.

Малахов не поверил глазам, когда увидел Катюшу.

Серьезным и печальным стал ее взгляд.

Малахов смущенно улыбнулся и сиплым голосом сказал:

— Вы уж извините меня... Побеспокоил я вас.

— Есть о чем говорить, — все больше жалея Малахова, ответила Катюша. Она достала из узла деревенские гостинцы.— Это все наши вам прислали, что б скорее поправлялись, — тихо сказала она. Тут были и масло в банке, и яйца, и молоко, и мед, и пироги, и колобки. — Как съедите, так и поправитесь.

— Разве съешь столько,— засмеялся Малахов.— Всей палатой надо работать неделю.

— Не расстраивайся, поможем, — заверил его сосед с пустым рукавом.

Катюша строго взглянула на него.

— Мед и яйца не трогать,— сказала она и смутилась, поняв, что в палате все одинаковы и ей не следует так сурово отвечать.

— Вы уж скажите своему мужу, может, дома он, что потому написал вам письмо, что никого другого в колхозе не знаю, — сказал Малахов и опять закашлялся.

— Я безмужняя, — просто ответила Катюша.

Малахов не стал допытываться, почему она безмужняя, но на сердце у него сразу повеселело.

Посидев немного и сказав, что проведает его в следующее воскресенье, Катюша простилась.

Когда она приехала во второй раз, Малахов чувствовал себя лучше. Разговаривал сидя. Катюша приписала это живительному воздействию меда и еще поставила литровую банку.

— Вы ешьте. Вам надо много есть. Тогда здоровые будете, — говорила она, открывая тумбочку. Увидев, что все прежние гостиницы исчезли, поняла это, как и следовало понять, — помогли товарищи, и ничего не сказала, только велела сейчас же есть мед.

Малахов уверял, что и от того меда еще не отдохнул, но она заставила его, и он стал есть.

— Ваш мед?— спросил он.

— А чей же? Наш. Колхозный.

— Ну да, я и говорю, колхозный...

В палату свободно вливалось солнце. Было видно, как за окном, вспыхивая, торопливо срываются капли. Шла весна тысяча девятьсот сорок четвертого года. Выздоравливали раненые.

Малахов с восхищением смотрел на женщину. Ему нравились тяжелые девичьи косы. Было в Катюше что-то домашнее и такое открытое, что не надо придумывать разговора. Он начинался сам по себе, как если бы Малахов говорил с близким человеком.

Уходя в этот раз, Катюша сказала, что вряд ли будет в следующее воскресенье — дела много.

— Не беспокойтесь. Поправлюсь — сам к вам приеду,— светло и радостно глядя на нее, ответил Малахов.

Она спокойно выдержала его взгляд. Сказала, что рада будет видеть его здоровым. И ушла.

Он приехал ровно через месяц, с одним вещевым мешком, в котором лежали пара белья, сухой паек да еще

отрез на шерстяное платье. Отрез он купил на толкучке, истратив все полученные за время болезни деньги.

Дом Лукониной был невелик, с узорчатыми наличниками, с крылечком. Перед ступеньками лежал каменный круг — старый жернов. Малахов продернул подошвами по шершавому камню и громко постучал в дверь.

— Входите!— послышался голос Катюши.

Он вошел, улыбающийся, довольный, что видит ее.

— Вот и я! На месяц прибыл.

Эта простота была так необычна для Катюши, что она ничего не могла сказать в ответ. А Малахов уже достал из мешка отрез и подал обеими руками.

— Зачем же это?— спросила она, не принимая подарка.

— В знак благодарности.— И накинул материю на ее плечи.

— Окна-то открытые! — воскликнула Катюша, отступая на шаг от Малахова.— Люди увидят, что подумают!

— Тут ничего плохого нет. Берите...

— Да что вы... Вам и самому деньги для здоровья нужны,— все еще не принимая подарка, ответила Катюша. Но на нее смотрели такие счастливые глаза, что их нельзя было обидеть, и тогда, слабо улыбнувшись, она сказала:— Ну, спасибо, прямо не знаю, чем и отблагодарить вас... Я ничего не готовила.

— А я сыт. У меня тут целый мешок сухого пайка.— Малахов подал его Катюше. Видя на ее лице недоумение, сказал.— Берите, берите! Не в отдельности же я буду кормиться.

И только тут она поняла, что офицер приехал именно к ней. И смешалась: жаль было обижать отказом и никак невозможно согласиться, чтобы он оставался в ее доме.

— Право, не знаю, что и сказать,— растерянно ответила Катюша. И вышла в сени, чтобы успокоиться и все обдумать.

В маленькое окошко виднелся кусок синего неба. В сенях был полумрак. Где-то в темном углу ныл комар, оттаявший в этот теплый вечер.

Катюша приложила к горячим щекам ладони.

Вбежала Олюнька и, не заметив матери, проскочила в избу.

«Нет, его надо в другое место определить,— думала Катюша,— и ему будет спокойней, и мне лучше». Но когда она вернулась, то увидала на столе весь сухой паек старшего лейтенанта, Олюньку с большим куском сыра и самого Малахова, беспечно сидевшего за столом.

— Ты хоть сказала спасибо-то дяде?— сурово спросила Катюша.

— Сказала,— продолжая грызть зажатый в кулаке сыр, ответила Олюнька.— И за конфетки сказала.— Она показала матери в другой руке кучку слипшихся разноцветных подушечек.

Катюша молча оделась.

— Через час приду,— отрывисто сказала она.

— Ладно. Мы тут с Олюнькой посидим,— ответил Малахов.

...Катюша рано потеряла мать и осталась с отцом. Первое время отец крепился, много работал, баловал дочурку. Но потом стал пить. И однажды — тогда Катюше было уже восемнадцать лет — по пьяному сговору выдал ее замуж за сына Прокопа Авдеева — мрачноватого Тихона, жившего в соседнем селе.

Тихон с первых же дней поставил себя так, что он-де осчастливил девушку, женившись на ней. Куражился. Бил ее. Все это кончилось тем, что Катюша убежала в свою деревню. Тихон ворвался к ней ночью, пьяный. Хотел выволочь за волосы. Но отец встретил его кулаками. И Катюша осталась. Вскоре отец умер. Еще один раз пришел Тихон, когда она родила Олюньку, думая — теперь-то вернется. Но и тут просчитался. Катюша выгнала. Тогда ей было всего двадцать лет, но она хорошо узнала цену семейному «счастью» и ни за что на свете не променяла бы свою одинокую свободу на это «счастье».

В Селяницах поначалу посмеивались над ней: что это, дескать, от мужа убежала с дитем. Но со временем злые языки поутихли, а добрые начали похваливать — живет себе скромно, дурного про нее не скажешь, на ферме лучше ее доярки нет. Казалось бы, ничего больше и не надо. О замужестве не думала, хотя знала, что Тихон еще перед войной женился в третий раз. Никто бы не осудил, если бы она вышла замуж.

Прежде чем пойти на ферму, Катюша зашла к старухе Быстроханской. Быстроханская жила одна. Дочки, выйдя замуж, поразъехались. Старик давно умер. Рых-

лая, как оплывшая опара, она скучно доживала свой век. Катюша спросила, не сможет ли она пустить на месяц офицера, которому собирали гостинцы в госпиталь. И, наверно, потому, что хоть какое-то разнообразие войдет в ее дом, старуха оживилась. Но тут же настороженно посмотрела на гостью:

— А сама-то чего не пустишь?

— Да ведь неловко: люди всякое могут подумать.

— И-и, полно-ка, кто тебя осудит? Бабеночка ладная, в одиночестве. Иль больно страшен с виду?

— Красивый,— улыбнулась Катюша и тут же посуровела.— Ну так что, пустишь?

— Да пущу, пущу. Эвон сколь места, жалко, что ли. Про тебя, глупую, хлопочу.

— Ай, говорить с тобой!— сердито сказала Катюша.

Старуха хитро посмотрела на нее.

— Тьфу, до чего ведь я глупая стала. И невдомек... Приходи, Катенька, за всяко просто. А я могу и к соседям уйти на часок.

— Не рада, что и связалась с тобой. Не думаю я ни о чем об этом! И ты свой язык привяжи. Старая, а что в голове держишь.— Катюша отвернулась. «И черт принес этого офицера! Теперь пойдут судачить да рядить»,— подумала она.

Бабка Выстроханская поджала блеклые губы.

— Да уж пускай идет. Мне-то что?

На ферме уже знали, что к Кате Лукониной приехал офицер. И как только она пришла, доярки сразу же обступили ее.

— Ну, приехал. К бабке Выстроханской его определила. Дальше что?— уперев руки в бока, спросила Катюша, и глаза ее потемнели.— В полюбовники, что ль, хотите записать?

— А может, и следовает,— фыркнула Анисья Чурбатова, маленькая толстая доярка.— Помягчеешь тогда, Екатерина Романовна.

— Неужто? Так тебе и помягчею!— И весело рассмеялась.— Чего сгрудились-то? Надо корма задавать...

Как и обещала, вернулась Катюша домой через час. Малахов сидел за столом и помогал Олюньке решать задачу.

— Нет, ты смотри: вот, скажем, бочка. В ней сорок ведер,— говорил он. — Мама твоя взяла из нее пять ве-

дер, я — десять, а ты — еще два. Сколько всего останется в бочке? В уме, в уме решай!

Олюнька наморщила крутой лоб и посмотрела на мать.

— Ты не жди помощи со стороны. Ты давай сама,— засмеялся Малахов.

Катюша повесила фуфайку, сняла платок. До этой минуты все казалось просто и ясно: она скажет про бабку Выстроханскую, он соберет свои вещички и уйдет. Но теперь, когда она опять увидела его исхудалое лицо, ей стало жаль Малахова. Но она пересилила в себе эту жалость и, выждав, когда Малахов освободился и дочка стала переписывать в тетрадку задачу, сказала:

— Не посчитайте за неуважение, Василий Николаевич, но лучше вам жить у бабки Выстроханской. Я уже договорилась с ней. Старуха она обходительная. И чай вовремя согреет и накормит. А я на ферму хожу и за кормами в область езжу. Олюньку и то другой раз к соседям вожу. Какой вам здесь отдых?

Малахов нахмурился. Видно было, что это его огорчило. Медленно надел шинель, фуражку.

— Она тут недалеко живет. Я провожу вас,— виновато сказала Катюша и стала складывать в вещевой мешок продукты.

— Олюнька, до свиданья!— невесело сказал Малахов девочке.— Будьте здоровы, Екатерина Романовна. Жив буду — после войны все равно приеду.— Он сунул в карман папиросы и вышел.

Катюша так и осталась стоять с вещевым мешком в руках. Когда выбежала на улицу, Малахов уже шагал далеко.

Серые, тяжелые облака проносились над землей. Они шли плотно, одно к одному. Шумел над головой в деревьях весенний ветер. С Волги донесся прощальный тоскливый гудок парохода.

2

С этого вечера Катюша стала думать о Малахове. Не раз она ругала себя за то, что так сурово с ним обошлась. Особенно тяготила ее неизвестность. Что с ним? Где он?

И вдруг получила письмо с номером полевой почты. Так и не отдохнув после госпиталя, он ушел на фронт.

И оттуда писал о том, что любит ее и, пожалуй, к лучшему, что не остался в Селяницах. Но она должна непременно ему отвечать. Или уж так не люб, что и ответа недостоин? Может, ее тревожит Олюнька, так пусть не думает — она ему будет как дочь. Не обидит.

Письмо было написано твердым почерком. В конце стояло «с приветом» и подпись, круто идущая вверх.

Катюша несколько раз перечитала письмо. Теперь, когда Малахова не было, поняла, какой это мужественный, открытый человек. Она боялась, думая: что, если за этот месяц, который бы должен Малахов прожить у нее, он погибнет там, на войне? Все это время жила неспокойно, с нетерпением ожидая от него писем, аккуратно на них отвечая, ни слова не говоря в ответ на его любовь. Ничего не обещала в будущем, желала лишь одного ему — жизни. А Малахову и этого было достаточно, чтобы с еще большим жаром писать ей о своей любви. Она терялась от таких признаний. В ее письмах сначала робко, потом все сильнее зазвучала любовь, пока наконец она не написала, что ждет его, встретит с радостью — лишь бы скорее кончилась война.

Но этому предшествовало одно обстоятельство. В письмах Малахов нередко упоминал свою мать, говорил, что пишет ей о Катюше. И она решила съездить к матери, поговорить с ней и разом покончить все свои терзания и сомнения. Если вправду он пишет матери, то это всерьез любовь, и тогда будь что будет, но она ответит ему согласием. И, выговорив у председателя отпуск, определив Олюньку к соседям, поехала на Алтай.

Мелькали за окном леса, деревья водили на равнинах хороводы, грохотали под вагоном мосты. Пришли и остались позади Уральские горы, потянулись унылые степи. Катюша ко всему, что было за окном, относилась безучастно, и чем дальше уезжала, тем больше задумывалась и уже глупостью считала всю эту поездку.

Приехала она на шестые сутки. Как и на всех станциях, так и на этой было полно народу. Люди спали на лавках, на полу, и сидя и разметавшись, и с детьми и без детей, и горожане и деревенские. И все куда-то ехали, измученные войной, одетые кое-как. «И чего я поехала?— в сотый раз, осуждая себя, думала Катюша.— Лучшего часа не могла найти, как только теперь. И зачем мне с матерью его встречаться? Будто не знаю, как свек-

рови дорожат сыновьями. А тут — нате, возьмите невестку разведенную, да еще с дочерью».

И все-таки пошла. По обе стороны от нее лежали просторные долины — им не было края. А дальше, в синем дыму, виднелись горы. Навстречу Катюше попался человек на мохнатой лошаденке, в войлочном треухе и пестром стеганом халате. За ним ехала на такой же низкорослой лошаденке женщина и курила трубку. «Господи, какие люди-то диковинные»,— подумала Катюша, шагая по сухой, крепкой дороге, и на сердце стало еще тоскливей.

Но деревня оказалась русской, бревенчатой, с прогонами меж домов, с широкой улицей, поросшей зеленой травой, с собаками, лаявшими из подворотен. Повеяло родным.

После недолгих поисков ей удалось найти дом Малаховых, крепкий пятистенок, обнесенный забором. Лохматый пес, громыхая цепью, молча рванулся к ней, но цепь не допустила, и тогда он начал, хрипя с придыхом, лаять и вставать на задние лапы.

Из хлева выглянула высокая старая женщина. Она пытливо посмотрела на Катюшу. Много в войну развелось беженцев. Их звали эвакуированными. Они меняли одежду на хлеб, на картофель, на масло. Обычно входили во двор, застенчиво улыбаясь, спрашивали, не надо ли туфель или костюма. Матери Малахова ничего не было нужно. Не до того, когда два сына на фронте, а третий лежит в земле. Но так, ни с чем, этих людей она не отпускала. Звала в избу. Кормила. Думала, что ее доброта может уберечь сынов от смерти.

Эта женщина, что шла ей навстречу, не производила впечатления беженки.

— Здравствуйте! — громко сказала женщина и открыто посмотрела яркими синими глазами.

— Здравствуй,— выжидающе ответила мать Малахова и подумала: «Эки глазища красивые».

— Не будет ли водицы?— попросила Катюша.

— Как не быть,— ответила хозяйка и провела в дом.

Катюша пила и как бы пустым взглядом осматривала кухню. Тут ничего интересного не было. Такая же громадная русская печь, как и в ее доме. Лавка вдоль стены. В открытую дверь видна часть горницы. Над постелью висит коврик.

— Притомилась я,— просто сказала Катюша.— В поезде теснота, продуху нет.

— Откуда ты?

— С Волги.

— С Волги?— оживилась хозяйка, и ее суровое лицо помягчело.— Там сынок мой младший в госпитале лежал.— Несколько секунд слабая улыбка теплилась на ее морщинистых губах.

— Тихо-то как у вас,— сказала Катюша.

— Дождись вечера — шумно будет. Ребятишки из школы понабегут, невестки с поля явятся...

— А сыны-то, верно, на войне?

— Где же им еще быть. Да вот... убили,— хозяйка заплакала.

— Убили? Какого же?— дернулась к ней Катюша и, услышав: «Старшего», облегченно вздохнула.

Это не ускользнуло от матери.

— Иди-ка сюда.— Она прошла в горницу.— Вот он.— показала она Катюше большой портрет старшего сына.

Из черной рамы глядел веселый человек, очень похожий на хозяйку. «А еще говорят, кто в мать уродился, тому счастливому быть»,— подумала Катюша.

— А это мои младшие...

Василий! Здесь он был моложе, чем она его знала, в простой косоворотке, открыто глядевший на нее.

— Хорошие сыны у вас. Дай им бог жизни и здоровья.

— Да уж только бы жизни. О здоровье и не говорю,— ответила мать.— Петр-то ничего: в час добрый сказать, даже и раненный не был. А Васенька два раза в госпитале лежал. Спасибо одной женщине, все медом кормила его.— Хозяйка пытливо взглянула на гостью.

Катюша не выдержала ее взгляда и, покраснев, опустила голову.

— Пишет он?— в замешательстве спросила она.

— Пишет,— усмехнулась мать Малахова. Теперь ей все было ясно. Перед ней стояла та самая синеглазая, о которой чуть ли не в каждом письме писал Василий. И, по-бабьи хитрая, она приехала что-то выведать у нее.— Пишет. И про тебя пишет.

Катюша совсем смешалась.

— И не стыдно тебе, милая, так в мой дом входить?— с мягким укором сказала хозяйка.

Сутки провела Катюша в доме Малаховых. Она все рассказала о себе, о своем неудачном замужестве, о письмах Василия.

— И вот все думаю и не знаю, что ему сказать.

— Кто загодя думает о вечере, коли день не прожит? Мы с тобой говорим о нем, а там, не дай бог, может, в крови он лежит... Ничего не убудет с тебя, если б и не любила, а про свою любовь написала,— с обидой в голосе, что ее сын не люб этой женщине, сказала мать Малахова.

...Прошло лето. Посыпали осенние дожди. Все короче становились дни. Все длиннее ночи. Ударили морозы. Заметелило. И снова явилась весна, с теплыми дождями, с перелетными птицами, с ландышами и верой во все хорошее. Это была последняя весна тяжелой войны. Она принесла победу. Долго, годами сжатые тревогой, людские сердца раскрылись в эту весну. И все, что было самого хорошего, любящего, чистого в людях, устремилось навстречу друг другу. Женщины плакали от счастья, обнимались. Мальчишки носились по деревне с криками «кончилась война!». Старики расправили согнутые спины. Старухи, слушая радио, благодарно смотрели на иконы и крестились.

Начали возвращаться домой фронтовики.

— К Силантьевым приехал!

— Прохоров прибыл!

— Свешников явился!

В пропахших потом гимнастерках, позвякивая орденами и медалями, гордые и простые, ходили победители по Селяницам. А с ними рядом — их жены, самые счастливые в мире.

Но чем больше появлялось фронтовиков, тем тревожнее становилось на сердце у Катюши. Ей все казалось, что Малахов не приедет. Теперь она любила его. И потому, что любила, не верила в их встречу. Что-то непременно должно помешать им.

Еще раз отшумела на деревьях листва и усыпала землю. Ушел с полей послевоенный урожай в амбары.

Малахов приехал зимой, когда Волга была скована льдами. По дорогам тянулись обозы. Большое спокойное небо обнимало белую землю. И с этого неба по-зимнему ярко светило солнце, заставляя жмуриться от снежного блеска.

Дома никого не было. На дверях висел тяжелый черный замок. Малахов, с удовольствием слушая поскрипывание снега под сапогами, зашагал на ферму.

В длинном полутемном помещении, словно медицинские сестры, в белых халатах ходили доярки. В стороне у столика сидела Катюша, в ватнике, повязанная косынкой.

— Здравствуй, Катя,— вставая во весь рост перед своей любовью, сказал Малахов.

Катюша охнула и безмолвно поднялась.

— Как сказал, так и сделал. Прибыл!

Его широко расставленные глаза светились все так же счастливо.

— Вася!..— только и могла сказать Катюша.

Он протянул ей руки.

Доярки смотрели на них. Анисья Чурбатова, поводя толстыми плечами, прошла мимо.

— Капитан!— восхищенно шептала она дояркам.

— Пойдем домой,— тихо сказала Катюша.

И всю дорогу до дома она то отворачивалась, стесняясь на него смотреть, то улыбалась, по-девичьи краснея.

Она не сразу открыла замок. Задержалась в сенях, пропустив Малахова. И как только вошла, так и остановилась у порога.

Малахов поднял ей голову. Поцеловал в бессильные, раскрытые губы. Он слышал, как часто и сильно бьется ее сердце, и все крепче обнимал, заглядывая в самую синеву тревожных глаз.

В сенях хлопнула дверь. Катюша отшатнулась от Малахова. Поспешно поправила волосы...

Запыхавшаяся, красная от мороза, вбежала Олюнька. Она бросила сумку на скамейку и тут же нахмурила свои реденькие брови, увидав незнакомого высокого военного. И вспомнила:

— Дяденька Вася!

Малахов схватил ее за худенькие плечи, поднял к самому потолку.

— Как же ты выросла, Олюнька! Как выросла! Я бы тебя и не узнал.

— А я вас узнала!— радостно закричала Олюнька.— Как вошла, так и узнала!

— Ну, за то, что сразу меня узнала, надо тебе сделать подарок.— Малахов достал из чемодана большую

куклу с закрывающимися глазами, в роскошном платье и настоящих кожаных туфлях.

Олюнька так и замерла от восторга. Несколько раз порывалась взять куклу и не решалась. Наконец схватила, прижала к груди и заметалась по комнате. С завистью глядела она, как у других приезжали отцы с фронта, одаривали своих ребят, и только ей не от кого было ждать подарка. Она никогда не видала отца.

— Мам, теперь дяденька Вася от нас не уедет? Он с нами будет жить?

Катюша взглянула на Малахова, улыбнулась:

— С нами.

Олюнька захлопала в ладоши.

— Если бы ты знала, как я рад, что вижу тебя,— говорил на кухне Малахов Катюше.— Что такое ты со мной сделала, не пойму.

Она ласково коснулась его руки.

— Ты-то любишь меня?

— Люблю, Вася...

Малахов радостно засмеялся:

— Давай завтра запишемся и отгуляем свадьбу.

— Уж больно ты скоро, Вася. Где же за один день управиться? — Она нерешительно потрепала его жесткие волосы.

— Я уж сколько жду!

— И еще недельку подождешь...

Малахов прошел в горницу. Катюша постояла в раздумье, затем сняла с постели пуховик, одеяло, подушку. Перенесла в кухню. Здесь будет Василий спать. А для себя и дочки приготовила на кровати.

Олюнька лежала в постели. Обрадовалась, когда к ней легла мать. Засучила ногами. Они у нее были холодные, как ледяшки.

— Маменька, погрей.

Она уснула быстро, свернувшись калачиком.

Было темно и тихо. Но Катюша знала, что Малахов не спит и, наверно, вот так же, как она, беспокойно прислушивается к каждому шороху. И вдруг посветлело. Это вышла из-за облака луна и залила зеленоватым светом, словно водой, всю комнату. Катюша лежала не шевелясь. Боялась, что Василий подойдет к ней.

Но Малахов не подошел. И за это она ему была благодарна. Легко и весело металась утром по кухне. Накрывала на стол. Провожала Олюньку в школу.

Через неделю, как и было задумано, сыграли свадьбу.

3

Наступила пора душевного отдохновения. Все, что было сопряжено со смертью, с горем, с тяжелым ратным трудом,— все осталось позади. Руки искали работы. Они могли копать землю, рубить дома, выращивать хлеб. Работать, работать, работать! Строить свое счастье. Жить в семье. Видеть каждый день жену. Уже больше не писать ей писем, а разговаривать. Вот так, просто, сидеть и разговаривать. Заставить смеяться мать. Эвон я, живой, здоровый! Забирать по утрам ребятишек в постель, обнимать их, рассказывать страшное, но непременно с веселым концом. Это ли не жизнь?

Малахов был счастлив, как и каждый вернувшийся с войны здоровым. А тут еще любовь! Та самая, по которой с ума сходил в блиндажах. Теперь можно целыми часами смотреть в ярко-синие глаза. Здесь они, рядом! Они стали еще ярче. От любви? От счастья?

Наконец-то и к ней пришла самая настоящая любовь. Как неохота уходить из дома на работу! «Милый ты мой Васенька. Что бы еще тебе сделать хорошего? Чем бы побаловать?» А уж он и сам не знает, что бы еще ей сделать приятного! На морозе, на ветру покрыл заново дранкой крышу сарая. Сменил пол в хлеву. Переколол все дрова. Что бы еще сделать?

— Отдохни.

— От чего? Разве устанешь. Ну, как ты сегодня работала?

Так еще никто не спрашивал!

— Устала?

Об этом тоже никто не спрашивал.

— Ну зачем плакать-то?

— Так это... просто хорошо мне...

С какой гордостью шла она по улице с мужем! С какой важностью раскланивалась. Никого нет лучше ее Васеньки. Три дня он пробыл дома. Другой бы за месяц столько не сделал, сколько наворочал он в эти дни. Но пора подумать и о колхозе.

Председатель сидел за столом в маленькой комнате и стряхивал с пера на пол прилипшую грязь. Это был тяжелый, с отвислыми плечами, человек, в засаленном пиджаке, седой, с красным лицом. От него только что ушли бригадиры. Всюду валялись окурки. Воздух посинел от самосада. За черным окном валил снег. Большие хлопья скользили по стеклу, падали на подоконник.

— Отдохнул?— окинув Малахова большими, навыкате глазами, спросил председатель.— На работу хочешь?

— Пора.

— Полушубочек-то у тебя беленький. Но, понимаешь, начальства своего хватает. А вот навоз на поля возить — наищешься. Как? А?

— Какое дело нужней, такое и поручайте,— улыбнулся Малахов.

Он говорил искренне. Ему было все равно, где работать. Он видел, что за время войны колхоз ослаб. Много земли пустовало. Урожаи низки. С кормами трудно. Поэтому был готов взяться за любое дело.

И в войну он меньше всего думал о себе. Выполнял долг, и все. Но эта самоотверженность, честность сделали свое. Он быстро стал младшим лейтенантом. Это его ничуть не изменило. Он таким же остался, когда ему дали взвод, роту. Он командовал, преследуя две задачи: как можно больше уничтожить противника и меньше потерять своих. Простой хозяйский расчет. Никакой романтики в войне Малахов не видел. Это была грубая, тяжелая, опасная работа. Он старался выполнять ее добросовестно, потому что так нужно Родине.

— Ну, молодец, понимаешь, а то у нас с этим делом плохо. А землицу надо кормить. Скажешь Лазареву, бригадиру, что я тебя к нему направил.

Малахов натянул поглубже ушанку. Уже светало. Алая морозная зорька разгоралась за Волгой. Но крупные звезды еще мерцали.

На конюшне Малахов запряг лошадь и выехал. Он испытывал необычайную легкость. Глядел по сторонам — на дома, в которых, наверно, пробудились ребятишки и теперь собираются в школу. На реку, по которой движутся подводы с сеном,— это их отцы успели съездить

к дальним стогам. Глядел на поля, спящие под снегом. На зорьку, выпустившую солнце, отчего упали на розовые снега длинные тени деревьев.

Навоз складывали тут же, у фермы, по обе стороны от прохода. Получалась своего рода траншея.

Малахов скинул полушубок. Ухватил железными вилами сверху тяжелый пласт навоза. Бросил его на доски, прикрывавшие дровни. Сначала было холодновато в одной гимнастерке, но чем быстрее он орудовал вилами, тем становилось теплее, и к концу, когда уже сани были загружены, стало жарко.

Погоняя лошадь, он быстро зашагал по дороге. Визжал под железными полозьями снег. Как ключевая вода, был чист воздух. И все вокруг было до того хорошо, что Малахов даже засмеялся.

Если говорить о радости жизни, то она была именно теперь. Все просто и совершенно ясно. Он работает. Эта работа нужна людям. Чем больше он сделает, тем будет лучше. И еще хорошо потому, что уставшие за войну нервы отдыхают.

Он направил сани в сторону от дороги и, сам утопая по колено в снегу, побежал рядом с идущей рывками лошадью.

И опять, сбросив полушубок, работал.

В одну из поездок он повстречался с Катюшей.

— Это кто тебя поставил навоз возить?— спросила она.

— Анисимов, председатель,— простецки улыбнулся Малахов.

— Что он, с ума, что ли, сошел!— грубо сказала Катюша.— Его бы, черта сутулого, заставить возить. Не езди больше, Вася.

— Ну что ты! Вывозка-то подзапущена!

— Зря согласился. Надо было с самого начала себя поставить. Куда это годится — капитан, и вдруг возишь навоз.

— Да ведь я ж колхозник. До войны мало ли его перевозил!

Но Катюша никак не могла смириться с тем, что его поставили на такую работу. И, еще мало зная мужа, не понимала, на самом ли деле он ничего не видит зазорного в том, что возит навоз, или же прикидывается, что это ему не обидно.

Вернулся Малахов домой затемно, усталый, но довольный.

— Дяденька Вася, а я сама сегодня решила задачки,— прыгала возле него Олюнька.

— Молодчина! Я же знаю: если ты захочешь, всех лучше можешь учиться.

Катюша принесла ужин. Все приготовила и уселась против мужа. Каким длинным показался ей прошедший день! Несколько раз она забегала домой, думая, что и Василий догадается заглянуть. Но он и отобедал-то без нее. Только мельком удалось увидеться у фермы. А сердце хотело иного: ввек бы не расставаться. Вот так сидела бы и все смотрела на него. «Миленький ты мой, хорошенький ты мой»,— приговаривала бы в душе.

Малахов затуманенными от сытости и усталости глазами встретился с ее взглядом и, словно не было за плечами морозного тяжелого дня, протянул через стол к ней руки, ухватил за плечи. Катюша тихо засмеялась, легко подалась и, закрыв глаза, нашла его горячие, сухие губы. И совсем было бы хорошо, только где-то глубоко-глубоко сидела заноза, обида на председателя. Не уважал он Василия, ее Васю, Васеньку...

Наступил март.

Ох уж этот март! До чего же теперь синее небо. Солнце еще ходит по его краю. Но скоро оно подымется и начнет так пригревать, что снег сразу осядет и побегут ручьи. Со стеклянным звоном будут рушиться сосульки. Лед на Волге, этот крепкий лед, по которому ходили машины, станет слабым. Деревья, всю зиму зябко стучавшие ветвями, мягко зашумят, радуясь теплому ветру. Прилетят грачи, важно будут расхаживать по полям, словно проверяя — не случилось ли чего с землей за время их отсутствия. А земля будет лежать перед ними теплая, разомлевшая.

Каждый год приходит весна, всегда радуя и никогда не надоедая. Каждый год вскрывается Волга, и всякий раз это — событие для жителей Селяниц.

Нынче она вскрылась в апреле. Вода подступила к домам.

На другой день по селу ездили на лодках. Ребятишки вели морское сражение на плотах. К стенам домов подбивало густое сусло нефти, пролитой пароходами и баржами.

Вода постояла три дня и, оставив в огородах среди борозд мелкую плотву и окунят, отступила в свое ложе.

К этому времени земля хорошо поспела. В колхозе началась пахота. Бригадир Лазарев, татуированный минным взрывом — с синими пятнами на лице, поставил Малахова на плуг.

Василий в первый же день дал две нормы на перелогах. Задерненная земля, чуть ли не всю войну пролежавшая в покое, поросшая местами мелким ольшаником, покорно пошла под его сильными руками в отвал.

В короткие минуты отдыха Малахов, словно впервые, видел нежную зелень трав, далекие холмы за Волгой. С высокого неба ему пели песни трепещущие жаворонки. Он жил, окруженный со всех сторон счастьем, потому что счастье было в нем.

Конечно, его работа не могла пройти незамеченной. На одном из партийных собраний Дуня Свешникова похвалила Малахова и предложила ввести его в состав партийного бюро, как человека серьезного и работящего.

В этот день Катюша не знала, как усадить мужа, чем порадовать. Одно время она уже стала подумывать, что у него совсем нет гордости. Куда ни пошлют, всюду идет. Теперь поняла: не такой уж он простой, как кажется. Того и гляди, парторгом станет... На виду будет.

После ужина они пошли на Волгу. Это были для них любимые часы. Они садились под обрывом. Волга в этом месте была неширока. Но люди на том берегу казались совсем крошечными. Вдоль реки тянулись поселки с фабричными трубами, деревни с силосными башнями. Хорошо было смотреть на все это в вечерний час, когда Волга погружалась в спокойный полусвет отшумевшего дня.

Чем больше густели сумерки, тем река становилась красивей: всходила луна. Вода у берегов была темная, к середине синела и переходила в оранжевую. Луна плавно качалась на оранжевых волнах. Тихий ветер шуршал прибрежными травами. Вверх по реке подымался освещенный огнями пароход. Иногда на середине реки появлялись багровые костры. Было видно, как взлетают в ночное небо султаны искр. Неожиданно из темноты возникал человек, освещенный огнем. И тогда становилось ясно — плывут плоты.

Стоял поздний час, когда они вышли в этот день. По улице ходили девчата. Сильными голосами они пели

грустную песенку о неудачливой любви. Пели и, наверно, не верили песне.

Далеко уже остались последние дома, затихли девичьи голоса. Малахов с Катюшей шли берегом Волги. Она прижалась к его руке и негромко запела. Ее мягкий голос словно вливался в тишину вечера.

Из-за моря, моря теплого
Птица прилетела,
На мое окошко девичье
Отдохнуть присела.

— Ты скажи мне, птичка дальняя,—
Я ее спросила,—
Где любовь моя все бродит,
Или позабыла?

От реки поднимался туман. И Малахову казалось, что песня доносится к нему из воды, немного печальная, чего-то ждущая. Он пошел тише.

Отвечала птица дальняя:
— Не скорби, не сетуй.
Коль весной любовь не явится —
Значит, будет к лету.

Улетела птица дальняя,
За лесочком скрылась.
Только в сердце, сердце девичьем
Вера появилась.

— Вот и пришла моя летняя любовь...— ласковым, теплым голосом сказала Катюша и прижалась к руке Малахова.— До чего же мне хорошо. Думается, ничего больше и не надо... Нет, еще хочу одного.— Она помолчала и чуть не шепотом промолвила:— Героем хочу стать. Золотую Звезду получу, орден Ленина мне дадут...

Так миновало лето. Подошла незаметно осень. Все это время Катюша жила напряженно. Сказав только мужу, и то однажды, о своей заветной мечте, она словно и забыла про нее. Но не было дня, чтобы не думала об этом. Что ею руководило, она и сама не знала. Хотелось ли славы, чтобы встать вровень с Василием,— у него было несколько орденов, к тому же капитан, и ей почему-то казалось, что она недостойна его, или уж наступил такой час в ее жизни (ведь не было ни одного собрания, чтобы не говорилось в те дни о развитии животноводства по всей стране), когда действительно хочется работать засу-

чив рукава; или еще что-нибудь, но только Катюша порой стала забывать даже свой дом — так ее захватила работа. И раньше она бывала в соседнем животноводческом совхозе, теперь же зачастила. Перезнакомилась со всеми доярками, со старшим зоотехником. Приглядывалась, прислушивалась, спрашивала. И, словно пчела в улей, тащила все полезное на ферму. Пастухам от нее не стало житья. Она к ним приходила среди ночи, проверяла, как они пасут, ругалась, если заставала своих коров на избитой траве. Не ленилась подкашивать для них зеленый корм. Подсаливала траву. Стала составлять рационы, пробуя то одно, то другое, лишь бы угодить вкусу коров. И запаривала корма, и рубила тяпкой, и кормила целыми клубнями и морковинами — только бы поднимался надой.

Глядя на нее, и другие доярки стали стараться. Толстуха Анисья Чурбатова вначале ругала Катюшу, а потом стала присматриваться, как та доит, как массаж делает, чем кормит, и сама незаметно увлеклась.

Надой на ферме возрастал. Председатель Анисимов радовался.

— Вот, понимаешь, дела какие пошли,— говорил он Дуняше Свешниковой,— ты теперь, значит, налаживай соревнование. Твоя обязанность.

— Без тебя и постель-то холодная стала,— жалея Катюшу, ласково говорил Малахов.

— Ничего, Васенька,— устало улыбалась Катюша.— Немного уж до января осталось. Еще два месяца, а там и кончится год. Теперь бы только холода не снизили надой. Уж больно ферма-то у нас нетеплая...

И снова днями и ночами пропадала на работе. Приходила домой усталая, почти ничего не ела и засыпала, чуть голова касалась подушки.

И добилась своего. Исхудалая, с тяжелыми кулаками, как-то сразу обессиленно повисшими вдоль тела, она слушала чей-то далекий мужской голос, говоривший по радио о присвоении ей звания Героя.

Вместе с ней наградили орденами четырех доярок.

И не успела пройти эта радость, как вскоре вызвали всех награжденных в облисполком.

— Сторонись!— опьянев от счастья, кричал Малахов, пустив во весь ход лучшего жеребца Жереха, гнедого красавца с белыми бабками.— Героиню везу!

Катюша смеялась, принимая всем сердцем буйство Василия. Они летели вдвоем в легких саночках по снежным полям на далекие огни большого города. Позади них неслась тройка. Доярки громко вскрикивали на ухабах, пели песни. И все это было похоже на свадьбу.

А потом Малахов сидел и ждал ее у каменного подъезда. Можно было и его пригласить в зал, где вручали награды, но начальство почему-то не догадалось этого сделать, и Малахов остался у лошади. Он уже несколько раз соскакивал с саночек. По-извозчичьи хлопая руками, согревался. Пристукивая валенками, поглядывал на большие окна, задернутые тяжелыми занавесями. Переводил взгляд на массивные двери, все думая: вот-вот выйдет. Но торжество вручения затягивалось. Он вспомнил, как ему на фронте вручали ордена,— тогда это делалось быстро, а тут тянулось без конца.

По голому небу свободно катилась круглая луна, обещая ночью мороз.

Неожиданно послышались звуки духового оркестра. Играли гимн. И Малахов понял, что торжественное заседание закончилось. Но прошло еще около часа, прежде чем Катюша появилась, окруженная людьми. Оторвавшись от них на минутку, она подбежала к мужу и, торопясь, сказала, чтобы он ехал один, потому что секретарь обкома Шершнев довезет ее с двумя лучшими доярками до колхоза на своей машине. Сказала и тут же вернулась к высокому, в фетровых бурках человеку, который уже открывал дверку в машину и по-хозяйски приглашал Катюшу.

Эх, если бы знал Малахов, к чему все это приведет, вряд ли остался бы в стороне. Он подошел бы к Шершневу и не позволил бы увозить Катюшу, когда есть рядом он, ее муж. Но он ничего не знал. Дождался, пока машина ушла, и тихо поехал обратно.

Малахову было больно, что Катя так легко отстранила его. Но тут же он понял, что ее осуждать не следует. Она хочет взять все, что выпало на этот день. Такое не часто случается. Только подумать: человек, живший обычной жизнью, который и о себе-то был самого простого мнения, возносится на гребень славы... Как же тут отказаться? Нет, здесь все правильно. И нечего ему обижаться. И, конечно, ни в какое сравнение не может идти

его маленькая обида с той ликующей радостью, какой охвачена Катюша.

Так думал Малахов, возвращаясь в колхоз. Уже на полпути ему повстречалась машина секретаря обкома. Ослепив, она заставила потесниться. И когда проехала, ночь показалась еще темнее. Но вскоре глаза привыкли. От белых кустов по-прежнему падали синие тени. Далеко темнели избы села.

Малахов погнал коня.

Она ждала его. На ее груди блестела Золотая Звезда и чуть пониже светлел орден Ленина.

Малахов, не раздеваясь, шагнул к жене, взял за руки, обнял, поцеловал в глаза.

— Ну прямо как в сказке,— прошептала Катюша, устало припадая ему на грудь.— До чего же все хорошо...

И этих слов и доверчивого движения было вполне достаточно Малахову, чтобы окончательно забыть свою маленькую боль.

4

Председатель колхоза Анисимов любил выпить. В этом он ничего не находил зазорного, лишь бы дело шло. Его часто можно было видеть в чайной. Грузный, с красным нездоровым лицом, он тяжело дышал в лицо своему собеседнику. А собеседников хватало. Это были люди его колхоза, которым надо было обделать какое-то свое дельце: поехать ли в город на неделю, заняться ли своим хозяйством. Они угощали Анисимова. И он разрешал. Пьяницы всегда добры.

— Вот, понимаешь, как надо руководить?— говорил он, отхлебывая пиво.— Сколько орденоносцев в колхозе! Герой есть! Не комар под зонтиком. Понимаешь? Вчера поставил Луконину заведовать фермой.

Он гордился, не зная того, что в райкоме партии уже стоял вопрос о замене его Катюшей Лукониной. Кроме пьянства Анисимова, была еще одна причина для его снятия: секретарь обкома Шершнев любил выдвигать деятельных людей из гущи народа. Ему нравилось видеть их в залах заседаний, с орденами, медалями, депутатскими значками, знать, что теперь они, вовремя замеченные им, руководят делами. Поэтому достаточно было ему сказать секретарю райкома: «А чего это вы в черном теле

держите Екатерину Романовну Луконину? Или считаете, что пьяница Анисимов более достоин руководить колхозом?», как сразу стало очевидно, что Луконину сделают председателем.

Рекомендация райкома — это доверие. Поднятые вверх руки колхозников — это решение. И Катюше пришлось взяться за большое, сложное дело — колхоз.

Малахов каждый вечер усаживал ее за стол, закрывал дверь, чтобы никто не мешал. В свое время он окончил среднюю школу, много дала армия. Ему легче было разбираться в книгах по агротехнике и уже своими словами рассказывать жене о преимуществах севооборотов, о планировании хозяйства. Но Катюша, не привыкшая к учебе, задерганная всякими делами за день, плохо понимала его. На лице ее появлялось бессмысленное выражение.

— Ах, да зачем мне все это!— чуть не плача от досады на свою непонятливость, говорила она.— Наука, наука!.. Вон мои коровы и без науки по пяти тысяч литров дают.

Малахов снисходительно смеялся.

— Как же без науки?— говорил он.— А разве тебе мало зоотехник помог? А рационы? Вот послушай-ка, что я в этой книжке вычитал. Толковое дело там придумали. Маслозавод поставили.

И только стоило коснуться практических дел, как сонливость у нее пропадала.

— Ну-ка, ну... расскажи.

Малахов рассказывал. На бумаге вычислял, какую экономию в транспорте дает такой маслозавод,— не надо каждый день отвозить молоко, достаточно один раз в неделю сдать масло. Появится снятое молоко, оно пойдет на корм телятам.

— Вот это да! — оживлялась Катюша. И вскоре горячо убеждала членов правления, что надо строить такой завод. Ехала к Шершневу (в тот раз, когда он ее провожал, прямо сказал: «Заходи ко мне. Звони, не стесняйся. Всегда помогу»). И возвращалась из Н-ска с сепараторами, с центрифугой.

— Васенька, ты мне не читай книжки. Читай сам. А что интересное — скажи.

— Неужто!— повторяя ее любимое словцо, смеялся Малахов.— Ты вроде Олюньки, кто бы за нее сделал задачку.

— Ну, Васенька, ну, миленький...— ластилась к нему Катюша.— Ведь я же не виновата, что мало училась.

— Ладно. Вот слушай.— И читал ей, как в одном колхозе поставили картофелетерку.— А у нас сколько гниет мокрой картошки. Вот бы ее пускать на крахмал, а барду — свиньям.

— Золотой ты мой, Васенька,— обнимала его Катюша,— ну до чего же у тебя головушка светлая!

Построили картофелетерку.

Так как Шершнев внимательно относился к делам колхоза, то нововведения Катюши Лукониной были замечены. В один из сентябрьских дней приехали в колхоз двое из областной газеты. Катюша с гордостью показала маслозавод и картофелетерку. Но фотокорреспондент не стал снимать эти «объекты». Уж слишком они показались ему примитивными — маленькие полутемные сараи. И сфотографировал Катюшу. Другой же, круглолицый, толстый, подробно все расспросил, записал. И они уехали.

Через неделю в газете появилась большая статья с фотографией Екатерины Романовны. По словам корреспондентов, заводы представляли значительный интерес. Теперь уже слава о Катюше пошла как о председателе колхоза.

Несколько раз в этот вечер она брала газету. Удивленно смотрела на снимок. Перечитывала статью.

— Пойдет дело, пойдет!— радостно говорил Малахов.— Только учиться надо.

— Это ж ты придумал, Васенька, а они мне приписали.

— А я бы для тебя и не такое еще сделал!— в порыве душевного подъема сказал Малахов.

— Ну так и я для тебя сделаю, Васенька. Спасибо скажешь.

— Что сделаешь?

— Подожди чуток. Узнаешь.

Теперь уже поступь у нее стала уверенней. Распоряжения тверже.

«Хорошо бы заложить теплицу»,— как-то посоветовал ей Шершнев. Она согласилась: «Плохо ли иметь свою теплицу? Всегда ранние овощи». Но для этого нужны были деньги. Она нашла их. Узнала, что на севере картофель в пять раз дороже, чем на рынке в своей области.

Никому ничего не говоря, Катюша съездила в управление железной дороги и там добилась двух вагонов для отправки картофеля на Кольский полуостров.

— Васенька, ты повезешь,— радостно сияя глазами, сказала она, ожидая, как обрадуется ее муж. Это она сама ведь, без него придумала. Но, к удивлению, Василий не разделил ее радости.

— Нехорошее это дело,— сказал он.— На спекуляцию похоже.

— Какая же спекуляция? Свое продаем, не купленное. На что строиться-то? Поезжай, спокойная буду. Уж знаю — ни копеечки не пропадет.

— Не поеду! И тебе не велю.

— Неужто!— Катюша обидчиво поджала губы.— Ладно, если не хочешь — не надо. Только не мешай мне.

Вагоны с картофелем ушли.

Вернувшись с Кольского полуострова, заведующий конефермой Серегин сдал в колхозную кассу столько денег, что вопрос о теплице можно было считать решенным. Сдав деньги, он сразу же отправился на конюшню.

Там он застал тренера Карамышева, чистившего лошадь. Это был ладно пригнанный, ухватистый человек лет под сорок. Бывший кавалерист.

— Здорово, Петр,— сказал Серегин.

— А, Никифор Самойлович, наше вам,— приветливо ответил Карамышев, снимая с правой руки щетку.— Как съездилось?

— Подходяще.— Серегин придирчиво осмотрел ближние денники. Отметил чистоту.— ЧП никаких?

Карамышев недоуменно поглядел на него.

— А что тебя интересует?

— Как что?— удивился Серегин.— Все интересует.

К ним подошел Малахов.

— Тогда вот у него спрашивай,— ответил Карамышев.

— Почему у него?— спросил Серегин.

— Так ведь он же заведующий фермой-то!— чуть не закричал Карамышев, поняв, что Серегин ничего не знает о том, что его сняли с заведующих.

— А я кто?— спросил Серегин, и руки у него дрогнули.

— Разве с тобой не говорила Екатерина Романовна?— спросил Малахов. Он был твердо уверен, что Серегин сам захотел перейти на другую работу.

— Ловко, язвия б вас взяла, орудуете!— плюнул Серегин и хлопнул дверью так, что в одном из денников вылетело стекло.

— Плохо ты сделала, сняв Серегина,— в тот же вечер говорил Малахов жене.

— Была печаль,— беззаботно отмахнулась Катюша.— Ты про другое говори: Шершнев обещал дать самый крупный завод нам в шефы. Теперь-то уж построим такую теплицу!..

— Теплица теплицей,— в раздумье сказал Малахов,— но с Серегиным нехорошо получилось. Обидела ты человека, да и обо мне не подумала.

— Да о тебе только и думала, Васенька мой. И броська ты голову ломать. Ведь я председатель, Герой. Неудобно, чтоб мой муженек навоз возил. Тем более капитан...

5

Однажды в конце января в колхоз приехал Шершнев. Катюша увидела знакомую «Победу» из окна конторы. Торопливо сунув бумаги в стол (она стеснялась своего почерка: он был тяжелый, неровный, с таким нажимом пера, словно Катюша стремилась проткнуть бумагу), надев шубку, она выбежала навстречу секретарю обкома.

Шершнев стоял возле машины, крупный, с короткой шеей. Внимательно осматривал серыми глазами из-под лохматых бровей село.

— Здравствуйте, Сергей Севастьянович!— и радостно и взволнованно сказала Катюша.— Даже и не позвонили, что приедете.— У нее было то состояние непринужденности, когда человек твердо знает, что его ожидает только хорошее.

— А я люблю вот так нагрянуть. Внезапно,— рокочущим басом ответил Шершнев и улыбнулся, смотря в то же время серьезным взглядом.— Ну, показывайте хозяйство.

Неподалеку от него стояли двое. В одном из них Катюша узнала журналиста. Другого видела впервые; был он высок, сутул, в больших очках на маленьком лице.

— Ваш колхоз должен стать гордостью области,— говорил Шершнев, широко шагая по укатанной дороге.— Во всем необходимом обком поможет вам, но...— он по-

грозил Катюше,— чтобы подобных поездок на Кольский полуостров больше не было. Вы должны высоко нести свой авторитет.

От холодного блеска его глаз Катюше стало не по себе, и она была рада, когда Шершнев вошел на ферму. Коровы тихо позвякивали цепочками, которыми их привязывали к стойлам. Доярки почтительно смотрели на гостей.

— Непременно автопоилки установить,— обернулся Шершнев к высокому сутулому спутнику. Тот записал.

Выйдя из коровника, Шершнев так же быстро осмотрел телятник, спросил: «Есть ли падеж?» и, услыхав, что нет, удовлетворенно кивнул головой.

— Вашему колхозу надо стать застрельщиком по сохранению молодняка,— сказал он и посмотрел на журналиста. Тот что-то записал.— Сколько у вас дворов?— спросил Шершнев у Катюши.

— Двести.

— Приготовьтесь принять еще восемьдесят. Ваш колхоз будет укрупнен. Войдет деревня Рыбинка.

— Это и есть маслозавод?— несколько удивленно спросил он, войдя в полутемное помещение, и покосился на журналиста. Журналист напыжился, покраснел.— Побольше света. Оштукатурить,— строго сказал Шершнев и, заметив заведующего с папиросой во рту, добавил:— Не курить!

Малахов помогал Карамышеву убирать денники, когда вошел Шершнев. И Малахов и Карамышев машинально встали, увидя грузную фигуру, двигающуюся на них.

Кони нервно переступали в денниках. Стучали копытами о деревянный пол. Гнедой-младший, горячий двухлеток, диковато косил темным глазом.

Шершнев внимательно всмотрелся в Малахова, увидал его, всего подтянутого, с ясными глазами, смотревшими открыто и честно, и приветливо кивнул головой. Чуть позади него шла гордая, счастливая вниманием секретаря обкома Катюша. Малахов ждал, что она остановит Шершнева, что-нибудь скажет, но она даже не взглянула на мужа.

Они прошли. Малахов, поймав себя на том, что стоит по команде «смирно», горько усмехнулся.

Когда он пришел домой, сразу понял, что Шершнев был здесь. Катюша убирала со стола. Перед ней стояли тарелки с объедками, недопитый в стаканах чай. Увидев мужа, Катюша так счастливо улыбнулась, что Малахов не мог не спросить, что с ней.

— Даже не верится,— ответила Катюша.— Сергей Севастьянович сказал, что меня будут рекомендовать депутатом в Верховный Совет.

Малахов сдвинул брови и ничего не сказал.

— Ты не рад?

— Не знаю...

— Чего ты не знаешь?— Катюша смотрела далеким взглядом в окно, на Волгу.

6

И вот Екатерина Романовна Луконина стала депутатом Верховного Совета. За нее агитировали, ходили по домам молодые и старые люди. Они рассказывали избирателям биографию женщины, которая от простой доярки поднялась до председателя колхоза, инициативного, знающего свое дело. И просили избирателей отдать за нее свои голоса. Она сама выступала на предвыборных собраниях. Ей аплодировали. Потом, ранним утром, люди потянулись к освещенным огнями домам. Репродукторы разносили в морозном воздухе бодрую, праздничную музыку. Многие, прежде чем опустить бюллетени, писали слова, полные любви и уверенности, что славная дочь народа выполнит их наказы.

Уже вечерело. Валил густой снег, мокрый, тяжелый. Музыка продолжала играть, но праздничная приподнятость угасла. Торопливо расходились по домам прохожие. Малахов в раздумье шагал к Дому приезжих. Не доходя двух кварталов, он увидел на стене плакат с портретом жены. Качающийся свет висячего фонаря косой полосой освещал его, оставляя в тени широко раскрытые, словно удивленные, глаза Катюши.

— Ох, Катя, Катя, далеко ты пошла,— прошептал Малахов.— Трудно тебе будет.

В Доме приезжих было шумно. В буфете мужчины и женщины немного подвыпили, громко разговаривали и хохотали. Бригадир Лазарев ликующе закричал:

— Капитан, ходи сюда! Мы ж тебя любим!— Он на-

лил стакан и поднес Малахову.— За твою Катерину! За нашу Катерину!

Дуня Свешникова, раскрасневшаяся от вина, блестя черными зрачками, прижала к груди руки.

— До чего же я радостная! Я ли Катю не знаю! Пришла к нам с ребеночком. Бабы смеялись. А она вон куда метнула!— И неожиданно заплакала.

— Мы тебя любим, капитан,— обнимал Малахова Лазарев.— Ты вот и пришлый вроде, а наш. Потому как фронтовик. Война всех нас сроднила...

Он что-то еще говорил. Его перебивали другие. Тянулись к Малахову со стаканами, чокались. И все хвалили Катюшу. И его, Малахова. И ему становилось хорошо и спокойно.

Но из угла на него хмуро смотрел Серегин. Руки у него, как и всегда, безвольно свисали вдоль тела. Малахову сейчас очень не хотелось, чтобы кто-то сердился, угрюмо смотрел на мир.

— Никифор Самойлович,— позвал он и пошел к Серегину.

— Не трожь,— глухо сказал тот.

— Да брось ты, не сердись. Я уйду с фермы,— раскрываясь сердцем все больше, сказал Малахов.— Принимай ее!

— Ну, конечно, мужу депутатки можно ни хрена не делать!— насмешливо сказал Серегин.

Малахов побледнел. В комнате стало тихо. Откуда-то донеслась песня. Все смотрели на Малахова. И неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не Дуняша Свешникова. Она заслонила Малахова и закричала на Серегина властно и гневно:

— Чего руки тянешь? Я ж тебя знаю. Драться хочешь. Так не выйдет тебе!— И повернулась к Малахову.— А вам нечего растравливать человека. Ну, взяли от него ферму, так уж теперь на попятки не ходить. И нечего больше болтать. Поехали домой!

Возвращались с песнями, шумно, но Малахову казалось, что это нарочно кричат. Хмель прошел, и лишь осталась в голове тяжесть, да в сердце беспокойное ощущение чего-то недоброго.

Катюши дома не было. Но не успел он раздеться, как она пришла, затормошила Олюньку, начала кружить мужа. Смеялась и сразу становилась серьезная.

— Ведь не может быть, чтоб не выбрали?— спрашивала она.— А если не выберут? Тогда стыда будет, стыда!..— И закрылась ладонями. Но тут же опять засмеялась.

— Ну, чего ты такой? Ну чего?— досадливо морщила брови Катюша, видя в муже какую-то скованность.—Ровно ты и не рад?

Постучали в окно. Малахов отдернул занавеску. Стояла почтальон — тетя Галя. Олюнька выбежала на улицу и принесла телеграмму.

«Поздравляю депутата высокой честью. Шершнев».

Это значило, что голоса уже были подсчитаны, что она избрана. И только теперь Катюша поняла все то значительное, что произошло с ней. Она вздохнула, посмотрела на мужа. На ее лице появилась растерянная улыбка.

— Что-то страшно мне, Вася... Чего я там делать-то буду?

— Не знаю, Катя... Ты вот упрекаешь меня... А я боюсь...

Она не дала ему договорить. Не такие ей слова сейчас были нужны. Шершнев — тот бы раскатисто захохотал. «Что еще за страхи?— сказал бы он.— Лукониной страшно? Хо-хо!»

— А ты не бойся за меня,— встав перед мужем, сдержанно сказала Катюша.— И не тумань моего солнышка. Придет час, и ты подымешься.

— А я еще не падал, Катя,— сурово сказал Малахов.

Она круто повернулась к нему. Ее синие глаза холодно блеснули.

— Ай, да и неохота мне говорить,— с досадой сказала она.— Там, вверху, поди-ка, знают, что делать. Еще не хватало, чтобы мы с тобой поссорились, Васенька мой. А коли наругают меня и взашей надают,— уже невесело добавила Катюша,— не к кому — к тебе приду жалиться.

Это была опять она, его Катюша, и не стало сил у Малахова осуждать ее.

7

В самую ростепель она уехала в Москву на сессию. Малахов проводил ее и отправился на конюшню.

Зайдя в тренинг, он застал Карамышева возле Жерела. Тренер чистил жеребца и, посмеиваясь, говорил:

— Щекотно... а? Ишь ты, нежный какой. Щекотухи боишься. Важно, что ты это показал мне. На бегах я пощекочу тебя. А еще, может, чего боишься?— засмеялся Карамышев. Увидя Малахова, он вышел из денника.

— Ну что, отправил?— спросил Карамышев.

— Уехала.

— Далеко пошла наша Екатерина Романовна,— почтительно сказал Карамышев.— И скажи ты на милость, как она быстро вознеслась. А еще говорят, человек не родится в сорочке.

— А она что, в сорочке родилась?— улыбнулся Малахов.

— Должно, в сорочке. Иначе как же?

— А ты?

— А что я?

— А ты в сорочке?

— Какая там, к ляху, сорочка! Матка не донесла до постели. На полу обронила.

— Как Наполеона,— рассмеялся Малахов.

— Ну?— не поверив, спросил Карамышев.— Так-таки Наполеона матка на полу и родила?

— Говорю же.

— Скажи на милость, какое совпадение,— покрутил головой Карамышев.— Это я запомню.— И неожиданно захохотал громко, во весь рот, так, что в денниках запрядали ушами лошади.— Его, верно, потому и прозвали: «На полу он!»

— Давай-ка выпустим лошадей на прогулку,— сказал Малахов и сам открыл первый денник.

Жерех ветром вылетел на свободу. За ним — Гнедой-младший. Звездочка тонко заржала, просясь на волю. Ей раскатисто и могуче ответил Жерех и заносился по кругу, кося фиолетовым глазом за ограду, где лежал простор, где можно было нестись напропалую. Гнедой-младший высоко вскинул задними ногами и пошел, задирая голову, вслед за Жерехом.

— Да,— стоя рядом с Малаховым и любуясь лошадьми, произнес Карамышев.— Не знаю, правда, не знаю, нет, но вчера в чайной Серегин бахвалился, будто он первый надумал создать племенную ферму. Дескать, никому не сказывал, а сам по собственному почину водил кобыл на случку в совхоз. Вот и пошли Жерех, Гнедой-

младший и Звездочка. Теперь-то, говорит, легко Малахову племенную ферму заводить...

— Пожалуй, он прав,— спокойно ответил Малахов.— С неба такие красавцы не валятся.

— Да вот, прав, а никто про это не знает,— недовольным голосом сказал Карамышев и подергал себя за ус.

— А это очень важно, чтоб знали?— спросил Малахов, с любопытством глядя на тренера.

— А как же?— встрепенулся гибким телом Карамышев.— На то и работаем, чтоб знали, кто что сделал в своей жизни. Взять хоть и Серегина. Придумал человек доброе для колхоза — его сняли, а тебе, выходит, честь и почет... Нет, ты вот так сделай, чтоб след остался! Прошло хоть и двадцать годов, а посмотрел в какую-нибудь запись, а там стоит фамилия и дело, которое человек совершил. Тогда будет справедливость.

Карамышеву почему-то казалось, что после его слов Малахов будет с ним спорить, возможно, даже обидится. Но, к его удивлению, Малахов согласился. Больше того— стал говорить о том, что это здорово интересно, что такую книгу надо непременно завести в колхозе. Да, да, и пройдет время — все станет иным. Вместо этой старой деревни, с ее деревянными домами, с узкими, словно плачущими окнами, с полутемными фермами, появится замечательный поселок, с такими же квартирами, как и в городах, с водяным отоплением, газом (прощай русские печки!), с водопроводом. Открыл кран — и бежит вода. Не надо ее таскать из колодца. И вот тогда соберутся люди, станут читать книгу нашего колхоза и увидят, как все мы вместе и каждый в отдельности думали, настойчиво искали, чтобы свой колхоз сделать лучше.

— Это будет родословная инициаторов. Из поколения в поколение она станет расти. И какой-нибудь внук увидит дела своего дедушки. И, скажем, узнает, что Карамышев Петр Николаевич первым придумал книгу инициаторов нашего колхоза, — с волнением закончил Малахов.

Карамышев удивленно смотрел на него. Больше всего тренера поразила та взволнованность, с какой говорил Малахов. Случайно он перевел взгляд на лошадей и увидел, как Гнедой-младший, изогнув свою красивую шею, трется о шею Жереха и тот отвечает ему таким же ласко-

вым движением. В этом было что-то очень хорошее, дополняющее слова Малахова.

— Прямо скажу тебе, Василий Николаевич, ты разволновал меня, — глуховато сказал Карамышев. — Я как-то о том, что будет, мало думаю. А ты мне ровно окошко открыл. Да и то сказать, думать-то некогда. Работать приходится много. И как-то завязнешь в своих делах и голову не оторвать от земли. А другой раз подымешь и такое, я тебе скажу, увидишь небо высокое, что дух захватывает... И захочется стать лучше, чище сердцем.— Карамышев помолчал, подергал ус. И вдруг громко захохотал. — Книга инициаторов! Я, говоришь, придумал? — И тронул руку Малахова. — Но только, слышь, давай в эту книгу впишем Серегина. По справедливости!

— Ну, а как же! Непременно Серегина впишем, — испытывая большое, ласковое чувство к Карамышеву, ответил Малахов.

В тот же вечер он поговорил с Дуней Свешниковой.

— Что ж, я не возражаю, — деловито сказала она.

— При чем тут не возражаю. До тебя, видно, не дошло,— загорячился Малахов. — Ты подумай, как это хорошо будет, когда каждый на своем месте начнет искать. Находить новое. Творчество появится, понимаешь? Ведь об этом в газетах говорят. Чтоб не исполнители, а творцы у нас были!

Дуняша наморщила лоб. Она была проста. Могла по-бабьи всплакнуть, посочувствовать и непременно сделать так, чтоб человеку стало хорошо. Колхозники ее уважали. Райком партии ценил за аккуратное выполнение всех указаний.

К тому, о чем говорил Малахов, она сначала отнеслась чисто по-деловому. Есть Доска почета, Доска соревнования, Доска выполнения плана, пусть еще появится Книга инициаторов. Но Малахов сумел и ее зажечь так, что она не только дала согласие, но на другой же день сама съездила в райцентр, купила большой альбом для рисования и попросила старшую дочурку (у той был красивый почерк) крупно написать на обложке, что это за книга, когда она начата, кому принадлежит. В ней появились первые записи: в самом верху — тренер Карамышев, предложивший идею самой книги. За ним шел Серегин — инициатор племеноводства на конеферме. Потом

Екатерина Луконина, по предложению которой были построены маслозавод и картофелетерка. И комсомолка Верещагина, создавшая драматический кружок.

Об этой книге сразу заговорили. Но так как желающих посмотреть ее было много, то Дуняша Свешникова, боясь, как бы книгу за короткое время не растрепали, придумала выносить имена инициаторов на большую доску возле конторы.

Новое всегда влечет. Каждому захотелось тоже что-нибудь придумать. И к тому времени, как вернулась из Москвы Екатерина Романовна, список увеличился чуть не вдвое.

Она приехала возбужденная, ошеломленная тем, что довелось ей повидать. Все эти встречи со знатными людьми, с генералами, академиками, писателями заполнили ее так, что все теснилось, требовало какого-то выхода. Ее потрясли своим величием залы Кремля, сама Москва, в которой ей не довелось бывать раньше. Но возбуждение ее несколько померкло, когда она увидала себя окруженной повседневной жизнью, какой жил колхоз, со всеми его трудностями, массой мелочей, со слезами старух пенсионерок, которым почему-то заместитель Пименов не выдал картошки, с рапортами бригадиров о невыходах некоторых колхозников, с падежом поросят. А тут еще попалась ей на глаза Доска инициаторов.

Прижмурив глаза, Екатерина Романовна долго стояла перед нею. Практическим складом своего ума она прекрасно поняла, к чему это ведет. Если бы только муж записал на себя маслозавод и картофелетерку, то на долю председателя ничего бы не осталось. И вышло бы так, что все думают, все умные, а ей нечего сказать, и она вроде пустого места. Еще больше взвинтила ее заметка в районной газете, в которой хвалили Карамышева.

— Прямо смех, — сказала она мужу. — Хоть бы уж ты додумался, а то на вот тебе — Карамышев!

— Зато посмотри, что с человеком делается. Во всякое дело лезет.

— Пусть за своим-то как следует смотрит, — тяжело шагая по комнате, сердито сказала Екатерина Романовна. И вдруг остановилась перед мужем. — Чего ж теплицу на меня не записали? Это все проделки, поди, Дуняшки Свешниковой!

— Она хотела записать, но я был против, — серьезно

глядя на жену, ответил Малахов. — Ведь это Шершнева инициатива...

— Вона! — только и сказала Екатерина Романовна.

Теперь она часто отлучалась из колхоза. У нее были еженедельные депутатские дежурства. Кроме того, ездила то в Н-ск, то в райцентр. Сидела в президиумах торжественных заседаний. К ней уже приезжали из областного издательства. Она рассказывала. За нее кто-то писал брошюрку о методах руководства колхозом. И ей давали на подпись уже сверстанную корректуру. Однажды приехали из кинохроники. И вскоре Екатерина Романовна, сидя среди своих односельчан в клубе видела на экране себя, фермы, доярок. Сильный дикторский голос рассказывал о больших успехах, достигнутых колхозом «Селяницы». И хотя в колхозе были недостатки, они не упоминались ни на заседаниях, ни в печати. А отмечалось только лучшее, что было в колхозе. Колхоз «Селяницы» прочно встал в тот незыблемый ряд хозяйств, которые могут служить только примером.

Все это убеждало Екатерину Романовну в том, что она правильно руководит хозяйством.

Первое время, возвращаясь из поездок, она еще советовалась с мужем, рассказывала о том интересном, что видела, слышала. Но потом как-то перестала. Возможно, сказывалась усталость. А позднее — привычка, когда значительное становится обыденным. Она уже не расспрашивала Василия, как он живет. Часто обрывала с ним разговор на полуслове, как бы говоря, что все это мелочи, а ее интересуют большие дела. И это равнодушие к нему начало тревожить Малахова. Он чувствовал: Катюша отдаляется от него.

Не прошло и месяца после того, как вернулась Екатерина Романовна из Москвы, и снова ее вызвали в столицу. Уже оттуда она сообщила, что едет с делегацией в Закарпатье. Было в ее взлете что-то сказочное. «Впрямь в сорочке родилась»,— удивленно думал Малахов, вспоминая слова Карамышева.

Все эти дни, пока Лукониной не было, дела в колхозе вершил угрюмый, малоподвижный заместитель Пименов. Он целыми днями сидел в конторе, предоставив бригадирам полную свободу. Если они обращались к нему, то он обычно говорил: «Вот уж приедет председательша, тогда и решим», так что его вскоре оставили в покое.

Разъезды Лукониной имели свои последствия. Колхоз без руководителя — уже не колхоз. Все работают, но нет единой руки, которая бы направляла. А тут еще пошли нелады с укрупнением. Скот из Рыбинки перегнали на молочную ферму в Селяницы. Коровы оказались малоудойными. Заведующая фермой Маклакова, вообще-то сдержанная женщина, начала горячиться, как только заметила, что общий надой по ферме стал снижаться. Заставила пастуха обратно гнать коров. Тот перегнал. Но корма остались в Селяницах. Бригадир по кормодобыванию Анастасьев, вместо того чтобы отвезти в Рыбинку сено, начал «пировать» — каждый день пропадал в чайной, где всегда были водка и бочечное пиво. А когда собрался наконец отвезти сено, оказалось, что сена уже нет. С досады он плюнул и пошел опять в чайную. В Рыбинке скот отощал. Надвигался падеж. Малахов кое-как расшевелил Пименова. И тот распорядился опять перегнать коров в Селяницы, пригрозив Маклаковой, что снимет ее с заведующих, если она не пустит скот на ферму. Та выругалась и пустила. Но теперь отказались работать доярки из Рыбинки. У себя они надаивали по три тысячи литров от коровы, получали дополнительную оплату, так как план надоя был всего две с половиной тысячи. Здесь же им план увеличили, и доплаты они лишились. В общем, началась такая неразбериха, что Пименов боялся и нос показать на ферму и с нетерпением ждал приезда Екатерины Романовны.

А ее не было. На улицах Селяниц иногда стали раздаваться песни среди бела дня. Начались поздние выходы на работу.

«Хоть бы Катюша скорее приехала», —тревожно думал Малахов.

Она вернулась в конце мая. Еще задолго до прихода поезда Малахов приехал с Олюнькой на станцию.

Май в том году стоял солнечный, ясный. Вначале прошли дожди, потом установилась мягкая погода, и земля быстро оттаяла. По ночам, после пахоты, от нее подымалось тепло. Старики предвещали урожайный год. Но весенняя пахота прошла в Селяницах с запозданием. С большим трудом кое-как вышли на среднее место по району. И то еще спасибо Дуняше Свешниковой да Малахову. Каждый вечер они после работы обходили участки, подтягивали коммунистов, если те не справлялись

с дневным заданием. А уж за коммунистами шли беспартийные.

Малахову было особенно трудно говорить с людьми. Ему мало верили. «За бабу свою хлопочет!» — говорили одни. «Депутат, как же!» — вторили другие. И только потому не отказывались прихватить и вечерние часы, что боялись — пожалуется председателю. А председатель в колхозе — власть! Так уж лучше отойти от греха. Все это Малахов замечал. И, как всегда, ему было больно, что многие люди не понимают, где их счастье лежит. И порой думал о том, что люди еще не знают по-настоящему, не постигли глубокого значения коллективного труда. Что еще довлеет над ними власть своего куска, пусть малого, но своего. И тогда он готов был сам все сделать за всех, лишь бы доказать их неправоту.

Сначала пионер, комсомолец, а потом коммунист, Малахов все слова партии, всю ее науку принимал в сердце как великую правду. И эта правда его никогда не обманывала. Он был счастлив верить ей. И не понимал и не любил тех людей, которые жили особняком, хитрили, думая только о себе.

Малахов нетерпеливо поглядывал на большие круглые часы, висевшие у подъезда вокзала. Как и всегда, он испытывал радостно-встревоженное состояние, ожидая Катюшу. Сладкая тоска охватывала его сердце от одной мысли, что вот она сейчас явится.

Из дверей вокзала повалил народ. Малахов приподнялся в коляске, высматривая в толпе жену, и увидел ее веселую, смеющуюся. Около Катюши жалась Олюнька. Толпа их вытолкнула на площадь, и они уже свободно подошли к коляске.

Малахов соскочил на землю. Встретился глазами с Катюшей и засмеялся от радости.

— Вспоминал ли хоть? — передавая чемодан, спросила Екатерина Романовна.

— Еще бы, — широко улыбнулся Малахов, — во сне стал видеть!

— Дядя Вася, мама и на самолете летала!— радостно говорила Олюнька. — Расскажи, мама!

— Ты-то расскажи, как жила?

— Хорошо! Ну расскажи, мама!

Они уже ехали окраиной, вдоль низеньких деревянных домов. В огородах копали землю. На припеке, у за-

боров, зеленела трава. Был май. Милый май! Когда все раскрывается навстречу солнцу

— Чудно́ летать! — весело рассказывала Екатерина Романовна.— Все-то облака под нами. Ну все равно как зимой по сугробам едешь. А то вдруг облака пропадут, и далеко-далеко внизу — земля. Большая, без края. Аж сердце замирает. И домики махонькие, и дороги как вот жилы на руке. А по ним машины бегают, ровно божьи коровки. А то вдруг облака мимо нас стоймя идут. Ну прямо чудо... Ты не летал?— спросила она мужа.

— Нет, — ответил Малахов, сворачивая на полевую дорогу.

Она взглянула на него. Как обычно, он был опрятен: сапоги начищены, побрит. Но в этот раз он показался ей со своей опрятностью каким-то незначительным, словно только и умел, что держать себя в чистоте.

А у нее перед глазами стояли приемы, какие ей оказывали в Закарпатье, номер в гостинице с ванной, которую она принимала два раза в день. Уж так ей понравилось купаться в ванне!

— Еще, мама, расскажи что-нибудь!

— Вот так и летала. Сначала страшно было, а потом приобвыкла. Обратно-то уж запросто.

— Как Закарпатье?— спросил Малахов, погоняя тяжеловатого, но старательного жеребца Оврага. — Я ведь бывал там в войну.

— Гор много. В городах чистенько. Домики опрятные. Но вообще-то ничего особого. На машине возили нас. Условия, конечно, создали нам хорошие. — Она сидела довольная, важная, как говорят, «знающая себе цену». — А тебе, доченька, я привезла костюм вязаный, — сказала она, прижимая к себе Оленьку.

«Костюмчик привезла. Будто на базар съездила», — вдруг подумал Малахов.

— Ну, что у вас нового?— донесся до него голос жены.

— У нас? У нас неладно, Катюша. Нельзя тебе так часто отлучаться из колхоза. Еле уложились в сроки по севу.

Они ехали полями. По обе стороны от них свободно лежала земля соседнего колхоза. Дымились зеленым огнем озими, в наклонку работали женщины, высаживая рассаду.

— Что ж так? — недовольным голосом спросила Екатерина Романовна.— Выходит, и положиться нельзя ни на кого?

— Да ведь еще многое не сделано, — заметил Малахов. — Столько огрехов в хозяйстве, куда там!

— Неужто!— отрывисто произнесла жена. — Ну да ладно, вот приеду, наведу порядок. А ездить я, Васенька, буду. Дела того требуют. Какой же я депутат, если дальше своего колхоза носа не покажу...

— Да ты погляди, что с колхозом делается! Не успели рассаду высадить, как сорняк забил. Мужики пьянствуют. С тебя ведь все спросится.

— Велико дело — сорняки! Выполем. А что мужики пьют, так когда они не пили-то? И брось-ка об этом думать. Не порть встречу! — с досадой закончила она.

Приехав в село, Екатерина Романовна не пошла домой, а сразу же направилась в контору. Пименов облегченно вздохнул, увидя ее. С удовольствием уступил место за председательским столом.

— Ну, что здесь без меня наработали?— спросила она, сбросив с головы шелковый платок.

— Да вот, добиваюсь концентратов. Как ты уехала, все обещают, — виновато ответил Пименов.

Концентрированные корма для скота действительно было получить нелегко. По плановой разнарядке они все выбрали. Но своих кормов уже не было. И Екатерина Романовна перед отъездом сумела через Шершнева добиться сверхплановых. Поэтому дело оставалось только за тем, чтобы их вывезти.

— Э, хуже бабы!— сквозь зубы сказала Екатерина Романовна и позвонила в обком.

Трубку взял Шершнев. Что-то спросил. Она ему ответила:

— До отдыха ли, Сергей Севастьянович, и домой не заходила.

Он еще ей что-то сказал. Она засмеялась. Пименов удивленно смотрел на Екатерину Романовну и не понимал, как это можно вот так свободно разговаривать с высоким начальством. Он же обычно бывал рад-радешенек, если начальство его не замечало.

Переговорив с Шершневым, Екатерина Романовна опять стала серьезной. Сказала, чтобы Пименов наутро собрал всех бригадиров и заведующих фермами.

Зазвонил телефонный звонок. Ее вызывал тот самый Иванов, который не отгружал концентраты. С ним она говорила полушутя-полусерьезно, но за ее шутками чувствовалась сила.

— Вот так, Николай Иванович, давай-ка работать,— говорила она, постукивая пальцами по столу. — Чего прошу, так уж исполняй, а не то встретимся — последние волосенки с бороды выдеру. Не больно-то она у тебя густа. — И, положив трубку, сказала Пименову: — Наряжай машину. Да попроворней.

Пименов опять не мог не удивиться тому, как быстро все решилось у Лукониной.

После этого Екатерина Романовна еще с час пробыла в конторе. Просматривала сводки, документы учетчика, акты и собралась было уже уйти, как в комнату быстро вошла Дуняша Свешникова.

— Бегом бежала, как узнала, что ты приехала,— тяжело дыша, сказала Дуняша.— Ну, как съездила, хорошо?

— Съездила-то хорошо, а вот пока меня не было, вы чуть сев не завалили, — строго посмотрела на нее Екатерина Романовна.

Опять зазвонил телефон.

— Луконина слушает. Совещание? Хорошо. Буду. — Она поднялась. — Вот так-то, Дуняша. Порассказала бы, да некогда.

— Я не затем бежала, чтоб узнать, как ты съездила,— с обидой в голосе сказала Дуняша. — О колхозе хотела поговорить. Без тебя прямо как без рук.

Последние слова, видимо, польстили Екатерине Романовне. Она снисходительно положила руку на голову Дуняше. Посмотрела в ее маленькие черные глаза, окруженные сеточкой морщин, и ей стало жаль эту невзрачную женщину, которой вряд ли когда доведется выйти в знатные люди.

— Все-то ты ездишь на совещания, — продолжала Свешникова, — а колхоз — ровно ребенок заброшенный.

— Был бы плох колхоз, ругали б, а нас всюду хвалят, — резко сняв руку, сказала Екатерина Романовна.

— Да за что хвалят-то, Катюша? Все по старой памяти — за ферму да маслозавод. Передовой, передовой кричат, а чего в нас передового? Вон сев-то еле вытянули!..

— Не пойму, чего вы тут паникуете. Мой тоже мне долдонит. И ты еще тут! Завидки вас, что ли, на меня берут? Поди-ка, Шершнев Сергей Севастьянович меньше тебя понимает! Ты вот лучше поглядывай за курями. По сводкам-то не ахти какие у тебя несушки. Да приготовь брудер: завтра цыплят в совхозе достану.

И, не прощаясь, ушла.

Вечер стоял теплый. Солнце спокойно уходило за Волгу. С пастбища гнали по улице скот. Коровы, мыча, расходились по прогонам. Овцы, жалобно блея, метались у закрытых калиток. Их тоскливо-тревожные голоса, знакомые с детства, как-то еще больше усиливали то сложное состояние, в котором находилась Екатерина Романовна. Ей все это было и близко и дорого, и вместе с тем как-то не нужно. После Москвы и Закарпатья, этой совершенно иной жизни — большой, возвышенной, ей уже все, с чем бы она ни соприкасалась в своем колхозе, казалось мелким. Ее раздражали разговоры с мужем, со Свешниковой. Катюша была твердо убеждена в том, что эти люди (уж так получалось, и в этом она не виновата) оказались где-то далеко внизу, в то время как она поднялась, достигла верхов. И где им понять то, что ей совершенно ясно. Если Шершнев называет ее «самородком», то он, значит, ценит ее. Так почему же всякие Свешниковы стараются принизить ее авторитет? И Василий тоже хорош. Нет чтобы гордиться женой, так туда же: «Не езди больше!» Поди-ка, не знаю, что делаю...

Она завернула к конюшне, хотя и не думала до этой минуты туда идти. Но на сердце кипело, и хотелось досадить Василию.

Тренер Карамышев сидел в беговой качалке. Жерех свободно бежал по кругу, направляемый чуткими руками тренера. Малахов стоял у ограды с секундомером в руке и наблюдал. «Конечно, с часиками куда проще стоять,— недружелюбно подумала Екатерина Романовна, подходя к мужу. — Невелико занятие. Дорвался до лошадей и рад-радешенек». Она забыла о том, что и сама когда-то начинала с доярки и что именно ферма помогла ей прославиться. Теперь все это казалось ей малозначительным.

— Смотри, не осрами на бегах, — прижмурив глаза и следя за красивым бегом Жереха, сказала Екатерина Романовна.

— За Жереха бояться нечего. Он хорош. Вот Звездочка не натужлива, быстро выпаривается, — ответил Малахов.

— Значит, не выпускать ее. А то еще скажут, что Екатерина Романовна каких-то лошаденок незадачливых поставила.

Эти слова неприятно кольнули Малахова.

— Как-то ты странно рассуждаешь, Катя,— заметил он. — А нам-то разве всем безразлично, как покажут себя наши кони?

— С вас спрос невелик, а Лукониной позориться не пристало.

Карамышев остановил коня.

— Ну как?— выскакивая из качалки, спросил он.

Малахов только сейчас вспомнил, что не засек время. Досадливо сунул секундомер в карман.

— Прогуляй его — и в денник, — сказал он. И когда повернулся к жене, то ее уже не было.

Быстро и решительно она уходила от него.

С этого дня у Малахова возникло сложное отношение к жене. Одна мучительная мысль всюду его преследовала. Он знал, что рано или поздно не только он, но и все увидят громадное несоответствие между громкой славой жены и колхозом, который ничего собой не представлял.

А Екатерина Романовна все ездила: то на заседания, то на совещания. Она сидела только в президиуме. Иногда выступала, читая по листку чужие, совершенно не свойственные ей слова. Потом эти слова печатались в газетных отчетах, передавались по радио. Шершнев запросто брал ее под руку, прогуливаясь во время перерыва. Подзывал других знатных людей и, разговаривая, шел, окруженный Героями, орденоносцами. К ним подбегали фотографы, нацеливали аппараты. Снимки появлялись в газетах. Словом, две жизни заполняли Екатерину Романовну, из которых одна была красивой, на виду, и другая, состоящая из нудных забот, постоянных дерганий, когда кому-то чего-то надо, когда каждый считает себя вправе требовать, а она должна выполнять эти требования.

Положение Екатерины Романовны помогало ей вести хозяйство. Депутат страны, Герой, женщина-председатель — все это имело значение в глазах местных руководителей. И если ей требовались для фермы дополнитель-

ные корма (а своих кормов обычно не хватало), то их давали. Шефы бесплатно строили теплицу, проводили водопровод, строили кормоцех. Директор МТС в первую очередь направлял лучшие машины в колхоз «Селяницы». Екатерине Романовне ничего не стоило снять трубку и позвонить Шершневу в любое время, и тот давал соответствующие указания тем или иным лицам, и «лица» делали то, что нужно было для колхоза «Селяницы».

— Но это же иждивенчество,— говорил Малахов Дуняше Свешниковой.— Надо самим создавать кормовую базу, а не просить подачек. И механизировать мы должны сами, а не за счет шефов. Ты гляди: мужики-то на работу ходят через пень в колоду. А уборка начнется, опять просить помощи у горожан? Это все потому, что на чужое надеемся.

Но Дуняша не соглашалась с ним. Она была довольна той силой, которой обладала Екатерина Романовна, и считала, что все это так и должно быть.

— Мудришь ты,— вздыхая, говорила Дуняша.— С Катюшой-то хорошо живешь?

— Занята она. Ездит много,— уклончиво отвечал Малахов и уходил, испытывая чувство неудовлетворенности.

Но все же порой и у Екатерины Романовны бывали часы раздумий. Она хотела понять мужа. И как бы новым взглядом смотрела на хозяйство. Обходила фермы, поля. Кое-что ей не нравилось. Но в целом все казалось таким, каким и должно быть. И тогда глухое чувство неприязни к Василию охватывало ее. «Чего ему нужно?— раздражаясь, спрашивала она себя.—Может, и его завидки берут? Так ведь, господи, Васенька, разве я не была б рада, чтоб и ты встал в ряд со мной. Вот отличись на лошадках— может, и тебя заметят. Да нет, не дают Героя за лошадей-то... В полеводство ежели тебя перевести? Дал бы ты геройский урожай. Да вряд ли на наших землях этого добьешься...»

— Ну, присоветуй мне, как сделать, чтоб и ты был на виду?— спрашивала Екатерина Романовна.

— Зачем? Мне и так хорошо,— отвечал Малахов.— Я о тебе думаю.

— Опять обо мне! Не пойму я, чего ты хочешь от меня!

— Слава-то не по делам раздута. Разве не видишь? Вот и хочу, чтоб уважали тебя.

— Поди-ка, меня не уважают,— насмешливо глядела на мужа Екатерина Романовна.— Совсем уж ты стал заговариваться...

— Ну как тебе объяснить!— с болью говорил Василий.

— Все я понимаю. Нечего мне объяснять.

— Не понимаешь ты!

— Неужто! Не понимала б, так не была бы и депутатом!— словно победный козырь, бросала она эту фразу. И уходила.

Теперь уже не было тех простых, ясных отношений. Кончились прогулки по Волге. Чем больше Малахов тревожился за жену, тем холоднее становилась она. Нужен был только небольшой повод, чтобы произошел взрыв. И повод такой нашелся.

На ипподроме бега начинались в одиннадцать дня. Здесь был собран цвет лучших конеферм области. Три совхоза, воинская часть и пять колхозов прибыли бороться за свою честь. Под навесом собралась публика. В центре уселись руководители области. Даже издалека была заметна тучная фигура Шершнева в чесучовом пиджаке и черной шляпе. На траве, за беговой дорожкой, сидели ребятишки.

День выдался тихий. До Карамышева доносился глуховатый, невнятный, словно прибой, говор народа. Гнедой-младший нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Бил копытом землю.

— Спокойней, спокойней,— говорил ему Карамышев.

Он и сам волновался. Но волнение было не от предчувствия провала, а от нетерпения. На Гнедого-младшего и Звездочку он мало надеялся. Но Жерех должен был прославить колхоз.

Началась проминка. По желтому кругу побежали лошади. Гнедой-младший, чуть заворачивая морду, шел легко и уверенно. Карамышев, проезжая мимо трибуны, отыскал напряженное лицо Малахова. Качнул ему головой, как бы говоря не то ему, не то себе: «Ничего. Пока все хорошо».

Но хорошего оказалось мало. На первом же кругу Гнедой-младший далеко отстал от серого в яблоках жеребца воинской части. Тот, распластав свое длинное тело, далеко забрасывая ноги, шутя ушел вперед. Это вызвало смех на трибуне. Смеялись над Гнедым-младшим.

Екатерина Романовна, нервно комкая платок, позабыв про эскимо, таявшее в руке, сурово глядела на позор своего колхоза.

Несколько минут дорожка была пуста. Ударил колокол. Новая пара помчалась по кругу. Екатерина Романовна следила за ней без интереса. Так же глядела и на следующую. Но как только вышла Звездочка, почувствовала, что стало трудно дышать. Не отрываясь, она смотрела то на нее, то на Карамышева, который, как и в первый раз, сидел, чуть подавшись вперед. Звездочка сразу же вырвалась. Но Карамышев слегка придержал ее. Теперь Звездочка пошла ровно, чуть касаясь подковами песка дорожки.

Мимо трибуны прошуршала резиновыми шинами качалка соперника из колхоза «Первое мая». На ней сидел сухонький, белоголовый, похожий на одуванчик старик. С трибуны закричали. Но он даже не повернулся. На втором круге он сидел так же спокойно, но расстояние между его тяжеловатой кобылой и Звездочкой сократилось. Екатерина Романовна гневно посмотрела на мужа. Малахов ел мороженое. Звездочка отставала. Тогда Екатерина Романовна, уже не владея собою, зло дернула мужа за руку:

— На позор выставил?

С трибуны донеслись радостные крики первомайцев. Старичок раскланивался.

— Екатерина Романовна! — окликнул ее секретарь райкома. Он пробирался по рядам.— Шершнев зовет.

«Ругать будет»,— тревожно подумала она.

Шершнев показал ей на свободное место рядом с собой.

— Зачем вы приняли участие в бегах?— сухо спросил он.

Екатерина Романовна молчала.

— Впредь прошу советоваться. Вы не должны себя компрометировать. Еще лошади есть в заезде?

— Есть.

— Снимите.

— Хорошо.— Она решительно прошла к мужу.

— Набегался! Хватит!— пылая от злобы и обиды, сказала она.— Сейчас же сними Жереха.

— Жереха?— удивленно поглядел на нее Малахов.— Ты что? Жерех — наша ставка!

— А я тебе говорю: сними!— Ее глаза стали темными.

— И не подумаю.

— Молчи уж!— Екатерина Романовна торопливо сбежала по лесенке, пересекла зеленое поле.

— Сейчас же всех лошадей домой,— сказала она Карамышеву.

— Да ты что, Екатерина Романовна? Как же так можно?— заволновался Карамышев.— Ты погляди, как мы сейчас их обшпокаем!

— Хватит! Нагляделась! Только позорите! Домой!

Карамышев отчаянно махнул рукой, выругался и пошел за Жерехом.

Дома разыгралась бурная сцена.

— Это ты нарочно все сделал!— кричала, плача, Екатерина Романовна.— Чтоб только принизить... Тебя завидки берут, что я так поднялась.

— Что ты говоришь, думай!— бледнея от гнева, отвечал Малахов.— Жереха сняла! Жереха!

— Все думаю! Все вижу! Спасибо тебе, Васенька. Ввек не забуду! Такая-то твоя любовь?

— Катя?

— Что Катя? Что?

В злом запале она готова была поносить его любыми словами. Он это понимал. Понимал и то, что потом ей будет стыдно. И чтобы уберечь ее, ушел из дома.

Долго ходил по берегу. Думал. Да, слишком все сложно получилось. Надо было что-то придумать такое, чтобы она поняла свою неправоту. Так дальше жить становилось невозможно. И, борясь за жену, за свою любовь, он решил поехать к Шершневу.

8

Шершнев явился только к вечеру. Все это время Малахов, ничего не евший с утра, просидел в приемной. Ему смертельно надоело смотреть на стены с ковровыми обоями, слушать четкий удар маятника больших, стоявших в деревянном футляре часов. Его томила тишина, негромкий голос девушки-секретаря, кому-то отвечавшей по телефону. И он облегченно вздохнул, когда наконец-то явился Шершнев.

Прошло минут десять, и девушка пригласила Малахова в кабинет.

Шершнев с кем-то говорил по телефону. Свободной рукой он указал на кресло. Малахов увидал на его лице улыбку. Сел.

— Что скажете?— спросил Шершнев.

— Я муж Лукониной.

— Помню.

— Пришел к вам поговорить,— начал Малахов, испытывая то обычное затруднение, какое часто охватывает человека при разговоре с официальным лицом.— Что-то неладное творится с женой.

Шершнев приподнял брови.

— Ну вы сами посудите, ведь такая ей слава... Уже вся страна знает Луконину,— смотря на Шершнева, говорил Малахов, с трудом подыскивая слова, чтобы высказать то, что мучило его.— А колхоз-то ведь ничем не замечателен. Его подымать надо. А ей не под силу. Всего три класса окончила. Как же ей руководить? Учиться бы. А она не может. Все совещания у нее, заседания. Прежде времени выбрали ее председателем.

— Что-то мне вас трудно понять,— сказал Шершнев.— Вы что же, против того, чтобы простые люди из народа шли к руководству?

— Нет. Я не против. Но ведь не всякая же хорошая доярка может быть хорошим председателем колхоза. Вот я к чему говорю. А Катюша малограмотна...

— Это, конечно, жаль, что Екатерина Романовна малограмотна.— Шершнев пристально посмотрел на Малахова.— Но у нее так сложилась жизнь. И это не может быть причиной, чтобы мы таких самородков, как она, не выдвигали на руководящие посты.

— Но ведь ее надо учить. Ей нужна культура, знания,— перебил его Малахов.— А у нее этого нет. Она даже не может понять того, что стала о себе очень высокого мнения.

— А-а...— качнул головой Шершнев.

— Мне думается, будет правильно, если она вернется на ферму. Тогда ей будет легче. За работу на ферме ее наградили. Оттуда ее слава пошла. А теперь она председатель. И для председателя получается: слава у нее дутая.

— Вы что, не любите жену?— Шершнев встал. Поглядел сверху на Малахова.

— Люблю. Только потому и пришел, что люблю.— Малахов тоже встал. Он был одного роста с Шершневым.

— Домостроевщина в вас говорит, вот что я должен вам сказать. Как это так вдруг: жена — и оказалась выше. А?

— Какая там домостроевщина!— воскликнул Малахов.— Боюсь я за нее.

— Вы коммунист?— резко спросил Шершнев.

— Да.

— С какого года?

— С тысяча девятьсот сорок второго.

— Тем более. Ваша задача — помогать Екатерине Романовне, а не подрывать ее авторитет, как это вы сделали на ипподроме. Она останется председателем. Обком Луконину в обиду не даст. И вы за нее не бойтесь.— Шершнев подал Малахову руку. Улыбнулся, глядя серьезными глазами, словно прощупывая.— Передайте Екатерине Романовне мой привет.

После ухода Малахова Шершнев несколько секунд задумчиво смотрел перед собой, потом снял телефонную трубку и вызвал Луконину. Услышав ее властный, твердый голос, невольно улыбнулся. Он знал: стоит ему только назвать себя, как этот голос смягчится, приобретет теплые тона. Так оно и случилось. Шершнев расспросил ее о делах, поинтересовался работой молочной фермы, удивился, узнав, что надои снизились, и пообещал ей помочь кормами. И потом уже, как бы между прочим, спросил:

— А чего ж ты с мужем-то не ладишь?

Наступило молчание.

— А откуда вы знаете? Был он, что ли, у вас?— негромко спросила Екатерина Романовна и рассказала, что муж не понимает ее, завидует ей.

«Ну, правильно,— подумал Шершнев,— так и я решил».

9

Домой Малахов вернулся на другой день утром. И не успел раздеться, как из горницы до него донесся не то вздох, не то стон. Он быстро прошел туда и увидал на постели жену. Она лежала ничком, обхватив подушку, и плакала.

— Катя... Катюша...— позвал он, каким-то особым чувством понимая, что случилось непоправимое несчастье.

Она резко подняла голову. В ее глазах стояли злые слезы.

— Чего тебе надо?— Она посмотрела на него как на чужого.

— Да что случилось-то?— спросил он, подходя ближе.

— Через слезы я тебе говорю, Вася... Ошиблась в тебе. До чего же нехороший ты!

— Да чем?— уже догадываясь, что она знает о его поездке в обком, спросил Малахов.

— Мне Шершнев все рассказал. Вечером позвал к телефону. И не стыдно тебе губить меня? На ферму захотел отослать?

— Он тебе сказал?— чуть не шепотом спросил Малахов, хотя в душе и не думал ничего от нее скрывать. И сразу понял, каким же он должен казаться в ее глазах низким.

И верно: она смотрела на него чуть ли не враждебно. Вспомнила Георгиевский зал в Кремле, высоких по духу людей, ту торжественность и чистоту, которые ее окружали тогда, вспомнила и устало сказала:

— Не говори ничего, Василий... И не подходи!

Она повязала голову платком и ушла.

Малахов долго стоял посреди кухни.

— Что же мне теперь делать?— вслух проговорил он.

Вышел на улицу. Солнце сияло на небе. Весело потряхивали молодой листвой березы. Высоко в небе летали ласточки. С поля доносилась чья-то песня. Опустив голову, он пошел на этот далекий голос. «Из-за моря, моря теплого птица прилетела»,— вспомнились слова Катюшиной песни. К сердцу подступила боль, хотелось плакать от громадного желания мира и любви. Малахов шел медленно, напрямую, без дороги. Буйно зазеленевшая трава мягко касалась его ног. Покорно ложилась под его сапогами. Прижатая к земле, она несколько минут лежала, сохраняя след, потом начинала подниматься и, встав, весело качала верхушками, радуясь солнцу, ветру, жизни.

До самой Волги, если идти луговиной, попадаются небольшие бочажины, полные до краев воды. В летний зной, сухо потрескивая крыльями, летают над кувшинка-

ми стрекозы. В густой траве целыми днями неутомимо стрекочут кузнечики. Цветут травы...

Малахов словно в последний раз глядел на все это. И подмечал то, чего никогда не приходилось ему видеть. Вдруг колокольчики начинали раскачиваться, и ему казалось — до него доносится их нежный звон. Ромашки становились похожи на загорелых девчат в белых платьях. Они смотрели на него и о чем-то шептались. Чуть ли не из-под ног выпархивали жаворонки и, не боясь его, пели ему песни. Налетал ветер с Волги, играючи тормошил травы, дергал кусты, дул на воду в бочажинах. Все оживало, радовалось ему: колокольчики сильнее звонили, ромашки склонялись еще ближе друг к другу, поверяли свои луговые тайны. Кусты припадали к воде, чтоб не тревожилась мирная гладь бочажин.

И оттого, что здесь было так хорошо, еще сильнее становилась боль в сердце у Малахова.

Он вышел на Волгу. Воспоминания обо всем добром, счастливом, что было связано с Катюшей, хлынули на него. Столько родного было в этой большой, красивой реке! Легко и величаво несла она свои прохладные воды. В них отражались небо, солнце, берега, птицы, города, пароходы. И все это было чистое и прекрасное. И на какое-то мгновение Малахову показалось, что не было страшного утра, когда Катюша смотрела на него злыми глазами, не было тяжелого разговора — ничего не было. Но тут же все это встало перед глазами так явно, что он чуть не застонал. «Не может быть,— подумал он,— этого не было. Ведь ничего плохого он ей не хочет. Он ее любит. Надо объяснить. Она поймет. И тогда все будет хорошо. Вернется спокойное счастье».

С жалобным писком упал камнем с поднебесья ястреб. И через минуту стал медленно подниматься, держа в когтях серую птицу.

Торопливо, словно боясь опоздать на поезд, Малахов пошел обратно. И чем ближе подходил к дому, тем быстрее шагал. Запыхавшийся, встревоженный, вбежал в дом. И, не веря глазам, все смотрел, искал Катюшу и в кухне и в горнице. Но ее не было.

Напрасно он ждал ее в этот день. Она не пришла. Ее вызвали в облисполком. А когда через два дня вернулась, это была совсем другая женщина. Ей не было никакого дела до Малахова.

Продолжая любить ее, он все же решил уйти. Все эти дни Екатерина Романовна старалась его не замечать. Малахов понимал ее: то, о чем он говорил с Шершневым, она воспринимала как самый бесчестный поступок, и никакие теперь слова и заверения не могли открыть ей ту единственную правду, рожденную любовью к ней, с какой он шел тогда к Шершневу.

«Прощай, Катя!

Я ухожу, так лучше. Жаль Олюньку. Наверно, ей будет грустно. Дети всегда страдают, когда родители живут не в ладу. У нас было много хорошего, поэтому особенно трудно уходить.

Василий».

Малахов положил записку на стол. Прижал ее, чтобы не сдуло ветром, Олюнькиной чернильницей. Долго стоял, не решаясь уйти из дому. Потом взял чемодан и, не оглядываясь, покинул дом.

Когда Екатерина Романовна вернулась домой (она была на совещании в МТС), застала Олюньку в слезах. Кусая губы, она подала матери письмо. Это была уже большая девочка, рослая, ясноглазая, в мать. Дяденьку Васю она любила как отца. За все время, с тех пор как он пришел к ним в дом, ни разу ее не обидел. Он умел из пустяков делать ей счастье. Еще задолго до клубного вечера говорил о том, что непременно ее возьмет, что ей надо принарядиться. И Олюнька всю неделю, до воскресенья, жила этой радостью. Теперь этого больше не будет.

Когда она была маленькой, не было праздника, чтобы он не сделал ей подарка. Она еще спит, а уже рядом, возле подушки, лежит подарок. И стоит ей только проснуться, как она увидит его. И тогда, вскочив с кроватки, она бежала в одной рубашонке к дяденьке Васе и, повиснув на его крепкой шее, болтала от восторга ногами. Малахов, словно его щекотали, заливисто смеялся. Глядя на них, смеялась Екатерина Романовна.

«Да не меня, не меня — маму целуй!»— кричал дяденька Вася.

«И маму, и маму!»— кричала Олюнька и бежала к матери.

Неужели не будет больше этих счастливых минут? Это он научил ее делать уроки. Все говорил, что она и сама справится, без его помощи. Теперь ей четырнадцать лет. Семилетку окончила на отлично. Дяденька Вася говорил ей: «Надо дальше учиться». Говорил, а сам уехал...

— Мама, зачем же он уехал? Мама!

В открытое окно донесся с Волги протяжный гудок парохода. Екатерина Романовна кинулась к окну.

В синем сумраке величественно и строго плыл белый пароход. Вот он зашел за церковь, скрылся. Потом медленно начал выходить, с освещенными иллюминаторами. Становился все больше и больше, оторвался от церкви и, быстро удаляясь, скрылся за маслозаводом. Потом еще раз показался. И долго Екатерина Романовна смотрела ему вслед, пока он не стал еле различим. Но даже и тогда, когда его уже совершенно не было видно, она все еще смотрела на него ищущим взглядом. Может, на этом пароходе уезжал Василий. И впервые за последнее время она вдруг подумала о муже беззлобно, как о самом дорогом, близком ей человеке, и со всей ужасающей ясностью поняла, что он от нее ушел. И что она никогда больше не увидит его. Где он? Куда ушел? Велика страна...

— Ой, хорошо живу, Мария. Добро! У меня все есть. Корова, пара кабанов, овцы, куры. Веришь ли, еще прошлогодняя свиная тушенка в банках лежит в погребе. Вот нынче сенокос, жара, видишь, какая, а моя Катя достает с погреба банку, крышку на сторону, и все, что есть,— на сковороду, в картошку. Только скворчит... Мы — земля, Мария! Ты вот спроси про Николая Васина, тебе каждый укажет на меня, и никто зряшное слово не бросит обо мне. Я что? Я — работник, сестра. Вся моя жизнь тут, в Заклинье. От своей родины я ни на шаг... Нет, я не к тому, чтобы тебя корить. Ушла — ладно. У каждого свой путь...

— Я не раскаиваюсь, хоть бы и корил. Хоть жизнь увидала. Теперь-то своя квартира, отдельная. Разве я мучусь с дровами или водой, как твоя Катя? Забыла, что такое и печка. На газе все готовлю. Батареями обогреваемся. Уже давно живем хорошо. А ты сколько мытарил, пока стал жить в достатке.

— Было, Мария, не скажу, было. Но перетерпел все и теперь только об одном жалею — лет много. Веришь ли, никогда ране так не жалел, как теперь. Жить хочется... И вот даже обида берет, будто кто по какой несправедливости накидал мне пятьдесят с лишним годов, в то время как другому всего тридцать, а то и того меньше. Выйду поутру на крыльцо и гляжу на поля, на деревню, на Старицу с ее вязом,— вяз-то помнишь?— на деревню гляжу, ведь с мальцов ее знаю, и до того родным ото всего потянет, что другой раз слезу прошибет. Чибисы на полях кричат. Скворцы пролетят стаей. А под ногами ромашка качается. И небо... Стою и думаю: да неужели же все это от меня уйдет? Да за что же такая несправедливость? Ведь ты же знаешь, чего я только не претерпел за свою жизнь. И голодал, и холодал, и на финской был, и Великую Отечественную всю провоевал. Вона нога покалеченная, щеку осколком взбугрило. Петька Самсонов все смеется — кто-то, говорит, из-за моей физии другой выглядывает... А чуток бы поближе к носу царапнуло — и поминай как звали.

— И не говори. Еще счастливый ты.

— Ну! А после войны, Мария... Да что тебе рассказывать, ты в самую разруху ушла, метнулась, а я все на себе испытал... Нет, я не к тому, чтобы тебя корить, нет, но чтоб ты поняла, как мне было весело. Фильм такой показывали — «Председатель», смотрела, наверно? Вот все так и у нас было, только еще посолонее. Ну да прошло, и нечего ковырять. Я теперь, Мария, полюбил заглядывать вперед. Много интересней получается, чем оглядываться назад. Да и черт с ним, с плохим, когда хорошее подпирает...

— А и живой ты, как и раньше, братец. В самодеятельности не играешь?

— Нет, это по молодости взбрыкнуть. А теперь уж другие дела. А ведь что, ничего получалось, а?

— Еще как!

— Помнишь, в Замесах Петька Самсонов поднял кинжал и махнул им, будто в меня ткнул, а я тут же как давану бычий пузырь, он у меня под рубахой с красными чернилами был. Ну, кровь тут и хлынула, аж брюху стало холодно. А рубаха-то белая. Бабы заорали, кричат- «Убили!», старики суматошатся, чтоб Петьку ловили, а я лежу на сцене, весь залитый красным, и то подыму руку, то опущу. Вроде умираю...

— Тогда у тебя натурально получилось.

— Ну! От сердца играл, без денег.

— А что, и Петр Самсонов не играет теперь?

— Да ведь ему уж под шестьдесят. Ты все думаешь, молоденький, что ли? Крючок уже. Да к тому же и курит много, и с фильтрами, и без фильтров, и махорку, и «гвоздики», и папиросы — все, что подвернется. Тут сбытчик угостил его сигарой...

— Какой сбытчик?

— Да Михаил Семенович, есть такой человек, с городу он. Так Петька чуть не задох от кашля, аж до самой земли его согнуло. Петуха пустил с дробью. Ну уж и посмеялись мы в цеху. «Тебе бы, говорю, овечий дых курить на бадаге». Так он еще пальцем грозит. Не соглашается... А я бросил курить, Мария. Вот уже пятый год не смолю. И веришь ли, помолодел. Одышки не стало. Ой, добро не курить-то, добро! А зачем век-то свой укорачивать? И так недолог.

— Ишь ты, какой стал рассудительный. Раньше-то без оглядки шагал.

— То раньше. Раньше-то ночи на любовь не хватало, а ныне тянется, как дорога осенняя.

— Дю, пошел месить!

— О, Катя явилась!.. Да я так, матка. Надо чем-то сестру занять. А мне на работу пора. Иду. А ты, Мария, отдыхай, ходи, вспоминай. А я на работу, Мария. Так что уж не серчай. Вечером договорим, что сейчас не успели.

— Да ладно, ладно, иди. Не на один день приехала. Еще надоем.

— Не надоешь. Рад тебе... Живи, живи, Мария. Ходи, вспоминай. Ах, хорошо! Ах, ладно, что ты явилась!— приговаривал Николай Васин, шагая по дороге к деревообделочному цеху и поглядывая на все с истинным удовольствием, и все виделось ему светлым и чистым, словно омытым теплым дождиком,— и высоченные, под самое небо, лохматые тополи, положившие на грейдер плотные, несдвигаемые тени, в которых нежилась овца с ягнятами, и новенькие, будто на картинке, разных веселых цветов дома под шифером, с резными наличниками, и цветы в палисадниках — длинноногие мальвы в сатиновых передничках, и даже гудение в телефонных столбах было отрадно, как праздничная музыка.

Такое приподнятое настроение появилось у Николая Васина с прошлого года, когда он определился на работу в цех, токарем по дереву. И не то чтобы незнакомое до этого рукомесло увлекло его, нет, хотя запах свежей стружки всегда ему нравился, с самого детства, когда дед или отец что-либо теслили. Заманивало иное — заработок. До двухсот стал выгонять в месяц. Да без надсада в сухом, когда с крыши не каплет, и в окна, если глянуть, видна вся излука Старицы с ее склоненными ветлами. И свет в длинных трубках над головой, как днем. Чего не работать, да еще при своем-то хозяйстве. Считай, чуть ли не чистенькими клал весь заработок на книжку. На сахар, хлеб, соль хватало жениной пенсии. А его денежки шли на чего другое, о чем раньше и не мечталось. Скажем, как-то захотелось к Первомаю купить телевизор — пожалуйста, только за день предупредил заведующую сберкассой, чтоб деньги припасла, и поехал в райцентр и купил, да не какой-нибудь «Рекорд»,

а «Рубин» купил. Да еще пожалел, что цветного не было. Вот так стал жить Николай Петрович Васин, будьте здоровы! Стиральную машину по заявке на дом привезли. Сначала будто к огню подходила к ней супружница Катерина Афанасьевна, а потом, когда освоила, толкнула его локтем в бок, чего давно не случалось, и так это игриво поглядела на него, будто молоденькая. А что, и в самом деле от такой жизни, какая пришла наконец-то, помолодеть можно. А все цех. Да, от него пошла такая жизнь. Вот он выползает из-за древнего кладбища. Длинный, вытянутый по берегу Старицы, с кучами намокших от дождей опилок, стружки, деревянных обрезков на дворе, с наваленным костром кривых берез, ольхи, осины. Растет цех. Была клетушка, а теперь стало целое производство. Гудок бы — совсем завод. Соревнования на лучшего токаря начали устраивать. Что ни квартал — на «огонек» в клуб собираются. Премии вручают. Куда там, жизнь!»

А все Михаил Семенович, как говорится, дай бог ему здоровья! Вот он идет по дороге, животом вперед, размеренно покачивая короткими руками, в старой, с обвислыми полями фетровой шляпе, в широких, без складки, штанах, в ботиночках.

По сторонам от него дома, на его городской взгляд, похожие один на другой, как спички в коробке, этакие дома-близнецы — два окна по фасаду, глухой фронтон и цементная ленточка — фундамент. По сторонам от Михаила Семеновича вся деревня Заклинье, старинная русская деревня. Ей, пожалуй, столько же лет, сколько и самой России, но некому следить за ее летосчислением, и поэтому генеалогического древа ее никто не знает.

Не знает ее родословной и Михаил Семенович, впрочем, он и не стремится узнать, хотя, надо отдать ему должное, знает жизнь каждого живущего в Заклинье. Но, как ни странно, здесь нет ни одного, кто бы знал его жизнь. Поэтому для жителей Заклинья он — тайна. Правда, тайна, не вызывающая любопытство.

Вначале, как только он появился, многие заклиновцы относились к нему иронически. Ну, во-первых, потому, что это в их характере — что не по ним, то и не так, а Михаил Семенович был явно не по ним со своим чрезмерно развитым животом — будто бочонок проглотил и ходит. Этим в первую очередь он и на отличку от деревен-

ских. Даже у древних стариков нет живота — все поджарые, с широко развитой грудью, с длинными, ухватистыми руками. Оно и понятно, физический труд на кого хочешь положит свою суровую печаточку. К тому же земля-матушка. Работая на ней, жирок не накопишь. Она любит, чтоб кланялись ей. Миллионов с десяток поклонов, а может, и больше — ведь никто не считает — отвесит ей каждый за свою жизнь. А она еще неизвестно, как на эти поклоны ответит... Нет, не разжиреешь. Поэтому заклиновцы с годами только сутулятся, но втолщь не идут.

Иронически они относились к Михаилу Семеновичу еще и потому, что он был вначале у них вроде беженца. Каждому коренному заклиновцу — а они все были коренными с незапамятных времен — совершенно непонятно, как это так в пожилых годах скитаться по чужим избам, не иметь своего, трудом нажитого угла. Кто-то из бабенок высказал предположение, что жена у Михаила Семеновича молодая, он старый, вот она и выгнала его, вот он и мыкается как неприкаянный. А не женись, не женись на молоденькой-то! Если сам в годах, куда уж тебе... Но в первое же лето Михаил Семенович привез свою жену. Она и на самом деле оказалась куда моложе его, красивая, с двумя нарядными девочками. Гуляла с ними по берегу Старицы, загорала на песке, пряча голову под шелковый зонтик, а девочки тут же играли в куличики. И все поняли, что допустили ошибку, так полагая, то есть что жена выгнала Михаила Семеновича. Убедившись в обратном, решили по-другому, без этого заклиновцы никак не могут. Это другое пошло уже от старух, жалельщиц-плакальщиц. Кто-то из них сказал, а другие тут же подхватили: «Знать, не нашлось ему, горемычному, места в городе, если к нам в Заклинье прибился. От хорошей бы жизни человек не ушел. Да еще с детушками, да с женой-красавицей». Эта версия почему-то враз всех устроила, и заклиновцы успокоились и уже больше никогда не задумывались над причиной появления в их деревне Михаила Семеновича. Тем более что он не просто болтался в деревне, а работал в цеху. Чего-то суматошился, подвозил разную дрянину из леса, пригодную только на дрова, забегал к председателю в правление, куда-то уезжал. И если вначале еще был малоуважаемой фигурой,— потому что дома-то своего обихоженного с огородом и садом и всем хозяйством — корова, кабан, овцы, куры —

и в помине не было, а коли так, то какого же уважения достоин такой никчемный человек, — то спустя три года, скажем вот уже к этому лету, не было человека в Заклинье, который бы еще издали не снял шапку и не поклонился.

— Здравствуйте, Михаил Семенович!

— Доброго здоровьица, Михаил Семенович!

— День добрый, Михаил Семенович!

Так уже его стали приветствовать.

— Здравствуйте, здравствуйте, — мягким голосом отвечал им Михаил Семенович и озабоченно нес дальше на коротких ножках свое тучное чрево.

Ну что ж, возраст у него почти пенсионный, отсюда и некоторая деформация в фигуре. И нечего тут подсмеиваться, ухмыляться. Тем более что эта деформация и не очень-то мешает ему. Больше того, когда он надевает костюм — это не здесь, в Заклинье, а в Ленинграде (там у него настоящий дом, там его постоянное местожительство, там он прописан), то его фигура обретает такую солидность, что никто бы и не подумал, что он работает в колхозе заведующим каким-то деревообрабатывающим цехом.

Впрочем, заведующим производством подсобного цеха Михаил Семенович не работает. Это только для видимости у него такая должность, на случай ревизии или какой другой проверки. На самом же деле в круг его обязанностей входит совсем иное. Он должен находить разные мелкие предприятия, которые нуждаются во всякого рода деревянных поделках — ну, скажем, таких как бобины для трикотажных артелей, подрозетники для электрической проводки или какой другой подобный товар, и заключать с ними договора. И по изготовлении отвозить, сдавать заказчику. И продлевать договора, или, как нынче говорят, «пролонгировать», а то и заключать новые с новым заказчиком.

За последние годы в колхозах появилось много разных, ранее незнакомых, должностей и специальностей у народа. Причина тому — технический прогресс, внедрение науки в сельское хозяйство, капитальное строительство не только животноводческих ферм, но и жилых массивов. Но как бы много ни появилось разных специальностей, пожалуй, не сыщется такой, по какой работает Михаил Семенович. Ну, верно, как это вот определить его

должность? И мне, право, было бы очень трудно определить, если бы не народное умение одним метким словцом поставить все на свои места. Заклиновцы в этом деле не посрамили своей чести и назвали Михаила Семеновича сбытчиком. То есть коли отвозит товар, значит, сбывает, а отсюда и сбытчик. Коротко и ясно!

Но вместе с тем, хотя Михаил Семенович и не руководил цехом — этим занимался особый бригадир, — цех все же год от году рос, все больше ширился, развивался, и теперь по соседству с сельским кладбищем — не один длиннющий сарай под серым шифером, а два, и в них шумят станки, и в них веером сыплет древесная стружка, и в каждом еле уловимый сладковатый запах березового сока, и у каждого станка на полу кучи разных поделок из дерева. А во дворе, под навесом, дисковая пила. Там разделывают корявые бревна на ровные кубышки, колют их и складывают тут же в штабеля, называя дрова полуфабрикатом, потому что позднее токаря из них наготовят бобин, и разных подрозетников, и еще чего, что нужно заказчику.

Тут, пожалуй, наступило время отойти в прошлое. Затем, чтобы восстановить историю возникновения этого несколько необычного для колхозного строительства производства. История же такова.

После войны колхоз в Заклинье представлял из себя довольно печальное зрелище. (Впрочем, об этом, о тяжелом житье, коротенько уже говорил Николай Васин своей сестре.) Да, это так. На то были свои тяжелые причины. Больше половины мужиков не вернулось с войны. Погибли. Пройдите по деревне, и вы увидите прибитую на фасаде каждого дома вырезанную из фанеры и окрашенную в красное звездочку. Это значит, в доме погиб человек на войне. Отец, или сын, или брат. Есть дома, на фасадах которых пламенеют две звездочки — значит, погибли двое. А бывает и по три, по четыре звездочки. Но нет ни одного дома, где не было бы на фасаде звезды. И в ненастье, и в вёдро, и зимой, и летом пламенеют они, будто их и дождь не смывает и солнце не бесцветит. Это, наверно, потому, что глубоко они врезаны в исстрадавшиеся людские сердца.

Из остальной половины было много покалеченных — безногих да безруких (теперь уже мало осталось инвалидов Великой Отечественной войны — поумирали), и

уже совсем малая часть вернулась здоровыми, но их была такая прорежинка, что всерьез рассчитывать на мужскую силу не приходилось. Поэтому в первую послевоенную весну пахали на женщинах, то есть в плуг впрягались семеро женщин — которые рожали и которым еще предстояло рожать, — за плуг становился вернувшийся солдат-победитель, и начиналась пахота. До кровавого пота работали люди в надежде на лучшее будущее. И засевали землю, и снимали урожай, и кормили себя, и еще выполняли первую заповедь — рассчитывались с государством. Но было трудно. Очень трудно!

Вот тут-то и подал мысль ныне уже покойный хитроумный старик Никодим Суслин. Он предложил в зимнее время, когда сугробы подваливали под крыши и впору было только перебежать к соседу, чтобы скоротать вечерок за махрой, заняться резанием деревянных ложек, так как с ложками в те времена было туго. Сам Суслин резать ложки не умел, но зато знал другого старика, жившего в конце деревни, который в молодости умел их резать, за что и прозван был ложкарем, откуда у него и фамилия пошла Ложкарев. Тот согласился на такой промысел — «А чего, в самделе, — и людям подмога, и себе прибыток», — и вскоре вокруг него собралось с десяток стариков да ребятни, и работа закипела. Правление колхоза без особой огласки поставило на берегу Старицы небольшой сарай, обеспечило мастеров всякими ножами, благо кузня была своя. Старик же Ложкарев научил своих подмастерьев, как обрубать из баклуши топориком, теслить теслою, острагивать липу ножом и резать кривым резаком, а черенок и коковку, другим словом сказать — набалдашник, точить пилою от руки.

Года два промысел шел ходко, и колхоз получал негласный доход, не ахти, конечно, какой, но все же, и стал постепенно обзаводиться кое-каким инвентарем, свиноферму завел, купил стекло для парниковых рам, но основное — помог вдовам-солдаткам, а их было немало, оставшихся с детьми, да и так покупал что по мелочи для хозяйства, — деньжата каждую неделю набегали. И все бы шло хорошо, но время не стояло на месте, и страна наряду с большими делами успевала делать и свои малые. В магазинах появились в свободной продаже сначала алюминиевые, а потом и из нержавеющей стали ложки, и деревянным пришел конец. Это теперь они как су-

вениры в почете, а в то время такими известны не были. И постепенно ложкарный промысел в Заклинье угас. Но идея не померкла. Где-то все время теплилась. Поэтому с такой готовностью и откликнулись на предложение сбытчика открыть деревообделочный цех — как бы в подспорье колхозу. Тем более что ремесла и промыслы в то время поощрялись не только со стороны районного руководства, но и вышестоящего. И однажды к старому, заброшенному сараю, где когда-то ложкарили старики и в ненастье тискались парни с девчатами, подъехала колхозная машина, с нее сняли небольшой станок и внесли его в сарай. К этому времени местный электрик протянул уже туда провод. Станок установили. Михаил Семенович зажал в патрон подвернувшуюся под руку деревянную колобашку. Включил станок и тут же, на виду у всех, сделал деревянный шар, отрезал его и вручил председателю колхоза, в дальнейшем снятому за пьянку, Шитову Павлу Николаевичу. Тот повертел шар, ощущая его суховатую теплоту, и передал близстоящему.

— Добро, ой добро!— отозвался Николай Васин, рассматривая шар (это он был близстоящим), и с интересом посмотрел на малоподвижного, даже как бы скучающего человека, который так быстро из чурки сделал вещь.

С этого дня и началось процветание цеха, и с каждым днем дела шли все веселее. Уже через полгода шумели пять станков, а там с каждым месяцем появлялось их все больше, и теперь они шумят уже в двух длинных сараях. И когда наступает утро, то к ним со всех концов деревни тянется народ, или, как любовно называет его Михаил Семенович, «новый рабочий класс».

— День добрый, Михаил Семенович!— поздоровался со сбытчиком Васин и приподнял кепку.

— Здравствуй, здравствуй, — ровным, без интонации голосом сказал сбытчик,— что это, никак, у меня часы спешат? Уже полчаса, как приступили к работе, по моим.

— Сестра приехала, — виновато пояснил Николай Васин. — Туда-сюда...

— А я и не знал, что у тебя сестра есть.

— Есть, есть... Как же. Считай, чуть не два десятка лет не виделись. Вот и задержался.

— Ничего, ничего, ты работник старательный. Наверстаешь, как говорится, упущенное.

— Это не беспокойтесь. Если что, я согласный и на вечер остаться.

— А я и не беспокоюсь, знаю. Между прочим, придется и на самом деле вечерка два-три прихватить. Заказчик поторапливает, к тому же обещает новый заказик подкинуть. Так что уж придется, Николай Петрович.

— Это с удовольствием.

— Да, а вот такого, к сожалению, удовольствия я не вижу у нашего председателя. Надо бы еще пяток человек во второй цех, а он, наоборот, ведет линию на сокращение.

— Ой, зря он это делает. Откуда и доход, как не из цеха. Не будь цеха, совсем другая была бы картина. А сейчас добро. Ой добро, Михаил Семенович. И хорошо, что ты вернулся. Без тебя ну прямо все повалилось...

— Так ведь старался. И сейчас стараюсь.

— Добро, добро, Михаил Семенович.

— Да нет, мало доброго. Трудно мне. Заказов много, и все выгодные, а приходится отказываться.

— Чего ж так?

— Я уже говорил, Климов, — это новый председатель, — не желает, чтоб цех развивался. Делает ставку на землю. А что вам земля? Много она вам дала радости?

— Ну!

— Время идет вперед, и то, что было хорошо вчера, сегодня уже не годится. Диалектика. А он пытается против ветра струю пустить. Ну что ж, сам обрызгается...

— Это уж точно, — засмеялся Николай Васин.

— Да, многого не понимает новый председатель, — глядя себе под ноги, в раздумье сказал Михаил Семенович.

— При Павле Николаевиче лучше было?— проникаясь сочувствием к сбытчику, человеку, который не только за себя, но и за народ переживает, спросил Николай Васин, оглядывая понурую фигуру собеседника.

— Лучше не лучше, но если снят за пьянство, то о чем и речь. А вообще-то, конечно, легче было, теперь же новому надо все доказывать, убеждать, чтобы он поверил в мою искренность, честность намерений...

И замолчал, вспомнив, как месяца два назад, когда только приступил к делам новый председатель, примерно такой же разговор вел с женой...

Они шли берегом Старицы. Был май, и все уже зеленело, цвело, и при каждом дуновении ветра молодая глянцевитая листва шумела, и в воде отражалось солнце, разбитое течением на множество бликов. У воды тянулась песчаная коса, и, казалось бы, здесь было все для отдыха, но жена, тяжело опираясь на его руку, капризно говорила о том, что ей хочется на юг, в Пицунду, что там уже можно купаться, там купаются, загорают, а тут еще холодно...

— Я хочу моря...

— Потерпи немного.

— Зачем? Поедем теперь.

— Сейчас нельзя.

— Из-за того, что пришел новый?

— Да. Придется ему все доказывать, убеждать, чтобы он поверил в мою искренность, честность намерений.

— Ужасно.

— Ничего. Пусть только подпишет договора. А как подпишет, сразу же вступит в силу закон производственной необходимости.

— Что это значит?

— Это значит, что он будет есть с моей руки.

Новый председатель подписал. Но пока еще есть с руки сбытчика не собирался. Противился ценою немалых потерь для себя, да и для колхоза тоже...

— Ты ведь член правления, Николай Петрович, к тому же коммунист, как-нибудь завел бы разговор со своими соседями, дружками о том, что цех — это перспективное дело. В нем ваше будущее. Какая у вас земля? Это разве массивы? Теперь все измеряется глобальными масштабами. И хотите вы или не хотите, но придет такой день, когда на месте вашего цеха, нынешнего, появится громадный деревообрабатывающий комбинат. К этому все идет. Если хочешь, исторически,— не мигая, тяжеловесно поглядел Михаил Семенович на Васина.

— Так это, конечно...

— Ну вот... Иди, а то я тебя задержал. Если что скажет бригадир, ответь ему, я тебя задержал. Да, еще передай токарькам, в этом квартале премиальные будут... Иди, иди. А я к председателю. Попробую еще раз его убедить.

— Тогда благополучного вам свершения,— пожелал ему Васин, а сам про себя подумал: «Черт побери, до че-

го же сложно все. Вроде и сбытчик прав, а до этого вроде председатель был прав. Вот и попробуй разберись! Сбытчику-то легко, он грамотный, и председатель тоже институт кончал, а вот тот, который, как я, черта лысого поймет. А Михаилу Семеновичу что, у него язык подвешен, он и председателя, если захочет, переговорит. Ему это запросто...»

Но нет, наверное, трудно было ходить Михаилу Семеновичу к председателю. С первой же встречи они поняли друг друга, поняли, что они антиподы, и это открытие определило их отношения на все последующее.

— Не дожидаясь особого приглашения, сам явился,— так начал тогда свой первый разговор Михаил Семенович с председателем.— Заведующий производством подсобного цеха, — представился он и протянул руку — не с раскрытой ладонью, а со сложенными в щепоть пальцами.

Председатель, прижмурившись, поглядел на него и не сразу, но все же протянул ему свою руку, и его рука оказалась крепкой, с сухими, жесткими пальцами.

— Садитесь, — сказал он твердо и четко. — Меня зовут Иван Дмитриевич Климов.

— Это я знаю, хотя и не был на выборном собрании.

— Почему?

— Так ведь я же не колхозник. По вольному найму. По договору работаю здесь.

— Это что-то новое для деревни, — сказал председатель и с любопытством оглядел и лицо и фигуру Михаила Семеновича.

— Прогресс!— развел короткими руками Михаил Семенович.

— Вот как? Любопытно... Но... слушаю вас.

Михаил Семенович достал из кожаной папки несколько договоров, положил их перед Климовым.

— С предприятиями все оговорено, условия для нас хорошие, требуется только ваше утверждение. Подпись.

— Что за предприятия?

— Разные артели, если говорить о бобинах. Трикотажные артели. Подрозетники же нужны некоторым предприятиям, производящим ремонт своих зданий,— ответил Михаил Семенович таким тоном, каким обычно говорят, чтобы не показать своей заинтересованности.

— А в чем заключаются хорошие для нас условия?

— Ну, взять хотя бы подрозетники. Впрочем, удобнее было бы об этом говорить в цеху. Вы там были? Пройдемте.

В цеху гудели станки, сухо шелестели из-под резцов стружки. В солнечном луче плавал толстый пыльный столб. Кисловато пахло свежей древесиной. Человек пятнадцать мужчин и женщин, склонившись над станками, вытачивали тонкие кружки из дерева.

— Вот это и есть подрозетники, — сказал Михаил Семенович, беря из большой кучи один кружок. — В магазинах он стоит две копейки, но не всегда предприятие может купить его за наличный расчет. У нас определены отношения на безналичных расчетах. По пять копеек за штуку. Вот почему я и сказал: условия для нас хорошие. Это все пятачки, — Михаил Семенович показал на несколько куч, высившихся у станков. — Горы пятачков. А из пятачков рубли. Из рублей сотни. Кстати, ваш предшественник на эти пятачки хотел построить новый клуб.

— Так, так... — медленно переводя взгляд с кучи на кучу деревяшек, а потом с токаря на токаря, промолвил председатель. — Сколько же у вас всего работает людей?

— На сегодня — сорок три. Но дело расширяется, потребуется еще рабочая сила. Весьма перспективная отрасль в нашем колхозе. Наиболее доходная уже сейчас.

— Так, так... Наиболее доходная уже сейчас.

— Совершенно правильно. Я отвечаю за свои слова.

— Не сомневаюсь. Но подписать договора воздержусь.

— То есть почему же? Время не ждет. Заказчик установил определенные сроки.

— А зачем вы себя ставите перед заказчиком в такое зависимое положение?

— Да ведь потому, что он диктует свои условия.

— Он не может их диктовать, потому что зависим от характера финансовых расчетов. Вы — хозяин положения. Только вы можете дать ему продукцию по безналичному расчету. Поэтому ничего не случится, если я не буду спешить с подписанием договоров.

— Не понимаю, совершенно не понимаю,— взволновался Михаил Семенович. — Зачем? Для чего?

— Ну, хоть бы для того, чтобы вникнуть в суть вашего производства.

— Почему моего? Это колхозное!

— Ну, а если колхозное, то и я за колхозное.

— Простите меня, но вы начинаете рубить тот сук, на котором сидите.

— На котором я сижу — это земля.

— Земля? Спросите людей, и они вам скажут, как их на протяжении десятилетий кормила земля. Неужели вы не знаете, что сама по себе земля — убыточная область хозяйства в колхозной системе. И что только за счет вот таких подсобных цехов можно поднять рентабельность всего хозяйства. Этим, только этим можно объяснить во многих колхозах, в том числе и гигантах, наличие широко развитых подсобных производств. Есть в некоторых колхозах даже целые заводы, приносящие миллионные доходы. Одни делают краски...

— А делать краски входит в их обязанность?

— Это инициатива...

— С которой надо всеми силами бороться, — жестко сказал Климов, выходя из цеха.

— Все же я вам не советовал бы спешить. Спросите главного бухгалтера, какой доход приносит земля и какой — цех, и вам станет ясно, на какого коня надо ставить.

— Здесь не бега.

— Это я в порядке сравнения.

— А я в порядке предупреждения.

И с этой минуты стена холодной неприязни друг к другу встала между ними. И каждый понял, что им не ужиться. Потому что один из них по своей натуре был созидатель, думающий не столько о себе, сколько об обществе, в котором он жил и ради которого жил; другой же был разрушитель, то есть человек, берущий из жизни все лучшее только для себя и совершенно не думающий об интересах общества, в котором он жил. И если первый боролся с просчетами, неполадками в нашей жизни, то второй использовал их, чтобы нажиться. И хотя, казалось бы, фактов к такому обоюдному недоброжелательству, а точнее — антагонизму, еще не было, но то, что принято называть впечатлением от первой встречи, было, и это впечатление не сулило ничего доброго ни тому, ни другому.

— Как относился Шитов к тому, что цех гиперболически растет и поглощает рабочую силу с полей и

ферм?— спросил Климов, глядя на Михаила Семеновича уже с явной неприязнью.

— Положительно,— подчеркнуто твердо ответил Михаил Семенович, не уходя от взгляда председателя.

— Поэтому он и пьянствовал. Теперь несколько слов о том, что земля убыточна. Чушь. Лучшие колхозы процветают только за счет правильного использования земли. И если у них есть подсобные производства, хотя бы и заводы, то это заводы, производящие не краски и разные деревяшки, а изготовляющие варенья, соленья, окорока, рыбные консервы — словом, то, что дает земля. А теперь позовите, пожалуйста, главного бухгалтера с нужными для нашего разговора документами.

Главный бухгалтер, курносый, бритый старик в очках, не заглядывая в бумаги, доложил, что доход от цеха составляет шестьдесят два процента от общего дохода колхоза.

— Вы что думаете, я себе беру этот доход?— с обидой в голосе сказал Михаил Семенович. Он еще не терял надежды повернуть к себе председателя.

Но теперь, что бы он ни сказал, хотя бы и правду, Климов уже ничего не принимал.

— Не приписывайте мне вздорных мыслей!— резко сказал Климов и уставился на главбуха.— Вы находите правильным такое соотношение дохода к полям и фермам?

— Видите ли, если бы не успешная работа в цехе, и главным образом деятельность Михаила Семеновича, то весьма бедственным было бы положение у нас. Я уже не говорю о том, какие заработки у рабочих, не в пример колхозникам. Вдвое, а то и втрое выше. Некоторые выгоняют до двухсот рублей.

— И это вы считаете нормальным, чтобы одни получали вдвое меньше, а другие вдвое больше? В одном и том же колхозе.

— А тут уж ничего не поделаешь. Кто в цеху, тот и больше, потому что работа более выгодная.

— Вы экономист?

— Специального образования у меня нет, но я бухгалтер, и постольку поскольку...

— Я тоже не экономист, но черное от белого сумею отличить. Разве вам непонятно, что перекачка рабочей

силы с полей в цех губительно сказывается на развитии всего сельского хозяйства в целом?

— Моя область — финансы,— сухо ответил главбух.

— Ну, если только финансы, тогда подготовьте справку за прошлый год и за это полугодие о доходах по всем отраслям нашего хозяйства.

— Слушаю.

— И, пожалуйста, поскорее.

Когда главный бухгалтер вышел, осторожно прикрыв за собой дверь, Климов внимательно посмотрел на Михаила Семеновича, как бы стараясь еще глубже понять сидящего перед ним человека, занесенного непостижимым ветром судьбы в этот глубинный колхоз, и спросил:

— Ну, а вы что скажете о такой практике — или находите нормальным приоритет цеха над землей?

Михаил Семенович пожал плечами и, грустно улыбнувшись, ответил:

— Вы должны сами понять, я отвечаю за работу цеха, и тут никто не может меня упрекнуть. Я работал с полной отдачей всех своих сил. И, как вы слышали, преуспел. Вы теперь знаете, какой доход приносит цех. Шестьдесят два процента. Это не баран чихнул... Простите за сравнение. И если уж вы спросили меня, то позвольте и мне вас спросить, что будет с договорами? Судя по всему, вы не очень-то расположены их подписывать. Воздерживаетесь временно или надолго?

— Это будет зависеть, сколько у нас денег на текущем счету.

— Пригласить главного бухгалтера?

— Пригласите.

— Двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят два рубля девятнадцать копеек,— еще в дверях начал докладывать главбух.— И еще, позвольте,— он протянул руку к телефонной трубке, набрал номер.— Людочка, пожалуйста, райбанк... Это Игнатий Сергеевич? Здравствуйте, дорогой Игнатий Сергеевич! Будьте уж так любезны, посмотрите, нет ли каких поступлений на наш счет... Есть, да? Какая сумма? Три тысячи двенадцать рублей? Откуда? Из Куйбышева, благодарю вас... Ну вот, к основной сумме следует прибавить еще и эту.

— Это что, перечисление по работе цеха?— спросил Михаил Семенович, хотя отлично знал, что из Куйбышева может быть только такое перечисление.

— Да, это за бобины,— ответил главбух.

— Кстати, очень выгодный заказчик,— заметил Михаил Семенович.

Климов отлично понимал, в чей огород летят камешки.

— Скажите,— спросил он главбуха,— на какое время нам хватит этих денег?

— Вы имеете в виду только зарплату?

— Все!

— Ну, учитывая, что сейчас такая пора, когда еще нечего сдавать государству или везти на рынок...

— На какое время нам хватит этих денег? До сдачи сена государству хватит?

— Сено не тот продукт...

— Молоко?

— Сдаем ежедневно, но этих денег и для одной первой бригады не хватит... Если хотите на откровенность, товарищ Климов, то я на вашем месте не спешил бы расправляться с цехом. Он, конечно, не главная отрасль в нашем колхозе, но главная статья дохода. И, смею вас заверить, от земли мы не станем богаты, нет. Верьте мне, я тут родился и живу всю жизнь, знаю.

— А я и не пытаюсь вас оспаривать. Верю вам. Но поймите, если все колхозы будут производить не хлеб и мясо, а всякие деревяшки и краски,— взгляд в сторону сбытчика,— то позволительно спросить, что будет есть народ, скажем, через пять или десять лет?

— Но ведь можно и сохраняя меру, именно как подсобное,— робко заметил сбытчик, в душе совершенно не робея.

— Об этом и речь. Давайте договора.— Климов взял их от Михаила Семеновича и стал просматривать.— Черт возьми, никогда бы не подумал, что в наше время могут быть такие шараги — трикотажная артель «Светлое будущее», а эта — имени Ленинского комсомола. Черт те что!

— Напрасно иронизируете, Иван Дмитриевич. Это такие же госпредприятия, как и все другие,— сказал Михаил Семенович.

— Не думаю. Давайте условимся: больше не заключать новых договоров, полагаю, нам и этих вполне хватит.

— Дело ваше, но, как правило, не все, конечно, но

какая-то часть старых договоров закрывается, так что всегда возникает необходимость искать новых заказчиков.

— Воздержимся от новых.

— Ну что ж, пожалуйста, тем более что я собираюсь идти в отпуск. Думаю, сейчас самое подходящее время.

— Не возражаю.— Климов подписал договора.— Какой вам полагается отпуск?

— Месячный.

— Это оговорено в соглашении?— спросил Климов главбуха.

— Да.

— Так, так; ну, тогда давайте заявление.

Михаил Семенович тут же достал из кармана.

— Ого, какая оперативность. На всякий случай взяли или специально заготовили?

— Я человек предусмотрительный,— улыбаясь одним ртом, ответил Михаил Семенович.

— Ну, ну,— качнул головой Климов и подписал заявление.— Произведите начисление.

— Слушаю,— сказал главбух.

— Благодарю вас,— подчеркнуто вежливо ответил Михаил Семенович, как бы говоря: «Вы меня обижаете, и напрасно, разве вы не видите, какой я хороший человек». Он еще и теперь не терял надежды склонить на свою сторону председателя. Сколько таких людей попадало на его пути, и многих, очень многих постепенно приручал он, и они привыкали к нему, и он входил к ним в доверие.— Буду надеяться, что к моему возвращению из отпуска вы смените гнев на милость по отношению к цеху,— мягко, как бы упрашивая, сказал Михаил Семенович.

— Неужели вы ничего не поняли?— искренне удивился Климов.— Или притворяетесь этаким ягненочком?

Михаил Семенович мог многое стерпеть, но не любил, когда на него повышали голос. Сдержанно, чтобы не выдать своей ненависти к этому ортодоксу, он сказал:

— Я все понял. Но вы не учитываете закона производственной необходимости.

— Это что еще за закон?

— Может, в науке его и не существует, но если только его нарушить, то это то же самое, как перерезать жи-

лу в живом организме. Может вся кровь вытечь. До свидания!

Климов еле сдержался, чтобы не послать его к черту. Гад! Уже сюда, в колхоз, прополз, использовав какой-то наш просчет. Да, вся жизнь вот таких жучков на наших просчетах. Вся их философия строится на наших просчетах! Они только и ждут какой-нибудь нашей ошибки или недодумки... Ну, вот теперь, пожалуй, настала пора поговорить и с парторгом.

— Так что, Зоя Филипповна, не нравится мне вся эта история с быстро растущим и развивающимся деревообрабатывающим цехом,— сказал ей Климов, как только она уселась против него и, как обычно, живо и с интересом оглядела его лицо.— И удивляюсь, что вы могли не заметить этого уродливого факта в жизни вашего колхоза.

Зоя Филипповна придвинула стул ближе к столу, погладила пальцем телефонную трубку и негромко, но быстро стала говорить, не повышая и не понижая голоса, держа его на какой-то одной линии.

— Если говорить по совести, я обращала внимание вашего предшественника, товарища Шитова, но, посудите сами, сколько мы ни старались — это он мне ответил,— как ни стремились, чтобы получать большие урожаи, рекордные надои, все равно толку было мало. А тут пошли деньги, и какие! И сразу зазвенела копейка в колхозной кассе. И настроение поднялось у народа. И действительно, ведь вы учтите, не только на зарплату или на развитие цеха пошли деньги, но и на развитие всего хозяйства. Запланировали на будущий год механизировать ферму. Установим электродойку — старая вышла из строя. Клуб наметили новый построить. Теперь судите сами: с повышением расценок на труд доярок фермы перестали приносить тот доход, какой приносили раньше. Их заработок теперь до полутораста рублей в месяц. А у других и выше. Это ведь надо тысячу литров сдать государству, чтобы одной только доярке выкроить на зарплату. А у нас двенадцать доярок. Вот и считайте. А кроме того, ветеринар, зоотехник, рабочие по кормодобыче, сторож, телятницы, управленческий аппарат, бригадир. Разве может все это обеспечить ферма? Поэтому наш цех, как никто, выручает нас. Это находка, буквально находка. Тем более что мы совершенно не подотчетны

перед районным руководством за его деятельность. Никакого плана нам не спускают и ничего от нас не требуют. Да, да, его продукция совершенно не планируется! И это нам позволяет развивать цеховое хозяйство, а денежные средства тратить по своему усмотрению. Вы человек новый, еще не во всем разобрались, но поживете, поработаете и сами убедитесь, что без цеха нам никак. Это я вам говорю — учетчик. А я много учитываю. Только теперь, как говорится, мы и зажили. И если вы против цеха, то совершенно напрасно. Вряд ли вас кто поддержит, потому что ведь в каждой семье, в каждом доме есть человек, работающий в цехе, а это значит, есть работник, приносящий домой до двухсот рублей в месяц. Нет, не думаю, чтобы вы нашли поддержку среди наших рабочих. Не думаю. А если говорить...

— Вы всегда так много говорите?— остановил Зою Филипповну Климов, с любопытством вглядываясь в нежный овал ее лица, в разгоревшиеся от волнения щеки.

— Вы меня спросили, я и ответила,— несколько обиженно сказала Зоя Филипповна,— могу вообще не отвечать. Мне говорили про вас, что вы резки, теперь я на собственном примере убедилась. И, должна вам сказать со всей прямотой, это не лучшее ваше качество. Нет, оно не украшает руководителя, тем более когда мы говорим о демократии. Надо не только словами, но и личным примером подкреплять эти слова. И вы, если хотите завоевать расположение к вам членов нашей артели, если хотите, чтобы ваш авторитет был высок, как и подобает быть авторитету руководителя, то вы должны...

Климов поднял руку и покачал ею, как бы останавливая сидящую перед ним женщину. В его узких, широко расставленных глазах сквозила усмешка, снисходительная к человеческой глупости, но не настолько, чтобы примириться с нею.

Зоя Филипповна замолчала.

— Вы же прекрасно знаете, что сюда я забрел не на огонек, а послан райкомом партии. Не думайте, что я прыгал до потолка от восторга, получив сюда назначение. Между прочим, до вашего колхоза я работал прорабом на крупном строительстве. Жил с семьей в трехкомнатной квартире, жил неплохо. А вот теперь здесь один. Семью не могу перевезти только потому, что дочь

учится в техникуме, а сын готовится в институт... Но партии надо было, и я здесь. Поэтому буду просить вас помогать мне, а не уговаривать и тем более мешать. Договорились? А теперь по существу. Все ваши беды идут от того, что вы видите главный источник дохода и благосостояния колхоза в цеху, а надо видеть в самом сельском хозяйстве...

— Но я же объяснила вам! Только благодаря цеху мы и зажили!

— Когда я говорил о ваших бедах, то имел в виду райком. Ведь если там узнают, то сразу же прихлопнут вашу лавочку. Неужели вы этого не понимаете? Или, думаете, за такие дела вас наградят переходящим знаменем? Я лично убежден в обратном. Да, совершенно в обратном. Поэтому, пока райком не узнал, побеседуйте с коммунистами. Нет, не на общем собрании, а так, ну хотя бы во время уплаты членских взносов, о том, что партийной организации надо ориентировать народ не на цех, а на плановое развитие всех отраслей сельского хозяйства...

Вошел главный бухгалтер. Присогнувшись, положил перед Климовым листок бумаги.

— Вы не ошиблись?— спросил Климов.

— Никак нет. Все до копеечки.

— Семьсот восемьдесят рублей?

— Да. И шестьдесят девять копеек... Тут и зарплата и отпускные...

— Он что, министр, что ли?

— Это от меня не зависящее. Такая уж была договоренность у Шитова с ним. И мы отступать не можем.

— Ну, уж и не можем,— постукивая в раздумье карандашом по столу, сказал Климов.— Можем. Все в наших руках, и хорошее и плохое. Ну, а как вы думаете?— спросил он Зою Филипповну.— Вам не кажется слишком того... эта цифиря?

— Если была договоренность... И потом, он же получает из расчета заключенных договоров. Чем больше заключит, тем больше и получит. Значит, он заключил достаточно, если получилась такая сумма. Кроме основной зарплаты, у него набегает и от премиальных, и еще прогрессивка. И к тому же отпускные в этой сумме. Так что я лично не вижу здесь ничего такого, что смущает вас. И вообще, почему вы так подозрительно относитесь?

— Ну вот, уж и подозрительно,— усмехнулся Климов.— Просто слишком непривычная для меня сумма. Или у вас все столько получают? И вы столько же?

— Ну, что вы! У меня всего восемьдесят рублей оклад.

— Ну, вот видите... Нет, как вам угодно, но во мне каждая жилка протестует против такого дорогооплачиваемого специалиста. К тому же, с одной стороны, дело подналажено, а с другой — не будем его развивать. Так что есть смысл освободиться от услуг господина сбытчика!

— Как это у вас, извините, все легко решается, Иван Дмитриевич,— заметил главбух.— Ведь так недолго под корень пустить и всю финансовую обеспеченность. Порушить недолго. Бывали такие примеры. Налаживать трудно.

— Ну, я думаю, с помощью товарища парторга наладим.

— Тут надо подумать, с кондачка решать нельзя,— сказала Зоя Филипповна.

— Я бы на вашем месте не спешил расставаться с Михаилом Семеновичем. Пусть идет в отпуск, а за это время можно все спокойно обдумать,— сказал главбух.

— Ну нет, у меня слишком мало времени, чтобы о нем думать в течение месяца. Да и зачем думать-то? Найдем расторопного малого на его место, который будет работать рублей за сто плюс командировочные.

— Решительный вы человек,— сказал главбух, и было непонятно, осуждает или восхищается.

— Вы что же, хотите уволить Михаила Семеновича?— словно только сейчас до нее дошло, воскликнула Зоя Филипповна.

— Точно.

— Причина?— спросил главбух.

— Любая.

— С выплатой выходного пособия?

— Ну нет, это уж слишком большая роскошь.

— Но он сам, по собственному желанию, может и не уйти.

— Уйдет. Он же человек достаточно опытный. Думаю, это ему не в новинку.

— Как все получается у нас нехорошо,— расстроенно сказала Зоя Филипповна.

— А именно?

— Приходит новый человек и рушит то, что создавалось до него. И считает себя правым, в то время как все были убеждены, что жили и работали правильно.

— Вы недовольны мною?

— Да. Тем, как вы, не советуясь ни с кем, я бы сказала — диктаторски, решаете все и рушите налаженное!

— У вас не в ту сторону налаженное. И в этом виноваты вы. В первую очередь. Потому что экономика — это та же идеология. А вам и то и другое подведомственно.

— Ну конечно, новый руководитель никогда не бывает виноват. Всегда виноват старый. Но потом приходит опять новый, и старый новый оказывается виноватым.

— Это уже женский спор, а я в нем не участник.

— Вот как!— Зоя Филипповна вспыхнула.— И все же на вашем месте эти вопросы я обсудила хотя бы на партийном бюро, если уж не на партсобрании, прежде чем принимать такие ответственные решения.

— Непременно. Только на партбюро будем обсуждать другие вопросы. А такими, как освобождение от сбытчика, вряд ли стоит занимать коммунистов.

— Мне можно идти?— спросил главбух.

— Да, идите.

— До свидания!— сказал главбух и сразу же направился к Михаилу Семеновичу.

У него с ним были не то чтобы какие-то дружеские отношения, нет, но заходить к нему он любил,— Михаил Семенович был добр на угощение. У него всегда была столичная водка, а то и коньячок, а то и ром бывал. И главбух, не особенно-то избалованный местным сельмагом, в котором большей частью водилась «краснота», то есть красное вино эстонского производства в больших трехлитровых посудинах, укупоренных, как маринад, жестяной крышкой, всегда с удовольствием вытягивал рюмку-другую, не отказывался и от третьей, если Михаил Семенович предлагал. А он предлагал, хотя сам и не был большим охотником до выпивки. Так, рюмочку за компанию. Но не только поэтому у него всегда водилось вино. Рюмка-другая, выпитая гостем, развязывала язык, и Михаил Семенович узнавал все, что ему было нужно и не нужно знать.

Снимал он жилье у бабки Прасковьи, одинокой, скрюченной чуть ли не до земли старухи, потерявшей в войну трех сыновей и мужа. На фасаде ее дома пламенело че-

тыре звезды. Михаил Семенович из уважения к ней сам, лично, покрасил звезды светящейся краской. Пустила Прасковья его не ради денег, а потому, что уж очень тоскливо ей было одной в пустом доме. И радовалась, когда приезжала Ирина Аркадьевна, и не знала, чем побаловать девочек, и была готова все переделать за постоялку, и белье перестирать, и полы вымыть, и прибрать за девочками, и все это бесплатно. «Не надо! Не надо! И слушать не хочу! И не обижайте меня!» Лишь бы жильцам было хорошо.

— Можно ли?— пригибая голову, чтобы не удариться о притолоку, сказал главбух и переступил через порог.

— Да, да, пожалуйста, пожалуйста, Александр Петрович,— тут же отозвался Михаил Семенович и несколько медлительно встал из-за стола.— Счастливый человек, прямо к обеду.

— Нет, нет, благодарствуйте,— низко кланяясь Ирине Аркадьевне, ответил главбух.— Я по весьма конфиденциальному делу. Если позволите на минутку уединиться.

Они прошли в горницу, и там главбух шепотом, то округляя глаза, то отстраняясь от Михаила Семеновича, рассказал все, что услышал в кабинете председателя.

— Очень мне неприятно, Михаил Семенович, но дружеское к вам расположение продиктовало все это вам высказать. Так что уж простите за неприятные вести.

— Что ж делать... Такова судьба подчиненных. Вы не спешите?

Ему было очень неприятно. Не в том смысле, что оставался без работы, нет, работы у него хватало, но жаль было терять хорошо отработанное производство. Тут, как говорится, деньги уже сами к нему текли, только подставляй карман. И времени цех мало требовал, что тоже весьма немаловажно, потому что он осваивал новое дело в крупном совхозе. Поэтому все, что он сказал главбуху, было окрашено в минор, и этому можно было верить, это звучало искренне.

Нет, главбух никуда не спешил. Домой, а что его ждет дома? Старая, сварливая жена...

— Нет, нет, никуда не спешу.

— Тогда я сейчас.

Он ушел на кухню и через минуту вернулся с тарелками и стопками.

— У меня есть бутылочка плиски,— сказал он,— вот мы ее и откроем по такому печальному случаю. И, уж пожалуйста, не отказывайтесь. Я вас очень прошу. Побудьте со мной в этот тяжелый для меня час.

Главбух и в уме не держал, чтобы отказаться, он даже несколько удивленно посмотрел на Михаила Семеновича — уж не разыгрывает ли он,— но нет, Михаил Семенович был печально-серьезен.

— О чем разговор,— ответил главбух, радуясь тому, что сбытчик поставил не рюмки, а стопки, не подозревая того, что такая посуда была поставлена с определенным расчетом — нет, не споить, до такого низкого уровня еще никогда не падал Михаил Семенович, а просто как следует угостить. Уж коли приходится уходить с работы, то надо оставить по себе доброе мнение, чтобы хотя бы вот этот пьяница, вспоминая его, отзывался уважительно. Поэтому стопки. И пусть хоть всю бутылку выжрет, черт с ним!

— Не отвальная, но где-то рядом,— грустно улыбнулся одними губами Михаил Семенович.— Привык я к здешним местам, к пейзажу, к людям. Полюбил. А теперь... Будьте здоровы, Александр Петрович! Я к вам всегда относился с уважением. Желаю вам здоровья и легкой работы с новым председателем!

Главбух выпил и, растроганный до слезы, приложив руки к груди, сказал:

— Если бы вы знали, как все это мне неприятно. Это же уму непостижимо! И как мы бессильны и беспомощны. Ну, то есть некуда даже жаловаться. В райком? Но оттуда же его и прислали. К народу апеллировать? Но что народ? Он молчит. Вечно молчит! Каждый за свою шкуру трясется. Так поговорить с кем — вроде согласен, но дальше ни шагу. Происходит, Михаил Семенович, что-то непонятное. Сознание довольно высокое, каждый отдает отчет в происходящем, и вместе с тем какое-то чудовищное равнодушие.

— Да, да, но кушайте, кушайте. Эти сардины, в отличие от всех остальных, знамениты тем, что приготовлены не из мороженой рыбки, а прямо там, в океане, из свеженькой. Такие сардины не купите. Их мне подарил один мой очень хороший друг. Работает на судне. Удивительно тонки по вкусу. Попробуйте.

Александр Петрович попробовал, не нашел никакой

разницы с теми сардинами, которые, хотя и редко, все же приходилось есть, но сделал вид, что нашел разницу, и даже чмокнул губами, а про себя подумал: «Живут же люди! Какой-то приятель подарил сардины. А тут всю жизнь прощелкал на счетах, и хоть бы какая собака брюкву бросила. Ни черта!» Он уже подзахмелел, а подзахмелев, всегда видел свою жизнь неуютной, а себя — обойденным удачей. О счастье он давно уже не думал, будучи твердо уверенным, что такового на свете не существует. Удача — дело другое. Кому подвернется удача, тому и «Москвич» выпадет на лотерейный билет. А счастья нет...

— Счастья нет!— сказал главбух.

Михаил Семенович развел руками и наполнил стопку главбуху.

— Благодарю вас!— сказал главбух. Он любил выпить и не скрывал. А что еще ему оставалось? Жизнь пошла на закат. От будущего, кроме старости, болезни и смерти, ждать нечего. Да, да, все позади! Так почему бы и не выпить? А тут еще единственного человека отнимают, который всегда не откажет в стопке вина.— Будьте здоровы, Михаил Семенович, и пусть тот согнется в дугу, кто обидит вас. Но только скажу одно: сами не подавайте заявление, пусть он увольняет. Тогда за вами выходное пособие. А оно не маленькое, что ни что, а сотенки две наберется. А денежки нужны. Помню ваши слова: «Деньги — это удобство!» Лучше не скажешь.

— Конечно, я не буду спешить, но что он имел в виду, когда сказал, что я достаточно опытный? И за что он вообще на меня взъелся? Я честно работал! Я даже начинаю бояться его. Не в том смысле, что он может что-нибудь, как в старые времена, а так просто, устроит какую-нибудь каку. А кому нужна кака?

— Главное, не подавайте сами заявления,— как все подзахмелевшие люди, упрямо сказал главбух.

Михаил Семенович налил ему еще стопку, небрежно чокнулся, но сам пить не стал. Бухгалтер же выпил с удовольствием, подцепил на вилку несколько сардин и, размазывая по усам желтое масло, сказал:

— И чего ему нужно, сволочи? Свалился на нашу голову. Жили люди, так на́ вот тебе!

На что Михаил Семенович ничего не ответил — как видно, он не был расположен к разговору. Налил еще

стопку главбуху. Тот выпил и скосил глаза на остаток в бутылке. Там было на донышке.

— Ну что ж, пора и восвояси,— подымаясь, сказал главбух и поглядел на полную стопку сбытчика.— Если не возражаете, заодно уж...— и показал пальцем на стопку.

— Пейте, пейте,— любезно разрешил Михаил Семенович.— Я ведь не очень здоров и только ради такого печального случая пригубил.

Главбух выдохнул, влил в себя последнюю стопку, потряс головой и, не прощаясь, пошел домой. И сразу же в горницу вошла Ирина Аркадьевна.

— Зачем он приходил?— спросила она, стараясь по выражению лица мужа догадаться, насколько серьезное известие принес главбух. Но, как всегда, лицо сбытчика было эпически спокойно, и она ничего на нем не прочла.— Скажи.

— Однажды я видел, как щука заглотала щуку чуть меньше себя и никак не могла уйти на дно, чтобы там не торопясь переварить ее, и плавала поверху. И доплавалась до того, что ее взяли голыми руками. Так и новый председатель. Он захочет заглотать меня, но от этого сам подохнет. Он совершенно не знает системы нашего дела. У нас, снабженцев, свой код...— Вот когда прорвалось то, что так долго сдерживал в себе Михаил Семенович. Он даже брызгал слюной. Да, теперь перед женой ему нечего было скрывать.— Я знаю эту породу — сами не живут и другим не дают жить. Но рано пташечка запела, как бы кошечка не съела...

— Что случилось?

— Он уволил меня.

— Вот как! Действительно из простаков. Ты очень огорчен?

— Вообще конечно. Терять такое место! Но я не привык пускать слюнявика. Пусть этим занимаются другие, а мое дело впереди. Итак, я в отпуску. Тут он допустил ошибку. Нельзя было отпускать меня. Надо было заставить поработать еще две недели, чтобы за это время я успел сдать дела новому человеку. Он не учел этого. А коли так, то я в отпуску. Значит, пока не спохватился, надо, не теряя ни минуты, собираться и завтра чуть свет в путь... Но каков новый пред, а?

— А ты говорил, он будет есть с твоей руки.

— Ну и что? Или я сказал, что он не будет есть? Вы, женщины, хороший народ, только у вас нет терпения. Терпение же та гиря, которая всегда перетянет. Пошли старуху за Толиком.

После этого они занялись сбором вещей. Их не так уж было и много — самое необходимое. Укладывали в чемоданы, изредка переговариваясь, но уже не касаясь происшедшего события. Они не любили мусолить одну и ту же тему.

— Прибыл!— появляясь на пороге горницы, сказал парень лет двадцати пяти с веселой улыбкой на свежем чистом лице.— Здравствуйте, Ирина Аркадьевна, не видал еще вас!

— Здравствуй, Толик!— мягко улыбнулась жена сбытчика.

— В отпуск?— оглядывая чемоданы, спросил Толик.

— Да. Завтра пораньше, часов так в пять, выедем.

— Понятно. А если я прихвачу у бабуриков овощи?

— Бери.

— Продукции не будет?

— На этот раз нет.

— Понятно.— Он с улыбкой глядел на своего шефа, готовый выполнить любой его приказ. Да и как иначе, если только благодаря Михаилу Семеновичу он увидел жизнь. В каких только не побывал городах, по каким только не ездил дорогам. Узнал вкус ресторанной еды, интим гостиничных номеров, мимолетные знакомства с девчатами, оставляющие приятный следок воспоминаний.— Больше никаких приказаний не будет, шеф?

— Нет. Можешь идти.

Но не прошло и десяти минут, как он ушел, явился Климов.

— Извините за внезапное вторжение.

— Ну что вы, какой разговор. Я вас слушаю.

— Вам придется задержаться на несколько дней.

— Вот как! А почему?

— Да так, появились некоторые производственные соображения.

— Какие же?

— Завтра утром все объясню. Сейчас уже поздно.

— Ну, что вы, всего девятый час...

— Завтра, завтра.— И ушел, вежливо поклонившись Ирине Аркадьевне.

— Я ни разу не видала его вблизи. Довольно интересный мужчина. Только уж больно официален.

— А ты хочешь, чтобы он еще шутил, увольняя твоего мужа?

— По-моему, совсем наоборот. Он тебя оставляет на работе. А этот старый пьяница наболтал чего нет.

— Ах, Ирина, Ирина, ты со мной живешь пятнадцать лет, но не стала мудрее. Он торопится, не до конца продумывает. Как шахматист он наверняка неважнецкий. Но в конце концов принимает правильное решение. Он уволит меня через две недели. Ровно две недели с завтрашнего дня, чтобы не платить выходного пособия.

— И еще так вежливо поклонился мне.

— Ну и что? Я ему тоже улыбался. Но значит ли это, что я к нему готов прийти на день рождения с подарками?

— А как же Толик? Машина?

— Значит, не поедет. Пусть это будет ему первая заноза от председателя.

И Толик не поехал. И первая заноза царапнула его сердце.

— Это почему же?— спросил он Михаила Семеновича, когда тот вышел из избы на крыльцо.

Было раннее утро. Солнце еще только-только оторвалось от земли, распаренное, словно после бани, и, вздымаясь в небо, всплывало красным шаром. И на песке, и на траве, и на цветах, и на ступеньках крыльца лежала серая холодная роса. Машина, обихоженная еще накануне, чистенькая, будто новая, стояла против дома. В ее кузове, вплотную один к другому, стояло несколько мешков с огурцами. И Толик, спросив Михаила Семеновича, почему же не поедет, поглядел на мешки, будто на пассажиров.

— Да потому, Толик, что меня увольняют,— с мягкой улыбкой ответил Михаил Семенович.

— Кто это?— даже испугался Толик.

— Да так... Теперь у тебя будет другой сбытчик. Хорошо, если такой же добрый, как я.

— На черта он мне сдался!

— Ну, тебя спрашивать новый председатель не будет. Это все решается без нашего ведома и согласия. Так что гони машину обратно.

— А чего же с овощами делать?

— Вернуть и объяснить.

— Чего объяснить?

— Ну, кто виноват. Не ты же?

— Нет.

— Ну вот и объясни, что не ты виноват, а кто-то другой виноват.

— Понятно.

— И не забудь с такой же готовностью приехать сюда через две недели, когда я уже буду уволен.

— А за что же вас уволили?

— Для вашего колхоза я оказался очень дорогим.

Точно такой же вопрос и почти такой же ответ прозвучал в кабинете председателя.

— За что же вы его уволили?— спросил Климова Захар Найденков, смуглый расторопный кладовщик колхоза, которого председатель метил на место сбытчика.

— Слишком уж он дорог нам,— ответил Климов.— Я думаю, вы согласитесь то же самое делать рублей за сто, не считая командировочных?

— Смешно вы говорите, Иван Дмитриевич. Ведь тут надо понимать, а я что? Михаил-то Семеныч опытный. У него все на мази. А я как голый.

— И у вас будет все как на мази. Новых договоров мы не будем заключать, так что вам и заказчиков новых искать не надо. Будете только продлевать старые. Адреса этих шарашкиных артелей есть. Ничего мудреного.

— Не знаю, прямо не знаю...

— И знать нечего. А сейчас идите к сбытчику и все адреса, договора, куда, чего разузнайте и действуйте.

— Как-то неудобно...— Захар Найденков поскреб небритую щеку.— Да и зачем это мне?

— Ну вот, опять двадцать пять! Надо! Понимаете — надо! Что же будет, вы откажетесь, другой откажется, куда это годится! И построже с ним, потому что с вас будет спрос.

— Да ни к чему мне, честное слово! Ну его к ляху!— неожиданно вскричал кладовщик.— Какой я, к черту, сбытчик!

Но председатель не стал его слушать, углубился в чтение какой-то бумаги. Потом зазвонил телефон, и он стал с кем-то разговаривать. Захар Найденков постоял, поскреб еще раз небритую щеку, подумал, что надо бы побриться, тем более теперь, когда назначен заведую-

шим производством подсобного цеха, и, понимая, что дело с ним уже решенное, побрел из кабинета.

— У меня договоров нет, они в бухгалтерии,— сказал ему Михаил Семенович, как только он заикнулся о сдаче дел.— И адреса там. У меня ничего нет.

— Ну, может, что присоветуете мне... Вы уж простите меня. Я и сном-духом не ведал. Вызывает сегодня прямо из кладовой Иван Дмитриевич, я думал по какому такому делу, а оно вот какое дело...

— Какая мне разница. Не вы, Захар Афанасьевич, так был бы другой. Но я не знаю, чем могу быть вам полезен. Я все документы сдаю в бухгалтерию. Продукция в цеху. Но там ответственный за все бригадир.

— Тогда чего же мне от вас принимать? Чего-то принять должен я.

— Мне сдавать нечего. И советовать нечего. А вообще-то я еще некоторое время побуду здесь, так что приходите, спрашивайте.

— За это спасибо. Непременно, ежели что...— Захар Найденков неумело поклонился и заспешил в цех, толком еще не понимая, хорошо или плохо все, что приключилось с ним в это утро. Жил себе, жил человек, выдавал стекло, фанеру, гвозди, олифу, клей, краски и прочую москатель — и во сне не чуял, что станет на место сбытчика. Найденков удивлялся, но удивляться, собственно, было нечему — такова уж была заведенная в районе практика. Так направили Климова на новую работу, так Климов направил на новую работу Захара Найденкова. И ничего тут удивительного не было. Для Климова. Но не для заклиновцев. Как только они узнали, что сбытчик снят и на его место поставлен Найденков, так сразу же остановили свои станки и обступили нового зава.

— Тебе чего в этом деле?— спросил Найденкова Николай Васин.— Зачем вскочил на место Михаила Семеновича?

— А чего я мог, ежели председатель приказал,— поеживаясь под суровыми взглядами токарей, ответил Захар Найденков.

— Смотри какой исполнительный. Ты брось, давай начистоту! С какой такой стати тебя к нам кинули?

— Да ты что? Я и сном-духом не ведал, вызвал меня Иван Дмитрич и говорит, что сбытчик уволен, и велел мне тут же от него дела принимать. Я ж отказывался,

да разве он слушает. А по мне, провались ты и работа такая!

— За что уволен Михайла Семеныч?

— Денег много получал. Одних отпускных ему причитается около восьмисот рублей,— словно оправдываясь, сказал Захар Найденков.

— Ни хрена!— воскликнул Сеня Кудимов, в прошлом тракторист.— Это мне надо четыре месяца вкалывать за такие-то деньги.

— За какие такие, за малые, что ли? По двести рублей когда ты, где получал? Ежели б не Михаил Семенович, никто б из нас не видал таких заработков, а теперь добро! Чего ж нам пялиться на его деньги!

— А тебе сколь положено?— спросил Найденкова высокий костлявый старик Самсонов, тот самый, который в молодости играл на сцене. Он спросил и тут же закашлялся и согнулся до земли.

— Сто!

— И то много!— махнул рукой Самсонов.— Кладовщиком-то сколь получал?

— Да провались ты и с делом таким! Больно мне надо! Председатель велел, а я что?— вскричал Найденков.

— Председатель. Он наприказывает!— наскочил на него Самсонов и тут же согнулся до земли от нового приступа кашля. Откашлявшись и отхаркавшись, добавил:— И черт приносит их на нашу шею. Не спросют, не посоветуются, а шлют. Примай, и никаких веревок. Жизня!

Николай Васин вытер руки ветошкой, снял передник и пошагал из цеха. Ему непременно надо было узнать все досконально. Почему и за что уволен Михаил Семенович? Что за чертова жизнь, на самом деле! Увольняют, принимают какие-то решения и ни с кем не обсудят, словом не перекинутся. Прав Петька Самсонов, ей-ей прав! Вертят как хотят, только успевай поворачиваться. Карусель, а не линия!

Михаила Семеновича он застал дома, тот читал какую-то толстую книгу.

— Почему вы спрашиваете меня? Спрашивайте вашего председателя,— сказал он Васину, присевшему на порожек.— Получаю много денег? Но я не позже как на прошлой неделе поднял с земли две тысячи и отдал колхозу. Только нагнулся — и все, нате! Пусть будет, как хочет товарищ Климов.

— Что Климов? Он наломает дров и умотает. Не первый такой, а нам жить. Ой, худо это! Только-только начали жить по-людски, и вот на́ тебе. Но я этого дела так не оставлю. Я пойду к парторгу. Чего она думает? Чего она попустительствует! Это мы тоже можем. Знаем не только свои обязанности, но и права, хотя с нами и не считаются. Знаем!

Михаил Семенович довольно спокойно выслушал всю эту речь, не очень-то веря в боевую настроенность оратора, а точнее, зная, что весь его боевой дух только до дверей кабинета председателя, если не до калитки. Но на всякий случай подбодрил Николая Петровича.

— Конечно, кто же, как не вы, можете замолвить за меня словцо. А что касается денег, так ведь сколько я договоров заключил, столько и премиальных. Разве я знал, что надо меньше? Я о таком не думал. Исходил из интересов колхоза. Если б не было столько договоров, разве так бы вы жили...

— Какой разговор! И долдонить нечего. Добро, ой добро стали жить, и опять на́ тебе, все летит. Но это мы еще посмотрим. Еще поглядим!

Он стукнул кепкой о колено, лихо накинул ее на затылок и зашагал к парторгу. Конечно, в контору он вошел не таким боевитым, каким был у Михаила Семеновича, но все же не уронил своего достоинства, когда распахнул дверь в канцелярию, где сидела Зоя Филипповна.

— Здравствуйте, Зоя Филипповна!— громко сказал он еще у порога и приложил руку к кепке. И, только уже после этого, снизив громкость, спросил:— Это что же делается, как-то вроде и нехорошо, товарищ парторг.

— А что такое?— спросила Зоя Филипповна и оглядела все лицо Васина, словно что отыскивая на нем.— Да вы садитесь.

Васин сел на краешек стула.

— Интересуюсь не только я, но и ребята из цехов: это за какие такие дела сбытчика уволили? Почему по такому?

— Распоряжение председателя.

— Понятно, не мое. А вы что, согласные?— уловив в тоне Зои Филипповны намек на усмешливость, спросил Николай Петрович.

— Конечно, зарплата у Михаила Семеновича страшно завышенная.

— Ну так, а вы потолковали, может, он согласный на меньшую? Зачем увольнять-то сразу?

— Это вы правы... Действительно, может, он согласился бы и на меньшую зарплату. Идемте к председателю.— Она живо собрала бумаги, сунула их в ящик стола и, поправив волосы, пошла впереди Николая Васина. Он поспешил за ней, стараясь подладиться под ее мелкий шаг.

— Очень хорошо, Иван Дмитриевич, что мы вас застали,— сразу же начала Зоя Филипповна, как только вошли к Климову.

— Что такое?— недовольным тоном спросил Климов, глядя на оживленное лицо Зои Филипповны.

— Говорите, товарищ Васин.

— Так я же вам все обсказал, теперь вы это самое...— не ожидая, что ему придется докладывать председателю, в замешательстве сказал Николай Петрович.

— Говорите, говорите...

— Ну, тогда вот, хотелось бы узнать, товарищ председатель, почему же вот это такое, увольняете людей и ни с кем не советуетесь...

— Каких людей?

— Да вот Михаила Семеновича.

— А зачем он нам такой дорогой? Я полагаю, Найденков прекрасно справится с работой, и в колхозной кассе останется порядка трех тысяч экономии в год. Это что, вас не устраивает?

— Не об этом речь. Но только и Михаил Семенович мог бы за такие деньги, как и Найденов, работать.

— Он отказался. Я говорил с ним.

— А-а... Я этого не знал. Он не сказал мне.

— Так о чем мне советоваться?

— Да нет, тогда все ясно... чего уж... Извините,— неловко отступил к дверям Николай Петрович.

— А вы что хотели сказать?— спросил Климов Зою Филипповну.

— Товарищ пожаловался мне. Вернее, обратился, вот я и хотела все сразу же выяснить. И пришла к вам. Тем более что и для меня было совершенно неизвестно, что Михаил Семенович не согласился на ваши условия. Если бы я знала, то, естественно, сама бы все объяснила товарищу, но я не знала, поэтому и пришла.

— Вот что, чтобы по мелочам мне вас не информировать, давайте ваш стол сюда, ко мне в кабинет. Будете здесь работать. Заодно и ко мне лучше присмотритесь, а я к вам. Товарищ, помогите перенести стол,— сказал Климов Николаю Петровичу.

— Есть!— с готовностью ответил тот и поспешил из кабинета за столом парторга, в душе ругая себя за то, что сунулся не в свое дело. Будто не знает, что начальство всегда объяснит так, что и крыть нечем. Если б был в курсе, тогда другой резон, а то, вишь, и парторг-то не знает, так куда ж тут такому, как он, который торчит целыми днями в цеху да дома. Откуда ему знать все тонкости-то! А и сбытчик тоже хорош, нет чтобы все досконально передать, что, мол, отказался от меньшей зарплаты, так нет, молчит, будто огурец в рот сунул. Только человека ставит в неловкое положение, черт толстый! Ну, хрен с ним...

— Посторонись!— крикнул Николай Васин, неся стол ногами вперед.— Парень, открой дверь! Шире!

И стол въехал в кабинет председателя и встал на то место, какое было указано председателем. Жаль только, что Климова в эту минуту уже не было в кабинете. Васину почему-то подумалось, что было бы ой как добро, если бы председатель увидел, как он быстро и ловко выполнил его поручение.

Но председателя не было, он переходил улицу, направляясь в гараж. И надо ж, чтобы непременно в эту минуту попался ему на глаза персональный шофер сбытчика Толик Веселов, слонявшийся по двору в поисках полдюймовой гайки.

— А этот паренек чем занимается?— спросил Климов у главного механика.

— Он в личном распоряжении Михаила Семеновича. Нам не докладывается. Куда, что — сам решает. Если только какой ремонт, тогда уж к нам идет,— ответил механик и подозвал Толика. — Вот, Толик, это наш новый председатель правления колхоза, чтобы ты знал. А то ходишь и не здороваешься.— Главный механик был рослый, сильный, и потому голос его всегда звучал благодушно, и что бы он ни говорил, хоть даже с подковырочкой, обижаться или сердиться как-то даже и в голову не приходило. Не пришло и Толику.

— Здравствуйте,— сказал он председателю, но ска-

зал сухо, потому что первая заноза саднила сердце, хотя об этой занозе Климов ничего не знал.

— Чего это вы тут делаете?— с интересом разглядывая лицо парня, который находился в личном распоряжении сбытчика, спросил Климов.

— Гайку ищу.

— Нашли?

— Нет еще...

— Какую вам надо гайку?

— Полдюймовую.

— У вас есть полдюймовая гайка?— спросил Климов у механика.

— Найдется.

— Дайте ему, а то ведь он целый день проходит. Что тебе, Толик, еще нужно?

— Больше ничего.

— Машина-то где?

— А во дворе у меня.

— Непорядок, надо, чтобы она стояла здесь, в гараже. А то ведь и дождем ее мочит, наверно. Навеса-то нет, или она рядом с коровой стоит?

— Я ее брезентом закрываю,— глухо ответил Толик.

— Ну вот, пригони сюда машину, здесь прихватишь народ, придут из цеха, и поедешь в первую бригаду. Будешь возить зеленую подкормку.

— Я этим не занимаюсь. У меня другой профиль,— побледнев, ответил Толик.

— Через пятнадцать минут должен быть здесь, через полчаса на ферме. Действуйте!

— А если я не согласен?

— Тогда сдадите машину механику и пойдете пешком в ту же первую бригаду,— спокойно ответил Климов. Да, в таких случаях он не горячился. Он обладал чертами настоящего организатора. А организаторы, как правило, люди с крепкими нервами и по пустякам их не расходуют.

«Зараза!— подумал Толик,— вот гад! Теперь и до меня добрался». Так в его сердце вошла вторая заноза.

«А кому же я теперь буду подчиняться? Кто будет моим шефом?»— подумал Толик и повернулся к председателю.

— Я что же, напостоянно в первую бригаду, или как? — спросил он, хмуро глядя на председателя.

— В распоряжении Захара Афанасьевича Найденкова, но только в те дни, когда будете заняты у него, а в остальные — в распоряжении главного механика.

— Значит, теперь мой шеф — Захар Найденков. Сила!

— А чем же он хуже вашего сбытчика?

— Сравнили!— хохотнул Толик.

— Честно говоря, мне бы не хотелось и сравнивать Захара Афанасьевича с вашим дельцом. Но неужели он вам нравится? За что?

— За все.— Толик исподлобья взглянул на председателя.— Только он не делец, а нормальный дядька, каких поискать. Он и в другом месте не пропадет, а вот вам без него, с Захаркой Найденковым, будет затычка.

— Послушай,— доверительно сказал Климов,— тебе очень не хочется работать в бригаде?

— А кому захочется возить навоз да в минералке мазаться?

— Но ведь кому-то надо.

— Ну, кому надо, тот пусть и вкалывает, а у меня особой охоты нет.

— Значит, ты лучше других. Чем же это, если не секрет?

К ним подошел механик. Толик взял гайку, подкинул ее на ладони и, усмехаясь, пошел к воротам.

— Ты мне не ответил!— крикнул вдогон Климов.

Толик обернулся.

— А нам некогда. Чао!— И потряс рукой.

Нет, он не пошел к своей машине,— была еще надежда на нового шефа.

Его он нашел на складе. Найденков знакомился с продукцией — вертел в руках бобины, подрозетники, вникал в чертежи, попутно расспрашивая бригадира, что к чему, как.

— Товарищ шеф, в ваше распоряжение прибыл!— лихо отрапортовал Толик своему новому начальнику.

— Чего еще за шеф,— снисходительно, как на маленького, поглядел Найденков.

— А как же, теперь вы мой самый непосредственный шеф!— светло глядя в глаза Найденкову, ответил Толик.

— Ну, коли шеф, так шеф. Чего делаешь?

— Да вот председатель направил в первую бригаду— зеленую подкормку на ферму возить,— стал объяснять

Толик, как ему казалось, с таким расчетом, чтобы Найденков тут же возмутился — как это, мол, так, без его ведома распоряжаются его личным шофером. По крайней мере Михаил Семенович повел бы себя именно так. Но Найденкова это нисколько не задело.

— Ну давай, вози,— ответил он.— Когда будешь нужен, скажу. А пока там вкалывай.

— Раньше такого порядка не было,— сказал Толик,— Михаил Семенович ни за что бы не допустил.

— Мало ли что, то — сбытчик... А потом и всамделе, чем баклуши бить, хоть принесешь пользу. Давай, сполняй, что сказал председатель. Он ведь тоже соображает.

Толик, ругая во все концы и председателя и нового шефа, пошлепал к своей машине и через несколько минут гнал ее вовсю, разгоняя с дороги всполошенно оравших кур, вздымая такую завесу из пыли, что она поднялась выше деревни.

«Гады! Вы еще Толика не знаете. Я покажу вам, как вкалывать! Не на того нарвались. К ним вежливенько, как полагается, товарищ шеф, с полным уважением. А он так. Ну и мы так!»

Найденков же продолжал вникать в суть дела. Оно и действительно оказалось не таким уж сложным,— настолько, что ни разу не пришлось обратиться за разъяснениями к Михаилу Семеновичу, чему Найденков был особенно рад. По своей русской природе он во все любил вникать сам.

Когда набралось достаточное количество бобин и подрозетников — чтобы не гонять машину вполгруза, а за один рейс развезти продукцию заказчикам, — Найденков доложил председателю о том, что может отбыть.

— Ну, как говорится, ни пуха ни пера, — улыбаясь, сказал Климов. Оказывается, он умел и улыбаться. И улыбка у него была приятная, подымающая уголки губ, и, что совсем хорошо, когда он улыбался, то глаза у него лучились, и все лицо от этого становилось молодым и добродушным. — Двигай, двигай, Захар Афанасьевич. Предлагай заказчикам продлить договора, но чтобы деньги, аванс, обязательно тут же перечисляли на наш счет. До осени осталось недолго, а там обойдемся и без цеховых денежек.

— Значит, решили ликвидировать производство?—

пытаясь проникнуть в замыслы председателя, спросил Найденков.

— Не полностью. Пусть пенсионеры, если пожелают, трудятся. Школьники в каникулы могут. Ну, а всерьез эту отрасль, конечно, никак нельзя допускать. Наша задача в другом — хлеб, лен, мясо, молоко давать стране. А деревяшек и без нас наделают. Ну, давай, двигай!

Захар Найденков откашлялся, поправил фуражку и сел в кабину рядом с Толиком.

Толик даже не посмотрел на него. Гады! Завсегда по пути он прихватывал от старух в это время щавель, редиску, зеленый лук. А тут на́ вот тебе, шеф называется, сам не мог решить, к председателю направил, а тот только того и ждал, чтобы запретить. А как без денег жить в чужом месте? И гостиница, и ресторан, и другое чего... Что же, в машине спать, горбушку жевать?.. Ну ладно, вы еще узнаете Толика! Еще пожалеете!

Захара Найденкова не было ровно три недели. За это время он побывал в нескольких областях. На юге дошел до Воронежской, а на севере до Вологодской. Всю продукцию до последний штучки вручил заказчикам, но ни одного договора не сумел продлить. На все свои предложения и даже просьбы получал один и тот же ответ: «Нет, нет, в пролонгации не нуждаемся. Достаточно. Спасибо!»

— Ну, может, чего другое вам надо, мы наготовим с полным нашим удовольствием, — на свой страх и риск предлагал Найденков.

— Нет, нет. Считайте договор закрытым. До свидания!

Весь обратный путь Найденков был мрачен, зато Толик весело насвистывал, а когда надоедало свистать, включал транзистор и ставил его под самое ухо Найденкову, чтобы тот малость поразвлекся.

— Так что вот,— Захар Найденков развел руками, пытаясь показать Климову, какое у него вышло безнадежное дело. — Не хочут. Не надо, говорят, про-лон-гации, — старательно выговорил он новое для себя слово.

— Та-ак... — озадаченно протянул Климов. — Вот, значит, как... Понятно. Ну что ж, иди отдыхай. Да не переживай очень-то. Водитель много работал?

— Досталось.

— Пусть и он отдыхает. Дня два хватит?

— За глаза.

— Ничего паренек-то?

— Да так-то ничего, поизбаловал его малость сбытчик. К гостинице, вишь, привык. Ну, мы и в Доме приезжих храпака задавали — будь здоров... Только вот съездил-то я неудачно.

— Ты здесь ни при чем. Отдыхай.

— Слыхали?— сказал Климов, как только Найденков вышел.

— Слыхала, — ответила Зоя Филипповна.

— Ну, вот вам и случай, чтобы как следует проработать меня. Но, честно говоря, никак не полагал, а все потому, что недооценил способностей сбытчика.

— Об этом вам говорили, — холодно заметила Зоя Филипповна.

— Об этом мне не говорили, — в раздумье сказал Климов. — Но дело и не в этом. А вот как дальше быть? Откровенно говоря, так быстро я не хотел сворачивать нашу шарагу. Теперь понятно, о каком таком законе производственной необходимости он болтал. Самую главную жилку перерезал.

— О чем вы?

— О своем просчете.

— Что же вы думаете делать?

Климов промолчал.

— Да, поторопились вы уволить Михаила Семеновича.

— Хоть и через год бы уволили, все равно была бы такая эффектная концовка. Он жучок и, по всей вероятности, с такими же жучками дело имел. Поэтому они так единодушно и отказали нам в продлении договоров.

— Предполагать можно все что угодно.

— Тоже верно.

— Но все же, что вы думаете делать? Не знаю, о какой вы говорили жилке, но денег, которые у нас есть, ненадолго хватит. Вы сами должны понимать, что финансирование, то есть способность к оплате всех видов расходов, в том числе и зарплаты, а это один из самых важнейших фондов, который должен быть всегда обеспечен...

— Знаю, знаю, знаю,— остановил Зою Филипповну Климов. — Чувствую, начинаете набирать силу. Еще немного, и на партбюро протянете. И правы будете.

— Вы еще способны шутить!

— Да нет, не очень способен. Ведь мне придется ехать к сбытчику на поклон.

— Да что вы!

— Честно. Иначе никак. Вот уж он на мне отоспится... Но дело опять же не в этом, а в том, чтобы он согласился вернуться.

— Да вы что, Иван Дмитриевич! На посмешище хотите себя поставить?

— Пусть лучше смеются, чем камнями забрасывают. Иного выхода нет... А честно говоря, страшно не хочется к нему ехать...

И только тут Зоя Филипповна заметила какое-то несоответствие в словах, которые звучали довольно благодушно, и выражении лица Климова с приспущенной на глаз тяжелой бровью.

— Хотите, я съезжу? — предложила она.

— Ни за что! Авторитет парторга для меня выше, чем авторитет административного руководителя. Ну, а кроме того — я виноват, я и должен исправить свою ошибку.

Климов думал, что сбытчик будет удивлен, увидя его. Нет. Было похоже, будто Михаил Семенович ждал его.

— Входите, входите, — любезно пригласил он. — Раздевайтесь. Вешайте сюда ваш плащик.

— Я наслежу, — не очень-то ловко себя чувствуя от такого радушного приема, сказал Климов, — на улице дождь.

— Да, наша ленинградская погодка... А вы снимайте ботинки, вот туфли. Раньше носили калоши, было очень удобно, снял — и вся грязь у вешалки. А теперь всю грязь милые гости тащат в дом, так мы завели для гостей домашние туфли. Пожалуйста!

Пришлось присесть на корточки, расшнуровать ботинки и, как в музее, надеть растоптанные, со смятым задником туфли. В этом было что-то унизительное, но Климов подавил в себе это чувство, боясь, что оно перерастет в неприязнь, и пошел за сбытчиком в боковую комнату.

Михаил Семенович усадил его в кресло с поролоновым сиденьем, подвинул к нему торшер с баром и достал оттуда длинную бутылку с красивой этикеткой.

— Приятель вернулся из-за границы. Презентовал на днях, — показывая бутылку Климову, сказал Михаил

Семенович. — Это виски «Белая лошадь». Не приходилось пробовать?

— Нет.

— Ну вот, сейчас и попробуем.— Он налил в маленькие рюмочки. — За границей пьют виски с содовой водой. Но у нас в России не принято разбавлять...

— И у нас разбавляют, — не желая соглашаться, сказал Климов. Он не хотел соглашаться потому, что чувствовал в этом некую уступку, а уступать он не хотел. Разговор с этим дельцом должен был идти хотя бы на равных.

Михаил Семенович засмеялся.

— Вы имеете в виду продавцов, которые этим занимаются?

— Нет. Имею в виду себя.

— Хотите с содовой? Но у меня, к сожалению, нет.

— Ну, не велика беда. Я ведь приехал к вам не виски пить. Вы понимаете?

— Я так и полагал, иначе зачем бы вы действительно ко мне приехали. Но долг хозяина...

— Буду с вами откровенен. Найденков, которого я назначил на ваше место, не смог пролонгировать ни одного договора.

— Этого следовало ожидать.

— Да. Насколько я понимаю, у вас много своих людей. Есть они и в тех артелях, с которыми у нас заключены договора.

— Не говорите глупости, — спокойно сказал Михаил Семенович и отпил крохотный глоточек виски. — Надо просто уметь работать. Вы думаете, что я прихожу к новому человеку, кладу ему на стол деревяшку, он за нее хватается и тут же заключает договор? Нет. Он даже не хочет глядеть на меня, но я начинаю его убеждать, доказываю все преимущества, если он завяжет отношения именно с нашим цехом, говорю еще массу всяких слов, и он в конце концов соглашается. А что ваш Найденков? Он в своей кладовой совсем разучился говорить, а вы хотите, чтобы он стал дипломатом. — Михаил Семенович повертел в пальцах ножку рюмки, посмотрел виски на свет и поставил рюмку на стол.— Надо уметь работать.

— Это верно, —не сразу сказал Климов. — Я пришел к вам просить вернуться на работу.

Михаил Семенович искоса взглянул на председателя и совершенно серьезно, по-деловому спросил:

— На какое время зовете обратно?

— На год. Не меньше.

— Значит, вы все же не отказываетесь от своей затеи закрыть цех?

— В том виде, в каком он существует сейчас, да.

— Не понимаю я вас, Иван Дмитриевич. Зачем это вам?

— Я уже объяснял.

— Я помню. Но это все высокие материи. Я даже не буду говорить, что ваш колхоз — песчинка в общем хозяйстве страны. Не буду говорить, потому что вы мне ответите, что из песчинок—гора. Все это мы знаем. Я хочу вам сказать о другом. Не будьте бóльшим католиком, чем папа римский. Пока есть возможность, то есть пока не прихлопнули такого рода предприятия, как наш цех, пользуйтесь каждым часом. Потому что каждый час — это деньги. Или вы против них?

— При других обстоятельствах я бы не стал даже разговаривать с вами на эту тему. Ведь совершенно же очевидно, что то, что дорого мне, для вас никакой ценности не представляет. Но вы нужны нам, и поэтому я приведу вам только два примера, чтобы вы поняли, как далеко зашло дело с вашим цехом. На днях я узнал, что мой предшественник умолял старух выйти в поле драть лен. Умолял. Потому что вся полноценная рабочая сила была у вас в цеху.

— А, бросьте вы с вашим льном! Какой от него был доход? Вы как ребенок, ей-богу!

— Ну действительно, до чего же мы с вами разные! Все, хватит об этом! Отвечайте на мое предложение.

— Ответить недолго. Но я хочу знать, зачем мне возвращаться к умирающему?

— Чтобы помочь колхозу.

— Занятный вы человек, товарищ председатель. Ведь вы же меня выгнали, а теперь пришли просить, чтобы я помог колхозу.

— Ну да, не мне же, а колхозу!—повысил голос Климов. — Со мной вы можете не здороваться, можете ненавидеть меня, но есть государственное дело, и тут нельзя сводить свои личные счеты.

— Ого как! Значит, всякое самолюбие побоку. Тебя

могут унижать, обижать, но если только коснулось общественного интереса, то ты должен все свои обиды засунуть в задний карман штанов. Очень мило!

— Что вам от меня надо? Чтобы я признал себя неправым по отношению к вам? Признаю. Да это и так ясно, если я у вас, здесь.

— А что это мне дает?

— А что вам нужно? Я пришел по делу. О деле и давайте говорить.

— Предположим, я не вернусь.

— Ну что ж, на какое-то время нам будет трудно. Но это совершенно не значит, что колхоз погибнет.

— Предположим, я решил вернуться.

— Об этом и речь.

— На каких условиях?

— А какие бы вы хотели?

— Прежние... — Михаил Семенович лукаво взглянул на Климова. — И плюс путевка на юг за счет колхоза. Со всей передрягой расшатались нервы.

— Насчет путевки не решаю, надо посоветоваться с членами правления.

— Неприятно будет советоваться?

— А это вас не касается.

— Ну, зачем же так сердито? Конечно, будет неприятно выслушивать всякие справедливые нарекания. Так не беспокойтесь. Я пошутил. Мне не нужна от вас путевка. Но отпуск нужен. Все же отдохнуть необходимо.

Ровно через месяц Михаил Семенович приехал в колхоз. Он и вида не показал, что обижен или рад своему возвращению, нет, как будто ничего и не случилось. Прошел в цех, повертел в руках бобины, велел Толику привести в порядок машину, сказав ему, что только с его ведома могут распоряжаться им, на что Толик выразил свой полный восторг диким криком «ура!» и не поленился тремя водами отмыть кузов от минералки, которую возил последнее время.

И вскоре услышал заветную команду:

— Ну, завтра в путь. Чтоб все было как на солнышке!

И еще с вечера собрал свой чемодан, с которым всегда ездил. Забежал к старухам, чтоб приготовили к утру овощи на продажу.

— Ой, хорошо-то! Ой, родной ты наш!— обрадовались бабки. — Да сколько же можно-то?

— А вали сколько есть! Только чтоб все чистенько, культурненько, в мешках и корзинах, как полагается, — командовал Толик.

— Да уж сделаем, все сделаем. Не впервой. Как скажешь, так и сделаем!

— Условия прежние. Возражений нет?

— Да уж ладно, ладно, не будем дорожиться. Как скажешь, так скажешь, не обидишь.

— Не обижу, всем жить надо! Сам живи и другим давай!

— Так, милый, так...

— И никак иначе. Деньги — это удобство! Кто против них, могу взять себе!

— Ну Толик! Ну Толик! Уморишь ведь...

И снова пошла для Толика жизнь, какая была и раньше. А была она такой.

Раным-рано он объезжал всех старух, которые готовили на продажу со своего огорода овощи, забирал в кузов их продукцию, выгадывая среди бобин и подрозетников и им местечко под солнцем, потом подворачивал к дому, где жил Михаил Семенович, и негромко, как было условлено, стучал пальцем в окно. И Михаил Семенович тут же выходил из дому.

И уже после этого Толик на хорошей скорости гнал машину по шоссе. И она весело, легко рвалась вперед, отбрасывая километры. Врывалась в районный центр, словно вкопанная останавливалась у рынка, где уже Толика ждали свои люди. Они снимали старушечьи мешки и корзины, платили Толику что полагалось. Он тут же, чтобы не спутать, в один карман клал выручку для бабок, в другой — для себя. И машина мчалась дальше.

На эти деньги Михаил Семенович не претендовал, хотя мог и запретить заниматься подобной коммерцией. Но у него было два девиза: «Живи сам и не мешай жить другому!» и «Деньги — это удобство!», и, следуя первому девизу, не мешал жить Толику, тем самым позволяя воспользоваться и вторым девизом, за что Толик был ему предан, как говорится, душой и телом.

Хорошо было гнать машину на доброй скорости по гладкому шоссе. В кабине звучала приятная музыка, пели знаменитые певцы, дикторы сообщали о погоде, комментаторы — о футбольных матчах. А на ветровое стекло все время набегало новое: леса, реки, поля, деревни, и

это новое оставалось позади, и другое новое набегало, словно из будущего, и этому новому не было конца, пока мчалась машина.

Приезжали они в город, где находился заказчик. Да, заказчики всегда находились в городах. И это было особенно приятно. Машина подъезжала к гостинице. Михаил Семенович снимал два номера, об этом ему ничего не стоило договориться с администратором. Два номера для того, чтобы не мешать друг другу. Как правило, в день приезда Михаил Семенович принимал ванну и ложился отдыхать. Толик же, умывшись, доставал из чемодана расклешенные брюки, капроновую модную курточку на «молнии» и, чувствуя себя молодым и красивым, выходил на улицу. Неторопливо шел в парк и там на танцевальной площадке знакомился с хорошей девчонкой. После чего приглашал ее в ресторан. Угощал шампанским, фруктами, и, случалось, приводил в свой номер, заранее сунув плитку шоколада коридорной, чтоб не возражала. И тогда на другой день Михаил Семенович не очень поторапливал его. И это также ценил Толик.

С возвращением сбытчика снова наладилась такая жизнь. И Толик был рад и счастлив. Но Михаил Семенович знал: как только подоспеет урожай, председатель сразу же начнет ущемлять цеха, все настойчивее сужать их размах, перебрасывая рабочую силу на поля. И постепенно замрет деловой дух предприятия. Замрет... Но замрет ли? Да и когда это будет? Может, и не так скоро. Да и не так все просто... И тут он подумал о том, что не зря вернулся в колхоз, и не только потому, что ему нельзя уходить с работы с осложнениями, ибо такая у него специфическая деятельность, а еще и потому, что есть надежда — люди уже привыкли к достатку. А ведь достаток — это удобство!

ЗАБРОШЕННАЯ ВЫШКА

Вчера ко мне пришла соседка. Я знаю ее давно, чуть ли не двадцать лет, с тех пор, как приехал сюда учительствовать. Тогда она была молода и довольно симпатична. Но что не делают годы! Теперь она до того суха, что создается ощущение, будто совсем не пьет воды. Лицо у нее, как у большинства наших поселковых женщин, занимающихся и своим огородом, и домашней живностью, не то чтобы огрубевшее, а какое-то туповатое от постоянной занятости и заботы. Несмотря на то что мы живем соседями, дружбы между нашими семьями нет. Ну так, чтобы ходить друг к другу в гости. Хотя у меня с Игнатьевичем, мужем соседки, отношения довольно дружеские. Мы с ним и на рыбалку нет-нет да и съездим и, бывает, выпьем по кружке пива.

Сейчас, когда пишу эти записки, я вспоминаю их жизнь, и мне кажется, я смотрю самый настоящий спектакль, только в моей памяти все это раздвинуто во времени, и получается как бы спектакль замедленного действия. Я видел их неразлучной парой, когда после длинного летнего дня, наработавшись, они сидели рядышком на скамейке у своего дома. Он богатырь, как говорится, косая сажень в плечах, и она, маленькая, припавшая к нему. Видел и то, как, позднее, Анастасия Макаровна часто сиживала одна на лавочке, в то время как Игнатьевич направлял свои стопы ко мне или к кому другому. Случалось наблюдать и такую сцену, когда он возвращался с рыбалки или охоты и она спешила ему навстречу, а он проходил мимо, не принимая ее привета. Никаких особых причин для охлаждения отношений у них не было. Видимо, время шло и уносило по частичке то большое чувство, которое соединило их в молодости. Это я и по себе знаю...

— Со стыда горю, но что же делать, — Анастасия Макаровна всхлипнула и утерла концом платка губы. Ее лицо, и так-то сухое, стало как бы еще меньше, отчего глаза увеличились и затуманились еще большей печалью. — К вам за помощью пришла. Вы уж извините,

что со своим делом лезу, но к кому же, как не к вам. И знаете нас давно, и приятель вы Ивану Игнатьевичу, к кому же еще... Да и человек культурный... Уж извините...

— Ну что вы... пожалуйста.

— Безобразничать стал Иван Игнатьевич. Спутался тут с одной. Люську из булочной знаете, наверное? Так с ней, с разведенкой проклятой! Поговорили бы вы с ним. Усовестили. Дочка все видит. Сын в армии узнает, какой пример?

Мне бы надо спросить ее: а вы-то с ним говорили? Но я и без вопроса знаю: говорила, корила его, ругала,— и все это ни к чему не привело, поэтому она и здесь. Мог бы сказать, что вряд ли мое вмешательство поможет. Но и этого не сказал, хотя твердо убежден — не поможет.

— Все не по нему, все не так,— словно нить на валик, все больше накручивает свой рассказ Анастасия Макаровна. — А еще пуще озверел, когда стал приходить под утро. И чего нашел в ней? Ни пеший, ни конный не пройдет мимо ее дома. И он туда же... — Анастасия Макаровна заплакала, прикрывая глаза крупными, как у мужика, руками.

— Чем же помочь вам?— в раздумье спросил я. — Ведь вы знаете характер вашего мужа. Вряд ли он потерпит, чтобы в его дела вмешивались другие.

— Он послушает вас. Вы учитель, дети наши учились у вас, да и товарищи вы с ним...

«Ну, «товарищи» слишком громко сказано»,— подумал я, но не поправил ее. И напрасно. Это имело в дальнейшем свои неприятные последствия.

— Послушает,— она просяще глядела на меня своими тускловато-серыми печальными глазами.— Поговорите...

«Поговорить! Если бы разговорами решались все дела, как было бы просто и легко жить. Нет, никакие разговоры — ни строгие, ни ласковые — не помогут, если что-то расклеилось в жизни двоих. Тут никакие самые страстные речи не помогут. Как не помогут и любые доводы. И все же...»

— Попробую поговорить.

— Поговорите.

— Хорошо... ладно.

— Спасибо вам!

— Да ну, что вы.

— До свидания! Уж извините.— И, вздыхая, Анастасия Макаровна попятилась к двери.

— Очень мило было слышать, как она причислила тебя к товарищам Игнатьевича,— выходя из комнаты, сказала жена, и рот у нее от кривой усмешки сполз в сторону.

— Глупости, я хотел ее поправить, но...

— Из чувства такта не поправил,— еще больше скривилась жена.

— Напрасно ты иронизируешь.

— Да, только мне еще этого не хватало — иро-ни-зи-ро-вать!

Вот такие у нас теперь отношения. И все, пожалуй, потому, что разница между нами в годах — в пятнадцать лет. Да, мне уже под шестьдесят, а ей всего сорок пять. Но дело не только в этом, а и в том, что я давно примирился с неизбежной старостью, а она в свои сорок пять за счет одежды, парфюмерии, косметики пытается вернуть былую молодость. Пусть, я не мешаю. Больше того, жалею ее, сочувствую. Но это не идет ей на пользу. Она раздражительна. Я же, слава богу, здоров. Сон у меня крепок. В то время как она перед сном прогуливается, я прочитываю, лежа в постели, несколько страниц из произведений, удостоенных той или иной премии, и засыпаю быстро и сплю без сновидений. И утром встаю бодрый, полный готовности приниматься за дело, в то время как жена полна раздражения, она даже не смотрит на меня, и если я что спрошу, то не отвечает, а фыркает.

— Ты напрасно обращаешь внимание на слова Анастасии Макаровны,— сказал я,— и тем более придаешь им такое серьезное значение.

— Нет, ты невыносим!— трагическим тоном воскликнула жена и заломила руки. Такие жесты и интонации у нее от работы в драматическом школьном кружке. Она его ведет вот уже несколько лет, и вполне естественно, что некоторые профессиональные навыки вошли у нее в привычку.— Ты невыносим! — теперь она всплеснула руками и ушла в свою комнату.

В другое бы время я очень расстроился и ее словами и таким отношением ко мне, но так было в другое время, когда «легковерен и молод я был», теперь же отношусь по-иному, не обращаю внимания. «Пройдет и это!» — фи-

лософски думаю я и сажусь за проверку ученических работ.

...Прошло несколько дней с тех пор, как у меня побывала Анастасия Макаровна. И надо сказать, все эти дни тяжелым грузом лежал у меня на сердце предстоящий разговор с Игнатьевичем. Что бы я ни делал, чем бы ни был занят, все время помнил о нем. У меня даже испортилось настроение, что, естественно, не ускользнуло от жены.

— Что это с тобой, ходишь, будто вчерашний день ищешь? — как всегда уже теперь, грубо спросила она.

Я ответил ей.

— Ну, что ж, поговори с ним. Хотя вряд ли чего добьешся. Он абсолютно аморальный человек!

— Ну уж и абсолютно? А если у него большое чувство, разве так не может быть?

— Если большое чувство, тогда надо жениться, а не шляться и не пропадать по ночам вне дома.

— Откуда ты знаешь?

— Об этом все знают, кроме тебя,— презрительно ответила жена.

— Зачем же тогда с ним говорить, если ты уверена, что я ничего не добьюсь?

— Чтобы ты еще больше убедился, какой ты наивный и какой он гадкий человек! В такие годы заниматься такой грязью! — Говоря это, она глядела на меня так, будто это я занимаюсь непристойными делами, а не Игнатьевич. К такой ее манере переводить огонь с других на меня я привык уже, поэтому спокойно выдержал атаку и на этот раз.

— Кошмар! Вместо того чтобы говорить о чем-либо интересном, хорошем — пачкаешься в грязи. И это жизнь! — все больше распаляясь, сказала жена.

Я поглядел на нее и увидел на щеках красные полосы, будто кто ее оцарапал.

— Ты напрасно так раздражаешься,— как можно миролюбивее сказал я и, как в прежние хорошие годы, подошел к ней, чтобы своим поцелуем успокоить ее.

Это мое движение она поняла, вздрогнула, будто я обрызгал ее холодной водой, и отошла.

— Если уж пообещал несчастной Анастасии Макаровне, то, пожалуйста, не затягивай,— не глядя на меня, сказала она.— Не заставляй человека ждать.

— Да-да, конечно,— ответил я.

И вскоре случай представился. Мы встретились с Игнатьевичем в бане. Громадный, красный от пара, он занимал чуть ли не весь полок.

— О, Игорь Николаевич, ходите сюда! — не переставая нахлестывать себя веником, протяжно-ласково сказал он.

— Хватает ли?— крикнул я ему снизу.

— Грамм сто можно.

Я поддал полшайки, полез к нему, и тут же присел, почувствовав, как жар, словно мороз, начинает прихватывать уши. Игнатьевич еще пуще замахал веником.

Потом мы с ним шли, разомлевшие от жары и умиротворенные от ощущения чистоты, и лениво поглядывали по сторонам на дома нашего поселка, на зеленоватые дымки распустившихся ив, на стволы берез, так четко белевшие на фоне весеннего синего неба, на маленькую девочку, бегавшую с розовым сачком за бабочкой.

— Как насчет пивка?— предложил я. Лучшего случая для откровенного разговора трудно было бы найти. И я воспользовался этим случаем.

— Можно,— ничего не подозревая, согласился Игнатьевич.

Буфет у нас — единственное место, где собираются только мужчины. Там всегда бывают красные вина, водится и водка,— а с тех пор, как на крепкие напитки повысили цены, не сходит с полки и коньяк. Есть, конечно, и пиво. В буфете всегда бывает шумно, и сизый дым висит у потолка, и у стойки толпится народ. Там с утра и до закрытия людно. Там все, кроме начальства. И у каждого к каждому есть свой разговор, свое дело, свои претензии. Не всегда день в буфете проходит мирно, случаются и ссоры, и драки. Но, как правило, на улице. Этому способствуют все находящиеся в буфете, и не потому, что не любят драк, а потому, что дерущиеся мешают мирно беседовать.

Я не отношу себя к категории совершенно не пьющих. В праздник, а то и просто по настроению, могу выпить рюмку водки. А другой раз люблю посидеть с кружкой пива и послушать, о чем толкует народ. Толкует же он обычно о своей работе, о бригадире, который в чем-то оказался несправедлив, или о какой-то намечающейся халтурке. А то заспорят, кто из них больше наработал,

и каждый норовит выказать себя и старательным, и толковым умельцем. Но сколько бы вы ни прислушивались, не услышите речи о какой-либо крупной стройке или об очередном запуске космической станции или о других событиях, которыми так богаты наши газеты. Разговоры, к сожалению, приземленны и весьма однообразны.

В буфете, как всегда, было сизо от дыма и шумно от многоголосья. Заведующая, толстая краснолицая блондинка, придумала вместо столов поставить бочки, и теперь вокруг каждой бочки сидели завсегдатаи и тянули пиво.

Мы с трудом отыскали место. А точнее, не отыскали бы, если не Игнатьевич. Стоило ему только подойти к одной из бочек, как сразу же двое освободили нам стулья, кто-то поставил блюдечко с солью, и мы с наслаждением припали к холодным кружкам.

— Вы извините меня, Игнатьевич, если я вас кое о чем спрошу,— стараясь говорить как можно тактичнее, сказал я.

— Спрашивайте.

— Скажите, в каких вы отношениях с Анастасией Макаровной?

— Это что, она нажаловалась вам? — Он скосил на меня выпуклый, придавленный тяжелым веком глаз.

— Ну что вы... С чего это вы взяли?

— Тогда чего же спрашиваете?

Странное дело, он помоложе меня, но каждый раз я чувствую себя с ним как-то скованно. Даже в том, что я называю его «Игнатьевичем», есть элемент моей перед ним слабости. Было бы правильнее называть его просто по имени, но не могу, что-то не позволяет мне так его называть. Не могу называть и полностью — по имени-отчеству. Этим самым я бы подчеркивал его превосходство над собой. Поэтому наиболее приемлемым оказалось обращение по отчеству. Просто «Игнатьевич». Он высок и очень крепок. И хотя ему к пятидесяти, никому и в голову не придет столько дать. Зубы у него, на зависть молодым, идут белым сплошняком, будто он их каждую минуту начищает. Он удивительно спокойный. По крайней мере, я ни разу не видал его взволнованным, или куда-то спешащим, или о чем-либо возбужденно говорившим. Медлительный шаг, ровное течение речи, холодноватый наблюдательный взгляд. Все это создает ощущение не-

заурядной внутренней силы. Да, он подавляет меня этой своей внутренней силой. Тут, в записях, я могу честно себе признаться. И хотя каждый раз при встрече он дружески улыбается, тяжеловато поглядывая на меня из-под толстых век, я всегда испытываю облегчение, когда мы расстаемся. Я не понимаю, отчего это? Вот есть что-то в нем такое, что делает его, по отношению не только ко мне, сильным, как бы возвышающимся над другими. Поэтому я стараюсь пореже оставаться с ним наедине. Но все-таки, живя в одном поселке, да еще по соседству, невольно сталкиваешься. И, естественно, это позволяет лучше узнать человека. Помню, как-то зимой привезли ему трактором воз дров. Стали сгружать. И вдруг трактор пошел. Это Вася Нюнин спьяна залез в кабину и дернул за рычаг. Взрывая снег, трактор быстро покатил к озеру. Тракторист закричал, но Вася Нюнин поддал еще больше газу, и всем стало ясно — свалится вместе с трактором с обрыва. Все оторопели, и только Игнатьевич, спокойно выругавшись, догнал трактор, вскочил на серьгу, оттуда перебрался в кабину и остановил тягач. А потом мы все увидели, как Игнатьевич за шиворот вытащил Васю Нюнина и, схватив одной рукой за ногу, а другой за воротник, стал его тыкать головой в снег, каждый раз окуная по плечи. Вася фыркал, отплевывался, ругался, но Игнатьевич легко и невозмутимо окунал его в сугроб, и на его лице не было ни улыбки, ни озлобления. Протрезвлял Васю Нюнина, и все.

— Ну, чего же вы замолчали? Почему спрашиваете?— настойчиво повторил Игнатьевич свой вопрос.

— Спрашиваю, потому что все же соседи мы, давно друг друга знаем.

— Ерунда. По большому счету никому нет дела друг до друга. Каждому абы до себя. И вы для себя живете. И живите.— Игнатьевич взял щепотку соли, посыпал в кружку, посмотрел, как соль медленным взрывом стала подымать со дна пену, и стал пить.

— Что же вы исключаете помощь человека, его участие к беде или невзгодам другого?

— А зачем ему участие? Для сердца? Так сердце должно быть крепким, а не мягоньким. Мягонькое каждый обидит. Значит, его надо закалять, чтоб сопли не развешивало.

— Ну, знаете ли, это философия «человек человеку—

волк». Так нельзя. Мы — советские люди, прежде всего гуманисты. Чуткость, отзывчивость — это должно определять наш характер.

— Я тоже советский.

— Это, конечно, так. Все мы дети одного века.

— Только разные,— добавил Игнатьевич, и я почувствовал, как он начинает подавлять меня. Не силой своих доводов или логикой, а той самой внутренней силой.

— По главной сути мы должны быть одинаковы,— не желая уступать ему, сказал я.

— Должны, это верно. А на самом деле? Другой до старости находит интерес в жизни, а иной все нашел, и остается ему только терять. Как тут быть?

— Это вы про себя?

— Почему же обязательно про себя, может, про вас,— Игнатьевич помолчал, сдвинул взгляд на подошедшего к нам Васю Нюнина, уже хмельного, с добродушно-расплывшимися на сером лице глазами. (Вася угодливо поздоровался с Игнатьевичем, но тот даже не кивнул в ответ. На меня же Вася не посмотрел.) — Ну, что еще вам говорила про меня Настасья?

— Да ничего,— я встретился с ним взглядом и отвернулся, досадуя на себя за то, что не так повел разговор и что совершаю какую-то ошибку.

— Вы поменьше женщинам верьте, особенно чужим женам. Они сейчас так, а через пять минут этак.

— Это точно,— засмеялся, словно закашлялся, Вася Нюнин.

— Значит, больше ничего не говорила? Ну, а то, что я хожу к Люське, пускай не беспокоится. Это не измена. Измена, когда бросают ради другой бабы свою семью. А я не брошу.

— Тогда не понимаю, зачем это вам?

Игнатьевич сунул Васе Нюнину пятерку.

— Принеси два по сто и пару бутербродов с килькой.

Вася с готовностью подхватился и вскоре принес водку в стаканах, бутерброды и аккуратно положил перед Игнатьевичем сдачу. Тот ссыпал ее в ладонь и сунул в карман.

— Выпейте для разговору,— сказал он и подвинул мне водку.

Мне не хотелось, но я выпил.

— Вот вы учитель,— сказал Игнатьевич.— Интелли-

генция. Значит, должны понимать. Скажите, почему пропадает интерес к жизни?

— Видимо, был маленький интерес.

— Ну не скажите. После войны мечтал о многом. Хотелось жить хорошо. И достиг кое-чего. Свой дом. Сад. Мотоцикл. Телевизор. Дети взрослые. Все есть. А интереса нет. Раньше же ничего не было, а интерес был. Так в чем дело?

— Видимо, возрастное...

— Возрастное,— невесело усмехнулся Игнатьевич.— Вы спросите у Люськи, она вам скажет, какое у меня возрастное.

Вася Нюнин чуть не задохся от смеха.

— Нет, не к тому человеку за советом полезла Настасья. И я говорю не с тем человеком, который мне нужен. Идите домой, Игорь Николаевич. Отдыхайте.

— Зачем же обижать?— сказал я.

— Да разве я вас обидел? Скажи ему, Васька, разве так обижают?

— Не говори, кума,— закрутил головой Вася Нюнин.— Меня на днях так разобидели, куда тебе! Понимаешь, Иван Игнатьевич, Белов нанял меня сарайчик ему поставить. Ну, надо бы срядиться, а я с ходу за топор. Пять вечеров убил, сделан шик-блеск, ты знаешь мою работу, а он всего десятку сунул. Как, а?

— За такую твою дурость еще много... Но не такую обиду я имел в виду. Иди, Вася. Места хватает.

Я сидел и понимал, что мне надо уйти, но уйти было как-то неловко, и я продолжал сидеть, испытывая от этого еще большую неловкость и скованность. И как назло, Игнатьевич молчал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спросил:

— Много работы на автобазе?

Игнатьевич снисходительно поглядел на меня.

— А зачем вы это спросили? Или больше уже нечего?

— С вами невозможно разговаривать. Почему вы грубите?

— Разве? Тогда извините.

— Все-таки что с вами?

— Не знаю. Только чего-то мне стало неинтересно жить. Будто по второму заходу все пошло. Чего-то хочется нового, а нового нет. Поэтому Люська.

— Но это же не выход. Страдает Анастасия Макаров-

на, для дочери такие ваши отношения тоже страдание... Послушайте, Игнатьевич,— мне вдруг стало нестерпимо жаль и его, и его семью,— послушайте, не совершайте роковой ошибки. Забудьте о Люсе. Зачем она вам? У вас семья, прекрасные дети. Сын в армии, дочь — выпускница. Зачем вам чужая женщина? Все проходит, и она пройдет. Дорогой мой!— от выпитого пива и стопки водки у меня в голове что-то сместилось, буфет словно бы залило солнцем, а сердце наполнило лаской и добротой. И в ушах раздались мелодичные звоны. Это, конечно, не только от выпитого. Это был отзвук военной контузии. Такое состояние бывает у меня не часто, но когда оно захватывает меня, то я как бы ото всего уединяюсь и вижу тот далекий день, когда я вылезал на бруствер со связкой гранат, чтобы бросить их под фашистский танк. Я, конечно, бросил бы, но неподалеку от меня разорвался снаряд и я упал, а когда очнулся, то в ушах плыл мелодичный звон. Меня куда-то везли, со мной что-то делали, а мелодичный звон все плыл и плыл...

— Что с вами?

Я открыл глаза. Мелодичный звон тихо уплывал в сторону, солнечный свет уходил из буфета, и в сердце оставалась только слабая щемящая боль.

— Так... ничего. Мне надо идти. Извините.

На улице было солнечно. Надо сказать, май в этом году был хорошим. Обычно в это время задувают ветра, но вот уже несколько дней стоит затишье, и на деревьях стали раскрываться почки. И на бугре подернулись зеленоватым туманцем две старые березы. Они стоят рядом с буровой вышкой, построенной в виде треугольной трапеции. Это память о бывшем райцентре. Тогда задумывалось провести в поселок водопровод и уже пробурили на полтораста метров, дошли до чистейшей воды, но тут как раз объединили районы — наш ликвидировался, и работы по водоснабжению замерли.

Теперь же трубы забиты камнями. Это ребятишки из любопытства бросали в трубу камень и прислушивались, как долго он падал, гулко стукая о железные стенки трубы.

Всякий раз, когда я гляжу на эту вышку, меня посещают одни и те же невеселые мысли. Разве от того, что в нашем поселке ликвидировался районный центр, люди стали хуже? Неужели все делалось не ради людей? Как

ни странно, но выходит, что так. Кто-то решил — и мы остались без чистой воды. И по-прежнему часть поселковых берет воду из озера — в летнее время она особенно грязна, в ней купаются сотни людей (к нам приезжают дачники); другая часть пользуется колодцами, но колодцы старые, к тому же вода в них жесткая.

Как-то завел я об этом разговор в сельсовете, но ничего утешительного не услышал от председателя. Больше того, узнал, что наш поселок для области интереса не представляет, потому что ни промышленных, ни сельских производств в нем нет и поэтому денежные средства на его развитие и благоустройство почти не отпускаются.

— Что же, значит, мы как бы за бортом жизни?— спросил я.

— Как ни печально, но факт,— ответил председатель.— Но я хлопочу, хлопочу. На каждой сессии районного Совета ставлю вопрос о дальнейшем развитии нашего поселка. Правда, ко мне несколько иронически относится председатель райисполкома, но я не успокаиваюсь. Нет, не успокаиваюсь! — Небольшого роста, подвижной, он кинул на меня энергичный взгляд, и я на какое-то время поверил в его хлопоты. Но теперь с грустью убеждаюсь, что ирония председателя райисполкома оказалась действеннее желания председателя сельсовета.

Очень грустно мне было примириться, что наш поселок как бы за бортом жизни. Грустно потому, что люди, населяющие его,— труженики. Среди них немало таких, кого я знаю со школьной скамьи. Трудолюбивые, старательные люди. И как обидно, что они не приобщены к большому созидательному делу.

Я гляжу на вышку, и она мне кажется одинокой, заброшенной. Собственно, так оно и есть на самом деле. Вышка — символ укора!

Да, совсем иная жизнь стала в нашем поселке. А было время, когда по дорогам то и дело проносились машины, груженные разным строительным материалом, часто мелькал райкомовский «газик». Теперь же тихо в поселке.

Как-то шутя я заметил своим коллегам-учителям: если бы в один прекрасный день на станцию не привезли муки, то жизнь в нашем поселке сразу бы замерла. И хотя это шутка, но некоторая доля правды в ней есть. И на самом деле, вот приходит на станцию вагон с мукой.

Сразу же звонок на автобазу. Через несколько минут с автобазы уходят машины к станции. В их кузовах грузчики. Вагон быстро разгружается. Мука поступает на склад хлебопекарни. Зашевелился кладовщик. Он деловито отпускает муку в цех. Забегали техники, пекари. И вот уже горячий хлеб и булки подпрыгивают в фургоне — это их везет беззаботный, запьянцовский мужичок Вася Нюнин, с которым я уже имел честь познакомить читателя. И по всей улице стелется вкусный запах свежего хлеба.

И уже спешат к булочной хозяйки. А там за прилавком вся в белом красавица Люся.

Так начинается рабочий день в нашем поселке. Одновременно с булочной открываются гастроном и овощной магазин, а затем и универмаг. Хлопают двери столовой, и уже тянутся руки за кружками пива. Дымит баня. Давно уже сидят за партами ребята, и я хожу с указкой и рассказываю о разных странах. И уже тянется пенсионный люд к библиотеке, и у Дома культуры тормозит машина — привезли очередной фильм. И вовсю снуют от станции до поселка и обратно автобусы. И кто-то с завязанной щекой торопится в поликлинику. И у каждого, на кого ни посмотришь, озабоченный, деловой вид. И никому в голову не приходит, что все живущие в нашем поселке ничего не производят, а только обслуживают друг друга. И что весьма занятно — соревнуются и коллективами, и индивидуально. И время от времени предприятиям вручается переходящее Знамя района за образцовый порядок в бане или за отличное состояние автодорог. И передовикам вручаются премии. И, отработав положенный срок, люди выходят на пенсию, или, как теперь принято говорить, «на заслуженный отдых». И никому невдомек, что наш поселок ярко выраженный потребитель. И я невольно задумываюсь,— один ли наш поселок такой? И если не один, то какой громадный убыток претерпевает страна!

Я не знаю, задумывается ли кто над тем, чем живут люди в таком поселке, каковы их идеалы, к чему они стремятся? Наблюдая жизнь, я могу сказать только одно — когда у нас был райцентр, то жизнь наших поселковых была куда здоровее: порядка было больше, меньше пьянствовали, меньше дрались, а теперь какая-то пустота при всей кажущейся занятости. Видимо, облагораживаю-

ще может воздействовать на духовную жизнь человека только то дело, которое объединяет людей. Разве не сплачивает людей в единый коллектив строительство громадной плотины или гигантского моста, или создание космического корабля, или спуск со стапелей океанского атомохода? Разве не вызывает чувство гордости такой труд у человека? И разве весь этот прекрасный созидательный труд не объединяет весь народ, всю страну? А у нас, что у нас в поселке? У нас ничего нет...

Я живу у аптеки в двухэтажном каменном доме. Чтобы туда дойти, надо миновать парк. Парк у нас большой. Собственно, это сосновый бор, прореженный, очищенный от лесного хлама и охваченный забором из штакетника. Когда был райцентр, там соорудили танцевальную площадку и до сих пор летними вечерами собирается молодежь. Есть еще у нас клуб, где можно потанцевать и повеселиться, но это зимой.

В парке хорошо. Когда налетает ветерок, то все приходит в движение, и ощущение такое, что вокруг зеленоватая вода. Сверху же, сквозь гущину высоченных сосен, пестрыми зайчиками пробивается солнце. И хотя верхушки шумят, внизу тишина или, точнее, тот самый покой, когда ничто не мешает раздумьям.

Я сижу на скамеечке и думаю. Думать я люблю. Люблю потому, что мои думы связаны с мечтаниями. Правда, в основном все крутится вокруг трех китов — самого себя, семьи, поселка. Что касается самого себя, то время от времени меня посещают несбыточные желания — хочется уехать далеко, в неведомые мне страны. Но куда полезнее думать о том, что находится под боком. А под боком громадная Ладога, с ее своенравным характером, дикими камнями по всему неоглядному побережью, с ее островами и заросшими тростником бухтами. Летом я довольно часто выбираюсь туда, ставлю палатку и живу два-три дня в полном отрешении от всего мира. Тогда познаешь истинную цену себе наедине с природой. Правда, было время, когда выезжал с женой,— такие совместные поездки были для нас лучше всякого праздника. Но вот уже года два я езжу один...

Бывает, что я совершаю с учениками туристские походы по местам боевой славы. На Карельском перешейке много братских могил. Хватает и безымянных, затерянных в лесу, с каской на колышке, пробитой осколком.

В настороженной тишине мы подходим к высокому обелиску, украшенному венками и букетами цветов, и я рассказываю о прошедшей войне, о миллионах погибших, отдавших жизнь за Родину, за свой народ. Мне очень важно, чтобы дети поняли, на какой земле они живут, чтобы у них появилось чувство благоговения перед теми, кто защищал нашу жизнь. Рассказываю об Александре Матросове, о Зое Космодемьянской, о Гастелло, о панфиловцах. Не только гордость подвигом своих соотечественников я хочу воспитать у детей, но и сочувствие к тем, кто погиб, чтобы они пожалели их, как своих близких.

А потом мы сидим у костра, печем картошку и выкатываем ее из костра обугленную и такую ароматную, какой никогда не бывает дома. И едим, и ребята смеются, им весело обжигаться и смешно от того, что рты у всех черные, и вроде даже и следа нет в их глазах от той печали и жалости, какие они испытывали у обелиска, но я знаю — зерно брошено в хорошие души, оно будет прорастать и в нужный для Родины час развернется бессмертным знаменем, имя которому Патриотизм!

В парке безлюдно. Редко кто сюда зайдет днем, и поэтому ничто меня не отвлекает от раздумий. На этот раз я думаю об Игнатьевиче. Ему неинтересно жить. Почему? Откуда апатия? Не потому ли, что он не включен в большое дело? Я ему ответил, что у него был маленький интерес. Конечно, так оно и было. Дом, сад, телевизор, мотоцикл — какой же это большой интерес? Другой разговор, если бы его захватила идея общественного созидания. И я думаю о том, как было бы чудесно, если все люди нашей страны, как один человек, с интересом, увлеченно, даже азартно строили бы прекрасное будущее. А что оно будет прекрасно, я не сомневаюсь.

Но хватит о будущем. Надо о сегодняшнем. Ах, Игнатьевич, что же мне предпринять, чтобы в твоей семье был мир? И тут мне в голову приходит мысль: «Надо поговорить с Люсей». Да-да, если нельзя палку остругать с одного конца, то почему бы не попробовать с другого. То есть если Игнатьевич глух к моим словам, не внемлет голосу здравомыслия, то почему бы не воздействовать на Люсю. И почему бы Люсе, моей бывшей ученице, не послушать своего старого учителя. Ведь должно что-то в ней остаться хорошее, чистое от той милой девочки, ко-

торая, отвечая урок, смотрела на меня большими ясными глазами. Да-да, я должен с ней поговорить!

И я решительным шагом направляюсь к булочной. Пересекаю площадь, иду мимо камня, на месте которого должен стоять памятник. Иду мимо буфета. Заглядываю в большое окно, вижу склоненную кудлатую голову Игнатьевича, и быстрей, быстрей от окна, чтобы он не заметил меня, не догадался, куда я иду.

В общих чертах жизнь Люси мне известна. Ей еще не было и девятнадцати, когда она вышла замуж за молоденького шофера, только что отслужившего в армии. Но жизнь у них почему-то не заладилась. Расстались. После этого Люся вскоре вышла замуж за грузчика, тоже молодого парня. Тот пил. Опять расстались. И вот теперь она с Игнатьевичем, человеком старше ее почти вдвое.

Я не посмотрел на часы и совсем не учел, что булочная в это время закрыта на перерыв. Ну что ж, тем лучше. Никто не помешает нам поговорить с глазу на глаз. Живет она за озерком, в небольшом домике, стоящем на краю улицы. Место весьма уединенное. Дом Люси стоит как бы на пустыре — ни яблоньки, ни куста ягодного, ни даже простого дерева. А это значит, что человек не думает жить постоянно на этом месте.

Люся развешивала белье. Очень удивилась, увидав меня. Мы поздоровались. Она и в школе была красива, но особенно расцвела теперь, став женщиной. Небольшого роста, какая-то весьма компактная, с теми же ясными, но уже тревожащими в своей глубине глазами, она вызвала у меня и радостное, и грустное чувство. «Неужели справедливы те грязные разговоры, которые распускают про нее?» — думал я. И так это не вязалось с ее красотой и молодостью.

— Мне бы надо поговорить с тобой,— сказал я.

Она вытерла о передник руки и прошла к скамеечке, что у калитки.

— Домой не зову, не прибрано. Уж извините, Игорь Николаевич,— сказала она и приготовилась слушать. От этого ее лицо стало застывшим и несколько настороженным. Она как бы сразу, в силу инстинкта самосохранения, поставила перед собой защитную преграду.

Как можно тактичнее я стал говорить об Игнатьевиче, о его семье, о детях, о нравственности, ну и, конечно же,

сказал о том, что все это должно остаться между нами, чтобы еще более не испортились отношения у Игнатьевича с женой.

— И охота вам заниматься таким делом,— осуждающе сказала Люся.

— Видишь ли, с одной стороны, меня попросили, но это, как я уже сказал,— между нами, а с другой, существует нравственный кодекс советского человека. Он касается каждого из нас. И сейчас, в период строительства коммунизма... — я специально говорил таким официальным языком, чтобы оказать на Люсю большее воздействие, но она перебила меня.

— Я думала, вы с чем другим. А вы вот с чем,— все так же осуждающе произнесла она.

Я поглядел на ее белое лицо, с подсиненными то ли от любви, то ли от усталости подглазьями, и почувствовал некоторую неловкость,— ведь и на самом деле, ни с чем другим более приятным я ни разу не зашел к ней, не уделил ей никакого внимания, не поинтересовался, как она живет, почему у нее не сладилось с мужьями, а вот в качестве проработчика явился.

— Ты извини, но что же мне было делать... Только я не понимаю, разве ты не могла найти себе вровень, хотя бы по возрасту?

— А со старым спокойнее.— Она вытянула ноги, закинула одна на другую.

— Странно... У тебя ведь были молодые?

— Были. Вот и наелась ими досыта. Один лентяй, другой — пьяница.

— Появились бы дети, поняли свою ответственность.

— Как бы не так. Что ж это другие-то не понимают?

— Кто другие?

— Да в поселке. Мало ли...

— Ну, не знаю, только, по-моему, ты поторопилась расстаться со своими мужьями.

— Ждать было некогда! — зло усмехнулась Люся.

— Куда уж так спешить?— подлаживаясь под ее иронический злой тон, сказал я.

— А пока молодая, и торопиться. Старой уже бежать некуда. Что еще мне скажете, Игорь Николаевич?

— Жалко мне тебя.

— Да что вы, уж так и жалко. Чего меня жалеть?

— Да ведь какая-то неустроенная у тебя жизнь. А са-

ма ты красивая, такой только бы полную чашу счастья в семье.

— Да ведь как понимать семейную жизнь, Игорь Николаевич. По мне, такой, какой живут в нашем поселке многие бабы, задаром не надо. Теперь я что, я сама себе хозяйка. Работаю. Одета как надо. Обута. В доме все есть. Пришла, никто меня не подгоняет, никого мне не надо ждать до полуночи, не надо тревожиться. Никто не изобьет, грязным словом не обзовет. Сама себе хозяйка,— с явным удовольствием повторила она и как-то игриво посмотрела на меня.— А если мужика надо, вы уж извините, сами коснулись такого дела, то найду, хоть и того же Игнатьевича. Неизрасходованный...

— А дети?— сурово сказал я, этим давая понять, что осуждаю ее за такое легкомыслие.— Как же без детей? Материнство-то разве не говорит в тебе?

— Если захочу ребеночка, так и рожу. Что, не прокормлю, что ли? Или уж из-за ребеночка нужно вводить в свой дом пьяницу или лентяя какого-нибудь?

— Да ведь не все такие?

— В парнях нет, а как в мужьях, так и такой.

— Плохо это, Люся, плохо.

— Так куда хуже. Только это с вашей колокольни, а с моего пригорочка, ой, как хорошо! Ну, обо мне ладно. О себе скажите.

— А что о себе. Работаю.

— Все географию учите?

— Учу. Только теперь те уроки, какие ты учила, обновились новыми фактами.

— Я помню, вы хорошо про целинные земли говорили. Я даже сбежать туда думала, а потом чего-то раздумала. Зря, наверно. Может, там интересней было бы, чем тут... А вы там были?

— Нет.

— А говорили так, будто сами все видели.

— Читал соответствующую литературу. Готовился.

— А я так и думала, что вы там были. Верила.

— Нет, не был. Надо бы, конечно, побывать, но не так ведь все просто.

— Это верно... Ну, ладно, засиделись мы с вами, а у меня еще дела сверх головы, да и вам уходить пора, а то наговорят всякого. Вон соседка-то в третий раз выходит с пустым ведром.

— Ну и что могут наговорить?— сказал я и все же поднялся.

— Наговорят. На доброе языка не хватает, а на плохое хлебом не корми. До свиданьица. Будете в наших краях, заходите. О географии поговорим. Бутылочку разопьем,— она порывисто встала и, откинув голову, показав молодые прекрасные зубы, громко засмеялась. Я глядел на нее и невольно завидовал Игнатьевичу. Уж больно она была хороша!

Дома меня ждали неприятности. Не успел я выпить чашку чая, как вошла Анастасия Макаровна.

— Вот уж спасибочко вам,— еще у порога сказала она и собрала в узелок свои губы.— Вместо того чтобы усовестить Ивана Игнатьевича, бражничать с ним стали да еще и меня выдали. Зачем же сказали-то, что я приходила к вам?

— Да ведь я понял так, что вы сами ему сказали,— оторопело ответил я.

— Здравствуйте, я еще и сказала! Ничего не говорила, а только пришел он такой, что не приведи господь. Прибью, говорит, шалава, если еще будешь трясти языком. Господи, что же теперь делать-то? О-о-о-о...

На этот вопль вышла из своей комнаты жена, как всегда строгая, непримиримая ко всякой житейской скверне. (Надо же, чтобы и на этот раз она была дома!) Поправив очки, сказала ледяным голосом:

— Не волнуйтесь, Анастасия Макаровна, я знаю, как воздействовать на вашего мужа.

Я с недоумением посмотрел на нее, но она даже и бровью не повела, что заметила мой взгляд. Она вообще делала такой вид, будто меня и в комнате нет.

— Уж, пожалуйста, Елизавета Семеновна, богу буду молить за вас!— надрывно вскрикнула Анастасия Макаровна.

— Ну, при чем здесь бог,— с холодной неприязнью сказала жена и только тут повернулась ко мне.— Ты что, действительно пил с Иваном Игнатьевичем?

— Видишь ли,— попытался я объяснить, но она тут же отвернулась от меня и сказала Анастасии Макаровне:

— Идите домой, я уверена, все будет хорошо.

— Спасибо вам,— поклонилась Анастасия Макаровна,— только уж не говорите моему, что я была у вас, а то совсем поедом съест.

— Я с ним пить не собираюсь,— ответила жена.

Анастасия Макаровна ушла, и тогда жена поглядела на меня.

— Удивляюсь, что с тобой? Почему тебя тянет к таким людям, как Игнатьевич? Почему у тебя нет элементарного чувства брезгливости? Прийти в кабак и пить водку с аморальным типом. Не понимаю!

— Ты несколько утрируешь. Все было абсолютно не так. Я должен был с ним поговорить. Ведь об этом же и ты меня просила.

— Вот как? Значит, я толкала тебя в кабак?

— Нет, но ведь не в бане же мне с ним было говорить. Вообще, я не понимаю.— Тут я повысил голос.

И сразу же она остановила меня.

— Не кричи! — и сдвинула брови так, что они слились у нее в одну линию.— И отряхни лацкан! Ты стал неряшлив.

— Не понимаю, что с тобой?— стряхивая с лацкана пепел, сказал я.

— Что со мной? Я готова была провалиться от стыда, когда тебя стала отчитывать Анастасия Макаровна. Дойти до такого падения!

— Но ты же преувеличиваешь!

— Кошмар! — она передернула плечами и ушла в свою комнату.

А я еще долго сидел и никак не мог успокоиться, курил и думал о том, как порой бывает бессилен человек. Ну, каким образом доказать ей, что я ничего дурного не делал и не пытался делать, что хотел только хорошего и что ничего плохого не было в том, что зашел с Игнатьевичем после бани в буфет. Ведь мы же, помимо всего прочего, еще и мужчины! Если зайдут в буфет женщины, то это не очень прилично, но если мужчины, то это вполне естественно. И ничего в том нет предосудительного, что я зашел выпить кружку пива. Ничего...

Но вот попробуй докажи!

До самого вечера я не мог успокоиться. Лиза куда-то ушла, потом пришла, молчала. Молчал и я, но, уже ложась спать, не выдержал.

— Послушай, Лиза,— сказал я, входя в ее комнату,— ты все же нехорошо поступила. Даже не пожелала меня выслушать. Ведь было все совершенно не так, как тебе представилось.

В ответ она промолчала. Стояла спиной ко мне, глядела в окно, хотя там вряд ли можно было что-то увидеть.

— Почему ты молчишь?— я невольно повысил голос, и у меня на «ша» раздался шипящий звук. Так иногда бывает у меня, потому что нет двух передних зубов. Все никак не могу решиться пойти к зубному технику.

— Неужели ты думаешь, что мне приятно с тобой разговаривать, когда ты свистишь?— окинув меня неприязненным взглядом, сказала жена.

Я примиряюще улыбнулся:

— Ты же знаешь, я не всегда занимался художественным свистом.

Я полагал, она оценит мою остроту, засмеется, и наши отношения наладятся, но жена с еще большей неприязнью, чуть ли не враждебно поглядела на меня.

— Что с тобой, друг мой?— в полном недоумении спросил я.— Ты на меня глядишь так, будто я совершил бог знает что...

— Ты можешь меня оставить в покое?

— Могу, только я хочу знать причину такого недружелюбного ко мне отношения. Иначе, иначе я не смогу уснуть.

— Ты можешь меня оставить в покое?— на этот раз уже раздельно, чуть ли не по слогам, сказала жена.

— Конечно, если ты...

— Ты можешь замолчать?— сквозь стиснутые зубы сказала жена.

Я замолчал. Лег в постель, но уснуть не смог. Все перебирал в голове, почему, да что, да как, да отчего она так со мной сурова и черства. Неужели такой пустяк, как выпитая кружка пива с Игнатьевичем, мог послужить причиной такого ко мне отношения? Нет, конечно же, дело не в этом. Просто она охладела ко мне, и я стал ей неприятен. Но, может, это и не так, может, что-нибудь другое? Климакс? Бедный мой друг... Бывало, и раньше случалось нам ссориться и сердиться друг на друга, но это было по поговорке «милые бранятся, только тешатся». Мы ссорились из-за какого-нибудь пустяка, сердились друг на друга и страдали, но никто не хотел уступить другому. Потому что думалось, уступи раз — и так будет всегда. И ничто не шло на ум. И вдруг какой-то мимолетный взгляд, улыбка — и мы кидались друг другу в объятия и смеялись, и просили друг у друга прощения,

и были счастливы, что снова обрели один другого. Но теперь, что же происходит теперь? Вот уже несколько дней мы словно чужие. Почему? Надо выяснить. Иначе я не усну. Я не могу уснуть, черт возьми-то!

Свет луны медленно полз по стене, переползал на большую географическую карту Советского Союза, освещая Камчатку, а я все лежал и думал и никак не мог уснуть. Вспоминалась всякая всячина, и в частности, как давно-давно, еще в первый год нашей жизни, мы поссорились из-за какой-то чепухи и до самого утра не могли уснуть, говоря друг другу разные колкости. Но потом помирились, и лежали усталые и притихшие, и тогда я сказал ей: «Давай условимся, если причина ссоры очень серьезная, очень, такая, что мы больше не можем жить вместе, тогда мы разойдемся. Но если же она незначительная, как вот эта, то зачем же надрывать друг другу сердце? Ведь я же видел, как ты страдала, страдал и я. Понимаешь?..»

«Да-да,— говорила Лиза и прижималась ко мне.— Не надо, не надо ссориться по пустякам... Не надо, чтобы мы страдали... Я люблю тебя, люблю!..»

С тех пор наши ссоры никогда уже не были столь продолжительными. Стоило нам только вспомнить ту ночь, как тут же мы примирялись. И я решил Лизе напомнить наш давний уговор.

— Лиза... — Я осторожно тронул ее за плечо.

Она не отозвалась.

— Лиза! — настойчивее позвал я.— Лизонька! — Она лежала, свернувшись клубочком, натянув край одеяла на голову.— Лизонька... — я глядел на нее с тихой улыбкой. Что-то неизъяснимо нежное пеленало мое сердце.—Лиза...

И тут произошло ужасное. Она вскочила и закричала мне в лицо рыдающим голосом:

— Что? Что тебе надо, что?

Ее глаза блестели в лунном свете, лицо было снежно-белым и совершенно черны волосы.

— Лизонька, милая моя,— глядя на нее с нежностью, сказал я.— Не знаю, чем я тебе досадил, но не сердись...

Она позволила все это мне высказать, и тогда я решил продолжать дальше, собственно, ради чего и пришел.

— Друг мой, я хочу напомнить тебе наш уговор,— как можно ласковее сказал я.— Помнишь, если причина не

столь серьезна, то надо сразу же прекратить ссору, чтобы не надрывать друг другу сердце...

— Нет, ты невозможен! Тебя надо отдать в детский сад. Это же уму непостижимо, чтобы человек в таком возрасте приставал к другому человеку среди ночи со всякой ерундой! Что тебе надо? Что?

— Напрасно ты на меня сердишься. Я люблю тебя. Люблю!

И тут она захохотала, тыча пальцем в меня:

— Господи, он еще объясняется в любви! Нет, это невозможно!

Я поглядел на себя. На мне были трусы и майка. Я так и раньше одевался, правда, тело было поплотнее, но все равно никогда она не находила меня в таком наряде смешным.

— Понимаю,— с глубокой обидой сказал я,— когда нет любви, то все кажется смешным и безобразным. Об этом гениально сказал Лев Николаевич Толстой, когда Анна Каренина возненавидела мужа за его уши.

— Ума не приложу, как я могла прожить с таким человеком двадцать пять лет. Не пони-ма-ю!

Я с трудом заставил себя уйти в свою комнату. Нет, зла на жену у меня не было. Чего же злиться, если ушла любовь. Но куда ушла? Где она? Неужели так вот взяла и испарилась, как капля на стекле? Я лежал на своей остывшей постели и чувствовал, как холодом отчуждения тянуло из ее комнаты.

Несколько дней мы прожили, как говорится, в состоянии «холодной войны». На все мои попытки заговорить, примириться жена отвечала либо молчанием, либо тут же отходила в сторону, либо окидывала меня таким презрительным взглядом, что по мне пробегала морозная дрожь. Вначале такое ко мне отношение нервировало меня, но прошло несколько дней, и я как-то смирился с этим. Между прочим, должен сказать, что я стал замечать в себе какую-то странную особенность,— быстро привыкаю не обращать внимания на то, что должно бы вызывать гнев, возмущение, негодование. Не знаю, чем можно объяснить такое равнодушие, может, своим бессилием? Не знаю. Но так или иначе, я перестал принимать к сердцу и косые взгляды, и молчание жены. Казалось бы, на этом можно было поставить точку,— ну, в конце концов, посердится и перестанет, но была одна бы-

товая деталь, усложнившая мне жизнь. Питание. Да, из-за этих передряг мне пришлось ходить в столовую. Ничего, конечно, предосудительного в этом нет. Миллионы людей ходят в столовые. Но я себя первое время чувствовал не особенно ловко. Мне все казалось, что и буфетчица, и раздатчица, и столующиеся догадываются, почему я питаюсь здесь, а не дома. Но и к этому я скоро привык и перестал придавать какое-либо значение тому, что подумают или не подумают обо мне люди. Зато для себя я открыл еще одну страницу из жизни нашего поселка.

Ко мне в столовой, во время обеда, подходят бывшие мои ученики, причем иные из них родители нынешних моих учеников, и чуть ли не каждый старается меня угостить «бормотухой» — это разливное красное вино. Буфетчица черпает его чашкой из кастрюли и переливает в стакан. Ужасная мерзость. От нее человек не хмелеет, а балдеет. Я, естественно, отказываюсь. А тут с одним из своих бывших школяров заговорил. Теперь он штукатур, семьянин.

— Виля!— позвал я.

— Ау! — ответил он и подошел.

— Что это ты как-то необычно отозвался?— спросил я, действительно несколько изумленный этим «ау».

— А теперь так принято. Позовешь кого, он тебе «ау!», значит, слушает.

— Ну-ну, послушай, Виля, я замечаю — ты частенько выпиваешь.

— Не больше других. Все пьют. А я что, рыжий?

— Нет, ты не рыжий. Но что, тебе нравится пить?

— Бормотуху-то? Не очень. А «экстра» не по карману, да и башка от нее еще хуже гудит. Вот заразу стали выпускать! Раньше «московская» куда лучше была. Лучше ее нету. Она и теперь бывает, да ее из-под прилавка по своим рассовывают.

— А если совсем не пить. Воздержаться?

— Это зачем же?

— Да зачем пить-то?

— Да зачем же все-то пьют, Игорь Николаевич? Вы чего-то не то несете. Я и то эту неделю вкалывал на сухую.

— Что это «на сухую»?

— А не пил. А теперь отдыхать буду.

— Разве это отдых, Виля?

— Ой, Игорь Николаевич, вы как были, так и остались нудой. Ну, хотите выпить «бормотухи»? Сейчас принесу.

— Нет-нет...

Почти каждый раз я встречаю в столовой Васю Нюнина. В перерывах между возкой хлеба он околачивается возле буфета в надежде, что кто-нибудь его угостит. Бывает, подходит ко мне, и все с одной просьбой, чтобы я ему одолжил на «малька», так он называет четвертинку водки. Когда я ему отказываю, тогда просит полтинник на «бормотуху». От него всегда разит перегаром. Лицо серое, одутловатое. Я его терпеть не могу. И, естественно, отказываю.

— Что же, я зря подходил к вам?— начинает возмущаться Нюнин.

— Но ведь я тебя не звал,— резонно отвечаю я.

— А еще учитель,— громко, так, чтобы слышали все, говорит Вася.

Насколько помню, он всегда был таким нахальным и в школе. Теперь у нас его сын учится. Выпускник...

— Пожалуйста, оставь меня в покое. Дай спокойно поесть,— говорю я.

— А я не мешаю. Ешь. А запретить сидеть за одним столиком не можешь. Сидел и буду сидеть сколько захочу. И на тебя буду смотреть, как ты ешь.

— Если будешь безобразничать, потребую, чтобы тебя вывели,— стараясь говорить как можно спокойнее, отвечаю я, хотя во мне каждая жилочка трепещет.

— Здорово, кума! А чего я, безобразничаю? В суп тебе не плюю.

— Ну, это уже хулиганство! Сейчас же уйди!

— А чего, я не мешаю. Сижу чинно-благородно. Или не так?

Чтобы избавиться от него, остается только одно — пересесть за другой столик. Но и тут Вася Нюнин не унимается.

— Значит, не дашь?— кричит он.— На малька? А? А то дай. Отдам, когда приедет Адам!

Я понимаю, ему, мерзавцу, нравится изводить меня. Ну и пусть, я не стану обращать на него внимания. Не обращаю, и он уходит к стойке, в надежде, что кто-нибудь его угостит.

Как и всегда за последнее время, дом встречает меня холодом. Жены нет дома, хотя по времени должна быть. Я прошел на кухню. На столе одиноко лежала в блюдце немытая чашка. Утром я пил из нее кефир. Положил набок. Так она и лежит, с присохшим к стенкам кефиром. Жена, вымыв свою, даже не пожелала сполоснуть мою. Черт те что! Тихий ужас, а не жизнь! До каких же пор будет продолжаться такое? Всему есть мера и предел! И потом, у меня от этих столовских обедов изжога. Да, изжога, черт побери!

Я посидел, выпил соды, подождал чего-то и пошел в школу. Только там могла быть жена, в своем драматическом кружке. Уму непостижимо, она все еще думает, что у нее есть талант. Нет, я бы сажал таких в сумасшедший дом. Если к сорока годам ничего не достиг, то, будь любезен, нагнись, пониже, пониже, чтобы удобнее было дать пинка, и лети себе с богом. А не занимай зря место. Не переводи зря время. Впрочем, Лиза теперь не актриса, она, видите ли, открыла в себе талант режиссера. Да, она режиссер. Станиславский! Немирович-Данченко! Странно, почему ей до сих пор не дали Государственную премию? Просчет. Просчет, черт возьми-то! Надо дать премию. Немедленно! Сейчас же!

Я, несколько разгоряченный от таких дум, пришел в школу. И это, естественно, сказалось на последующем, ибо я вообще-то человек весьма выдержанный. Когда я довольно резко распахнул дверь в директорский кабинет — бывший кабинет секретаря райкома партии (до этого я заглянул в зал, где обычно проходят репетиции, и не увидал жену),— то предо мной предстала следующая картина. За столом директора сидели сам директор и моя жена. Вдоль стен, у окон и напротив окон, чинно сидели учителя. А перед столом стоял Игнатьевич, большой, неуклюже озиравшийся по сторонам.

Директор строго взглянул на меня, и я осторожно прошел и сел у двери. Жена даже не посмотрела в мою сторону. Она, как говорится, сверлила взглядом Игнатьевича.

— Ваш сын в армии. Дочь в этом году кончает десятый класс. Подумали ли вы о том, как это отразится на их духовном мире? Подумали ли вы о том, как вашей дочери должно быть стыдно за вас?— говорила жена с нажимом, и я видел — радовалась тому, что может донять

Игнатьевича. Мне с первой минуты стало ясно, что у них происходило. Они судили Игнатьевича. Устроили учительский суд. Вот это и имела в виду она, когда говорила жене Игнатьевича: «Не беспокойтесь, я знаю, как надо воздействовать на вашего мужа!» Это она и устроила судилище. Не поговорив с человеком, ничего не узнав... «Ведь ему же неинтересно жить!» — хотел я сказать, но промолчал. Почему? Не знаю, надо бы, но промолчал. Хотя вроде бы и опасаться было нечего.

— Что же вы молчите?— все больше дожимала жена Игнатьевича.— Отвечайте!

— Собственно, не понимаю,— глухо сказал Игнатьевич и шагнул к директору.— Вы меня сюда пригласили, я полагал, насчет дочери, а вы тут какую-то ловушку мне устроили. И особенно вы стараетесь, Елизавета Семеновна. Так на это я вам должен сказать, что я не желаю принимать участия в вашем спектакле. Поищите другого.

Я чуть не засмеялся от удовольствия, услышав такой ответ. Особенно мне понравилось насчет «спектакля». Несомненно, он имел в виду Лизину деятельность в драмкружке. Видимо, это не пролетело и мимо нее, потому что она тут же с какой-то радостной злостью ответила и встряхнула головой так, что у нее даже сверкнули тонкими лучами очки.

— Отлично! Тогда мы передаем дело в товарищеский суд. Там вас заставят и говорить, и отвечать!

— Я бы вам не советовал допускать до товарищеского суда, Иван Игнатьевич,— сказал директор и улыбнулся, как бы говоря: «Мы с вами мужчины, а она — женщина. Не обращайте особого внимания на нее».— Сюда мы вас пригласили не для того, чтобы вас судить, а поговорить, объяснить, ну и высказать некоторые свои претензии. Мы учителя, вы — родители. Мы взаимосвязаны. У нас общее дело — воспитание детей. И мы...

— Да ведь Елизавета-то Семеновна судит,— упрямо сказал Игнатьевич.

— Это вам показалось,— еще мягче сказал директор. Был он толстый, добрый, и ему хотелось, чтобы всем было хорошо.

— Я только что пришел, но у меня уже твердо сложилось ощущение судилища,— с удовольствием замечая, как жена начала дергать губами, сказал я.

— Вам так показалось,— с педагогической методичностью повторил директор, глядя только на Игнатьевича и совершенно игнорируя меня, будто это и не я только что говорил.— Мы, учителя, собрались здесь только для того, чтобы вам сказать, что вы мешаете нам воспитывать детей. Вот цель нашей встречи,— тут он поглядел на меня, и в его добрых глазах я увидал порицание себе.

— Почему же это вы непременно на меня обратили внимание?

— Только потому, что вы пьете и имеете открытую связь с посторонней женщиной,— бледнея от ненависти к Игнатьевичу, сказала жена.

— Ну да, конечно, с вашей точки зрения все так... Нет, как я вижу, товарищ директор, разговора, о каком вы думали, не получается. Так что уж извините, но я уйду,— и он пошел широким размеренным шагом к выходу. Поравнявшись со мной, задержался.— А вам-то чего от меня надо, Игорь Николаевич? Вот уж не ожидал.

— Верьте, я тут совершенно ни при чем! Да вы и сами видите, я опоздал, даже не знал про это судилище,— ответил я.

— Чего там ни при чем. Зачем к Люське-то бегали? Не ожидал.— Это «не ожидал» он сказал с таким укором, что мне стало не по себе. Я хотел выйти за ним, объяснить, как все получилось, но понял, что это невозможно. Потому что уж так сложились обстоятельства и трудно, очень трудно доказать свою правоту.

Как только за Игнатьевичем закрылась дверь, так сразу же поднялся шум. Первым вскочил учитель химии. Высокий, тонкий, с длинными пальцами пианиста. Он замахал руками так часто, что показалось, будто у него сотни пальцев.

— Возмутительно! Ни на что не похоже!— крикнул он.

— Совершенно верно!— поддержала его жена.— Я с вами полностью согласна!

— Но я, я не согласен с вами! Да! Да! Не согласен! Разве так можно говорить с человеком? Кто вам дал право так говорить? Вы действительно устроили судилище! И это в то время, когда у нас совершенно иные нравственные нормы. Так унижать. Так унижать!

— Только так и надо говорить с аморальными типами. Пьянствует, развратничает, и еще с ним миндальни-

чать. Здесь даже воздух от него смердит. Откройте окна! Откройте! — С этим возгласом жена кинулась к окну и стала дергать ручку.

Но зимние рамы еще не были освобождены от бумаги и ваты и не открылись.

— Успокойтесь, Елизавета Семеновна,— примиряюще сказал директор и сочувственно поглядел на меня.— Замечаю, за последнее время ваша супруга, Игорь Николаевич, что-то стала раздражительна.

— Это вам только кажется,— нервно вскрикнула жена.

— Да нет, почему же. Вы не находите, Игорь Николаевич?

— Не только нахожу, но даже места не нахожу,— скаламбурил я.

— Нет, это кошмар какой-то! Защищают разложенца! Я больше не могу! Не могу! — и неожиданно всхлипнув, приложила платок к губам и выбежала из кабинета.

— Что с ней?— спросил директор.

— Этого никто не знает,— ответил я и вышел.

Догнал я ее на улице, возле универмага. Она шла к дому, опустив голову, подавленная и печальная, и не знаю почему, но мне стало ее жаль.

— Лиза! — позвал я ее и ускорил шаг.— Ли-за!

Она остановилась, медленно повернула ко мне свое лицо. Бедная, она все еще хотела быть молодой. Ее ресницы были густо накрашены, глаза удлинены, на губах слой какой-то тусклой, видимо, модной помады. Не знаю, что она прочитала в моем взгляде, но ничего не сказала, и мы тихо пошли к дому.

На дороге было пусто, и никто и ничто не мешало нам поговорить по душам, но мы молчали. Не знаю, почему молчала она, но я ждал, когда она скажет хоть слово, тогда мне было бы легче ей все высказать, но она молчала и только все ниже опускала голову.

В парке было тенисто, и из его глубин доносилось щелканье соловья.

— Почему бы нам не зайти в парк?— предложил я жене.

— Да-да, зайдем,— тут же согласилась она, и мы свернули в ворота. Собственно, ворот не было, просто стояли два бетонных столба, но они определяли вход, и этого было вполне достаточно.

Мы сели на ту самую скамеечку, на которой совсем недавно сидел я. Высокие сосны, отсвечивая медью стволов, спокойно возносились в небо. Перепрыгивая с ветки на ветку, занималась своими делами белка. Было тихо, и тишина эта умиротворяла.

— Давно мы с тобой вот так не сидели,— сказал я.— А надо бы. Человек много лишился по своей вине. Все больше забывает о природе, а это значит, забывает о себе.

— Послушай, может, нам разойтись,— в каком-то тягостном раздумье произнесла Лиза.— Я не могу с тобой жить. Мы совершенно разные люди...

— Как же это разные, да еще совершенно, если двадцать пять лет были одинаковыми?— растерянно сказал я.— Ты что-то не то говоришь, Лиза.

— Я куда-нибудь уеду. Я не могу, не могу, понимаешь, не могу смириться с тем, что здесь должна доживать... Я не знаю, как это получилось, но пока я работала, учила детей, готовила дома обеды, стирала белье, проверяла тетрадки, кто-то злой набросал мне сорок пять лет. А я еще не жила. Понимаешь, не жила!

— Ну, как не жила,— сказал я.— По-моему, в труде и есть жизнь. Тем более в таком благородном, как наш — учительский. И потом, я не знаю, но я старше тебя, и все же не испытываю того, что тебя мучает. В конце концов это естественный процесс — детство, юность, зрелость и старость...

— Естественный? Это чудовищный, а не естественный! Я сразу из юности перескочила в старость. Я не жила, понимаешь, не жила! — со слезами в голосе громко сказала она.— И я не верю, чтобы везде была такая жизнь. Есть другая, другая!

— Бесспорно. Я уж не говорю о великих стройках. Там совершенно иной ритм. Там, по всей вероятности, некогда думать даже о таких вещах, как собственные годы. Пожалуй, там жизнь летит еще более стремительно. Но не надо говорить так громко, могут услышать и подумать, что мы с тобой ссоримся.

— Пусть думают.— Она встала.

Поднялся и я.

— Нет-нет, мне надо побыть одной.

— Не понимаю, что же между нами все-таки происходит,— сказал я.— Неужели у тебя нет ко мне никакого

чувства? Что значит разойтись? Столько лет жили, и вдруг разойтись!

— А зачем жить вместе, если у меня к тебе ничего нет?

— Ну, как же так нет? Столько прожили, и ничего нет...

— Да, ничего нет! — И она быстро пошла от меня прочь.

Весь вечер я не мог работать, в голову лезли всякие мысли. Оказывается, я очень привык к Лизе и совсем не представляю себе, как буду жить без нее, если она меня бросит. Один. Совершенно один! Это страшно. Страшно, когда нет у тебя близкого человека. Вечер, темный сентябрьский вечер, а человек один. И как бы ни было светло в его комнате от электрической лампочки, но он один. И если погасить свет, то и в темноте он будет один. И тогда непременно должна где-то в углу скрестись мышь. И должна заглядывать в окно луна. Зеленая луна. И я буду приходить в пустую квартиру и в мертвящей тишине проверять ученические тетради и карты.

— Лиза!— громко позвал я ее. Мне вдруг показалось, что она незаметно прошла в свою комнату.— Лиза!

Но там ее не было. Я посмотрел на часы. Шел двенадцатый. И тогда я встревожился. Где же она может быть? И с каждой уходящей в небытие минутой тревога все больше овладевала мной, и наконец я не выдержал и вышел на улицу.

Было светло, несмотря на столь поздний час. Это потому, что приближалась пора белых ночей. Долгота дня подходила уже к восемнадцати часам. Было тихо, и в этой тишине особенно резко прозвучала сирена «скорой помощи», и машина, обдав меня пылью, промчалась на той стремительной скорости, когда становится тревожно и неприятно. Я проводил ее взглядом и быстро пошел в ту сторону, куда, как мне думалось, могла пойти Лиза.

У аптеки стояла женщина, ждала автобус.

— «Скорая помощь» прошла, не знаете, что случилось?— спросил я.

— Нет. Не знаю,— ответила женщина.

— Извините,— сказал я и пошел дальше, мимо пар-

ка, направляясь к клубу. Может, Лиза на последнем сеансе? Он еще не кончился, и тогда я ее встречу.

У Дома культуры было пусто. Два ярких фонаря освещали ступени. И ужасно одиноко я почувствовал себя и тут повстречал контролершу, спросил у нее, нет ли Лизы на фильме.

— Вроде не было,— ответила она.— А что? Потерялись, что ли?

Удивительно непостоянство чувств у человека, что только диву даешься. Еще совсем недавно я был сердит на жену, а вот сейчас бегу, полный тревоги. Где она? Что с ней? И ощущение такое, что я больше ее не увижу. И уже не думаю о том, почему она ко мне так изменилась, почему взамен любви, горячего, страстного чувства — холодок, неприязнь? Не думаю. Все мои мысли сведены к одной — найти ее! Ах, если бы у нас были дети. Теперь, с годами, то, что их нет, особенно остро чувствуется. Если есть дети, значит, жизнь продолжается. Это значит, живут твои гены. Но у нас нет детей. И это значит, мои гены умрут вместе со мной... Чертовщина, какая чертовщина в голову лезет! Я не люблю думать ни о старости, ни тем более о смерти. Зачем? Все придет в свой час. Так не надо его приближать, даже думами о нем... Но почему я стал думать о смерти? А, это я все тревожусь о Лизе... Что с ней? Где она?

Я подходил к дому, когда заметил Игнатьевича. Заметил случайно. Не посмотрел бы в сторону и не увидал. В полусумраке, да еще в темном пиджаке, он как-то сливался с забором. Пройти мимо было неудобно,— тем более после той проработки, которой он был подвергнут на учительском собрании,— и хотя я был занят поиском Лизы, все же подошел к нему.

Он сидел на краю лавки, низко опустив голову. Во всей его позе чувствовалась удрученность.

— Не придавайте очень большого значения тому, что произошло,— сказал я, садясь с ним рядом.

— О чем вы?— не подымая головы, спросил Игнатьевич.

— О судилище в школе.

— А, все одно к одному,— он посмотрел на меня, поискал взглядом чего-то на моем лице и опять опустил голову.— Да, все одно к одному. Так уж сложилось. И главное, не уехать. Бросил бы все, а что найду там?

И найду ли? Будет ли там такая радость, какая была попервоначалу здесь? Тут-то ведь верилось во все хорошее...

Мне показалось, он меня спрашивает, и я хотел уже было ответить, но Игнатьевич продолжал говорить, и тут я заметил, что он разговаривает как бы сам с собой. Может выпивши, подумал я. Но нет, он был трезв. На улице не было ни души. Только пронесся пустой автобус да пробежала собака. Мне надо бы пойти домой, но было как-то неудобно встать и покинуть Игнатьевича, и я продолжал сидеть.

— Вот тогда вы сказали, что у меня был маленький интерес и что, мол, его не хватило на всю мою жизнь,— вывернув голову, исподлобья взглянул он на меня.— Может, оно и так, маленький. Ну, а в чем же большой-то должен быть? У вас он есть?

— Я считаю, что есть. Я учу детей, и в этом нахожу большой глубокий смысл своего существования,— ответил я.

— Существования. А для жизни?

— Простите, не понял.

— Вы сказали «существования», а для жизни? Ведь это не одно и то же.

Он снова сидел все в той же удрученной позе. Я с ним не хотел на эту тему продолжать разговор и, чтобы его отвлечь от невеселых дум, предложил съездить на Ладогу, порыбалить, но Игнатьевич даже не отозвался, будто и не слышал. В глубоком раздумье продолжал:

— ...Пропал интерес. Почему? Такое чувство, что все уже позади. И ничего впереди нету...

— Ну что вы, мне шестьдесят, а я и то так не думаю. Нет-нет, так нельзя. Жизнь прекрасна! Вот даже сегодняшний вечер, точнее — ночь. Поглядите, какая тишина в природе. Все отдыхает, набирается сил перед завтрашним новым рабочим днем. Это же чудесно и весьма поучительно.

— Вы потому и не спите?

— Да нет, собственно, не сплю-то потому, что Елизавета Семеновна куда-то ушла и до сих пор ее дома нет.

— А... — он качнул головой и больше ничего не сказал.

Я еще посидел немного и, пожелав спокойной ночи, ушел.

Слава богу, окно в Лизиной комнате было освещено.

— Как я рад, что ты дома!— входя к ней, сказал я.

Кутаясь в платок, она зябко повела плечами.

— Я была на станции. Думала уехать. Сесть и уехать. Но, оказывается, это не так просто. Надо сначала развязать здесь все узлы и уже только после этого завязывать новые... Нет, это ужасно! Почему одни живут в Москве, Ленинграде или в Киеве, а другие должны всю жизнь прожить вот в таких поселках, как наш? Что это, судьба? Или неумение устроиться? Нет, я не могу здесь больше жить! Жить, чтобы умереть здесь?.. — Все это говорила она, уставясь в пол, как бы находясь все время в состоянии тяжелого раздумья.

— Ну, зачем же так,— присев с ней рядом на край кушетки, сказал я.— Не надо так мрачно смотреть на жизнь, тем более на будущее. Не такое уж у нас безвыходное положение. Скоро летние каникулы, можем съездить на Черное море... И потом, ты не совсем права. Да, здесь невесело, и нельзя сказать, чтобы люди жили интересно. Но наш долг помочь им.

— А! — досадливо сказала жена.— Все это ерунда! Мы же не воспитываем, а только учим. И разве ты не видишь, как эти люди пьянствуют. Нет, я не за таких людей. Человек, не умеющий бороться за нормальную жизнь, не вызывает у меня ни симпатии, ни сочувствия...

— Все было бы в нашем поселке по-иному, если бы здесь было большое строительство или какое-либо другое дело, непременно объединяющее всех, тогда...

— Давай-ка лучше пить чай,— вставая, сказала жена.— Хотя уже поздно.— И она стала раздеваться.

— Если позволишь, еще одну мысль.

— Не надо,— холодно отказала она.

— Ну, как хочешь... Спокойной ночи.

И ночь действительно прошла спокойно.

И утро началось спокойно. Лиза даже негромко пропела насчет того, чтобы всегда было небо и всегда было солнце. И не надо бы ей напоминать мне о вчерашнем разговоре. Это я сказал в связи с тем, что уж очень было веселое утро.

— И все же я здесь жить не буду,— с каким-то вызовом сказала жена.— Уеду в Сибирь или на Дальний Восток. Туда, где большая жизнь.

— А я?

— Что ты?

— Ты не спросила меня, а поеду ли я? Ведь у меня могут быть совершенно иные соображения.

— Не спросила потому, что ты никуда не уедешь из этого поселка. Он тебя засосал.

— Ты права, я не уеду. Но не потому, что он засосал меня, а потому, что надо жить и работать и здесь. К тому же мы с тобой именно здесь нужнее.

При этих словах жена как-то остро взглянула на меня, и в глазах у нее промелькнуло что-то, губы дрогнули, но тут же прежнее выражение замкнутой сосредоточенности появилось в ее лице. И все же такая мгновенная смена чувств не ускользнула от меня.

— Ты что-то подумала. Тебя обрадовала какая-то мысль. Да?— спросил я.

— Да,— усмешливо ответила она.

— Какая же?

— Мало ли...

Она уклонилась от ответа, и я не стал настаивать, но был твердо уверен, что эта обрадовавшая ее мысль касалась меня и не была в мою пользу. В этом я позднее убедился.

Мы уже выходили вместе на улицу, когда я заметил у дома Игнатьевича небольшую толпу. Люди с напряженным любопытством вытягивали шеи, глядя в сторону дровяного сарайчика.

— Что случилось?— подойдя к ним, спросил я.

— А то, что Игнатьич повесился,— ответил тут же подвернувшийся Вася Нюнин.

— Как повесился? — ужаснулся я.

— А обыкновенно, веревку на шею, и будь здоров!

В это время из дверей сарайчика вышел милиционер. Он застегнул планшетку и направился к нам. И сразу же вслед за ним вышли врач и плачущая Анастасия Макаровна.

— Значит, что же, без признаков жизни?— спросил Вася Нюнин милиционера.

— Да. Он еще с вечера повесился,— ответил милиционер.

— Ясно. Думали, у Люськи, потому и не хватились. А он, значит, всю ночь провисел.

Я почувствовал, как сердце после этих слов несколько раз глухо стукнуло, после чего все поплыло у меня перед

глазами. Я качнулся и услышал: «Совсем напрасно вы здесь, Игорь Николаевич». Это говорил мне милиционер. Он придерживал меня за локоть.

— Так неожиданно,— сказал я.— Никогда бы не подумал.

— Этого следовало ожидать. Последнее время он много пил,— сказал милиционер.

— Почему же его никто не остановил?

— Потому что он не нарушал правил уличного движения,— ответил подошедший врач.— А вы чего бледноваты, Игорь Николаевич?

— Так... неприятно все это...

— Да уж чего приятного.

Они ушли, а я продолжал все стоять и совсем забыл, что мне надо спешить на урок.

— Ну, может, теперь дадите на малька?— сказал Вася Нюнин.

Я достал из кошелька три рубля, отдал их и тихо пошел к школе.

Весь этот день я даже на короткое время не мог забыть трагической смерти Игнатьевича. И из головы у меня не выходили его слова о том, что жить ему «неинтересно». Почему я спокойно отнесся к ним, когда он их произнес? Ведь это же и был тот сигнал об опасности, когда надо было прийти на помощь. Но я не пришел, стал уговаривать, чтобы он вернулся в семью, вместо того чтобы выспросить у него, выяснить, что же такое с ним произошло, если утратился интерес к жизни? Какие тому причины? Почему я его не остановил? «Потому, что он не нарушал правил уличного движения»,— вспомнились мне слова врача. Шуточки! Но в них горький смысл. Там бы заметили, а тут прошли мимо. «Последнее время он много пил»,— сказал милиционер. И опять же, почему тогда не остановили его, не поговорили с ним. И тем более не узнали причину его пьянства. Ах, Игнатьевич, Игнатьевич, не знаю, насколько я виноват перед тобой, но виноват... Виноват. Но теперь уже поздно каяться.

Странно, но с Лизой у нас не было сказано о его кончине ни одного слова. Возможно, потому я не заводил разговор, чтобы не оскорбить его мертвого. Навряд ли у Лизы было бы к нему сочувствие, всего скорее, она бы осудила и смерть его. А что касается причины, то, по ее мнению, могла бы быть только одна — пьянство. Но по-

чему пьянство? Почему стал пить? Ведь за просто так пожилой человек не станет пить? Значит, что-то толкало его на это, значит, какая-то была причина. Неинтересно жить...

И судилище это в школе. Конечно, там не место выяснять причины, но, по крайней мере, можно было бы тактичнее вести с ним разговор. Тактичнее. И в этом, конечно, была повинна Лиза. Но вряд ли она сознавала свою вину. Она даже и на похороны не пошла. Осуждала и мертвого.

После жаркой погоды наступили холода. Такая смена температур дело обычное для Карельского перешейка. Сначала при совершенно ясной, солнечной погоде потянул холодный ветер. Он нагнал с запада серые облака, затянул все небо и успокоился. Но и в безветрии было холодно. Настолько, что посыпала крупа. Это у нас, а в Яблоновке выпал снег и достиг полуметрового слоя. От холода только что набухшие бутоны яблонь сжались, затаились. Куда-то пропали скворцы. И стало так неуютно, что подумалось — тепла никогда и не будет. Но вскоре непогода сменилась жарой. И опять буйно зацвели яблони. Снежный черемуховый цвет усыпал землю. Раскрылась сирень. И, казалось бы, все было создано для радости, но ее не было в нашем доме.

Однажды жена пришла усталая и, ни слова не сказав, стала пить холодный чай.

— Я подогрею на газе,— предложил я.

— Не надо.

Она пила и глядела в окно отсутствующим взглядом.

— Устала?

— Ничего, теперь уже недолго. Скоро все кончится.

Я хотел ей сказать, что раньше с репетиций она приходила возбужденно-радостная, восторженно мечтала о районных и областных смотрах, хотел сказать, что, собственно, ничего ведь и теперь не изменилось, так почему же она приходит такая безрадостная. Но не сказал, понимая, что чувства переменчивы и далеко не всегда можно им найти объяснение. Понимал я и то, что стена отчуждения все больше встает между нами и уже наступает такое состояние, по крайней мере у меня, когда невозможно приблизиться к сердцу другого человека.

Тут, что бы ты уже ни сказал, будет принято холодно, как ненужное и даже непонятное. Поэтому все меньше мы разговаривали друг с другом, и я каждый день был готов к чему-то такому, что привело бы наши отношения к окончательному разрыву. Но нет-нет, где-то появлялась и надежда, а вдруг да все переменится и вернется та прежняя безоблачная жизнь, когда ни о чем мы не задумывались и все казалось простым и правильным.

Честно говоря, мне не очень хотелось быть на выпускном вечере,— нездоровилось, но в такой торжественный для выпускников день нельзя было не прийти. К тому же этот день — итог работы всего нашего преподавательского коллектива. Десять лет мы стремились передать наши знания будущим сознательным гражданам нашей страны, и вот они, светлые, чистые, здоровые, жизнерадостные, в последний раз наполнили школьный зал. Уже сказаны все речи, и преподавателей, и учеников, директор напутствовал их в большую жизнь, ученики благодарили учителей, прозвучали со сцены стихи, песни, просмотрен скетч, поставленный усилиями моей жены. Выпит чай и лимонад и съедены пирожные, и теперь танцы. Гремит не только на всю школу, на всю площадь радиола. Мимо меня проплывают пары. Все, как и в прошлом году, и в позапрошлом, и три, и четыре года назад. Но так для меня, а для них все новое, чудесное, радостное.

Я уже собирался домой, когда услышал грубый пьяный крик, так резко нарушивший налаженный ход вечера. Кричал Вася Нюнин. Кричал на своего сына, одного из лучших учеников школы.

— Снимай, сейчас же снимай мои туфли!— кричал Вася Нюнин.

Его сын, Коля, стоял перед ним совершенно растерянный, не зная, куда девать себя от стыда.

— Ишь вырядился в чужое-то! Ты сначала заработай! — Он был совершенно пьян, настолько, что еле стоял на ногах.

Все замерли, не понимая, что происходит, что надо сделать, чтобы унять этого самодура. А он все больше распалялся и уже нагибался, чтобы сдернуть ботинки с ног сына.

— Вон! — это закричала на него Лиза.— Вон, сейчас же убирайтесь! Вон!

— Чего?— вывернув шею, оскалился Вася Нюнин.—

Я те дам вон,— он махнул рукой и чуть не задел Лизу.— А ты, ну, сы-май!

И Коля вдруг затрясся и, срывая с ног ботинки, закричал: «На! На! На!» — и, как слепой, натыкаясь на своих товарищей, на учителей, выбежал из зала. На нем, как говорится, не было лица. И я устремился за ним, понимая, что в таком состоянии нельзя оставлять его одного.

Он бежал по двору, его мотало из стороны в сторону. И забился за штабель дров. Там я его и нашел. Он сидел скорчившись, уткнув лицо в ладони, и плакал.

Когда плачут дети, то и тогда я не могу оставаться равнодушным. Меня охватывает жалость, и я готов всячески помочь ребенку. Но когда плачет взрослый человек, я совершенно теряюсь. Я готов сам вместе с ним плакать. Потому что это ужасно, когда взрослый плачет. Это значит, он доведен до такого состояния, что ему даже не стыдно своих слез, не стыдно своей слабости.

— Коля... Послушайте, Коля...

Он рванулся от меня, но я успел схватить его за руку.

— Это я, я, Коля... Игорь Николаевич...

— Убегу... не останусь... убегу... — словно в лихорадке, бормотал он.— Ничего не надо! Ничего!

— Коля, не надо так принимать близко к сердцу... Ну, чего не бывает. Успокойся. Тебя все знают как примерного ученика и никто о тебе плохо не подумает. А отец, ну что взять с пьяного. Успокойся...

— Никогда ему не прощу этого.

— Ну не надо так...

— Никогда,— он посмотрел на свои ноги, увидал их в носках и снова затрясся в плаче.

Я больше уже не утешал его, понимая, что самое правильное дать ему выплакаться. И действительно, постепенно он успокоился и уже, стыдясь меня, не подымая головы, сказал:

— Не беспокойтесь за меня, Игорь Николаевич. Идите... А я пойду домой.

— Ну вот и отлично. Только я тебя очень прошу, не ругайся с отцом. Он проспится и сам поймет свою неправоту. А еще лучше, если ты переночуешь в другом месте. Хочешь у меня?

— Нет, я домой.

Я проводил его до ворот и долго смотрел вслед, пока

его белая рубаха не растворилась в мягком полусвете июньской ночи. После чего вернулся в школу. Там еще продолжались танцы, но жены моей не было. Оказывается, она сразу же ушла после неприятного инцидента.

Как и следовало ожидать, дома разразилась гроза.

— Это какие-то дикари! И с ними жить? Никогда! Это совершенно опустившиеся люди. Пьяницы! Мерзавцы!

Я не терплю, когда поносят людей. Да еще так огульно. Не все же пьяницы и не все мерзавцы.

— Ты не смеешь так говорить! — неожиданно даже для себя вскричал я.— Да, люди бывают мерзки, невозможны, но виноваты ли только они в этом? Давно известно: плохим человек не рождается. Значит, что-то было не так в его жизни, не так воспитывали его, не подавали должного примера, не сумели увлечь большим интересным делом. Если бы увлекли хоть того же несчастного Игнатьевича, разве было бы ему неинтересно жить? Таких людей надо жалеть, помогать им, а не презирать!

— Еще чего мне не хватало. Жалеть всяких пьяниц, которые от водки вешаются. Увольте!

— Но почему пьют-то? Почему?

— Не знаю и знать не желаю. Я не пью.

— Странно, ты же здесь прожила среди этих людей двадцать пять лет, и раньше такого у тебя к ним отношения не было. Что же случилось?

— Замолчи! Я не хочу никаких воспоминаний. Хватит! Нельзя тратить всю жизнь на одно бездарное место. Да, так же как среди людей есть бездарные, так и среди поселков, деревень и городов есть бездарные поселки, деревни и города. И чем быстрее с ними расстаться, тем будет лучше. Земля велика, и я найду себе место, даже если и не получу вызова.

— О чем ты говоришь?

— Я написала письмо в Братск.

— Даже не посоветовавшись со мной?

— А зачем мне с тобой советоваться? Разве твои советы принесли мне счастье?

С этого дня наши дороги стали расходиться все больше. Вернее, я оставался все на той же, но Лиза уходила от меня, не знаю, вперед или в сторону, но уходила. Теперь уже нам совершенно не о чем было говорить. И если мы вначале пытались перед другими маскировать наш

разлад, то вскоре в этом отпала всякая необходимость. От того, узнают люди о наших отношениях или не узнают, ничего уже не изменится.

Вместе с тем с каждым днем Лиза становилась все более раздражительной. Каждое утро она с нетерпением глядела в окно, ожидая почтальона, и еще не успевал почтальон подойти к нашему дому, как Лиза уже выходила ему навстречу.

Нет, я не подглядывал за ней, но однажды она вернулась с посветлевшим лицом, и я понял — ответ получен.

— Ты позволишь проводить тебя?— спросил я.

— Да, конечно, если хочешь,— ответила она из своей комнаты.

Собралась она быстро, видимо, у нее все было уложено загодя. До вокзала мы доехали на автобусе. Там я взял чемодан и прошел на перрон, в то время как Лиза покупала билет на электричку до Ленинграда.

— Ну вот, все в порядке,— сказала она, подходя ко мне.

Электричка уже стояла, и я внес чемодан в вагон. Присел. Хотел ей сказать, чтобы она написала, как приедет на место, но не сказал. Зачем? Веревка разорвана, и в лучшем случае, если даже ее связать, то будет узел. Да и не хочет этого Лиза. Вон как у нее живо блестят глаза. Она морщит брови, чтобы скрыть свою радость, но лицо у нее все равно возбужденное и даже помолодевшее.

— Ну, что ж, я рад за тебя. И это совершенно искренне. Ведь не могу же я пожелать тебе зла, прожив с тобой столько счастливых лет. Так что не скрывай от меня и ты свою радость. Будь счастлива.

Она подняла на меня лицо, и вдруг на ее глазах показались слезы. Она глядела на меня и плакала. И я понял, что это она прощается со мной, что ей, возможно, жаль меня, потому что ведь все же я приносил когда-то ей радость. Ведь мы любили друг друга. Так что она меня жалела, но ничего с собой поделать не могла. Она не могла со мной остаться, не могла и взять с собой.

Машинист включил мотор, и вагон задрожал.

— Ну, что ж, прощай,— сказал я.— Разреши, я тебя поцелую.

Мы поцеловались, и я вышел. И тут же двери закрылись и поплыли от меня. И все это произошло так быстро, что я даже не успел подбежать к окну. Так что больше

ее и не видел. Против вокзала, внизу у ручья находится буфет. Я спустился к нему по деревянной лестнице. В буфете, как всегда, было накурено, стоял шум. Пили «бормотуху». Я подумал, что Лиза осудила бы меня за то, что я пришел сюда, но тут же я и ответил Лизе: «Только из-за тебя и пришел. Надо же как-то справить отвальную. Ты-то ведь не справила. Так что уж я... Извини». И попросил у буфетчицы стакан вина.

«Счастливого тебе пути, друг мой,— мысленно пожелал я Лизе.— Дай бог, чтобы тебе удалось найти на новом месте то, что ты хочешь. Только ведь дело-то в том, что надо не искать чего ты хочешь, а создавать самой, а то ведь можно и мимо жизни пройти. Вот этот совет я хотел тебе дать тогда, но ты не захотела меня выслушать. Потому что мои советы тебе не принесли счастья. Ну что ж, и все же счастья тебе!»

Я выпил и неторопливо пошел домой. Шел и думал о том, как Лиза приедет в Ленинград и там купит билет на самолет и полетит в Братск, в новый город, о котором я говорил на уроках и который совершенно не знаю, потому что не видал его. Да, так уж у меня получилось, что я много не видал, хотя многое и видел... Так вот, она полетит в Братск. И там будет жить, без меня...

Было светло, хотя шел уже одиннадцатый час. Я неторопливо шагал по тропе, вдоль парка, и до меня оттуда доносился приглушенный девичий смех, ломкий басок ребят. На танцевальной площадке играла музыка. Навстречу мне попадались пары. Они либо сворачивали, либо опускали головы, делая вид, будто не замечают меня. Бывшие мои ученики, еще не утратившие чувства стеснения. И я, понимая их состояние, старался глядеть тоже в сторону, в душе желая самого лучшего в жизни этим молодым людям, чтобы, если у них чувство серьезно, то хватило бы его до конца их дней. И чтобы они были лучше своих отцов. Потому что жизнь прекрасна! Потому, что мы живем в состоянии счастья, в атмосфере мира. Потому что человеку предоставлены в нашей стране громадные возможности, чтобы жить разумно. Они не должны пить, эти юные люди, не должны предаваться разврату, бездельничать. Для них много сделано их дедами и отцами, и нет оснований, чтобы их жизнь была неудавшейся, чтобы кто-то из них остался одиноким на старости лет. Это так тяжело остаться одному...

— Проходи! Проходи! — Глебушка приветлив. Он рад моему приходу.— Ритуал, где ты?— и из соседней комнаты выбегает длинноногая в самых что ни на есть расклешенных брюках и делает мне реверанс.— Сила, а? Сила?— восхищенно говорит Глебушка.— Ритуал, гоп, гоп!— И она смеется так обещающе, так засматривает мне в глаза. И ведет к широкой тахте.

Глебушка открывает бар.

— Что будешь, Коля? — и я вижу освещенные разноцветные бутылки.— Разговор, а? Разговор?

Ритуал забирается с ногами на тахту, включает магнитофон и мягкие, усыпляющие бдительность, звуки объемно звучат, наполняя мастерскую той жизнью, которая в эту минуту и кажется самой настоящей.

— Что же ты один, без Зоиньки?

— С Алешкой осталась. Простудился.

— Жаль... Впрочем, если хочешь, чтобы было не скучно, то Ритуал может остаться.

Он небольшого роста, широкоплеч, с приплюснутым носом,— когда-то занимался боксом и даже имеет разряд, но давно это уже все побоку. Иные дела, иные интересы.

Ритуал делает вид, что не слышит, о чем говорит Глебушка, этим самым давая мне свободу решения.

— Нет-нет, я ненадолго.

— А надолго и не надо, а? Штык, а? Лады?

— Это что у тебя?— оглядывая стены мастерской, спрашиваю я.

На стенах этюды, ранние работы, несколько Так Себе картин, которые побывали на выставках и этим самым дали Глебушке право на вступление в творческий Союз, хотя в обзорах выставок не было сказано ни слова о его картинах. (Ха-ха, что это, злорадство? Нет-нет, просто смешно. Участник нескольких выставок, и ни один рецензент не заметил его героических усилий. Ха-ха!) Кроме всего этого, на мольберте — громада два с половиной на три. Я про эту штуку и спросил. Ее имел в виду. «Ста-

левары». Это были они в своих войлочных шляпах, с длинными железяками в руках, освещенные блеском кипящего металла.

— Ага-ага, сталевары. Выбор темы предопределяет удачу,— весело иронизирует над собой Глебушка. Завидный характер. Другой чего-то ищет (это я), мучается (тоже я), страдает (опять я), а Глебушка счастлив.— Ритуал!

— Але! — Она вскакивает и садится со мной рядом. У нее тонкие изящные пальцы. Она красива, черт побери. У нее высокая грудь, а сама суховата. Немного крупны черты лица, но и это неплохо, к ней идет. Ей лет девятнадцать. Она крутит меж пальцев тоненькую ножку рюмки и отпивает воробьиный глоток.

— А это что у тебя?— спрашиваю я Глебушку про самый громадный холст, повернутый к стене.

— Это, милый, три тысячи рупий.

— Покажи.

— Зачем? Истерически доказано, ни тебе, ни мне пользы не будет.— Когда он говорит «истерически», то лукаво поглядывает на меня, проверяя, какое впечатление производит на меня его новая «хохма». У него их хватает. Не знаю, сам ли придумывает или берет напрокат.

— И все же можно посмотреть?

— Там официальный портрет, во весь рост. Во весь. Официальный. Тебе это неинтересно. Но... но выбор темы предопределяет удачу. Вы-бор те-мы... вы-ы-бор... те-е-е-мы... — Глебушка растягивает каждое слово, вызывая меня на разговор.

От выпитой рюмки коньяка слегка туманит голову, мне хорошо, и я благосклонен.

— Не тема решает,— вяло ввязываюсь я в разговор. Так, больше по инерции. Было время, спорили, горячились, чего-то доказывали, позднее поняли — общего между нами столько же, сколько между китом и носорогом, и все же тянемся друг к другу, может, потому, что у одного есть то, чего нет у другого. У меня нет коньяка, у него есть. У меня есть поиск, у него нет.— Можно и ухо написать, но как!

— Ухо? Зачем писать ухо? Великие избавляются от ушей.

— Я говорю, смотря как написать.

— Ну да, ну да. Как написать. Но если тема, да еще как написать, а? Разговор, а? Внимание! Идет бюрное заседание! — Он внимательно глядит на меня.— Не дошло? Бюрное — значит, заседание бюро. Ничего, а?

— Давай выпьем,— говорю я.

Он наливает и вразумляюще говорит:

— Милай, гения из меня не выйдет. Это я знаю точно. И ты это точно знаешь. И даже она знает. А коли не выйдет гения, спрашивается в лоб, зачем я буду страдать, терзаться, отравлять жизнь себе и окружающим? Зачем? Если даже в БСЭ не попаду. А коли так, значит, надо делать что-то другое. А чего? Жить нада, милай! Так я и живу. Жизнь она, знаешь, разнообразная. У нее всего хвата... А ты страдаешь. Но ведь и ты можешь не попасть в БСЭ, не говоря уж о когорте гениев. Тогда зачем же страдать? Зачем? Ритуал, избавь его от страданий! Он славный малый. Он был лучшим у нас на живописном. Ему прочили большое славное будущее. Но почему-то не дали. Ну что им стоило дать это славное будущее! Но если бы дали, Ритуал, он не сидел бы с нами. Его не было бы здесь. И ты, Ритуал, никогда бы не увидала его вблизи...

Он любит болтать, Глебушка. А когда в настроении — особенно. Пусть. Мне почти все равно. В конце концов каждому определен свой путь. И ничего тут не поделаешь. Он беспечен и потому счастлив.

— Слушай, а ты счастливчик,— сказал я ему.

— Ирония?

— Ну что ты. В гостях не гадят.

— Тогда выпьем! Ритуал, пью за твои длинные ноги. Впрочем, я не эгоист. Пей и ты, Николя. Мы пьем за твои длинные, Ри-туал! Ритуал, гоп-гоп!

Ритуал вскочила и показала нам свои длинные ноги.

— Они у меня еще длиннее, когда я хожу в мини,— сказала она.

— До шеи,— засмеялся Глебушка.

Мы, не чокаясь, выпили. «Еще одну, и все»,— сказал я себе.

— Видел Волкова,— закуривая, сказал Глебушка,— он против твоего «Ночного вокзала». Хотя эм-эм, так сказать, эм-эм, есть-есть, но левизна эм-эм, дань эм-эм,— стал передразнивать он старика Волкова.

— Ты это к чему? — спросил я.— То, что выставком не принял, еще не значит, что картина плоха.

— Бывает.

— А все же к чему ты вспомнил мой «Ночной вокзал»?

— К тому, что ты сильный.

— Что значит «сильный»?

— Идущий сам по себе... Но все же, по-моему, Волков ни черта не понимает, а мы чуть ли не боготворили его...

— А вы не можете говорить о чем-нибудь другом, чтобы и мне интересно было,— сказала Ритуал и положила в рот дольку лимона.

— Самое для тебя интересное, когда остаешься вдвоем, верно?

— А для тебя, милый?

— И для меня, Ритуал,— он вскочил и обнял ее.— Ритуал, я тебя никому не отдам. Даже ему. У, дядя бяка! Мы с тобой поедем на Черное море. Мы будем купаться в зеленой воде, валяться в горячем песке, пить сухое вино и запрещенную чачу, уплетать шашлыки. Мы будем счастливые и умные, как дельфины!

— Ты чудо! — Ритуал взяла еще дольку лимона, но прежде чем положить ее в рот, показала мне кончик языка. Получилось, вроде подразнила или хотела со мной поиграть. Но мне ни то, ни другое не понравилось.

— Она у тебя что, натурщица?— спросил я.

— Почему ты обижаешь ее?

— Я ему показала язык,— сунулась Ритуал.

— Зачем же ты это сделала? То есть почему именно язык, а не что-нибудь другое?

— Чего-то мы не туда. Тебе не кажется?— сказал я. Глебушка быстро взглянул на меня и тут же склонил голову, приговаривая: «Бей меня, бей меня, циника!»

— Я, пожалуй, пойду,— сказал я, зная, что ни за что не отпустит, а коли так, то прекратит и трепаться. Во всем должна быть мера. Так оно и вышло. Глебушка перестал болтать, и мы заговорили о другом. Вспомнили Гришуню Сысоева.

— Видел, видел его. Даже в мастерской побывал, а потом на фатере. Что делает с человеком удача. Похвалили его, и уже возомнил. Умрешь, не догадаешься — сделал на дому собственный музей. Расставил на полках

разную утварь, собранную на родине и в деревне. Ходит с указкой и рассказывает мне, вот из этого медного чайника он пил чай на сенокосе,— даже сажу сохранил, для подлинности, а вот из этого туеска тянул в жаркий день квасок...

— Врешь ты!— сказал я.

— Клянусь! — совершенно серьезно сказал Глебушка,— ходит с указкой, ведь надо же — не поленился купить ее, и показывает мне свои чугунки и лапоточки. Так что, Николя, еще неизвестно каким местом по мозгам может ударить признание. По мне так уж лучше быть неизвестным, но нормальным, как, а?

— Ты молодец, все же ходишь к ребятам, а я чего-то совсем прилип к своему дивану.

— Ну, тебе, может, и не надо. Ты сам в себе. Это мне нужна информация. Там чего-то схватишь, там чего-то усмотришь, глядишь, и идейка появилась. Вот на днях заглянул к Эдику Лынскому. Живет у папочки, так что кушать обеспечено, и пишет себе, чего душа пожелает. А желает она того, чего он сам не ест. Холст метра на полтора, и ведь не пожалел, не пожалел такого холста, Эдик, и в самом центре скелет съеденной селедки и рядом наполовину пустая поллитра. Почему, спрашиваю, пустая наполовину? «А чтоб все спрашивали»,— отвечает. Вот черт, а? И еще острит. Я, говорит, садист. «Это как же так?» — спрашиваю, это я-то, сам с усам. «А так, что я люблю гулять в саду». Вот черт, а! Кстати, что такое скверный день, знаешь?

— Ну, по твоему рецепту,— день проведенный в сквере,— ответил я.

— Умный...

— Ну, а какую ж ты идейку извлек из него?— спросил я, сам наливая себе.

— Самую нужную. Собственно, не идейку, а некоторый итог. Не отстал я от него, а совсем наоборот, три шага вперед стеганул. Что-ничто, а я член правления, член бюро секции. А у него только скелет селедки, и усе.

— Да... И что же, доволен он?

— В смысле?

— Ну, собой, своим местом в жизни.

— И даже очень. Заносится, говорит, фитиля вставил.

— Кому же?

— Вот об этом и я его спросил. Оказывается — мне. Он, видишь ли, протестует. Его, видишь ли, ограничивают. Нехорошие дяди и тети. Бяки!

— Ну а как написано?

Ритуал громко вздохнула.

— Как скучно! Ну, ей-богу, тоска. Неужели вы не можете ни о чем другом?

— Ты молодец, Ритуал! Ты дала блестящую идею, ты — умница! Ты, и только ты пойдешь сейчас на кухню, там откроешь холодильник, вытащишь оттуда за уши отбивные, разогреешь их и принесешь нам. Мы будем есть, будем пить сухое и ни слова не скажем о своих делах. Будем говорить только о тебе и тебе подобных. Але!

Ритуал, высокая и гибкая, как ивовый прут, встала и, покачиваясь, ушла.

— Значит,— стал продолжать я разговор,— значит, ты вырос в общественную фигуру.

— В том-то и дело, Николя. Со мной начинают бороться. Я представляю реальную угрозу, а, Николя?

— Да, ты опасен. Тем более что идешь к руководству. И Гришуня, конечно, понимает, что ты ни за что не допустишь до народа его обглоданную селедку.

— Тем более что она народу не нужна.

— Ну вот, ты уже все знаешь, что нужно, что не нужно народу. Пожалуй, ты и мой «Ночной вокзал» не допустил бы до выставки?

— Не знаю, честно говоря, не знаю, но задумываться ты меня заставил бы. И глубоко. Очень глубоко!

— Но почему?

— Да потому, что ты опасен. Ведь твой «Ночной вокзал» тоже можно рассматривать как протест против привычного, установившегося. Ведь тебя же никто не просит на такое, напротив, предлагают простое.

— О чем ты говоришь! Ты же художник. Разве этому нас с тобой учили?

— Вот-вот, карась-идеалист, именно, не этому. А жизнь она такая...

Почему я терплю его? Всего проще встать бы и уйти. И никогда больше не приходить к этому приспособленцу. Но я сижу. И ничего в моем сердце нет злого против

него. Где та принципиальность, о которой так часто говорят? Где та непримиримость с пошлостью? И самое-то ведь скверное в том, что я сознаю это скверное, и хоть бы что. Даже царапины на совести нет. И как это увязывается с моими устремлениями, с замыслами?

— Он против воспевания...

— Кто?— отвлекаясь от своих дум, спросил я.

— Да Эдик. Он против воспевания нашей действительности, а позволительно спросить, чей он хлеб ест?

— Ну, это запрещенный удар.

Глебушка на мгновение ошарашенно поглядел на меня и тут же улыбнулся.

— Ты прав. Но я не об этом. А разве он сам не воспеватель той же селедки? Воспел же ее скелет.

— Ну и что, каждый воспевает свое, что ему дорого. Я не против и селедки, если это несет что-то новое. Лучше талантливая селедка, чем...

— Бездарные «Сталевары»? — нервно взглянул на меня Глебушка.

— Я не просил тебя так говорить.

— А по мне, пусть даже плохие сталевары, чем роскошная селедка, к тому же обглоданная!

— Не знаю, не знаю, но для меня есть один закон — закон живописи, и я не понимаю, что значит плохие сталевары или там кочегары? Кому нужны они! Да и почему они должны быть плохими? Вспомни полотно Ярошенко «Кочегар».

— Ну ладно, хватит об этом. Что-что, а с тобой я никогда не поссорюсь.

Он замолчал. Молчал и я, почему-то подумал о замысле будущей картины. И в какой уже раз в сознании прочертились, как трассирующие пули, пересекающиеся скорости. Они и на земле, и в воздухе, и на воде, и под водой, и в космосе. Время колоссальных скоростей! Воздействуют ли они на человека? Как? В чем? Меняется ли его психология? В чем ее новые качества? Хорошие или дурные эти качества? К чему ведет Время Колоссальных Скоростей? К добру? К злу? И как все это мне, художнику, изобразить? И не только это. Мы справедливо считаем себя победителями. Завоевываем космос. Покоряем океаны. Нам становится доступным многое. Но, становясь победителями, мы не задумываемся о завтрашнем дне природы. Мы разрушаем ее. Загрязняем воздух не только

смогом, но и радиацией. Нам дышать этим воздухом, нашим детям.

— И все-таки я своих сталеваров не выброшу,— упрямо и четко сказал Глебушка.— Скажи, над чем ты сейчас работаешь?

— Пока обдумываю...

— Скажи, я же не способен у тебя украсть.

— Да нет, все еще варится... Вот сейчас думал о том, что много уходит мировых сил общественности на разного рода войны, разрушения, в то время как есть самая главная задача номер один — сохранение жизни. На Зем-ле! Мы уже многое безвозвратно испортили в природе, не успев даже изучить то, что ушло от нас навсегда. Об этом сотни докладов, статей, речей...

— Да, ты прав, это проблема номер один, но мы не решим ее с тобой. И не надо забивать голову, а то головке будет бо-бо.

Что это: сознательно он выключает себя из больших проблем или уж такова натура? И что это значит «мы не решим»? Если так, тогда и думать не надо. А если не думать, то что же ты за человек? И человек ли? Может, робот?

— А что, не так уж плохо скомпонованы мои сталевары, а?

Опять сталевары...

— Чего молчишь? Или уж совсем худо?

— Нет, почему же, особенно хорош тот, в центре. Я где-то уже не раз видал его. По-моему, на экранах телевизора.

— Стоп! Дальше ни шагу. Если б я был талантлив, очень к тому же талантлив, ты бы мог напомнить мне гоголевскую повесть «Портрет» или «Жертву» Доде или еще что о художниках, сменявших искусство на деньги, и тогда бы я медленно сгорал от стыда. Но так как я всего-навсего ремесленник...

Вот почему я не могу на него сердиться. Он ремесленник. Он не скрывает этого. Простой малый, не заносится. И поэтому он вправе делать все, что всем знакомо и не вызывает ни у кого раздражения, настороженности.

— К тому же, как ты говоришь, я счастливчик. От того, что у меня все просто. (Он даже это знает!) Я не мудрю. А ты мучаешься. А может, зря мучаешься? В кон-

це концов все умирают. Даже великие. А жизнь идет. Может, схватить тебе что-нибудь вроде моего, и на выставку. Ведь честно говоря, то, что ты не член Союза художников, уже идет против тебя. Или не туда работаешь, или бездарен, а? Ведь и так могут подумать. А ты талантлив. Без дуры говорю. Ну и в конце концов не навсегда, лет на пять, а то и меньше, чтоб заткнуть глотку тестю, а? Обрастешь барахлишком, а там опять за свое, если уж ты никак не можешь совмещать высокое с низким, а? Сманеврируй, а?

Конечно, почему бы и не сманеврировать? И тесть, черт бы его побрал, перестанет придираться и упрекать, что бездельничаю. И Зойка уйдет с работы, будет заниматься с Алешкой. А я буду писать то, что с ходу пойдет, чего уже давно от меня ждет выставком, и все будет хорошо. И у меня будет своя машина, и на ветровом стекле будет качаться обезьянка, и появится своя мастерская, и дадут мне квартиру, и если я захочу, то будет у меня и хрусталь и ковры. А почему бы и нет? Я не хуже Глебушки. Напротив, талантливее. И за все за это всего-то надо лет на пять уподобиться Глебушке...

— Все же ты дрянь,— тихо говорю я.

Он не обижается, нет, только очень серьезно глядит на меня.

— Ты кое-чего не понимаешь,— говорит он.— Лобовые атаки сегодня никак не котируются. Надо быть гибким.

— Как Ритуал?

— А что, Ритуал — девочка дай бог, или ты любишь прямых и сухих, как палка? Гибкость — еще не значит угодничество...

— Не надо.

— Как хочешь. Но мне бывает тебя жаль. Ты, конечно, думал, почему не допустили твой «Ночной вокзал» на выставку?

— Действительно, а почему?

— Впрочем, великих тоже не всегда понимали... Да нет, ты не подумай, что я чего-то. Просто не хочу, чтобы ты разочаровался, чтобы, не дай бог, стал пить. Мало, что ли, тех, которые спились, а, Коля?

— Это ты к тому, чтобы я больше не пил у тебя?

— Я всерьез.

— Тогда налей.

Он налил, и мы выпили. «Нет, я не буду на него сердиться,— подумал я.— И не стану думать о доме. Ведь надо же мне встряхнуться. Я больше недели сидел взаперти, все обдумывал свои пересекающиеся скорости». «Пересекающиеся скорости», черт возьми, вот и название! И как только я раньше не догадался. «Пересекающиеся скорости». Я еле сдержал себя, чтобы тут же не выболтать Глебушке. Так я и назову картину. И сразу настроение поднялось, а тут еще пришла Ритуал с горячими отбивными. Глебушка достал из бара бутылку «Цинандали». И мы стали есть раскаленные куски, запивая сухим вином.

— Итак, мы обещали тебе, Ритуал, говорить о тебе и тебе подобных,— сказал Глебушка.— Послушаем, что скажет Николя.

Но я не стал говорить.

— Это потому, Ритуал, что у него очень красивая жена. К тому же он однолюб. Хотя в наш век это выглядит довольно наивно и старомодно. Не так ли, Ритуал?

— А я бы хотела быть такой наивной и старомодной,— сказала Ритуал и ласково поглядела на меня.

— О, тогда ты, бедняжка, крепко опоздала,— оглядывая со всех сторон большой жирный кусок мяса, сказал Глебушка.

— Почему?— сделала большие глаза Ритуал.

— Ну хотя бы потому, что для того чтобы быть наивной, надо быть наивной, а насколько мне известно...

Ритуал не дала ему договорить, наложила на его жирные губы тоненькие пальцы с длинными, выпуклыми, как желуди, острыми ногтями.

— Ну вот, тогда о чем же нам говорить?— шамкая сквозь ее пальцы, сказал Глебушка.

Я поднялся. По всему чувствовалось, ничего интересного больше не будет. Да и пора.

— Ты все же заходи, а,— сказал на прощание Глебушка.— Без тебя я как-то уж совсем мерзею.

Ритуал даже не поглядела на меня, по всей вероятности, утратила всякий интерес.

Домой я пришел во втором часу. Зойка еще не спала. Читала «Острова в океане». Сонно потянулась навстречу.

— Ну что?— спросила она.

— В смысле?

— Интересно было?

— Да. Впрочем, не очень. Хотя...

— Понятно.

Я разделся, выключил лампу. И сразу же с улицы ворвался в комнату качающийся свет уличной люстры. Он как веером стал махать по стене, и от этого стало неприятно глазам. Я закрыл их. Зойка прижалась ко мне, тепло задышала в ухо. Мне бы надо обнять ее, но в закрытых глазах почему-то появилась длинноногая Ритуал.

А в мини еще длиннее...
Они у нее до шеи...

— Больше я тебя не отпущу одного,— сказала Зойка,— ты вернулся какой-то чужой.

— Ну что ты,— сказал я и обнял ее. У нее красивые плечи, они покато спадают, и от этого шея у нее тонкая, длинная, кажется слабой. От ее слабости я чувствую себя сильнее и начинаю целовать и жарко любить собственную жену.

Итак, картина, которую я задумал написать, будет называться «Пересекающиеся скорости». Вот мироздание. Оно огромно. Ему нет конца. (Что невероятно! Непостижимо уму!) В нем миллиарды миллионов звезд. До недавнего времени говорили о гармонии в нем. Оказывается, там самая настоящая анархия. Все неисчислимые галактики несутся в каком-то сумасшедшем вихре. Происходят столкновения планет. Гибнут миры. Создаются новые. Все это в бесконечности бесконечностей. И вот во всем этом — маленькая, живая наша Земля. Наша светлая счастливая и несчастная, на которой никак не могут ужиться люди. Они уже не ужились с животными — сотни видов уничтожены. Они не ужились с рыбами — сотни видов уничтожены. Не стало в степях птиц. Они отравлены ядохимикатами. Но появляются все новые и новые средства уничтожения. И если ничто не остановит их, погибнет маленький веселый шарик с птицами, цветами, водой и зайцами. С закатами и рассветами, росой на лугах и весенними ручьями. К сонмищу мертвых планет прибавится еще одна — наша Земля, на которой не ужились разумные существа.

Я хожу по комнате от окна к двери, от двери к окну. И все думаю, думаю, ищу образное решение. Иногда мне представляется оно так. Мрак. И из мрака, из глу-

бины его, смотрят на Землю глаза Вселенной. Глаза? Нет, я не хочу ничего условного. Все должно быть реалистично, как если бы я писал деревенский пейзаж. И никаких смещений. Глаза из мрака. Звезды. И маленькая живая планета, с деревенским пейзажем, которая может погибнуть. Глаза Вселенной... Но ведь Вселенная мертва. Какие же могут быть глаза? Мертва? Но тогда как же в ней могут быть живые планеты? В мертвом — живое? Значит, живая?.. Ужасно, как я мало знаю. Нас совершенно не учили ни в Средней художественной школе, ни в институте думать. В век кибернетики мы — невежественные люди...

За стеной плачет Алешка. Он выздоравливает, но еще капризничает. Зойке бы надо остаться дома, но она незаменима в библиотеке,— двое на бюллетене. И Алешка капризничает, ему нужна мама.

Так, значит, Вселенная...

— Коля, может, ты сходишь в аптеку. Вот рецепты,— теща стоит в дверях и показывает, как вещественные доказательства, рецепты.

— Что? — я слышал, что она сказала, но не мог сразу переключиться и теперь раздраженно гляжу на нее. Что-то уже начинало выстраиваться. Навевался мотив громадной черной пустоты и мертвых звезд и маленькой нашей Земли. И пропало. Все полетело в яму потерь.— Что?

— Да ничего, господи. В аптеку, говорю, надо сходить, или посиди с ребенком.

И я бегу, черт бы все побрал, бегу, расталкивая прохожих. На улице дождь, изморось, слякоть — самая настоящая наша ленинградская погодка. Ветер срывает с деревьев последнюю листву, и в аптеке длинная очередь в кассу и за лекарствами.

Пока движется очередь, снова что-то навевается и опять как бы из мрака смотрят на меня глаза. Почему глаза? Почему? Это навязчиво, это не может быть просто так... Надо только разобраться, понять. Почему?..

— Гражданин, не задерживайте!

Только на минуту отключаюсь, и снова уже в другой очереди продолжаю думать о своем. Если бы с кем-нибудь посоветоваться. Найти бы такого, кто утвердил бы меня в поиске, в самом замысле. Так? Не так? Но такого

нет и быть не может. Никакой коллективный разум не создаст то, что создали Рафаэль и Пушкин, Микеланджело и Лев Толстой, и другие им подобные. Я мал по сравнению с ними, но никто, кроме меня, не решит мою задачу. Только я!

В нее входит многое. И как одно из главных — стиль. Свой стиль. Напрокат ничего нельзя брать из чужого арсенала. Только свое. По-моему, стиль — это то, что дано самой природой. Выдумать его нельзя. Каждый большой художник видел по-своему землю, людей, дома, закаты, деревья. Ему удавалось изобразить их на холсте так, как он видел их. И это называлось его индивидуальностью. И хотя это было присуще только ему, все же его индивидуальность пришлась по вкусу многим. И его признало все человечество.

И еще, к этому: чтобы быть современником, надо постигнуть духовный мир человека. Надо познать жизнь со всеми ее сложностями и противоречиями, победами и поражениями. Не слишком ли много я на себя наваливаю? Но меньше нельзя, если ты художник.

Я вскакиваю с дивана и начинаю метаться от окна к двери. И от двери к окну. Наша квартира из тех малогабаритных, которые строились в конце пятидесятых годов,— встань на цыпочки и достанешь потолок, пять шагов от двери до окна, пять обратно. А в углу мольберт. У стен на полу холсты, подрамники. На стенах репродукции великих, собственные этюды. Тут же в комнате письменный стол, диван, книжная полка. Тесно. А хочется простора, хочется отойти от стен...

— Ты бы хоть к ребенку подошел,— говорит за обедом теща.

В отличие от тех тещ, которых высмеивают и не любят зятевья, моя теща славный человек. Добра, заботлива, в веселую минуту любит пошутить. Она верит в меня, потому что верит в меня Зойка. Другое дело тесть. Он сменный мастер цеха. И поэтому я в его представлении чуть ли не тунеядец. Еще бы, он работает, его дочь — моя жена — работает, а я отсиживаюсь дома, валяюсь на диване,— а я и на самом деле, бывает, валяюсь, и не приношу денег, не содержу семью.

«Не надо было жениться!»— это он.

Я молчу.

«А если женился, надо обеспечивать семью!»

Я молчу.

«Вон у нас на заводе художник оформляет красный уголок. Чем он хуже тебя? Получает не ахти что, но все же — восемьдесят рублей, да еще в праздники подрабатывает. Хоть бы так работал!» — это он.

Я молчу.

«Чего молчишь?— подступает он ко мне, в то время как Зойка бледная, а у самой по шее красные пятна, стоит у стены и умоляюще глядит на меня, как будто я вот-вот могу кинуться наперерез громыхающему поезду.— Чего молчишь?»

И тут она переводит стрелку разговора на себя.

«Но ведь он же написал картину?» — это она. «Ну и что? За шкафом стоит. Кому нужна такая картина? Да и не понять в ней ни черта!» — пошел по другому пути тесть, уже наступая на дочь, хотя станция назначения все та — я. «Если ты не понял, еще не значит, что она плохая!» — это Зойка. (Перефраз моих доводов — если выставком не взял, еще не значит, что плохая.) «Что же, выходит, я не могу разобраться в вашем искусстве? Для кого же тогда он работает, как не для народа! А если народу не нравится, значит, не туда работал. По-нашему, это брак. Я так понимаю, чтоб польза была!» — «Папа, не надо...» — «Чего не надо! Правду говорю. Все работают, один он дома сидит».

Поезд разговора неумолимо идет на крушение.

«Да он же работает больше нас!» — это жена. (Не надо, не надо бы так ей). «Что,— тут же взрывается отец,— он работает больше меня? Да я всю жизнь в работе, я... я...»

Но тут входит мать.

«Ну чего вы спять... А тебе, отец, так прямо стыдно должно быть. Да никак еще и куришь?»— «Курю, потому что нервничаю».— «Хоть бы дочь пожалел...» — «Я-то пожалею, а вот он, пусть он пожалеет. Молчит. Молчит!»— «И чего ты пристаешь к нему? Это ж искусство, так все молодые художники начинали,— вот почитай-ка про них,— а потом становятся великими».— «Ну и что несешь? Великими! Форточку некому выкрасить. Великими!» Он фыркает и уходит.

Такой разговорчик случается у нас довольно часто.

Итак, надо подойти к Алешке. Об этом с укором говорит теща.

Я подхожу. Он лежит в деревянной со стенками кроватке. Перед его носом раскачивается разноцветный попугай. Он смотрит на него серьезно. Я гляжу на сына. От меня падает на него тень, и он поворачивает ко мне свое лицо. И я вижу его глаза. Может, это глаза Вселенной? Что-то в них есть и реальное и не от мира сего.

— Постой, постой! — я поворачиваю его к свету.— Да постой же! — Я вглядываюсь, но Алешка начинает плакать.

— Господи, ну что ты мучаешь ребенка! — с сердцем говорит теща. Она отталкивает меня, берет на руки Алешку.

А я скорей, скорей к себе, чтобы «схватить» Лешкины глаза. И не замечаю, как летит время, и настроение у меня прекрасное, и какое счастье, что я художник!

Уже вечер. Я валюсь на диван, потому что ушло освещение, и лежу, закинув руки за голову, а в груди такая легкость, так хорошо, что хочется любить всех. И только потому, что кое-что удалось сделать. Да, не так-то уж много надо человеку: чуть-чуть удачной работы. Я вскакиваю, вглядываюсь в то, что намалевал. Да-да, именно, намалевал, а не создал, и уже не радость, не чувство обретенного удовлетворения, а отчаяние охватывает меня, и я готов все порвать и проклясть.

Таким меня застает Зойка.

В комнате темно. Зойка включает свет, и я вижу в ее глазах тревогу.

— Как ты накурил...

Зойка садится рядом, обнимает.

— Ты молодец, сходил за лекарством. Мама довольна тобой,— голосом полным фальши и любви говорит она. (В свое время она занималась в школе в драмкружке и, когда захочет, может быть искренней в фальши.) Но все же любви больше, и я потихоньку начинаю оттаивать, хотя не очень-то понимаю, за что и зачем нужно меня хвалить. И тут же первый удар в самое больное место: — Ну, как тебе поработалось?

Я молчу.

— Ты чем-то недоволен?— Второй удар.

Ну что ответить, что сказать, когда вход строго воспрещен даже близким?

— Ничего, все хорошо будет. Только побольше уве-

ренности. Знаешь, как это важно, когда веришь в себя?

Вот как, она уже решила, что я не верю в себя. Конечно, можно, наверно, и к такому выводу прийти, если я ничего не пишу, да еще хандрю.

— Да! Сегодня встретила одну твою знакомую. Риту.

— Откуда ты ее знаешь?

— Она пришла в библиотеку. Попросила почитать что-нибудь про художников. Ну и разговорились... Она в восторге от Глеба. Они собираются на юг. Он весь в работе...

— Он всегда отличался беспринципностью.

— При чем здесь беспринципность?

— Черта характера.

— Не надо быть таким злым.— Зойка улыбается.

— Да. Ни к чему. Ну как работала?

— Все требуют новинок, а их не так-то много. Да и то, что есть, далеко не всем нравится.

— Естественно, даже классики не все и не всем...

За окном уже совсем темно. В верхней фрамуге плывет луна. Обычно в городе ее не замечают, но из нашего окна видно чистое небо, как в обсерватории, только не хватает квантового телескопа. Вот и еще один день прошел. Мимо? Да нет... Какая-то польза, наверно, была. Все же интересно, большие мастера так же мучительно ищут или им главное сразу становится ясным и работа идет только на уточнение? Мне же пока ничего не ясно. Хуже того, когда начинаю думать об этих проклятых скоростях, то они, как кометы, мелькают в сознании, перечеркивая одна другую... Но какого лешего я к ним привязался! Нет-нет, все, что угодно, только не формальное решение. Всего проще набросать красные и зеленые линии на черном, закрывающие сеткой земной шар. Но почему красные и зеленые? Разве не точнее ослепительно-белые на аспидно-черном? А люди? Их лица, их устремленные куда-то тела. Впрочем, когда задумывался «Ночной вокзал», я так же искал и мучился, пока нашел. И все же там было проще.

Там я пытался выразить движение людских масс. В наше время как никогда развита миграция. Все куда-то едут, куда-то спешат. Все движется. Все в движении. И этот процесс необратим. Так же как устремление многоступенчатой ракеты. Отпадает одна ступень, но движение не останавливается. И ничто не может его

остановить. Таков век. И вот «Ночной вокзал». В глубине зала свеча в фонаре из какого-то старого вагона. А в центре, в окне, ослепительный круг света.

Он, конечно, подавляет свет свечи, но и от нее падает свой отсвет, и создается как бы во времени глубина пространства. И там в зале люди — счастливые и скорбные, полные надежд и угасших мечтаний, отважные и усталые, старые, молодые. Ничего формалистического я не хотел. Это был поиск. Что ж, как всякий поиск, он нес в себе что-то новое. И как всегда, в новом есть что-то незнакомое. И незнакомое насторожило. Не всех, но коекого. И эти «кое-кто» насторожили других, и картину на выставку не взяли. И в глазах тестя я стал бездельником. И «Ночной вокзал» стоит между стеной и шкафом. И в стену день и ночь смотрят мои счастливые и скорбные, полные надежд и угасших мечтаний, отважные и усталые, старые и молодые.

А вот теперь, будто мне мало урока «Ночного вокзала»,— «Пересекающиеся скорости». Иногда я думаю: зачем мне все это нужно? Не проще ли на самом деле жить, как живет Глебушка? Он хватает все, что ему предлагают, и сам тянет руку, чтобы урвать.

— Значит, он едет на юг?

— Да...

— Ты бы тоже хотела?

— Нет, не очень...

— Я тебе даже не могу обещать...

— И не надо... Мне и так хорошо.— Она целует меня, заглядывает мне в глаза, будто хочет что-то увидеть там, объясняющее меня. Так делают только очень любящие. У нее широко открытые глаза, и в них... Нет, не Алешкины, другие, но тоже близкие к тем, которые могли бы как символ стать глазами Вселенной. Глаза Матери! Глаза женщины! Глаза любимой. Любящей!.. Еще, еще повернись, вот так. Так! Сиди так! И я хватаю кисти, краски. Нет, нет, мне даже не глаза ее нужны, а их выражение. Так... так... еще немного.

— Не торопись. Мне даже приятно вот так посидеть... Знаешь, сегодня шла домой и увидала проносящиеся огни автомашин. Множество. Туда, сюда. И вспомнила, как ты назвал свою будущую картину. Действительно, пересекающиеся скорости... До этого я не видела таким наш город.

— Значит, мне что-то удалось сделать, хотя это совсем еще не то. Это скорее урбанистическое восприятие.

— А быть урбанистом плохо?

— Почему же, плохого тут нет. Но урбанисты уже были. Если кому я завидую, то грекам.

— Почему грекам?

— Великие были мастера. Даже образ богов создали.

— Ты бы хотел быть таким?

— По силе, конечно. Но они тоже были. Сделали свое. Каждый настоящий делает свое и уходит.

— Оставляя после себя учеников, из которых потом вырастают учителя?

— Нет, из учеников могут быть только последователи. Это ведь не учительский институт, а искусство.

То, что мы разговариваем, мне совершенно не мешает. Разговор для меня идет как бы вторым планом, не закрывая главного. Он схож с верховым ветром, который не касается земли.

— Великие оставляют то, что потом входит в мировую сокровищницу. Это удел редчайших...

— Ты тоже будешь таким.

— Да, для тебя я уже великий? Не так ли?

— Я в тебя верю.

— Так-так, постой! Какое у тебя сейчас было выражение в глазах!

— Какое?

— Такое же, когда мы с тобой первый раз поцеловались.

— Ты тогда был способен замечать выражение моих глаз?

— Это мой недостаток. Я никак не могу отдаться целиком чувству. Все вижу и слышу.

— Это ужасно.

— Да... Я и сам другой раз жалею, что я такой. Наверно, прекрасное состояние, когда чувство всецело поглощает тебя, а?

— Мне хорошо... Я не думаю об этом, не сознаю...

— Вот-вот... Ну, еще немного, и все.

— ...Знаешь, сегодня взяла на руки Алешку, а у него все ножки в перевязках, пухлые, розовые.

— Леонардо да Винчи.

— При чем тут он, это просто наш Алешка,— засмеялась Зойка.

— А при том, что этот могучий старик и нашего Алешку увидел через века. Постой, постой...

Но тут открылась дверь, и вошел, нет, не Леонардо да Винчи, а мой тесть. Седой, с толстым, расплывшимся носом. Он вошел и сразу же взорвался.

— Да что же это такое делается?

— Что?— испуганно спросила Зойка и съежилась.

— Второй час ночи, а ты ему позируешь!

— Ну и что? Я не устала.

— Я знаю, как ты не устала. Вот он не устал!

И началась одна из тех обычных сцен, рожденных совместной жизнью, когда некуда деться, когда все переплетено родственными узами.

— Он художник! У него мало времени! — безо всякой логики защищала меня Зойка.

— Значит, он должен сидеть на моей шее?

— Но ведь я же работаю!

— Твоего заработка только на Алешку хватает!

— Мы будем отдельно питаться.

— Дура! Разве в этом дело? Нельзя, чтоб человек нигде не работал! За тунеядство судят!

— Он работает. Вот смотри, это его этюды... вот эскизы... Потом из них будет картина...

— Ну и что? Чего ты суешь мне,— отталкивая ее руки с моими эскизами, кричит тесть.— Проку-то что, я спрашиваю. Проку?

— Он напишет картину. Ее примут на выставку. Купят. И если тебе нужны деньги, он отдаст их тебе. Отдаст!

(Примут? Купят? Нет, Зойка. Если даже и примут на выставку,— а мне ее еще написать надо. СОЗДАТЬ! — то это совсем еще не значит, что ее купят.)

— Ни черта у него не будет денег!

Я перебираю кисти, вытираю их. Молчу. Может, тесть и поутих бы, если бы я был покладистее. Да и то навряд ли. Уж очень мы разные.

— Сколько ждать? Сколько?— гремит тесть.— А он молчит! Молчит!

Открывается дверь, и появляется теща.

— Ну чего вы тут опять? (Вы?) Даже ночью покоя нет. Алешку-то разбудите. А тебе, отец, так даже стыдно должно быть.

— Это почему же мне стыдно? Что же, я слово не могу сказать! И главное, молчит. Будто я никто для него.

— Ну, а чего ему говорить-то? Вот купят картину... Ничего ведь не знаем...

— Ты не знаешь, а я все знаю!

— Знал бы, так не корил. Настоящие-то художники все дома сидят. И он сидит.

— На шее!

— Ну, поехал...

Тесть остро взглянул на нее.

— Да ты, я вижу, двурушница! А чего мне сама утром говорила?— наступает он на нее.

— Да чего ты на меня кричишь-то? — неожиданно начинает плакать теща.— Работаю, работаю, и стираю, и обед готовлю, и с ребенком, и все не упакать. А у меня голова болит, давление... сна нет...— и плачущая уходит.

— Во, слова не скажи. Обидчивы больно. А я что, я только добра желаю,— уже незлобиво говорит отец.

— Тяжелое у тебя добро, папа.

— А чего я сказал обидного? Тебя пожалел. Чего худого тут?

— Боже мой, ну когда же этому будет конец!— плачет Зойка.— Ну как тебе объяснить, чтобы ты понял...

— Во дожил, перестал уж понимать. В дурака превратили,— несколько теряясь, но еще не сдаваясь, говорит тесть.

— Ну зачем так говорить, зачем?— трясется Зойка.

Но он не слушает ее, бормочет свое.

— Да-да, а дурак ничего, дурак работает, тридцать лет на одном месте. Его уважают, а умник ни черта не делает, и его еще жалеют. И еще слова не скажи... Как же, я ничего не понимаю. Ты думаешь, я лекций по вашему искусству не слушал?

Наконец он ушел. Я долго молчал, не зная, что сказать, что думать...

Когда напишу картину? Напишу ли? Но теперь уже я весь в думах о ней, и каждая потерянная минута раздражает меня. Я ни о чем не могу думать, только о ней, о ней. И поэтому каждый шорох настораживает, каждый возглас мешает сосредоточиться, и я уже готов ходить на

цыпочках, чтобы только не привлекать к себе внимание, хотя бы тещи. Мне даже хочется исчезнуть. Меня нет, нет! А самому затаиться и тихо, совсем незаметно для всех работать, работать, работать... Но нет, ничего не получается. Вчерашний скандал не вылезает из головы. Надо уйти, где-то побыть одному, отвлечься. Затеряться среди людей. И я стремительно спускаюсь по лестнице, выбегаю во двор, и вот уже шагаю по улице. Все дальше, дальше от дома. Иду через Неву по мосту адмирала Ушакова. Ветер с залива. Он рвет кепку, ерошит воду. И освежает. Я подставляю ему лицо, глубоко вдыхаю морскую прохладу, и уже спокойно в груди и раздражение уступает место жизнелюбию, тут невольно я вспоминаю Ливанова, нашу последнюю с ним встречу и незаконченный разговор.

Он живет далеко от меня в Свечном переулке, в старом питерском доме, занимая в коммунальной квартире узкую комнату. В ней мало света, никогда не бывает солнца, но он умудряется в ней работать. Живет один, замкнуто. По ночам кочегарит, днем пишет. Он никому и ничему не обязан. Сам по себе.

Высокий, сутулый, с волосами по плечам, похожий на царевича Алексея по картине Ге, он сразу же накинулся на меня, как голодный окунь на червя.

— Это хорошо, что ты пришел, хорошо! — Ливанов махнул рукой на мольберт.— Смотри! — Там стояла картина.

Я посмотрел и увидел перспективу Невского проспекта и крупным планом двух хиппи — мальчишку и девчонку. Он в телячьей шкуре, обросший, и она в какой-то рванине. И за ними людской поток. И багрово-красный закат.

Да, уж такой Ливанов. Все уродливое в нашей жизни тревожит его. И это хорошо, художник не может быть равнодушным. Но только у Ливанова каждое отрицательное явление гипертрофируется. Он увидал на Невском двух хиппи, и отсюда набатно-багровый закат. Опасность! И это значит, опять предстоит спор, и он будет метаться по комнате и доказывать свою правоту и обвинять меня в слепоте, а я буду убеждать его в своем и вряд ли сумею убедить. Уж он таков...

А картина написана крепко. Он настоящий живописец. И все же, все же...

— Правда факта еще не значит правда жизни,— говорю я ему.

На что он тут же бросает:

— Жизнь состоит из фактов.

— Верно, но каких больше?

— Сначала разумных людей тоже было мало, но век от века становилось все больше и больше.

— Разумных? Но не хиппи. Или ты за регресс?

Он подходит ко мне и нависает, как скала.

— Почему они появились у нас? Ты задумывался над этим? Почему они к нам проникли, эти бациллы?

— Глупое подражание, не подкрепленное никакими социальными мотивами. Были стиляги, появились хиппи. В семье не без урода.

О, как он взорвался! Как заметался по комнате, а в ней и повернуться-то негде, так тесно. Картины, свернутые в рулоны, стоят в углу, подрамники вдоль стен, мольберт, холсты, на полках книги с репродукциями, кисти, краски, стол, заваленный всякой всячиной, кушетка.

— Эпидемия гриппа начинается с одного человека!

— Совершенно неправомерное сравнение. Эти вирусы не страшны для нашей молодежи.

— Ты недооцениваешь, не понимаешь всей опасности. Сознание еще не бьет тревогу.

— Для меня эти типы больше противны, чем опасны. И уж никак не могут заслонить собою весь Невский.

— А я боюсь, боюсь за нашу молодежь и кричу во весь голос!

Я гляжу на него, распаленного, взбудораженного и такого нескладного. Ну как ему доказать, что он совершенно не прав? Это у нас уже не первый спор, и всегда он кончается тем, что мы расходимся, не убедив друг друга. А ведь этого могло бы и не быть. Он хороший живописец. А что, если бы он взялся за Глебушкиных сталеваров. Может, могла бы получиться значительная работа. Он силен в рисунке, в композиции, но это не в его художнической натуре, и если бы даже он взялся, то вряд ли бы получилось путное. А вот в эти хиппи он вкладывает всего себя, и при всем отрицании содержания, я не могу отрицать мастерство. И тем эстетически ошибочнее эта работа... Да, он уж такой, этот Ливанов. Так устро-

ен, и ничего с ним не поделать. И мне искренне жаль его.

— Ты, как всегда, преувеличиваешь. Я лично в этой парочке не вижу никакой опасности. Для них нет перспективы. Почва не та. Не та эстетика.

— Эстетика? Мы мало занимаемся ею. Вот в чем причина! Вот почему они проникают к нам.

Он остановился передо мной, длинный, нескладный, и поглядел на меня так, будто я повинен в хиппи.

— А ты, ты витаешь в своих заоблачных сферах, оторвался от земли и не видишь или не желаешь видеть,— что, собственно, все равно,— знать, что тут творится... В чем задача искусства?

— Ну только не в хиппи!

— Почему? Они определенная деталь нашего времени. И если я написал Невский с этими двумя,— он махнул на картину,— то прежде всего потому, что такая картина современна. Это тысяча девятьсот семьдесят третий год! Год появления у нас хиппи!

— Ты не столько документируешь, сколько искажаешь. Лет через сто вытащат такую картину и что же увидят? Этих двоих вместо настоящей молодежи, и думаешь, поверят тебе? Наоборот. К тому времени будут совершенно очевидны итоги движения и развития нашего общества. Новые ГРЭСы, новые города, умнейшие машины, покорение космоса, да неужели же ты не понимаешь, что это все бред твои хиппи, что только на полотне они могут заслонить настоящих ребят, а не в жизни.

— Газета, информация, и не больше! А я тебе говорил и утверждаю, что всякое отрицательное явление в нашей жизни несет в себе социальный заряд... Не понимаю, как можно спокойно глядеть и проходить мимо пьяного, валяющегося на земле. Погляди, как пьют! Что это? Почему? Ты задумывался?

И он опять начинает метаться и убеждать меня в своем, но я не хочу спорить с ним, теперь уже о пьянстве. С пьянством борется общественность, боролось и борется искусство.

— Но неужели тебя только эти темы волнуют?— не выдерживаю я.

— В первую очередь они! Чтобы и общество и человек были прекрасны!

Цель одна, но какие разные средства.

Искусство! Веками тысячи и тысячи одаренных людей создают его. Бескорыстно. Отказываясь от многих житейских благ, доступных простым людям. И только единицы получают всеобщее признание, в то время как остальные со временем исчезают бесследно. И все же это не мешает все новым и новым пробовать свои силы и верить в победу. И быть всегда убежденным в своей правоте. И ни на что никто из них не променяет то состояние, которое охватывает у мольберта, тот запал неудержимой страсти, который заставляет забыть все на свете, тот гнев, когда не соглашаются с ним, и ту раскованность, щедрую радость, когда хоть что-то удается, и сознание того, что Он, только Он, единственный и есть, который Сам По Себе, и что Он несет новое искусству, и что если его еще не оценили, то лишь потому, что не смогли понять то, что Он создал. Хвала тебе, истинный художник! И пусть никогда не омрачит твою душу разочарование в своем высоком призвании и никогда не покинет надежда!

Чтобы прекратить разговор,— но это совсем не значит закончить спор,— раздельно произношу то, во что безоговорочно верил, верю и буду верить:

— Правда факта — это еще не правда жизни, и тем более не правда искусства!

Сегодня воскресенье. В квартире много шума, суеты. И если в обычные дни Алешка сидит с тещей, то сегодня он ползет в нашу комнату, потому что здесь Зойка. Он тянет к ней руки, а она должна позировать.

— Мама! — зовет тещу Зойка. И когда та приходит, говорит: — Возьми Алешу.

— Чего уж он помешал вам,— ворчит теща.— Не каждый день видит тебя, могла бы и взять.

— Но ты же видишь...

— Вижу, вижу.

Она уносит Алешку, а через пять минут он снова ползет к нам и скребется в дверь. Плачет.

И опять идет теща. Берет его на руки, но прежде чем уйти, говорит:

— Там пришли к тебе, Николай. Выйди.

Кто может ко мне прийти? Кто это без меня не может жить?

В прихожей стоял пожилой, примерно пенсионного

возраста, тщательно выбритый дядька в элегантном демисезонном пальто, в шляпе с тирольским перышком.

— Вы Николай Арефьев?— сказал он.

— Я.

— Очень рад, что застал вас дома.

— А он всегда дома,— вставил тесть, начищая до блеска ботинки.

— Разрешите пройти,— сказал гость, не обращая на тестя внимания.

— Пожалуйста,— не понимая, чего ему от меня надо, сказал я и провел в свою комнату.

— Так-так, значит, вы здесь и живете и работаете,— оглядывая стены и всю незатейливую обстановку, сказал гость.— Тесновато, впрочем, ничего удивительного нет. Большинство выдающихся художников начинали вот с такой комнаты.

— Извините,— сказал я,— а собственно, вы по какому делу?

— Да вот интересуюсь работами некоторых художников. Далеко не всех. Именно некоторых. Поэтому и зашел к вам.

— Вы меня знаете?

— Слышал...

Я удивленно глядел на него.

— Пришел посмотреть ваш «Ночной вокзал».

— Вы о нем слышали?

— Иначе как бы? Покажите, и, если вещь стоящая, я куплю ее.

— Вы что, меценат?

— Да,— совершенно серьезно ответил он.

— В наше время? — все с большим удивлением глядя на него, сказал я.

— Как видите.

— Может, вы из За...

Он рассмеялся баритональным смешком.

— Нет-нет, такой же, как вы, советский.

— Но я что-то не слыхал, чтобы у нас были меценаты. Садитесь...

— Благодарю. Почему же, мне известны имена некоторых наших академиков. Правда, я не могу похвастать такой обеспеченностью, как они, но тоже собираю галерею.

— Это что же, вроде «хобби»?

— Как вам угодно. Но у меня совершенно серьезные намерения. Если вас не затруднит, покажите ваши работы.

— Что делать?— спросил я Зойку. Мне стало как-то неловко, будто попросили раздеться догола.

— Может быть, один «Ночной вокзал»,— сказала она.

— Нет-нет, если можно, то и другое наиболее интересное.

— Ну, что ж, покажи.

Я достал холсты, вытащил из угла несколько картин на подрамник. Пускай смотрит.

Меценат смотрел.

— Ну что ж, уже хорошо, что есть поиск,— сказал он,— то, что делают сегодня многие художники, меня очень огорчает. Копиизм, фотографичность... Неужели они не могут понять: все, что доступно аппарату, не является искусством... А вот это крепко у вас скомпоновано, и хорошо, что лишено мелких подробностей... А вот здесь вы не совсем свободны от влияния. Раннее?

— Да,— ответил я, убирая «раннее».

— Это удачно, в какой скупой цветовой гамме выполнено! Нет, вы молодец, определенно молодец! — не скрывая своего восхищения, сказал он, глядя на меня.— Поздравляю! Поздравляю!

Он отходил, склонялся, ставил картины в лучшее освещение и все больше нахваливал меня, и я уже не знал, что и думать.

— А вот тут вы все же не ушли от формализма. Ну к чему эти протянутые из тьмы руки?

— А вам хотелось бы всего человека? А зачем? Писатели давно отказались от перечислительного описания. Они дают только самое характерное, скажем, те же руки, а вы уже видите всего человека.

— Возможно, вы и правы. Но ведь я не в осуждение, и я не из тех, кто за поиском формы видит только формализм. Я за новое во всех его проявлениях. Смею вас заверить, я с вами одних убеждений. А теперь покажите «Ночной вокзал». Кстати, вы член Союза?

— Нет. Это имеет значение?

— Для меня не имеет. Теперь не так уж сложно стать художником. Точнее, быть принятым в Союз художников. Настоящим же художником, конечно, по-прежнему стать трудно. Мне представляется, что в наш век можно на-

учить рисовать каждого. Но это, конечно, не значит, что каждый может стать художником. Вы согласны?

Я достал из-за шкафа «Ночной вокзал». Поставил его к дверям, чтобы весь свет из окна падал на него.

Меценат отошел на нужное расстояние и стал рассматривать. На него глядели мои счастливые и скорбные, полные надежд и угасших мечтаний, отважные и усталые, старые и молодые, освещенные светом прибывшего электровоза, который должен их всех увезти.

— Интересно, очень-очень... И это освещение — слабый отсвет прошлого и мощный поток сегодняшнего света...

Я удивленно глядел на него. Так понять замысел мог только человек, хорошо разбирающийся в живописи, или, или... мне удалось так доходчиво-ясно об этом сказать, что стало понятно каждому. Но тогда почему же не понял выставком?

— И эти люди. Их надежды, ожидание встреч, горечь разлук, преддверие счастья,—рокотал баритон мецената.— Интересно. Очень интересно. Не понимаю, почему выставком не принял вашу картину. Впрочем, возможно, это следствие художественной необразованности. Я знал одного поэта, который совершенно не разбирался в поэзии. Ну, а отсюда и вкусовщина. Не так ли?

— Я рад, что вам понравилась моя работа,— сказал я, испытывая такое же состояние, какое должен был бы испытывать неудачник, которому выпал золотой выигрыш — и верил и не верил удаче.

— Не то слово, молодой человек. Что значит «понравилась»? Я вижу другое — большого самобытного художника, с глубоким собственным взглядом на жизнь.

— Зойка, ты слышишь? — не в силе сдерживать один навалившуюся на меня радость, сказал я и почувствовал, как улыбка раздвигает мой рот до ушей!

— Да... я очень рада,— ответила она тихо и подошла ко мне.

— Итак, я готов купить у вас эту картину,— сказал меценат.— К сожалению, могу предложить только пятьсот рублей.

Пятьсот рублей!

Это было какое-то чудо, когда он отсчитал эти деньги.

— Проверьте,— сказал он мне.

— Ну что вы...

— Нет-нет, денежки счет любят.

Я пересчитал двадцать бумажек по двадцать пять рублей — вышло пятьсот!

— Все правильно! — сказал я.

— Ну и чудесно. Если можно, упакуйте.

Я достал веревку, старые газеты и упаковал свой «Ночной вокзал». Был момент, когда мне стало жаль расставаться с ним. Но уж такова судьба всех художников.

Меценат приподнял шляпу с тирольским перышком и ушел. А я стоял и держал пачку денег. Глядел на них и, наверно, глупо улыбался.

— Ну видишь, как хорошо,— подошла ко мне Зойка и прижалась щекой к моей щеке.— Теперь ты можешь спокойно работать. Никто не будет тебя упрекать...

— Да...

Вошла теща.

— Чего это он унес?— спросила она.

— «Ночной вокзал». Купил у Коли,— ответила Зойка.

— Ну?! — недоверчиво поглядела на меня теща.

— Вот деньги. На! — я протянул их теще.— Тут пятьсот рублей. Ровно пятьсот! — ликуя сказал я. Сказал громко, как победитель. Но как победитель ожесточенный, может, потому, что наконец-то, пусть хоть и в таком странном виде, но пришло признание и появились деньги, и теперь уже не будут меня донимать и унижать. Да, по крайней мере, хоть на какое-то время оставят в покое, и я смогу ни о чем не думать, как только о работе.

— Отец! — закричала теща.— Отец!

Я стоял по-прежнему с деньгами в руке, когда явился тесть.

— Вот, отец, смотри, пятьсот рублей ему дали за картину. Я говорила тебе, говорила... — И теща, моя добрая теща, заплакала от радости за меня.

— Ну уж сразу и упреки... — протягивая мне руку, сказал тесть.— Ну поздравляю, поздравляю... А кто ж это купил?

— Меценат,— ответил я.

— Кто это? Не слышал про такого.

— Ну, человек, скупающий картины.

— Для музея или еще куда?

— Да нет, для себя.

— Скажи на милость! Кто ж это таков? И как это для себя?

И только тут мне пришло в голову, что я даже не спросил не только его адреса, но даже и фамилии. Тут вмешалась Зойка.

— Ну какая тебе разница, кто он, что он, важно, что купил. Радоваться надо!— сказала она.

— А я... я радуюсь. Только я думал, может, он для какой организации приобрел. А если для себя, то...

Но его уже никто не слушал. Может, впервые не слушали. Ликовали! Я обнимал тещу и Зойку, они обнимали меня, целовали. Нам было хорошо.

Такое событие решено было отметить в ресторане. На этом настояла Зойка. Ни тесть, ни тем более теща не возражали. Только уже перед самым уходом тесть сказал:

— Ну вот видишь, заработал, и настроение пошло на подъем. Не зря я твержу — своя копейка — великое дело! А как мать-то обрадовалась. Ты не думай, твои деньги нам не нужны. Но сам пойми, хочется, чтоб все было как следует в твоей семье. А то вот на днях спрашивают меня...

Но мы не стали дожидаться, о чем его спрашивали,— держась за руки, выбежали из дому.

— Слушай,— сказал я Зойке,— если уж отмечать это дело, то давай будем щедрыми. Давай прихватим Ливанова. Один сидит, понимаешь... Пусть и он немного встряхнется.

— Но это ж далеко,— неуверенно сказала Зойка.

— А, гулять, так гулять. Возьмем такси.

У Выборгской гостиницы мы взяли такси и помчались к Ливанову, сквозь вечерние огни, по прямым «першпективам».

Как и предполагалось, Ливанов был дома.

— Давай скорей, внизу такси,— сказал я ему.— Едем в ресторан.

Он взметнул длинную бровь:

— Что случилось?

— Продал «Ночной вокзал».

— А, тогда есть смысл.

Он оделся, и мы двинулись к Невскому.

— Подробно историю,— сказал Ливанов, внимательно рассматривая меня.

Я понял его и рассказал все, как было.

— Неоромантический сюжет,— усмехнулся он.— Значит, чудаки еще не перевелись. Ну, что ж, я рад за тебя. Тем более что таких, как твой меценат, единицы. А единицы в таком деле, как живопись, видимо, крепко разбираются. Ведь не миллионер же он, чтобы швырять пятьсот рублей за всяко просто. Вас не спрашиваю,— обратился он к Зойке,— полагаю, вы на седьмом небе?

— Только там,— ответила Зойка и прижалась ко мне.

Подымались мы по мраморной лестнице величественно.

Человек в черном фраке с белой грудью, как пингвин, учтиво встретил нас и проводил к свободному столику.

Мы сели, и тут же к нам подошел официант и предложил нам карточку, и выпрямился, ожидая, что мы закажем.

Мы заказали. И он ушел. А мы стали слушать доносившуюся из другого зала музыку.

— Пойдем,— сказал я Зойке.

Она томно поднялась, положила мне на плечо руку, и мы, покачиваясь в такт музыке, пошли от столика.

— Ты рад?— спросила Зойка.

— Да...

И больше мы ни слова не сказали. Плыли в прекрасную страну, имя которой Грезы Наверно, вот такие минуты и называют счастьем.

Потом с Зойкой танцевал Ливанов, а я сидел и смотрел по сторонам,— и неожиданно увидел мецената. Он направлялся не совсем уверенной походкой, видимо, к своему столику, заставленному вином и закуской.

Я быстро вскочил и подошел к нему:

— Добрый вечер!

— О, мой талантливый друг!— всматриваясь в меня и щедро улыбаясь, воскликнул меценат.— Садитесь, прошу, за мой стол.

— Как я рад вас видеть!

— Взаимно, взаимно... А мне что-то стало одиноко, и я пришел сюда...

— Простите, ваше имя, отчество? Я тогда был так растерян, что даже как следует не познакомился с вами.

— Меня зовут Евгений Аркадьевич.— Он налил конь-

як в свободную рюмку, подвинул ее мне и поднял свою.— Разрешите поднять тост за ваши несомненные успехи. За ваш талант!

Мы выпили.

— В одной картине вы отметили не определенное мною влияния. Вы правильно сказали. Тогда я немного шел от Сальватора Дали. Помните у него...

— Мой друг, я ничего не хочу говорить о Сальваторе Дали. Я хочу говорить о том, как замечательно, когда рядом с человеком есть другой человек, добрый, любящий, способный на самопожертвование. Должен вам сказать, из меня мог бы получиться большой актер, если бы в трудную минуту был рядом со мной вот такой человек. Только хотя бы был, пусть бы даже не помогал, но он бросил меня, и все полетело прахом. А вам повезло, ваша жена — изумительной, редчайшей души человек!

— Откуда вы это знаете?— удивленно спросил я.

— Знаю. Когда-то в школе, где она училась, я вел драматический кружок. И она участвовала в нем. И вот недавно она ко мне пришла. Правда, особенных способностей у нее тогда не обнаружилось, но как выяснилось теперь, у нее есть другое, не менее ценное — верность в любви! И вы должны ее боготворить! — Неожиданно он отстранился и вдруг с пафосом сказал, словно продекламировал: — Я видел твои глаза! Из погасших они становились живыми!

— Это, наверно, когда вы говорили о «Ночном вокзале»,— попробовал я как-то организовать разговор.

— Не важно о чем я говорил. Важно другое, как актер я сыграл гениально! И этим буду гордиться всю жизнь! Всю жизнь!

Я совершенно ничего не понимал.

— Вы сегодня купили у меня картину...

— Да-да, купил, но она ваша!

К нам подошел официант и положил перед меценатом счет. Евгений Аркадьевич рассчитался.

— Я что-то не очень понимаю вас,— сказал я.

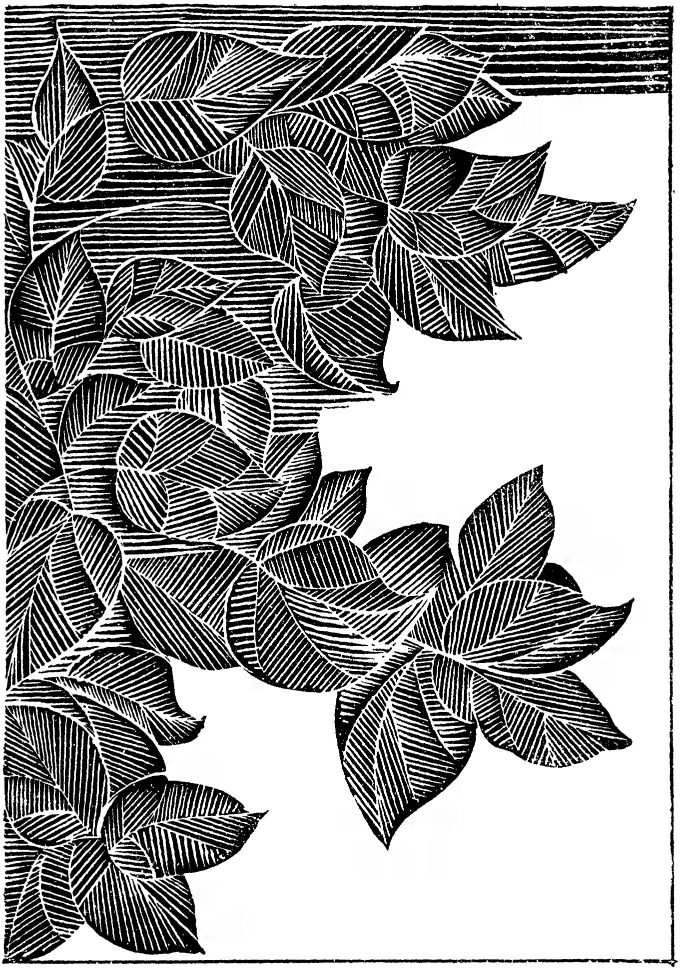
— А зачем вам понимать меня? Вы должны понять только одно: Зоя — это ваше безотлучное счастье! Ах, будь у меня тогда такой друг, и я стал бы величайшим актером... Впрочем, может, и для меня еще не все потеряно. Ведь если я,— он приблизил ко мне свои глаза —

они были налиты тяжелой водой, плоские как стекла,— если я так сыграл мецената, что даже ты поверил, значит, я могу! Значит, еще не опущен занавес!

— Так вы что, не меценат?— вглядываясь в его отяжелевшее лицо, спросил я.

— Нет, друг мой, нет. Я — актер! И я докажу, что я не погиб! Я есть! А ты теперь можешь спокойно работать. Счет на спокойствие оплачен твоей женой. Целуй и береги ее... А картина твоя талантлива! Я ухожу! Аплодисментов не надо!

Он ушел, а я вернулся к своему столику. Там вовсю хлопотал официант. Я сел и стал ждать своих.



Рассказы

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Нет, мне еще ничего, у меня дети. Бывает, наезжают, не забывают и письмами. Другие старики совсем забытые, а я еще ничего. Правда, и мне бывает невесело. Куда бы лучше жить с детьми. Когда был жив отец, не говорю уже о деде, все тянули в дом, старались жить одной семьей. Теперь по-иному. Теперь детки подальше от родительского дома норовят. И ничего не поделать, ничем не остановить. «Необратимый процесс»,— сказал мне председатель наш, когда я ему вот так пожаловался.

И верно — необратимый. Приезжают, ходят по двору, по саду, глядят, а у самих глаза без интереса. Ровно чужое все в дому. Не нужен он им. Только ради меня и наезжают. А я-то, старый дурак, все думаю: вдруг кто из них навсегда вернется. Стараюсь, чтобы дом был в порядке. Тут вот крышу перекрыл, покрасил крылечко. Слава богу, еще не жалуюсь на немощь, без очков обхожусь, хоть вдаль, хоть вблизь. За всем уследить могу. Стараюсь, да только напрасно: не вернутся. Не нужен им дом...

Неужто, думаю, так плохо у нас, что навсегда уходят детушки? При желании ведь всем можно обзавестись. Вон наши деревенские и мотоциклы с колясками имеют, и телевизоры, и моторки, и чего другое — да все можно приобрести! Не хуже, а получше живут многих городских. Так почему же уходят? Говорят, культуры у нас мало. Да нет, хватает ее, и клуб есть, и кино показывают чуть не каждый день новое. И библиотека. Не в том суть. Работа тяжелая. Полегче занятие ищут. И то сказать, телевизоры тоже сыграли свою роль — нагляделись наши девчата, как городские в белых колпачках да халатах на заводах работают, и самим захотелось. Не хуже, мол, их. И всякими правдами-неправдами из колхоза уматывают. Ну, парни — дело давнее, известное: как в армию, так назад и пути нету...

В этом году лето выдалось на удивление хорошее. Сенокос, что редко случается, прошел в вёдро. Наготовили кормов куда там, хоть продавай. Так что свою Буренку

обеспечили крепко. Можно бы, конечно, и отказаться от нее — двоим много ли надо, но тогда уж вовсе затихнет дом. И заботы не станет. А без заботы — человек что сухое дерево...

Давно я не раздумывался, как сейчас. Спокойнее, когда не думаешь. Живешь, чего-то делаешь, а в голове тихо. И сон крепкий. А тут прошел по деревне, и хоть знал, а как-то вновь поглядел и на сердце тоскливо стало: больше половины пустых домов. Кто умер, и дом заколоченный стынет; кто уехал, и дом обрастает лопухом да крапивой. А и те, кто остался,— не веселят сердце. Мало семей, где мужики нестарые,— это которые вернулись с войны молодыми и поженились,— а остальные старухи да старики.

Правда, деревенька наша невелика. Всего домов тридцать. Тихая. Конечно, сказывается на ней и то, что в стороне она от шоссейки и от центральной усадьбы в трех километрах. На отшибе. И все же жалко, если совсем она заглохнет. Жила себе, жила — и вдруг пропадет, будто ее никогда и не было. А к тому идет. Колодец у нас завалился. Пошел я к председателю, так, мол, и так, надо бы новый. «Ничего, ответил, и из одного будете брать. Много ли вас народу-то». Так что из этого можно заключить: отживает свое наша деревня. Да, стояла-стояла, жила-жила — и будто никогда и не было.

Тут на днях приехал один на «Волге», интересовался, не продается ли у кого дом. Почему не продается? Продается. Как увидишь заколоченные досками окна, так и покупай. Купил. Смех сказать, за сто рублей, со всеми пристройками. Считай, задарма взял. А и так будет стоять, гнить, какая польза. Вывез его, и теперь на том месте пусто, как дыра во рту, когда зуб вырвешь...

«Что ж это, дорогой мой сын,— писал я своему старшему,— или все мои надежды, выходит, напрасны? Кому же после меня дом достанется, сад, где каждое дерево с любовью взрощено? Неужели все прахом пойдет? Так-таки и кончится в запустении? Для чего же тогда все мои труды, старания? Для чего мы с матерью себя не жалели? Из-за чего она раньше времени в землю ушла? Приду на могилу к ней, что скажу? Нечего сказать мне отрадного. Пусто гнездо... А рядом с ее могилой могилы всех наших сродственников: прадедов, дедов, отцов. Тут они все вместе, а дети ихние поразбрелись кто куда. За-

росло наше кладбище так густо, что крестов не видать, солнцу не пробиться. И никто не приедет, не обиходит могилки... И вспоминаю я, как они, дети мои, малыми были, как на полу возле наших ног играли, а мы с матерью любовались ими. И как тревожились, когда болели они, и, бывало, ставили перед Николой Чудотворцем свечку, чтоб выжили. А вот теперь и живые, и вроде есть, а вроде и нет...

И вот все думаю, думаю: почему такая жизнь? Многое изменилось так, что только руками разведи. На что уж озеро Чудское велико, а и то стал замечать — меняется оно. Вода уходит. Раньше плескалось, где камни были, а нынче вон как далеко от них. Говорят, плотину где-то поставили, потому и отходит вода от нашего берега. Может, и так. Может, потому и рыбы стало меньше. Помню, когда был малым, мать пошлет с ведром за выброшенной на берег рыбой. Это после каждой бури на песок выбрасывало рыбу. И за час, а то и меньше, полное ведро наберу, да крупной. Свиней мы кормили этой рыбой. Ну, а теперь уже давно нет такого и в помине. Если и выбросит, то ерша. Да и на перемет не такая садится, как ране... Меняется море.

Я полагаю, это идет от того, что человеку все больше надо. И в небо поднялся — богову подушку пощупал. Луну с той стороны поглядел. И все мало. Видно, время такое пришло, что человеку все подай. А по мне ничего лучше земли нет. Коли есть своя земля и дом свой есть, то и солнышко свое. И небо. И речка своя. Вот сколь прожил, а ни разу никто не указал мне, что не там иду, что туда, мол, не ходи, там не твое. Все мое! И море мое, бессчетно раз выходил на него с промыслом. И промышлял. Хорошо доставал рыбы. И в лес ходил за зверем. Ягоду тоже бери, грибы бери. Твое это, Николай Алексеевич, твое! Только не ленись. «Не ленись, батюшко,— говорила мне бабушка,— перед ягодкой наклоняйся, а перед человеком не гнись». Не гнулся, потому, наверно, и вырос прямой. Старый уже, а все не согнутый. Да, ни от кого не зависел, все было в своих руках. Не то что ты, средний мой сынок, Сергуня. Ведь я тебя не узнаю. Ершистый был, пока за моим столом сидел. Чуть что, все не по тебе. Мать уж не знала, с какой стороны подступить к тебе. То не так, это — не эдак. А теперь? Куда что девалось. Тише воды ниже травы. Чего ты стал такой, мой

Сергуня? А ты сюда приезжай. Здесь каждый человек на учете. В городе не хватает людей, а здесь тем паче. Здесь уважать тебя будут. Дом большой, всем — и твоим, и мне места хватило бы. Да вот не едешь... А зря, зря, родной ты мой. Не каждый, видно, поперек течения переплывает, кого и снесет...

А и ты хорош, мой младший! Ты-то чего уехал? Неужели наши места хуже твоего Севера? Эва куда, в Якутск укатил. Там, поди-ка, одни морозы всю душу выбьют. Чего тебе там? Поразбрелись, поразъехались. И я-то, дурак, сначала радовался, что не в колхозе будете. Конечно, каждому хочется для своих детей лучшей жизни, а вот теперь понял: не всегда правы родители, что не удерживают в родном доме. Чего я добился? Того, что на старости лет один? Да и в колхозе все теперь по-другому. Механики появились, шоферов одних сколько!..

А тут доченька приехала — с мужем не ужилась. Юбчонка до того коротка, что даже мне, отцу ее родному, глядеть неловко. И волосы на голове жидкие, думал, лезут у нее, а это, оказывается, прическа такая. Раньше, когда от мужа уходили, стыдились глядеть на людей, а наша ничего. Будто даже с победой вернулась. Тоже вот завел разговор, чтоб оставалась жить со мной. Куда там:

— Что вы, папа, чтоб от меня навозом пахло?

— Да каким,— говорю,— навозом? Ты сходи на ферму, погляди, чистота какая...

И слушать не захотела. Только добавила: «Не жизнь здесь у вас, а прозябанье».

Невесело от таких разговоров. И кто виноват в этом, ума не приложу. И как поправить, чтобы не уходили из деревни, не знаю... Да, редко когда прозвенит у нас ребячий голос. А бывало, звенела наша деревня. Парни с гармошкой по улице ходили. Девчата пели. А теперь — тишина. Отживает моя деревня. А я все чего-то стараюсь, работаю, сохраняю, а куда мне все это? В землю с собой не возьму. Соседям бы оставил, да и им ни к чему. У тетки Нюши, у самой домище крепкий, а заколоченный стоит. Зачем ей мое?

Про тетку Нюшу я к тому, что когда умерла моя старуха, а вы все уехали, остался я один. И никто-то из вас не поинтересовался, а как я тут буду. А я ведь чуть было

руки на себя не наложил. До того пусто стало в дому, кот и тот куда-то сбежал. Да еще ветер поднялся, завыл. И электричество, как на грех, погасло. Сижу во тьме, перебираю в голове всякое, и многое встает в памяти. Ведь мы, родители ваши, никогда не говорили вам, как повстречались, как слюбились, про то вы не знаете. А было не хуже, чем у вас. Это вы думаете, что любить умеете, а мы вроде и не понимаем. Не так было. И у нас была молодость, и любовь тоже. Ну, ладно. Другое тогда меня по сердцу ударило: ваше ко мне отношение, как я теперь буду, без матери, один-то? Сижу в темноте и, на самом деле, думаю, чего я буду, зачем, может, порвать все концы разом? И уж не знаю, как бы оно повернулось, да слышу: стук-стук в окно. Не испугался, понял: человек у окна. Пригляделся — тетка Нюша, соседка.

— Чего тебе?— спрашиваю с крыльца.

— А нехорошо,— говорит,— оставаться одному в доме, откуда вынесли покойницу. Нельзя.

— Чего же делать?

— А либо уходи куда, либо к себе зови человека, а одному никак нельзя...

— Идти,— говорю,— некуда, а человека позвать, так кого, какого?

— Ладно, я побуду,— отвечает. Да так и осталась. И живет рядом со мной. Дом ее заколотили, чтоб луна мышей летучих не завела в нем. А мне повеселей стало. Забота появилась. Поеду на море, перемет ли проверю, сетку ли погляжу и тороплюсь домой: на-ко, Анна, держи!

Просветлеет она, ну, говорит, и умелец! Экую рыбку принес. Надо же!

Так и живем... И все же не покидает меня забота: кому дом? Кому сад? Жалко, если все это будет снесено, а земля перепахана. Не могу смириться, что дом наш родительский, веками ставленный, после смерти моей пропадет начисто, а вы где-то затеряетесь на большой нашей земле. Не могу! И все думаю. И представляется мне место, где была деревня, выровненным полем, и по этому полю несет студный ветер, переметает снег, и ни за что, глядя на эту картину, не подумаешь, что жили тут люди, старались, работали, звенели голоса ребятишек, петухи кукарекали. Была жизнь... Раздумался так-то среди ночи, и стало просто невмоготу. Вышел на крыльцо.

Небо звездное, а на восходе уже алеет. И все как бы в тени лежит. И тишина такая, что слышно, как далеко-далеко стучит движок. Стою, гляжу на этот извечный покой, и вдруг пронзила меня мысль, одна дума. Это все верно, что вместо деревни занесенное поле, но ведь и в деревне зимой не веселее бывает. Как подуют ветры, как занепогодит, так и на улицу не выйдешь. Такие наметет сугробы, так переметет дорогу, что и до большака не добраться. Так что уж тоже не ахти какая веселая картина. И тут мне подумалось о вас, дети мои. Корю вас, а зачем? Чего хочу доброго? Чтобы вы, значит, приехали сюда и жили тут, как я, прожили бы всю свою жизнь? Этого я, что ли, хочу? Да ради чего же такое у меня желание появилось? Ради сада, в котором с десяток яблонь, да огорода, на котором ежегодно картошка да капуста, и боле ничего? Ради этого, что ли, вам сюда приезжать? И такой разлад взял меня, словно кто надвое, как ковригу хлеба, разломал душу. И там вроде правда, что деревню-то жалко, и тут правда. Так где же она? В какой стороне? Или все, что делалось мной и матерью вашей,— все наши хлопоты, старания были только порогом, через который вы переступили, чтобы уйти в другую жизнь? «Необратимый процесс» — может, в этом ответе нашего председателя и есть великая мудрость. Да и зачем оборачивать, к лаптям, что ли, возвращаться? Так что же, значит, и верно, конец моей Ветлужке? Отжила свое, и жалеть нечего. И вся та жалость, которая томит меня, зряшная жалость? И жалею, может, и не деревню, а ту жизнь, что прошла в ней? Так, что ли?..

Долго я стоял и все думал, глядя на то, что сызмальства было знакомым и родным, и грустно мне было, тоскливо, но не было тяжести, когда теряешь что-то дорогое. Может, потому не было, что оставалась земля. Она — главная! Что деревня, что дом — прах! А земля вечна!

И расстилалась она передо мной во всю свою ширь. А звезды уже тускнели, и все больше алело небо, и полетели на поля вороны. Взошло солнце и осветило всю землю своим благодатным теплом. Коснулось меня. И снова подумалось: «Не дом, а земля — главное. А земля не исчезнет. Она и есть наш общий родительский дом. А дети, что ж, дети всегда разлетаются из своих гнезд, как птицы, и земля все равно заселяется ими».

В ТЫЛУ

Марья Нефедова вздохнула и, робея, еще раз попросила маленького шофера:

— Подвези!

Было знойно и тихо. Раздольная, без конца и края, лежала полуденная степь. Шофер посмотрел покрасневшими от бессонницы глазами на Марью и раздраженно сказал:

— Не возьму, и не ной. Нельзя. Если б к фронту...

Накануне Фома, сосед Марьи, вернулся из госпиталя. Размахивая пустым рукавом, он прошел в передний угол.

— Петр твой раненый, Марья, но не шибко,— успокаивающе проговорил он,— попервоначалу-то «антонов огонь» чуть не приключился... значит, руку хотели отнимать, ну, обошлось. Наказал он тебе, Петр-то, навестить его. Однако торопись. Всяко бывает... Могут и в другой госпиталь увезти, а то и на фронт...

Ночью Марья напекла сдобных, ржаной сеянки, лепешек, сварила яиц и, заплакав, обняла старшую, четырнадцатилетнюю дочь Нюшку, у ног которой вертелись близнецы Сашка и Колька и на полу ползала годовалая Настасья.

— Ну, пошла я,— сказала Марья, отдавая дочери последние распоряжения.— Ежели что — к тетке сбегай.

Она присела на край табуретки, помолчала и, быстро поднявшись, направилась к шоссе. Казалось все простым: подойдет машина, попросит Марья шофера и поедет, а через день увидит мужа. Но машины проносились мимо, обдавая Марью пылью, и она опять шла по шоссе. Больше полутораста километров отделяли приволжское село Ольховку от города Камышина, где лежал в госпитале Петр Нефедов.

Наступал уже вечер, а Марья все шла. Небо из пламенно-красного стало желтым, потом посинело и осталось темно-синим на всю ночь. На рассвете усталую Марью посадил в телегу старик-колхозник.

— Далече тебе?— не поворачиваясь, спросил он.

— К мужу,— засыпая, ответила Марья.

— Во! Будто я знаю, далече аль близко ее муж,— проворчал старик,— а впрочем, суть не в этом...

— В госпитале он. Ранетый.

— А-а, значит, повидать надумала. Это хорошо.

Старик говорил о чем-то еще, но Марья уже его не слыхала. Она спала. Когда проснулась, было светло, подвода стояла у раскрытых ворот. На улице перекликались петухи, ревели коровы. Кизячный дым тонкими струями поднимался к небу.

— Спасибо тебе,— сказала Марья старику.

— Было бы за что! — Он метнулся к телеге и вытащил из передка сумку.— На-ко вот, передай. Этакого самосаду, как у меня, во всем свете не сыщешь. С донничком!

И опять Марья пошла. Ее догоняли машины, в кузовах которых сидели и лежали раненые. У них были бледные лица, бинты ярко белели на солнце. Глядя им вслед, Марья тяжело вздыхала.

Сначала идти было легко, бодрило утреннее солнце. Но степь опять наполнилась зноем, и Марья все чаще останавливалась, мечтала о встрече: много нужно рассказать Петру и о своем и о колхозном. Вот хоть и такое дело: осталась незапаханной делянка у Овражья, и надо узнать, пускать ли ее под озимые, или уж не трудиться пока колхозу понапрасну. А немец близко, на Донце. Петр — фронтовик, все знает, да к тому же бригадиром был не один год. Надеялась Марья, что, может, вернутся они вместе. Слыхала, что после госпиталя отпуск дают. «Хоть вздохнули бы... А то все бабы да бабы... Трудно без мужиков».

Был темный вечер, когда Марья добралась до Камышина. Дома с заколоченными окнами казались пустыми, вымершими. Над городом висел прерывистый гул. Марья шла, удивляясь безлюдью улиц, и вдруг в этот тревожный прерывистый гул ворвался какой-то новый, все покрывающий вой. Он нарастал, и Марья, никогда его не слыхавшая, почему-то сразу подумала: «Летит бомба». И только подумала — раздался взрыв. Закричав, Марья упала на землю и лежала долго. Давно затих гул немецкого самолета, появились люди, а Марья все лежала и встала только тогда, когда какая-то женщина, подбежав к ней, громко крикнула: «Носилки!»

После долгих поисков Марья наконец подошла к госпиталю. Он стоял высокий, белый, кругом веяло тишиной. Марья потянула на себя тяжелую дверь. В лицо ей пахнуло лекарствами.

В коридоре, чуть поодаль от входа, сидела молодая

девушка в белом халате. На шум открываемой двери она не оглянулась. Марья остановилась у порога.

Дверь ближней палаты открылась, и два старика в халатах вынесли койку. На ней лежал длинный, прикрытый простыней, неподвижный человек.

— Царствие ему небесное,— прошептала Марья и, вплотную прижавшись к стене, пропустила санитаров.

Девушка встала и, заметив постороннего человека, удивленно посмотрела на нее и нахмурилась.

— Нельзя, нельзя!— сказала она негромко.

— Да мне...— шептала Марья, прикладывая к груди руки.— Мне только узнать. Петра Нефедова, мужа моего... Сколь шла, истомилась... Милая, глазочком бы!

— Нельзя, нельзя! Что вы! Уходите!— встревоженно говорила сестра, косясь на кабинет дежурного врача.

— Да, милая, как же... Вот и Фома говорил, скорей чтоб... Да, на-кось, на... — Марья, достав из мешка лепешки, совала их в руки сестры.— Ништо, ништо, на маслице, вкусные... Петра Нефедова бы мне. Одним бы глазочком, жив ли хоть?

— Не надо, что вы... — отстранила ее сестра.— Я узнаю... Постойте тут.

Вернулась она быстро. Марья не поверила, что так вот, в несколько минут, можно узнать все, зачем она шла так долго.

— Ну вот, сейчас выйдет.

— Выйдет!.. — Марья всхлипнула и улыбнулась впервые за все время, как ушла из дому.— Где же он?— И ахнула.

В открывшейся двери стоял Петр в длинном халате, наголо остриженный, исхудавший.

— Петенька! — приложив мешок к груди, прошептала Марья и, не отрывая взгляда от лица мужа, пошла к нему.— Петр!

Муж обнял ее и, ласково гладя по плечу, растроганно произнес:

— Марьюшка!

Как давно уж он ее так не называл!

Они прошли в конец коридора и сели на белую скамейку с выгнутой спинкой, какие бывают в садах.

Марья, улыбаясь сквозь слезы, смотрела на мужа и, совсем растерявшись от счастья, совала ему в руки лепешки:

— На-кось, на... Твои любимые, рассыпчатые... — и не сводила с него глаз.— Свиделись, хорошо-то как... — Она осторожно взглянула на руку мужа.— Как тебя ранило-то?

— Пустяшное дело, в мякоть. Только грязь попала, а так бы и с блиндажа не ушел.

— А в блиндаже, поди, грязно...

— Земля.

Марья вздохнула.

— Что дома нового?

— Фома пришел...

— Знаю.

— А ты?— и почувствовала, как у нее замерло сердце.

— Чего ж, я... — Он посмотрел на Марью, увидал большие встревоженные глаза и умолк.

С Волги донеслись протяжные гудки.

— Опять тревога... — заметил Петр и посмотрел на окно, где вместо стекла желтел фанерный лист.

— Когда же ты?— не переведя дыхания, спросила Марья.

Гудки разносились все сильнее, все тревожнее.

— Завтра поутру... Да ты не расстраивайся,— вдруг ласково произнес Петр, взял руку Марьи и нежно накрыл ее своей ладонью.— Дело такое... общее... А вот что поспела — это хорошо. Это, прямо сказать, счастье... Ну, как ребята?

— Ждут тебя,— Марья слабо улыбнулась,— Сашка с Колькой только и спорят: кому ружье привезешь. Настасья уже ползает... Нюшка совсем большая, заместо меня осталась.

Потом Марья рассказывала про колхоз: как бабы без мужиков верховодят делами, как было непривычно вначале все решать самим, какой думают нынче снять урожай. И ни словом не обмолвилась, как ей трудно, что порой она сбивается с ног от усталости и ночами не спит от всяких думок. Не сказала она и про делянку у Овражья — и так было ясно: пускать под озимые.

Давно уже затихли гудки, и вдруг послышались частые выстрелы, и с каждой секундой их было все больше.

— Зенитки,— спокойно заметил Петр и добавил:— Заградительный огонь.

Марья прижалась к мужу. Петр, прислушиваясь к

стрельбе, стал нежно гладить ее по плечу и неожиданно удивился: как это он раньше, до войны, не догадывался приласкать Марью. И подумал: вернется с фронта, часто они будут вот так сидеть вместе.

Потом зенитки замолкли. И в ночи опять разнеслись гудки, но это были уже иные, спокойные. Они возвещали отбой воздушной тревоги.

ИВАН КУЛИЧОК

Иван Куличок, демобилизованный по возрасту, приехал домой.

Было морозное уральское утро. Крупные звезды ярко мерцали над черными хребтами гор. Луна, окруженная дымчатым ореолом, стояла над уснувшим поселком.

Куличок дождался, пока скрылся за поворотом красный огонек последнего вагона, и свернул с железнодорожного полотна, на дорогу к леспромхозу.

Когда молодые солдаты мечтали о возвращении домой, о радости свидания с женой, Иван Куличок, слушая их, улыбался, но не говорил ни слова. Встреча с женой не вызывала у него особенной радости. Прелесть возвращения для него была не в этом. Его радовали дом, хозяйство, отдых, переполох, какой поднимется среди соседей, когда он придет домой, шумная застольная встреча, бесконечные расспросы — где бывал, что видал? Но больше всего порадовала бы широкая, быстрая Косьва. Он как наяву видел: лунная ночь, на носу лодки пылает береста, он стоит, сжимая в руке острогу и зорко вглядывается, не покажется ли где спящая в зарослях тины аршинная щука.

Сколько было ругани с женой из-за рыбной ловли!

— Другие-то не в пример тебе — кто председатель, кто бригадир в колхозе, а ты все как дите... — говорила жена.— Срам на тебя смотреть.

— Ты, Прасковья, зря болтаешь, потому как одно другому не помеха. В колхозе я не хуже других.

— Ишь ты,— презрительно усмехалась жена,— работничек...

Куличок шел вдоль забора, по узкой колее электровоза. Снег, выпавший недавно, не успел слежаться, и сапоги ежеминутно застревали между шпалами. Это раз-

дражало Ивана, как раздражал и неотвязно тянувшийся вдоль всего пути забор, как раздражала и узкоколейка, не выпускавшая его из своей полосы, потому что по обеим сторонам от нее лежали канавы и идти там было еще труднее.

— У, черт! — вполголоса выругался, споткнувшись, Иван Куличок и, подумав о жене, выругался еще раз: — У, черт!

За четыре года войны он научился уважать себя. Уже то обстоятельство, что он имел две медали «За отвагу», наполняло его гордостью.

«Какое она может обо мне понятие иметь, если дальше дома носа не казала, ешьте-заешьте!— рассуждал он сам с собой.— Нет, брат, я такое повидал, что теперь тебя не испугаюсь... С первого часа поведу себя повелительно».

Ему наконец надоело идти по узкоколейке, и, спрыгнув в сторону, он направился вдоль канавы. Когда Куличок остановился у ворот и, запустив руку в лазейку, отодвинул щеколду, настроение у него было совсем боевое.

Во дворе все было по-прежнему, на своих местах. Всюду лежал снег: и на земле, и на рябине со скворечником, и на перилах крыльца. Так же чернела навозная куча, и белесый пар поднимался от нее в морозное утро. Иван Куличок решительно прошел к хлеву, потрогал тяжелый замок, прислушался. Из хлева доносилось мерное дыхание пережевывающей корм коровы.

Чем-то несказанно приятным повеяло на Куличка, но он тут же пересилил себя и стремительно поднялся на крыльцо. Постучал сначала кулаком, потом ногой. И сразу же, будто его ждали, скрипнула дверь и в сенях раздался голос жены:

— Кого носит?

— Открывай! — тонко крикнул Куличок.— Это я!

— Никак Иван?

— Открывай, говорю. Должна по голосу знать.

— Ах ты батюшки,— засуетилась Прасковья.— Уж и не чаяла...

Она раскрыла обе половинки двери и появилась на пороге — в валенках, в коротком, накинутом на плечи полушубке, простоволосая:

— Ива-ан!

Куличок стоял неподвижно. Чуть откинув голову, он всматривался в белевшее лицо жены. Ему была приятна та радость, с которой встречала его жена, но он сдерживал себя.

— Да входи, чего ты стоишь-то!— Прасковья протянула обе руки. Иван сунул ей вещевой мешок и боком прошел в избу.

— Вздуй огонь!

— Да дай хоть поздороваться-то...

Прасковья обхватила его голову, припала к нему, заплакала. Опять что-то теплое и приятное охватило Ивана: «Ишь, плачет, рада, стало быть...»

— Ну, будет.— И отстранился.

Прасковья утерла глаза тыльной стороной ладони и, вздохнув, направилась к печке.

Иван сбросил шинель, закинув ногу за ногу, закурил. Он смотрел на хлопотавшую возле печки жену. Розовое пламя ложилось отсветом на ее лицо. Он снова видел плотно поджатые губы. Могуче шевелились покатые плечи. Теплота, появившаяся было в груди Куличка, исчезла.

Вспомнилось, как его отец, маленький и остролицый, приехал однажды из Соликамска и, взяв Ивана, тогда еще молодого парня, за плечо, торжественно сказал, подражая священнику из Верхней Губахи:

— Сын мой! Приискал я тебе нареченную. Кротка и послушна, аки агница... — Он помолчал, подыскивая церковные слова, но не нашел и закончил просто: — На всю жизнь хватит!

Неделю спустя Иван, узкоплечий и маленький, похожий на подростка, стоял в церкви в длиннополом черном пиджаке, гладко причесанный на прямой пробор, рядом с крупной, пышнотелой, на целую голову выше, Прасковьей. Ему было стыдно — он слышал за спиной обидные смешки и совсем расстроился, увидав широкую улыбку дьякона. В эту минуту Куличок дал себе слово избить Прасковью. И на свадьбе, захмелевший, он вдруг вскочил со скамьи, ударил каблуками, взмахнул рукой и качнулся в сторону невесты. Прасковья только чуть-чуть подняла брови — густые, черные, словно намазанные углем,— и, легко перехватив руку мужа, несильно потянула его к себе.

Куличок упал ей на грудь.

— Не озоруй,— тихо сказала она,— ишь ты!

Гости засмеялись, загалдели и стали кричать «горько». Прасковья отняла от своей груди голову Ивана и деловито поцеловала его в губы.

И так повелось. Что бы ни захотел сделать Иван, Прасковья всегда делала по-своему. Она никогда не ругалась, а спокойно говорила: «Ишь ты...» Если он был пьян, насильно раздевала его, укладывала спать.

Иван Куличок порывисто вскочил с лавки и, смяв ногой цигарку, подошел к жене.

Прасковья медленно повернула голову от печи, внимательно посмотрела на мужа:

— Устал, поди.— И улыбнулась.

— Молчок! — тонко выкрикнул Иван. Он круто повернулся и отошел к окну.

Прасковья опять вздохнула.

Закипел самовар. На столе появилась бутылка и нарезанная тонкими ломтиками редька, круто посыпанная солью. Иван оживился. Это была его любимая закуска. Налив в стаканы водку, он чокнулся с женой:

— Потому как я вернулся живым, буду гулять, отдых иметь.

— Со свиданием, значит,— кротко ответила Прасковья.

Глаза ее светились улыбкой, но губы вдруг дрогнули. Поставив стакан обратно на стол, Прасковья опустила голову.

— Не порть встречу!— тонко вскрикнул Иван.— Будем живы! — И залпом выпил водку.— Сказал, буду гулять. Точка!

— Да господи, я разве что говорю? Гуляй.

— То-то...

Он съел кусок редьки. С удовольствием заметив, что Прасковья послушна, решил: если впредь не давать ей послабления, жизнь, пожалуй, будет хороша.

— Сергей Савельев жив?

— А как же, вспоминал тебя, бригадиром, говорит, буду назначать Ивана Васильевича — тебя то есть.

— Хм... А Петр Силантьев?

— На ноги жалится, а так ничего. В нонешнем году много рыбы поймал.

— Ладно. Свижусь. Посплю и свижусь с ним. Баньку сготовь. Слышь? Баньку спроворь без промедленья!

Лежа в постели, Иван Куличок еще раз подумал, как

это он ловко укротил жену, и задумался: уж не слишком ли круто с ней обошелся? В конце концов Прасковья — молодец баба: хозяйство в порядке, в избе чисто, приветливая стала.

А Прасковья, убрав со стола посуду, подсела к мужу и неожиданно погладила его по голове.

Потом она внимательно посмотрела ему в глаза и опять заплакала. Плача, стала рассказывать, как ей было тягостно жить одной, как она по целым ночам не спала.

— Ведь ты один у меня. Что я без тебя-то? Ох, как боялась, а ну принесут... похоронную.— Прасковья всхлипнула.— Самый ты сердешный мне...

Она говорила негромко, все гладя мужа по голове, и чем больше говорила, тем больше себя чувствовал Иван в чем-то виноватым перед ней.

— Ты того... брось,— все еще продолжая бороться с собой, сказал он, но голос прозвучал мягко, и жена почувствовала в нем ласку.

— Желанный ты мой, родимый!

Она его называла ласково, как никогда в жизни не называла. Ивану стало жалко ее.

Он представил, как вставала она чуть свет и ложилась затемно с одной мыслью — о нем, как ждала его...

— Ах, ешьте-заешьте! — вконец растроганный, воскликнул Куличок и, обняв голову жены, прижал ее к своей щеке. И ему стало досадно на себя. Разве так надо было встретиться?! Да хоть бы расцеловаться-то с ней по-хорошему! Ах ты!.. Он даже прослезился.

А за окном уже начинался ясный, морозный день, когда снег становится розовым и дым из труб поднимается прямо к небу.

МАТЬ

1

В Ленинграде Василий Митрохин пересел в пригородный поезд. В отличие от всех поездов, в которых ему приходилось ехать с Дальнего Востока, в этом было непривычно пусто. И хотя стоял уже декабрь, вагон почему-то не отапливался.

Василий ехал к матери.

Вначале, как только он узнал из телеграммы, что мать тяжело больна, он сильно встревожился, но в пути тревога улеглась, и теперь ему хотелось только поскорей добраться до дому и впервые после пятнадцатидневного мотания в поездах уснуть и спать долго и спокойно, а главное — не тревожиться за чемодан.

В чемодане он вез матери подарок: меховые чулки и расшитые эвенкийским рисунком торбаса [1], вез еще несколько килограммов свежепросоленной семги, завернутой в олений пузырь, и свой новый костюм, в котором хотел показаться в деревне. Он надеялся, что мать к его приезду выздоровеет и ей будет приятно видеть сына хорошо одетым.

Василий живо представил себе, как набьются в избу соседки, как они будут удивляться, что вот он, тот самый Васька, который не побоялся уехать на Дальний Восток, сидит теперь солидный, в хорошем костюме и неторопливо рассказывает, как работает механиком на электростанции, живет на берегу Амура в каменном доме и что приехал он, чтобы увезти к себе мать. С матерью он не видался восемь лет. Кроме Василия, у нее никого не было. «Еще согласится ли?— подумал он и решил: — Должна согласиться, чего ей одной жить. Будет вместе с Наташей растить Вовку». Вспоминая о том, что мать — председатель колхоза, Василий невольно улыбнулся. Он никак не мог всерьез представить ее, тихую и незаметную, в такой должности.

Подъезжая совсем поздним вечером к полустанку, Василий вышел на площадку. В разбитое дверное окно дул ветер, наметая в тамбур мелкий колючий снег, лязгали продрогшие буфера. Мелькнул знакомый лес, шлагбаум, и, не дожидаясь, пока остановится поезд, Василий спрыгнул на ходу.

До деревни было не больше километра. Но дорога, занесенная снегом, еле проступала, и шагать по ней было трудно. Пустые и мертвые лежали по обе стороны дороги синие поля. Впервые Василий почувствовал себя как-то одиноко в их тишине. И все — и поля, и далекий застывший лес, и небо с тусклыми звездами — показалось ему мрачным, глухим.

---

[1] Торбаса — меховая обувь.

Деревня надвигалась темным пятном. Подойдя ближе, он увидел всего пять-шесть изб с нахохлившимися крышами, несколько срубов да бугры, похожие на овощехранилища, с выведенными наружу трубами. Василий даже усомнился — та ли это деревня, в которой он родился и вырос? Ему еще с детства крепко врезались в память добротные дома с палисадниками, с деревьями вдоль улиц. Теперь ничего этого не было.

Какое-то сковывающее душу запустение ощущалось в разбитой, сожженной деревне. И хотя мать писала ему, что много домов сгорело, все же он никогда не думал, живя на тихом берегу светлого Амура, что вот так может быть в действительности. Он не сразу нашел свой дом, а когда узнал — сердце сжалось болью.

«Куда же березы-то делись?» — растерянно подумал Василий, вспомнив, что перед избой росли два веселых, кудрявых дерева. И сразу же забыл о них, увидев окна. Ночью они были черны, словно речные проруби.

«Спит»,— волнуясь, подумал он, торопливо выпростал из варежки руку и постучал в стекло. В окне показалось чье-то лицо, посмотревшее на него, словно из воды. Он не узнал, кто это, и все же негромко позвал.

Лицо исчезло. Путаясь в тяжелых полах мехового пальто, Василий пробежал по утоптанной тропе к резному крыльцу, поднялся по белым ступеням, наискось обрезанным тенью крыши, и остановился перед невысокой дверью, уже зная, что вот сейчас выйдет мать, припадет к его груди, заплачет...

В сенях встревоженно закудахтали сонные куры, простонала половица, взвизгнула задвижка, и на пороге показалась женщина. Он узнал ее сразу. Это была соседка — тетя Дуня.

— Васенька,— теплым, дрогнувшим голосом произнесла она.

Он протянул руку.

— Что ты, что ты,— втягивая его за рукав в сени, испуганно произнесла тетка,— кто ж через порог-то здоровается! Переступи!

Он переступил. И, почему-то тревожась, негромко спросил:

— А где же мама?

Тетка Дуня не ответила.

2

В избе было темно и тепло, как в варежке. Пахло квашеной капустой. Тетка Дуня металась в темноте, видимо отыскивая спички. Сверху доносился дружный, в несколько тонов, заливистый храп.

Наконец застучал коробок, и зажглась, выпустив к потолку черную нить, коптилка. Из углов и от стен выползли голый неприбранный стол, раскрытая постель, громадная печь.

«Плохо живет»,— проникаясь жалостью к матери, подумал Василий и оглянулся, ища ее.

Тетка Дуня неожиданно всхлипнула. Она стояла в разбитых валенках, с накинутым на плечи одеялом, прижимая его концы к впалой груди. Василий растерянно посмотрел на нее; еще не зная, почему она плачет, почувствовал, что в доме что-то неладно. Не желая верить плохому, вскочил на скамейку, заглянул на печь. Там, прижавшись один к другому, крепко спали черноголовые ребятишки и, хотя было темно, понял — матери здесь нет.

— А где же мама? — еще тише спросил он.

Тетка Дуня заплакала громче.

— Да что случилось-то?— срывающимся голосом сказал Василий и посмотрел на дверь, словно надеясь, что вот дверь сейчас откроется и войдет мать. Но дверь не открывалась, а тетка Дуня, то сморкаясь в застиранное полотенце, то утирая им слезы, рассказывала со всеми подробностями, как Степановна заболела, попив во время обмолота ледяной водицы, как она тосковала и все ждала сына и как недавно ночью незаметно умерла.

Чем больше тетка рассказывала, тем сильнее разрасталась боль в груди Василия. Уж слишком свыкся он за последние дни с мыслью, что мать выздоровеет и что он непременно увезет ее с собой. Ссутулясь, он тупо смотрел на неровный пол, думая только об одном: как могло случиться, что вот он ехал к матери, а ее нет, а он сидит в избе, где она всего еще несколько дней назад жила, ждала его.

Василий вспомнил те долгие месяцы, когда не получал от нее писем и думал, читая сводки и газеты, что мать, наверно, погибла. Как только согнали немцев с ленинградской земли, он сразу же послал телеграмму, мало надеясь на ответ. Но ответ пришел. Как обрадовался

тогда Василий! Целый вечер рассказывал он Вовке, какая хорошая у него бабушка, какая она маленькая и добрая. А на другой день отправил ей деньги. Потом отправил еще, но однажды мать написала, чтобы денег он не слал. Она звала его к себе, писала, что сильно соскучилась и хотела бы посмотреть на внучка. Василий обещал приехать в отпуск, но собрался только через два года. И вот он приехал, а матери нет.

Словно сквозь глухую стену доносился до него голос тетки Дуни:

— От этого и здоровья она лишилась...

— От чего от этого?— испуганно спросил Василий и посмотрел на тетку. Она поняла, что он не слушал ее, и снова начала рассказывать о том, как Степановна протопила с угаром избу и как фашисты ее за это избили.

— Может, через слезы людские она такая решительная стала,— тягуче говорила тетка Дуня.— И то сказать, нелегко было снести все мучения от фашистов... Да ты, никак, не слушаешь?— посмотрев сбоку на лицо Василия, участливо спросила она.

— Слушаю,— тоскливо отозвался он, но, слушая, вспоминал, как однажды — это было в детстве в какой-то праздник — мать принесла ему в постель дымящийся пирог, и он, обжигаясь, вытаскивал кисло-сладкие кусочки яблок и болтал ногами. Мать сидела на краю постели, смотря на него светлыми глазами, потом стала тормошить, целовать, а он все боялся, как бы пирог не выпал из рук.

— ...И не хотела тебя расстраивать,— опять донесся, словно издалека, голос тетки Дуни,—все ждала тебя, думала — приедешь, сам все наше горькое житье увидишь, а ей уж и тогда немоглось.

Василий растерянно посмотрел на женщину:

— Так ведь, тетя Дуня...

— Не бережете вы матерей-то... Нет, не бережете. Вот и мой старшой уехал в город, а что мне от его помощи: жил бы со мной, все легче было бы.

И опять голос тети Дуни стал удаляться, а затем и вовсе затих. И снова нахлынули воспоминания.

...Как-то зимой прибежал он из школы с помороженными руками. В доме шло веселье. Мать, приодетая, красивая, сидела рядом с отцом и пела высоким голосом. Гости вторили ей. Маленький, запорошенный снегом, он

остановился в дверях и, злыми глазами глядя на мать,— заголосил, встряхивая руками. На него зашикала какая-то старуха, а отец крикнул: «Суй в воду!»

Но мать вышла из-за стола, долго оттирала его пальцы снегом, а он плакал и кричал, что ему больно, и отталкивал ее. От матери пахло вином.

— Ах ты какой! Разве так можно, я ведь мать тебе...

— А зачем пьяная?

— Вот глупый, так ведь гости... Да я и не пьяная.

Он видел, что она не пьяная, но от боли злился.

— Пьяная ты.— И ударил ее по руке.

— Экий ты, ну и выпила маленько, так ведь гости...

— Ну и иди к ним!

— Да разве я уйду от тебя! — И, прижав к себе, стала говорить что-то ласковое, приветливое. Так они и сидели за печкой, а рядом шло веселье...

— Ты если спать-то надумаешь,— приблизился голос,— так ложись на постель, а я схожу на скотный двор.

После этого ничто уже не мешало Василию думать. Коптилка чадила, огонек тускнел, потом, неожиданно мигнув, погас. И почти сразу же на стол легла бледная рама лунного окна, а тень от стола протянулась через весь пол к печке. «Отдай санки, отдай!» — донесся с печи громкий мальчишеский голос. И опять наступила тишина, полная легких, как тени, ночных шорохов. И за окнами была тишина, но не такая, как в избе, а просторная, раскинувшаяся на морозных полях, на голубой дороге, возле темных, застывших в белом воздухе домов...

Василий смотрел на этот уснувший мир, и ему представилось деревенское кладбище с редкими деревьями и среди всего этого сиротливо прикорнувший маленький холмик с березовым крестом.

Пришла тетка Дуня. Скинула с себя захолодавший полушубок и, не заметив Василия, сидевшего на лавке в простенке между окон, полезла на печку. По избе проплыл шепот: «Ну-ка, двинься, двинься чуток...»

3

Когда тетка Дуня проснулась, Василий все еще сидел на лавке.

— Ой, да ты и не ложился!— воскликнула она и, вытерев губы двумя пальцами с краев к середине, глубоко

вздохнула: — Я вот тоже, Васенька, когда похоронную получила, думала — свету конец. Шибко любила я своего Тимофея... Так замертво и повалилась: мутная стала. Все хожу да думаю. И света не вижу. Спасибо твоей матери, век мне не забыть ее слов. «Крепись, говорит, Дуняшка, ради деток крепись. Тимофей-то, смерть принимая, заказывал жить нам всем долго. Не занапрасно погиб он, и ты не должна рук опускать, особливо теперь, когда мы на своей земле живем». Помню, всю-то ночь проговорили мы с ней. И про отца твоего вспомнили, про тебя, и поплакали мы с ней и погоревали. Вот тогда-то она всех баб, которые были с ребятишками, бездомовных, в свой дом и пустила. И веришь ли, полегче нам стало вместе-то...

Когда рассвело и появился на столе большой чугун с картошкой, отпотевшая кринка молока и фыркающий пузатый самовар, с печи спустились ребята и сразу о чем-то заспорили. Но, заметив незнакомого человека, замолчали и хмуро стали умываться над бочкой из железного рукомойника. И позднее, уже за столом, розовые от холодной воды, с любопытством поглядывали на Василия. Василий выложил на стол пакеты с семгой, сахаром и брусок сливочного масла. Но тетка Дуня деловито сунула масло обратно в чемодан, сказав: «И свое есть. Незачем. А за рыбку красную спасибо».

Против Василия сидел самый маленький из семьи, большеглазый мальчуган.

— А пошто она красная?— спросил он.

— Потому красная, что лучшая,— ответила тетка.

— Не потому... Она, наверно, в красной воде живет.— И, взглянув на ребят, фыркнул.

— А ты не балуй,— кроша зеленый лук в миску, улыбнулась тетка. И, видя, что Василий по-прежнему задумчив, сказала: — Отведай-ка, Васенька, нашего зимнего лучку.

— Зимнего?— слабо удивился Василий.

— Тут, видишь, дело какое вышло,— оживилась тетка,— дошел до нас слух, что в Ленинграде раненые бойцы очень в зелени нуждаются, цингой страдают. Вот твоя мать собрала всех баб,— а у нас на деревне-то никого, кроме баб, и не было,— да и говорит: лук надо растить. А зима стоит лютая, вокруг немцы. До того ли, думается. Но только Степановна так сказала: «А что, говорит, ба-

бы, если там наши мужья али сыны лежат? Тогда как?» И начали мы растить лук в корытах да в ящиках по избам. Много мы его отправили через партизанов. Вот с тех пор у нас и в привычку вошло — зимой лук растить...

— Да-а... — неопределенно промолвил Василий, думая о своем, и, посмотрев на большеглазого Павлушку, спросил:

— Сколько же у тебя, тетя Дуня, ребят?

— Теперь четверо,— разливая по чашкам чай, ответила она.— Козырева-то Михаила помнишь? Так вот, этот — евонный,— она кивнула на Павлушку.— Отца-то на фронте убили, а матку фашист пристрелил, она, вишь, вечером за околицу вышла... Ой, и горя же мы хватили! — горестно вздохнула тетка Дуня и приложила платок к глазам.— Ну, вот и остался один Павлуша. Сначала матка твоя взяла его, а теперь он у меня...

На кладбище Василий пошел с Павлушей. Начинался морозный день, а в небе все еще висела, словно вымерзшая за ночь, прозрачная луна. Павлуша шел впереди Василия, глубоко запустив руки в карманы полушубка. Он вертел головой, разглядывая то летящих сорок с качающимися хвостами, то выскакивавших на улицу в одних платьях баб с гремящими ведрами.

Темные бугры, принятые ночью Василием за овощехранилища, оказались землянками. Чуть подальше стояли срубы и недостроенные избы. Около них ходили с топорами колхозники. Всюду валялись бревна, доски. В стороне от дороги виднелся большой новый дом с палисадником и резным крыльцом. В палисаднике Василий приметил березки, очень похожие на те, которые когда-то росли у его дома.

— Чей же этот дом?— спросил Василий у Павлуши.

— А ребята в нем живут, с мамками, у которых отцов нет...

Уже выходя из деревни, Василий увидел новый скотный двор. Глядя на толстые бревна, подумал, как тяжело было их поднимать... И почему-то вспомнился последний день, когда он видел мать.

Окончив техникум, Василий уезжал на Дальний Восток. Он сам вызвался туда ехать и хвастливо говорил об этом провожающим его друзьям. А мать стояла в стороне, у его вещей. Когда подошел поезд, Василий наскоро поцеловал мать, она хотела сказать ему что-то, но друзья

оттеснили ее, потом он лихо вскочил на подножку вагона. Поезд пошел, все что-то кричали, кричал и Василий. И вдруг увидал мать: она бежала по перрону, махая платочком. Поезд набирал ход, она отстала, шла уже шагом, и долго еще была видна ее маленькая одинокая фигурка. Такой маленькой и одинокой она и запомнилась ему на все восемь лет...

И сейчас, глядя на эти тяжелые бревна, он никак не мог представить себе мать, поднимающую их. «Может, она через слезы людские такая стала»,— всплыли в памяти слова тетки Дуни. И странное состояние охватило Василия; словно были у него две матери: одну он знал очень хорошо — это та, прежняя, с платочком, на перроне... другая была незнакомо-новая, которая не побоялась фашистов, строила новые дома, которую слушали люди.

Василий миновал околицу, перешел через деревянный мост, окруженный остроугольными надолбами, свернул к кладбищу. Там он стал искать новый березовый крест: ему хотелось самому узнать могилу матери. Но он видел только старые, покосившиеся кресты и несколько красных пирамидок со звездочками наверху. Павлуша остановился перед одной из них, с висевшим на гвозде свежим хвойным венком.

Василий медленно снял шапку. «Кто это сказал, что у нее на могиле березовый крест?» — подумал он и тут же догадался: это никто не говорил, это он сам так подумал...

— На машине приезжали, из района,— вздохнув, сказал Павлуша.

Василий, внимательно вслушиваясь, взглянул на него, одетого в большой полушубок, и почему-то вспомнил о своем костюме, о том, как мечтал показаться в нем колхозникам, представлял себе, как они будут удивляться.

«Это кто же будет удивляться?» — чуть ли не вслух сказал он, и горячая кровь хлынула ему в лицо. В сознании мелькнули землянки, тетка Дуня, зеленый лук в корытах... Он посмотрел на пирамидку со свежим венком и, совсем как когда-то в детстве, когда, провинившись, бежал к матери и, уткнувшись в ее платье, замирал,— упал на колени, прижался щекой к зеленой морозной хвое.

Павлуша постоял несколько минут безмолвно, глядя

на широкую спину Василия, и, жалея его, тихонько сказал:

— Дяденька, не надо... Не надо, дяденька...

ДОМ НАПРОТИВ

1

Дела у Василия Нежина шли плохо. Это заметили все: и широкоплечий маленький профессор Смагин, прозванный Квадратом, и старшая медицинская сестра Алевтина Валериановна, и толстая нянька, и молодой азербайджанец Исмаил, сосед Нежина, и даже Иван Мамочкин, раненный осколком мины в позвоночник.

В госпитале Нежин лежал уже второй год. Ранение было серьезное — в бедро. Он много потерял крови, пока его подобрали санитары, много помучился в полевом лазарете и все это время был мрачен, но как только узнал, что едет в Ленинград, на душе у него стало легче.

Но и в большом городе проходил месяц за месяцем, вот уже миновал год, а раздробленное бедро все не залечивалось. Давно прошло то время, когда Василий нетерпеливо ждал обхода врачей. Наступили недели злого раздражения. В дни перевязок он ругался и, когда его приносили из операционной в палату, долго лежал, уставясь в алебастровый потолок полными слез глазами.

— Хорошо, Вася,— говорил Исмаил, кося в его сторону черным и блестящим, как маслина, глазом.— Сичас больна, потом не будет больна.

Василий не отвечал. Он смотрел вверх. Иногда потолок становился розоватым, иногда темнел. Постепенно взгляд, как бы тяжелея, скользил по стене и останавливался на раме окна.

В окно виднелось серое, избитое осколками здание с черными провалами окон. И то, что оно было мертво и вместо окон глядели пустые глазницы, угнетающе действовало на Василия.

Перевязки протекали все более мучительно. К столу подходили два рослых санитара. Они брали Василия на руки. Алевтина Валериановна быстро снимала бинты, профессор озабоченно хмурил широкие светлые брови.

Василий смотрел на всех злыми глазами, и была в этих глазах глубокая усталость.

Когда перевязка заканчивалась и Василия приносили в палату, он плакал. Исмаил шумно вздыхал.

Исмаил выздоравливал. Ему все нравилось. Даже в приевшейся овсяной каше находил вкус и ни разу не крикнул на няньку, если она не появлялась сразу на его зов. После обеда, когда в палате наступала тишина, он любил рассказывать о своей жене. Его гортанный голос становился мягким. И чем здоровее он себя чувствовал, тем чаще вспоминал жену, полную, красивую.

— Красивая баба — не жена, одна морока,— хмуро говорил из угла Мамочкин.

— Зачем не жена?— оторопело спрашивал Исмаил.

— На измену легкая...

Сам Мамочкин был когда-то женат, но жена от него ушла, и с тех пор Иван стал относиться к женщинам недоверчиво.

Исмаил бледнел и умолкал. Но проходил день-другой, и он опять начинал рассказывать о жене.

По воскресеньям в палату входил с чемоданчиком, в куцем халате старичок парикмахер. Весело поглядывая на больных, он сообщал городские новости:

— Все идет к тому, что в каждом доме будет газ. Приготовьте ваши щеки, Исмаил... Улицы изрыты,— он взбивал в стаканчике мыльную пену,— на панелях газопроводные трубы.

И пока намыливал Исмаилу щеки и ловко орудовал бритвой, мягко срезая отливающий синевой жесткий волос, он успевал рассказать о том, как знатный каменщик Куликов строит дом и как он целый час любовался работой этого человека. Потом рассказывал о суворовцах, которые попались ему навстречу.

— Вася, вас надо стричь,—обрывал он себя на полуслове.

Василий молчал. Парикмахер двигал ножницами, и они стрекотали, словно кузнечики. Обычно их звук вызывал у больного улыбку. Но Василий вяло отмахивался и закрывал глаза. Парикмахер огорченно вздыхал и, переставая стрекотать ножницами, отходил к Ивану Мамочкину.

Мамочкин брился с удовольствием.

— Освежить?

— Ага.

Он широко открывал рот и, почувствовав на языке одеколонную пыль, густо хохотал.

— На улице весна,— складывая в чемоданчик инструменты, оповещал старичок.— Сегодня видал вербы. На панелях тает.

После его ухода в палате оставалось ощущение свежести. Больные начинали громче разговаривать, смеяться. И только один Василий был по-прежнему молчалив.

Его узкое лицо с прямым бледным носом, обросшее редким волосом на скулах, ничего не выражало, кроме безразличия. Это безразличие ко всему окружающему и к самому себе и в самом деле вредило Нежину. Рана опять начала гноиться. Профессор Смагин хмурился все чаще.

2

Уже не на десять минут, а на несколько чассв открывали в палате окна. Широким потоком вливался свежий воздух. По утрам там, где была узенькая полоска неба, появлялось солнце, и тогда в палате светлело и на полу начинали возиться желтые зайчики.

Исмаил уже ходил на костылях.

— Пасматри, — говорил он Нежину и, придерживая на весу больную ногу, быстро пересекал комнату от койки до дверей.

То, что Исмаил начал ходить, взволновало Василия. В первые часы он с тревожным любопытством наблюдал за ним. А что, если и он когда-нибудь так пойдет? Но надежда быстро погасла. Не верилось Нежину в выздоровление.

Исмаил, словно угадывая мысли товарища, садился к Василию на кровать и, утирая рукавсм халата вспотевший лоб, говорил:

— Ничего... И ты будешь ходить. Только надо немножко терпеть, — он вставлял костыли под мышки, говорил: — Пасматри!— и уходил к окну. У окна он простаивал подолгу, напевая свои песни, а может, только одну, потому что пел он всегда одинаково — тягуче и невесело.

Однажды он исчез и не был в палате больше часа. Его привели под конвоем. Справа шла Алевтина Валериановна, слева — тетя Поля. Алевтина ругала его и гро-

зила отнять костыли. Исмаил виновато молчал. Когда она ушла, он прокостылял к Василию, распахнул халат и вынул пучок молодых веток тополя.

— Понюхай...

Василий потрогал пальцами клейкие, лоснящиеся, словно покрытые эмалью, еще не расправившиеся листики и неожиданно заплакал.

— Не нада. Зачем? — встревожился Исмаил. — Все хорошо будет, Вася.

Пришли санитары и, открыв на балкон дверь, вынесли на кроватях Мамочкина и Василия Нежина на воздух.

Высоко в небе, затихая, гудел самолет. Солнце стояло над городом.

— Хорошо, — жмурясь, произнес Мамочкин и положил поверх одеяла белые руки. — Сейчас, поди-ка, у нас в колхозе сеют. Братеник писал, много больше прошлого года они думают поднять нынче земли. И поднимут... Им что? Спина не болит. Да.

Василий смотрел поверх витых железных перил. Улицы он не видал, слышал только звонки трамваев, гудки автомобилей. Но зато ему было видно другое: слепой дом покрывался тонкими лесами. По деревянным мосткам торопливо ходили в синих комбинезонах люди. Их голоса в шуме улицы были неразличимы, но по взмахам рук можно было догадаться, спорят ли они, горячатся или просто беседуют. Вот повстречались два парня, закурили и, облокотясь на перила, смотрят вниз. Выше на мостках появилась светловолосая девушка в зеленом платке. Она кричит им — оба смотрят на нее снизу вверх и смеются. Потом все разошлись.

После обеда санитары унесли кровати. Василий рассердился. Ему не хотелось покидать балкон. Жизнь улицы отвлекала его от горького раздумья, а солнце было яркое, теплое.

Ночью он просыпался несколько раз, взглядывал на небо. Но оно было еще совсем серое, однотонное. Потом уснул и проснулся только перед завтраком от громкого голоса Исмаила.

— Почему нет новый рубашка? Нада рубашка, жина пришел! Как пайду в старый рубашка? Халат давай новый!

— Ну, хорошо, хорошо,— успокаивала его сестра-хозяйка.

Исмаил, увидя, что Василий проснулся, закричал:

— Панимаешь, Вася, жина пришел. Ничего не писал, сама пришел.

Исмаил встретил жену в новой рубахе и голубом халате. Увидев ее, он медленно развел руками. Она оказалась очень тонкой, как девочка.

— Исмаил, — тихо сказала она и, протянув руки, прошла к нему на цыпочках и тихо засмеялась. В ее смехе было столько веселой легкости и счастья, что все в палате улыбнулись, а Исмаил, откинув назад горбоносое лицо, неожиданно громко рассмеялся, схватил ее руки, затряс головой.

Никто не понял, о чем они говорили, но все словно прикоснулись к настоящему человеческому счастью.

Василий был взволнован. Увидав, как встретились Исмаил с женой, Василий впервые подумал, как хорошо было бы и ему после долгой разлуки встретиться с любимой девушкой. Он позвал няньку и велел вынести себя на балкон.

— Конечно, если жена как жена, так это приятно,— появляясь со своей кроватью на балконе, сказал Иван Мамочкин.— На такой женщине и я бы женился. А вот если вертушка попадет, тогда как?— Мамочкин подождал ответа и не дождался.

Василий не спускал глаз с дома напротив. Там двигался по стене подъемник и светловолосая девушка в зеленом платке бегала с ведром. Леса уже подходили к самой крыше, и Василию не надо было приподниматься, чтобы смотреть на девушку. «Как она быстро бегает»,— думал он и жалел, что не может получше разглядеть ее лица.

Девушка куда-то исчезла. Ее не было долго, и Василий думал, что она совсем ушла. Но вот она снова появилась, села, свесив ноги, развернула пакет. Василию показалось, что она смотрит на него. И неожиданно для себя он взмахнул рукой. И замер. Девушка ответила ему. Она высоко держала руку, и в воздухе белела ее маленькая ладошка.

Василий засмеялся и поднял обе руки. И девушка подняла руки. «Вот это хорошо, вот это здорово!» — приглаживая волосы, улыбался Василий.

Вдали прогрохотал гром, будто кровельщик обронил большой лист железа. Тяжелые, низкие тучи быстро за-

тянули небо. Прибежали санитары и торопливо втащили койки в палату.

Началась гроза. Тонкой плетью хлестал по окнам ливень, и стекла позванивали. В палате стало сумрачно. Откуда-то вернулся Исмаил, он был мокрый. И опять его ругала Алевтина Валериановна.

— Хорошо. Мы больше не будем так, — прикладывая к груди руки, смущенно говорил Исмаил.

— Последний раз. Иначе костыли отберу.

— Не будем больше.

— Врешь!— отозвался Василий. — Будешь!

— Это что за бунт?— резко повернулась Алевтина Валериановна к Василию.

— А ничего. Полежали бы с наше, не так бы заговорили.

— Разговорчики!— по-военному сказала она и, густо покраснев, вышла.

— Зачем злить Алевтин Валерьян. Мы все равно будем ходить в сад. Только астарожна.

Но Исмаилу не пришлось обманывать сестру. Вечером, во время обхода, профессор Смагин разрешил Исмаилу выходить в сад.

— Не нада, — отказался Исмаил.

— Почему?— удивился профессор.

Исмаил хитро прищурил глаза.

— Совсем интерес не тот.

Дождь шел всю ночь. Больные плохо спали. И только один Исмаил густо храпел, как обычно храпят здоровые. Василий не спал.

Над двустворчатой дверью горела маленькая лампа. Тусклый свет, не достигая середины палаты, терялся в ночном полумраке, и от этого комната казалась большой, неуютной. А когда за окнами вспыхивали голубые молнии и палата озарялась, ночник долго не мог выкарабкаться из черной тьмы, и казалось, что его нет.

— Василий, не спишь?— донесся из угла голос Мамочкина.

Нежин хотел промолчать, но, подумав, что Иван так же одиноко лежит в этой темноте, ответил:

— Нет.

— А я, знаешь, что думаю... Жалко, ох, как жалко, если я не буду ходить,— проговорил Мамочкин жарким шепотом. — Ведь я лучшим пахарем в районе считался.

На выборочной по гектару вспахивал. Очень я люблю, когда весной земля еще не просохшая и к лемеху липнет, а уж от нее такой дух, что пьяней вина становишься. Глотнешь воздух — и кажется, что на целый день его в груди хватит. А тут еще жаворонки... И ведь, скажи на милость, что такое с душой происходит? Ну прямо... и не выскажешь!— с тоской воскликнул Мамочкин.

Василий не ответил. Что он мог сказать?.. Наглухо закрывшись одеялом, он кусал губы.

3

— До свиданья, Вася!

Исмаил стоит в новой зеленой гимнастерке. Два ордена и пять медалей сверкают на его груди.

— Ничего. Все харашо будет. Как паправишься, пажаласта, ко мне. Такой дружба нельзя забывать.

Жена Исмаила стоит тут же, не сводит с мужа черных глаз. Тугие косы лежат вокруг ее головы, в руках букет белой черемухи. Исмаил что-то говорит ей по-своему, и она протягивает половину букета Василию и бесшумно, как тень, прячется за спину мужа.

— Спасибо, — дрогнувшим голосом благодарит Василий.

Потом Исмаил прощается с Мамочкиным.

Иван вытащил из-под подушки перочинный нож с изогнутым, как серп, лезвием.

— На память. До Праги прошел с ним, — сказал он и сумрачно добавил:— Береги ногу. Не натруждай особо. А ты оберегай его,— обратился он к жене Исмаила.

Исмаил перевел ей слова Мамочкина. Женщина улыбнулась и отдала Ивану цветы.

Исмаил стоял на костылях, прижимая нож к груди.

— Какие люди! Какие друзья! — и неожиданно взъярился:—А-а, проклятыи Гитлер, что сделал, а?

— Ладно, — усмехнулся Иван. — С ним покончено, а нам жить. Вот только бы из корыта вылезти, а уж там бы я пошел в жизнь. Я к тебе приеду, на юг-то всегда на поправку ездят. Хорошо там погреться.

Когда Исмаил ушел, в палате натупило долгое молчание.

— А ей-богу, поеду к нему! — засмеялся Мамоч-

кин. — Чего не поехать? Это хорошо. Солнце там. Ишь, и черемуху подарила.

Даже Василий улыбнулся. Почему-то он представил себя загоревшим, в трусах, взбирающимся по крутому склону горы. Громадное солнце печет спину.

— Стой! — закричал Иван. — Мать честная, адрес-то он не оставил. Куда ехать-то?

И действительно, адреса Исмаил не оставил. Почти год прожили вместе, и не нашлось минуты, чтобы спросить адрес.

— А ведь он ждать будет, — сокрушался Иван.—Они народ приветливый.

Стремительно вошел профессор Смагин. Полы его халата развевались, как паруса.

— Скучаете без дружка? — весело спросил он.— Ничего, всех на ноги поставим. Только терпение. Терпения еще месяца три. На три месяца веры, желания, терпения.

Круглый, как шар, бритоголовый, он остановился около Василия.

— Переливание крови сегодня сделаем. Задерживаться нельзя. Жизнь такая кругом! Кипит! Совсем вы тут обленились. Потом будете ругать: вот, мол, приучил лежать, а нам работать надо. Так ведь?

После переливания крови Василия лихорадило. Он весь вечер пролежал, закрывшись одеялом с головой, и только под утро забылся тяжелым сном. Проснулся внезапно. Что-то больно ударило в глаза. Над крышей стояло солнце. Нежин улыбнулся и опять заснул.

4

— Тетя Поля, стащи меня на балкон, на солнышко хочется,— попросил Василий.

Нянька легко выкатила на роликах кровать из палаты.

Казалось, девушка ждала Василия. Как только он появился на балконе, она засмеялась и подняла руки.

— Вот оно что, — протянула нянька, — а я думала, солнышко его манит.

— Солнышко и есть, тетя Поля,— ответил Василий.

В голубом небе медленно плыло одинокое, пронизанное солнечным светом облако. С Невы доносились гудки пароходов, а внизу была уличная сутолока.

Девушка бегала по лесам, словно коза, и Василию было хорошо. Что из того, что он не видит ее лица, не сказал ей еще ни одного слова, даже не знает, как ее зовут! Разве в этом дело? Важно, что она здесь.

В этот день профессор Смагин, осматривая Нежина, остался доволен. Василий был непривычно оживленным. «Какие у нее глаза?» — все думал он и пробовал представить себе светловолосую девушку, но, кроме легких волос, развеваемых ветром, да зеленого платка, беспрестанно мелькавшего среди паутины лесов, в памяти ничего не оставалось.

В воскресенье явился парикмахер.

— С праздничком, — произнес он. И сразу сообщил: — Имел удовольствие ехать в новом троллейбусе. Огромен, как дом! — И протянул Василию маленький букет сирени.

Василий с удовольствием понюхал цветы.

«Вот что значит сирень...» — обрадовался парикмахер и решил всегда дарить цветы хмурым, капризным больным.

В этот день он подстриг Василия «под польку», сделал косые височки, смочил волосы и, расчесав их, туго затянул полотенцем.

— Мы разделяем клиентов на две категории, — весело говорил он. — Бобры и моржи. Бобры — это те, кто принимает все предложения мастера. Моржи обычно бреются без одеколона, стригутся без смачивания волос. Вы, Вася, бобер. — Он его побрил сверху вниз и снизу вверх, два раза накладывал компресс, делал массаж, пудрил и, когда все было готово, жестом фокусника снял с головы Нежина платок и замер.

— Сколько же вам лет, Вася?

— Двадцать четыре.

— Ну, знаете, вам можно дать шестнадцать!

Иван Мамочкин, как всегда, густо хохотал, когда ему попадала в широко раскрытый рот одеколонная пыль. Пожелали постричься и остальные больные — старичок с суворовским хохолком и подросток с расцарапанным лицом. Он лазил на черемуху, свалился и сломал себе ногу.

— Я двояко радуюсь, что Исмаил выздоровел, — сбривая больному старичку хохолок, говорил парикмахер. — Прежде всего, естественная человеческая радость,

а второе — сугубо профессиональное: после его волос бритва моя была пригодна резать только масло.

Ночью Василий спал почему-то тревожно, несколько раз просыпался. Утром он старательно умылся, долго причесывался, укладывая волосы то на косой пробор, то зачесывая их со лба на затылок. После завтрака нетерпеливо поглядывал на дверь, дожидаясь санитаров.

— Давай-ка я сама тебя выкачу, чего томиться... — сказала тетя Поля и выкатила кровать на балкон.

Солнце ослепило Василия, и на мгновение все стало радужным. Он прикрыл ладонью глаза. Леса уже дошли до крыши. Там ходили люди, и над их головами носились ласточки, взблескивая белой грудью. Девушки не было видно.

«Где же она?»— подумал Василий и стал упорно смотреть на леса. У него даже заболела шея, но девушки в зеленом платке все не было.

Не было ее и на другой день и на третий. И словно все потускнело для Василия. Когда приходила ночь, он засыпал с надеждой, что увидит девушку утром, потом ждал ее к обеду, к ужину, не дождавшись, надеялся увидать завтра. Не вытерпев, он подозвал тетю Полю и попросил сходить в восстанавливаемый дом, узнать, что случилось с девушкой.

— А как ее зовут-то?— улыбнулась тетя Поля.

— Не знаю. Да там она одна такая в зеленом платке.

— Ну-ну, только не знаю, найду ли. В зеленом платке говоришь?

Вернулась она не скоро.

— Заболела твоя девушка. Простудилась.

Василий встревожился. Перестал разговаривать.

— Опять капризы, — задумчиво улыбнулась Алевтина Валериановна, останавливаясь около его кровати как-то вечером.

Василий хмуро взглянул на нее, и ему показалось, что она что-то знает. «Тетя Поля, наверно, проболталась», — подумал он и отвернулся.

Прошло еще несколько дней, прежде чем он увидал девушку. Совершенно неожиданно она пришла к Василию в палату, в зеленом платке, веселая, с маленькой коробкой конфет и книгой под мышкой. Улыбаясь, пробежала взглядом по лицам больных и остановилась на Василии.

— Здравствуйте, — громко сказала она. — Это вы мне все время с балкона машете?

— Я...— растерянно ответил Василий. Нет, он никогда не думал, что она так красива! Он даже захотел, чтоб она была попроще. Уж слишком хороши были ее веселые глаза, слишком ярок румянец. Она прошла к постели, протянула руку, и он почувствовал сухой жар ее ладони и силу маленьких крепких пальцев. Их глаза встретились немного смущенные.

— Вот вы какой, — произнесла она.

— Какой?— улыбнулся Василий, и тут же спросил:— Что это у вас за книга?

— Стихи. Любите?— и, не дожидаясь ответа, рассмеялась:— А все-таки мы очень забавно познакомились. Меня ребята спрашивают: кому это ты машешь? А я не говорю...— Ее глаза стали узкими, и на носу появились тоненькие морщинки.

— Почему не говорите?

— А зачем? Так лучше... Как вас зовут?

— Василий. А вас?

— Тася.

И вдруг стало не о чем говорить. Выручил больной старичок. Он густо всхрапнул и, словно испугавшись своего храпа, проснулся:

— Я, кажется, кричал?

— Нет, не кричали,— смеясь, ответила Тася и посмотрела на Василия.— Знаете что, давайте есть конфеты. Не думайте, это не витамины, это театральное драже.

Василий взял несколько горошинок и, как семечки, побросал их в рот. Тася, глядя на него, также широко раскрыла рот, но конфеты стукнулись о ее зубы и покатились по полу.

Иван Мамочкин смотрел то на Василия, то на Тасю, но, заметив на себе ее взгляд, нахмурился и с серьезным видом принялся читать толстую книгу «Овощеводство».

Громко стуча каблуками, в палату вошла Алевтина Валериановна, мельком взглянула на девушку и сердито сказала исцарапанному парнишке:

— Если еще раз сойдешь без разрешения с постели, так и знай — привяжу!

Тася рассмеялась и, сделав круглые глаза, шепотом спросила Василия:

— Достается вам от нее?

— Черствая, как солдатский сухарь. Иван Мамочкин говорит — у нее сердца нет.

Тася задумчиво посмотрела на Алевтину Валериановну и сказала:

— А по-моему, она очень хорошая.

Старичок опять густо всхрапнул и сонно спросил:

— Я не кричал?

— Нет, но можете закричать. Меньше спите на затылке,— скороговоркой сказала Алевтина и вышла.

— А вы знаете, нам теперь не придется каждый день видеть друг друга,— сказала Тася.

— Почему?— испугался Василий.

— Я ушла со строительства. А мне очень нравилось, как мы махали друг другу. Но это ничего. Я буду вас навещать.— Тася доверчиво положила свою горячую руку на его пальцы.— А теперь мне пора. До свиданья, Вася.— Она встала.— Вы будете меня ждать?

— Буду,— ответил Василий, в упор глядя в глаза девушке и почему-то не веря, что она придет.

— Поправляйтесь только быстрее. Хорошо?

— Хорошо,— покорно сказал Василий. И ему стало грустно.— Я буду ждать.

Она взмахнула рукой, но не как обычно, вытянув ее и потряхивая пальцами, а только полусогнув. И ушла.

— Хорошая девушка,— произнес Мамочкин, как только ее шаги стихли в коридоре.— Одно нехорошо: больно красивая...

5

Прошло несколько дней. И однажды утром, во время осмотра, профессор Смагин разрешил Василию посидеть.

Василий спустил ноги с кровати, и все поплыло у него перед глазами, на лбу выступил пот. Он опять лег на постель, но через минуту поднялся и, слабо улыбаясь, чувствуя приятное головокружение, посмотрел на Мамочкина. Иван трогательно улыбался.

— Сидит! Мать честная! Я говорил: верь Квадрату. Не обманет...

— Какому квадрату?— спросила Алевтина Валериановна.

— Ну, то есть профессору нашему. Да...

Весь этот день Василий чувствовал себя как бы вновь

рожденным. Он глубоко вдыхал воздух, и воздух казался легким, пахнущим весной, дождевой свежестью. Даже надоевшая ему палата показалась иной — она как-то уменьшилась, и он почувствовал, что ему в ней тесно.

— Ну как, хорошо? А?— допытывался Мамочкин.

— Хорошо,— слабым голосом ответил Василий.

— Ну, вот, считай и поправился! Теперь тебе уж недолго. А за тобой и я...

Василий взглянул на Мамочкина и удивился, заметив, как высох и пожелтел Мамочкин.

Было тихо, и только слышалось изредка, как всхрапывает старичок. Неслышно ступая мягкими туфлями, вошла тетя Поля и подала Василию небольшой запечатанный конверт:

— Письмо вам.

Василий жадно схватил конверт. «От Таси»,— подумал он, испытывая тяжелое беспокойство. Но, посмотрев на конверт, сразу понял — письмо от Исмаила.

— Мамочкин! — закричал он.— Исмаил пишет.

Письмо было восторженное.

«Братья!— писал Исмаил.— Я дома! Солнце меня встречало, чинары здоровались со мной, моя старая мать плакала слезами радости на моей груди. Три дня и три ночи приходили ко мне люди, и мы пили вино, кушали барашка. Потом стал работать. Нога совсем хорошая. Прошу, пожалуйста, ко мне приезжать, буду угощать самым хорошим вином, самым сладким виноградом. Передавайте боевой привет профессору Смагину, Алевтине Валериановне, нянюшке. Пишите мне. Мой адрес пишу сам, а все письмо писал по моим словам мой товарищ, учитель Ильяс — сын Юсуфа Хагани».

— Фронтовик, он не забудет друга, да!— кричал Мамочкин.— Ей-богу, к нему поеду. Только бы из корыта вылезти...

6

Время для Василия не тянулось уже так медленно, как прежде, хотя он ждал с нетерпением воскресенья. Несколько дней назад в палате появился новый больной. Это был рыжий, коренастый, удивительно неугомонный человек. На другой же день после водворения в палате он потребовал, чтобы его вынесли на балкон. Профессор

разрешил. И тут начались изумительные вещи. Приложив ладони к губам, больной закричал высоким, перекрывающим шум улицы голосом:

— Ого-го!

Василий видел с балкона, как на лесах на мгновение все замерло. Откуда-то выскочил высокий паренек в синем комбинезоне и замахал руками.

— Ка-ак де-ла?— кричал больной, и голос его врывался в палату, в коридор, будоражил больных.

— Хо-ро-шо!— неслось с улицы.

— По-ря-док!— продолжал кричать, напрягаясь изо всех сил, больной, и шея у него так краснела, что сливалась с цветом волос.

Василий смеялся.

На балкон прибежала тетя Поля.

— Чего ты орешь? С ума сошел?

Но больной не обратил никакого внимания на ее слова. Он все смотрел на дом, который постепенно освобождался от лесов. Правое его крыло уже было окрашено в голубой цвет. Белые рамы, белые гирлянды цветов еще больше оттеняли его голубую свежесть.

— Не кричи!— не унималась тетя Поля.— А то недорого возьму и в палату стащу.

— Эх, черт, бинокля нет,— с сожалением воскликнул больной.— Был бы бинокль — совсем другой разговор.

Василий удивился, как это ему не приходила в голову мысль о бинокле, когда Тася бегала по лесам.

Бригадир неожиданно плюнул:

— Ну, и на кой бес в одно окно и кирпич и раствор подавать? Ах, черт!.. Эй!— заорал он.— О-го-го!

— Да ты что это, в самом деле, озорничаешь-то,— вскипятилась тетя Поля,— ну-ка, давай отсюда. Все больные как больные, а этот не поймешь кто...— Она схватилась за кровать и потащила ее с балкона.

— Стоп! Стоп, говорю!— закричал больной.— Не буду, честное слово, не буду. Ведь я же бригадир.

— Ну, смотри, парень,— предупреждающе погрозила пальцем тетя Поля.

— Точка. Не буду больше. Только нельзя им в одно окно подавать и раствор и кирпич. Время гробят. Понимаешь?— И ласково попросил:— А ты дверь закрой... Ну, закрой... Прошу...

Тетя Поля, вздохнув, прикрыла дверь. Бригадир снова

во весь голос закричал. И сразу же ведра, испачканные известкой, пошли в одно окно, а кирпич с подъемника — в другое.

— Телефон бы,— сокрушенно произнес бригадир.— Или хоть, на плохой конец, рупор, в какой на стадионе командуют...— Он, по-видимому, успокоился и молча наблюдал за работой.

— Ты, того,— откладывая в сторону новую книгу — «Полеводство», обратился к нему Мамочкин.— Когда надумаешь еще кричать, предупреждай, а то меня с мысли сбиваешь. Да.

— Ладно,— отмахнулся бригадир.— Эх, жалко, Пантелеевой нет. Она бы распорядилась за меня.— И обратился к Василию.— Видали, наверно, в зеленом платке все бегала?

Василий, улыбаясь, кивнул.

— Из моей бригады. Теперь она сама бригадир. На Литейном дом восстанавливает.

Василий долго сидел, облокотясь на перила, смотрел на леса, на голубые просветы между ними, на окна, в которых скоро появятся занавески. В этот день у него было такое состояние, словно он впервые увидал широкий, сверкающий мир. Куда-то бесследно исчезли тоска, безразличие, отчаяние. «Что случилось?» — думал он, не узнавая себя. И, вспоминая о Тасе, улыбался, как улыбается человек, который считает себя вправе любить и ждать любви.

В воскресенье до обеда Василий был спокоен. Но когда в коридоре послышались торопливые шаги людей, идущих к больным, он стал волноваться и все нетерпеливее поглядывал на дверь. Проходило время, а Таси все не было. Он прочитал стихи, какие были в книге, оставленной ему Тасей, и уже отчаялся, думая, что она не придет.

Но она пришла, запыхавшаяся от быстрого бега по лестнице.

— Здравствуйте, Вася,— одним духом сказала она.— Не сердитесь, что опоздала.

Конечно, он не мог сердиться. Он только молча смотрел, не отрываясь, в ее большие и глубокие глаза.

— А вы уже сидите?— удивилась она, и у нее на носу появились тоненькие морщинки.

— Четыре дня,— улыбнулся Василий и тихо произнес:— А здесь ваш бригадир лежит.

— Какой бригадир?— пробегая взглядом по больным, спросила Тася.

Василий кивнул на рыжего парня. Тася смешалась. А бригадир, заметив, что на него смотрят, отвернулся.

В палату торопливо вошла Алевтина Валериановна. Еще никогда не видали ее такой встревоженной Иван Мамочкин посмотрел на больных: не сбежал ли кто? Алевтина круто повернулась к Тасе:

— Девушка, вам пора уходить.

— Да вы что!— воскликнул Василий, неприязненно смотря на Алевтину, но в эту минуту в дверь стремительно вошла загорелая девушка. На ее голове был зеленый платок. Бригадир в замешательстве чуть не вскочил с постели.

— Зинка!— крикнул он.— Пантелеева, родная!

Девушка засмеялась и побежала к нему.

— Мне пора,— густо краснея, сказала Тася. Ее дергала за рукав Алевтина.

— Да подождите вы!— крикнул Василий на Алевтину. Он ничего не понимал и удивленно смотрел то на Тасю, то на Зину.— Кто же вы такая?— наконец спросил он смеясь.

Тася поднялась со стула и тихо ответила:

— Сестра Алевтины.

— Алевтины?

Василий растерянно взглянул на старшую медицинскую сестру, и ему стало ясно, что так встревожило эту на вид всегда суровую женщину.

РАССКАЗ О ЛЮБВИ

Нас было трое: Ларька Колобов, Костя Морозов и я. Если говорить о том, кто из нас троих красивее, то надо сразу сказать, что мы с Ларькой в подметки не годились Морозову. Это был действительно красавец. Выше нас на целую голову, прекрасного сложения, голубоглазый, как девушка, и самоуверенный, как чемпион. Ларька с лица был так себе, но сердцем обладал замечательным: держался всегда в тени, готовый в любую минуту отдать все, чтобы только помочь другим. Что же касается меня, то я проигрывал в глазах девчат, находясь рядом с Костей, хотя и выгодно отличался от Ларьки.

Ничто не мешало нашей дружбе. Мы любили спорт: зимой — лыжи, летом — футбол, любили вечера в нашем заводском клубе, любили свою школу при заводе, свои станки, на которых немало попортили металла, прежде чем научились токарному делу...

Однажды, уж так заведено, встретилась нам девушка. Звали ее Полиной. И до нее мы видали девчат, но Полину нельзя было и в сравнение с ними поставить. Это все равно, что сравнивать красавца Костю с маленьким Ларькой. Полина только что поступила в училище, где мы учились уже третий год. Вот уж верно сказано: красоту словами не выразишь, все бледнеет перед красотой. Даже Костя, этот самоуверенный парень, которому прыгнуть с парголовского трамплина было пустячным делом, и тот оробел, когда Полина, чуть улыбнувшись, посмотрела на него.

Только после того, как она прошла мимо нас, он перевел дыхание.

А я почувствовал, как у меня в сердце открылась светлая комнатка, и в нее вошла эта девушка, и прочно осталась там.

Каких только дум я не передумал! И все о ней! Одна мечта была чудесней другой. И все о ней! Мне ничего не стоило в таком праздничном состоянии пройти после работы пешком от «Красного выборжца» до улицы Декабристов — вдоль по Неве, через Неву, по Марсову полю, по длинной улице Плеханова... И все думать о Полине, мысленно разговаривать с ней, шутить, смеяться. Воображать себя красивым, смелым, любимым.

Но на самом деле я не решался заговаривать с нею. Только молча из-за своего станка смотрел в дальний угол цеха, где работала она. Иногда я подходил к ее подруге, некрасивой девушке. С той мне было легко говорить о чем угодно. Откуда-то и слова брались и шутки. Некрасивая подружка смеялась. И я был очень доволен, если Полина глядела в нашу сторону. «Пусть знает, что не такой-то уж неловкий парень я,— было у меня в голове,— если надо, так я могу вот так же и с ней пошутить и посмеяться».

Однажды у нас в клубе шел спектакль. Мы, конечно, сидели в разных местах. Она у окна, а я у другой стены. Что уж там шло на сцене, не помню. Да и неинтересно мне это было. Не терпелось посмотреть на Полину.

И лишь только наступил антракт, я вскочил с места и нашел Полину взглядом. В ту же минуту она поднялась, посмотрела в мою сторону. Так — через весь зал — мы и смотрели друг на друга, пока снова не погас свет. То же было и в следующий антракт и еще в следующий, пока не кончили спектакль. Чего было бы проще подойти к ней, но мне было и так хорошо. Правда, я даже не знаю, замечал ли мою любовь Костя. Я не думал в то время и о Ларьке. Мне было не до них.

И еще: не знаю, как это получилось, но ее направили ко мне в ученицы. Я так и замер от радости, когда услыхал такое от старого мастера Василия Петровича, сухонького старичка, носившего мушкетерские усы и бородку.

И вот Полина пришла ко мне. Я пустил станок на самую бешеную скорость — латунь под резцом завыла сиреной, мелкая стружка, словно из брандспойта, хлынула вдоль мастерской. Мое сердце готово было вылететь от вострога. «Полина здесь! Со мной! Рядом!» Но я робел на нее смотреть и все ниже склонял голову над станком.

— Ты, может, объяснишь что-нибудь?— сказала она.

Мне стоило немалого труда разговаривать с ней. И то лишь только о деле — ничего лишнего. Она очень внимательно слушала, не сводя с меня больших темно-карих глаз. В их глубине мерцали золотистые звездочки. От этих звездочек мой язык немел, и я отворачивался. Я мог часами смотреть на ее руки, на то, как она работает, и молчать. Когда кончилась смена, я первым выбегал из цеха, из проходной и ждал ее на улице, чтобы потом издали наблюдать за нею...

Все это кончилось плохо. В один из дней я узнал, что за ней ухаживает Костя. Узнал еще и то, что Полина стала смотреть на меня равнодушно. И тогда я понял, что мимо меня прошла любовь.

Мне было очень тяжело. Костю я не мог видеть. Теперь все мои думы сводились к тому, как заставить ее вернуться ко мне. Я строил множество планов, вплоть до похищения. Но, как и всегда, это были только мечты. На деле же я ни на что не мог решиться и все чаще изливал душу Ларьке, который, оказывается, тоже ее любил, но даже и в мыслях не смел бороться за свою любовь.

Так миновал год. Учеба была окончена. Наступили

каникулы. А когда они прошли, известие, что Костя женился на Полине, окончательно расстроило меня. Потом началась война с Финляндией. И я одним из первых добровольцев ушел на фронт с лыжным батальоном. Суровой была эта маленькая война. Все помнят, какие тогда стояли морозы: погибли сады, раненые замерзали за три минуты на снегу. Повзрослел я на этой войне. Многому научился и многое понял. Но сердце мое было по-прежнему занято. Только чувство как-то отодвинулось и уже издалека согревало меня светлым теплом милой юности — чего-то невозвратного, каких-то надежд.

Вернувшись с войны, я поступил на другой завод и вскоре узнал, что Костя бросил Полину. Много позднее я повстречал Ларьку Колобова. Он рассказал, что встречается с Полиной, по-прежнему любит ее.

И еще прошло пятнадцать лет. И вот я снова встретился с ней. Но не та, которая жила все эти годы в моем сердце, а другая — пожилая женщина, столько же испытавшая в жизни, как и я, а может, и еще больше,— стояла передо мной. Она смеялась, радуясь этой встрече. Я глядел в ее глаза, они были такие же большие, темнокарие, но в глубине их уже не мерцали звездочки; я видел ее губы, но не те, упругие, а прочерченные тонкими морщинками, и все ее лицо было как бы покрыто дымкой многих лет. И все же это была Полина.

Не обращая никакого внимания на прохожих, мы — два пожилых человека — вели себя как подростки: стояли среди Невского, держали друг друга за руки и, перебивая один другого, высказывали все то, что когда-то держали в себе, о чем надо было говорить тогда, а не теперь. Вспомнили и тот клубный вечер, когда я, как поплавок, выскакивал из рядов, и те, самые дорогие дни в моей жизни, когда она, склонив голову, старательно выслушивала мои поучения, и даже то, как я провожал ее на расстоянии. Она это, оказывается, тоже знала. Она любила меня и до сих пор часто вспоминала, все жалела, что так грустно у нас сложилась любовь.

Теперь мы уже обо всем говорили без стеснения, словно прошедшие годы дали нам право на откровенность.

Костю она не любила и только потому приняла его ухаживания, чтобы раззадорить меня, чтобы я стал посмелее. А вышло все иначе. Ларька Колобов любил ее.

Любил так, что она могла бы быть счастлива. У него было очень хорошее сердце. И все же это ей не мешало помнить меня, и она все время жила надеждой, что когда-нибудь мы непременно встретимся. И мы встретились.

В ее жизни было много горького. Она с трудом перенесла блокаду, потеряла всех родных. Ларька — милый, добрый товарищ — погиб в войну. Пал смертью храбрых. Но это все было... Все в прошлом.

— Ты должен непременно ко мне прийти,— сказала она и на клочке газеты написала свой адрес.

И вот я у нее. За окном дождь. Видно, как косые струи летят в свете уличного фонаря. Иногда ветер подхлестывает их, и они падают чуть ли не плашмя на мостовую. Уже поздний вечер. В комнате уютно и строго. Все вещи только необходимые — стол, шкаф, буфет, кровать, кушетка и несколько стульев.

— Ты так и не женился?— спрашивает Полина.

— Нет, не женился.

Она сидит рядом со мной на кушетке, подобрав под себя ноги. Теперь мы уже говорим спокойнее, говорим в раздумье, как очень близкие люди. Собственно, мы всегда были близки друг другу, и только что-то мешало нам. А теперь уже ничто не мешает. Но тут какое-то новое для меня чувство заставляет посмотреть на часы и подняться.

— Ну, куда ты пойдешь,— она посмотрела в окно,— на улице дождь.

И в самом деле, зачем мне уходить? Теперь я дома. Все, о чем мечталось, сбылось. И вдруг сердце охватывает тоска: почему же так все получилось у нас? Почему мы не стали хозяевами жизни? Почему моя робость победила любовь? Почему ее каприз победил любовь? Почему мы так плохо распорядились нашим счастьем? И мне становится нестерпимо жаль и себя и Полину, но, чтобы сохранить в себе тот светлый маленький уголок сердца, который согревал меня, вселял добрую веру в человека, я ухожу...

РАССКАЗ О ВОЙНЕ

Как легко было бы жить, если б помнилось только хорошее, а плохое забывалось, да так, будто его и не было! Но попробуй забудь, глядя на Анну Тополеву...

Кто не знал ее на селе! Только и разговоров было: кому-то достанется такая красавица? И верно, хороша была Анна. Вот, говорят: соболиные брови,— так это у нее были. Говорят: глаза с поволокой,— так опять же у нее. Косы до полу,— и это у нее. Парни по ней сохли...

А теперь нет Анны. Есть Аннушка. И хотя ей уже за тридцать, все, даже ребятишки, кличут ее Аннушкой...

Вот идет она в новеньких туфлях по широкой улице села Раздолье. На ней простое, не совсем ладно сшитое платье, в косы, как у девочки, вплетены голубые ленточки. Она торопится. Обеспокоенно глядит в конец деревни.

— Куда ж ты это принарядилась-то, Аннушка?— ласково спросит ее кто-либо из женщин.

— Мишу встречать,— радостно отвечает Аннушка.— Письмо получила. Пишет: «Скоро приеду...» Может, уже и приехал...

Письма она не таит, и если кто попросит, то охотно достанет из грудного выреза платья. Писем у нее много, и нет той недели, чтобы почтальонша, рябая тетка Наталья, не принесла ей конверт. Все письма пишутся одним человеком — Михаилом, мужем Аннушки. Живет он от нее за три дома, но не признает его Аннушка. Она, конечно, признала бы, если б не «тронулась» до того, как ему вернуться.

Мать Аннушки, Прасковья Авдеевна, так рассказывала мне эту грустную историю.

— Только денек, один-то денечек и пожила Аннушка с Михаилом после свадьбы. А на другой день ушел Миша с односельчанами на войну. И ровно окаменела Анна. Другие плачут, ревмя ревут. А у нее ни одной слезинки не выпало. Ночами не спит. Сидит у окна и глядит, глядит на дорогу... «Хоть бы поплакала»,— говорю. Молчит, да и только. Будто и не слышит меня. Уж больно любила она Михаила. Да и то сказать, парень-то был на отметину. Что ростом, что силой — всем взял. А уж характером такой мягкий да любезный, ровно голубь.

Пришло первое письмо от Миши. Ну, думаю, теперь-то отойдет. И верно, порадовалась она, даже на шею кинулась ко мне. Но быстро утихла. «Чего ты?»— говорю. Посмотрела она и глаза ладошкой закрыла. «Когда, говорит, письмо-то пущено?.. Мало ль что с ним за это время могло случиться». Заругалась я, закричала: «Как же это так, говорю, можешь ты думать? Ты верь в хоро-

шее».— «А если б не верила, так и не жила бы»,— ответила она.

Ну, думаю, ладно, время идет, глядишь, и горе отойдет. Другие с детьми остались. Потяжельче, чем ей-то... Ну, и работа, конечно, отводит думы. Работы у нас завсегда невпроворот. Аннушка много работала. Не жалела себя. Летом от зари до зари и мотыжила и полола; зимой в лесу валила деревья, чуть не на себе таскала. И плотничала. И траву косила.

«Что уж так-то,— другой раз скажу ей,— хоть бы поберегла себя. Миша-то вернется — не узнает. Смотри, как почернела. Одни косы и остались».

Молчит, только вздохнет да отмахнется от моих слов. Конечно, если б и другие утешали ее, тогда, может, и отошла бы Аннушка, но мало кому было дела до ее тоски. Ведь не проходило месяца, а то и недели, чтоб в село не приносили похоронную.

Так вот и жила — ни в радости, ни в печали, а словно бы во сне. И день ли для нее, ночь ли — все равно. Зима ли на дворе, весна ли — без внимания. И только, помнится, один раз вышла из себя. Как-то наведалась к нам свекровка, мать Михаила, Татьяна Семеновна, и говорит Аннушке, что не худо бы в церковь сходить, за здравие помянуть воина Михаила. Так Аннушка чуть не прибила ее. «Если уж, говорит, моя любовь не спасет его, так никакой бог не поможет!»

Свекровка обиделась, а я, грешным делом, порадовалась. Значит, думаю, перестала Аннушка мучиться от письма к письму. Самое-то ведь страшное — время это прожить. А письма Миша писал хорошие. О войне ни словечка не говорил, а все больше о любви да как жить будут, когда вернется. И получалось у него как-то так, что о его смерти и не думалось. И все за посылки ее благодарит, что на фронт она слала солдатам. За носки шерстяные или за варежки. Овец мы держали. Так Анна и обстрижет их, и шерсть перемоет, и спрядет, и свяжет, и обязательно буквы выведет — «люблю» или «помню». И все сама. Никому не дозволяла. Сдается мне, замысел она свой имела. Мол, кто бы ни носил, а все равно Мишу пуля не тронет. И ведь верно, за все четыре года даже не царапнуло Михаила. А уж сколько полегло наших мужиков, сколько калек вернулось...

Как тянулось время, никакими словами не передашь.

Измучилась я, глядя на Аннушку. А всему — и горю и радости — всегда приходит свой срок. И вот все чаще стали говорить и по радио и в газетах о победе, что войне скорый конец. В эти дни извелась Анна. До счастья-то осталось совсем недолго. Да уж больно счастье-то велико. Не верится. Нет счастья — и живешь абы как, а то придет да уйдет, так еще горше жизнь покажется.

Но только зря Анна в ту пору тревожилась. Пришло письмо и от Миши, чтоб встречала его, что войне скоро конец. А тут и в самом деле войне объявили конец. Ну что у нас было на селе! Целуются, плачут, радуются. Аннушка так прямо переменилась. Откуда что взялось! И глаза горят, и щеки в румянце, и улыбается, будто на солнышко посмотрела. И вдруг заплакала. И не унять никак. Да я и не унимала. Не шутка — четыре года держать сердце в кулаке.

Ну, стали возвращаться с фронта. Ребятня вокруг батек кружится, старики суматошатся, жены и плачут и смеются.

Анна словно горела в эти дни. И полы намыла, и окна протерла, и все до последней тряпки выстирала. И за подснежниками в лес сбегала. Тополю наломала, чтоб духовитей в избе стало. И все боится — вдруг не заметит, как на дороге Миша покажется. Там дорога на две стороны расходится. Одна идет в соседний колхоз, а другая на станцию. Прождет там Аннушка час, другой — и ко мне.

«Что ж это Миша-то не едет?— спрашивает.— Вот уже сколько вернулось...»

«Да приедет... Теперь-то уж приедет. Не все враз».

А ей не сидится. Побежит к свекровке. А у той и у самой сердце места не находит. Еще пуще расстроится. Опять домой. Достанет письмо. Перечитает его и повеселеет.

А фронтовики все возвращаются.

«Мишу моего не видали?»— спросит она кого.

«Едет!»— отвечают ей.

И хоть знает она, что солдаты так, для радости, говорят, верит им.

«Мамынька, пойду я... Может, Миша и верно едет. Может, и приехал»,— как-то уж под вечер сказала она.

«Что ж, иди»,— ответила я.

Принарядилась она. Песню, уж не помню какую, за-

пела. И ленточки в косы вплела. Любил Миша, когда у нее в косах ленточки. И только было пошла, как в избу вбежал Володька, меньшой брат Михаила, мальчоночка лет двенадцати. И тут же у порога и закричал.

«Аннушка, кричит, иди скорей! Мамке худо. Мишу-то убили!»

Как сказал он эти слова, так Аннушка и помертвела. Сначала-то вроде и не хотела верить, слабо этак рукой на него помахала, да ведь поверишь, если Володька-то перед ней ровно лист осиновый трясется. Вот тут-то и тронулась она...

На этом Прасковья Авдеевна закончила свой рассказ. Торопливо утерла концом косынки глаза и отвернулась.

Но горькая история с Аннушкой на этом не закончилась. В помраченном бедой сознании ее накрепко засеклось все, что было до той минуты, когда прибежал Володька. Время как бы перестало отмерять для нее свой шаг. Все остановилось на той минуте, когда она собралась встретить Мишу. И что̀ бы она теперь ни делала, чем бы ни занималась, вдруг все бросала и торопилась к развилке дорог — встречать Мишу.

И однажды встретила. К ней подошел с вещевым мешком за спиной, в солдатской шинели, изуродованный огнем человек. Но Аннушка и смотреть на него не захотела.

— Разве Миша у меня такой?— ответила она ему.— Он красивый, а на тебя и глядеть-то страшно...

— Аннушка,— судорожно глотнув воздух, сказал Михаил.— Я ведь это... в танке горел, потому и такой...

Но она и слушать не захотела и, как всегда, заторопилась:

— Пойду встречать... Письмо получила. Пишет: «Скоро приеду». Может, уж и приехал...

Идут годы. Много новых домов появилось в селе Раздолье. Мужают парни. Растут ребята. Каждый год сельчане играют свадьбы. И редко услышишь рассказы бывалых фронтовиков о войне. Новые дела, новые заботы. И только для Аннушки нет времени. Давно уже истерлось то первое письмо от Михаила, в котором он писал, чтобы встречала его. Но это не беда. Каждую неделю почтальонша тетка Наталья приносит ей письма. Их пишет Михаил. Это он покупает ей обновки, купил

туфли... Все знают об этом. И никто уже не пытается разбудить Аннушку. Доктора — и те отступились. Да и ни к чему это. Аннушка счастлива: «Миша едет!»

ДОРОГИ

Я люблю ходить по дорогам. Они всегда разные и всегда одинаковые, не имеющие ни конца, ни начала. Тянутся по бескрайним степям, огибают глубокие овраги, теряются в тенистых лесах, то мощенные камнем, то плотно утрамбованные колесами машин и подковами лошадей, то в выбоинах с водой и грязью. Сливаются одна с другой, расходятся во все стороны, чтобы снова сойтись, и всегда, неизменно выводят к людям, к их домам, к их жизни.

Однажды мне довелось добираться осенней дорогой в колхоз «Красный берег». Дорога лежала среди пустых полей, стояла та тишина, какая бывает только в октябре. Помню, кропил дождь. На дороге темнели большие лужи. День клонился к вечеру. Когда я дошел до деревни, уже было темно и в избах мерцал неяркий, красноватый свет керосиновых ламп.

После недолгих поисков я нашел дом Наташи Маловой. Дверь открыла девушка лет двадцати и, выслушав, кто мне нужен, ответила, что это она и есть.

Дом был стар, из двух половин, — кухня с громадной печью и просторная горница. Вещи в ней были характерны для тех мест, где недавно прошла война, где люди еще мало думали об уюте и больше заботились о еде. Все в доме было случайное, бог весть как попавшее: и стол, обычный канцелярский стол, измазанный чернилами, и односпальная железная кровать, и старинная горка без стекол, занятая вместо посуды книгами с обтрепанными переплетами, и покосившийся комод, на котором лежал осколок зеркала. Но было и новое, что заставило меня приехать. Это — Почетная грамота. Она висела в простенке между окнами. Вокруг нее виднелось несколько фотографий — друзья и подруги Наташи, с которыми она, наверное, вместе работала на полях.

Наш брат журналист скоро осваивается с незнакомыми людьми. Но в этот раз как-то особенно быстро наладилось знакомство. С чего тогда начался разговор, пра-

во, трудно вспомнить, но что осталось в памяти, так это необычный, какой-то очень доверчивый смех девушки. Я хотел слышать его еще и еще и поэтому старался шутить.

— Вот никогда не думала, что в газетах такой веселый народ, — грудным, чуть глуховатым голосом сказала Наташа и улыбнулась, влажно блеснув белыми крупными зубами со щелочкой посредине. — Мне они почему-то всегда казались вроде учителей. Всегда серьезные.—Она помолчала и в раздумье произнесла: — Вот другой раз читаю про плохого человека в газете и думаю: неужели у него нет хорошего?

Я ответил, что, вероятно, у него есть и хорошее, но дело не в этом, а в том, чтобы осудить в нем именно плохое.

— Тогда так надо и сказать. Ведь вы же называете имя человека, и все подумают: «Какой он плохой!», станут сторониться, а в нем есть и хорошее, и этого никто знать не будет.

Я посмотрел на часы. Начало девятого, а за окнами уже давно темно. В осеннюю пору в деревне ложатся спать рано...

По роду службы мне приходилось «вставать на постой» где случится. Иногда командированных колхозники принимают поочередно, и тогда хорошо, если попадешь к радушным хозяевам. Бывает и так, что председатель колхоза специально держит в своем доме для областных и районных гостей жесткую, покрытую солдатским одеялом кровать. Редко, но приходится ночевать и в комнате для приезжих. Обычно это холодное помещение, протапливаемое только изредка. Зимой промерзшая постель, в которой долго не можешь согреться, обледенелые окна, чуть оттаявшие от срочно протопленной печки. В такой комнате жизнь кажется грустной, но все же себя чувствуешь свободней: никого не стесняешь, никто не мешает тебе...

— Это ничего, что я с вами спорю? Быть может, неинтересно?

Я ответил, что очень интересно. Тогда она, чуть приподняв широкие брови, сказала:

— Вы замечаете плохое в отдельном человеке, и это вас волнует. Но почему вас не волнует это? Вот смотрите, — она легко прошла к простенку, где висела Почетная грамота с фотографиями, — Васи Смирнова нет. Нет и Кости Краева, и Алеши Владимирова, и Веры Колчи-

ной. Все уехали в город. Бросили колхоз. Ведь это же плохо! Мы говорим о счастье, мечтаем, чтобы оно было повсюду на нашей земле. Но ведь оно само не придет. Его надо делать. А кто же будет делать, если в деревне одни старики останутся? — И в глазах у нее появилась тревога.

Я ответил, что городу тоже нужны кадры.

— Нет, нет,— глубоко вздохнула Наташа, — это было бы правильно в другое время, но не теперь, когда только что по нашим местам прошла война... Знали бы вы, как нам нужны люди... И не потому ушли ребята, что их позвал город. Трудно у нас. Все работаем, работаем, и даже повеселиться негде. Костя Краев на гармошке играл и гармошку увез... Ну и пусть. И без него обошлись. Под балалайку пляшем. Глаша Синельникова научилась. Ох, и способная же она! Вы послушали бы, какие она песни складывает!— И засмеялась, видимо вспомнив что-то веселое. Помолчала и запросто, как говорят близким, предложила:— Поужинаем?— И, посмотрев на ходики, озабоченно сказала: — И где Витька пропадает?

Наташа порезала хлеб, достала из печки сковороду жареной картошки, из подпола — соленые огурцы, и все это без оговорок, что, мол, извините, уж чем богаты, тем и рады, что бог на душу послал. Села напротив меня, и мы начали есть.

Семилинейная лампа скудно освещала наш стол, оставляя в темноте дальние углы. И от этого большая, с низким потолком комната становилась еще больше и неуютней.

Открылась дверь, и в избу вбежал Витька. Сбросив пальтишко и обтерев руки о штаны, мельком взглянул на меня, поздоровался — не то чтобы недружелюбно, а как-то неуважительно — и уселся за стол. Наступила тишина. Но не прошло и минуты, как он посмотрел на меня и, фыркнув, сказал:

— На Павла Степаныча похож.

— Это почему же?— спросил я.

— И ничуть и не похож!— воскликнула Наташа.

— Не похо-ож? А ты посмотри, как он глядит-то, как все равно Павел Степаныч.

Наташа взглянула мне в глаза и весело засмеялась.

— Никогда, Витька, из тебя не выйдет художника. И чего нашел похожего? И совсем-совсем непохоже. —

И стала рассказывать про учителя, который недавно приехал работать в Краснобережную школу.

— Ну вот, видите, — сказал я, — возвращаются же люди в деревню! Вернутся и ваши друзья.

— Приходит один, а уходят десятки... Ну, да что вам говорить. Вы не поймете... Вот пожили бы...

— А что же, и останусь. Тут хорошо у вас. Поля, речка, лес. Ружье куплю. Буду зайцев стрелять. С Виктором на рыбалку ходить. С вами — по ягоды...

Наташа внимательно посмотрела на меня:

— Смеетесь все... — И с таким это было сказано укором, что мне стало стыдно.

— Да нет, просто пошутил.

— Вам легко шутить. А посмотрели бы, как девчата работали. Руки, ноги перетрескались, пока вырастили капусту. И не за грамоту мы старались, а просто хотелось поскорее жизнь наладить. Ну да ладно, что об этом говорить. Спать пора.

Витька молча вылез из-за стола. Я взялся за фуражку.

— Это зачем же?— просто сказала Наташа. — Вы можете и у нас заночевать. Сейчас, поди-ка, уж все легли спать.

Она приготовила мне постель в комнате, постлав все чистое, а сама улеглась с братом на печке.

Всю ночь подвывал ветер. В окна стучался дождь. Но в доме тикали ходики. Было тепло и тихо.

Утром я долго расспрашивал Наташу о ней самой, но она все говорила о своих подругах. Я обещал написать и о подругах, но все равно она о себе не говорила. Потом мы пошли к председателю колхоза. День выдался холодный, ненастный, и, хотя дождь перестал, было сыро и промозгло. Наташа была в легоньком пальто, в суконной шапочке, отороченной мехом. Нос у нее покраснел от холода, и она его прятала в воротник.

У дома председателя мы остановились.

— Если не уедете сегодня, приходите, — сказала Наташа и внимательно посмотрела мне в глаза. — А верно, что-то похожее есть у вас с Павлом Степанычем. — И слабо улыбнулась.

— А это что: хорошо или плохо?

— Откуда я знаю...

Председатель оказался неговорливым человеком, оза-

боченным своими делами, но все же, когда речь пошла о Наташе, он сказал:

— Эта девица — золото. Таких днем с огнем поискать. Сирота — ни отца, ни матери. В войну погибли. Сильная.

Мне всегда становится немного грустно, когда я расстаюсь с хорошими людьми, которых долго, а может, и никогда больше не увижу. В журналистской работе это профессиональная горечь. Сколько встреч, сколько знакомств, сколько сил вложено, чтобы узнать человека, расположить к себе, чтобы он доверился, и когда узнал его — расстаешься без всяких надежд на будущие встречи. Редко приходится писать об одном и том же человеке дважды. И теперь мне было грустно — грустно от той мысли, что вряд ли доведется повидать ее еще раз.

Статья получилась обычная, деловая и, возможно, поэтому быстро появилась в газете. А мне хотелось написать совсем другое, рассказать так, чтобы всем, как и мне, стало немножко грустно, когда расстаешься с хорошим человеком.

В сутолоке газетной работы память о Наташе стала постепенно слабеть, и лишь изредка какая-нибудь примета — тикающие ходики в тишине, ветер над крышей или дождь, бьющий в окно, — вдруг напоминала о ней.

...Стояла весна, когда мне случилось опять выехать в тот же район. Весело было шагать по дороге, перепрыгивать через бурлящие ручьи, брести в сапогах по сверкающим разводьям талой воды, слушать грачиный гомон, дышать воздухом, в котором перемешались запахи и земли, и снега, и воды, и первых трав, и распускающихся почек. Шел я в другой колхоз, но вдруг подумал: «А почему бы мне не свернуть в «Красный берег»?» И свернул и зашагал по знакомой дороге, но такой новой в этот весенний день.

На дверях ее дома висел замок. С крыши торопливо падали тяжелые капли. Воробьи шумно плескались в лужах, отмывались за зиму. Всюду сверкала вода. Я постоял на крыльце и хотел уже было пройти к соседям, спросить, где она, как из прогона послышался знакомый голос и, окруженная девчатами, на улицу вышла Наташа. Она увидела меня. Удивленно приподняла широкие брови, и, торопливо перейдя дорогу, подошла к крыльцу.

— Вот вы и опять приехали... А у нас уже весна... —

сказала она и посмотрела на меня своими ясными, доверчивыми глазами.

— Я потому и приехал, что у вас весна. Больше нигде ведь ее нет.

— Верно?— удивилась Наташа, но тут же поняла, что я шучу, и засмеялась.

Мы вошли в дом. И там было солнце. Оно лежало на полу, на стене. От ведер с водой по потолку ходили светлые радужные волны.

Наташа, как мне показалось, похудела. Я об этом и сказал ей.

— Ну да, чего мне сделается, — ответила она, вспыхнув, и тут же стала рассказывать про какого-то тракториста, который хочет подымать в ее бригаде перелоги, но ему не разрешает председатель, и вот теперь она «борется» с председателем.

— Как он не может понять! Если Вася хочет работать, если эта работа по душе ему, ведь он же сделает гораздо больше, чем в другом месте без желания... Но не будем об этом. Вы надолго?

Когда она узнала, что я нарочно мимоходом завернул к ней, то ее глаза радостно расширились, она чему-то улыбнулась и прошла к комоду. Достала из ящика газету и протянула ее мне. В том, что она хранила мою статью, ничего удивительного не было. Я встретил однажды человека, который написанную про него корреспонденцию вложил в застекленную рамку и вывесил на самое видное место в комнате. Каждому приятно, когда про него пишут. Но тут было не то. Наташа достала еще несколько газет с моими материалами и, смутившись, сказала:

— Раньше не берегла газеты, а теперь вот не могу... Как увижу с вашим именем, так и прячу...

Неожиданно она заторопилась, сказала, что ее ждут, что она вернется скоро. И ушла.

Я остался. Посмотрел ее книги. Они были разные. Во многих томиках белели закладки. Но ни в тексте, ни на полях никаких подчеркиваний не было. И я не мог понять, что же ей там понравилось. Потом глядел в окно. С крыши капель падала реже; приближался вечер. Воздух был прозрачен, и виделось далеко-далеко. Прибежал Витька. Небрежно поздоровался, будто встречал меня каждый день, и стал в комоде перерывать все, отыскивая

какую-то снастку с рыболовным крючком. Он злился и не отвечал мне. Наконец крючок нашелся, и Витька убежал.

Пришла Наташа поздно вечером:

— Вы не ели? Ой, какая же я нехорошая! Заморила вас...

В этот вечер Наташа была странно оживлена — много смеялась, говорила о весне, о прочитанных книгах, о председателе, который стал еще более молчалив, потому что прибавилось дела.

— Хотите послушать весну?— неожиданно предложила она. — Идемте. — И, взяв меня за руку, вышла на крыльцо.

Темно-синее небо с крупными, близкими звездами, дыша теплом, раскинулось над землей. Было слышно, как на дороге, в колеях, бегут, будто подскакивая с камушка на камушек, ручьи. А им вразнобой вторят падающие с крыш капли. На реке шуршит лед. И вдруг, чуть ли не над самой головой, радостно-встревоженный крик летящих гусей. Их не видно, но чувствуется, что они здесь, близко, и стоит только пристальней всмотреться, увидишь взмахи сильных крыльев, вытянутые шеи.

Наташа стояла, чуть запрокинув белевшее в сумраке лицо, касаясь щекой крылечного столбика. Говорить ей, видимо, не хотелось, да и я молчал, и мы слушали крик перелетных птиц. А он все нарастал, становился призывней, куда-то звал, и хотелось быть добрым, и почему-то становилось жаль и себя и Наташу, и вместе с тем радостно замирало сердце, — жизнь земли, могучая, нежная, окружала нас.

— Счастье, — негромко сказала Наташа. — Я часто слышу это слово и очень хорошо понимаю его. Счастье — это вера, что все хорошее, все самое лучшее, вот о чем мечтаешь, чего ждешь, непременно сбудется. Счастье — это значит, что тебя никто никогда не обидит. Оно светлое... Про меня говорят, я счастливая — у меня щелочка между зубов...— И хотя было темно, я понял, что Наташа улыбается.

Домой она вернулась молчаливая, задумчивая. Состояние сосредоточенности не покинуло ее и утром, когда я уходил. Она проводила меня за деревню. Подала на прощание небольшую крепкую руку и сказала просто, открыто:

— Приезжайте еще... Ладно?

Я обещал. Дорога в том месте прямая, я несколько раз оборачивался и каждый раз видел Наташу там же, где мы расстались. И каждый раз она подымала руку и махала мне.

И все время, пока я шел до соседнего колхоза, Наташа не выходила у меня из головы. И в поезде думал о ней. Смотрел в окно на оголенные ложбины с темными пластами последнего снега, на талые воды в лугах — и на всем этом видел ее лицо. Ее доверчивые глаза. И почему-то боялся за ее счастье. Уж очень она открытая, бесхитростная...

И опять полетели недели за неделями, месяц за месяцем. Потом меня перевели в другой отдел. Прошел год, другой. Прошло пять лет. И снова дорога привела в те места.

И опять осень, но не та серенькая, голая, когда я шагал первый раз по этой дороге, а пышно расцвеченная золотом, с еще не улетевшими скворцами, с прозрачной синевой неба. И снова тревожно-радостное состояние охватило меня, как это всегда случалось, когда мне предстояло встретиться с хорошим человеком. Я ускорил шаги. Хотелось поскорее повидать Наташу. Как-то она живет?

Осталось немного. Вот и поворот, но деревни не видно. Вдоль дороги тянутся сады. По обеим сторонам от меня яблони. Молодые яблони! На них еще не так много яблок, но все же краснеют, белеют, то золотистые, то зеленые. Сбился я, что ли?

У обочины дороги темнеет шалаш. Возле него на ящике сидит пожилая женщина.

— Тут дорога на «Красный берег»?— спрашиваю я.

— Эва-а, — удивляется сторожиха, — хватился, «Красный-то берег» вот уже три года как переехал в центр «Коммунара».

«Коммунар» — тот самый колхоз, в какой я иду.

— То-то гляжу, будто места знакомые, а все не то. Я тут бывал раньше.

— Эва-а!— опять тянет сторожиха. — Раньше село было, а нынче сад. А тебе кого там?

Я сажусь рядом с ней. Закуриваю.

— Председатель знакомый был да еще кое-кто.

Назвать Наташу я почему-то боюсь.

— Эва-а, председатель-то у нас нонче Комаров, а ежели тебе Калистратова, который тут был, так он теперь на парниках.

— Значит на парниках... Та-ак, — тяну я. — Ну, а здоров?

— Чего ему делается? Здоров, коль недосчитались в стаде пяти коров.

— Каких коров?— спрашиваю я, а сам думаю про Наташу.

— А таких... — И начинает рассказывать.

Но я не слушаю. И перебиваю:

— Витька Малов там был. Как он?

— А при чем тут Витька-то? Он непричастный, — отвечает сторожиха. — В техникуме сейчас учится, на рисовальщика. А Наташа, сестра его, замужем живет.

— Замужем?— спрашиваю я, оживляясь при ее имени.

— Да уж думали, и не выйдет. Все в девках отсиживалась. Все кого-то ждала... Сколько ей наш учитель Павел Степаныч предложеньев делал! Уперлась, ровно кол в ограду. Нет да и нет... Нонешним летом вышла. Да и то не за него, а за ветеринара. Да за вдового, с двумя ребятами. Такая-то девка! А ты откуда наших знаешь? Ровно я тебя у нас и не примечала.

— По делам бывал,— отвечаю я, а сам думаю, как же это все так получилось с Наташей. И встаю.

— На-ко на дорожку, да только никому не сказывай,— слышу я голос сторожихи. Она протягивает мне два яблока.— А в «Коммунар» иди вон по той дороге, ближе.

И я иду. Но не по той дороге, по которой ближе. Иду обратно в райцентр. В конце концов может кто-нибудь и другой написать очерк о ветеринаре. Зачем мне теперь входить в ее дом?

На солнце наплывает туча. Она сизая, холодная. Наверно, будет дождь. Вот уже тянет сквозной, неприютный ветер. Но я на все это как-то мало обращаю внимания, потому что все время думаю, у меня не выходят слова сторожихи: «Все ждала кого-то...» Неужели меня? Но почему? Ведь я же ничего ей не обещал. Как же такое могло случиться? Почему она простые слова привета приняла за любовь? И тут мне приходит в голову мысль, что мы, занятые трудной, большой нашей жизнью,

постоянно озабоченные делами и думами о будущем, как-то незаметно очерствели, стали скупы на участие, и вот Наташа, не видавшая никогда ласки, сирота, приняла обыкновенные добрые слова за признание в любви. И ждала, все эти годы ждала...

Ах, Наташа, Наташа... Я вижу ее с чуть запрокинутым, белевшим в сумраке весеннего вечера лицом, слышу ее голос: «Счастье — это вера, что все хорошее непременно сбудется. Это значит, что тебя никто не обидит...» По обеим сторонам от меня яблони. Они шумят на осеннем ветру пожелтевшей листвой. Все сильнее сквозняк с полей. Солнца уже не видно. Оно закрыто толстой, тяжелой тучей. Сыплет мелкий, колючий дождь. А мне видится, как бежит, подскакивая в веселых ручьях, озорная вода, как могуче, призывно и радостно кричат перелетные птицы. Их не видно, но только стоит пристальней всмотреться — и увидишь взмахи сильных крыльев... Счастье — оно светлое...

СРЕДИ ЖИЗНИ

В деревне Вера Николаевна никогда не жила и, до того как приехала в Большево, имела о ней самое общее представление. Знала, что колхозники выращивают хлеб, пасут стада, что на полях работают тракторы, а по вечерам народ собирается в клубе. Вот, пожалуй, и все, что она знала о деревне.

В Большево Вера Николаевна приехала в ясный, солнечный день. Машина, переваливаясь с боку на бок, прошла по избитой дороге, мимо новых домов, с белой, не успевшей потемнеть щепой. Вера Николаевна еще в райцентре узнала, что эта деревня в войну была «под немцем», дважды горела, но теперь отстроилась и стала даже лучше, чем была. Почему-то Вере Николаевне казалось, что эта деревня большая, дома утопают в зелени. На самом же деле деревня оказалась маленькой, на голом месте. И в палисадниках не было зелени. Лишь в стороне, на пологом бугре, росли высокие красивые деревья. Вокруг деревни лежали зеленые поля, желтые полосы созревшей ржи, огороды. Там и сям работали люди, но их было так мало, что становилось непонятно: неужели они могут управиться с этой большой, просторно раскинувшейся землей? В конце деревни виднелся

мостик. Там протекала река, но из машины ее не было видно, и лишь можно было догадаться по густым ракитам да по визгу и крикам ребят, что там речка.

Шофер подвел машину к высоким деревьям. Дубы и ясени расступились, открыв кусты боярышника и сирени. За ними стоял новый дом. Над крыльцом висела надпись «Школа».

Вера Николаевна рассчиталась с шофером и, прижимая одной рукой к груди ребенка, держа в другой чемодан, вышла из машины. И такой тишиной, таким миром повеяло на нее от вековых дубов, устремивших в небо свои могучие кроны, от солнечных зайчиков, пестро перебегающих в тенистой траве, от щебета невидимых в густой листве птиц!

Дверь открыла босоногая пожилая женщина, повязанная черным платком. Это была Настя, школьная уборщица. В войну она потеряла мужа и сына. Увидав молоденькую учительницу с грудным ребенком, Настя несколько секунд растерянно глядела на Веру Николаевну. Ей почему-то казалось, что приедет пожилой человек, строгий, похожий на Павла Петровича, который когда-то учил ее в церковноприходской школе. А тут чуть ли не девочка, да еще с ребенком. На нее доверчиво и робко смотрели ясные глаза. Особым чутьем человека, испытавшего много горя, Настя почувствовала горе и у этой приехавшей. И сразу приняла ее в свое сердце, давно никем не занятое.

Она взяла чемоданчик и повела Веру Николаевну в конец коридора, где находилась комната для учителя.

От дверей и полов пахло свежей краской. Сквозь приоткрытые двери виднелись черные парты.

Небольшая веселая комната выходила окном в парк. Сквозь просветы деревьев далеко внизу сверкала речка. На ее берегу паслись гуси. Вот один из них замахал крыльями и побежал к воде, выставив грудь вперед. За ним, махая крыльями, побежали другие. Все кинулись в реку. От воды взлетели брызги.

В комнате у окна стоял простой, грубо сколоченный стол, по сторонам от него — две табуретки и вдоль стены на козлах — топчан. Вера Николаевна присела на топчан и стала кормить проснувшуюся Надюшку. Настя, сложив на груди руки, задумчиво смотрела на ребенка.

— Где же муж-то?— спросила она.

Вера Николаевна вздрогнула и, отведя взгляд в сторону, ответила:

— Умер.

Настя вздохнула, горестно покачала головой:

— А родные-то есть?

— Отец... Он далеко, на Урале, — тихо ответила Вера Николаевна.

И опять Настя вздохнула, жалостливо глядя на склоненную голову учительницы.

Кто-то, стуча сапогами, пробежал по коридору, и не успела Вера Николаевна прикрыть грудь, как дверь с треском раскрылась и в комнату вбежала загорелая девушка в легком, в обтяжку платье.

— Нашего полку прибыло!— засмеялась она, сверкая крупными зубами, и протянула руку, не сгибая ее в ладони:— Наташа Травина. — И тут же присела на корточки, засматривая в личико ребенку. — Какой маленький!— протянула она так смешно и удивленно, что Вера Николаевна, несмотря на то что относилась настороженно к тем, кто интересовался Надюшкой, невольно улыбнулась. — И чмокает. Ну, скажи, так это у него запросто выходит. — Она взметнула густые ресницы, и Вера Николаевна увидела ее серые чистые глаза. — А я иду на полдень, гляжу, машина к школе свернула; не иначе, думаю, вы приехали. Панкратов еще вчера сказал, что учительша приедет.

Настя, о чем-то вспомнив, торопливо вышла из комнаты. Наташа села рядом с Верой Николаевной и стала весело рассказывать. Поругала какого-то Шабашкина, который до сих пор не может прислать кино. Мимоходом упомянула, что Панкратов хороший председатель, но одно плохо — на культурную работу обращает мало внимания, что вот теперь она вместе с Верой Николаевной насядет на него и все-таки заставит отремонтировать клуб.

Пришла Настя. Она втащила тюфяк, и в комнате запахло сеном. Наташа посидела немного и убежала, сказав, что забежит вечером. И верно, вечером она прибежала, в туфлях, в нарядном платье.

— Вечерка у нас. Идемте. Со всеми разом познакомитесь, — сказала Наташа.

Вера Николаевна посмотрела на спящую Надюшку— ее только что выкупали, — перевела взгляд на Настю.

— Иди, иди, — махнула Настя рукой. — Я посижу.

Вечерку проводили в большой избе правления колхоза. Тут в разное время и «крутили кино», и заседали, и веселились. Посреди комнаты на проволочном каркасе висела «молния», лавки были оттиснуты к стенкам, канцелярский стол — к печке.

Вера Николаевна села в уголок, окинула взглядом стены, на которых висели плакаты, длинные списки с фамилиями, маленькая, в развернутый тетрадочный лист, стенная газета. Наташа каждого входившего знакомила с Верой Николаевной, говорила, что это учительница, что она только сегодня приехала и что у нее ма-аленький ребеночек. Девчата приветливо улыбались и охотно садились рядом с учительницей. Вера Николаевна с интересом прислушивалась к разговорам, всматривалась в незнакомые лица и думала, что вот с этими людьми ей придется жить долго, может, всю жизнь.

Пришел председатель колхоза Панкратов в побелевшей от солнца гимнастерке, коренастый, легкий на ногу. Он, словно прицеливаясь, посмотрел на Веру Николаевну, потеснил в сторону от нее Наташу и сел.

— Ну, как вам приглянулось у нас?— спросил он и, не дожидаясь ответа, сказал: — Много еще, конечно дело, предстоит работы. — Он пощипал концы белесых усов и замолчал.

— Вы насчет клуба ему, Вера Николаевна, скажите, — вмешалась Наташа.

— То же и Вере Николаевне отвечу, что и тебе не раз говорил, — спокойно сказал Панкратов и пояснил: — Иначе выйдет — на брюхе шелк, а в брюхе щелк, извините за выражение.

— Вот так и всегда, — сказала Наташа.

— А как же? Клуб, конечно дело, неплохо, но ведь пока обходимся, а без телятника хорошего стада не ждать. Так, Вера Николаевна?

Вера Николаевна не знала, так ли, но Панкратов понравился ей своей обстоятельной речью, спокойствием, и она утвердительно кивнула.

— Что же вы соглашаетесь-то?— закричала Наташа. — Все скотине, когда же людям?

— А скотина кому?— засмеялся Панкратов и подбил пальцем усы. — Еще секретарь комсомольской органи-

зации называешься, понимать надо! Вот, Вера Николаевна, воспитывать ее вам придется.

Заиграла гармонь. Ребята подхватили девчат и начали их кружить. К Наташе подошел светловолосый парень. Она взглянула на него и тут же отвернулась. Парень потоптался, покраснел и отошел.

— Чего Ваську-то мучаешь?— сказал Панкратов.

Наташа ни слова не ответила и ушла.

— Черт ее знает, что за характер! То за ним бегает, то от него носится. Впрочем, так же и с моей было, — засмеялся Панкратов.

«А у меня так не было. Я не мучила его», — подумала Вера Николаевна. Она поглядела на мелькающие пары и почувствовала, как слезы навертываются на глаза.

— Народ у нас неплохой, — донесся до нее голос Панкратова, — одно слово — труженики. Постепенно и свет проведем. А уж вы помогайте нам. Народ внимание уважает. Лекцию почитайте, побеседуйте... Вот так-то, Вера Николаевна. — Он встал и отошел к группе колхозников, сидевших на канцелярском столе.

Вера Николаевна еще немного побыла и, вспомнив о Надюшке — может, проснулась, плачет, — заторопилась домой, унося в сердце уверенность, что она здесь нужна, что ее ждали.

А ее действительно ждали. До этого в Большеве школы не было. Ребятишки бегали за пять километров. Малышей отвозили на лошади. Бывало, зимой ребята поморaживались. И все рады-радешеньки были, когда появилась своя школа. Вера Николаевна была в ней первой учительницей. Уже одно это располагало к ней людей. К тому же безмужняя, с ребеночком на руках... Русский человек жалостлив, а отсюда и добр и приветлив к тому, кого жалеет. И Вера Николаевна быстро стала своей в деревне. Ее уже звали в гости, помогали, если нужна была помощь. Девчата забегали к ней вечерком, нередко приходили и пожилые женщины, иногда приносили пяток яиц, кринку молока, и отказаться от таких подарков было нельзя, потому что обидишь.

И все это было бы хорошо. Но одна неотвязная мысль мучила Веру Николаевну и днем и ночью. Никто не знал о том, что муж ее бросил.

Кто-то сказал: «Любовь живет мало. Привычка — долго». Это сказал тот, кто никогда не любил. Что ж, не

хотел любить? И хотел бы, да не умел. Понравилась — разонравилась, вот и вся любовь. И нет уже ласковых слов, и голос не тот милый, нежный — сухим стал, черствым. А тут еще узнал, что она беременна. И нет любви, потому что ее и не было.

Так случилось с Верочкой, студенткой четвертого курса техникума.

«Ах, Андрей, Андрей, что мне теперь делать?» — плакала Верочка.

Не дослушал. Ушел. Разбирайся сама как хочешь.

«Милый папа, я не смогу к тебе приехать. Готовлюсь к экзаменам...» — писала Верочка.

«Ну-ну, чудесно. Желаю тебе счастья!»— отвечал он.

«Бедный отец!»— плакала ночью Верочка. И никак не могла понять, что же такое случилось, как это вышло, что она брошена. За что? За то, что впервые полюбила? За это нужно было ее бросить.? А отец за что обижен? За то, что добрый, за то, что вся его жизнь в ней, в Верочке?

Ей предложили на год отложить государственные экзамены. Она не согласилась. «Буду сдавать вместе со всеми, а потом уеду куда-нибудь поглуше, где никто меня не знает, где никого я не знаю. Новая жизнь — новые люди» — так думала Верочка.

К отцу ехать нельзя.

Она подурнела. Живот у нее поднялся, на верхней губе появились желтые пятна. Такой она вышла на государственные экзамены. Слава богу, никто не смеялся. Сдала. Ночью ее увезли в родильный дом.

А теперь — Большево. И никто ничего не знает. Но самое тяжелое в том, что ей приходится обманывать отца. Он до сих пор и не догадывается о Надюшке. Все зовет к себе Верочку, настойчиво спрашивает в каждом письме, когда же она приедет. В ответ Вера Николаевна писала ему длинные письма, в которых рассказывала о работе, о людях, о том, что непременно приедет в следующем году в отпуск; писала и знала, что не приедет.

Уже шла зима. Все было белым-бело. По ночам от морозов гулко стреляли бревенчатые стены школьного здания. Светало поздно. За ночь в комнате холодало. На окнах расцветали белые папоротники. Вера Николаевна соскакивала с постели, совала ноги в валенки. Топила печь. Пока Настя ставила самовар, успевала уложить вокруг головы тяжелые косы, прибрать комнату. К этому

часу просыпалась Надюшка, надо было ее кормить, потом пить чай. На крыльце уже слышались ребячьи голоса. Чуть ли не половина учеников прибегала из соседней деревни. Они толкались, стучали в дверь. И когда Настя впускала их в школу, с криком неслись по коридору, вбегали в класс.

Вера Николаевна придирчиво осматривала себя в маленькое зеркало, целовала Надюшку и, строгая, выходила из комнаты. Такой она появилась перед ребятами.

Класс был поделен на две половины: налево — первоклассники, направо — старшие. Все они дружно здоровались с Верой Николаевной, и начинался урок. Малыши выводили крючки и палочки на тетрадях в косую линейку; некоторые хорошо, некоторые плохо; но все старательно, склонив головы, помогая себе языком. Старшие, как шмели, читая про себя, гудели на весь класс, в то время как Вера Николаевна обходила парты малышей.

Со временем обещали прислать еще преподавателя. Но с учителями было туго, и Вере Николаевне приходилось брать на себя всю школу. Впрочем, она не сетовала. Чем больше работы, тем спокойней сердцу.

Порой приходилось ходить в соседние деревни к родителям своих учеников, мерзнуть, мокнуть, греться у печки — узнавать жизнь многих людей. Перед нею открывался совершенно новый мир, ничего общего не имевший с прежним представлением о деревне. Да, люди пахали землю, пасли скот, но все это было не так-то просто. Теперь она видела, какого труда все это стоило. Круглый год люди жили в заботе об урожае. Но еще мало было машин в МТС, не хватало агрономов, чувствовался недохваток в людях — это сказывалось на урожаях, на кормах для скота. Но как бы ни было трудно, люди верили, что жизнь наладится, постучится счастье и в их дом. И эта уверенность помогала Вере Николаевне легче переносить свое горе.

Но думы об отце не давали покоя. Она никак не могла решиться сообщить ему всю правду. И чем больше проходило времени, тем сложнее было его обманывать. Однажды, это было на второй год ее жизни в Большеве, отец написал, что приедет сам к ней в отпуск, коли она никак не может к нему выбраться. Вера Николаевна тут же ответила, чтобы он не трогался с места, что ее хотят перебросить на работу в другой район и они могут не

встретиться. Но еще через год стало совершенно невозможно обманывать. И тогда она собралась, поехала к отцу, оставив Надюшку на попечение Насти.

Встреча была радостна и печальна. Снова Урал. Домик на берегу Косьвы и отец. Как он постарел! Совсем седой. От радости не знает, куда ее усадить, и все спрашивает, как она без него жила. Когда-то мечталось, что Верочка окончит техникум и приедет к нему. Выйдет замуж, появятся внуки... И ему станет жить веселее.

Но все, о чем мечталось раньше, теперь никак не могло сбыться. Это, видимо, понимал и Николай Петрович, хотя и не догадывался почему. Он глядел на Верочку и не узнавал в ней прежнюю жизнерадостную девочку. Перед ним была серьезная женщина, правда, ласковая, любящая, но совсем другая, словно что-то ее угнетало... мешало быть прежней...

— Как ты жил?— спросила она.

— Все так же... Работаю... Вот уж когда приедешь совсем, тогда...— И в его голосе слышалась тоска по тому времени, когда Верочка приедет к нему совсем.

Как-то вечером они сидели на лавочке возле дома. Вера Николаевна задумчиво смотрела перед собой. Запустением веяло от всего, на что наталкивался взгляд. Когда-то у отца было хозяйство, как и у многих горнозаводских рабочих: корова, гуси, кролики. Но умерла жена, оставив пятилетнюю Верочку, и Николаю Петровичу стало не до хозяйства. Корову пришлось продать, гусей забить, кролики разбежались.

Николай Петрович мог бы жениться, но жаль было Верочку, да как-то совестно и перед умершей женой. Поэтому каждое утро можно было видеть сутуловатого мужчину, возившего зимой на санках, летом на самодельной тележке худенькую большеглазую девочку. Он привозил ее в детский сад, а сам уходил на завод. Вся его жизнь после смерти жены сосредоточилась на дочери.

— Замуж бы тебе надо, Верочка, — сказал Николай Петрович.

Эти слова застали ее врасплох. Она уже совсем перестала думать о замужестве. Удивленно взглянула на отца, слабо улыбнулась, не зная, что ответить.

— Ведь тебе уже двадцать четвертый год... — Он взял ее руку в свои ладони и нежно погладил. И это прикосновение и участливые слова, чуть было не заставили

Веру Николаевну заплакать и все рассказать. Но она пересилила себя и деланно-равнодушно сказала:

— Еще успею. — И, помедлив, добавила: — Не надо больше об этом...

И так это было сказано, что Николай Петрович понял: какое-то несчастье в любви у Верочки есть.

Она прожила у отца неделю и заторопилась домой. На вокзале они поплакали, расцеловались, и оба не понимали (она — зачем так случилось у нее, он — что же такое произошло с Верочкой), что вот одной надо уезжать, другому оставаться, хотя им лучше бы жить вместе.

— Помни, Верочка, у меня одна ты... — дрогнувшим голосом сказал Николай Петрович и сжал ее руку своей холодной рукой.

И долго потом ей слышался его голос и рука чувствовала холодок его руки. А поезд уже вовсю стучал на стыках, проносился мимо лесов, деревень, гремел на мостах и увозил ее все дальше.

В Большево она вернулась как в родной дом. Надюшка, увидав мать, вскрикнула и с радостным визгом кинулась навстречу. Она повисла на шее, болтала ногами и все целовала и в глаза, и в щеки, и в губы свою мамочку. И что-то рассказывала про кошку. Вышла Настя и тоже как родня расцеловалась с Верой Николаевной. И все пошло по-старому. Вечером прибежала Наташа Травина и весело стала рассказывать, что драмкружковцы все же выселили Панкратова из конторы, он перебрался со счетоводом к себе домой, но спасибо Анне Ивановне, жене Панкратова, она не пустила их, и теперь он решил отремонтировать клуб. А то как же колхозу без конторы-то? Потом замолчала и, порывисто встав, сказала:

— Выхожу замуж за Василия!

И еще минул год. Наступило новое лето, дождливое, неприветливое. И весна была запоздалая, холодная. Недаром старики говорили: «Прилетела кукушка на голый лес — добра не жди». Колхозники ходили мрачные — на полях погибали хлеба. Панкратов носился из бригады в бригаду, подбадривал людей, но чувствовалось, что он и сам мало верит в доброе дело. Озабочена была и Вера Николаевна. Теперь уже горести этих людей были и ее горестями.

Но август выдался на редкость солнечный. Дожди перепадали только ночами, да и то редко. Началась страда. Вера Николаевна целыми днями пропадала в поле, помогала со школьниками убирать урожай. Панкратов повеселел. Воспрянули духом и колхозники.

Как всегда перед началом учебного года, в Холмах проходила учительская конференция. Вечером все педагоги отправились в Дом культуры. Рядом с Верой Николаевной шагал высокий громкоголосый учитель холмской средней школы Аркадий Сергеевич. Он появился в районе недавно. Про него говорили, что он холост, что любил когда-то девушку, но она умерла. И намекали Вере Николаевне, что неплохо было бы выйти за него замуж ей, человеку тоже одинокому.

— Какая же я одинокая? У меня дочь, — отвечала Вера Николаевна.

Но все же пришлось познакомиться.

— Очень приятно, — густым голосом сказал Аркадий Сергеевич. И весь вечер не отходил от нее. Разговаривал.

Когда Вера Николаевна уезжала домой, он проводил ее до автобуса и долго махал шляпой. Ничего особенного в этом знакомстве не было, но и конференция, и вечер в Доме культуры, и веселые разговоры учителей оставили в сердце приятное чувство.

Спустя неделю Вера Николаевна опять поехала по делам в Холмы и там встретила Аркадия Сергеевича.

— Видали нашу школу?— спросил он. — Нет? Стыдно. Сейчас же идемте смотреть. Только что приняли от строителей.

Школа была кирпичная, в два этажа, со множеством окон.

— Переходили бы к нам. Что вы там одна? — сказал он.

— И там нужно работать, — ответила Вера Николаевна, спускаясь по широкой каменной лестнице.—В этом году обещали прислать еще одного учителя. Веселее будет.

— Может, мне туда к вам перебраться?

Вера Николаевна ничего не ответила. Они вышли на улицу. Мимо промчались тяжело груженные зерном машины. Ветер погнал пыль. Аркадий Сергеевич схватил Веру Николаевну за руку и перетащил на подветренную сторону.

— А все-таки я, пожалуй, к вам приеду, посмотрю вашу школу, — сказал он.

— Приезжайте, — ответила Вера Николаевна. Ей нравилось слушать его густой голос, замечать, что она ему нравится, и знать, что это знакомство ни к чему особенному не обязывает. Простые товарищеские отношения.

Аркадий Сергеевич держал себя свободно, говоря о себе, подтрунивал над своей холостяцкой жизнью. У него была привычка, рассказывая, пристально смотреть в глаза собеседнику, словно проверяя, все ли тот понимает. Вера Николаевна несколько раз встречалась с ним взглядом, но от этого не испытывала неловкости — наоборот, становилось весело. Глаза у него прятались в густых черных ресницах, и хотя были светлые, но когда он щурился, то казались тоже черными, по-особенному теплыми.

Он заставил рассказать Веру Николаевну о себе. И она рассказала о своем детстве на Урале, об одной женщине, эвакуированной в войну из Ленинграда учительнице, которая, собственно, и привила ей страсть к педагогике. О том, как училась в техникуме (какие это были славные годы!), но ни словом не обмолвилась о своей любви.

— Я слыхал, у вас муж умер?— спросил Аркадий Сергеевич.

Вера Николаевна напряженно посмотрела на него.

— Он жив. Но я всем говорю, что умер.

— Я, наверно, плохо сделал, что спросил вас об этом?— после некоторого молчания сказал Аркадий Сергеевич.

Вера Николаевна чуть приметно пожала плечами и ничего не ответила.

Молча они дошли до автобусной остановки.

— Так я к вам приеду, — сказал, прощаясь, Аркадий Сергеевич.

— Зачем?— трезво спросила Вера Николаевна.

— Это я вам там скажу...

Но он в ближайшие дни не приехал. А потом начались занятия в школе. Опять стало много работы, и все реже Вера Николаевна вспоминала Аркадия Сергеевича. Но главное, что заставляло ее не думать о нем, — прошлое. Человек до тех пор доверчив, пока не обманут. И посте-

пенно вернулся тот прежний покой, который она так ценила и берегла.

Но покой — вещь неустойчивая. Однажды, сидя в комнате, она увидела в окно Аркадия Сергеевича. Широко шагая, обходя стороной лужи, он шел по дорожке к школьному зданию.

Вера Николаевна в замешательстве поправила волосы, прибрала на столе и взяла на руки Надюшку.

Еще в дверях он заговорил своим густым голосом:

— Не ругайте меня, Вера Николаевна. Приехал бы непременно раньше, но заболел. Две недели провалялся...

И верно, он похудел, глаза у него стали больше, и весь он показался Вере Николаевне выше. Она смотрела на него, что-то отвечала, совсем не замечая, что ее рука слишком долго находится в его ладони.

Он пробыл у нее весь день. Качал на ноге Надюшку, рассказывал смешные сказки про зверей. Надюшка смеялась. После обеда они пошли к речке и там втроем глядели с моста на бегущую воду. По реке плыли желтые листья. И хотя ничего значительного не было сказано в этот раз, все же эта встреча заставила Веру Николаевну с теплотой думать об Аркадии Сергеевиче.

Вскоре он еще раз приехал.

— Я ненадолго, — сказал он. — В следующее воскресенье день моего рождения. Приезжайте.

Она внимательно взглянула на него. Было в его глазах что-то такое, что нельзя было отказать. И Вера Николаевна согласилась.

Она приехала к нему и была единственной гостьей. В комнате было все прибрано. Посредине стоял стол с вином и закусками. Аркадий Сергеевич помог ей раздеться и, не выпуская руки, провел к окну.

— Вас не должно удивлять то, что гостей больше не будет, — сказал он. — Так для нас лучше. Я хочу вам много сказать. От вас будет зависеть мое второе рождение...

Вера Николаевна почувствовала, как кровь приливает к щекам, как сердце отчаянно забилось...

— Будьте моей женой, Вера Николаевна, — и тихо и ласково сказал Аркадий Сергеевич.

И то, что она наедине с ним, и что накрыт стол, и слышит чуть ли не те же слова, — все это напомнило ей то

давнее, что когда-то сломало ей всю жизнь. Она порывисто встала. Ей нельзя оставаться ни минуты! Ей надо сейчас же уйти!

— Вера Николаевна! — Он испуганно смотрел на нее. — Я ничем не хотел вас обидеть... Ради бога, простите, если я... — Ему было страшно, что она не поймет его и убежит. И поэтому он говорил все, что приходило на ум, лишь бы убедить ее, что он хотел только хорошего, что он любит ее, сделает все, чтобы ее жизнь была счастлива, что ему без нее будет очень плохо...

Она слушала его, понимала, верила ему и все-таки оставаться не могла.

— Мне надо подумать... Это все так внезапно, — торопливо говорила она в замешательстве. — Проводите меня. Мне надо домой.

И всю дорогу с Холмов и всю ночь она думала. Если бы кто знал, что ждет ее впереди? Как сложится с ним жизнь? Никто ничего не знает. Разве Андрей не нравился, разве она не любила его? А чем все кончилось? И поэтому страшно. У нее сейчас есть свой мир: дочка, школа, добрые, милые люди в колхозе. И все спокойно... А тут кто знает?.. Второго такого удара не перенести.

Так и не решив ничего, Вера Николаевна просидела всю ночь. А днем произошло событие — приехал отец!

Он больше не мог жить в неизвестности. Он догадывался: с Верочкой что-то случилось, она что-то скрывает, — и, ничего не сообщив, без предупреждения, приехал к ней.

За эти два года он еще больше состарился. Стал ходить мелкими шажками, все реже подымал глаза от земли.

У школы было тихо. Шли занятия. И только одна девочка лет трех, с двумя беленькими косицами, худенькая, большеглазая, играла у крыльца. Николай Петрович остановился возле нее. Поставил на ступеньку чемодан. Девочка подняла голову... Она удивительно была на кого-то похожа! На кого же? Николай Петрович с интересом всматривался в ее лицо и вдруг вспомнил: вот такой же была маленькая Верочка, еще при жизни жены! И глаза такие же веселые, если даже она и не смеялась, и носишко такой же вздернутый, и губенки...

Сердце сжалось и сильно ударило. Николай Петрович взялся за грудь.

Из класса донесся ясный голос Веры Николаевны: «А Витя Петров нам скажет»... Но что скажет Витя Петров, этого уже Николай Петрович не слышал.

— Ты чья?— тихо спросил он, зная уже, чья эта девочка.

Надюшка, привыкшая к людям, к тому, что с ней часто играют и взрослые и ребята, спокойно ответила:

— Мамина...

— Это так... Но кто мама? Как ее зовут? — Николай Петрович волновался, говорил отрывисто? И Надюшке стало страшно незнакомого человека, с седыми бровями, с морщинистым лицом. Она подхватила с земли лопатку и попятилась, не сводя со старика глаз.

— Подожди, девочка, — еще больше взволновался Николай Петрович и убрал руки за спину, показывая этим, что он не хочет ничего плохого сделать Надюшке. — Маму твою зовут Вера Николаевна?

Надюшка коротко дернула головой и насупленно поглядела.

— О господи! Так ведь я ж твой дедушка... Тебе мама говорила про дедушку?— Он опустился на ступеньку, закрыл руками лицо.

Надюшка так же осторожно, как попятилась, подошла и стала молча смотреть, как плачет ее дедушка. Мама часто про него ей говорила.

Кончился урок. Из класса выбежали ребята. Они пронеслись мимо Николая Петровича, потом остановились, стали глядеть на него. Тогда он поднялся, взял за руку внучку и сказал:

— Веди к маме!

И вот они сидят и разговаривают — отец и дочь. Надюшка на коленях у дедушки.

— Зачем же ты скрывала?

Что ответить? Стыдно было... Жалела... Но Вера Николаевна молчит и плачет. Заплакала и Надюшка, думая, что дедушка обижает маму, запросилась к ней на руки.

— Я ведь не чужой тебе...

— Прости, папа... прости... Так тяжело было...

Он простил. Кто любит, тот прощает.

Зазвонил звонок. Перемена кончилась. Надо идти на урок.

Вечером, когда уже легла спать Надюшка, они долго сидели и говорили.

— Как ты думаешь дальше жить?— после молчания спросил Николай Петрович. — Может, теперь ко мне поедешь?— А в голосе слышится прежняя жалостная нотка: «Что я там один-то?»

Спит Надюшка. За окном шумит в дубах ветер. Ночь.

— Хорошо, папа... я поеду...

Да, теперь можно ехать — отец все знает. И незачем жить врозь. Отец уже стар. Надо же и его пожалеть.

— Ну вот и хорошо!— обрадовался Николай Петрович. — Значит, завтра начнем потихоньку и складываться.

Это было сказано так просто и уверенно, что никаких сомнений не могло быть: она отсюда уедет. Как странно получается в жизни! Еще утром не знала, что ответить Аркадию Сергеевичу, но только стоило дать слово отцу, как стало ясно, что не так-то легко ей будет расстаться со всем дорогим, что окружает ее здесь. Жаль школы, ребятишек, к которым уже привыкла. Жаль Наташи Травиной, Панкратова, всех людей Большева, таких простых и хороших. Жаль Аркадия Сергеевича. Теперь уже она могла себе четко сказать, что без него ей будет скучно, что, пожалуй, она его любит. И заплакала, подумав, что со всем этим ей придется расстаться.

— Что с тобой, Верочка?

— Так просто... вспомнилось все...

На другой день она поехала в Холмы, в роно, проситься, чтобы ее отпустили.

Николай Петрович остался с Надюшкой. Он не отходил от внучки. Баловал. Играл. Опыт у него был: когда-то такую же вынянчил. Верочку. Радовался, когда внучка доверчиво прижималась к нему. И все думал: «Почему остаются безнаказанными люди, ломающие жизнь человеку? Кто дал им право так поступать? Разве жизнь человека — забава?»

Еще засветло Вера Николаевна вернулась. Сначала и слышать в роно не хотели, чтобы ее отпустить, — не было замены. Потом нашли сразу двух учительниц и разрешили уехать.

Начались сборы. Настя плакала, помогая увязывать вещи. Забежала Наташа Травина с маленьким ребеночком на руках. И тоже всплакнула, но тут же засмеялась,

стала весело рассказывать, какой у нее хороший сынишка:

— И так это он запросто смотрит на меня, ровно все понимает...

Заходили пожилые колхозницы, жалели, что Вера Николаевна уезжает, и уходили, оставив пяток яиц, банку сметаны, подорожники. Пришел и Панкратов.

— Было б в моей власти, — сказал он, — ни за что бы не отпустил. Еще неизвестно, будет ли другой человек, как вы. — Помолчал и добавил:—Повезет вас шофер.— Это была неслыханная доброта с его стороны. Новую, недавно купленную полуторку он берег пуще глаза.

Надюшка хлопотала больше всех. Тащила дедушке своих матрешек, тряпочки, черепки, стеклышки, и все это надо было класть в чемодан. Дедушка клал.

Он ни в чем не отказывал внучке.

— Всего мог ожидать, но не думал, что вы уедете, не попрощавшись со мной, — неожиданно раздался густой голос в комнате.— Даже не сказали, что уезжаете...

Николай Петрович оторвался от чемодана и увидал высокого человека, стоявшего у порога. Человек был бледен, нервно улыбался и не сводил глаз с Верочки.

— Дядя Аркаша, мы уезжаем!— весело закричала Надюшка и потянула его за руку, чтобы он посмотрел, сколько у нее игрушек.

— Подожди, Надюшка, — остановил ее Николай Петрович, с волнением глядя на незнакомого человека.

Вера Николаевна жалко улыбнулась, и вдруг слезы потекли у нее по щекам. Так она и смотрела на Аркадия Сергеевича сквозь слезы.

— Теперь уже поздно говорить,— сказала она. — Это мой папа. Я уезжаю к нему...

— Он обо всем знает?— спросил Аркадий Сергеевич, не глядя на отца. — Вы против?— Теперь уже он посмотрел на него в упор. — Значит, вы так сами решили, — сказал Аркадий Сергеевич и опустил голову. — Что ж, прощайте. — Он посмотрел на нее полными печали глазами. — Полюбил я вас на всю жизнь... Но, знать, не судьба...— Он грустно улыбнулся, отдал всем общий поклон и вышел.

— Кто это?— спросил Николай Петрович.

Вера Николаевна не ответила. Она смотрела в окно. У нее по щекам текли слезы.

Аркадий Сергеевич уходил не оглядываясь.

— Верочка, ты любишь его?— Николай Петрович подошел к ней.

— Не знаю... ничего, папа, не знаю... Мне очень тяжело...

— Не понимаю, кто тебя научил таиться от меня? Ты не спросила в первый раз и сейчас скрыла... Мне трудно что-либо тебе посоветовать, но ведь не все же мерзавцы. Есть же люди порядочные...

В дверях появилась Настя с красным от слез носом.

— Я ничего не могу сказать об этом человеке, но он тебя любит, и, кто знает, может, найдешь свое счастье...

— Да что уж говорить... Хороший человек, и зря вы обижаете его, — сказала Настя.

Вошел шофер, тот самый Вася, за которого вышла замуж Наташа Травина.

— Машина готова, — сказал он. — Какие вещи выносить?

Николай Петрович сердито посмотрел на него и продолжал:

— Ты должна остаться тут. Я ничего не знал. Поживи и, если увидишь, что это не тот человек, тогда...

У крыльца послышались ребячьи голоса. Через минуту в комнату тихо, как к тяжелобольному, вошли те, кого она учила. Удивленно, не понимая, зачем уезжает от них учительница, они смотрели на Веру Николаевну синими, серыми, карими глазами.

— Вы что, ребята?— заметив их, спросила Вера Николаевна.

— Попрощаться пришли, — сказала девочка и отвернулась, пряча слезы.

И трудно сказать: слова ли отца, разлука ли с Аркадием Сергеевичем, которого она полюбила, жалость ли к этим детям, а всего скорее все вместе заставило ее переменить решение. Но она не успела ничего сказать.

— Это кто же вам наговорил, что она уезжает?— сердито спросил Николай Петрович. — Это я уезжаю!

Лица ребят посветлели:

— Правда, Вера Николаевна?

Сквозь слезы она улыбнулась. И ребята поняли, что это правда.

БРАТЬЯ

Большая деревня, в которой произошла эта история, называется Мхи.

Колхоз, после того как укрупнился, стал именоваться «Новый расцвет», но деревня так и осталась со старым названием, причем никаких мхов не было ни в близи, ни даже в отдалении. Возникло же такое название давно. Когда-то действительно маленькую деревеньку, в десяток домов, держали в кольце мшистые болота. Эта деревушка с ростепелей и до заморозков была отрезана от мира бездорожьем, и только зимой по замерзшим топям можно было проложить санный путь. Поэтому крестьяне, жившие во Мхах, три четверти года чувствовали себя в полной безопасности от станового и помещиков и лишь одну четверть года с трепетом ожидали колокольчатого звона казенной тройки.

Мшане жили довольно дружно. И хоть пригожей земли у них было и не вдосталь, зато болот хватало с избытком. Поэтому каждый год крестьяне прихватывали по кусочку топей — рыли каналы, спускали воду, перепахивали жирный торфяник и через год-два на месте кочкарника уже высевали из лукошка рожь. Делая это втайне от помещика Столбового, мшане посмеивались в кулак, потихоньку воевали с топями и считали себя страшно хитрыми.

Прошло несколько десятилетий, с каждым годом все меньше становилось болот. Но однажды вышло так, что барин, травя зайца, проскочил до самой деревни. А было это в сентябре.

— Что за деревня?— спросил он у ребятишек, с удивлением оглядывая крепкие пятистенки.

— Мхи,— вразнобой ответили ребята.

— Как Мхи? А где же болота?— еще больше удивился барин, вспомнив старые рассказы о том, что есть в его поместье деревенька, в которую и зимой-то не каждый год попадешь.

Ребятишки про болота тоже слыхали только по рассказам, поэтому показать их не смогли. Барин уехал, прислал приказчика. Этот все разведал и на другой день поздравил барина с двадцатью десятинами урожайной земли. За сокрытие и обман барин приказал выпороть старосту деревеньки Мхи, сутулого старика, прозванного

Глухарем. Старика выпороли, и пашня стала помещичьей. Мшане потужили: уж очень жалко было отдавать со своей земли урожай барину, но со временем примирились, хотя и не совсем. Всё думали, как бы им на чем другом провести барина. Схитрить — это было у них уже в крови.

С тех пор минуло много лет... Жизнь мшан изменилась. Появился колхоз, и деревня Мхи стала как бы небольшим центром. Но даже и тогда никому не пришло в голову менять название деревни. Может, потому не задумывались, что название деревни затмевал своим именем колхоз. И в газетах, и в письменных отчетах, и в разговорах всегда упоминался «Новый расцвет». Но в некоторых случаях Мхи все же отвоевывали свое право на существование. Так, например, на областной карте есть маленький кружок и рядом с ним слово «Мхи», встречается это слово на конвертах и реже уже производное от него: если надо сказать о наивном, хитроумном человеке, принято говорить «чистый мшанин».

Братья Глухаревы, далекие потомки когда-то поротого Глухаря, поссорились.

Один из братьев, Петр Степанович, работал в колхозе бригадиром-полеводом. Дело свое он знал хорошо. Поговаривал, что неплохо было бы побывать в Сельскохозяйственной академии, но свою поездку откладывал только потому, что хотел явиться в Москву с орденом Ленина и Золотой Звездой. А так как еще с зимы Петр Степанович взял обязательство вырастить геройский урожай зерновых и для этого были все основания, то поездка в Москву была не за горами.

В отличие от своего брата, Василия Степановича, парторга колхоза, он был скор на решения, правда, часто непродуманные, поэтому если чувствовал себя не особенно правым, то начинал изворачиваться, хитрить, и тут во всем великолепии проявлялась старая «мшанская кровь».

Жизнью своею Петр Степанович был доволен. Не заглядывая далеко в будущее, он удовлетворялся тем, что давал сегодняшний день. У него были три дочери и два сына. Сыновья служили в армии, две старшие дочки жили своими семьями, и дома шумела только Шуренка, пятнадцатилетний угловатый подросток, баловень матери и любимица отца. Когда Петр Степанович бывал

в веселом настроении, то донимал Шуренку одними и теми же словами:

— А пожалуй, дочка, пора тебя замуж отдавать...

На это Шуренка махала руками и убегала. Петр Степанович посмеивался в бороду, шел за дочкой и говорил:

— Дочурка, да разве отдам тебя кому? Да я убью его, черта носатого, пусть только к нашему дому на километр подойдет!

Со своей бригадой он ладил так же легко, как с дочкой. Никогда не ругался, но и не был той веревкой, из которой узлы вяжут.

В колхозе его уважали. Известен был Петр Степанович и по району. Нередко на совещании передовиков сидел в президиуме. Все это его вполне устраивало, несбыточными надеждами он не болел, и что задумывал, как правило, сбывалось.

И жить бы ему так долго.

Но вот к тому времени, как налилась медовой зрелостью пшеница, Петра Степановича неожиданно одолели беспокойные думы. Появились они после того, как из района приехала комиссия по определению урожайности на геройском участке и главный агроном, осмотрев поля, сказал:

— Обязательство Петр Степанович, конечно, выполнит, но вопрос — будет ли первым по району? У Родионова урожай не хуже, а пожалуй, получше.

Родионов работал бригадиром в колхозе «Путь Ильича». Совсем еще молодой парень, в прошлом году окончивший агрономические курсы. Конечно, Петр Степанович не мог примириться с тем, что этот мальчишка утрет ему нос, что Родионов будет сидеть на его месте в президиуме, по правую руку от секретаря райкома, что о Родионове будут писать в газетах, что слава, почет и уважение перейдут от Петра Степановича к этому молокососу. Нет, с этим примириться нельзя было!

Солнце давно уже село, с полей пролетели на свои гнездовья лесные голуби, голоса в деревне стали особенно звонки и ясны, а Петр Степанович все не уходил со своего участка. Вышелушивал на ладонь зернышки, подсчитывал их, сбивался, снова начинал переводить в весовые единицы, наконец, сорвав несколько колосков, сунул их в карман и торопливо зашагал в деревню.

— А ну-ка, Мария Кондратьевна, взвесь эти зернышки,— сказал он, войдя к агроному.

Мария Кондратьевна, полненькая девица, сдвинула редкие брови и начала взвешивать зерна одного колоска, потом другого, потом третьего. Опять начались вычисления. Девушка легко набрасывала цифры; казалось, они с потолка сыплются на бумагу. Несмотря на легкость Машенькиных вычислений и тяжеловесность расчетов Петра Степановича, итоги сошлись, и получилось, что на каждом гектаре геройского участка тридцать и одна десятая центнера будет.

Но точно такой же урожай определил главный агроном и у Родионова.

Долго в эту ночь не мог уснуть Петр Степанович, все ворочался с боку на бок и все думал, как сделать, чтобы опередить Родионова, чтобы и в этом году быть первым по району.

К утру у него созрело решение. Дело в том, что рядом с геройским участком находился большой клин пшеницы, где по плану бригада должна была вырастить по пятнадцать центнеров, но виды на урожай показали все двадцать. И вот, если оттуда перетащить сотни две-три снопов на геройский, то... дальнейшее Петру Степановичу было совершенно ясно. О том, что это плохо, он не думал. Угрызения совести его также не мучили, вся эта хитроумная затея со снопами показалась ему настолько забавной, что он даже не удержался и хохотнул.

На другой день Петр Степанович внес деловое предложение. Пшеницу должны были убирать комбайном, но кто сказал, что к комбайну нельзя присовокупить несколько жнеек? Чем быстрее будет убран урожай, тем меньше потерь. Председатель колхоза Березов согласился: он привык к тому, что бригадир всегда выдвигал дельные предложения.

Петр Степанович был доволен, затея со снопами была осуществима и ничего убыточного колхозу не несла. Все дни до жнитва он ходил легко, по нескольку раз проверял жнейки, справлялся, хороши ли лошади, и разговору у него только и было, что об уборке урожая. Он и пошучивал и посмеивался. Что ж, урожай хорош, человек на Героя идет, можно и повеселиться!

Минута в минуту начали работу комбайн и жнейка. Петр Степанович разрывался на части, бегал вслед за

машинами, смотрел, нет ли потерь, не остается ли в колосе зерно, следил за разгрузкой. Он ликующе ударил в ладоши, когда весовщик сообщил ему, что с первого гектара снят тридцать один центнер. И на втором, и на третьем, и на пятом гектарах был такой же урожай. Теперь уже совершенно ясно было, что Родионову не быть первым по району. Но это совершенно не значило, что Петр Степанович мог отказаться от дополнительных снопов. И как только наступила ночь, он отправился на поля.

На его счастье, ночь была темная, какая обычно бывает в августе, когда небо заоблачено и безлунно. В деревне было тихо. Даже псы молчали. Петр Степанович быстренько пробежал по улице и уже более ровным, но все же крупным шагом пошел по полю. План его был прост — брать с каждого суслона по одному снопу, благо количество снопов в суслонах разное. Ни минуты не мешкая, он начал таскать с соседнего поля на геройский участок снопы и складывать их в суслон.

Небо между тем прояснилось, к тому же на востоке посветлело, и хотя еще было сумеречно, но все-таки можно было различить и суслоны, и темнеющий перелесок, и одиноко мотающуюся по жнитву фигуру Петра Степановича. Несколько дополнительных суслонов уже стояло на геройском участке. Петр Степанович собирался было перекурить, но раздумал, решив выровнять ряд, для чего потребовалось еще с десяток снопов. Чтобы не делать лишних концов, он стал таскать по нескольку снопов сразу. Носить их было неудобно, колосья залезали за воротник, кусали вспотевшую шею. И вот когда Петр Степанович решил, что снопов перенес достаточно, он оглянулся и замер.

Перед ним стоял человек. Стоял, как столб,— прямой, длинный и молчаливый. Это было так неожиданно и так страшно, что Петр Степанович оробел. Но в ту же секунду понял, что опасаться нечего: перед ним стоял его брат Василий.

— Фу, черт, напугал ты меня,— лязгнув зубами, сказал Петр Степанович.

Василий молчал. Увидя своего брата, уважаемого бригадира, за таким позорным делом, Василий в первую минуту растерялся и не знал, что сказать.

— Ты что, на охоту?..— спросил Петр Степанович.— Голубей пострелять?..

— Да,— не сразу ответил Василий Степанович.— Но лучше бы мне дома посидеть.

— Почему лучше дома сидеть? Думаешь, не прилетят?— живо подхватил разговор Петр Степанович, радуясь тому, что брат то ли не заметил, то ли сделал вид, что не замечает этих проклятых снопов, которые лежали у его ног.— Подожди с часок. Стаями хлынут. Сколько зерна от них гибнет...— И осекся под пристальным взглядом брата.— Чего ты так смотришь?— спросил Петр Степанович и виновато улыбнулся.

— Знаешь, почему так смотрю.

Петр Степанович разволновался, с жаром заговорил о том, что он перетащил снопы на всякий случай, что Родионову и так несдобровать, что уму непостижимо, если об этом узнает народ, что, черт возьми, нельзя же ломать ему жизнь! Он хватал Василия Степановича за руку, глядел в глаза, но лицо брата оставалось каменным.

— Ну, подумай сам,— говорил Петр.— Ах ты боже мой... Ну, велика важность. Я вот их перетаскаю сейчас же обратно при тебе...

— Дело не в том, что ты исправишь ошибку. Дело в факте.

Парторг повернулся и зашагал к дороге, прямой и высокий.

Было еще очень рано. На дороге нетронуто лежала прибитая росой пыль. Идти по ней было легко, но Василию Степановичу казалось, что он идет по пустыне, что ноги его вязнут и с каждым шагом все тяжелее путь.

Окна в домах были еще задернуты занавесками.

Василий Степанович остановился у дома председателя колхоза. Надо начинать с него. Он глава хозяйства.

Равномерный стук разбудил Березина. Председатель сбросил одеяло и подошел в одном исподнем к окошку. На него с улицы глядело лицо парторга. Появление Василия Степановича в такой неурочный час встревожило Березина. Он торопливо метнулся к одежде, кое-как натянул штаны, накинул пиджак и выбежал во двор.

Василий Степанович рассказал ему про снопы. Березин чем больше слушал, тем становился оживленнее и под конец, не удержавшись, хлопнул себя по ляжкам, громко захохотал:

— Ах, шут его возьми, ну чистый мшанин! Это он, выходит, и жнейки-то заведомо приготовил.

— Да, у него все было продумано. Это не случайность,— сурово сказал Василий Степанович.

— Какая тут случайность!— воскликнул Березин и захохотал еще громче. Гуси, встревоженные его смехом, загоготали в сарае.— Вот уморил! Ну и лешак.

— Я не вижу здесь причин для смеха! Надо будет срочно собрать правление, снять Петра Глухарева с бригадиров и довести до сведения общественности о его поступке.

— Ну, это ты больно круто завернул, Василий Степанович,— утирая слезы, сказал Березин.— Надо его, лешака, заставить перетаскать снопы обратно,— и дело с концом.

— Значит, ты согласен с тем, что обманным путем можно вылезти в передовые?

— Этого не говорю. Но и раздувать кадило тоже нечего. На Героя он идет, урожай про то говорит. Славу колхозу он дал. А тут взбрело в башку быть выше Родионова... Это анекдот.

— Не согласен и прошу вечером собрать правление.— Василий Степанович пошел к калитке.

Часом позже к нему явился Петр. Он остановился в дверях и, виновато комкая фуражку, сказал:

— Я, Василий, вернул снопы...

Василий Степанович посмотрел на него и на мгновение смягчился. Может, он вспомнил, как давно-давно вместе с Петькой ловил в мелководной речушке штанами пескарей, может, вспомнил, как плакал Петр, уже поседевший, встречая его на вокзале после госпиталя... Но прошло мгновение, и Василий глухо сказал:

— Это не меняет существа вопроса. Вечером правление обсудит твой поступок.

Петр Степанович все еще не понимал, что брат намерен сообщить о снопах народу; медленно, отяжелевшими ногами переступил он несколько шагов и оробело спросил: «Чего ты от меня хочешь?» Он знал, что брат суров, порою очень строг. Не далее как на днях требовал исключения из колхоза овощеводки Анютиной за то, что та уехала на рынок с ягодами, вместо того чтобы убирать с поля лук. И, несмотря на протест других, остался при своем мнении. Но ведь то Анютина, а ему же он брат! Их только и осталось из всей родни двое... Петр Степа-

нович подошел к Василию чуть не вплотную и еще раз спросил удивленно и с обидой:

— Зачем тебе позорить меня надо?

Тогда Василий Степанович поднялся. Задыхаясь от охватившего его гнева, все более и более горячась, хрипло заговорил:

— Наше право на свободную Родину кровью утверждено. Мы шли через муки, через страдания, и сейчас, идя к коммунизму, обязаны быть беспощадными к тем, кто обманывает народ, кто думает только о своем мшанском честолюбии!

Петр Степанович постоял, подождал и, все же не понимая, откуда у брата такая злость на него, ушел.

Когда стихли шаги, Василий Степанович опустился на стул, охватил голову руками и устало закрыл глаза. Он знал таких людей, как Петр. И все-таки не понимал их, хотя прожил с ними всю жизнь. Свое маленькое для этих людей дороже, чем громадное общее!..

Вспомнилось, как однажды соседи, семейные люди, пропили колхозное сено, как их судили и как стыдно было ему и за них и за себя. Вспомнилось, как в дождливое прошлогоднее лето колхозники терпеливо переживали непогоду, и были такие, кто мало заботился об урожае. А урожай погибал! «Откуда такое равнодушие? Ведь свое, себе!» — с тоской думал Василий Степанович. И вместе с горьким раздумьем нарастали гнев и твердое убеждение, что только непримиримостью к этому равнодушию, только беспощадной борьбой можно уничтожить проклятую старую «мшанскую кровь», которая еще течет в жилах людей. И что из того, что он брат или не брат? Не кровь роднит, а помыслы!

Вечером было заседание правления. Василий Степанович говорил о проклятой «мшанской крови» и требовал снятия брата с бригадиров и осуждения его поступка на общем собрании колхозников. Как всегда, его голос звучал веско, и чувствовалась в нем неколебимая вера в правоту совершаемого.

Петр Степанович, побледневший, с прыгающей челюстью, долго не мог выговорить ни слова. От него несло водкой, но члены правления делали вид, что не замечают этого.

Теперь уже Петр Степанович не пытался ни хитрить, ни изворачиваться. Он понимал позор своего поступка,

готов был от стыда провалиться сквозь землю и просил лишь об одном — не давать огласки. Но разве в деревне скроешь что-либо? И хотя некоторые члены правления были согласны не доводить дело до общего собрания, Березин, человек дальновидный, поддержал парторга: все равно, мол, шила в мешке не утаишь, зато категорически был против, чтобы Петра Степановича снимали с бригадиров. С ним согласилось большинство членов правления, и на этом заседание закончилось.

Через несколько дней состоялось общее собрание. К этому времени общественное мнение уже определилось: добрая половина колхозников посмеивалась над Петром Степановичем, но некоторые возмущались.

На собрании было немало сказано о пережитках капитализма в сознании людей и других значительных вещах. И опять Петр Степанович был под хмельком, но теперь уже покрепче, чем на заседании правления. Он не знал, куда девать глаза, и сидел, опустив голову, ссутулясь. Слышал, как говорили о высокой принципиальности, о честности, о скромности. Ничего, конечно, нового в этих словах для Петра Степановича не было. Он знал: если кто бы другой, а не он перетаскивал снопы с чужого участка на свой, то вполне возможно, что и он бы так же говорил с трибуны.

Василий Степанович не сомневался в том, что поступил правильно по отношению к брату. Однако спустя некоторое время он вновь задумался.

Петр, всегда жизнерадостный, трудолюбивый, после всей этой истории стих, будто из него вынули какую-то пружинку, которая заставляла его двигаться энергичнее, жить радостно, трудиться весело. Его уже частенько можно было видеть под хмельком, потому что трезвый он стыдился людей, а пьяному, известно, море по колено. И если Петру на то указывали, он махал рукой и говорил: «А, все равно!» Он никак не мог смириться, не мог забыть историю со снопами и все думал, что люди за его спиной смеются, не уважают его. От этого он охладел к работе.

Березин попытался поговорить с Петром Степановичем, убедить его, что все это не так, как рисуется, но безуспешно.

Полагали, что Петр Степанович воспрянет духом после присвоения ему звания Героя, но и тут не вышло. Об-

ластные организации, узнав о поступке Петра Глухарева, исключили его из списков передовиков, представленных к награде. Этому Петр Степанович не удивился. Он считал, что так оно и будет. Совсем опустив руки, он однажды подал заявление с просьбой об освобождении от обязанностей бригадира. Его освободили.

Как-то, возвращаясь к себе, Василий Степанович проходил мимо дома Петра. Он знал, что брат на него сердит. Он уже миновал дом, как вдруг услышал крик. Кричала Шуренка. Она выскочила за калитку и завертелась как ужаленная.

— Что ты? — спросил ее Василий Степанович.

— Опять тятька пьяный...— В этот момент с треском раскрылось окошко и из него высунулось обрюзгшее лицо Петра Степановича.

— А-а! — закричал он.— Это ты, братец!

Вслед за этим послышался грохот захлопнутых створок окна и звон разбитого стекла.

Василий Степанович, отстранив Шуренку, решительно прошел в сени. Дернул дверь, но она была заперта.

— Открой,— попросил Василий Степанович.

— Не пущу! Нет у меня брата!

И не пустил.

Горько усмехнувшись, Василий Степанович вышел на улицу. Ему было обидно, что брат не понял его хороших намерений. Размышляя об этом, он встретил Березина. Председатель посмотрел на него долгим, внимательным взглядом черных прищуренных глаз.

— Ну что? — спросил Василий Степанович.

— Человек гибнет, вот что! — сурово ответил Березин.— А мы палец о палец не стукаем. Хороши коммунисты хороши товарищи.

— Ты имеешь в виду Петра Глухорева?

— Да, Петра Глухарева, твоего брата, хорошего бригадира, который теперь пьет и бездельничает.

Василий Степанович невесело усмехнулся.

— То, что происходит с Петром, следует расценивать как малодушие.

— Мне наплевать, как расценивать! — повысил голос Березин.— Человек погибает — вот что меня мучает. Мы так его тяпнули, что теперь ему не подняться. И, черт нас дери, чего мы потащили его на собрание? Отругать бы его запросто — и вся недолга.

— Решение было правильное,— невозмутимо сказал Василий Степанович,— только так и надо решать вопрос.

— Тебя что больше всего интересует: правильное решение или сам человек? — придвинулся к нему Березин.— Вот смотри, что получилось из нашего правильного решения: запил мужик, бригаду бросил. Надо что-то, брат, сделать.

— Я знаю, что надо делать.— Голос парторга стал жестче.— На одном из ближайших собраний поставим вопрос о недопустимом поведении Петра Глухарева. Мириться с подобным положением нельзя. Это разложение трудовой дисциплины. Дурные примеры заразительны.

— Что, еще собрание?! — вскричал Березин.— Ну, брат, нет. Так дело не пойдет. Я все сделаю проще. Я с ним поговорю, выпьем по стопке водки, и порядок... Он поймет душевное слово. И добьюсь того, что он снова будет бригадиром.

— Это что, партийная мера воспитания? — глухо спросил Василий Степанович, и на его скулах зашевелились тугие желваки.

— А как хочешь считай.

— Нас этому партия учит?

— Партия нас тому учит, что на пользу идет.

— Значит, ты считаешь, что собрание меньше поможет, чем твоя стопка водки? — Василий Степанович строго поглядел на председателя.— Ты думаешь, что говоришь? Собрание, на котором будут прямые, честные разговоры?

Березин сморщился.

— Ах, какой же ты сухарь! — воскликнул он.— Ну пойми, что Петру совестно, ему от стыда деваться некуда. Что он и пьет-то поэтому. А ты его опять на собрание тащишь. С ним надо душевно поговорить. Идем-ка вместе, а? Идем, потолкуем.

— Я не пью,— сухо ответил парторг.

Березин надвинул на лоб фуражку.

— Я тоже не из пьяниц.— Глаза у него мрачновато блеснули.

— Подожди,— сказал Василий Степанович,— Петр сейчас пьян. Соберемся у тебя завтра.

Назавтра они собрались. Петр Степанович сидел у окна, сосредоточенно смотрел в пол и молчал. Молчал

и Василий Степанович. Он перелистывал какую-то книжицу, держа ее на ладони. По всему дому волнами разносился запах закисающей капусты. Из-под кровати доносился тонкий писк — там лежала с котятами большая рыжая кошка. Она умудрялась за год три раза приносить котят. Березин каждый раз хватался за голову, грозился и кошку и котят утопить немедля, но проходил гнев, и он уже озабоченно думал, кому бы можно было предложить котенка...

Наконец все было приготовлено. На столе стояла тарелка с огурцами, сковородка жареной картошки, хлеб, бутылка водки и стакан с водой, потому что Березин не мог пить водку без того, чтобы не запить ее водицей.

Наполнив стопки, хозяин сказал давно приготовленную фразу:

— Худой мир лучше доброй ссоры, давайте-ка выпьем.

— От худого мира тоже добра не много,— заметил Василий Степанович. Петр метнул на него острый взгляд, Березин этот взгляд перехватил, всполошился, как бы не случилась меж братьев добрая ссора, и, уже позабыв о том, что хотел вести беседу с Петром Степановичем последовательно, с места в карьер предложил:

— В общем, Петр, мы тебя пригласили затем, чтобы ты снова стал бригадиром. И нечего тут долго раздумывать. И амбицию свою брось. Дело общее важнее всяких амбиций.— Он говорил так, словно Петр Степанович отказывался, не соглашался с ним, не хотел и слушать. А Петр молчал. Но молчал не потому, что его не трогали слова председателя, а потому, что сам последние дни не раз вспоминал с тоской то время, когда выходил во главе бригады в поле. Ведь совсем недавно он был почетным, уважаемым человеком. И он свыкся с этим. Тем страшнее была та пустота, которая образовалась вокруг него в последнее время. Самое жуткое было в том, что Петра и не вспоминали, будто не было никогда бригадира Петра Глухарева. Теперь же, услыхав слова Березина, Петр Степанович взволновался: значит, нужен! Значит, не отрезанный он ломоть. И все поправимо. А коли так, он вернет былое доверие и уважение и снова почувствует себя человеком. Все это пронеслось у него в голове, ответ же его был краток.

— Ладно.— И в знак того, что он не будет больше

пить, отстранил от себя водку, вышел из дома. Ему надо было побыть наедине с собой, чтобы хоть немного успокоиться.

Березин все это понял и хлопнул удовлетворенно себя по ляжкам.

— Видал? — спросил он Василия Степановича.— И вина не потребовалось. Важно в корень души посмотреть.— И, словно стыдясь своей хвастливости, сказал: — Основное, конечно, подействовало, что ты пришел,— от этих слов он почувствовал еще большую неловкость, поднял стопку и предложил выпить, совсем не надеясь, что парторг составит ему компанию. И верно, Василий Степанович отказался.

— Что же мне, одному, что ли, пить? — возмутился Березин.

— А это уж как хочешь.— Василий Степанович встал.

В это время у кровати раздался писк. Глухарев скосил глаза и увидал совсем маленького котенка с короткими ушами и хвостом, словно воткнутым сверху. Котенок переступал дрожащими ногами по крашеному полу и пищал. Березин нагнулся, поднял котенка и поднес его к парторгу.

— Гляди, какой зверь, а?

— Действительно,— улыбнулся Василий Степанович.

— Возьми.

— Зачем же?

— Как зачем? — удивился Березин.— Мышей будет ловить. Бери, бери.— Он сунул Василию Степановичу котенка и наотрез отказался взять обратно, когда тот стал протестовать.— Еще спасибо скажешь! — кричал вслед председатель, и потом долго смеялся, вспоминая, как бережно нес котенка Василий Глухарев. По старой мшанской привычке, Березин считал себя страшно хитрым.

ВТОРОЙ ЦВЕТ

Все лето шли дожди. Присмирели в лесах птицы. К речке не подойти — всюду топь. Стала желтеть листва. И не поймешь — осень, не осень. Сыро кругом, неуютно, холодно. И вдруг явилось солнце. Оно с утра до позднего вечера без устали грело измокшую землю, ласково освещало даже самые затаенные овражки. Все повеселе-

ло, ожило. Дни установились погожие. И хотя стоял уже сентябрь, снова поднялся над полями жаворонок, загуляли на токах тетерева, и, что уж совсем удивительно, второй раз в этом году зацвела черемуха.

Она росла у дороги, против окон старого неказистого дома, в котором находилась колхозная контора. Каждую весну ребята обламывали ее ветви, но наперекор всему она год от году цвела все гуще, стремясь выбросить свои пушистые кисти как можно выше.

То, что она цвела теперь осенью, было кстати. Пока выносили вещи и грузили их на полуторку, Колька Свирестенков, самый ловкий мальчишка в колхозе, забравшись на дерево, ломал красивые ветки и бросал их Вале Буклеевой, рослой, смуглолицей девушке. Она подхватывала цветы на лету и все оглядывалась на дверь, кося синеватыми белками глаз, боясь, что вот сейчас выйдет Караваев, увидит ее и поймет, что мысль о букете пришла ей в последнюю минуту и что ничего лучшего она придумать не смогла.

Ветер, сухой, порывистый, старательно пересчитывал в ее руках белые грозди, второпях осыпая на землю снежные звездочки.

Опять вынесли вещи, на этот раз уже мелкие, и в дверях показался Караваев, внешне ничем не примечательный человек. Он держал на руках двухлетнего сынишку.

— Коля, слезай! — крикнула Валя и, пригнувшись, пряча на груди черемуху, отбежала к полуторке, где стоял ее отец.

Сумрачный, сутуловатый, он хмуро посмотрел на дочь — нет, не осуждал ее,— отвернулся. Черт его знает, как это все получилось, но, единственный из всех колхозников, он оказался в этот час чуть ли не посторонним. Зайти в дом, а вернее сказать, в комнатушку председателя, он так и не решился. А другие входили, прощались... Однако было время — слушали его, Никиту Буклеева, верили ему, соглашались, но как-то незаметно, один за другим отошли. Со временем, правда, и он, Никита Буклеев, рассудительный, твердый в своих мыслях человек, стал иначе смотреть на Караваева, и все же окончательно не мог с ним сблизиться. Тут уже дело было в характере. Переломить себя не мог.

Буклеев, не двигая короткой шеей, повел справа налево маленькими близко расположенными к переносице

глазами и увидел дома колхозного центра, колодезный журавель, нацелившийся в зенит, красную черепичную крышу нового скотного двора и металлический ветродвигатель, стоявший на бугре. Диск ветродвигателя безостановочно вращался. Вспомнилось, как яростно выступал он, Никита Буклеев, против постройки этого ветряка. Да, он боялся, что и так небогатый трудодень станет еще меньше. И говорил всюду прямо, открыто,— он не скрывал своих дум и тревог,— и на правлении колхоза, и на собрании, и среди народа: «Не надо нам ветряка, от него вода вкусней не станет, а нам опять расходы. Денежки недолго пустить на ветер». И ведь слушали тогда люди, соглашались, а на поверку вышло, что ветродвигатель все же построили. И вот он подает воду на фермы, и никаких трудодней на это теперь не требуется. Упразднил водовозов... И получилось так, что один он, Никита Буклеев, был против.

Да, он всегда был против Караваева. С первого же дня, как увидал в колхозе вместе с секретарем райкома, стал против. Пришлый, чужой — вот что ворохнуло сердце.

Никогда у них не было пришлых председателей. Всегда избирали своих. Свой есть свой. С ним проще. Вместе в детстве без порток бегали. С ним и поругаться можно и поладить за поллитровкой. А тут новый, пускай хоть и агроном — все равно чужой. Он не знает, как вставал колхоз после войны, какого труда это стоило. Ведь подымали землю лопатами, на коровах пахали. В землянках жили. А он пришел на готовое. И еще, гляди ты, не понравилось! Будто у него только и есть глаза, чтоб видеть хорошее, а у других туманом затянуло.

И так уж пошло — что ни скажет Караваев, все Никите Буклееву словно кусок поперек горла. И, главное, нет веры в председателя. Чужак. Наломает, порушит, да и будет таков. Ему что: нынче он здесь, завтра в другом месте. Вроде перекати-поля, куда ни бросят — всюду ладно. А у народа на своем, как у дерев, корни глубоко пущены, никуда не уйти, да и незачем. Значит, опять начинай сызнова?

— Поймите, Никита Романович, разве я плохое предлагаю?— скажет иной раз Караваев и посмотрит открыто, словно в душу просится.— Ну, куда это годится — скот в пяти деревнях? Надо его вместе держать: больше порядка

будет, дохода больше.— Скажет мягко, улыбнется краешками губ. Кажется, вроде и человек не сильный, шумни на него — и пойдет на попятный, а на деле каждый раз выходит: словом мягок, а сердцем крепок. И никогда чтоб сам решил: вот, мол, мое слово — и выполняйте. Боже упаси! Соберет правление, разложит перед собой листочки и начнет доказывать цифрами за три года вперед. И докажет, всегда наберет себе сторонников больше, чем он, Никита Буклеев.

— Люди! — скажет Никита, и даже голос задрожит от обиды за своих людей.—За всем не угонишься. Новое — оно, к слову сказать, что репейник. Чем больше по нему идешь, тем гуще на тебя колючек цепляется. А ведь надо нам и пожить малость. Ну что это, на самом деле? То война была — в разор пустила, то укрупнились неладно, то председатель Василий Новиков не мог управиться с хозяйством. Трудодень, как ни ворочаем, все еще бедный. А ведь надо и о себе подумать. Сколь помню, все на общественное идет. Когда же себе-то?

Будто и правильные слова. И загалдят мужики, кто-то уже и соглашается: своя, мол, хата не крыта, а туда же — фермы строить. Еще бы чуть-чуть, и взял бы верх Никита Буклеев. Но возьмет слово Караваев, переждет в людях волнение и негромко скажет:

— Ладно, ничего не будем строить. Начнем жить для себя. Получаем по килограмму хлеба на трудодень, так и будем всю жизнь килограмм получать. Нет у нас зерносушилки — и без нее обойдемся. Пусть зерно сырое в закрома идет, пусть преет, как прело раньше. Нет телятника — пусть и дальше мрут телята от простуды. Живем в этом году — проживем так всю жизнь. А соседи наши за это время миллионерами станут, механизируют свое хозяйство, вздохнут полегче. А нам плевать. Верно, Никита Романович?

И мало того, что неправ окажешься, еще осмеют те же люди, которые только что соглашались с Буклеевым. Но так было с год, не больше. А как начал колхоз выравниваться, уже не стал выступать против председателя Никита Романович. Только присматривался. И все казалось ему, что не усидит долго у них Караваев. С чего бы ему тут корни пустить? Добро бы родной край был. Уедет. Но он, как видно, не помышлял об отъезде. На своем огороде посадил десяток яблонь-трехлеток. Жена родила

ему второго сына, но с работы учетчика не ушла. А это тоже имело значение, потому что в колхозе каждая рука на счету.

Появился скотный двор. Не сразу, конечно, но появился. Перевели туда коров из всех деревень. В каждом стойле автопоилки установили. Вместо пяти рабочих управлялся с уборкой теперь всего один человек, Митя Рукавичкин. Так себе, ни с чем пирожок он был раньше, а тут чистота у него на ферме, порядок. Знай катает себе вагонетки по висячей дороге. Стало доходней животноводство. Доярки себя по району проявили. Начали в колхоз наезжать люди из соседних артелей поучиться руководству у Караваева.

Неладно в те дни себя чувствовал Никита Буклеев. Одно спасение: уйдет раным-рано в поле и вернется затемно. На работе не до разговоров. А Караваев это посвоему понял, стал хвалить на собраниях бригадира-полевода Буклеева за усердие.

Но уже совсем опростоволосился Буклеев в дни выборов. Решили колхозники избрать Караваева в депутаты районного Совета. И тут Буклеев узнал, что Сергей Семенович фронтовик. Ничего в этом, конечно, удивительного не было. И сам Никита Буклеев немало повоевал. Ударило по сердцу другое — Караваев начал путь войны лейтенантом, а в Берлин вошел капитаном, был дважды ранен, контужен, награжден пятью орденами, и хоть бы слово когда сказал о себе. Это все же не шутка — быть в Берлине! Никита Буклеев там тоже побывал, рейхстаг своими глазами видел и чуть какой подходящий случай — всегда рассказывал о своих боевых делах. А этот ходит в пиджачке, в брюках навыпуск, и, убей, никогда не подумаешь, что он такой человек. Даже совестно стало в тот день Буклееву. «Как же это я,— думал он,— такому человеку не поверил сразу? Он-то уж знает почем фунт лиха». И подойти бы тогда к Караваеву, потолковать,— может, в одной дивизии были, брали Берлин-то? И не смог подойти. Характер не позволил.

А вот теперь: уезжает Сергей Семенович в другой колхоз. Заместо себя оставляет Василия Новикова, прежнего председателя, который недавно вернулся с курсов. Ничего, конечно, сказать нельзя против этого, замена надежная, но все же...

У машины понемногу собирался народ — больше ре-

бятишки, потому что взрослые еще вчера попрощались с Караваевым и теперь все были на работе.

Из конторы правления вышел бухгалтер Тарабанкин, плотный веселый человек, «ухажер», как его прозвали в колхозе за пристрастие к женскому полу. Он взял жену Караваева за локоть и зашагал с ней в ногу. Сказать по совести, Александра Михайловна недолюбливала его и в другое время так взглянула бы, что он отлетел, но тут ничего, даже улыбнулась.

Буклеев откашлялся, переступил с ноги на ногу и подошел к шоферу, будто по делу какому.

Караваев, негромко переговариваясь с Новиковым, открыл кабину и посадил туда малыша. Шофер открыл вторую дверку и впустил другого сына Караваева.

Сергей Семенович поглядел на дома, на хозяйственные постройки и зачем-то снял шапку. Люди придвинулись к нему и, как всегда бывает в такие минуты, хотели сказать что-то хорошее, но слов не находили, только улыбались, хотя улыбаться было совершенно нечему.

— Не забывайте нас,— сказал Тарабанкин. Голос его прозвучал грустно.

— Как можно,— ответил Караваев,— здесь у меня три года жизни осталось. Я такими кусками не бросаюсь.

К нему подошла Валя, протянула цветы и тихо сказала:

— Это от нас... от комсомольцев.— И смутилась: не так бы надо отблагодарить за все хорошее, что он сделал для молодежи.

Караваев взял букет, посмотрел на черемуховое дерево и, видно, пожалел его: на верхушке осталось только несколько пустых ветвей. Люди заметили его огорчение и, радуясь предлогу, стали говорить, что черемуха любит, когда ее ломают, что это ей даже на пользу, что на будущую весну она еще пуще зацветет.

Караваев улыбнулся, он-то ведь, как агроном, наверно, не хуже других знал, что любит черемуха, но ничего не сказал. Передал букет жене и начал прощаться. Вот он подошел к Никите Буклееву, посмотрел на его большую черную бороду и вспомнил, как однажды Буклеев пришел на заседание правления нечесаный, обросший густым волосом так, будто ему щеки и под носом намазали сажей, и он, Караваев, тогда сказал: «Бригадир — фигура командная. Он должен быть всегда опрятен».

Буклеев, помнится, напыжился и отрывисто бросил: «А я, может, бороду решил отпустить!» И, верный своему тяжелому упрямству, вырастил мужицкую бороду, старившую его.

Опять налетел ветер, свернул на сторону бороду Никите Романовичу, и стало похоже — бригадир криво улыбнулся. На самом же деле ему было не до улыбок. Мучительно сознавая всю свою неправоту перед Караваевым, ломая свой характер, который так долго не давал открыться сердцу, Буклеев глухо сказал:

— Не уезжали бы вы, Сергей Семенович. Что, право, дело только у нас наладилось — и опять в новые места.

— Так надо,— ответил Караваев, и в голосе у него не было ни грусти, ни горечи. — У вас теперь пойдет, а там еще нужно много поработать, чтобы поднялся колхоз.

«Но тебе-то зачем? Что ты, один-то, на всех?» — подумал Буклеев, но не спросил. Он знал, как получилось, что Караваев уезжает. В райкоме партии зашел разговор о самом отстающем колхозе в районе. Никто не просил Караваева туда ехать. Сам вызвался. «У меня,— сказал он,— теперь есть некоторый опыт».

Буклеев, вздохнув, заставил себя посмотреть в глаза Караваеву и тут впервые заметил, что они у него голубые, как у девчонки. И почему-то эта мелочь вдруг сжала сердце, и, не зная, зачем это он говорит (может, хотел в последнюю минуту приблизить себя к бывшему председателю), сказал:

— Я ведь тоже был в Берлине.

— Знаю,— спокойно ответил Караваев,— наверно, вместе Зииловские высоты брали?

— Вместе,— доверчиво улыбнулся Буклеев,— а уж оттуда прямо на Берлин.

— Да, было дело.— Караваев подождал, не скажет ли Буклеев еще что, но тот молчал. Тогда Караваев пожал ему руку, встал ногой на скат и легко перекинул тело в кузов.

Машина фыркнула и быстро покатила по дороге. Люди смотрели ей вслед. И там, где она проходила, подымалось густое облако пыли, скрывавшее дома и придорожные акации. Только ветряк по-прежнему сверкал своими металлическими спицами на солнце.

— Полагаю, счетному аппарату можно перебраться в

каморку Караваева? — спросил Тарабанкин у нового председателя.

— Да, да,— ответил Василий Новиков.

Тарабанкин подхватил Валю под руку и направился к конторе. Валя быстро взглянула на отца и отскочила в сторону.

Но Никите Романовичу было не до нее. Его поразило одно слово, сказанное Тарабанкиным,— «каморка». Да, в этой маленькой комнате все три года прожил со своей семьей Сергей Семенович Караваев. Она была отгорожена от конторы дощатой стеной, и часто оттуда доносился плач ребенка, негромкие голоса Александры Михайловны, старшего сынишки. Только теперь Буклеев до конца понял этого пришлого человека, который много думал и делал для других и которому они, колхозники, ничего не сделали, чтобы и ему хорошо было.

Никита Романович встревоженно оглянулся. Люди разошлись. Он стоял один на дороге, и некому было сказать о том, что вот, вернись сейчас Караваев, он, Буклеев, отдал бы все лучшее, что есть у него. Уж не стал бы перечить, помогал бы. Ведь и ему, Буклееву, есть что присоветовать.

Но от машины уже и след простыл. Пыль улеглась, и снова видны были акации, а за ними дома. И если что и напоминало об отъезде Сергея Семеновича, так это черемуха, и хотя нижние ветви ее были обломаны, на самой вершине белели кисти, напоминая своим, пусть хоть и поздним, цветением лучшее время года — весну.

ДЯДЯ КОЛЯ

Вот уже две недели дядя Коля живет в лесной сторожке. И за все время хоть бы раз кашлянул. Даже удивительно: после плеврита и ни разу не кашлянуть! Но в этом, наверно, и состоял целебный секрет леса. И меж деревьев, и в полях, и на озере, и всюду-всюду были очищенный морозом и пропитанный солнцем воздух. Такой воздух, что его можно глотать кусками, настолько он плотен. Дядя Коля глотал и чувствовал себя отлично.

Сторожка стояла в лесу. С трех сторон к ней подходили сосны, ели, березы. Был еще ольховник. Осинка... А с четвертой стороны — озеро. Оно было очень красиво ле-

том, когда ветер гонял по нему синие волны с белыми гребешками. Солнце отражалось в каждой его волне, и озеро ярко сверкало. Сейчас же ничего интересного в нем не было. Просто поле, ровное, гладкое, засыпанное снегом. И глядеть бы на него не стоило, если бы на другом берегу не виднелась деревня. Иногда оттуда доносились ребячьи голоса и лай собак. Но чаще деревня молчала, и, не будь дыма из труб, можно бы подумать, что там никто не живет...

Итак, в первые дни дядя Коля наслаждался тишиной и замечательным воздухом. Но потом ему сразу стало скучно. Он было пошел с племянником на участки, но снег лежал глубокий, да к тому же он подумал: какое ему дело, если даже колхозники и занимаются незаконными порубками? — и вернулся. Тогда ему стало еще скучнее. Но он боролся со скукой, увертывался от ее бледных лап. Расчищал от снега дорожки, читал романы, как он называл все толстые книги, выходил на берег озера и смотрел на деревню. Тут-то и подбиралась к нему скука и нашептывала, чтобы он скорее шел туда. Там люди, там жизнь, а тут — просто хоть махни рукой! И почему-то именно в эту минуту он вспоминал, что в карманчике для часов у него лежат аккуратно свернутые пополам, потом еще раз пополам и еще раз две бумажки в пять и в десять рублей. Вспомнив про бумажки, дядя Коля ругался и шел домой. А там были ро́маны, были еще прохудившиеся тазы и ведра, которые просила Настасья, жена племянника, починить. И он чинил.

От сторожки до деревни пять километров. Это если идти по тропе, что тянется вдоль берега, огибая озеро. Если же махнуть напрямик, не больше двух наберется. Но напрямик и думать нечего, там снегу до пояса. И дядя Коля пошел по тропе. Он даже позабыл про одышку, так разошелся. Только кусты да деревья мелькали. Будь дядя Коля охотник, он наверняка бы заметил заячьи следы, часто пересекавшие тропу. Даже лисьи попадались. Но ему было наплевать на следы, потому что его занимало совсем другое. Он все боялся, как бы не потерять деньги, поэтому держал их в руке, а руку в кармане.

Тропа стала подыматься на бугор. Как тяжело она подымалась! Потом покатилась вниз. И дядя Коля скатился. Да так быстро, что впору мальчишке. Нет, что ни говори, а воздух в деревне хорош! Только этим и можно

объяснить, что дядя Коля так быстро шагал, а еще месяц назад он просто «дох», как говорил сам про себя.

Тропа повернула влево и стала огибать озеро. Она шла рядом с камышами. Сухо шуршали на ветру пустые метелки. Солнце зашло за тучу, и все посинело вокруг. Озеро стало еще пустыннее. Метелки зашуршали сильней.

Тропа вильнула вправо и сунулась в небольшой подлесок. Здесь было тихо. Только стучал дятел. Стучал и стучал, будя уснувших под корой разных букашек.

Дядя Коля закурил и пошел тише. Теперь уже недалеко. Вон виднеется мостик, а за ним и первый дом, начало деревни.

В Заозерной — так называлась деревня — ни чайной, ни столовой, ни закусочной не было, поэтому в сельповскую лавку частенько забегал мужской люд. Конечно, пить в магазине строго воспрещалось. Но Иван Терентьевич не обращал внимания на такой запрет. Как заведующему сельмагом, ему важен был оборот. А какой же может быть оборот и, так сказать, выполнение плана, если бабы ругаются и не дают мужьям пить дома? Поэтому пожалуйста: стакан и кусок колбасы в дополнение к бутылке.

У прилавка стояли двое: бригадир Силантьев и однорукий конюх Шорохов. Шорохов был заметно подвыпивши, он держал кусок колбасы. Силантьев же зашел за папиросами и собирался уже уходить, когда показался на пороге незнакомый человек.

Это был дядя Коля. Он посмотрел на Шорохова, прищурил глаз, что-то соображая, потом взглянул на Силантьева и совершенно неожиданно для них выбросил на прилавок деньги.

Иван Терентьевич посмотрел на дяди Колин нос и снял с полки чекушку.

— Колбасы дать? — спросил он.

Дядя Коля показал ему ноготь мизинца. Иван Терентьевич понял и отрезал ровно столько, чтобы понюхать.

Он достал стакан, перевернул его дном вверх, положил на него кусочек колбасы, чтобы не запачкался, и отдал все это дяде Коле.

Дядя Коля открыл «малыша». Он никогда не называл четвертинку чекушкой, а ласково и точно: «малыш». Открыв, попросил еще два стакана и налил в каждый

граммов по пятьдесят — для затравки. И предложил выпить с ним Силантьеву и Шорохову. Шорохов не заставил себя упрашивать и вцепился в стакан. Силантьев же отказался. Но дядя Коля попросил не обижать, и Силантьев выпил. Это был длинный, тощий человек, хотя и не старый, но уже без зубов.

Завязался разговор, и вскоре выяснилось, что дядя Коля — кузнец. И не какой-нибудь, а потомственный. И дед его был кузнецом. Какое там дед — прадед! Демидовых знали?

— Ваську Демидова? — живо спросил Шорохов.

— Который на Урале, при Петре Первом. Он дядька моему прадеду, — строго сказал дядя Коля.

— Беру свои слова обратно,— сказал Шорохов. Он всегда становился вежливым, когда догадывался, что говорит не то, что нужно.

— Так вот, я потомок могучих ковалей,—гордо сказал дядя Коля. Выпитая водка уже ударила ему в голову.

— Честное слово? — удивился Силантьев.

— Не веришь? — обиделся дядя Коля и, сжав кулак, потянул его к плечу.— А ну, пробуй мускул!

Шорохов, чувствуя, что еще может перепасть водочки, потрогал через ватный рукав мускул и уважительно сказал:

— Сила!

— Работаете вы где? — спросил Силантьев.

— В данный момент на отдыхе. Далеко было ездить на завод. Простыл в трамвае... И по этой причине решил развязаться с заводом,— ответил дядя Коля, угощая папиросами новоявленных приятелей.

Услышав это, Силантьев почувствовал, как ему стало трудно дышать. Это всегда случалось с ним, когда он волновался. Не взяв папиросы, он бочком подошел к Ивану Терентьевичу.

— Дай поллитровку,— попросил он.

— А деньги? — спокойно сказал продавец.

— Отдам... Случай-то какой! Кузнец. А нам ведь, сам знаешь, как нужен кузнец. Ну дай! — он умоляюще смотрел на продавца. Иван Терентьевич всегда перед всеми провозглашал, что «кредит портит отношения», но, видя глаза бригадира, зная, что Силантьев не из пьяниц, достал бутылку.

Силантьев весело открыл ее и налил дяде Коле в ста-

кан. Он лил не жалея, как это делают непьющие люди. Дядя Коля отвернулся в сторону, делая вид, будто не замечает, сколько льется в стакан, и только, когда уже было налито вровень с краями, вскричал:

— Куда ж столько-то!

Он был очень доволен, что затравка подействовала и что он не ошибся в выборе компаньонов.

— Давайте выпьем,— сказал Силантьев и поднял свой стакан, в котором качалось немного водки.

Выпили. При этом конюх сообщил, что он завсегда рад пожертвовать даже собственной жизнью за колхозный строй, хотя никто его про это не спрашивал.

— Не знаю, как вас по имени-отчеству...— поинтересовался Силантьев.

— Зови дядя Коля.

— Хороший вы человек,— сказал Силантьев,— простой... А у нас беда. Вот уж сколько лет мучаемся с кузней... Пришли бы вы к нам, поработали...

— А разве своего мастера нет? — спросил дядя Коля.

Силантьев горько усмехнулся:

— Лучше про него и не говорить. Есть, но и гвоздя выпрямить не может. Вот какой мастер. А работы много. Полозья надо на сани... Опять же ободья на колеса... Вы это можете?

Дядя Коля сказал пренебрежительно:

— Не только это. Я железо могу сваривать. Понятно?

У Силантьева от радости захватило дух. А дядя Коля задумался. Он думал о том, что и вправду не мешало бы помочь колхозу,— нужда, видно, у них большая в кузнеце... К тому же он сейчас без работы, да и не в болезни дело, а просто уволили за пьянство... как уже не раз увольняли.

— Но где же я буду жить? — спросил дядя Коля.— Не ходить же мне от сторожки племяша каждый день по пять километров?

— Какого племяша? — спросил Шорохов. От него резко пахло конским потом.

— Моего племяша! — громко сказал дядя Коля, досадуя, что не может понять, чем же таким пахнет от Шорохова.

— Если нужно, колхоз построит дом,— сказал Силантьев, желая только одного: чтобы дядя Коля согла-

сился поработать у них. Пусть не навсегда, хотя бы на год. Замучились они без кузнеца.

В магазин вошла женщина с кошелкой и попросила килограмм соли. Дядя Коля посмотрел на нее и сказал громко, будто все были глухие:

— А чего я буду в пустом доме один как перст,— и для пущей убедительности поднял указательный палец.

— А что, разве жены у тебя нет? — спросил Силантьев.

— Умерла в блокаду,— еще громче сказал дядя Коля, не сводя глаз с женщины.

Конюх Шорохов жалостливо сморщился и потянулся к дяде Коле.

— Ты не будешь один,— ласково сказал он,— ты будешь в коллективе.

— Нализался,— с горечью сказала женщина, опуская в кошелку пакет с солью.— Пьют... пьют, всё уж пропили.

— Молчать! — крикнул Шорохов, и в глазах у него появился диковатый огонек изобретателя.— У нас есть вдова. Анна Багрянова... С коровой. Всего сорок лет бабе. Как?

— Сорок лет?.. Черт! — Дядя Коля улыбнулся и тут же стал серьезным, подумав, что ему скоро стукнет шестьдесят. Но решил, что это никакого значения иметь не может.— Хорошо,— сказал он,— Анна ее зовут? Скажи, я согласен!

Женщина плюнула и ушла. Бригадир Силантьев с грустью посмотрел на дядю Колю. А Шорохов полез целоваться. И тут дядя Коля понял, что от него пахнет конским потом, и вспомнил первую мировую войну, лошадей, которые перевозили походную кузницу. Ах, черт возьми, как это было давно!.. Очень давно... Так давно, будто в романе читано.

Дядя Коля посмотрел перед собой и увидел, что прилавок пуст, если не считать кусочка колбасы, который сиротливо лежал перед ним. Значит, все выпито...

— Нет, ты разреши мне дядю Колю прокатить на санях,— бушевал Шорохов.— Я его мигом домой доставлю!

— Этого делать нельзя,— убеждал его Силантьев.— Это непорядок. Дядя Коля, может, у меня заночуешь?

— Никуда. Домой! — твердо сказал дядя Коля.

— Может, проводить тебя? — спросил Силантьев. Он боялся его отпускать, боялся расстаться с ним навсегда.

— Один дойду! — крикнул дядя Коля.

— Извините,— вежливо сказал Шорохов.

Силантьев взял дяди Колину руку в свои большие костлявые руки и нежно пожал:

— Значит, надеюсь, дядя Коля... Буду ждать завтра в конторе. Помоги нам...

— Сказал. Точка, — ответил дядя Коля и пошел домой.

Луна светила с невероятной высоты. Тени были короткие и синие. Мостик остался позади. Дятел уже спал. Ветер утих, и метелки не шуршали. Тропа плелась меж деревьев. В лесу играли зайцы. Услышав шаги человека, они затаились в кустах. Пусть пройдет. Дядя Коля прошел. Ему было наплевать на зайцев. Его занимало совсем другое. Он так и видел маленькую кузницу с черной паутиной по углам. Горн с красными углями. Наковальню на широком чурбаке. Да, хорошо бы поработать. Мять, плющить, кромсать, резать, рубить, ковать железо. Мягкое, раскаленное, а?..

Дома уже спали. В нижних оконных стеклах плавала луна. На озере гулко ухало. Это мороз сжимал толстый январский лед.

— Полуночник какой,— проворчала Настасья, открывая дверь.

— Не брюзжи! — приказал дядя Коля.

Раздевался он долго. Очень долго. Так долго, что Настасья даже уснула. Когда же наконец разделся, то дунул в лампу, и в сторожке стало светло от снега и луны. Чуть слышно посвистывал в трубе ветер.

Засыпая, дядя Коля думал о новом доме, о красивой сорокалетней вдове и затаенно улыбался.

Проснулся он поздно. За окном выл ветер. Племяш сидел за столом и писал какую-то бумагу. Настасья гладила. Было тепло и тихо. В печке потрескивали дрова.

Дядя Коля оделся. Подошел к окну. Метель разыгралась вовсю. Как она мела! Как мела! Не то что озера, даже забора не было видно. Ну ничего не видно. Так что и думать не стоило, чтобы идти в колхоз... Но тут же дядя Коля решил, что если бы даже и не было метели, то вряд ли пошел бы. Мало ли что спьяна нагородишь... Ведь сказал же, что у него нет жены, а она есть

и, поди-ка, ждет в городе. Ему было немного неловко племяша, да и Настасьи, поэтому он сказал сердито:

— Как поутихнет, проводишь меня до станции.

— Ладно,— коротко ответил племянник.

А Силантьев ждал его. Он сидел в конторе и неотрывно смотрел в окно. За окном же мело и мело, и ни озера, ни сторожки — ничего не было видно.

В РОДНЫХ МЕСТАХ

Александру Решетову

С войны Иван Касимов вернулся контуженным. Удивительно, как еще жив остался. Снаряд от него разорвался до того близко, что автомат, например, был разбит в щепки. Больше двух лет пролежал Касимов в госпитале, и когда выписался, то в деревню ехать ему было уже незачем. Мать умерла еще во время войны. Жена, не дождавшись его, думая, что он погиб,— а он и верно около года, считай, был погибшим, затухал в немецком лагере,—вышла замуж и уехала куда-то на Север. Поэтому Иван остался в уральском городке работать при госпитале. Когда же госпиталь ликвидировали, он устроился на работу вахтером при стекольном заводе. Работа была нетяжелая, и, хотя заработок был невелик, ему на одного вполне хватало.

От мук и горьких раздумий меж бровей у него залегла такая глубокая складка, что иные думали: не штыком ли ему царапнуло? От прежнего Ивана Касимова — плечистого, веселого мужика — ничего не осталось. Он исхудал, трясся. Если его о чем-либо спрашивали, ну хотя бы пустяк какой, то Иван, прежде чем ответить, начинал хватать ртом воздух, словно бы задыхался, и, отвечая протяжно, выпевал каждое слово. Слушать такое было тяжело, его жалели и, завидя, старались обходить.

Он это понимал и на разговоры не набивался.

На нем была изрядно потрепанная «шинелка», подхваченная в поясе солдатским ремнем, на ногах ботинки с обмотками, в которых сражалась последние годы ма-

тушка-пехота, «царица полей». Густая с проседью борода курчавилась на его испятнанном взрывом лице. Отрастил он ее потому, что бриться сам не мог — боялся порезаться. Припадки, как правило, застигали его врасплох.

Но со временем «шинелка» ушла, ее сменило суконное полупальто. Вместо ботинок с обмотками появились хромовые сапоги. Пореже стали донимать и припадки. Война хоть и медленно, все же отпускала. И все чаще стал Касимов подумывать о своей деревне, о родных местах. Рисовались ему по ночам и зеленые луга с пестрым разноцветьем, и речка, поблескивающая на солнце, и леса, застывшие в сиреневой мгле.

Жила в деревне тетка, последняя тропинка к родным местам. И решил Иван проведать ее. Отпуск пал на июль — самое благодатное время в году. Двух недель вполне хватало и на дорогу и чтобы погостить у родни. К этому времени Иван подкопил деньжонок. Купил подарки. И поехал. Ему любопытно было думать о том, как ахнет тетка, не считавшая его в живых. Как она сразу, поди-ка, не признает его, а потом расплачется, вспомнит матку его, свою сестрицу. Подумал о дяде, о двоюродных сестренках — наверно, уже заневестились. И на сердце у него было легко и по-веселому беспокойно.

От станции до деревни Хорино пять километров. Дорога сначала идет лугом. Перерезав его, незаметно кустарниками подбирается к лесу. В лесу вечная полудрема. Тени густо, одна на другую, ложатся от ветвей, разлапистых метелок, перепутанных крон. Тенькают, перезваниваются невидимые в листве птицы. Из лесу дорога сваливается в небольшой овражек. Подымается. Бежит распаханными полями. И успокаивается на широкой улице.

Иван шел неторопко. Дышал глубоко, чувствуя, как живительной струей льется в ввалившуюся грудь родной воздух. Теперь он замечал то, мимо чего проходили другие. Вдруг останавливался и зачарованно смотрел на алмазно сверкающую росинку, притулившуюся, в пазухе листка. В другое бы время, если и заметил, только бы улыбнулся, теперь же неожиданно наворачивались слезы — контузия обострила нервы, и, чтобы не разреветься от ласковости ко всему этому прекрасному миру, Иван торопливо закуривал, глотал горький дым.

Деревня была все та же. Только появилось несколько

новых домов да березы, что шли вдоль улицы, выросли и стояли высокие, с потресканной грубой корой.

Тетка была на огороде. Старый, с седой мордой, псина лениво брехнул несколько раз и замолк, выжидательно поглядывая на Ивана Касимова, остановившегося в калитке. Тетка выпрямилась, открыв спокойное лицо, и, подслеповато щурясь, спросила:

— Ктой-то?

— А ты иди сюда, может, и признаешь,— тая улыбку в бороде, сказал Иван.

Тетка подошла к нему. Сконив голову набок, вдумчиво присмотрелась.

— Чего-то не угадаю... Кого тебе?

— А я так и знал, что не угадаешь,— засмеялся Иван и тут же открылся, уж больно хотелось ему поразить тетку: — Иван я, племянник твой... Касимов!

— Ванюшка? — не веря, протянула тетка и отмахнулась рукой: — Да ну-ко тебя. Чего уж не дело-то несешь!

— Да верно! Я это, теть Паша,— еще больше чувствуя прилив веселья, сказал Иван и засмеялся, видя, как вытягивается теткино лицо.

— Ванюшка,— уже просто произнесла это имя тетка и заплакала.— Не пожалела тебя жизнь-то. Эк разделала...

— Ничего... Еще поживем,— бодрясь, ответил Иван.

Тетка беззастенчиво, как это умеют делать деревенские старые люди, с грубой откровенностью рассматривала его синие шрамы, подбитую сединой бороду, втянутые щеки.

— А и постарел же ты,— с горечью сказала она.

— Ты говори другое — как жив остался! — без обиды ответил Иван.— Нашего брата полегло куда там! А я что... я ничего... Дядя-то где?

— А! — горестно махнула рукой тетка.— Чах, чах и присох. Вот уж три года, как на правде... Ну, да чего я тебя томлю-то. Идем-ка, уж не знаю, чем тебя и угостить-то...

Пока она доставала из печки еду, Иван раскрыл чемодан и бережно, на обеих руках, поднес ей фланелевый отрез на платье.

— Ну спасибо,— заулыбалась беззубым ртом тетка,— не забыл, стало быть, меня.

— А вот это сестренкам. Где они? — Он им тоже привез по отрезу, но штапельного, повеселее на глаз.

— Анна замужем. В Ольховке живет. А Шуренка к вечеру явится. В поле она.

Неловко помявшись, Иван все же решил достать подарки, которые привез дяде.

— Не знаю, как уж и быть... Коли нет его, так... и не знаю... Может, зятю отдашь.— И положил на стол полотняную с вышивкой рубаху и кожаный портсигар.

— Больно жирно ему будет. Хватит с него и протабашника. А рубаху сам носи на здоровье,— распорядилась тетка.

Иван засмеялся.

К вечеру пришла Шуренка, маленькая, раздавшаяся в плечах девушка. Она, конечно, не узнала своего двоюродного брата и долго отчужденно присматривалась к нему.

— Чего ты? — наконец не выдержал Иван.

— Изменились вы очень... На карточке совсем другие,— ответила Шуренка и повела головой на простенок, где в большой раме теснились фотографии.

Иван подошел поближе к простенку и в сумраке наступившего вечера отыскал свою карточку. Снят он был с женой. В белом платье, стараясь быть строгой, сидела она на стуле. Но не удалось ей сохранить серьезность. Уголки губ дрогнули от улыбки. И такими, чуть вздернутыми, они и остались. Иван стоял рядом с ней, торжественный и смущенный. Фотографировались они вскоре после свадьбы... «Эх, Груня,— вздохнул Иван, глядя на беспечальное лицо жены,— не думал, не гадал я, что так у нас обернется...» Чувствуя, что от таких дум у него начинает теснить сердце и на глаза навертываются слезы, он отошел к окну. Стал смотреть на гаснущий закат, лежащий багровыми отсветами на крышах, на стволах берез, на пыльной дороге. Понемногу успокоился и хотел было уже отойти от окна, но, пристально вглядевшись в идущего по улице человека, узнал в нем Василия Никитина и удивленно подался вперед.

Василий шел усталой походкой, присутулив спину. Тяжелые кулаки недвижимо свисали к земле. Выгоревшая кепка с большим козырьком темнила лицо.

«Постой, постой,— собираясь с мыслями, подумал Иван,— неужели все же это был он?» И вспомнилась

война. Киев. Крещатик. И как по Крещатику немцы гнали колонну военнопленных. И в этой колонне был он, Иван Касимов. Он шел, опустив голову, думая свою тяжелую думу. Но в какую-то минуту чем-то отвлекся и совершенно неожиданно вблизи увидал Василия. Он был в конвое, в немецкой форме. Сначала Иван не поверил своим глазам. Подумал было, что это просто схожий с Васькой солдат. Он шел от него шагах в пяти, с автоматом. «Да нет, не может того быть,— подумал Иван, неотрывно глядя на конвоира,— неужели он? Васька Никитин, односельчанин, с которым в далеком детстве и в хоронушки играл и рыбу ловил?»

Тогда было все вместе, все пополам. Неподалеку от деревни протекала узенькая речонка Рыбинка. И верно, рыбы в ней было много. Так много, что если речку перегородить и поставить в проход раму, то каждый день можно доставать по ведру мелочи. Можно бы и крупную ловить, но у ребят вместо сетки была мешковина, и крупная рыба, не входя в ловушку, либо перепрыгивала гать, либо уходила обратно. Сладкой мечтой того времени была сетка. Но купить ее было не на что. И ребята строили планы: вот когда они вырастут, уж тогда-то... Но когда выросли, их дружба пошла на развилку. Иван недолго ходил в парнях. Женился. Василий же еще лет пять после этого куражился. Заигрывал с девчатами. Но, женившись, остепенился. За год до войны у него появился сынишка. И не раз, проходя мимо никитинского дома, видел Иван, как Василий то с любовью следил за ползунком, то гордо похаживал по двору, неся его на плече.

Первым на фронт ушел Иван Касимов. А через месяц снял волосы и Василий Никитин. Воевали, ничего не зная друг о друге. И встретились. Хотя большой уверенности, что тот конвоир — это Васька Никитин, у Ивана не было. Разобраться получше мешала пыль, которая стояла над колонной, голод, который затягивал туманом глаза, да и то, что конвоир вдруг отскочил назад и уже больше не приближался, а оглядываться было нельзя. Постепенно, с годами, все это забылось. Но теперь вспомнилось. «Неужели тогда был Васька?» — подумал Иван, провожая взглядом сутулую спину Василия.

— Что, и Василий Никитин живым, здоровым с войны вернулся? — спросил Иван.— Он это вроде идет?..

Тетка подошла к окну. Выглянула.

— Он...
— И давно?
— А как война кончилась, так и заявился.
— Интересно.
— А что?
— Да так... Ну, и как он живет?
— А ничего. Бригадиром работает. Старательный...
— Помнится, сынишка у него был?
— Еще двоих нарожал. Тот уже в район в школу ездит. Нашу кончил...— И, посмотрев на Ивана, тетка вздохнула.

Ночью Касимов долго не мог уснуть. Ворочался с боку на бок. Все думал о Василии Никитине: «Неужели это был он? Тогда как же все у него обошлось? Скрыл, что ли?..»

Заснул Иван с мыслью, что непременно должен его повидать. Сон был тревожен. Опять его били в лагере. Гнали в каменоломню. Потом он увидел Груню. И как будто ничего не было: ни войны, ни того, что она вышла за другого,— целовал ее и плакал, что наконец-то встретил...

Проснулся рано. Шуренка еще спала. Тетка гремела на кухне ведрами. Словно его подгоняли, Иван торопливо вышел из дому. Солнце еще не всходило. В ровном, спокойном свете стояли дома, деревья. Неподвижно лежали на небе узкие розоватые тучки.

Было тихо в этот ранний час и на полях. В серой, одноцветной мгле плыл сонный лес. Над речкой висел белый туман, и Рыбинка казалась широкой, многоводной.

Иван шел краем поля. Глядел на яровые. Они были хороши. Строчки уже давно смешались, и теперь разливное море хлебов чуть слышно шуршало, раскачиваясь на тихом ветру.

Из деревни донесся удар в рельс. Легкий прозрачный звон пролетел над полями и затих вдали. И в ту же минуту небо начало алеть. Разгораться. Взмыли ввысь жаворонки. Поднялось большое красное солнце.

Иван сел на развилке дорог и стал ждать. Ему хотелось с глазу на глаз встретиться с Василием, так, чтобы никто не мешал. Не шутка заподозрить зря человека в таком деле!

Прошло немного времени, и на дороге показались люди. Затарахтела телега. Заржал жеребенок. И, опережая

всех, трюпкой рысцой поспешил конный. Еще не видя его лица, Иван почему-то догадался, что это Василий, и встал, ожидая, когда тот с ним поравняется.

Василий приближался. Он смотрел на Ивана, но, видимо, не узнавал. Он мог бы даже проехать мимо. Тогда Иван позвал:

— Василий!

И тут произошло то, что мучило Касимова и что должно было произойти, если его догадка верна. Василий, перегнувшись с коня, всмотрелся в стоящего посреди дороги человека. Смуглое, одубевшее на ветрах его лицо стало медленно покрываться серым смятенным налетом, словно бы пылью. От напряжения на глазах у него выступили слезы. Перехваченным голосом, пытаясь улыбкой скрыть свое замешательство, он спросил:

— Никак ты, Иван?

— Я,— не отрывая взгляда от его оробевших глаз, ответил Касимов.

Василий засуматошился, не зная, говорить ли с коня или слезть. Слез. И, чтобы хоть немного прийти в себя, стал заправлять выбитую на глаза коню челку под уздечку. Заправил. И только уже после этого, несколько раз коротко передохнув, подошел к Ивану.

— Здравствуй, — сказал он, хотел было подать руку, но только дернул ею и не подал.

— Здравствуй,— медленно ответил Иван.

— Надолго?

— Думаю завтра обратно.

— Где же ты? — быстро спросил Василий.

— На заводе.

— Вон как. Значит, к нам не думаешь?

Иван ничего на это не ответил. Со все возрастающей неприязнью глядел на Василия, уверяясь, что это именно он был тогда на Крещатике.

— А ты ничего вроде живешь,— с намеком глухо сказал Иван.— Вроде как бы и все в порядке.

Василий попытался что-то ответить, но замолчал. По дороге шли женщины. Они с любопытством глянули на незнакомого.

— Не хочешь, чтобы разговор наш слышали? — с усмешкой спросил Иван, как только те отдалились.

— Это почему же? — потерянно улыбнулся Василий и тут же озлился: — Чего ты?

— Чего? А ты забыл, как вел меня по Крещатику?

Василий коротко, наперехват, вздохнул. Провел рукой по горлу.

— Я так и подумал, что ты видел меня...

— Так это был ты? — Иван приблизился к нему, горячо дыша.— Как же ты мог такое?

— Слушай, Иван...— Василий выдернул из кармана кисет. Рассыпая махорку, потрусил на бумагу.— Сядем... Давай сядем. Идем-ка, идем! — Василий двинулся к обочине дороги.

— А мне и тут с тобой не о чем говорить!

— Нет... подожди. Вот, видишь ты... ну, как тебя...— Не закурив, Василий сунул кисет в карман вместе с бумагой.— Я ведь сбежал оттуда. В партизанах был...

— Как же ты попал к ним?

— К партизанам? А убег!

— К немцам!

— А! В плен попал я. Били там, Иван. Голодом изничтожали... А тут еще наши, которые к ним переметнулись. Газеты приносили. А в газетах-то России уже и нет. Все под немцем. Все пропало. А они говорят: «Ты мужик здоровый, чего тебе зазря погибать, коли все пропало-то?» Ну и не устоял я от такого ужаса. А сколько там погибло, Иван, в душегубках, ты б знал...

— Знаю...

— Что, и ты был там?

— Не обо мне речь! — дергая щекой, крикнул Иван.— О себе говори!

— Да ведь что ж говорить... Жить хотелось, Иван! Все мечтал: домой вернусь. Стеша здесь. Сынишка... Поимей ты это в виду... Только жить начал, и война... А в партизанах я больше году был. Медаль дали... Ты вот спроси кого, как я работаю. Всяко бывало, и уходили люди с деревни. Житье было прямо хуже некуда. А я тут. Я никуда, Иван. И на трудодень ничего не давали. Все равно не ушел... — торопливо набрасывая слова, говорил Василий. — И никто на меня не в обиде. Вот кого хочешь спроси...

— Чего ж ты не открылся, не сказал партизанам? — с презрением глядя на Василия, спросил Иван.

— А как скажешь-то? Поверят, что ли? Время-то какое было. Лучше одного шлепнуть, хоть и безвинного, чем под риск сотни людей ставить...

— И в деревне скрыл?

— Засудили бы,— страдальчески улыбнулся Василий.— А за что? Враг, что ли?

И наступила такая тишина, будто все онемело вокруг. Потом откуда-то, словно через потолок, понеслось слабое журчание жаворонка. И снова все стихло. Молчал Василий. Ни слова не говорил и Иван. Он знал, чего от него ждет этот замученный своей виной и совестью человек. Ждет, чтобы он простил его. Ведь росли вместе... Не таились друг от друга... И сейчас он открылся...

— Ну, а как же ты по документам следы свои замел? — уже не так сурово спросил Иван.

— Сказал, что бежал с лагеря. Тогда много таких было.

— Но тебя-то среди них не было,— опять посуровев, с горечью сказал Иван.

— Так ведь... А! — устало махнул рукой Василий.— Только скажу тебе одно, Иван: лучше б мне сто раз сдохнуть, чем жить такой жизнью. Вот, думается, и амнистия была. Простили тех, кто куда виноватей меня, а все равно спокоя нет. А я о тебе ведь не было того дня, чтоб не думал. Тогда-то я тебя хорошо разглядел... Потом прошел слух, что ты умер. Думаешь, легче мне стало? Все равно спокоя не было. Другой, может, кто видал меня... «И прости-прощай, село родное! В края дальние пойдет молодец...» — невесело улыбнулся Василий.

— Что это? — силясь вспомнить давно слышанные слова, спросил Иван.

— А в школе-то учили. Помнишь? — весь как-то посветлев, ответил Василий.— «Я куплю себе косу новую. Отобью ее, наточу ее...»

И Иван вспомнил. Из какого-то далекого далека до него донесся звонкий, захлебывающийся от восторга голос Васятки Никитина. Припомнилось и то, что Васятка всегда легко и радостно заучивал стихи. И чувствуя, как слеза закипает в сердце, Иван, сдвинув брови, глухо сказал:

— Не надо.

Василий робко мигнул и замолчал.

— Ну что ж,— в раздумье оглядывая костистое лицо Василия, сказал Иван.— Прощай! — И, опустив голову, пошел к деревне.

— Заходил бы к нам! — донесся до него зазывный, виноватый голос. Но Иван не обернулся, только махнул из-за спины рукой.

Уже позднее, поднявшись на взгорбок, оглянулся. И замер. Перед ним всюду, насколько хватал глаз, лежала прекрасная в своей умиротворенности земля, в зелени, в солнце, с синей водой, с задумчивым лесом, с петлявшей среди полей бесконечной дорогой. И по этой дороге, опустив поводья, ссутулив спину, медленно ехал на коне Василий.

«До последнего часа своего будет мучиться,— сурово глядя ему вслед, подумал Иван.— Да, тот, кто хоть раз оступился в таком деле, нет тому прощения. Будто мне меньше хотелось жить, чем ему. Жизнь-то каждому по одной штуке дается. Конечно, и то надо понять: не будь войны, так бы и прожил честным Василий. А тут не выдержал, смалодушничал... Вот и терзается».

Дома никого не было. Иван поел молока с картошкой и отправился на могилу матери. Долго он ходил от креста к кресту, от холмика к холмику, прежде чем нашел ее. На слинялой дощечке еле различимо было: «Варвара Касимова. Род. 1889, ум. 1943». Крест похилился. Холмик зарос травой. В изголовье кудрявилась березка. Иван оборвал траву, оставил голубеть анютины глазки. Постоял с обнаженной головой. Послушал в кладбищенских кустах веселое пение птиц. И пошел домой, унося на сердце тихую, задумчивую грусть.

Длинным показался ему этот день. У стены сарая были свалены березовые чурбаки. Он переколол их. Сложил в клетку. Натаскал из колодца воды. Полил капусту. А солнце еще только-только встало над головой. «Надо бы сегодня ехать... чего я тут?» — удрученно подумал Иван, не зная, куда себя деть.

На полдник пришла тетка. И опять он остался один. Выручил сон. Прилег на часок, а проспал до вечера. После сна болела голова. Он открыл окно. По небу шли тучи, натягивая к ночи дождь. Дорогу переметал ветер, качал березы.

Опять пришла тетка. Стала накрывать на стол для ужина.

— Родни-то, считай, никого и нету,— вздыхая, говорила она,— кто помер, кто с войны не вернулся. Разъехались кто куда. Вот Аннушка: уж год не видала ее, и

глаз не кажет... Значит, так на заводе и мечтаешь прожить?

— А что ж, привык уже. Заводские — народ хороший. Я там как дома у себя.

Запыхавшаяся, прибежала Шуренка. Наскоро поела и стала принаряжаться.

— Куда? — спросила ее тетка.

— А кино сегодня.

Иван обрадовался предлогу скоротать вечер. И тоже пошел в кино.

Клуб находился в старой школе, в которой когда-то учился Иван. С волнением, вспоминая свое детство, он подошел к ней.

Как и обычно в деревнях, еще задолго до сеанса приходят мальчишки. Толкаются, борются друг с другом. Потом приходят парни, девчата. Позднее являются старшие. Места в таких кинотетрах ненумерованные, и поэтому каждый садится там, где хочет.

Касимов сел в заднем ряду. От нечего делать стал смотреть на входивших. Но мало кого узнавал. Молодежь подросла и изменилась. Пожилые состарились. Стариков не было. Вошла Шуренка с подружками, заметила его, но села поодаль. Влетели два мальчонки и, сев на переднюю скамейку, закричали: «Сюда, мама, сюда!» В идущей по проходу женщине Иван узнал Стешу. Она, как ему показалось, стала поменьше ростом, раздалась вширь. Но Иван на нее мало смотрел. Его интересовали ребятишки Василия. Один был в него, до того похожий, будто это сам Васька в детстве. И глазенки такие же бойкие, и на лбу зализ, который, как ни зачесывай, все равно торчит вихром. Про такой вихор говорят: теленок лизнул. «Да, пожалуй, в такую пору мы с ним и дружили»,— подумал Иван, ласково глядя на мальчонку.

Свет погас. Потом осветился экран. За стеной застучал движок. «А чего ж это Василия-то нет? — вчитываясь в надписи, подумал Иван.— Поди, расстроился, а может, занят». И все время, пока смотрел картину, думы о нем не выходили из головы.

От деревни Хорино до станции пять километров. Дорога сначала идет распаханными полями. Потом сваливается в небольшой овражек. Подымается. И тихо входит в лес. В лесу вечная полудрема. Тени густо, одна на другую, ложатся от ветвей, разлапистых метелок, пере-

путанных крон. Тенькают, перезваниваются невидимые в листве птицы. В поле жарко. Здесь же, в лесу, прохлада. Идти хорошо. Дышится легко. И тишина. Какая тишина! Ударит дятел. Прислушается. Снова ударит. Или всполошенно прострочит дрозд. И улетит. И снова тихо...

Иван Касимов шел лесом, посматривал по сторонам и думал о Василии. Встреча с ним была самым сильным, что взволновало его в родных местах. Вспоминал его пепельно-серые потресканные губы, поблеклые, исстрадавшиеся глаза. «Да,— думал он,— вот уже сколько лет прошло, как кончилась война, а в жизни все еще продолжается. И нет примирения мне с Василием».

Дорога все больше углублялась в лес. Теперь ее уже обжимали высокие замшелые сосны. Стояли они неподвижно, и от этого тишина казалась застывшей навеки. Мелкий ельник густым непролазом выпирал из земли.

БЕЗ ЗЕМЛИ

Семен Чикмарев выскочил из клуба оглушенный и растерянный. Все, что казалось еще до этой минуты невозможным, свершилось. Его соседи, однодеревенцы, которых он знал сызмальства, отняли у него землю. Отняли то, что кормило его семью, помогало подымать ребят, что придавало уверенность в жизни.

По дороге влажной волной перекатывался теплый весенний ветер. Звезды, словно озябшие в бездонной синеве, придвинулись к полям. Звенели, переливались ручьи. В другое бы время все это радовало, но теперь зачем оно? Не нужна весна, коли нет надежд.

«А-а!» — глухо застонал Чикмарев, идя, словно пьяный, по лужам, по грязи.

В этом стоне было и отчаяние, и обида, и злость, и тоска.

Земля! Самое дорогое, то, что держит, не отпускает в другие края. Свой кусок. Маленький, но свой, на котором только он хозяин, и никто больше. Земля, единственная земля, его собственная, на приусадебном участке. Он любил ее, любил, как живую. Ухаживал, как за девкой. Ночами другой раз не спал, ворочался, все думал о ней....

«А колхозную забыл!» — это крикнул на собрании Силантьев.

Всю жизнь этот «агитатор» стоит поперек его пути.

Забыл колхозную землю... А чего ее помнить, если она его не кормила? Трудов-то немало и он положил на нее, а что проку? Полтину деньгами да триста граммов хлеба — вот и весь трудодень. Проживи-ка с тремя ребятами. А жить надо.

«Общественная земля и есть общественная. Она для общества, а не для себя» — так хотел ответить Чикмарев Силантьеву, да не сказал. Что попусту говорить человеку, который завидует. А Силантьев завидовал всегда. Даже тому, что он, Чикмарев, вернулся с войны невредимый, будто виноват, что Степка Силантьев пришел контуженный, трясся.

— Ты, Семен, здоровый, ты должен теперь вовсю работать! — говорил с придыхом Силантьев.— Мне бы твою силу, ночи б не спал, работал...

— Что ж, я работаю...— И верно, работал. Никто не скажет, что Семен Чикмарев сидел сложа руки. У него и у самого тогда горела душа. Еще бы! Разве не соскучился он по дому, по земле за четыре долгих фронтовых года? Еще как! Заплакал, когда увидал родную деревню, и только, пожалуй, в ту минуту и понял, что жив остался. Бригадиром поставили. Работал. Хвалили. А ему и похвал тогда не надо было. Сердце стосковалось по работе. Мечталось в те дни: «Подымем колхоз. Заживем». И верно, вначале налаживаться стала жизнь. Но вскорости и под обрыв пошла. То за слабые соседние колхозы рассчитывайся с государством, то перевыполняй план по сдаче, то семенами помоги. А из каких доходов? Все за счет трудодня. С весны обещали килограмм зерном, а подошла пора рассчитываться — в закромах-то и пусто. Так и притушилось желание хорошо на колхоз трудиться. И чем тяжелее было колхозу, тем больше надежд на свою землю.

«Хитрить стал!» — Это Макушина Елизавета сказала.

Не хитрость это, а нужда. Чтобы не приставали, отрабатывал положенное время в колхозе, а все остальное на огороде да на базаре. Тоже нелегкое дело тысячу кочнов вырастить да сохранить их к зиме. Капустником прозвали. И опять же от зависти. Ни у кого не было такой капусты, как у него. Каждый кочешок словно сбитый.

— Ты погляди, какая капустка-то! — восхищенно говорил Семен на рынке.— На руку возьми!

— Да уж больно дорога.

— Не бойся, капиталистом не стану!

А в душе радовался. Перемножал кочны на килограммы. Килограммы на рубли. Выходили тысячи. Много? А обувать, одевать ребят надо? А чтоб были сыты, тоже надо? Да и самому с бабой не ходить оборванному. Какая же это хитрость? Нужда...

Чикмарев остановился возле своего дома. Там, за двором, лежит его земля. Теперь уже не его. Другие руки будут обхаживать ее. Другой глаз будет радоваться. И все это на виду... На крыльцо ли вышел, в окно ли глянул — чужой человек на его земле.

«Что же вы делаете? — Это он, Семен Чикмарев, в отчаянии крикнул, когда люди подымали руки, чтоб отрезать у него землю.— Жить-то как?» Он смотрел на эти поднятые руки с неразгибающимися пальцами, привыкшими держать лопату, топор, вилы.

«Где ж это видано, чтоб последнюю землю отымали у крестьянина?»

«Колхозной много!» — Это крикнул Николай Грачев, широкогрудый кузнец, бабья погибель.

И все засмеялись.

«Колхозную б и отрезали. Не вздохнул бы. А тут своя, последняя!» Да разве скажешь? В душе-то, поди-ка, не один он так думает, а скажи, как сразу оговорят.

Чикмарев прошел через двор. Навалился грудью на плетень. Перед ним, скупо освещенная луной, лежала земля. Еще местами на ней белел снег. Но пройдет день-два, и все стает Земля начнет млеть под теплым солнцем. Задымится. Потом ей гребешки обвеет ветер. И лопата сама пойдет «на штык» в ее глубь. Ах, боже ж мой, какая беда пришла!..

«Вот через таких-то и колхоз рушится!» — Это крикнула вдова солдатская Зюкова.

«Врешь! — Это крикнул он, Чикмарев.— Рушится через тех, кто колхоз до нищеты довел!»

«А ты и рад. Словно крот, в свою землю зарылся!» — еще злее крикнула она.

Ее злость понятна. Теперь ребята подросли, а то были мал мала меньше. Колхоз помогал, а не то бы пошла по миру с ними. А Чикмарев сам свою жизнь ковал.

Было тихо. Хрустнув, осел снег у плетня. В этом месте когда-то росла яблоня. Он срубил ее. Жалко было, а срубил. И ребят оставил без яблочка. И не потому, что хитрый, а нужда одолела. Яблонька-то не каждый год дарила антоновку, а налог-то ежегодно подавай. Вот и срубил. И вишню под корень... И ведь скажи на милость, пока шумели листвой деревья, цвели, многим до них было дело, а как срубил, так и успокоились. Будто того и ждали.

Так чего ж теперь-то осуждать его? Жил как мог. Не враг... А разделались, как с чужаком.

«Для колхозного — лодырь, для своего — старатель!» — Это, помнится, крикнул Михаил Степанов.

А ведь тоже срубил яблони...

Чикмарев открыл калитку. Мягкая огородная земля податливо уминалась под его ногами. Теперь уже не его земля!.. С поля навевал теплый ветер. Пожалуй, он за ночь до конца сгонит снег. Хороша была зима. Снежная... И весна не затянулась. Вся вешняя вода пошла в землю. Чикмарев горько усмехнулся. «А мне-то какая корысть от этого? Не моя земля. Ах ты, боже мой! Дожить до такого...»

Он наглухо прижал калитку. Перекрыл ее колом. Чего-чего, а уж через его калитку нет хода землемеру. Пусть ломает забор или лезет поверх.

Дома его ждали. Чикмарев медленно разделся. Повесил у входа сшитую из шинели тужурку.

— Отняли? — тихо спросила жена.

Семен не ответил, и она поняла, что отняли.

— Никто и не вступился?

— А кому ж это нужно, вступаться-то? Радешеньки, что богатый кусок урвали. Его три года не унаваживай — родить будет.

— Как же теперь жить-то? — всхлипнула Степанида.

Васятка, младший сынишка, хотел что-то сказать, но только часто-часто заморгал.

— А как хочешь, так и живи,— устало сказал Чикмарев и отодвинул от себя тарелку.— Была у Никиты ракита. Срубили ракиту, убили Никиту.

Степанида заплакала громче. Семен ей не мешал. Если б мог, сам заревел.

— Будем как следует работать в колхозе — вернут огород,— сказал Васятка и на всякий случай отодвинулся от отца.

— Отруби собаке хвост — куцая будет. Теперь и мы куцые,— мрачно усмехнулся Чикмарев и потер жесткий, щетинистый подбородок. Помолчал и усмехнулся еще мрачнее, вспомнив, как однажды на фронте потерял солдат пилотку, и хоть был в шинели, а все же показался тогда Чикмареву он смешным, вроде как бы и не солдатом. «Так и я... Какой уж землероб без земли...» — подумал Семен.

— И Силантьев говорил? — спросила Степанида.

— Все говорили... Доброго слова ни от кого не ждал. Пошел я, хоть бы кто окликнул,— сказал и почувствовал, что вот именно это, пожалуй, всего больнее и ударило его. Вроде никому и не нужный.

— Андрюше письмецо бы написать. Давно уж не слали,— как всегда без связи, сказала Степанида и вытерла углы рта передником.

— Он ни к чему. До начальника еще далеко — студент...— по-своему понял Семен.

— И от Анюты писем нет...

Анюта — отрезанный ломоть. Послал в город учиться, а она замуж вышла за слесаря. Своей семьей живет...

«Детей разогнал!» — Это опять крикнул Силантьев.

«Не прозябать же им в колхозе!» — ответил ему Чикмарев.

Лучше б и не говорить таких слов....

«Вот оно, отношение-то к колхозному делу! — тыча пальцем в Чикмарева, громко сказал председатель.— Все совершенно ясно и не требует никаких доказательств!»

«Что ж, не имею права детей выучить? — глуша шум, крикнул Чикмарев.— Сам не обучен, так пусть дети ученые будут. На то и Советская власть!»

Притихли; и верно ведь, кто не мечтал своих детей выучить на докторов, инженеров. Всякому лестно. Но тут опять закричала Зюкова. И в чем только душа у ней держится: кожа и кости. Ощерилась...

«Так и послал бы одного, а ты уже третьего нацеливаешь. Да не в дом, а все из дому. Нет, чтобы на агронома выучить... Жрать-то больно горазды колхозный хлеб, а работать зазорно. Я небось никого не пустила. Мои-то вон все в колхозе работают...»

— Ужинать-то будешь? — напомнила Степанида.

Семен не ответил.

— Нет, ты вот скажи, сколько злости на меня...— в раздумье произнес он.

— Все от зависти,— сказала Степанида и вздохнула.

— И не от зависти вовсе,— сказал Васятка и часто-часто заморгал глазами, взглянув на отца.

— Ну? — повернулся к нему Семен.

Васятка отодвинулся и промолчал. Потом вскочил и, отойдя к дверям, сказал:

— А мне стыдно. Вот что!

— Небось жрать, так не стыдно! — мрачно сверкнул глазами Семен.— Седьмой класс кончаешь, а еще палец о палец не ударил. Дурак!

— А я в колхозе буду работать. На тракториста выучусь.

— Попробуй только... Забыл, видно, как я тебя за двойку ремнем охаживал,— сказал Семен и ушел в горницу.

Из кухни донесся шепот. Степанида что-то выговаривала Васятке.

— А ну, спать! Хватит вам там! — крикнул Семен.

И все стихло.

За окном светила луна. Ее синий свет сгущал ночную тишину. Словно просмоленные, лежали от сарая и плетня черные тени. Снега на огороде оставалось все меньше.

«Откуда ж у них злость на меня?» — с горечью подумал Семен. Ему вспомнилось, как его приветливо встретили, когда он вернулся с фронта. Та же Зюкова больше всех старалась, чтоб его поставили бригадиром. Значит, злость явилась позднее. Это уж когда он отстранился от колхоза и жил с огорода...

Пришла Степанида. Стала разбирать постель.

— Что свет-то не зажжешь? — сказала она.

Семен не ответил. Его захватила одна мысль и, словно всполох, вдруг осветила многое из жизни колхоза.

Вспомнились неурожайные годы, бескормица, незадачливые председатели, частые наезды уполномоченных, тяжелое житье однодеревенцев. Но все это тогда Семена мало тревожило. Он жил с огорода. И частенько посмеивался и над «агитатором» и над Зюковой, видя, как они бьются на колхозной работе. Помнится, он даже дурнем как-то обозвал Силантьева.

«Да ведь если б дружно, сообща, — с тоской в голосе кричал Силантьев, — разве б не навели порядок?».

«Ну-ну, наводи,— ответил ему Семен.— Ты сделаешь, я помогу, а прок-то один. Придет зима — кусать будет нечего».

«Значит, погибай колхоз!» — закричал Силантьев.

«Не к тому... Начальства много, а порядка нет», — ответил Семен.

«От нас все зависит!»

«Если б от нас... Дурень ты!» — И ушел, в душе посмеиваясь над ним.

...И еще припомнилось. Как-то зимой, возвращаясь под вечер с базара, он повстречал Силантьева. Машина шла серединой дороги, и «агитатору» пришлось потесниться, сдвинув сани на обочину. А они были груженные навозом. Дул ветер. Морозило. Силантьев терпеливо пережидал, пока, переваливаясь, как утица, прошла машина. Он стоял по колено в снегу, в стареньком полушубке, перехваченном веревкой. И видно было, что замерз. И еще раз обозвал его про себя дурнем Семен, но в сердце что-то шевельнулось, похожее на вину перед этим человеком... Он долго смотрел с кузова на Силантьева, видел, как тот бился с лошаденкой, вытаскивая сани на дорогу. А над ним было темное морозное небо с багровой луной.

— Ложись, батька,— сказала Степанида и, как всегда, без связи добавила: — Когда еще корова растелится...

Семен сдвинул брови и промолчал.

Степанида вздохнула и затихла.

«К чему это я припомнил? — нащупывая потерянную мысль, подумал Семен.— А! К тому, что Силантьев всегда работал. Как бы ни было плохо в колхозе, всегда старался. За это я и прозвал его агитатором».

Думая о Силантьеве, он припомнил и еще один день, как однажды прибежал к нему Степан с газетой и, захлебываясь от радости, стал читать о том, что правительство вскрыло большие недостатки в колхозах и теперь принимает меры, чтоб не было этих недостатков. Но Чикмарев не разделял его восторга.

«Мало ли было постановлений,— сказал он.— А вот что налог на личное хозяйство сбросили — это хорошо. За это спасибо. А то ведь и в самом деле невмоготу стало. Яблоню срубил. Куда это годится?»

«Теперь все наладится. Специалистов, слышь, при-

шлют»,— радовался Силантьев, и его выдубленное ветрами и солнцем исхудалое лицо светилось.

«Что ж, посмотрим»,— сказал Семен.

«Да не смотреть, а работать надо. Вовсю! Взял бы ты опять бригаду, а? Тебе ли конюхом, с твоей-то силой и здоровьем?»

«Чудак ты, право, Степан,— улыбнулся тогда Семен,— ровно как девка на выданье. Все-то ей рисуется в розовом, а как выйдет замуж, всякого натерпится, и наплачется и наскачется».

«Нет, тебя, видно, ничем не прошибешь! — внезапно вскипятился Силантьев.— Чикмарь и есть чикмарь! Как же ты можешь жить, если не веришь в постановление? Для чего ж оно пущено?»

«Первое, что ли?» — усмехнулся Семен.

«Такое? Первое! И выходит, дурень-то не я, а ты!»

«Рассказывай мне,— усмехнулся после его ухода Семен,— теперь-то меня не укулупнешь, если само правительство дало мне облегчение в личном хозяйстве. Теперь-то я уж верняком две тысячи кочнов выращу».

И вырастил. И продал зимой, выручив добрую деньгу. А Силантьев еле-еле зиму протянул.

«Вот и выходит, ты дурень-то, а не я»,— хотел было сказать ему Семен как-то при случае. Но не сказал. Чего гусей дразнить? И совсем ни к чему ему было в то время, что с колхозом уже начало иное твориться. Колхоз как бы задержался на одном месте, а потом стал и приподниматься. Но Семен и тогда не верил. По-прежнему все надежды клал на свой огород. Этим, пожалуй, и допек тех, кто все силы свои отдавал колхозу.

«В войну таких, как ты, Семен, называли дезертирами,— как-то в запале сказал Силантьев.— Колхоз-то, гляди, подымается. Подымается, неладно тебе будет!»

«А ты не грозись. Грозился воробей орла испугать, да сам со страху помер...» — Так он тогда ответил «агитатору».

И еще год прошел. И как-то разом скакнул колхоз. То ли потому, что за дело взялся новый председатель, присланный из города, то ли МТС стала лучше работать, но так или иначе, а дело сдвинулось. Но он, Чикмарев, и тогда не верил. И раньше бывало так-то: подымался колхоз, а потом не то что скотину, а и людей-то кормить было нечем. И еще больше клал сил в огород. Но его все чаще

стали донимать. С конюхов перевели в бригаду. И там, на полях, сев и у себя сев. Хоть разорвись. Одной рассады для огорода надо вырастить несколько тысяч. А за ней глаз да глаз. Вовремя открой раму, полей. А чуть подул холодный ветер, солнышко ли скрылось,— прикрывай, чтоб не озябла. А потом высаживай в землю. Тут звено целое не управится, а он со Степанидой бьется. Да полить надо. Ведер сто перетаскаешь из колодца. Урывками такую работу не сделаешь. Так и получилось, что в самое горячее время для колхоза стал оставаться дома...

Зато зимой работал на колхоз не разгибая спины. В зимнюю пору отрабатывал «минимум трудодней».

«Я ж и говорю, хитрый стал! — крикнула Елизавета Макушина.— Кого обманывает? Нас!»

Это было последним, что решило участь чикмаревского участка.

За окном потемнело. И неожиданно по стеклу с тонким звоном ударила капля. Пошел дождь. «Остатки снега съест»,— подумал Семен, пристально вглядываясь во тьму.

Дождь шел всю ночь. И когда Семен рано поутру встал, всюду было черно: и на деревьях, и во дворе, и на огороде. Из-за перелеска подымалось солнце. По небу уплывали последние остатки мглистых облаков.

ТОЛЬКО БЫ НЕ БЫЛО ВЕТРА...

Василию Федорову

ОСТРОВ

На нем никто никогда не был. Даже не верилось. Тишина... Только камышевка тоненько, как иголочкой, проколола ее своим свистом. И все! И снова нетронутая тишина...

Три часа безостановочно я гнал лодку вдоль тростниковых полей, все дальше-дальше от егерской базы, от стоянок местных рыбаков, дальше, туда, где бы побыть одному, чтобы ни души, никаких разговоров, никаких встреч!

За три часа по тихой воде можно далеко уйти. К тому же я не жалел сил. И ушел. Солнце уже стало сваливаться на правую половину дня, когда повстречался этот остров. Поначалу я подумал, что это мыс,— я и ему был рад: хороший кусок земли, вклинившийся в воду, но, к еще большей радости, это оказался остров, отрезанный от берега мелководной, непроходимой от камыша бухтой.

Он весь из камней, метров триста в длину, сорок в ширину. К воде камни крупнее, к середине — мельче, но и там попадаются такие, что встань во весь рост — и каждый из них скроет своей громадой. Почерневшие от солнечного загара, потрескавшиеся от морозов и дождей, они, как стадо тюленей, лежали на этом острове — древние валуны, обросшие от старости шершавым лишайником.

Поверх их виднелись хилые сосенки, кривобокие березы, серые, с черными наростами от ненастья и северных ветров. Больших деревьев нет, наверно потому, что здесь нет земли. Подрастут метра на три и засохнут. Поэтому много валежника и сухостоя.

Трава жесткая. Да и мало ее. Кое-где туманятся метелки мятлика.

Я ходил по острову, как первооткрыватель. Мне здесь все нравилось: и камни, и деревья, и трава, и камыши, отрезавшие от меня землю, но главное — нравился покой, которого уже давно лишился человек. У меня было такое ощущение, будто я нашел то, чего мне давно не хватало, только я не сознавал чего и вот теперь наконец-то нашел. И поэтому с каждым шагом все изумленнее оглядывал эти никому не нужные камни, радовался каждому дереву, прикасался рукой к траве и ни о чем не хотел думать. Ни о прошлом. Ни о настоящем. Ни о будущем.

Ладога была видна все время — ни камни, ни деревья не скрывали ее, но я не торопился к ней, знал — долго буду сидеть на берегу и смотреть в ее беспредельный простор. Собственно, ради Ладоги и я приехал сюда. Не знаю, кого как, но меня Ладога и влечет и тревожит; есть в ее большой воде что-то чужое, даже враждебное, но это не мешает еще больше тянуться к ней. Она коварна. Все тихо, и небо чисто, и думается, так будет долго, и вдруг маленькое темное облачко. И вот уже ветер, и с каждой минутой он все сильнее, и вот уже волны, и вот уже они кипят и несутся в Ладогу, потряхивая белыми шапка-

ми. И чайки орут и скрываются. Облачко открывает солнце — и снова устанавливается тишина. И волны тают под его лучами, как воск. И гладь... И только на другой день узнаешь — утонул рыбак.

В Ладоге есть то, что может дать только большая вода,— чувствуешь себя человеком.

К ней я вышел, когда уже исколесил весь остров. Гладкая, ровная, спокойная,— она редко такой бывает,— Ладога лежала передо мной, уходя в бесконечность, с широкой, такой же бесконечной солнечной тропой напротив меня, с далеким-далеким островом, повисшим над водой... Странно, на острове был город. Белый город, залитый солнцем, с зелеными парками, похожий на азиатский! Даже что-то вроде минаретов было там. Я хорошо знаю, что никаких городов на островах Ладоги нет, но это было так похоже, и почему бы не поверить... Белый город! Может, я ничего не найду на этом острове, и все равно открою то, что там ничего нет, чтобы другой неопытный не пошел зря.

Белый город... До него не так-то легко добраться, надо плыть и плыть, в саму Ладогу, и не дай бог, если поднимется ветер... Но при чем здесь опасения? Пора бы от них отвыкать! Как они мешают человеку быть честным, благородным, смелым!

Белый город. Я смотрел на него и уже знал — побываю в нем.

«Не надо бы»,— предостерегал маленький трусливый Я.

«Надо!» — подавлял трусливого благородный, сильный — тоже Я.

«Согласен, но не сейчас»,— сказал благоразумный — подлая середина — тоже Я. И победил.

ВОДА. РЫБА. КАМНИ

Вечером я выехал на рыбалку. Неподалеку от острова виднелась каменная гряда. По всей вероятности, она была продолжением острова, только еще не вышедшей на поверхность его частью. Через миллион лет она, конечно, сольется с сушей, и остров увеличится, но пока они отделены друг от друга водой.

Думается, вода на Ладоге одинаковая, но это не так. Есть глубокая и есть мелкая, есть холодная, днем и но-

чью остужаемая донными родниками, и есть застоялая — в бухтах и заводях, пахнущая загнившими водорослями. Есть чистая, такая, что сквозь шестиметровую глубину увидишь дно, и есть мутная, как душа предателя. В тихую погоду она мирная, в бурю у берега грязная, на просторе — взъерошенная. То голубая от неба, то серая от туч. Она разная и поэтому никогда не надоедает.

И рыба разная. Благородная, сильная любит только чистую воду, живет в глубинах Ладоги. Там ей просторно. Редко кто поймает палию. Даже тралом не удается ее захватить. Она живет на большой глубине. Может, когда-то и жила наверху, но стало тесно, и ушла быстрая, смелая рыба, сродни лососю и озерной форели. И лосось и озерная форель не живут вблизи берега. У берега мало воды. И поэтому крупный окунь на глубине, и судак, и сиг. Даже щука, как ни удивительно, тоже на больших глубинах.

Но когда наступает вечер и свет уже не выдает и тьма скрадывает, большая рыба идет из глубин к грядам. Там, среди камней, на двухметровой глубине толчется береговая рыба: обсасывает с камней слизь плотва, стаями ходит елец, полощется в травах подлещик, ползает у дна ерш — он, как шакал, добирает остатки после всех.

Каменные гряды, мертвые днем, оживают вечером. Косяками идут окуни. Идут поверху, всплескивая, будто хлопают высунутые из воды ладоши. Идут стремительно. Наголодались в глубинах и теперь рвут и мечут направо и налево, хватают корм своими отсвечивающими голубым перламутром широко разинутыми ртами. У них нет поклевки. Берут с ходу. И дрожит удилище, сгибается, жилка гудит, как на ветру, она режет воду с такой силой, что брызги летят во все стороны. Несравнимо удовольствие, когда попадается килограммовый горбун,— уж он покажет, на что бывает способно живое перед смертью!

Когда на Ладоге тихо, то ничего опасного нет, если даже идти вблизи камней. Их хорошо видно. И все же надо поглядывать, не то наскочит лодка на притененный водой камень, а у него плешь не меньше стола, и долго придется возиться, пока снимешься. В сильный же ветер опрокинет, а волна ладожская крутая, твердая... Но сейчас тихо.

Сейчас очень тихо. Солнце медленно тонет в Ладоге, и кажется, вода подымается к небу. В вечернем безмолвии

летят к Белому городу чайки. Вода густеет, становится непроницаемой. Она отражает только внешнее, совершенно скрывая все, что находится в ней. И поэтому рыба наверняка уже двинулась из глубин, а лодка еще ползет где-то между островом и грядой. Надо поторапливаться... За кормой потянулся более отчетливый след, зажурчало возле бортов. И тут же весло проскрежетало о камень. Откуда он? Его же не было! И, словно медведь, поднялся у лодки еще камень. По всему дну Ладоги камни. Тесно припав друг к другу, они лежат на больших глубинах. Они и на малых. И в заводях. И в протоках. Не везде, но во многих местах они вылезают из воды, сначала высунув только макушку, обросшую мягкой шелковистой зеленью, потом подымаются по грудь и выходят на берег, обляпанные чаячьими пятнами.

В бурю камней не видно — Ладога прячет их, но не для того, чтобы утаить. Она знает, когда их нужно вытолкнуть на лодку, и выталкивает. А когда волна утихает, то Ладога не прочь и подшутить над неопытным рыбаком — плещет воду на макушке камня, и кажется, будто рыбы там гоняются за мальком, и неопытный рыбачок торопится туда, и ругается, и смеется над собой.

Но сейчас тихо. Так тихо, что даже вода не плещется на макушках камней. Сейчас не опасно. К тому же глубина. Только бы не было ветра...

ОГОНЬ

С костром не бывает одиночества. Какая бы ни была глухая ночь, спокойно у огня.

Костер я разложил у спины отвесного камня. Из камней же сделал и таган — сварил уху, напился чаю. И теперь курю и гляжу, как деловито облизывает огонь ветки. Вокруг темная августовская ночь. Вокруг мрак. Он простирается на тысячи километров, поглощая поля, леса, города, села. Мрак огромен. Все мироздание полно им. Он только на время уступает свету дня, а потом снова наваливается на все сущее, как бы напоминая человеку о его бессилии и ограниченности.

Но есть огонь. С ним уютно и нет одиночества.

К моей радости, остров действительно необитаемый. Никто не только не приехал сюда, но даже и вблизи никого не было. И это хорошо. Я устал. Устал от людей, от

города, от жизни. По-моему, человек себя может уважать до тех пор, пока сознает свою силу в обществе. С некоторых пор я за собой этой силы не чувствую. И тем острее вижу, как живет общество.

Раньше у меня такого ощущения не было — поэтому мне всегда хотелось работать и жить. А теперь появилась усталость...

Хорошо у костра. Хорошо быть одному. Хорошо, когда никого нет. В трех шагах от огня палатка. В нее я набросал сухого прошлогоднего тростника, застлал его плащом — отличная постель. Ни звука, ни грохота, ни содрогания, чем так щедр город. Оказывается, есть еще и другой мир — мир здоровых нервов и беспробудного сна.

Костер догорает. Я больше не подбрасываю веток. Пусть потихоньку уснет и огонь. Завтра я встану чуть свет и поеду к Белому городу. Мне непременно надо там побывать... Уж он-то совсем далеко от земли.

ТУМАН

Ночь была теплой. Всегда после крепкого сна, когда вылезаешь из палатки, пробирает дрожь, но тут парило, хотя еще только начинался рассвет. Ладога чуть слышно шевелилась в камнях. Она всегда на рассвете немного ворочается, будто укладывается поудобнее досыпать ночной сон.

Прежде чем ехать к Белому городу, мне хотелось постоять у гряды. Там провести утреннюю зорьку.

Весла мягко опускались в тихую воду. Я отошел подальше от острова, чтобы не натолкнуться на камни. С ясного, но еще ночного неба блекло светили звезды. Плыть было легко. Остров отходил все дальше и все больше темнел, превращаясь в курган. А гряда становилась четче, на ней уже можно было различить отдельные камни и на одном из них застывшую чайку.

Я встал между островом и грядой, с таким расчетом, чтобы перехватить рыбу, идущую из тростников к гряде, и ту, глубинную, которая приходит туда же. Гряда от меня была метрах в ста, не больше.

Трудно пробивалось солнце. Ему уже надо бы подняться над водой, но сиреневая плотная мгла лежала на востоке и не пускала его. Только высоко-высоко в небе

голубели, подсвеченные розовым, ясные просветы. Не клевало. Поплавок лежал на воде, словно впаянный.

Я не заметил, когда это началось, но со всего простора Ладоги потек по воде туман. Непроглядной высокой массой он надвигался на меня, коснулся гряды, и гряда стала отдаляться и одновременно увеличиваться. Камни начали расти, превращаться в громады. Чайка превратилась в огромную птицу. Туман стал еще гуще, и тут все исчезло. Странное состояние удивления и робости овладело мной. Такого тумана еще никогда мне не приходилось видеть, тем более быть в нем. Со всей Ладоги он шел к берегу, дымно клубясь, неосязаемый, как свет в матовом стекле.

Стало совсем тихо. Видно было только лодку и от нее метрах в трех неподвижный поплавок. Было что-то очень неприятное для меня в этой притихшей воде, в этом густом тумане, скрывшем тростники, гряду и мой остров. И я все тревожнее оглядывался, но теперь и небо было закрыто, и я себя чувствовал отрезанным от всего мира, и удовлетворенности этим уже не испытывал, и давно забытое беспокойное чувство тревоги еще больше овладело мной.

Неожиданно вдали заплескалась какая-то громадная рыбина. Шлепков не было слышно, но я видел, как она билась на поверхности воды, как от нее шли большие волны. Удивленно, даже испуганно я глядел на нее, не понимая, как могу ее видеть в таком тумане. А она приближалась. Но всплесков все равно не было слышно. И вдруг оказалась рядом с поплавком... бабочка, бьется крыльями, чтобы взлететь...

В тумане все необъяснимо изменчиво. И ничто не уменьшается — или исчезает, или увеличивается до сказочных размеров. И эта необычность держит в состоянии настороженности, и становится не по себе, и все усиливается тревожное чувство.

Не клюет. Что-то медленно приближается с другой стороны лодки... Распластанная на воде птица. Откуда она? Кто ее убил? Почему она плывет ко мне? Я неотрывно смотрю на нее, она далеко, но хорошо мне видна — большая птица с округлыми крыльями. И вздрагиваю — бабочка! Та же самая! Теперь ее гонит береговым течением. Она мертвая. Плывет мимо носа лодки, приближается к поплавку, и уходит в туман, и там увеличивается

и становится похожей на большую убитую птицу... Странно, рыба бабочку не взяла, значит, рыбы здесь нет...

Потянул ветер. Туман закачался. Со свистом пролетела над головой стая уток. За ней другая. На гряде с шумом отряхнулась чайка. Теперь ее видно, она сидит все на том же камне, огромная, величиною с пеликана. Чистится. И становится меньше. Это потому, что уже проглянуло солнце. И туман поплыл, и красной медью окрасилась вода, и еще тускло, но уже пробился остров. И двинулись, пошли облака. И все больше открывается небо. Оно зеленое. И появились всюду краски. Каким безжиненно бедным был бы без них мир! И как он прекрасен, когда камни — черные, тростники — коричневые, чайки — белые, небо — синее, вода — голубая, деревья — зеленые! Я гляжу на все в отдельности, будто вижу впервые, и радуюсь, и сердце сжимает сладкая тоска по жизни. Как хочется жить! Смотреть на это прекрасное, доступное каждому, наслаждаться, быть чистым, как эти краски, благородным, как это высокое небо... Как хорошо, когда нет тумана! Как спокойно, когда все ясно!

БЕЛЫЙ ГОРОД

Я плыл к нему больше часа — берег уже превратился в низкую темную полоску, и мой остров слился с ней. Ладога была гладкая, небо — чистое, и не думалось, что может быть ветер. Но где, в каком кодексе записано, что счастье должно быть долговечным? Ветер сначала мягко опахнул меня и тут же сломал застойную тишину воды, будто схватил в горсть и выпустил,— и сразу по всей Ладоге побежали мелкие волны.

Далеко над берегом показались тучи. Черные, широкие, они быстро неслись и вот уже скрыли солнце. И тут же ветер взвыл, волны одна за другой покатили вдаль, подымаясь все выше, становясь серыми. Самое правильное было бы вернуться на остров. Но Ладога не из тех озер, которые долго раскачиваются. Она берет разбег сразу. За какие-нибудь десять минут все смешается, ветер окрепнет, подует с такой силой, что и паруса не потребуется,— так что уж лучше не идти против него, а постараться поскорее прибиться к Белому городу.

Небо придвинулось к воде. И то и другое — обесцвеченное, тусклое. Я оглянулся. На Ладоге никого не было,

ни вблизи, ни вдали. Только волны, взбив гребни, неслись по всему неуютному простору, встряхивая ими, будто белыми шапками. Я был совершенно один. Но мне не было страшно. Больше того — что-то вроде злого задора вдруг овладело мною. Я радовался вскипающей волне,— хоть тут-то покажу себя, и даже что-то похожее на клокочущие гортанные звуки исторгалось из моей глотки, когда пенная волна швыряла лодку с гребня на гребень и обдавала меня серыми брызгами.

Мне нравилось бороться один на один с этой слепой громадой. Давно уже я не испытывал чувства озорства, а теперь оно кипело во мне. И с каждым взмахом весел, с каждым рывком, с каждым взлетом на волну, с порывом ветра, который все больше сатанел, мною овладевало безудержное желание борьбы, желание проявить всего себя.

Белый город был уже не так далеко, когда на меня обрушился шквал. Я и не знал, но, оказывается, накануне синоптики предсказали сильный северо-западный ветер со скоростью более двадцати метров в секунду. Это он и налетел на меня. С этой минуты начало твориться что-то непостижимое. Кепку сорвало, волосы метались по лбу, закрывая глаза, и я греб вслепую, и обнаруживал, что гребу не к Белому городу, а в самую пасть Ладоги, и тогда круто разворачивал лодку, и в нее в ту же секунду плюхалось не меньше ведра воды, и я опять откидывал лодку к волне, все больше чувствуя, что уже нет сил грести, что не хватает дыхания, руки немеют, что еще немного, и я брошу весла...

Случилось то, чего я и не предполагал,— лодка стала погружаться в воду. Не помню, но, кажется, я кричал. Звал на помощь... Конечно, никого не было... И тут я впервые узнал, что раньше смерти приходит ужас. Что смерть? Смерть — это когда тебя нет, когда тебе уже бояться нечего, но ужаса я еще не знал. А теперь он подступал ко мне, и то, что совсем еще недавно казалось недорогим, что утомляло, заставляло бежать сюда,— вдруг стало нужным. И даже это чугунное небо, эта чужая вода, этот избивающий ветер,— даже они стали дороги и нужны, но самое главное — оказалось, что во мне никогда не угасала жажда жизни, только ее затолкало время, невзгоды, постоянные заботы, тревоги, а теперь, когда вплотную ко мне подошла смерть, она — эта жажда

жизни — прорвалась через все, что ее подавляло, и, жадно вбирая моими глазами все, что было вокруг, что осталось позади, что могло еще радовать,— все это взяла себе, как оружие со смертью, и мне стало страшно уходить из жизни.

Я звал, кричал, но никто не пришел ко мне... Потом долго плыл к Белому городу... Я, конечно бы, сто раз погиб, если бы подчинился трусливому Я. Это он кричал, взывал о помощи, но как только я очутился в воде, его подмял сильный Я, и с той минуты появилась уверенность — доберусь до острова. И не страшно мне было ни волн, ни ветра, ни расстояния. Бывает такое состояние у человека, когда его правда перерастает страх угрожаемой смерти за нее. Что-то подобное произошло и со мной.

Как справедливая награда сильному Я, была та первая секунда, когда ноги коснулись дна. Разгребая воду, я пошел к берегу. И тут большая волна со всего ладожского разгона налетела на меня и швырнула на камни. И еще волна, и еще...

Я все же выбрался на берег. Упал и долго лежал. И плакал, не стыдясь своих слез. Потому что это были слезы очищения и надежды. Было обидно, что не так жил до сих пор, поэтому и устал, и что теперь начну совсем другую жизнь. Плакал оттого, что до этого дня не уважал себя, не умел этого делать, а теперь ничего уже бояться не буду.

Я поднял голову — и не увидал Белого города. Передо мной высились большие, обляпанные чаячьим пометом, старые камни. За ними зеленел тощий кустарник. Конечно, никаких минаретов не было...

ПЯТЬ ДОМОВ

Я уже давно не был на даче, и теперь хожу, смотрю, и все для меня новое, и радостно мне, и очень хочется жить, и делать доброе, и быть общительным и ласковым. Кап... кап... Падает с крыши. Это капли трогают тишину. Небо синее, и ничто не мешает солнцу. Сад еще промороженный, но я знаю — он скоро отойдет, и ветви яблонь станут гибкими, и влажно заструится в них ветер. И снег сползет с крыши. Завалит всю тропку, и трудно будет отбрасывать его, настолько он собьется в плотную кучу.

Я смотрю на осевший снег, на сад, на озеро, на дальние острова. Скоро, скоро весна...

Крыльцо оттаяло, ступеньки сухи, так что можно даже и посидеть. А в доме холодно и сумрачно. Сумрачно от штор. Одну за другой я подымаю их, освобождаю окна, и яркий свет весело заполняет комнаты, но становится еще холоднее. Какое все неживое, когда в доме холодно. Даже цвет у вещей другой. Серая плита в холоде — черная, подушки белее, чем когда бывает тепло, и клеенка на столе отдает холодом. И не хочется быть здесь, да еще одному. И я с радостью выхожу к солнцу, к снегам и, закрыв глаза, подставляю лицо небу.

Кап... кап...

Справа от меня бугор. Там среди старых лип и высоких дубов дом Александра Александровича. Давно я там не был. Жив ли старик?

— Сереженька!

Как он засуматошился! Не знает, куда посадить.

— Кури, кури! — Он подвигает мне пачку папирос, закуривает сам, садится напротив, глядит, улыбается, и все это лицо дышит приветом.— А, какие мои дела... На тридцать шесть рублей с Клавдией Петровной не очень-то разживешься. Вот и угостить тебя нечем.

Я знаю, трудно старику живется.

— Рыба? Плохо. Достал сегодня пять штучек, и все.

Он никогда не скажет «поймал», всегда «достал». Поймал — это когда гонишься за кем, а тут достал. Со дна достал!

— Плохо нынче. Да вот еще морозы стояли, так и совсем не выходил из дому. Сердце чего-то, Сереженька, стало сдавать. Да так-то бы все ничего, только вот питание. Дети? А у каждого семья, все работают, впору до себя. Сами глядят как бы я помог. И помогаю, да что моя помощь... Ну а ты-то как? Надолго?

— Весна скоро.

— Ну и правильно. А я один. Клавдия Петровна к Танюшке уехала. Все нервничает. Конечно, нелегко ей, сам посуди, Сереженька, на тридцать шесть рублей разве проживешь? А жить надо. Да и деньги-то маленькие. Раньше рубль так рубль, а теперь — гривенник. Как хошь, а гривенник. Может, внучата привыкнут к таким деньгам, а для меня как была копейка, так и осталась копейка, а она не копейка, а гривенник.

— А чего с рукой?

— А палец отрубил. Поехал за елкой на остров с внуком и поскользнулся на лыжах, и как угораздило и сам не знаю, упал на спину, рука наотмашь и прямо по топору. Вскочил, а кусочка мизинца и нет. Ну да ладно, до смерти и девяти пальцев с обрубком хватит. Теперь уж, считай, зажило. Если рыбу стал ловить, значит, зажило... Ну, а ты-то как? Что пишешь? Роман-то печатают?

— Пока нет.

— Ай-яй-яй! Как же живешь-то?

— Так вот и живу... А ты, значит, один?

— А и спокойнее, Сереженька. Клавдия Петровна ведь очень нервная. Расшумится из-за пустяка, кричит. И у самой голова заболит, и у меня схватит. Так я убегаю. На озеро. Отсижу там часа три, приду домой, а она уже и успокоилась, и забыла все, и рада, что я пришел. Тут главное не ругаться. Как видишь, дело к шуму, так и уйди.

— На Вуоксу бы съездить. Там все же рыба покрупнее.

— Дорога дорогая. Сорок копеек, а поймаешь, нет — неизвестно. Давай еще закурим!

Курим еще. Очень живой этот старик. Лицо без усов и бороды — бреется. Морщины затвердели на нем и не прибавляются, и поэтому не дашь ему возраста. И удивляешься, откуда в нем энергия. В первую мировую в плену чуть в рудниках не умер, в эту досталось, вырастил четверых детей...

— Васька-то Курганов умер.

— Как умер?

— Выпил чего-то нехорошего. Вообще-то много пил, ну, а тут, видно, лишку хватил, а может... Похоронили уже.

Курганов Степан Николаевич его сосед: да и от меня близко живет. Я хорошо знаю его, и жену его знаю, и двух сыновей знаю — Василия и Алексея. Алексей уехал на Урал, там женился и живет, а Василий, или, как все его звали, Вася-лапша, за то, что он любил приговаривать: «Не надо лапшой бросаться!» — умер. Пойти проведать Курганова?

— А как же, непременно зайди!

Александр Александрович провожает меня до калитки. Стоит без шапки. Седой, маленький, улыбается.

— Спасибо, что зашел, Сереженька!

Дом у Курганова голубой, как просвет в весеннем небе. Но сейчас он мне кажется сумрачным, насупленным, и я робко вхожу в сени, открываю дверь. В другое бы время я ничего не заметил, но теперь все вижу поиному. Курганов, ссутулившись, сидит за кухонным столом, ест. Его жена Таисья, крупная, сухая женщина, неотрывно смотрит на мужа. Чувствуется, до моего прихода у них было долгое молчание. Трудно они выходили из этого молчания. Курганов отложил ложку в сторону, встал и подал руку.

— Давно вас не было.

— Да...

— Верно, на юге опять отдыхали?

— И там был.

— А теперь, значит, сюда. Здесь отдыхать будете?

Мою писательскую работу он, видимо, не принимает всерьез, и всегда, когда бы я с ним ни повстречался, если заходит разговор обо мне, спрашивает: «Отдыхаете?» Было время, я пробовал объяснять ему, чем занимаюсь, говорил, что это дело нелегкое, дарил свои книги, он уважительно выслушивал, брал книги, но все равно при встрече спрашивал: «Отдыхаете?»

— Весна.

— Хорошее дело... Может, пообедаете?

— Да нет, спасибо. Крепкие морозы стояли?

— Ничего, мы привычные. Я на ветру кровлю крыл. Ничего.

Он не словоохотлив, это я знаю и поэтому не смущаюсь паузами. Мы с ним можем молчать минут по десять, а потом как ни в чем ни бывало продолжаем разговор.

— И Анна Григорьевна приехала? — спрашивает Таисья, и губы у нее начинают дрожать.

— К вечеру подъедет.

Надо уходить. Ни сам Курганов, ни его жена даже взглядом не намекают на смерть сына. Понимают бесполезность соболезнований, да уже и горе осознано, и незачем его тревожить.

— Заходите к нам,— приглашаю я.

— Спасибо. А чего вы? Сидите.

— Да нет, пойду.

Таисья неожиданно всхлипывает и быстро уходит

в горницу. Курганов вежливо улыбается мне, но в глазах такая жуткая печаль, что я не выдерживаю его взгляда и все свое сочувствие выражаю только в одном — крепко жму ему руку. А она у него твердая и шершавая, как необструганная доска.

Как хорошо на улице! С крыш наперегонки срываются, вспыхивая, капли. И уже громко кричат вороны, и воробьи суматошатся на шоссе, и во всех фасадных окнах плавится ослепительное солнце. И тонкие ветки лип раскачиваются мягко, как в воде. Хорошо!

А рядом горе. Такие люди, как Курганов, переносят его тяжелее, чем открытые, лезущие со своей болью. Я знал его сына, Васю-лапшу, маленького запьянцовского мужика. Ему было лет тридцать. Чуть подвыпив, лез в драку. Его били. Однажды пристал к парням у своего дома, и Курганов услыхал Васькин голос, и выбежал, и увидал, как трое охаживали его сына ногами, и потерял разум от жалости, налетел на троих, расшвырял их и понес Ваську на спине, как носил раненых в войну, работая санитаром. Васька икал и плакал. И вот тогда, единственный раз, пожаловался мне Курганов.

— Почему это так, себя не жалею, всю жизнь в работе, а радости нет?

Обычно кургановская тропа от дому до шоссе узкая, но в этом году широкая. Такой ее сделал сам Курганов, чтобы удобнее было выносить гроб. Не тропа, а дорога...

Снегу в эту зиму выпало много. Шоссе чистили бульдозером, и поэтому по сторонам выросли крутые сугробы. С одной стороны, с южной, сугробы стояли белые, не тронутые солнцем. С северной — ноздреватые, грязные, осевшие. Из-под них светлыми ручейками сочилась вода, сливалась на шоссе и веселым, шумным потоком сбегала, с пеной с мусором, вниз, к дому Тобольцева, известного на весь район рыбака и охотника.

Уже не раз он приглашал меня на зимнюю охоту на лося, и каждый раз я соглашался, но как подходило время — то оказывался в городе, то было некогда, а потом жалел, что не удосужился с ним поохотиться. После Курганова я не мог пойти к себе домой, слишком было бы угнетенно, и поэтому был рад случаю повидать Тобольцева, послушать его неторопливый говор. Я люблю сильных, спокойных людей. Такими, наверно, раньше был заселен весь мир, но с приходом цивилизации человечество

стало вести себя нервно, суетиться, искать силу в хитрости, а не в своих руках и умении.

Тобольцев — человек удивительный: за что бы он ни взялся, все сделает. К тому же силы непомерной. Его сын Колюня взахлеб рассказывал, как отец свежевал лося: «Надрезал батяня кожу на коленке лосю, положил себе на ногу, чтоб переломить, поднажал и сломал не в суставе, а бедро». Редко мне приходилось видеть такое счастливое и гордое выражение лица у детей, когда они говорят про своих отцов.

Тобольцева дома я не застал и понял, что пришел зря, но уйти сразу было неудобно, а через минуту стало уже и невозможно. Было похоже, что его жена, небольшого роста, с вытянутым, как совковая лопата, носом, только и ждала меня.

Прежде чем построить свою дачу, несколько месяцев я прожил у Тобольцевых, снимая с женой, матерью и дочкой одну маленькую комнату. Теперь, когда у меня уже есть свой дом из трех комнат, трудно понять, как я мог с семьей жить в такой комнате и еще работать. Но тогда мог, и то, что писал, печаталось, и даже кое-что было неплохо, хотя теперь-то понимаю, что многое из написанного шло с ходу в журналы потому, что было похоже на то, что́ везде печаталось.

Вера Семеновна, жена Тобольцева, на мой взгляд, ничуть не изменилась, такая же, какой была и десять лет назад, когда мы жили у нее. А может, и изменилась, только я не заметил. Надо очень сильно измениться за короткий срок, чтобы это бросилось в глаза. Но за свою жизнь изменилась настолько, что я всегда не верил портрету, висевшему на стене, с которого глядела на меня красивая девушка. У нее были большие ясные глаза, на грудь свешивалась толстая коса, и нос — это самое удивительное — был таким аккуратным, что украшал это лицо. Я никак не мог поверить, что девушка на портрете и женщина, стоявшая передо мной,— один и тот же человек. И всегда мне становилось грустно, когда я смотрел на красивую девушку, и никак не мог поверить, что из нее потом получится Вера Семеновна.

— Садитесь, садитесь!

— А что же самого нет?

— Нет. Нету. Не живет он здесь. Совсем от нас отбился.— И со слезами стала рассказывать о «самом», как

он спутался с молодой бабой, как пропадает ночами неведомо где, что стал пить, что приходит пьяный — «Не околела еще?» — дерется, и тут же сказав: «Вы уж извините, я вам как своему человеку», подняла кофту и показала на боку кровоподтек.

— Я ли не угождала ему, всю жизнь только и ухаживала за ним. И рубашечки чистые, и брюки наутюженные, и костюм не костюм,— мне ничего не надо, я и так, все ему. И покушать он любит вкусно, все ему, все ему. Себе во всем отказывала. Я и с коровой, я и с поросенком, я и на огороде, и кур накормлю, и в саду, и весь дом приберу, и все перестираю, и ребят чистенькими отправлю. Всю жизнь так. Всю жизнь! И здоровья теперь у меня нет. Да и он немолодой, дед ведь, внук растет, как же это, а? Что же делать-то? Я уж к вам два раза ходила, да всё шторы опущены. Значит, нет. Посоветуйте. Поговорите с ним. Уважает он вас. Или уж разводиться? Тут два дня ничего был, а потом опять словно его смыло...

Я успокаиваю ее, обещаю поговорить с мужем, утешаю, делаю все, что делают люди в моем положении, и сам себе не верю, что могу чем-нибудь ей помочь, и знаю, она нисколько не верит в то, что я могу ей помочь, но так принято, так хорошо, так по-человечески, хотя мы оба понимаем, уверены, что из этого ничего не получится, но мне так легче. Хотя мне было бы куда легче, если бы я сразу сказал: «Ничем я не могу помочь, хотя и поговорю с Константином Васильевичем».

— Рубах нейлоновых, галстуков себе накупил, чтоб покрасивее перед ней казаться. А она, дрянь, мужняя жена, и ни стыда, ни совести. Ну что это такое, Сергей Николаевич? А то вот пришел, я уж вам как своему человеку...— И она рассказывает то, что надо бы как самую тайную тайну при себе держать. Но она рассказывает, и мне становится неудобно: свой-то свой, но все же мужчина, и не следовало бы женщине говорить того, что она говорит мне; и оттого, что она на пределе отчаяния, мне становится ее жаль.

Я гляжу на ее портрет. Почему-то именно в эту минуту я начинаю верить, что это ее портрет, что такой Вера Семеновна была в молодости, и поэтому мне ее становится жаль вдвойне. Но тут же ловлю себя на том, что как раз молоденькой, красивой повезло. Ее-то Тобольцев на руках носил, а вот эту, все отдавшую ему, он перестал

любить, бьет. Такая ему не нужна. И хотя это должно вызывать у меня большее чувство гнева, но, я, к свому удивлению, даже стыду, не испытываю этого. Если бы Тобольцев истязал ту, молодую, я бы черт знает как вознегодовал, но Вера Семеновна со своим вытянутым носом не вызывает у меня тех высоких гневных чувств, которые бы должны накалять меня. Почему? А черт его знает почему!

Надо домой. И что за дурацкая привычка обходить дом за домом. Ну и что из того, что долго не был? Хватило бы заглянуть к Александру Александровичу: знаю, любит меня старик, рыбачим вместе,— так нет, надо было еще зайти к Курганову; хотя к Курганову надо было непременно зайти, пусть хоть и безмолвно, но выразить свое сочувствие, а вот уж к Тобольцеву можно было не заходить. Хотя после Курганова надо было как-то развеяться... Да. А теперь придется идти к Тобольцеву и говорить с ним. Если обещал, так надо поговорить. А разговаривать с ним трудно, да еще тем более по такому делу...

Солнце уже село, и ручьи на дороге потекли медленнее, и на карнизах повисли сосульки. Воздух стал еще прозрачнее, и недалеко открылась земля в своих вечерних просторах. Разбрызгивая грязь, промчался автобус. В нем уже горел свет. Но окна моего дома были темны — с бугра его хорошо видно...

— Сергею Николаевичу!

На крыльце своего дома стоит Палов. Он работает на бульдозере, по ремонту дорог.

Я здороваюсь с дороги, но он идет ко мне, широко улыбается, подает руку, приглашает к себе. Теленка зарезал. Я у него ни разу не был,— и он и его жена Екатерина приветливые, но как-то, живя по-соседски, обходимся друг без друга. Сейчас же зовет, и отказаться неудобно. Ну, а почему бы и не зайти?

На столе сковорода, полметра в диаметре — не меньше, мясо горой. Два пол-литра «московской», хлеб. За столом зять, мы двое и Екатерина. Она выпила вместе с нами, коротко выдохнула и стала есть. Мы занялись тем же. После второй стопки мне захотелось говорить. Мне было жаль тех, с кем я повидался до Палова. Мне стало настолько их жаль, что даже испортилось настроение и жизнь показалась нерадостной и тяжелой. И на самом деле, что это такое, прошло всего каких-то полгода — и

столько горького. И я не мог молчать и стал говорить. Я был уверен, что мою жалость к этим людям разделят и Паловы.

— Сам виноват,— сказал про Александра Александровича Палов, принимаясь за вторую бутылку.— Как же это может получаться, чтобы человеку семьдесят лет, а у него не хватает трудового стажа? Модельер. Сидел дома, шил туфельки на заказ, а теперь хочет, чтобы государство ему платило большую пенсию. Нет, так нельзя, Сергей Николаевич. Прошу!

— Хорошо... Допустим, я здесь неправ, хотя... но допустим. А Вера Семеновна Тобольцева?

— Нашли кого жалеть,— усмешливо поглядела на меня Екатерина, и добрые ее глаза стали меньше.— Я, конечно, не оправдываю самого, взбесился на старости лет, но и ее жалеть нечего. Кого она-то пожалела, Сергей Николаевич? Жадная, злая, все ее такой знают. Сами посудите: Анатолия-то знаете, брата самого Тобольцева. Попал он тогда за драку на пять лет, а дома жена осталась с детишками, по второму да по третьему годику, без копья остались, так ведь Вера-то Семеновна в дом их не пустила. Как вот сейчас вижу: иду мимо тобольцевского дома, а на крыльце у них сидит Настя с ребятами, плачет. Чего ты, говорю. А она — не пускают, говорит, а мне ребят кормить нечем... За все время, пока сидел Анатолий, кружки молока ребятишкам не дала, а у самой корова-ведерница. Яблочка не дала из сада. А вы еще жалеете такую!

— Добрый вы, Сергей Николаевич,— наливая еще по стопке, сказал Палов.— Будьте здоровы.

Зять наскоро выпил и поднялся.

— Пойду я,— сказал он,— дома, наверно, ждут.

— Иди,— ответила Екатерина.— Да скажи ей, пускай не стирает, если нездорова. Я приду, все сделаю. Телятину-то не забудь.

Глаза у нее опять были добрые.

«Мне тоже надо идти,— подумал я.— Надо домой». Про Васю-лапшу я не стал бы говорить, но я видел печальные глаза Курганова и не мог молчать.

— Жалко, конечно, мужика,— сказал Палов,— да ведь все равно от Васьки проку бы не было. Сколько раз его подбирали на дороге, то в снегу, то в грязи. Это же не человек...

Как для них все просто и легко!.. Надо идти домой.

На этот раз в окнах моего дома свет. Дорога уже затвердела, и когда я вхожу на крыльцо, доски сухо потрескивают.

В кухне тепло, и плита серая, и подушки не такие белые, и клеенка не отдает холодом.

Кап... кап... — это падает вода из рукомойника.

СЧАСТЬЕ

Леночка стояла от меня всего в двух шагах, не больше. Задрав головенку, с любопытством глядела, как я заколачивал подволок. Близилась зима. Надо было утеплить курятник — насыпать на подволок опилок и зашить разобранный фронтон. Работа пустяковая, но я так и не научился тому, что крестьянам дается с молоком матери: один гвоздь пошел вкось, и доска легла не на свое место, и от этого другая сместилась, и третья, и четвертая и для последней, конечно, не хватило места. Пришлось сбивать весь ряд вправо, в ту сторону, где стояла Леночка. Мне и в голову не приходило, что молоток может вырваться из руки. Я бил, бил что есть силы по обрезу крайней доски. Промахнулся, и молоток, будто намазанный маслом, скользнул из ладони и с силой пролетел всего в нескольких сантиметрах от головы внучки. Он пролетел так стремительно, что Леночка даже не заметила,— по-прежнему глядела, задрав головенку. А я весь омертвел от ужаса. Мне не так уж трудно было представить, что́ было бы, если бы молоток не пролетел мимо. Случилось бы непоправимое, случилось бы настолько страшное, что я, наверно, сошел бы с ума от ужаса! Я чуть не заплакал, сознавая, что только добрый случай спас внучку.

— Боже мой, Леночка...— И тут же закричал: — Марш отсюда!

Не понимая, чего это я, она отодвинулась.

— Дальше! Дальше! — кричал я, хотя ей теперь уже совсем не надо было никуда уходить.

Она немного отбежала и остановилась.

— Ведь я же мог тебя убить,— не ей, а себе сказал я, чувствуя, как мною все больше овладевает сложное состояние—не избавления от страха, а нагнетание какого-

то тягостного ощущения кошмара, который должен испытывать нечаянный убийца.

Когда я сказал «мог бы тебя убить», Леночка засмеялась, думая, что я с ней играю. И глазенки у нее засверкали от предвкушения, что я сейчас за ней побегу, начну хлопать в ладони и кричать: «Поймаю! Поймаю!» И для нее и для меня все было по-прежнему, но ведь этого могло бы и не быть.

— Гуль-гуль,— сказал я и присел перед ней на корточки, и с жадной болью оглядел ее лицо, будто не веря тому, что оно цело, не изуродовано.— Гуль-гуль...

Я никогда не задумывался о провидении, никогда не верил ни в бога, ни в судьбу, и если с чем связывал свою жизнь, то только с жизнью своей страны, но тут впервые потрясенно подумал о том, что кто-то или что-то отвело жестокий удар, сломавший бы мне жизнь, спасло Леночку, и вот она глядит на меня, смеется, ничего не понимает и ждет, что будет дальше.

Ничего не изменилось. Все осталось по-прежнему. И в этом «ничего не изменилось. Все осталось по-прежнему» был великий прекрасный смысл!

«Как все рядом лежит,— удивленно думал я,— жизнь и смерть. Счастье и горе. Их отделяет неуловимая граница, которую всегда можно незаметно для себя перешагнуть нечаянно, бездумно. Этого я не понимал раньше. Случалось, что мне надоедало однообразие, хотелось, чтобы необычное нарушило привычное, и только тут я понял, что привычное, однообразное — это установившийся порядок, когда в семье все здоровы, когда уверенно чувствуешь себя на работе, когда в доме тепло и все сыты, обуты, одеты, и твоя совесть чиста и спокойна. Когда во всей окружающей тебя жизни порядок! То есть когда ничто извне не нарушает твоего привычного, обыденного. Да ведь это же счастье! Это и есть самое настоящее счастье, о котором все время говорят, пишут, которое ищут люди!»

— Гуль-гуль! — Я прижал ее головенку к груди, ощущая ее ЖИВУЮ! И почувствовал, как сердце наполняется такой нежной и ласковой любовью к внучке, какой до этого дня я еще никогда не испытывал.

Наверно, она что-то почувствовала, потому что необычайно доверчиво прижалась ко мне, но глядела по-преж-

нему с улыбкой, не понимая, какая неуловимая грань отделяла ее от смерти.

— Гуль-гуль...

Нет, ни радость, ни веселье не пришли ко мне — им не было места, все еще было заполнено страхом, тревогой, но светлое состояние счастья было открыто мне, и с каждой минутой все больше нежная ласковость к внучке наполняла сердце, и я, уже отпустив ее,— она бегала, занималась своими делами,— и про себя и вслух бесконечно повторял:

— Какое счастье!

И во всей своей полувековой жизни не находил такого громадного счастья, как это. Такого у меня еще никогда не было!

ВЕСЕННИЕ РАЗДУМЬЯ

Да, она всегда к нам, на север, запаздывает. Но в этом году особенно — вот уже май, а все еще холода. Из-за озера, с его правого берега, тянет сквозной северный ветер. И хоть греет солнце, пробиваясь через мглу нависших над землей туч, но все равно зябко, и деревья, как зимой, сухо стучат голыми ветвями, и нет травы на буграх, даже осота нет, и озеро по-осеннему тяжелое, тусклое, и скворцы куда-то исчезли, и снег еще до сих пор лежит в ямах, и куда ни посмотришь — холодно.

Ночью был опять заморозок, и наутро вся земля съежилась, побледнела. И вот уже взошло солнце, а тепла еще нет. И когда оно придет, кто его знает. Верно, поэтому и настроения нет, а надо бы перекопать на огороде землю. Потихоньку бы, исподволь. Долог уже день, а времени, как всегда, мало. По восемь часов плотничать — намахаешься за день, да два часа на дорогу, туда — сюда, сядешь за ужин и спишь, потому что встал чуть свет. В своем хозяйстве всегда найдется работа: то забор подправить, то воды принести с озера — до сих пор никак не огоревать колодца,— то дров наколоть или парничок смастерить, да мало ли дела. Ладно еще коро-

вы нет — спокойнее стало. Нет и нет, и ни забот, ни тревог...

Иван Степанович вздохнул и с невеселой усмешкой поглядел на пустой хлев. В нем теперь живут пять кур и петух — злой леггорн, не признающий даже хозяев. Пусто в хлеву, и пахнет каким-то тленом, а раньше парным молоком стены отдавали. И всегда в зимние дни, когда мороз пробирался даже сквозь бревна, толстый узорный иней затягивал в хлеву небольшое оконце,— это Зорькино тепло оседало на нем, а теперь в хлеву холодно, пусто, и стекло всегда чистое, как мертвое...

А как было радостно, когда появилась Зорька! Не так уж и дешево она досталась — четыреста рублей заплатил. Два долгих года копейку к копейке откладывал. Мог бы, конечно, и побыстрее, да надо было помочь старшему сыну: женился, взяв в приданое сразу двоих ребят, а сам и выпить горазд, да и на заработок не лихой. И младшему помочь надо, в армии служил, в Баку. Дочку приодеть, хоть и школьница была еще, в девятом классе, а все хочется девчонке поприглядистей выглядеть. Но все же купил корову. Молоко свое, творог свой, сметана непокупная. И повеселее стало. Еще темно, а Стеша уже торопится с пойлом к Зорьке, и он сам вслед за женой идет — надо принести воды, убрать подстилку, положить свежую.

Тепло в хлеву. Чиркает молоко о подойник. Зорька медленно поводит боками, доверчиво косит круглым, как луковица, темным глазом... Хорошо держать большую животину, как-то незаметно, но и сам добрее становишься, и интереса к жизни проявляется больше. Не на юру стоишь, в хозяйстве живешь! И на ребятишек веселее стало смотреть: нальют пузыньки молоком, бегают...

Иван Степанович улыбнулся — уж больно занятные ребятишки. Ластятся, как к родному. А это и хорошо! Окрепли на молоке да творожниках. Оно бы и теперь молоко им не помешало, но нет коровы. И не отнимал никто, а так дожали, что сам свел ее к заготовителю.

— Я же знал, что приведешь, — встал из-за стола заготовитель.— Только вот что — жалко мне твою Зорьку, хорошая корова. Давай поменяем на мою. В мясе не видно, чья корова.

Обидным показались такие слова.

— Нет уж, если сам не смог ее продержать, так и не жить ей,— глухо ответил Иван Степанович, не заходя дальше порога.

— Эгоист ты,— качнул головой заготовитель.— Нехорошо! — Он был чуть пьяноват, сытый.— Какая тебе разница? Или не жалко такую ведерницу под нож пускать?

— Не затем пришел, чтоб лясы точить. Пиши квитанцию.

— Полбанки бы поставил, а то и целую,— глядя уже суровее в усталые, блеклые глаза Ивана Степановича, сказал заготовитель.

— Не нужно мне этого,— ответил Иван Степанович.

— Деньгами бы прикинул...

Но Иван Степанович не слушал уже, он задумался, почему-то вспомнил в эту нескладную минуту, как нелегко было содержать Зорьку.

Покоса не давали — вся земля, которая широко раскинулась вокруг райцентра, была совхозной. Много ее было нетронутой, зарастала густотравьем, не один бы стог можно было сметать, но не дозволяли — как собаки на сене,— такой и под снег уходила. И оставалось только по ночам, как последнему заворую, с мешком и косой выжидать глухого часа и, крадучись, обкашивать обочины шоссе, набивать траву в мешок и быстрей-быстрей к дому, и там во дворе, да так, чтоб никто не видал, сушить ее, и в сарай...

Сколько так-то прошло летних ночей? Люди спят, а он да вроде него еще с десяток таких же поселковых, крадучись, накашивают и с мешками шмыгают до зари... Ладно хоть выгон дали, правда, в болотине, но и по склонам немного, так что было где коровенкам покормиться.

Но однажды было и такое: сельсовет расщедрился, отвел покосные участки поселковым в лесу — на полянах, на гарях. Ему, Ивану Степановичу, достался за десять километров, за Собачьей горой. И не посчитался с таким расстоянием, рад был радешенек!

Выходил затемно, так, чтобы к рассвету поспеть на место. Шел по шоссейке, по улегшейся, пушистой и въедливой, как зола, пыли. По ней проходил за станцию, пересекал другую шоссейку, потом сворачивал на лесную дорогу и по ней уже пересекал лога, болотистые речуш-

ки, подымался на взгорья, и все лесом, сосняком, в темени. И ничего не боялся. Зверья? А и не было его — охотники давно выбили. К тому же тихо было в ночном лесу, разве где протяжно скрипнут друг о друга присохшие сосны. В ложбинах колыхался туман, и это радовало. Он осядет росой на травы, и тогда легко будет скашивать сочную, набравшую силу, веселую зелень.

Еле проглядно начинал опускаться к земле рассвет, и тогда из тьмы выходили к дороге толстенные, заматеревшие дерева. Они свысока смотрели на маленького человека, шагавшего по дороге, поющего тенорком веселую песню. Предутренний ветер налетал на вершины, раскачивал их, и они, как бы сбрасывая столетнюю дремоту, начинали шуршать, и от этого шороха, шелестящего шума пробуждалась первая птица — зорянка. За ней начинала свистать иволга. Лес просыпался. Надо было поторапливаться, и он торопился.

Приходил на участок взмокший и с ходу пускался в работу. Она ему была привычна — до войны жил в деревне, и после войны там же, и не уехал бы из своей Калининской, да загонял на лесозаготовки председатель колхоза, чего-то невзлюбил, может, за непокладистость, за то, что не баловал водкой,— это верно, ни разу не угостил председателя. И невмоготу стало жить, сбежал из колхоза, выхлопотал паспорт. Поначалу один, а позднее и жену с ребятами перетащил к себе, на Карельский перешеек, благо работы тут было немало. И вот теперь дом здесь поставил — не сразу, а поставил — взял ссуду от государства. Тогда всем давали, кто хотел землей обзаводиться и своим домом. Поощряли. Нелегко было ссуду возвращать, но отдал в срок. И все мечтал обзавестись коровой. И коров держать поощряли. И купил наконец-то! И, казалось бы, все хорошо, но год от году все труднее стало добывать корма. Там нельзя, тут нельзя, а где же можно? Будто враг кому Зорька! Будто не от нее молоко ребятишкам, да и не только своим, а и другим — мало ли Стеша сдала его на молокопункт? Будто не Зорька ежегодно приносит то бычка, то телочку. Бычка на мясо, телку в совхоз,— такой порядок. Какой кому вред? Польза и себе и людям...

Изо дня в день, две недели, ходил на лесную делянку,— считай, весь отпуск убил, измотался в дым, но сметал стог. Договорился с шофером «по-левому» и поехал,

Брезент припас на случай дождя, мало ли сыпанет,— чтоб не замокло сено для Зорьки. И всю дорогу радовался — наконец-то забота отпала, хватит на всю зиму. Сидел рядом с шофером в кабине, поглядывал по сторонам и только теперь видел, какой же славный лес обжимал дорогу, какие толстенные, в два обхвата, не меньше, высились сосны, как весело отсвечивали солнцем небольшие озера, и удивлялся, какая же длинная дорога оказалась до участка, если машина все едет и едет, и впереди еще немало пути, и как же это не замечал, когда ходил пеший.

На лесной делянке стояла трехтонка. На нее догружали остатки стога. Двое здоровых архаровцев стягивали веревками накинутый на сено брезент, третий, высокий, с впалыми щеками, такой же измотанный, как и сам Иван Степанович, стоял в шляпе с обвислыми краями, курил и безмолвно смотрел на подъехавшую машину.

— Вы чего это делаете? — закричал Иван Степанович, выскочив из кабины.

— А-а, так это твоя работа,— враждебно окинув взглядом Ивана Степановича, ответил человек в шляпе. — Чего ж ты на совхозной земле самоуправствуешь?

— На какой совхозной? Вот у меня документ, от сельсовета. Лесник указывал! — закричал Иван Степанович и стал дергать за веревки, чтобы развязать сено.

— Не дури,— сказал в шляпе,— поехали, ребята!

— Нет, ты постой! Кто такой будешь? — еще сильнее закричал Иван Степанович, чувствуя, как все внутри у него похолодело.

— Бригадир по кормодобыче, вот кто! А ты кто? Частный сектор, отваливай! Поехали, ребята!

— Да как же такое? Мой стожок! Я его накашивал! — чуть не взревел от обиды и несправедливости Иван Степанович.

— Будешь знать, где косить,— ответил бригадир и полез в кабину.— Поехали, поехали, ребята!

И уехали. И увезли сено.

И сразу стал пустым лес. Пошел дождь. И стемнело.

— Что же такое делается-то? — с болью сказал Иван Степанович.— Как же теперь быть-то?

— В суд подавай,— посочувствовал шофер.

— Разве отсудишь...

— А чего? Ты косил, труд твой, справка есть на участок. Все! По закону должны тебе присудить.

Шофер был уверен, потому что это дело его не касалось.

Подал в суд. Всего он ждал, думал, запираться будут совхозники или изворачиваться, дескать, не знали, а бригадир все признал, но ни страха, ни раскаянья не было в его голосе.

— Осуждайте, как скажете, так и будет. Но одно учтите — у меня был государственный интерес. С кормами для крупного поголовья тяжелая обстановка в совхозе.

Судьи совещались недолго. Постановили в пользу истца, то есть Ивана Степановича, присудили оплатить его труд — двенадцать рублей с копейками.

— Да зачем же мне такие деньги? Мне сено отдайте! — вскричал Иван Степанович, но его слушать не стали. Суд приступил уже к разбору другого дела.

— Нехороший ты человек,— сказал Иван Степанович бригадиру, когда они выходили из суда.

— На моем месте и ты был бы не лучше. С тебя спроса нет, а с меня спросят,— ответил, вздохнув, бригадир.— Бывай!

После этого дня будто что надломилось в жизни Ивана Степановича, пропал интерес ко многому...

— Давай сменяемся,— словно издалека донесся голос заготовителя.

— Отвяжись...

— Ну, как знаешь. А зря, хорошая корова. Ведерница...

Нет теперь ведерницы. Пусто в хлеву. И кому это надо было, чтоб пусто в хлеву, чтоб ребятишки не побаловались молочком? Говорят, кто-то побоялся, чтоб в богатеев поселковые не превратились. Да разве с коровы разбогатеешь?

Иван Степанович вздохнул, безучастно взглянул на огородную землю. «Навозишка бы надо кинуть под картошку,— подумал он,— да где его теперь возьмешь? Не покупать же у заготовителя. А он продаст. Он все продаст, с чего можно сорвать деньгу».

С дороги донесся мягкий рокот легковой машины. Иван Степанович проводил ее взглядом, эту красивую, чуть запыленную «Волгу». Она остановилась у соседнего

дома. Уже который год хозяин этой машины снимает там дачу. За грибами ездит на этой машине, на рыбалку, в город, из города. Своя. Куда хочет, туда и ездит. Шофера утверждают — шесть тысяч такая машина стоит. Если ее продать и купить коров, то целое бы стадо было — пятнадцать голов... И ничего, не дожимают владельца, с Зорькой дожали...

А вот теперь опять изменилось дело, поняли, нельзя так, и снова угодья под выпас дали, велели покосные участки отвести, и хоть заводи корову... И как жаль, ах как жаль, что не додержал до этих дней Зорьку...

Солнце поднялось повыше, и земля стала чернеть, но ветер по-прежнему дул с холодного угла.

Иван Степанович прихватил ведра, коромысло и пошел к озеру. Там ветер был еще сильнее. Смутная на середине, вода у берега белела. Волны тяжело хлопали о сваи мостков, налезали на обрывистый берег, мыли его. Чайки молча перелетали из края в край озерной воды. Тут уж совсем весной не пахло... Иван Степанович зачерпнул воды и пошел было обратно, и вдруг зачем-то взглянул вверх. И увидал на темно-заоблачном небе раскидистые ветви старой ветлы и на них множество распустившихся, желтых, как цыплята, почек. Пушистые, золотые, они качались на ветру. Все же весна добралась! Иван Степанович улыбнулся и, пригнув ветку, втянул в себя теплый медовый настой распустившихся почек.

БЕЛЕВИЧ

После смерти жены Белевич лет пять жил один. Умирала она тяжело. От туберкулеза. Последние месяцы, зная, что ей не выжить и что тянуть осталось недолго, стала пить. Он уходил на работу, а она оставалась одна в неуютном бараке. В одной половине его жил маляр Кузьмич, в другой они, Белевичи.

«Тебе, наверное, очень неприятно, что я пью, но, знаешь, так легче».

Молчаливый и раньше, с годами он совсем перестал разговаривать. Зато много думал. И о чем бы с ним ни начинали говорить, он уже знал, о чем будут говорить, и знал, чем кончится разговор, поэтому и молчал. И жене ничего на ее слова не отвечал, только с ласковой грустью

глядел на нее. Он знал, что недолго ей осталось жить, и не осуждал за то, что она пьет.

За то время, когда она пила, он подорвался в деньгах. И, чтобы свести концы с концами, перестал ходить в столовую,— а дома говорил, что сыт,— и питался только хлебом и кипятком в своей конторке, хотя очень любил крепкий чай.

«Ты устал от меня... Но ничего, я скоро умру».

Он сидел, опустив голову. Все правильно — устал. Все правильно — скоро умрет. И от этого еще тяжелее.

Горячо дыша, она подходила к нему, гладила его седые волосы.

«Неужели и верно, ничего нет там?»

Он молчал. Знал, «там» ничего нет.

Последнюю ночь он не отходил от нее. Она задыхалась. Не помогали кислородные подушки. Все хватала его за руки, неотрывно глядела округлившимися глазами в его глаза. Расставаясь с жизнью, не хотела с ним расставаться.

Умерла. Надо было хоронить. А не на что. Тогда в первый раз он пришел с просьбой к начальнику райторготдела.

— Я уже работаю семь лет на базе,— сказал он ему,— ни одна ревизия не обнаружила у меня ни излишков, ни недостачи. Дайте мне премию!

Начальник удивленно посмотрел на Белевича, он никак не ожидал услышать такое от него, но, подумав о том, что действительно Белевича ни разу не премировали и действительно работает он образцово, издал приказ, и в бухгалтерии Белевичу выписали премию, которая вся и ушла на похороны.

Похоронив жену, Белевич стал жить один. Каждое утро его можно было видеть шагающим на станцию, где находилась его база. Одет он был всегда одинаково: летом — в телогрейке, в кирзовых сапогах и кепке, зимой — в черном полушубке, валенках и солдатской шапке-ушанке. Шел он ссутулясь, грузно переставляя ноги, не подымая головы. Он ни с кем не здоровался, потому что никого не видал. Если же кто здоровался с ним, то он, не подымая головы, коротко кивал и шел дальше, даже не оглянувшись на того, кто с ним поздоровался.

На станции, в стороне от вокзала, громоздился склад. Туда поступали шифер, двутавровые балки, стекло,

гвозди, скобы, толь, цемент в мешках, готовые рамы, двери. Район быстро застраивался, и все это было нужно. И чуть ли не каждый день приходили вагоны с грузом. И каждый день грузчики ворочали мешки с цементом, подымали ящики с гвоздями, совали на машины с прицепом балки. И с ними, не отставая от них ни в чем, работала Клавдия, молодая женщина, растившая двух своих девчонок.

Грузчики порой «сшибали халтурку» у горожан-застройщиков. И, сшибив, покупали водку, колбасу и тут же, присев в холодок, распивали.

Все это видел Белевич из маленького окна своей конторки. Видел и то, как Клавка, запрокинув лицо, открыв свою длинную белую шею, пила из стакана водку, как морщилась, занюхивая хлебом, а через несколько минут уже смеялась и сама лезла к самому рослому грузчику Кольке Зарубину, женатому мужику. Все знали, что он с ней живет, и все знали, что ничего путного из этого не выйдет.

Иногда она забегала в конторку, хватала с железной остывшей печурки чайник и пила прямо из носика. Садилась против Белевича и, глядя поблескивающими глазами, говорила:

— А у тебя, Белевич, всегда все так же. Хоть днем, хоть ночью приди. Чай-то бывает когда горячий?

Белевич молчал, будто ее и не было. Тогда Клавка сердилась:

— Чего ты, глухой, что ли?

Белевич курил, опустив голову.

— Вот человек! — удивлялась Клавка.— Прямо жалость на тебя смотреть.

«На тебя смотреть жалость»,— думал Белевич, но молчал. Знал — говорить об этом ей бесполезно. И все же сказал, но много позднее, когда Колька бросил с ней трепаться и к Клаве стал подсыпаться рябой, кривоногий Кешка Тельпугов. Но она гнала его. И все чаще стала пить.

Однажды перепила, и Кешка, глумясь, под хохот грузчиков потащил ее за склад. А она только слабо всплескивала руками. Тогда Белевич вышел из конторки, оттолкнул Кешку и привел Клавку к себе. Уложил ее на узкий, жесткий топчан, на котором теперь, живя один, часто проводил ночи.

Он просидел в конторке до полной темноты. Мимо склада, содрогая землю, проносились товарные поезда, груженные лесом, гранитом, щебенкой. Иногда останавливались, чтобы пропустить встречный пассажирский. И натуженно лязгая сцеплениями по всему составу, шли дальше медленно, потом уже за семафором, набирая скорость.

В темноте конторки все слилось, и слышно было только звенящий зуд комара и ровное, глубокое дыхание Клавки. По такому дыханию Белевич понял, что она уже вытрезвилась. Тогда включил свет и разбудил ее.

— Ой, где это я? — садясь на топчане, рассмеялась Клавка.— Никак у тебя, Белевич? Чего это я у тебя?

— Иди домой. Дети ждут.

Клавка свела реденькие пушистые брови и заплакала:

— Дура я какая! Господи, и чего я такая нескладная...

— Иди, скоро последний автобус.

Она ушла. А он остался в конторке. Не спал всю ночь — думал о Клавке, о ее детях. Утром, когда она пришла на работу, позвал ее.

— Пропадешь ты, если будешь так жить,— сказал он.

— А тебе чего? — грубо ответила она, потому что и стыдно было и разбирало зло, когда лезли в ее дела.

— Девчонок жалко.

— А что им с твоей жалости!

— Давай будем жить вместе.

— Чего? — Клавка засмеялась.— Ты с ума сошел, Белевич.

— Надо детей подымать, чтоб выросли как следует быть. А одна ты не осилишь.

— Ну, это не твоей заботы дело!

— Пропадешь ты одна. Не хватит твоей жизни на них.

— А ну тебя!

Клавка махнула на него рукой и убежала, и он видел в окно, как она стала рассказывать грузчикам и как грузчики, а особенно Кешка Тельпугов, захохотали, глядя на его окно.

В этот день они грузили цемент, и Клавка, надрываясь, таскала пятидесятикилограммовые мешки, и лицо у нее было багровое, и дышала она часто и несколько раз хваталась за сердце.

— Я тебе говорю честно,— с трудом подняв голову и глядя в ее усталые глаза, сказал Белевич.— Мне тебя не надо. Но ради детей твоих будем жить вместе.

От тяжестей ей резало низ живота, сердце на каждом стуке куда-то проваливалось, и было так тяжело и обидно, что Клавка заплакала.

— Черт с тобой,— сказала она.— Приходи.

Он переехал к ней. И с этого дня она перестала работать грузчиком.

— За пять лет, что живу один, скопил немного денег. Надо одеть девочек. И тебе надо одеться,— сказал Белевич.

И в первое же воскресенье они все: и Клавка и ее дочки — одной десять, другой двенадцать — пошли в универмаг, и он купил им обувь и на зиму по пальто. И Клавке купили пальто.

— Ну что ж, надо спрыснуть,— сказала Клавка, не очень ловко себя чувствуя от щедрот Белевича.

Он послал девочек за пряниками и конфетами. И Клавка притихла.

Ночью она ждала его — он спал на кухне. Но он не пришел.

Встала она чуть свет, затопила плиту, приготовила завтрак. Белевич встал, помылся, поел и ушел на работу.

Вернулся поздно. Клавка ждала его, накрыла стол. Он поужинал. Почитал газету. И лег спать.

— Что же, так и будем жить врозь? — сказала ему Клавка спустя неделю.— Все равно все уж говорят, что живем, так пускай будет правда.— Она вспыхнула и засмеялась. И тут же поморщилась. У нее все чаще болел низ живота.

— Чего ты? — спросил Белевич.

— Да так... ничего...

Он не стал допытываться, но каждый день все внимательней к ней присматривался.

— Сходи к доктору,— однажды сказал он.

— Боюсь...— и Клавка заплакала.

Он с жалостью поглядел на ее осунувшееся лицо, на тонкую шею и с ужасом нашел сходство с лицом и шеей своей первой жены незадолго до ее смерти. И не стал настаивать, чтобы она пошла в поликлинику. Но она все же пошла.

— Я схожу. Ладно. Схожу!

Оттуда вернулась веселая. Вечером, когда уложила девочек спать, пришла к нему.

— Белевич, а ведь я люблю тебя!.. Думаешь, вру? Нисколечко! И зря ты меня посылал в поликлинику. Совсем зря...

Но он знал — не зря! Видел, что она прикидывается веселой. И ему было тяжело и жаль было ее. Но он даже не показал вида, что обо всем догадался.

— Я и не думала, что ты такой славный... Все молчишь, молчишь, а сам добрый. И чего я тебя раньше не знала? — Она прижалась к нему и затихла.

На другой день, в обеденный перерыв, он поехал в поликлинику и узнал, что болезнь у нее серьезная. Есть подозрение на рак.

И так оно и было.

Через полгода он остался с ее девочками.

ЛОШАДЬ УБИЛИ

У бугра дорога делает крутой поворот. Его не видно из-за высоких акаций. И откуда было знать шоферу, что когда он вырулит на прямую дорогу, выскочит стреноженная лошадь. Крылом пятитонки ударило ее в грудь. Лошадь упала. Задние скаты прошли по ее спутанным ногам, как по жердям, только чуть дрогнув рессорами.

Лошадь вгорячах вскочила, но тут же рухнула и тонко заржала.

Шофер перепугался и все дальше, дальше гнал машину, заметая следы. И только уже к вечеру, подъезжая к гаражу, подумал о том, что крыло-то помято, что он неизвестно где пропадал все это время и что это и есть те улики, от которых ему не уйти, и тогда он чуть не заплакал. Он был еще очень молодой и неопытный парень.

А лошадь лежала, вытянув переломанные ноги, дышала тяжело, поводя одичавшими глазами. Первым ее заметил Козлов. Как и всегда, он был в морской форме. На голове фуражка с «капустой», под распахнутым бушлатом синела полосатая тельняшка. Ему было лет пятьдесят, но в море он ни разу не был, служил в Ленинградском порту, каждый день туда ездил охранять склады.

— Лошадь-то Внуковых,— сказал он, сразу поня! трагедию, и тут же прикинул, что не мешало бы кило грамма два, а то и все пять попросить для кур. Они любят сырое мясо.

День выдался жаркий. Солнце лениво текло по небу. Цвели липы. Они были тут, рядом, через дорогу. Оттуда беспрерывно доносился самолетный гул — это брали взяток пчелы.

Козлов сел на край дороги и задумался, поглядывая на липы. Думал о том, что неплохо бы поймать отроек, а это вполне возможно, только надо последить. Не сегодня-завтра отроек может быть, и вот, пожалуйста, готовая семья... На лошадь он не глядел. Знал — дело ее конченое, и вся ее польза для него будет заключаться только в двух, а то и пяти килограммах мяса для кур.

Возле лошади остановился Синюхин, высокий мужик, вечно улыбающийся, чтобы все видели его искусственные зубы. Их у него была целая верхняя челюсть.

— Эх, Милка, Милка,— пожалел он.— Как же это ее?

— А не следят, вот и все,— ответила подошедшая «суседка» Козлова, Неона Петровна. Это он ее прозвал «суседкой», так и стали все ее звать.— Никакого порядка нет. Ничему нельзя верить! — Когда-то она жила в Ленинграде, но потом черт ее дернул сменять комнату на старый коммунальный дом в этом поселке — нравилось лето. Она думала — всегда будет лето, и забыла, что лето коротенькое, а зима длинная, да еще ненастная осень.— Кругом обман! — сказала она.

— Следить надо, тогда и обмана не будет,— поучительно сказал Синюхин и улыбнулся «суседке». Она была разведенная, жила одна.

— Вы думаете, это поможет? — спросила она, мало задумываясь над смыслом своих слов, и прищурилась, разглядывая улыбку Синюхина.

— Определенно! — заверил ее Синюхин.

— Следить всегда надо,— заметил Козлов.— Не проследишь — не поймаешь.— Он имел в виду отроек пчел.

— Бедная животная,— сказала, глядя на лошадь, Краева, рыхлая старуха.— Где же Анна-то? Поди-ка, и не знает, какое горе приключилось.

— А какое ей горе? — сказал Козлов.— Лошадь ка-

зенная, спишут по акту, дадут другую, а энту надо прирезать. И так далее.— В «и так далее» он вкладывал определенный смысл, имел в виду два, а то и пять килограммов мяса своим курам.

— Страдает,— жалостливо сказала Краева.— Глаза-то, как у человека, плачут...— И сама смахнула у себя слезу.

— Естественно, боль,— она всякому одинакова,— сказал, улыбаясь, Синюхин.

— Действительно,— согласилась с ним «суседка».— Я вот тоже как-то вечером сижу одна дома. Я часто сижу одна в доме. По вечерам. Никого нет. Совершенно никого. Одна. И решила забить гвоздь. Очень плохо без мужчины. И ударила себя молотком по пальцу. Очень плохо без мужчины...

— Сказали бы — пришел, забил чего вам там надо,— сказал Синюхин, улыбаясь.

— Ну что вы, зачем вам совершенно беспокоиться?..

— А чего... Кроме удовольствия, ничего быть не может...

— Страдает,— все сокрушаясь, сказала Краева.— Надо бы Анне сказать, поди-ка, она и не знает... Схо́жу.

— Сходи, коли делать нечего,— сказал Козлов, но тут же прикинул, что выгоднее ему сходить.— Подожди, старая, я схожу!

— И то ладно, а мне в баню на дежурство надо. Пора уж на смену заступать,— ответила Краева и пошла.

Пошел и Козлов, думая: «За внимание Анна должна оказать любезность. Два — пять килограммов ей ничего не стоит выделить от такой туши».

— Почему же вы в одиночестве? — поинтересовался Синюхин, улыбаясь «суседке».

— Самостоятельного мужчины нету, а так трепаться я не люблю. Что проку так трепаться? У меня не те года, чтобы так трепаться.

— А сколько вам, если, конечно, не секрет?

— А угадайте!

Лошадь всхрапнула, попыталась подняться и тут же рухнула, уткнувшись губами в пыль. Темный, словно налитой чернилами глаз стал тускло смотреть в небо.

— Я так полагаю, что лет сорок.

— Возьмите себе из них пять, тогда ровно будет, сколько есть.

Пришла Анна. Уткнув крепкие руки в бока, закачала головой.

— Милка ты моя,— простонала она и тут же запустила таким матом, что «суседка» зажала уши.— Гады проклятые, носятся сломя голову, чтоб подохли вы! Смотри-ка, лошадь убили!

— И главное, скрылся,— сказал Козлов.— Ты это дело так, Анна, не оставляй. Надо расследовать...

Вместе с ним пришел муж Анны, здоровый на вид, но страдающий сердцем краснолицый мужик.

— Петр, чего делать? — спросила Анна.

— Ветеринара надо. Без него как?

— Давай тогда пошли Ваську, пускай на велосипеде сгоняет.

— Можно и Ваську,— согласился Петр и ушел.

— Ты, Анна, надо полагать, ублаготворишь мою просьбу,— сказал Козлов.

— А это как ветеринар распорядится,— сухо ответила Анна.— Мне что, мне ее мясо не нужно.

— А вам не жалко лошадь? — спросила «суседка».

— А чего тебе от моей жалости? Все равно в твоем дому мужик не прибавится!

— Грубая вы,— сказала «суседка».

— Ты больно нежная, недаром одна и осталась!

— Да и как только тебя муж обнимает! — сказал Синюхин и улыбнулся.

— А тебе чего? Чего зенки пялите? Идите, куда шли!

— А это не твое дело, куда нам себя девать,— сказал Синюхин.— Не твоя земля, где хотим, там и стоим.

— Вставил мертвячьи зубы и скалится. Пятьдесят лет, а все ума нет,— закричала на него Анна.

— Зверь в женском облике,— сказал Синюхин, на этот раз без улыбки.— Лучше всего, конечно, уйти.

— Действительно,— согласилась «суседка».

— Ну и проваливайте! — пустила им вслед Анна.— Тоже еще парочка, баран да ярочка! Чтоб провалились вы! И тебе нечего тут торчать! — Это она уже обрушилась на Козлова.— Сдохнуть и то не дают скотине спокойно. Приперлись, звали вас тут!

Когда никого не осталось, Анна присела перед лошадью на корточки.

— Чего ж ты так неаккуратно? — тихо сказала она

и провела рукой по мосластой скуле. Лошадь втянула ноздрями знакомый теплый запах ее руки и тонко заржала.— Чего ж ты наделала?— Лошадь подняла голову.— Лежи... лежи...

Лошадь затихла. Анна гладила ее по голове и вспоминала, как любила Милка кататься по снегу в начале зимы. Выскакивала из конюшни и начинала носиться по огороду, взбрыкивая, ставя хвост трубой, а за ней с лаем, с визгом скакала Путька, коротконогая длинномордая собачонка. Анна стояла посреди двора и смеялась, глядя на эту картину. Она знала: «Милке мало достается вот такого времени — все в работе, с утра и дотемна, то хлеб развозит из пекарни по магазинам, то муку со склада. Летними ночами, когда выпускала ее в низинку, и то не было ей воли — прыгала стреноженная. Только и было радости в начале зимы поваляться по снегу.

— Как же ты так-то? — с печалью глядя на Милку, говорила Анна.— Неужли не слышала, как машина идет? И ведь прямо на нее и угораздило...

Подошел Петр.

— Чего торчишь? Все едино никаких надежд быть не может.

— А я и не торчу. Прирезать надо. Ветеринар, он и у мертвой увидит, что ноги поломаны... Прирежь, Петя.

— Не хотелось бы... Сердце у меня стало слабое.

— А давай я! — еще издали заслышав разговор, крикнул Козлов.

— Без тебя обойдемся! — ответила Анна.

— А чего, пускай он,— сказал Петр.

— Не люблю его, злой, да и жадный. Рука нехорошая. Прирежь, Петя, а?

— Прямо не знаю...

— «Маленькую» поставлю...

— Не в ней дело, ну да ладно.

Он сходил за ножом. Нож был широкий, блестящий.

— Сорви-ка лопух,— сказал Петр.

Анна подала ему широкий плотный лист. Петр закрыл им глаз Милке, которым она настороженно глядела на него, и тут же полоснул по горлу. Лошадь рванулась, но подоспевший Козлов прижал ее, навалившись всем телом.

Анна отвернулась и медленно пошла к дому. Петр

сначала был бледен, потом покраснел. Он шел за ней. Уже входя в дом, сказал:

— Только прошу тебя, не плачь...

РОМАН БЕЗ ЛЮБВИ

— Я гляжу, вы любите конфетки, Тамара Игнатьевна...

— А что же мне еще остается, Тимофей Андреевич...

За окном зима. Такой давно уже не было. Еще в октябре задули ветры, повалил снег. День и ночь дули ветры и валил снег. И бесполезно чистить дорожки. И трудно пройти к шоссе. И ударили морозы.

В доме холодно. Сколько ни топи, не натопишь. Кто не знает, думает: дом двухэтажный, теплый. На самом же деле для жилья в нем только верх. Внизу — коровник. Но теперь там, кроме холода, ничего нет. Везде холодно. Дом покосился. С поля дует. Старый дом... Когда-то в нем жил финн. После войны — переселенцы. А вот теперь она — Тамара Игнатьевна.

— К тому же дорогие конфетки любите.

— «Белочка» — единственная радость у меня.

Женщина задумалась. Может, вспомнила, как переехала в этот дом пять лет назад, сменяв городскую комнату в многосемейной коммунальной квартире. Как весной вскопала землю, посадила белые флоксы. Как изредка, вечером, проходила по тропе к шоссе в синем костюме, в шляпе, с сумочкой. Высокая, стройная. Молодая — издали. А вблизи лет за сорок,— замечала по взглядам парней. Как молча садилась в автобус и ехала до центра на последний сеанс. И — домой.

Всю весну одна. И все лето одна. И всю осень одна. И всю зиму одна. И так из года в год — пять лет. Чего она искала, покинув город? Что нашла? Нашла ли?

Боже мой, как быстро летит время! Такое ощущение, будто кто-то подводит часы. Желания все те же, все так же хочется любить и жить. И глаза видят все так же, как и двадцать лет назад. Почему так быстро стареет лицо? Тело еще молодое. Еще упругая грудь. А лицо старое. Да, углы рта опущены, а когда-то были веселые уголки...

— И часто вы себя балуете «Белочкой»?

— Хотелось бы чаще, а так с получки да в аванс...

Женщина говорит так, будто просит извинения за свою маленькую слабость. А может, и просит... Ведь этот мужчина ее муж. Да, муж... Прошлым летом жил по соседству на даче. Познакомились. Такой же одинокий, как она. Он уже немолод. Через два года на пенсию. Что ж, видно, моложе для нее уже нет. Была молодость того, убитого на войне. Он унес с собой свою молодость. А этому осталась ее старость. Как и ей осталась его старость.

— Да нет, я не в укор, Тамара Игнатьевна.

— Ничего у меня не осталось, Тимофей Андреевич...

— Нет, нет, я нисколько не возражаю. Кушайте, Тамара Игнатьевна. Лишь бы на здоровье...

За окном зима. Давно такой уже не было.

УТОНУЛ НИКИТИН

Вот уже третий день ищут его. Четыре лодки на равном расстоянии, выстроившись в ряд, тянут то капроновый шнур, унизанный проволочными кошками, то невод,— и все не могут найти Никитина. Кошки цепляются за всякий сор, замирают, и тогда кто-нибудь из пожарных встревоженно кричит: «Стой!» — и все разом начинают подтягивать шнур. Он идет туго, тяжело, и каждый боится, как бы груз не сорвался с крючка, старается тянуть мягче, бережней, и все, округлив глаза, выжидательно смотрят на воду, и матерятся, увидав вылезающий из воды черный, с осклизлой корой громадный сук. Стряхнув его, снова тянут капрон.

И так с утра дотемна. Озеро в эти дни спокойное, хотя стоит уже ноябрь. В другой год в это время оно бьет накатами, баламутится, швыряет волны, так что не убранную на берег лодку в одночасье захлестывает водой и взбудораженным илом. Но в этом году озеро спокойно. До удивления. Гладкое, хоть царапай иголкой — останется след. И только одна уклейка тревожит его, плещется на середине.

Таким озеро было и в тот день, когда утонул Никитин. Уже несколько дней оно такое спокойное. Будто ничего и не случилось. И поэтому особенно неприятно видеть его непроницаемую гладь. Небо серое, и над землей мгла. Оттого оно тусклое, похожее на громадное бельмо.

Он утонул между одиннадцатью и двенадцатью но-

чи. Решил проверить сетку. В темноте. Потому что сетями ловить нельзя. У него была пятидесятиметровка, крупноячеистая ряжевка. Еще лет десять назад рыбы было много в нашем озере, но ее изрядно подловили рыбаки райпищеторга. У них был полукилометровый невод «частик», и летом и зимой они тягали его, все брали — и крупную и мелочь. Крупная уходила «налево», мелочь в магазин,— там продавали ее за бесценок. Глядя на них, обзавелись сетками местные, потому что понимали — рыба истребляется. Но ставили только ночью, чтобы никто не видел, иначе бы посчитали за браконьеров. И Никитин ловил. Он ставил только к празднику,— в магазине свежей рыбы, как правило, не бывало, а его жена хорошо делала рыбники, и к ним приходили гости.

Вот уже третий день ищут его. А он лежит на дне, и в каком месте, этого никто не знает. Поэтому «тралят» по всему озеру. Правда, прежде чем ходить по всему, сняли никитинскую сеть, чтобы она не мешала. Никитин поставил ее против пляжа, на середине широкого плеса. Найти днем ее ничего не стоило: к ней был привязан буек — березовый чурбак. Потяни за него, и со дна начнет подыматься сеть. Из нее выпутали всего одного подлещика. Больше ничего не попало. И только уже после того, как сеть сняли, стали бороздить по всему озеру. Капроновый шнур с кошками не оправдал себя, тогда решили завести невод. Тянуть его было тяжело, он тоже сгребал со дна все, что попадало на его пути. Но, кроме двух щук и всякого сора, невод больше ничего не достал. Это было на второй день.

На берегу все это время, пока искали, стояла дочь Никитина. Глядела на воду, на пожарных, ищущих ее отца. Иногда ее губы кривились, начинали вздрагивать, и тогда лицо сразу принимало озябшее выражение. Когда лодки пожарных направились к берегу, потому что стало темнеть, она, опустив голову, медленно пошла домой.

«Завтра с утра начнем!» — крикнул один из пожарных, работавших вместе с ее отцом.

Она не повернулась.

Утром начался третий день поиска. Рассвело поздно. Солнце так и не пробилось. Мгла стала еще гуще, и начала сыпать какая-то морось. И лодки в таком сером воздухе, на такой тусклой воде стали казаться очень

большими и все черными, хотя две из них были голубого цвета.

На озере было тихо, а на земле шла жизнь. Бежали в школу ребята. Смеялись, кричали. Как всегда, озабоченно мчался по шоссе автобус, на минуту резко тормозил у остановки и, напряженно рокоча, мчался дальше. Открывались магазины. Из пекарни увозили свежий хлеб.

А Никитина все искали...

Звенел электрический звонок в школе. И наступала перемена. И школьный двор оглашался криком и шумом. Как всегда, озабоченно проносился автобус, тормозил у остановки и, напряженно рокоча, мчался дальше. Закрывались на обед магазины.

А его все искали...

Теперь уже все в поселке знали, как было дело. Знали весь прожитый Никитиным последний день.

Перед каждым большим праздником всегда кто-нибудь да режет свинью. Не всякий это умеет сам, и потому просят Никитина. Он не отказывается. Сибиряк, охотник, он снимает со стены широкий нож в чехле из сохатиной кожи и идет, большой, несколько медлительный, покуривая на ходу «Север». Лицо у него крупное, с большим искривленным носом, длинные узкие глаза чуть оттянуты к вискам — всегда спокойные, живущие согласованно с хозяином, за твердыми губами скрыт сплошной костяк пожелтевших от курева зубов. И руки у него крупные, привыкшие иметь дело только с грубыми вещами: с железом, с бревнами, с толстыми канатами,— поэтому, когда он здоровается, то просто опускает в ладонь другого свою тяжелую кисть, никогда не сжимая пальцев. Он даже шутя не любит похваляться силой.

Его уже ждут. Хозяин приветливее, чем обычно, здоровается с ним и, несколько заискивая, ведет к сараю.

— Помогать надо? — спрашивает он Никитина, в то время как тот изучающе окидывает взглядом налитую жиром малоподвижную тушу с маленькими звериными глазами.

— Один.

Он всегда управляется один.

Хозяин тут же выходит, притворяет плотнее дверь, закуривает. И вздрагивает от неожиданности, хотя каждую секунду ждал этого короткого пронзительного визга.

«У него легкая рука» — так говорят про Никитина в поселке.

Из сарая он выходит спокойный, даже тени волнения нет на его лице.

— Палить на костре будешь?

— Где его подымешь! Паяльной лампой управлюсь,— стараясь говорить деловито, под стать Никитину, отвечает хозяин и бежит за лампой.

Пока хозяин палит, Никитин курит, сидя неподалеку на бревнах или на камне. Пробегает мимо хозяйка, уважительно здоровается с ним. Он приветливо улыбается, называет ее по имени-отчеству, и если она еще молода, крепка, то непременно проводит ее повеселевшими глазами.

После того как боров разделан и хозяйка уже успела изжарить ливер, хозяин любезно приглашает Никитина к столу. Никитин не отказывается — таков порядок. Садится, аккуратно берет сильными пальцами стаканчик водки. Тут он считает своим долгом сказать хозяевам приятное. И он говорит:

«Ничего кабанчик. Подходящий!»

Выпив сколько предложено, благодарит и уходит. Хозяин сует ему кусок мяса, завернутый в газету.

Так было и в канун этого праздника.

...Уже третий день ищут его. И уже усталость и раздражение овладевают пожарниками — хоть и посменно, а у каждого из них часть праздника ушла на поиск. И где-то возникает сомнение: да утонул ли он? Но есть детали, которые не дают сомневаться. Перевернутая лодка. Ее нашли у большого острова. И собака, охотничий пес Никитина. Она в полночь ворвалась в дом мокрая, металась по кухне, лаяла, взвизгивала, кидалась к дверям, и жена Никитина побежала за ней к озеру.

Темно и глухо было на озере в тот час. Ни воды, ни неба, ни берегов. И тишина. Какая мертвая тишина! Только слышно было, как металась у края воды и скулила собака.

— Коля!— Она крикнула сначала негромко, будто он мог быть близко от нее.

Он не ответил. Тогда она закричала:

— Коля!

Над тихой водой надалеко понесся ее голос. Но из темноты никто не отозвался.

— Ко-ля!— И, обхватив голову, она побежала к соседу, к тому, у кого он брал лодку.

Оказывается, он не дал ему лодку, сам решил на эту ночь поставить сеть. И появилась надежда, а может, ничего не случилось? И Николай дома!

Но дома его не было. И собака все никак не могла успокоиться. «Где же тогда он взял лодку?»

Как позднее выяснилось — у Олега Овчинникова. У многих уже лодки были вытащены на берег — на зиму, и оставалось на воде пять-шесть, не больше. Осталась и у Овчинникова.

Предполагается: Никитин, взяв у Овчинникова весла и ключ от замка, пошел к озеру. Хотя было и темно, но он легко нашел лодку. Она была вся в воде. Затоплена. Дожди, волна,— удивительного в этом нет. С его силой ему ничего не стоило вытянуть ее на берег и перевернуть, чтобы вылить воду. После этого он ее столкнул и поплыл к сети. Если бы все это происходило днем, то он, конечно же, увидал бы, что лодка течет, и течет сильно, но было темно. Будь он в ботинках, то сразу бы почувствовал, что в лодке вода, но на нем были болотные резиновые сапоги. Собака, по всей вероятности, сидела на корме. Он греб и греб, не замечая, что вода набирается в лодку. Набирается быстро. В какую-то минуту он это должен был понять. Возможно, он шагнул к корме, и тут вся громада воды, находившаяся в лодке, хлынула к корме. И лодка стала тонуть. И Никитин оказался в воде. Плавать он не умел.

И третий день уже подходил к концу, а его все еще не могли найти. Осенью день короток — светает поздно, темнеет рано. А тут еще к тому же мгла. Небо за все это время так и не прояснилось. Был бы ветер — разогнал бы хмару. Но и ветра не было. Стояла тишина. Такая же, как в доме Никитина. Там днем и ночью горел свет — почему-то не выключали. Возможно, в этом была какая-то надежда. В доме не говорили, все делали молча. И те, кто приходил, тоже молчали, потому что спрашивать или болтать постороннее — каждый понимал— не надо, нехорошо. Был милиционер, он спрашивал, как все случилось.

— Ушел в одиннадцать часов... Больше ничего не знаю.

— Пьяный был?

— Нет...

Тогда она еще плакала, но вот теперь, уже на третий день, только молчала. Все делала тихо, боясь даже стукнуть. Ночью долго сидела у окна. Ждала. Хотя уже знала — ждать нечего. И если думала, то думала только об одном — скорей бы нашли его. Уже в этом находя утешение, потому что он все время ей виделся лежащим на дне. Дочь тоже не могла спать, хотя и была в постели. Время от времени она тихо плакала. Жалела и отца и мать, о себе как-то мало думала. Ей уже было семнадцать лет.

С утра четвертого дня снова начались поиски. К весельным лодкам присоединилась моторка. Весельные лодки, выстроившись в ряд, шли медленно. Моторка тоже шла на малых оборотах. Озеро и в этот день было спокойное, гладкое, хоть царапай иглой. Небо было серое, непробиваемое. И над землей и водой — мгла. И безветрие.

Никитина нашли к вечеру.

ДОПРОС О ЛЮБВИ

— Я тебя никогда не спрашивала, но мне уже двадцать, и я хочу знать, почему у меня нет отца.

— Зачем тебе знать то, что я двадцать лет пытаюсь забыть?

— Я должна знать. Меня могут спросить, что я отвечу?

— То, что я обычно говорю тем, кому знать необязательно: погиб на войне.

— А если кому обязательно надо знать?

— Те и так знают.

— А если есть человек, который ничего не знает и должен знать все?

— Зачем ему знать?

— Расскажи об отце.

— Отца у тебя никогда не было.

— Что же я — от духа святого?

— Так бы тебе не следовало со мной говорить.

— Извини, не буду, только расскажи все.

— Что это тебе даст?

— Я хочу знать, кто он, почему бросил тебя.

— Ты уже знаешь, что он бросил меня?
— Это я давно знаю. Но почему бросил?
— Ну мало ли как складывается жизнь.
— Как у тебя сложилась?
— Зачем тебе? Его нет!
— Но он жив?
— Теперь это меня совершенно не интересует.
— Но мне нужно знать! Расскажи, как у тебя все получилось? С самого начала.
— А ты подумала, удобно ли мне об этом рассказывать тебе?
— Я уже не маленькая.
— Тем более. Ты должна понимать, что не все можно рассказывать даже близкой подруге, тем более дочери.
— Подруге рассказывать необязательно, а мне нужно. Мне надо знать, как у тебя получилось с отцом, хотя бы потому, что в детстве мне не раз доставалось от ребят. Помнишь, однажды я прибежала в слезах, и ты никак не могла меня успокоить. Я тогда ответила им, что мой отец погиб на войне. Так ты меня учила, если кто будет спрашивать про отца. Я им тогда так и ответила, а они стали смеяться, и Витька Лапшин крикнул, что у меня отца никогда не было, и обозвал меня нехорошим словом. Ты помнишь это?
— Помню.
— И все же ты сказала мне, что отец погиб на войне. И я выбежала во двор и крикнула, что мой отец погиб на войне. Но они что-то знали, чего не знала я, и снова засмеялись и стали меня дразнить. Так как же у тебя получилось?
— Какая разница, как получилось? Я ни в чем не виновата ни перед тобой, ни перед ним.
— Расскажи с самого начала.
— А ты жестока.
— Нет. Ведь это не только тебя, но и меня касается. Я не посторонняя в том, что с тобой случилось. Мне так же больно. Кто он?
— Если я скажу — солдат, тогда что?
— Тогда все были солдатами.
— Да, была война.
— Кем он был до войны?
— Ты со мной как чужая разговариваешь.

— Нет, мама, мне просто надо все знать.

— Ну хорошо. Только не знаю, что это тебе даст... Был студентом.

— Студентом?

— Да.

— Как ты с ним познакомилась?

— Ну зачем тебе это?

— Я должна все знать, чтобы потом уже никогда к этому разговору не возвращаться. Так как ты с ним познакомилась?

— Ну как знакомятся? Он приехал в Мысы, есть такая деревушка неподалеку от Перми. Там жили эвакуированные. Жила и я с мамой.

— Бабушка знала, что ты познакомилась с ним?

— Нет. Она ничего не знала... Но это плохо — мать должна все знать!

— Почему же ты ей не сказала?

— Не знаю... Стеснялась, наверно... Ты от меня ничего не скрываешь?

— Расскажи, какой он был.

— Почему ты мне не ответила?

— Мне пока нечего отвечать. Расскажи, какой он был.

— Нет, я не могу, ты спрашиваешь такие вещи...

— Что я спрашиваю? Тут ничего такого нет. Если бы он на самом деле погиб на войне, ты бы рассказала, какой он был?

— Если бы погиб на войне...

— Но ведь ты же не знала, что он тебя бросит? Ты же не виновата в этом?

— Нет.

— Так какой же он был из себя? Я похожа на него? Ты — маленькая, я — высокая. Я в него?

— Да, он был высокий.

— Веселый?

— Веселый...

— Ну и дальше.

— Я его полюбила.

— Он был красивый?

— Я как-то об этом даже не думала. Мне все в нем нравилось.

— Ты хорошо его узнала?

— Я не узнавала его... Любила.

— А он тебя?
— Наверно, но я об этом не думала.
— Но ты все же думала, что он тебя любит?
— Конечно! Как же могло быть иначе. Он любил меня. Говорил, что как только кончится война, мы будем вместе... Потом он писал мне с фронта...
— У тебя сохранились письма?
— Нет.
— Почему?
— Пока верила, что вернется, хранила.
— Когда ты их уничтожила?
— Когда тебе исполнилось шестнадцать лет.
— Ты его ждала шестнадцать лет! Бедная мамка! И что, он за это время ни разу тебе не написал?
— Нет.
— А ты ему?
— Нет.
— И ты больше не видала его?
— Нет.
— Но откуда же ты знаешь, что он бросил тебя? Может, он погиб?
— Нет.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю.
— Значит, он жив? Он знает, что я у тебя есть?
— Нет.
— Почему же ты не сообщила ему обо мне?
— В своем последнем письме он писал, что женится на другой. Зачем же я буду сообщать ему о тебе?
— Если бы он узнал обо мне, может, вернулся бы?
— Если уж он из-за меня не вернулся, то разве могла его вернуть ты? Да ведь тогда тебя еще и на свете не было... И хватит об этом!
— Значит, он жив... Где он?
— Далеко.
— Откуда ты знаешь?
— О нем писали... Хвалили...
— И ты написала ему?
— Нет.
— Почему? Ты должна была про меня написать.
— Зачем? У него своя семья. Или ты думаешь, что он бросил бы тех детей ради тебя? Ты ему совершенно чужая.

— Но почему он не стал с тобой жить?

— Не знаю... Другая была ближе, может быть, лучше...

— Как же все-таки он не пожалел тебя?

— В любви жалости нет.

— Когда любят?

— Когда отлюбят...

— А ты очень переживала?

— Это случилось не сразу. Он писал письма, я ждала, тосковала. Плакала. Потом получила это последнее письмо. И не поверила. Думала, вернется... Ведь часто по себе судишь... И все-таки ждала. Потом стала привыкать...

— И ты никого больше не любила?

— Нет.

— А кем он работает там?

— Он крупный инженер. Но я не стала все читать... Там были фотографии, в семье, среди строителей...

— Ты сохранила их?

— Нет.

— Почему же не сохранила? Ведь он мой отец!

— У тебя отца никогда не было.

— Как его фамилия?

— Зачем тебе? Не надо.

— Все же отец... Интересно.

— Какая разница, какая у него фамилия? Даже если встретишься с ним, он уже все равно не может быть отцом. Вы чужие. Теперь если бы он и приехал к нам, то опоздал бы на целую жизнь. Ты не должна о нем думать! Хватит того, что я о нем думала все эти годы. И довольно о нем! Теперь ты все знаешь и можешь всем говорить, не щадя матери, что я брошенная...

— Зачем я буду говорить?.. И потом это может вызвать только сочувствие, но не осуждение.

— Смотря кому скажешь... А зачем ты спрашивала? Кому ты хочешь сказать?

— Ну, мало ли...

— Я была с тобой откровенна...

— Но у меня такого ничего еще нет.

— Не хватало бы еще этого! Кто он?

— Студент.

— Студент?

— Да, но теперь не война.
— Ты его любишь?
— Мне он нравится.
— Ты давно с ним знакома?
— Разве это имеет значение? Другого знаешь целые годы, но даже и внимания не обращаешь.
— А на этого обратила?
— Я его увидела.
— Что значит «увидела»?
— Ну, никого не замечала, а его увидела.
— Ты с ним часто всречаешься?
— Последнее время каждый день.
— Почему я этого не знала? Почему ты скрываешь от меня?
— Но ведь и ты бабушке не говорила, когда познакомилась с моим отцом.
— И плохо делала!
— Но ты же совсем не знаешь его, как же можешь советовать?
— Мать может предостеречь.
— От чего?
— От ошибок.
— От каких ошибок?
— Чтобы у тебя не получилось, как у меня.
— У меня так не получится... И потом, в любви каждый решает сам.
— Значит, ты его любишь?
— Мне он нравится.
— А зачем ты спрашивала про отца? Или у тебя уже есть сомнения?
— У меня никаких нет сомнений. Но он может спросить, и я должна ему сказать правду.
— Эту правду не говори ему!
— Ты боишься, что он может поступить со мной так же, как отец поступил с тобой?
— Неужели у вас так далеко зашло?
— Я не знаю, про что ты говоришь.
— Приведи его сюда. Покажи мне!
— Я могу его пригласить, но не знаю зачем...
— Я не хочу, чтобы с тобой повторилась та же история!
— Но ведь это было с тобой.
— Ты думаешь, я была хуже тебя? Думаешь, всегда

была такой, как сейчас? Вот, вот, смотри карточки, гляди, какая я была! А чем кончилось? И я не хочу, чтобы ты испытала то, что пришлось испытать мне!

— У нас совсем другое... Он меня любит.

— Тот меня тоже любил!

— Не все такие.

— Откуда ты знаешь? И я не хочу, не хочу даже спрашивать о нем!

— Но ведь ты же совсем его не знаешь!

— Знаю! Все они одинаковы! Все! Если любит, пусть женится! И ты не смей целоваться с ним. Я тебе запрещаю! Слышишь?

— Ты мне запрещаешь любить!

— Пусть женится!

— Но он только провожает меня... И потом, ведь бывает, что и женатые разводятся...

— Боже мой! Боже мой! Я не хочу, чтобы и ты была несчастная!

— Я счастлива! Ну как ты не можешь понять, что он хороший. Он любит меня. Он вчера сказал мне, что любит меня. И мы поцеловались. В первый раз. И ты не смей, не смей говорить о нем плохо! Он хороший! Хороший!.. Ну чего ты плачешь?

— Пусть к нам придет... Пусть придет ко мне. Я погляжу на него... Может быть, он и хороший... Дай бог, чтоб был хороший!

ЗИМОВКА У ПОДНОЖИЯ ЧИГИРИКАНДРЫ

Нет, он ни разу не сказал, что любит ее. А спрашивать его — любит ли, она боялась. Боялась обидеть! Если спрашивает, значит, сомневается. А какие же у нее для этого были основания, если он приходил к ней даже ночью, в безлунную темень, отмахивая по восемь километров безлюдной тайгой, перелезая через завалы, вваливаясь в наледи, перебираясь по тонкому льду через протоки, чтобы только побыть с ней несколько часов и снова исчезнуть. Если бы не любил, не ходил! Так думала она. И в голову ей не приходило, что он ни разу даже и не задумался, любит ее или нет.

Еще за километр, увидя его, она бежала по бугроватой ото льда реке навстречу. От солнца оставались на

небе только багровые полосы, в распадках уже начиналась ночь, и мороз все больше набирал силу. И ни звука по всей реке и на ее берегах. И тишина такая, будто оглохла. И далеко-далеко на снежной полосе чернеет точка. Он! Это мог быть только он! И она бежала навстречу. Ноги ее в больших валенках заплетались, платок сползал на шею, открывая рыжие плоские волосы. Хватала открытым ртом промороженный воздух. И от радости, от волнения, подбегая к нему, начинала смеяться. Ему непонятен был этот смех, он хмурился. Но она не замечала, брала его под руку и шла рядом, высокая, вровень с ним, если не выше. От мороза щеки у нее пунцовели, крупный нос краснел,— она терла его варежкой, на коротких ресницах густел иней, и узкие глаза становились прорезями. Нет, красавицей ее никак нельзя было назвать. А некрасивых он не любил, и поэтому говорить не хотелось, и он молчал.

Зимовка стояла у подножия Чигирикандры, большой сопки с отвесными скалами. Даже днем она была малозаметная в тени этой каменной громады, в темень же совершенно сливалась, и тем приятнее было идти на тусклый огонек свечи, красневший сквозь промасленную кальку.

В зимовке было тепло. Он сбрасывал полушубок, шапку, садился на постель и притягивал к себе Шуру. И долго не отпускал ее, потом засыпал так крепко, что даже не слышал, как она, любуясь им, водила пальцем по его бровям, ласково прижималась щекой к его щеке, слушала, как он дышит. Выспавшись, Василий уходил в свой отряд. Он уходил в любую погоду. Она провожала его и неожиданно, как это уже не раз бывало, смеялась чему-то своему. У кривуна они расставались. Это было удобное место. Отсюда Шура еще долго могла видеть Василия.

— Постарайся прийти в следующий раз пораньше, ладно?— говорила она и заботливо, как на маленьком, поправляла шапку, чтобы не надуло в уши.

— Ладно,— скупо обещал он, стараясь поскорее уйти. Такое желание возникало у него каждый раз после встречи. И он уходил, даже не поцеловав ее на прощание.

Через неделю приходил снова. Для него такое знакомство было удобным и, как ему казалось, ни к чему не обязывающим. Тем более что у них ни разу не заходил разговор о будущем. И он так и понимал, что ника-

кого будущего между ними быть не может. Тайга... А потом по домам.

К весне изыскания были закончены. Казалось бы, должен был наступить конец и их отношениям, но случилось так, что им пришлось возвращаться домой в одном поезде. Это Василию не очень нравилось, и он старался как можно меньше обращать на Шуру внимания — все, что было, осталось там, в тайге,— поэтому он целыми днями сидел за преферансом. Она ему не мешала. Не была навязчива, жила сама по себе. И он был доволен — умница, все понимает. И даже где-то досадовал, что она так себя ведет, будто между ними ничего и не было, и чувствовал себя даже как бы несколько униженным таким к нему отношением. Но это шло от мужского самолюбия, а вообще-то он был доволен тем, что все так хорошо и спокойно определяется между ними...

Иногда он встречался с ней взглядом. И — что удивляло его — она глядела на него открыто и весело. Лишь однажды он поймал в ее глазах как бы дымку, словно бы Шура о чем-то задумалась, но и то уверенности не было — могло и показаться.

«Неужели она ничего не переживает?»— подумал он и постарался вспомнить, с чего у них началось.

Он шел с контрольной нивелировкой и на ночь забрел в ее зимовку.

— Привет, геологиня!— сказал он ей.— Не скучаешь?

— Скучаю,— ответила она.

— Ну вот, я и пришел, чтобы ты не скучала.

— Это хорошо, что ты пришел.

От ее слов ему стало уютно. Он потер руки, подсел к печке.

— Чаем напоишь?

— Даже накормлю. Рабочие поймали рябчиков.

— Смотри ты! Ничего живете.

— Не жалуемся.

Она накрывала стол скатертешкой, и ему удобно было глядеть на нее, освещенную оплывшей свечой... Нет, конечно, красавицей она не была, наверно, поэтому и дожила одна до двадцати шести лет. А дальше будет двадцать семь, а там тридцать...

— Значит хорошо, что я пришел?

Она склонилась над ним, посмотрела в глаза.

— Я так и думала,— негромко сказала она и засмеялась.

— Что думала?

— Что у тебя карие глаза. Издали они кажутся черными.

— Так это издали. Ты почаще их вблизи рассматривай.— Ему было легко с ней. И подумалось, если бы захотел, то вряд ли бы она стала особенно ломаться. И, ради проверки, взял ее за руку. Рука у нее была тяжелая, крупная, и это его охладило.— Ну, где же твои рябчики?

— На столе.

Он перешел к столу и принялся за рябчиков. Потом пил чай. Потом курил.

— Ты бы, наверно, уже спала, если бы я не пришел?

— Наверно.

— Так ложись.

Она задула свечу и стала раздеваться. Из-за стены, где жили рабочие, доносился храп. От печки, от ее раскаленного бока, падал розоватый отсвет,— его было вполне достаточно, чтобы глаза постепенно стали различать всё, что было в зимовке. Василий посмотрел в ту сторону, где раздевалась Шура. Там ее не было, и он понял, что она уже легла.

— А где же я лягу? — спросил он.

Она ничего не ответила. И тогда, сбросив одежду, он пошел к ней.

— Черт, какой ледяной пол,— сказал он, забираясь под одеяло. Она потеснилась.— А вдвоем мы, пожалуй, не замерзнем,— глуховатым голосом сказал он и обнял ее. Она и тут ничего не сказала. И тогда он с силой повернул ее к себе. И увидел широко раскрытые, встревоженные глаза и какую-то ломаную, страдальческую улыбку. Но она и тут молчала...

Несколько позднее, чуть ли не враждебно, он спросил ее:

— Чего ж ты не сказала, что у тебя никого не было?

— Никого не было,— тихо ответила она.

— Теперь это я и без тебя знаю,— раздражаясь все больше, сказал он.

— А почему ты сердишься?

Он не ответил.

— А я знала, что так у нас будет,— сказала она, и в голосе ее слышалась улыбка.

— Это почему же еще?

— А потому что с самого начала, как я увидела тебя, ты понравился мне...

— Жалею, что не знал раньше,— усмехаясь, сказал он уже с гаснущим раздражением, понимая, что никакой ответственности за происшедшее перед ней он не понесет.— Но ты удивила меня.

После этого он стал бывать у нее каждый выходной. Потом она догнала его отряд, и какое-то время они были вместе. Потом опять отстала, и он ходил к ней.

Однажды она сказала:

— А все же хорошее место — Чигирикандра!

Он понял, что она имела в виду: не столько — сопку, сколько ту зимовку, в которой они стали близки друг другу. И не поддержал такого разговора.

Последний день в поезде он старался совсем отстраниться от нее. Брился, укладывал в чемодан вещи, читал, спал и с нетерпением ждал той минуты, когда поезд войдет под стеклянный свод вокзала и остановится. И это будет последняя минута, которая еще их связывает, после чего он будет уже совершенно свободен.

И поезд остановился. На перроне было тепло, солнечно, многих встречали с цветами, отовсюду слышались смех, восклицания, поцелуи.

— Ну вот и все, — беспечно сказал Василий и улыбнулся, будто ничего и не происходит и ничего не должно случиться. И протянул ей руку.— Прощай!

— Будь здоров!— сказала она и крепко пожала ему руку, охватывая взглядом все его лицо — с широкими летящими бровями, с хорошим лбом, с глазами, в которые она не раз глядела, с губами, целовавшими ее. И от всего этого любимого ею, дорогого что-то дрогнуло в ней, но она тут же засмеялась.

Он понимал, надо было что-то еще сказать, потому что нельзя же так вот взять да и расстаться, но не нашел слов, и пошел.

Она долго глядела на него, до тех пор, пока он не затерялся в толпе, и только уже после этого пошла, и все быстрей, быстрей, домой, к отцу, к матери. Они и не знают, что она приехала. Она не сообщала, так лучше, так легче ей, иначе бы пришли, и увидели его, и могли

бы догадаться. Это один на один с ним можно не показывать, как тяжело, а при них было бы трудно. А зачем им страдать? Да они бы ничего и не поняли. И не объяснишь им. Виноватых нет! Только зря он так простился... Зря... Зря... Она уже бежала по улице, и все, на что бы она ни смотрела, все было тускло, как в дожде...

Он приехал домой. Мать заплакала, встретив его. Он прижал ее к себе, успокаивал, но почему-то не испытывал той большой радости, какая всегда бывала, когда он возвращался домой. Вечером отправился в ресторан — в тайге он не раз мечтал о таком дне, но, странно, и в ресторане он не испытывал того удовольствия, какое бывало в прежние приезды. И вернулся домой задолго до закрытия. И дома себя чувствовал как-то неуютно. Отчего? Не понимал.

Утром вроде было ничего, но днем откуда-то потянуло холодком одиночества. Он вышел на улицу, но и там было ощущение одиночества. И почему-то вспомнилась Чигирикандра. Зимовка у подножия этой большой скалы. Солнце попадает туда не сразу, ему надо подняться высоко, только тогда оно начинает освещать этот угол с отвесными сверкающими в морозе камнями и притулившуюся зимовку. Из ее трубы подымается белый дым. Там всегда тихо. Ветра не бывает. Да, да, он там провел не одну ночь и ни разу не слыхал, чтобы свистал ветер... Подумав о Чигирикандре, он вспомнил и Шуру, и то, как она встречала его, бежала навстречу, и ноги заплетались у нее, платок сползал на шею, и если это бывало днем, то ее волосы становились чуть ли не красными. Она протягивала к нему руки и смеялась. И всюду сверкал снег. И они шли в теплую зимовку, стоявшую у подножия большой горы...

Интересно, любила она его или нет?.. Нравиться-то, конечно, он нравился,— это она сама говорила... Нравился! И он уже жалел, что так был суховат с ней в поезде. Можно бы и поприветливей. Но это все шло оттого, чтобы постепенно отдалить ее, — ведь он же не собирался жениться. У них никогда о будущем и разговора не было... Но все же можно бы и чуть поласковей быть, особенно когда прощались на перроне. Можно бы... Конечно, не так бы надо ему вести себя с ней, не надо бы уж так наотрез...

Хорошо, что у него оказался ее адрес. Еще там, на Чигирикандре, она дала его. Он не хотел его брать:

— Зачем?

— Ну мало ли, провалюсь под лед, напишешь родным.

— А ты не проваливайся, тогда и писать не потребуется.

Она жила на Литейном. Он легко отыскал ее дом. Ее квартиру. И позвонил. Дверь тут же открылась, будто его ждали. В дверях стояла она и смеялась.

— Чего ты смеешься?— спросил он.

— А я знала, что ты придешь.

— Это почему же еще?— как всегда злясь на ее смех, грубовато спросил он.

— Да потому, что я люблю тебя!

И это прозвучало как Чигирикандра!

УБИЙСТВО

Человек искал черепаху. Бродил от камня к камню по выжженной земле, кое-где прикрытой серыми колючками. От ног его отскакивали серые, как эта выжженная земля, как эти камни и колючки, маленькие кузнечики. Треща красными подкрыльями, они пролетали несколько метров и падали, сливались с землей, камнями, растениями. Желтое солнце плавило воздух долины, било пятью тысячами лучей в голову человеку, заставляло потеть, дышать тяжело и все чаще останавливаться и глядеть на далекие горы, хотя бы взглядом находить в них прохладу. Над горами неподвижно висело тусклое облако. И тускло мерцали под ним снежные вершины, и складки гор были темные, сплошные, без впадин и бугров, как плотная кожа буйвола. За ними далеко-далеко виднелся Большой Кавказ. Ярко-белые, солнечно-чистые, громадно-величавые, стыли его вершины в недосягаемой чистоте неба.

А в долине было знойно.

Надо искать черепаху. Не маленькую, а такую, чтобы хватило ее на суп всей семье. И человек шел, пригнувшись, внимательно высматривая горбатый панцирь, такой же серый, как эта выжженная земля, лениво думая о том, что его ждут дома, что еще третьего дня все, что полагалось по карточкам, съедено, и даже его паек УДП —

«умрешь днем позже», как в шутку называли его итэровцы, не помог дотянуть до нового месяца. Ни матери, ни жене он не говорил о черепахе. Случайно от рабочих стройбата узнал про черепаховый суп. Они хвалили его. Говорили — двух черепах вполне достаточно, чтобы накормить всю бригаду. Двух больших. Ему нужна тоже большая. Но даже маленькой не попадалось на его пути.

Медленно он поднялся на пологий холм. Отсюда, в текучем мареве, открывался вид на большой город. Он утопал в зелени садов, белел домами, башнями — этот богатый город, которого не коснулась война. Каждый день там базар. Шумный. Роскошный. Щедрый. На нем можно купить все. Можно купить жирного барана, живого буйвола, буйволицу. Она будет давать молоко. Из молока можно делать мацони. Мацони хорошо пить в жару. Вот в такую жару нет ничего лучше мацони. Никакая вода не утолит жажду. Только мацони... Козу, на худой конец, можно купить. Конечно, им бы надо было купить козу. Напрасно они этого не сделали. Теперь ребятишки пили бы молоко... И возможности были. За костюм вполне можно было взять козу. Не догадались. Непрактичные люди... Почему-то думалось, вещей хватит надолго — меняй, продавай, покупай. А вернее, ничего не думалось — меняли, продавали, покупали. Хорошо было ходить из конца в конец пестрой разгоряченной толпы и покупать чурек, брынзу, каймак. И сидеть в тени платана на сухом берегу арыка и макать свежий ячменный чурек в сладкие пенки каймака, напоминающего пирожное «наполеон». И дети макали чурек в тарелку с каймаком, и мать, и жена, и он макал. Потом курил великолепный волокнистый табак, купленный тут же на базаре в табачном ряду. На простынях лежали груды самого разнообразного табака, от черного до желтого, как артиллерийский порох. Можно было пробовать, переходя от продавца к продавцу, но он стеснялся заворачивать цигарки в палец толщиной, как это делали другие. Покупал сразу. И не ошибался, потому что любой табак был хорош. Можно было не торопясь тянуть прохладное вино. Его продавали в бурдюках. Оно приятно кружило голову, бодрило, делало уверенным и щедрым. И тогда он покупал виноград. Целые ряды были заняты виноградом — и светлым, таким прозрачным, что посмотри на свет и увидишь

косточки, и черным мускатным, очень сладким, над которым роем вились осы, а зеленый был с кислинкой. И гранатов масса. Ах, какой у них чудесный жаждоутоляющий сок!.. Инжир навален горами. Грецкие орехи. И все это сравнительно недорого — сравнительно с ценами на одежду, на ткани, на обувь. Последнее, что было продано на базаре и проедено,— туфли жены, замшевые, на граненом каблуке. А на зарплату ничего не купишь, она слишком мала для базарных цен, ее хватает лишь на то, чтобы отоварить карточки.

Надо искать черепаху. Вся сложность в том, что панцирь у черепахи такой же серый, как эта выжженная земля. Очень трудно отличить ее горб от земли. К тому же если бы знать, где водятся черепахи, тогда сразу бы можно туда и направиться. Пришел в их обиталище и бери. Выбирай, какую тебе надо. Рабочие, наверно, знают, где живут черепахи, в каком месте. Спросить бы у них, но спрашивать было неудобно. И вот теперь приходится бродить по всей долине. А она велика... Где живут черепахи? Что они любят? Ах, как хочется пить! Но пить нельзя. Сырая вода — верная малярия. Трое в партии больны только из-за того, что пили сырую воду вот в такой зной. Воздух и тот испекся. Пить нельзя. Но очень хочется пить...

Надо искать черепаху. Надо терпеть. И искать. И не думать о жажде. И о черепахе не надо думать, тогда быстрей найдешь. Это уж всегда так, если чего-то очень хочется, о чем все время думаешь, чего ждешь, то, как правило, желаемое не сбывается. А вот если не думать, не ждать, не томиться, то вот оно, пожалуйста, получай!

Земля была жесткая, горячая. Она дышала зноем. Изнемогала от него. И камни были горячие. И все чаще человек спотыкался. До того как отправиться на поиски черепахи, он восемь часов лазил по косогору — вел теодолитную съемку. Там солнце жгло в упор, прижимало к скале, распинало, как на кресте. Рубаха от пота стала твердой. И теперь натирает шею. Ее надо бы снять, но солнце еще слишком печет. Опасно... Опасно? Как все относительно! Идет война. Вот там действительно опасно. Но это не его вина, что он здесь. А почему вина? Никакой вины ни перед кем нет. Если бы и захотел уйти добровольно на фронт, не пустили бы. Он себе не принадлежит. Впрочем, скоро война кончится, иначе бы не

возобновили здесь изыскания. А это уже говорит о том, что есть уверенность в нашей победе...

Надо искать черепаху. Может, спуститься к Кушкарачай? Вон она извивается в изгрызенной ею земле, бурная в ливни и раздробленная на сотни сверкающих ручьев в засуху. Мутная, шумящая в камнях, с ледяной водой. От нее отходят арыки, перекрытые щитами. Подыми щит — и вода побежит на поля. Тут по три урожая снимают за лето. Очень быстро вызревают помидоры. Они немного теплые в жару, но все же прекрасно освежают...

Вот она, черепаха! Серая, как камень, покачивающая своим панцирем, как горбом!

Можно бы не бежать к ней. Никуда она не удерет при своей скорости передвижения. Но он двумя прыжками достиг ее. И ухватил руками за края панциря и оторвал от земли. И возликовал от ее тяжести. Да, она была тяжелая, эта черепаха. Килограмма четыре. А то и пять! Он держал ее как щит. Он видел ее всю сразу — овалообразную, с многослойными квадратами наростов на панцире, с вырезами для ног и головы, с темно-желтой отшлифованной нижней площадкой.

Найдена черепаха! Ах, черт возьми, как все же это здорово — найти такую громадную черепаху! Значит, они водятся возле воды. Она, наверно, шла пить. Вот где надо искать! А не там, в зное, в камнях. Тут надо искать!

Человек смеялся. Он опустил в рюкзак добычу и, испытывая приятную тяжесть, пошел домой. Теперь уже и солнце не так палило, и ноги меньше спотыкались, и даже не хотелось пить. Вот что делает удача!

Через рюкзак черепаха скребла ему спину, и от этого было немного неприятно. Не укусила бы! Ей, конечно, не очень нравилось то, что с ней случилось. Шла пить. Никого не трогала. Кто знает, может, несла яйцо и собиралась закопать его в горячий песок. У нее были свои дела. И вдруг совершенно бесцеремонно кто-то схватил ее и сунул в темный мешок, и теперь ей никак не выбраться. И она царапает спину. Конечно, ее понять можно, но что же делать, если нужен черепаховый суп для детей, для матери, для жены, да и для себя самого. Тут уж ничего не поделаешь. Необходимость...

Черепаха все сильней и настойчивее драла когтистыми лапами плотную ткань рюкзака. «Сильная, черт возьми!» — все убыстряя шаг, весело думал человек.

И шагал, шагал, подгоняемый нетерпением. И не замечал уже, как из-под ног выскакивали серые кузнечики, и не глядел на Большой Кавказ, и не думал о жестком воротнике. От всего этого отвлекала радость. Он обратил внимание, только уже войдя в аул, на вкусный запах свежеиспеченного чурека.

В стороне от дороги, у круглой ямы сидели на корточках азербайджанки. Рядом с каждой лежала длинная узкая доска, заполненная кругляками из теста. Одна из женщин раскатывала свои кругляки в плоские лепешки, смазывала одну сторону лепешки сырым яйцом, другую водой и сажала ее на кожаную подушку, после чего ловко приклеивала лепеху к раскаленной стене ямы... Вот так пекутся чуреки! Отличный запах у горячего чурека! Хорошо бы такой чурек обмакнуть в каймак...

Черепаха стала особенно сильно скрестись, и мысли о чуреке с каймаком отошли в сторону. Надо поскорей пройти мимо женщин. Не дай бог заметят что-то живое в рюкзаке. Стыд! Впрочем, можно сказать, что он несет черепаху детям. Поиграть! Да, да, поиграть с черепахой. Ничего тут такого нет. Почему бы детям не поиграть с черепахой. Это так интересно! Дети любят животных. Не знаю, как у вас, а в наших школах в зоокружках всегда содержатся черепахи. Так и надо сказать. Но никто не заметил, что у него в рюкзаке, хотя и обратили на него самого внимание. Ну, это понятно, на чужого человека в малых селениях всегда обращают внимание, а тут к тому же русский...

Он прошел мимо буйвола, лежавшего в грязной луже, видна была только его голова с плоскими рогами, вытянутая по воде, неподвижная. Отошел в сторону от женщин, мывших в арыке рыжие кошмы, и вскоре подошел к своему дому, сложенному из валунов, с земляным бугром вместо крыши, с единственным, как и во всех домах аула, окном на восток.

Навстречу ему выбежали дети — мальчик и девочка, шести и четырех лет. Он постарался поскорее от них отделаться, чтобы они не заметили в рюкзаке черепаху, и вошел в дом. Там он положил рюкзак в темный угол, снял наконец-то рубаху, бросил ее туда же и пошел на арык мыться.

После еды — жена где-то раздобыла миску лоби — он взял рюкзак, достал из ящика нож и вышел из дома.

Свернул за угол и сел на корточки у глухой стены, выходившей в долину. Достал черепаху. От страха она тут же втянула и голову и ноги под панцирь.

До этой минуты, до того как приступить к самому главному, он не задумывался, как все это произойдет. Ему почему-то казалось, что не так уж трудно будет вытащить черепаху из ее панциря. И только теперь понял, что не знает, как это делается. Он попробовал потянуть черепаху за лапу, но она еще глубже утянула ее. Тогда он вспомнил о ноже. Взял его с земли. Это был нож с длинным широким лезвием и деревянной ручкой... Ну да, конечно, ее надо зарезать, после чего уже будет легко вытащить из панциря. Мышцы ослабеют, и она вылезет. Но ему никогда не приходилось никого убивать, даже кур не приходилось резать. И, отложив нож в сторону, он попытался еще раз вытащить черепаху из панциря. Но ему даже и на миллиметр не удалось вытянуть лапу. «Удивительно сильная!» — теряясь, подумал он. Но надо же как-то вытаскивать. Тогда он положил ее на горб. И черепаха тут же высунула лапы, стала барахтаться. И голову вытянула. Он ухватил за одну из лап, но черепаха тут же втянула ее с такой силой, что чуть не прижала ему палец. После этого долго лежала, как бы замерев.

«Что же делать?» На лбу от волнения выступил пот. «Надо поскорей заканчивать, пока не увидали мать и жена». И он, не глядя, нащупал то место, куда черепаха утягивает голову, тот мешок, морщинистый, весь в складках, и, нервничая, сильно ткнул туда ножом. И когда с трудом посмотрел, то увидал только торчащую деревянную ручку. Он вздрогнул и вытащил нож. Черепаха задергала лапами. На землю упало несколько темных капель. И после этого стала медленно вываливаться змеевидная голова. И повисла. И лапы вылезли и повисли, как шасси у самолета.

Он вытер рукавом со лба пот, перевел дыхание и принялся вытаскивать черепаху из панциря. Но она не поддавалась.

«Что же это такое? Почему она не вылезает?» — растерянно подумал он и оглянулся. И увидал своих детей. Они с ужасом смотрели на него. Особенно мальчик. У него были круглые глаза.

— Вон отсюда!

Его голос был хриплый и страшный. И дети побежали.

«Надо скорее кончать, пока не пришли мать и жена»,— подумал он и снова стал тащить черепаху за ногу. Но она и мертвая не поддавалась. Тогда он в порыве отчаянья и полной растерянности схватил большой камень и стал бить им по панцирю, чтобы расколоть его и достать мясо.

Камень, как мячик, отскакивал от костяного горба. Нужен был валун, чтобы расколоть такой панцирь. И он выбрал самый тяжелый камень и, напрягая всю силу, поднял его и обрушил. И панцирь вмялся. И еще раз он поднял камень и бросил его.

Нет, он никогда бы и подумать не мог, что так мало в черепахе мяса. Да, собственно, никакого мяса там и не было. Была какая-то грязь, из которой невозможно было ничего выбрать для супа. Ему представлялось мясо в розовых кусках и он несет его жене. Но теперь нечего было нести.

Он оглянулся, не видит ли кто? И увидал длинного «богомольца», большого кузнечика, зеленого, прямого, похожего в своем капюшоне на монаха. «Богомолец» каменно глядел на него. К счастью, кроме «богомольца», никого не было. И тогда человек, кое-как собрав черепаху, побежал в долину и бросил ее меж камней. И торопливо пошел обратно, косся взглядом по сторонам,— не видал ли кто, как он бежал с черепахой и как выбросил ее? Но никого не было. Во всех домах окна были на восток.

Но были дети. Заплаканные, они сидели, прижавшись к матери. Когда он вошел, жена не подняла головы. Молчала и мать. Была тишина. А потом сын спросил:

— Папа, зачем ты убил черепаху?

НА ТРАССЕ БРОСОВОГО ХОДА

Это было так давно, в таком для меня совершенно ином времени, что я, ничего теперь уже не утаивая, могу обо всем рассказать.

Тогда я, молодой еще парень, впервые влюбившийся,— впрочем, то была первая моя и последняя любовь,— заканчивал тяжелый изыскательский день.

С утра валил снег, плотный, мокрый, хотя был уже

январь. Мы надеялись, что он перестанет, но он шел, косо заметал трубу теодолита, и мы были мокрые, а надо было пройти еще два километра, срубая с просеки неохватные лиственницы, проползая через марь — черт ее сунул на наш путь,— и выйти к скале Урга.

Только вечером мы вышли к этой скале, да и то неудачно. Начальник отряда, бездипломный инженер-практик Ломанов ошибся на полградуса, и трасса врезалась в косогор, в то время как ей надо бы лечь у подошвы.

— Дьявол с ней, в понедельник перебьем,— с досадой сказал Ломанов — нет, не мне, а инженеру-топографу Деточкину: я был еще вне поля начальнического зрения, в то время я был только техник.— А завтра выходной. Обовшивели.

Деточкин засмеялся от удовольствия. А я сразу вспомнил, что вот уже три недели не было мне ни одной записки. За все три недели ни одной записки мне не принес Вася Киселев, наш курьер — бесстрашный парень, ходивший ночью по непролазам тайги.

— Всеволод Петрович, разрешите сходить в Гилярку,—попросил я, радуясь тому, как я тут же сорвусь и полечу в Гилярку, а до нее было тридцать километров. У меня и секунды сомнения не было, что меня может не отпустить Ломанов, мой начальник отряда, и я улыбался так, будто уже входил в Гилярку.

— Это зачем же?— спросил Ломанов. Ему было лет сорок. Тогда я подумал, что он стар, поэтому и задал такой недоуменный вопрос, теперь-то понимаю, что он совсем по другой причине спросил меня, но тогда я так не думал.

Что я мог ему ответить? Ничего, потому что это касалось не только меня.

— Мне надо сходить в Гилярку,— сказал я.

— Ты смотри,— засмеялся Деточкин,— как ему не терпится. — У него не было впереди двух зубов — не успел вставить перед отъездом на изыскания,— и потому посвистывал, когда смеялся.

Я хотел дать ему в морду, но сдержался, иначе бы Ломанов ни за что меня не отпустил.

— Завтра же выходной,— сказал я.

— Но послезавтра рабочий день,— сказал Ломанов,— и если туда ты доберешься даже и свеженьким, то вряд ли таким же вернешься обратно.

Деточкин засвистел, потом начал фыркать — так ему стало смешно. Я бы мог дать ему в морду, не такой уж я был наивный, чтобы не понимать, отчего фыркает Деточкин, но тогда Ломанов не отпустил бы меня, и поэтому я сделал вид, что не понял, чего он смеется.

— Я вернусь. Отпустите меня,— попросил я, думая только о том, как скучает там, в Гилярке, Нина. Никто не знал, как мы любим друг друга. Только мы знали. Двое на всем белом свете.

«Я тебя сразу полюбил, как только увидал».

«И я тоже. Только и думала о тебе. Почему это так? Ведь мы же совсем не знали друг друга».

«Да. Я и сам не понимаю, почему это так, но это так хорошо. Как только я увидел тебя, так сразу же и полюбил».

«И я тоже...»

Это мы говорили спустя восемь месяцев. Целуя друг друга. Никто об этом не знает, как мы целовали друг друга и что говорили тогда.

— Я вернусь. Отпустите меня,— попросил я и униженно улыбнулся.

«Я без тебя умру,— сказала она.— Мне так тяжело».

Это она сказала мне в тот день, когда Ломанов отправил ее в распоряжение начальника партии в Гилярку. До того как мы полюбили друг друга, Ломанов относился к Нине терпимо. Но как только стало известно, что мы любим друг друга, так тут же он решил разлучить нас.

«Это отражается на работе»,— сказал он.

«Нет, не будет отражаться. Мы будем еще больше стараться»,— сказала Нина и заплакала.

«Не разлучайте нас»,— попросил я.

«Нельзя. Это отражается на работе,— сказал Ломанов.— Идите!»

«Я без тебя умру,— сказала она.— Мне так тяжело...»

«Не говори так!»— Я держал ее за руки и плакал. «Я приду к тебе...»

«Я приду!»

Кто кому говорил? Оба говорили друг другу, потому что не могли уже один без другого жить.

— Я вернусь. Отпустите меня,— попросил я, как нищий.

Деточкин засмеялся и засвистал.

— А на что ты будешь способен, когда прошлепаешь тридцать километров?— сказал он.

Слава богу, шел снег. Мокрый, тяжелый,— можно было стоять, опустив голову.

— Что же ты молчишь?— спросил Ломанов.

Деточкин сказал:

— Прикидывает, будет ли способен,— и засвистал.

— Я вернусь,— это сказал я.

— Я точно вернусь к началу работы,— сказал я.

— Не опоздаю. Отпустите,— сказал я.

— Как ему не терпится. Или ей не терпится?— сказал Деточкин и толкнул меня в грудь.

Я бы мог дать ему в морду, но сдержался. Иначе бы Ломанов не отпустил меня и еще составил бы рапорт.

— Ну, если уж так не терпится, иди! — сказал Ломанов.— И заодно передай записку Грекову.— Он тут же написал записку, сунул ее в конверт и послюнил кромку.

— Спасибо!— Я засмеялся от радости.— Спасибо!— Схватил письмо и побежал к реке. Я все время слышал ее шум на перекате. От сопки до нее было не так-то уж и далеко. Чуть-чуть поймой, там вторая терраса,— с нее скатиться вниз, пройти краем мари, и вот она, Вача, широкая река, глухо шумящая на незамерзающих перекатах. И пошел. Пошел! Справа в высоком небе пульсировала Полярная звезда. Значит, чтобы не сбиться с пути, надо держать ее у правого уха, и я держал ее, как на привязи, продираясь сквозь чащобу кустарников, завалы, обходя распадки и протоки,— и миновал пойму, и проскочил вторую террасу, и скатился вниз, и прошел краем мари, и вот она — Вача! И рад был ее льду и побежал. И сначала мне было легко и радостно, и я совсем не думал о том, как меня унижали, и не только меня, а и Нину, и не только ее, а еще и нашу любовь, унизили эти два черта, у которых, у самих-то... у Ломанова рыжая сухая «махорка»— так прозвали его жену в штабе экспедиции, а у Деточкина никого не было, он перебивался холостяцким манером. И мне становилось все больнее, и уже не столько я был зол на них, сколько на себя, за то, что не дал в морду Деточкину, да и Ломанову не ответил как надо. Ведь они с первого дня, как только догадались о нашей любви, стали издеваться над нами.

— Кобелизм!— сказал Деточкин.

— Распущенность,— сказал Ломанов.— Кошмар!

— Кобелизм!— сказал Деточкин.

А у нас ничего не было, мы даже еще и не поцеловались...

«Что?»— должен был бы я сказать, вместо того чтобы краснеть и молчать, слыша их гнусность. «Что?» И тут же удар! Черт возьми, не зря же я год болтался в секции боксеров. Бам! И в ногах у меня валяется Деточкин.

«Что?»— это я уже говорю Ломанову. Бам! И Ломанов валяется у моих ног.

«Прости!»— тянет руку Ломанов.

«Я больше не буду!»— обе руки подымает Деточкин.

Боже мой, какая я мразь!.. С обеих сторон я навешиваю себе боковые. Стоял, выпрашивал, как нищий! А где же то самое, что я вычитывал у Вальтера Скотта, где эти рыцари, которые бесстрашно бросаются на оскорбителей чести своей дамы? Где кровь Пушкина, погибшего за честь? Где все это высокое, в великом своем множестве, что оставили нам предки, что принесло нам через их смерть — какую смерть! кого смерть! не мне чета!— достоинство человека? Где все это? И почему подленькое, угодливое, трусливое вместо сильного, благородного, чистого?

А надо было бы взять Нину за руку и уйти с ней. Может, даже ничего и не говорить им. Уйти. Черт с ней, с работой!.. Да, но могли бы и посадить за срыв работы. Бывало, тогда сажали.

«Неужели нельзя вместе? Почему нельзя вместе?»

«Считают, что любовь мешает работе».

«Любовь мешает?.. Я без тебя умру. Мне так тяжело... Ты пиши мне».

«Я приду к тебе. Самое позднее через неделю приду».

«Приди. Мне так тяжело!»

Это был призыв к защите любви.

Она просила, чтобы я защитил ее самое нежное, что она отдавала мне, самое чистое, что принесла мне, самое светлое, что должно было возвышать меня, делать мужественным. А я ничего не сделал, потому что Ломанов мог уволить меня. Ничего не сделал и рад был, что все обошлось хорошо, без осложнений. Вот почему я мразь!

Я шел уже часа четыре, и теперь Полярная была передо мной, теперь она будет висеть перед глазами, пока я не дойду до скалы Талиджак. Ночь уже давно наступила. Луны не было, она взойдет только во втором часу,

а до этого темень — от звезд света нет. Дороги нет. И тропы нет. Есть река, переметенная снегом, есть обрывистые берега с увязшими в снегу лиственницами,— но их не видно ночью: ни берегов, ни лиственниц; есть река, жмущаяся к скалам, но и скал не видно; есть река, покорно подползающая к песчаным косам, — но и этого не видно. Бурная Вача, чужая, древняя река. Все во тьме. Дороги нет. И тропы нет. И впереди километров десять. Не меньше. Двадцать уже позади. Да, двадцать я отмахал, и никакой усталости. Я бы мог идти быстрее, если бы не чертова темень. Я шел и удивлялся бесстрашию Васи Киселева, нашего курьера. Ходить одному по тайге, ночью, не так-то просто. Мне, например, было страшновато. Я боялся неожиданности. Выскочит кто-нибудь, пускай хоть заяц, но ведь сразу не разберешься, что это заяц... Но никто не выскакивал, может, и выскакивал, но я не видал. Темно было. Я даже своих ног не видал. И давно бы сбился с пути, если бы не Полярная,— в этом месте Вача прямая, и Полярная все время висела передо мной.

Ввалиться в промоину было так легко при такой темени, и я ввалился. По колено. И вода заструилась у моих ног, обходя их как колонны.

Я подался назад, но там оказалось глубже, и кромка льда обломилась. И правее оказалось глубже. И левее глубже. Вперед я уже не решался двигаться. Стоял и не знал, что делать. И позвать было некого. И, главное, ничего не видно. Было, наверно, часов двенадцать, не меньше. А луна всходила только после часа. Так что мне предстояло порядочно простоять в воде, чтобы дождаться рассвета и сориентироваться, куда же подаваться, в какую сторону, чтобы выбраться на лед.

Но я не мог ждать — впереди еще десять километров,— и я решил податься влево. Мне почему-то казалось, что влево берег ближе от меня, чем вправо. И я стал двигаться, но там оказалось глубже, но я все равно продолжал двигаться,— где-то должна была кончиться промоина, и остановился, только когда вода дошла до пояса. Тогда я шагнул вправо. Может, потому, что я никогда не верил в свою смерть, под ногой оказался бугорок. Я вступил на него и стал шарить свободной ногой, и нащупал камень, и поднялся, еще чуть-чуть, а там уже дно стало подыматься, и я выбрался из промоины на лед и оказался на берегу. Обычно промоины бывают на сере-

дине, на самом стрежне переката, но встречаются и у берегов. На мое счастье, эта оказалась у берега.

Надо было развести костер. Обсушиться. Но на это ушло бы время, а его с самого начала было в обрез, и я пошел вперед.

Взошла луна. Наверно, она взошла давно, но ее скрывали сопки, только поэтому она так быстро поднималась и была уже белая. И сразу обрисовался берег с тощими кустарниками и оконтурилась промоина — она была черная и рваная. Я обошел ее и побежал. Теперь уже ничто не сдерживало. Я мог бежать и бежать. А потом шел, а потом, опять бежал. Уставали ноги, но дыхания у меня хватало. Это теперь не хватает...

В четыре я подошел к скале Сулук. Она была справа от меня, громадная, ее тень легко соединяла берега, хотя луна стояла уже высоко. Отсюда, с полкилометра в сторону, зимовка гидрометристов. Можно бы зайти к ним,— это ничего, что поздно, они славные ребята,— выпить кружку горячего чая, съесть лепешку, но я боялся потерять время. И еще я знал — никогда нельзя отдыхать в пути. Надо шагать и шагать, привыкнуть к ходьбе так же, как к дыханию, тогда будет легче. И я пошел дальше. Если считать шаг за пятьдесят сантиметров, то мне надо было помахать ногами еще десять тысяч раз, прежде чем я доберусь до Гилярки. Десять тысяч — это, конечно, чудовищно много, но если не считать шаги, не замечать расстояния, то придешь куда как быстро. Еще быстрее придешь, если будешь думать о самом дорогом. Я вспоминал. Это было совсем недавно.

«Не целуй в глаза».

«У тебя они очень красивые!»

«Это перед разлукой...»

«Что перед разлукой?»

«Когда целуют в глаза».

«Откуда ты знаешь?»

«Где-то читала».

«Чепуха! Я люблю тебя!»

Однажды я поднял ее на руки. Впервые. И понял, что с этого часа буду нести ее всю жизнь, вот так — на руках. Нести свое счастье!

— Дорогие мои, хорошие!— это я пел, кричал, ко всем обращался. Я всех любил, потому что знал: пройдет еще час, и я увижу ее.

Луна свалилась на другую половину, когда я пришел в Гилярку. Двадцать сонных эвенкийских домиков молча встретили меня. Даже не залаяли собаки. Они лают только на зверя. Я постучал в первый попавшийся дом, чтобы узнать, где Нина. На стук вышел в кальсонах и валенках радист Коля Арбузов.

— Чего тебе?— недовольным голосом спросил он.

— Где Нина.

Он захохотал.

— Чего ты?

Он хохотал, уперев руки в бока, запрокинув голову, широко открыв зубастую пасть.

— Чего ты?

Я чувствовал, как усталость вливается в ноги. До этого дурацкого смеха я не чувствовал усталости. Ее еще не было. А тут почувствовал, как тяжелеют ноги.

— Ну вас к черту — влюбленных! Комедия с вами!

— Где она?

Коля опять захохотал, но на этот раз покороче.

— Как же ты ее не встретил?— спросил он и утер слезы.

— Как не встретил?

— Да, как не встретил? Она же пошла к тебе.— И он опять захохотал. А я побежал обратно.

Я бежал и думал о том, что ее надо непременно застать у Ломанова, чтобы опять не разойтись. Этот радист дурак, он думает, в тайге только один путь — там их сотни. Можно идти берегом, можно идти трассой, а потом берегом, можно идти рекой, а потом трассой, а потом берегом. Можно идти любым путем,— все зависит от опыта. Но чтобы застать ее у Ломанова, в моем отряде, самый верный путь — быстрый!

Теперь уже я бежал. Бежал потому, что знал: как только она узнает, что меня в отряде нет, сразу же повернет обратно. Она не будет ждать. Она побежит, чтобы застать меня в Гилярке.

«Боже мой! Боже мой!»— повторял я бесконечно, опасаясь только одного, чтобы с ней не разойтись. Было уже светло. Ее следов я ни разу не встретил. На реке. И тогда я понял, она шла берегом. Могла идти правым, могла идти левым. Каким же? А что, если она в отряде гидрометристов? Отдыхает! А я проскочу мимо. Я повернул и побежал к гидрометристам. Они еще спали, когда

я сунулся в зимовку. Нины там не было. И не заходила. И я побежал в свой отряд. Очень хотелось пить, но я знал: пить нельзя. В пути пить нельзя! Мне даже нечем было сплюнуть горечь, так хотелось пить. И в горле уже стало хрипеть. Был провал в сознании, когда я уснул на ходу и меня швырнуло на лед. Но я тут же вскочил и побежал дальше. Бежал и бежал, дышал открытым ртом... Потом шел. Потом опять бежал...

И у Ломанова, в моем отряде, ее не было. Она туда не приходила. Ее не было. Совсем не было!

— Ее надо искать,— сказал я.

— Это черт знает что!— сказал Ломанов.

— Ее надо искать!— закричал я.

Нашли мы ее на другой день, к вечеру, на трассе бросового хода. Она запуталась в просеках, присела отдохнуть и замерзла.

С тех пор прошло тридцать лет, а я ее не могу забыть. И не могу забыть тех, кто разлучил нас. И не хочу их забывать! Забыть — значит простить!

ТАМАНЬ

Это было лет двенадцать назад. В Тамань я приехал с единственной целью посмотреть этот «скверный городишко», где когда-то бывал Лермонтов, походить по тем местам, где ходил он, отыскать тот берег, к которому причалила лодка «с честными контрабандистами», где сидела «ундина» у скалы, где чуть не погиб Печорин, а может, и сам офицер Лермонтов,— потому что в конечном писательском счете многое берется в книги из той жизни, какой жил сам писатель, и, вполне вероятно, то, что произошло в Тамани, могло случиться с самим Лермонтовым.

Приехал я в Тамань поздно вечером на попутной машине путешествующего московского адвоката. Он подхватил меня в станице Старо-Титоровской, провез по однообразной пыльной дороге вдоль довольно жалких хлопковых плантаций и доставил на место. Было в тот час так темно, как бывает только на юге в сентябре, когда и небо, и земля, и строения — все поглощено мраком. Я не знал, куда мне идти, к кому обратиться за советом,

и поэтому, без всякой задней мысли, спросил попутчика, где он будет ночевать.

— В машине!— неожиданно свирепо ответил адвокат.— К тому же я всегда сплю с заряженным ружьем!

Несмотря на то что мы с ним проехали вместе часа полтора и довольно мирно и любезно толковали о всякой всячине, он, как только я спросил его о ночлеге, сразу насторожился, видимо заподозрив меня в желании похитить его забитый пылью, расшатанный, тарахтящий «Москвич».

— Да вы что!

— Да, да, в машине буду спать, и не вздумайте подойти!

После этого я остался совершенно один в ночном мраке, только где-то далеко-далеко, на высоте, желтел маленький, как прокол, одинокий свет. Поначалу мне было обидно, но затем стало даже как-то и интересно. Начала сказываться Тамань, с тем ее романтическим окрасом, который то ли всегда в ней был, или который создал Лермонтов. После этого и мрак, и бесприютность показались мне естественными, и я, нашаривая ногами дорогу, пошел неведомо куда. Постепенно глаза освоились, что-то смутно стало проступать, и я различил дом и высокий забор. И пошел вдоль забора, а когда миновал его, то увидал в стороне электрическую лампочку, подвешенную к крыше какого-то магазина. И направился туда.

Из тьмы навстречу мне выявилась фигура с ружьем.

— Добрый вечер!— еще издалека крикнул я как можно приветливее.

— Кого надо?— спросила фигура и остановилась в настороженном ожидании.

— Тут есть у вас дом приезжих?

— Откуда приехал?— Фигура не двигалась. Мне показалось, она что-то делала с ружьем.

— Из Ленинграда! Из Ленинграда я!

— Из Ленинграда?— уже удивленно и даже уважительно спросила фигура. Помолчала и — недоверчиво:— Не врете?

— Ну что вы, у меня и паспорт есть!

— Да нет, я не к тому, чтобы проверять.— Фигура двинулась ко мне.— А уж очень удивительно, что вы из Ленинграда. Обычно к нам из такого далека не ездят.

Самое большее из Краснодара нагрянут.— Теперь уже фигура вплотную подошла ко мне, прижала к боку одностволку. — А я ведь тоже когда-то живал в Ленинграде. А вот теперь тут сторожем. На Забалканском я жил. Знаете такое место?

— А как же!— восторженно ответил я.

— Чудесный проспект!

— Замечательный!

— А вы не там ли живете?

— К сожалению, нет... На Литейном.

— Господи, так я же знаю Литейный. Как же, знаю... Чудесный проспект!

— Замечательный!

— А вы что же, по делам сюда?

Мы закурили, стали близкими.

— Нет, я в отпуску. Езжу по разным местам.

— Нашли куда ездить. В дыру,— осудительно сказал сторож. Но тут же не поверил:— А может, ревизор?

— Нет, нет, люблю путешествовать. Вот и сюда приехал.

— Ну, ваше дело, — видимо поверив и от этого утратив ко мне интерес, сказал сторож.

— Тут Лермонтов когда-то бывал.

— Говорят, да вам-то зачем?

— Интересно.

Сторож вздохнул и отвернулся.

— Скажите, здесь дом приезжих есть?

— Есть, есть, вон она, наша гостиница.— Сторож ткнул папиросой в сторону, в тьму.

— Там кто-нибудь есть?

— Кому там быть... Идемте, провожу.

Он пошел впереди, я, чуть ли не натыкаясь на него, за ним. Два раза он зажигал спички, чтобы не набрести на какую-то — «черт бы ее побрал»— плиту, потом долго вставлял ключ в замок и наконец вошел в помещение.

Сыростью и затхлостью, как из плесневелого чулана, обдало меня. И мозглым холодом.

Сторож чиркал спички, что-то оглядывал. Нашел керосиновую лампу. Она осветила плиту, алюминиевый чайник и широкую деревянную скамейку. Вправо от плиты виднелась еще одна дверь. Сторож направился туда. Там лампа осветила четыре узкие походные постели, покрытые серыми суконными одеялами, с плоскими, как

доски, подушками, грубо сколоченный стол и земляной пол. И здесь пахло затхлостью и воздух был мозглого холода.

— Вот вам и гостиница,— сказал сторож.

— А вы что же здесь, за хозяина?

— Кой черт хозяин, так, из жалости к Любке, чтоб по ночам не дергали ее всякие приезжие,— ответил сторож и пошел.

Я разобрал свои вещи, достал полотенце, зубную щетку, но помыться с дороги не удалось — воды в рукомойнике не было. Посидел немного в тоскливой тишине, глядя в черный квадрат насупленного окна, и лег спать. И простыни, и наволочка были влажные, и я долго не мог уснуть, думал с удивлением о том, что нахожусь на той самой земле, где уже беспрерывно более двух тысяч лет живут люди, что когда-то здесь был большой город с удивительным названием — Тмутаракань, и отовсюду к нему шли на парусах торговые корабли, и военные шли, и на улицах, перемежаясь временами, то слышались смех, веселые голоса, то раздавались звон оружия, треск огня. И жизнь была, и гибель, и любовь, и страдания, и кто-то плакал вот в такой безутешной ночи, и кто-то торжествовал победу. И были здесь греки, и турки, и татаро-монголы, и за каким-то лешим генуэзцы, и наконец русские казаки поселились. И с тех пор это уже часть России. И город исчезал, и снова восставал из пепла, и снова погибал, и так до тех пор, пока не стал «самым скверным городишком», но позднее и городишком не стал, выродился в обыкновенную станицу. Но в обыкновенной станице продолжалась все та же трагическая история исстрадавшейся земли, и новые войны не миновали ее и полили обильно человеческой кровью и уснастили металлом и костьми.

Спал я тревожно и проснулся рано. Черный квадрат окна стал серым. Бывшего ленинградца у склада не было,— отдежурил свое и ушел. Я взял полотенце, мыло и отправился к проливу.

Сразу же по выходе из дома приезжих перегораживала путь громадная чугунная плита, неведомо зачем притащенная сюда и забытая. Ни ворот, ни калитки не было — дом без помех выходил на площадь. И на ней, в другом ее далеком конце, стояла высоко, светясь чистотой и строгостью, красивая церковь, построенная, навер-

но, еще казаками, переселенными Екатериной Великой. Над луковичным куполом кружили черные птицы, с криком они улетали в степь.

Ночью я дороги не видел, теперь же она плотно пролегала вдоль базара — это был его высокий забор — к тому месту, где вчера остановился «Москвич». Его уже не было. На маленькой площади, неподалеку от закрытой чайной, в отрешенном одиночестве стоял на скале сделанный из бронзы казак. Одной рукой он держал знамя, другой опирался на эфес сабли. Вид его был воинственный и независимый. Он глядел вдаль, туда, где пролив сливается с морем. Глядел, чуть откинув голову, в любую минуту готовый к войне. Он был усат, но странно: один ус у него был темный, другой на конце рыжий. Позднее я узнал причину такого несоответствия. В последнюю войну во время артобстрела осколком казаку срезало кончик уса. После войны таманские ребята из МТС поправили такое нарушение — приварили недостающий кусочек железом — потому и порыжел завиток. На постаменте памятника были выбиты нетленные слова таманца Головатого, в которых благодарилась «матка Катерина» за то, что дала казакам эту землю пожизненно.

От памятника до пролива близко — дорога сама вела к нему, мимо книжного магазина, нескольких мазанок, все ниже, ниже к воде. Чтобы не забыть примет, где приставали контрабандисты, я выписал из лермонтовского рассказа те места, которые мне смогли бы помочь. Так, он писал о «небольшой хате на самом берегу моря».

Море лежало передо мной громадное, такое же, как, наверное, и в его времена. К этому часу солнце уже поднялось, ударило наискось по воде, словно вбило красный громадный гвоздь, и сразу стало теплее. От берега отходила в пролив узкая дамба. Присев на корточки, ребята с нее ловили бычков. «Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой»— так сказано Лермонтовым, и лучше не скажешь. Они шлепали в бетон дамбы и скатывались в море. Я прошел в конец дамбы и оглянулся на берег. Мне отсюда было его хорошо видно. Большей частью берег был обрывист настолько, что нечего было и думать, что кто-нибудь мог бы спуститься по нему к воде. Если взять левее дамбы, то берег становился совершенно пологим. У Лермонтова же: «Я, с трудом

спускаясь, пробирался по крутизне...» Так что и эта часть берега не годилась. Оставалось только место перехода от обрыва к пологому. Оно было небольшое и единственное и вполне подходило по описанию. К тому же на вершине берега стояла мазанка. Вряд ли та, в которой остановился Печорин (а ведь весь рассказ «Тамань»— дело случая. Не остановись там Печорин, в этой «небольшой хате на самом берегу моря», и не было бы удивительного рассказа!). Да, конечно, не та хатенка, та давно уже развалилась, и на ее месте стояла другая... Только к этому перешейку и могла пристать лодка «честных контрабандистов», и отсюда уже: «взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу...» Да, именно с этого места они могли пойти вдоль пологого берега по направлению к Темрюку. Не в Темрюк, а только в направлении его. Более сходного места и по описанию и по пригодности не было. И я с удовлетворенным чувством, будто сам породил это место, закурил и, не отрываясь, стал глядеть на него. И, пожалуй, впервые в жизни, почувствовал неясную, трудно выразимую словами, но совершенно внутренне отчетливую временную связь между давно ушедшими из жизни, но жившими ярко, полно, не урезывая себя в стремлениях,— и собою, как бы старшим над ними в силу ушедших множества лет, но вряд ли богаче по силе чувств.

Я стоял долго, зная, что никогда уже больше мне здесь не бывать. Потом прошел к берегу, к тому самому месту, где спускался слепой,— тропы там не было, но я все же поднялся по крутизне, и уже с вершины окинул взглядом весь Таманский пролив, взблескивающий под солнцем и ветром, но сколько ни вглядывался, не увидал «дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом». Не увидал, верно, из-за той дымки, которая бывает и в ясную погоду. Захотел было зайти в мазанку, но на ее дверях висел увесистый замок.

Чайная была уже открыта. За стойкой работала высокогрудая казачка с наколкой на черных с блеском волосах. Она наливала в кружку вспененное пиво одноногому казаку. Я сел за столик и от нечего делать стал разглядывать на стенах картины. Их было две. На одной был изображен Тарас Бульба в тот самый скверный час, когда у него вылетела люлька и он вздыбил своего Чер-

та, а за плечами его уже видны наседающие ляхи. Картина была написана самодеятельным художником. Может, с высокой профессиональной точки зрения в ней не все было ладно, но, на мой взгляд, он вполне справился,— уж очень много было в картине уверенности, и даже копыто Черта, величиною с блюдо, вырывающееся из рамы, не вызывало сомнения. Только такое копыто и могло быть у Черта, легко принимавшего на себя двенадцатипудовую тушу Тараса. На другой картине был изображен Гоголь, сидящий в санях, уносимых тройкой... И опять вспоминается мне то, о чем думалось ночью. Тмутаракань, греки, турки, татары, монголы, русские. Любовь и жестокость, первый крик младенца и предсмертный хрип старика. Первый поцелуй и сладострастное насилие, и домашний очаг и казачий костер, и бомбежки, и артобстрелы, и «Железный поток», и женщины-летчицы,— и все это на маленьком клочке. И все та же вода, и тот же берег, и та же земля, время от времени засоряемая людьми...

— Есть гуляш с вермишелью.

— Хорошо. И чай.

В доме приезжих я застал хозяйку, молодую, крупную женщину, в темной юбке, босую, повязанную платком. Возле нее на полу играл с никелированными замками моего чемодана мальчонка лет двух.

— Здравствуйте, Люба!— сказал я.

— Здравствуйти... Откуда ж вы мэнэ знаете?— Она глядела на меня большими изумленными глазами, поджатыми крутыми монгольскими скулами.

— От сторожа.

— От болтун, старый человик, а який болтун,— всплеснула крупными руками Люба.

— Да ничего он не болтал, просто назвал ваше имя, и все. А это чей же, ваш?— кивнул я на малыша.

Вместо ответа Люба подхватила его с полу и прижала к груди. Малыш сразу же стал брыкаться,— его тянули до конца не изученные застежки моего чемодана.

— О, яка дитына!— прижимая еще крепче сына к груди, засмеялась Люба.— Казак!

— В отца, наверно,— желая польстить матери, сказал я.

— Ни!— сразу переменилась Люба.— Он не буде як батька, не буде, мий хлопчик. Да, Коля?

— Ни!— звонко крикнул малыш и, уже, видимо забыв про чемодан, стал крутить пуговицу на кофте матери.

— Почему же так?

— А шоб вин подох!— гневно сверкнула глазами Люба.— Та посуди сам, вин хотив, чтоб сыночку, хлопчик мий, помер. Прибегла с колхозу, а сыночку черней земли. Шо воно таке, спрашиваю. «О це упал з лавки»,— отвечае. Я ласкать сыночку. И грудку дам. Не бере грудку. Плачу я, а вин не бере... В больнице с сыночком лежала. Все добре. Пришла до дому. Сыночку веселый, сыночку смеется. Як солнышко. А муж, шоб вин подох, и не рад. «Чего ты, говорю, подывись, який сыночку!» Ни, не радуется. Так улыбнулся, як варенец. Ладно. Неделя прошла. Прибегла з работы, тихо-тихосенько дверь подтягнула. Думаю, что воны без меня делают... Дывлюсь, сыночку мий на полу, а вин, муж подлый, над ним стоит. А сыночку опять черный, як земля! Ох, як взревела я. Кинулась до хлопчика моего, очи его закрыты, тилько грудка чуть как дрожит...

— Да за что же он так?— не желая верить этому чудовищному, не вытерпел я.

— А шоб уйти от мэнэ, алиментов не платить.

— Да не может быть!

— А так!

— Где же он?

— А бис его знае. Сбежал.

— Ищете его?

— Ни! Нам и так добре. Да, сыночку?

— Да!

— Убьем тату?

— Убьем тату!— жизнерадостно воскликнул сыночку. Ему уже снова надоело сидеть на руках матери. Он стал сползать на пол, задирая со спины на голову рубашонку. Он лез к моему чемодану, к его блестящим замкам.

Тут, кстати, я вспомнил, что в чемодане есть конфеты. Достал их, дал ему в горсти.

— Что надо сказать?— присела на корточки Люба.

Сынку молчал, озабоченно сопел, развертывая бумажку, добираясь до самой сути.

— Спасибо надо сказать,— поучала Люба.— А то дядя больше не даст.

Я пошарил еще в чемодане и отдал остатки.

— Ой, та куда там, и так гарно!— воскликнула Люба,

и на глазах у нее сверкнули слезы.— Спасибо, дядьку...

— Есть о чем говорить,— ответил я, растроганный ее слезами, и в какой-то сложной связи, глядя на эту женщину и ее сына, вспомнил брошенного слепого, его безутешные слезы, и, понимая, что круг замкнут и что больше мне уже делать здесь нечего, рассчитался за ночлег, взял чемодан и пошел к автобусной остановке. И думал уже не о Тамани, а об этих двоих, непонятно за что обиженных! И еще думал о том, насколько же живучи злые, черствые, жестокие...

Подошел автобус, и я поехал в Темрюк... Это ведь на темрюкской княжне женился Иван Грозный.

СКЕЛЕТ В ЛЕСУ

Эту историю мне рассказал попутчик в поезде. Рассказывая, он то и дело повторял: «Мне стало страшно», «С горечью я подумал об этом несчастном охотнике». Говорил он о лесе, какой это был «дремучий» лес, и о себе, что он «горожанин, но любит природу, охотничает», что это его «хобби», и еще другие были слова, и все же он не был рассказчиком. Факты он еще мог передать, но свое состояние, что пережил, перечувствовал, ему было выразить трудно, поэтому он и обошелся набором трафаретных слов, как только дело коснулось самой сути, то есть когда он увидал скелет.

Конечно, ему стало страшно, но это слово еще далеко не выражало того состояния, какое овладело им. И его раздумья — не в тот момент, а позднее — тоже, конечно, не могли ограничиться такими словами, как «с горечью я подумал». Он думал не только об охотнике, но и о себе. Кроме мыслей, которые были довольно поверхностны, им владели чувства — сложные, глубокие, когда он плакал, и звал на помощь, и упал лицом на землю в отчаянии,— эти чувства были, но ни тогда, ни позднее, уже рассказывая мне, он не смог их выразить. Самое большое, что он мог сказать,—«страшно». На самом же деле было то состояние, когда безысходность уже на грани истерики. Вот что с ним было, когда он увидал зимовку под черным крылом столетней ели.

До того он уже два дня плутал по вологодским ле-

сам. Я никогда в этих лесах не бывал. Видал их только однажды с самолета. Летел из Архангельска в Ленинград. Самолет шел на небольшой высоте, и мне хорошо были видны эти северные леса, бескрайние, однообразные, прореженные громадными болотами с блюдцами озер. Помнится, я тогда еще подумал, что вряд ли там бывал человек,— уж слишком много болот отделяло густую чащобу от поселков и деревень. Конечно, зимой на лыжах можно добраться...

Но тогда было лето. Точнее, август. Охотника, как и рыбака, всегда тянет дальше. И он забрался в глушь. У него был туристский компас. В рюкзаке — котелок, сухари, соль, чай, спички. Он не боялся заблудиться и шел все дальше, дальше, в надежде попасть в такие глухие места, где дичь еще не встречала человека.

Он шел на северо-восток. Если ему попадались болота — а они встречались на его пути,— он обходил их и опять упрямо шел на северо-восток. Чтобы вернуться домой, ему надо было только встать спиной к северо-востоку и шагать, шагать на юго-запад, и он вышел бы к железной дороге, а уж там разобрался бы, в какую сторону направиться. Железная дорога была как граница, и в каком бы месте он ни вышел, все равно наткнулся бы на нее. Поэтому он шел уверенно!

В лесу трудно определить расстояние; по тому времени, какое он потратил на путь, можно было предположить, что пройдено уже не меньше десяти километров. Напрямую. И тут как раз начались те места, о каких он мечтал зимними вечерами в городе. Прекрасные места! Глухие. Дикие. То там, то тут со взрывным шумом вылетали тетерки, а то и глухари, и так часто, что он даже перестал удивляться.

И как уж это случилось, черт его знает как,— но он потерял компас. Ему бы следовало привязать его на крепкий шнурок и повесить на шею,— потому что он довольно часто посматривал на него, но ему и в голову не приходило, что он может его обронить. Компас лежал в кармане. Возможно, он опустил его мимо. Такое случается. Если бы он шел по тропе, то смог бы вернуться и найти компас, но шел он напрямик, перелезая через поваленные ветром деревья, обходя заросли, а то и продираясь сквозь них. Где уж тут найти!

Но он провел в поисках весь день. Ночью почти не

спал. И как только рассвело, снова начал искать. Он даже боялся представить себе, что же теперь с ним будет. Если бы у него с самого начала не было компаса, то он запомнил бы направление по солнцу, но у него был компас, и он так полагался на него, что не заметил, где было солнце, когда он вошел в лес.

Убедившись, что компаса ему не найти, он стал напряженно вспоминать, где же все-таки было солнце, когда он уходил из дому, где оно было, когда он шел по лесу. И вспомнил. Оно было справа. Может, ему так подумалось, что оно было справа. И он встал к нему левым ухом и, уже не обращая внимания на глухарей, которые вылетали чуть ли не из-под самых ног, встревоженно-торопливо зашагал к дому. Ему попадались звериные тропы, он радовался, обнадеживал себя, что это человечьи, но они приводили его к ручьям, к водопою. Тогда, ругаясь, он вламывался опять в чащобу и шел напрямик. Ему, конечно, только казалось, что он шел напрямик... Вот если плывешь в лодке по большой воде, вдали от берегов, не видя их, кажется, что ты не движешься; такое же ощущение появляется, когда идешь по лесу. Ты идешь, но нет никакой уверенности, что ты приближаешься к цели. Тем более нет, если не уверен в точности направления.

Беда его усугублялась тем, что он был горожанин. Городской охотник, как бы он ни любил природу, все-таки дилетант. Деревенский — тот не заблудится. А с городскими охотниками, да еще в таких местах, случается. Вот с ним случилось! Если бы он понимал лес, все эти болота, озера, ручьи, холмы, яры, то, конечно же, выбрался бы. Но он не понимал, все для него было одинаково.

Он плутал два дня. И пришел в состояние отчаяния. Кричал ли он? Кричал. И ему становилось тревожно от собственного голоса. Думалось, что придет не тот, кто ему нужен. И он замолкал. Он шел, шел и не находил конца лесу, болотам, холмам. К тому же скрылось солнце, его затянуло густой мглой. В степи в такую пору еще можно было высмотреть солнце, но в лесу, из-за деревьев, из-за малого кругозора, это исключено. И, конечно же, он начал кружить. И совершенно пришел в отчаяние. Он даже начал поскуливать, как озябший щенок. И тут, в таком вот состоянии, он выбрел на маленькую полянку

и увидал под старой елью, под ее черным нижним крылом, громадный муравейник, высотою больше человеческого роста. Только потому, что муравейник был такой большой, он и обратил на него внимание. А потом, к бешеной своей радости, разглядел, что это не муравейник, а заимка, или зимовка, или избушка, или черт его знает что, но какое-то жилье, и он кинулся к нему, открыл дверь, вбежал — и в ужасе попятился.

С жердяного топчана, освещенного тусклым светом из оконца, на него смотрел череп в ватной ушанке. Череп лежал на возвышении, от него шло туловище, прикрытое каким-то смрадным тряпьем. В изголовье стояло ружье.

«А-а!» — закричал он. Да, вот тут ему стало страшно. Но это не был детский страх перед черепом. Если уж охотник, хозяин этих мест, погиб, то что же может ожидать человека неопытного? Никогда не выйти ему из этого дремучего леса, он умрет так же, как умер этот несчастный охотник. А хотелось жить, вернуться к семье, в уют, в покой, к работе, В деревню, наконец! К парному молоку! Людей, людей захотелось видеть! Вот отчего ему стало страшно. Вот почему он выскочил из зимовки и закрыл лицо руками, и заныл, и закружился на одном месте, и упал лицом на землю.

Долго ли это продолжалось? Трудно сказать. Но всему приходит конец. С ума он не сошел. Постепенно успокоился, как бы затих. И тут его посетила полезная мысль: коли есть зимовка, то к ней или от нее должна быть тропа. К людям!

И он нашел ее, заросшую, но все же довольно четкую. И пошел по ней, боясь даже оглянуться на зимовку, но чувствуя ее спиной. Тропа скоро стала теряться в болоте. Среди кочек ее совсем не было. Началась трясина. Он пошел по трясине, не столько опасаясь провалиться, сколько боясь совсем потерять тропу. Он знал: она должна быть на другом берегу болота. И не ошибся. Нашел ее. И зашагал дальше, то подымаясь на увалы, то сбегая с них. Усталости не было, хотя в других обстоятельствах, если бы у него все было в порядке, он давно уже отдыхал бы у костра. А тут и мысли не могло быть, чтобы присесть. Было даже какое-то суеверное чувство — пока идет — будет тропа, остановится — тропа исчезнет. И он шел, шел, переходя по трухлявым жердям ручьи,

разводя руками нависшие над тропой ветви ольховника. Да, видно, давно никто не ходил по этой тропе, так давно, что даже жерди успели истлеть. Давно умер охотник...

А тропа вилась и вилась. И вывела его к дороге. К лесной дороге, проросшей травой по колее. Давно и по ней не ездили! Но ездили! Он долго шел по ней. Похоже, что это была когда-то дорога лесозаготовителей, потому что по краям ее рос молодняк, а большие деревья были давно вырублены.

Наконец он устал. Усталость пришла от уверенности, что теперь-то уж он выйдет из лесу. Он развел костер, попил чаю, покурил, и только теперь позволил себе подумать об охотнике.

«Да,— думал он,— мне никогда не приходилось встречать в газетах заметки о таких трагических случаях. Да и вообще о смерти охотников не пишут. А вот, оказывается, они погибают, да еще в каком страшном одиночестве! Когда никого нет, кто принес бы кружку воды, помог больному... Пишут только о том, как охотник-промысловик добывает соболей, куниц, лис, белок, и ни слова о таких несчастных случаях... И, наверно, родные не знают, где он погиб, как?» Он все время думал об этом черепе в ватной ушанке. Он вспомнил, что тропа выходила на дорогу как раз в том месте, где протекал ручей,— так что ее нетрудно будет найти.

Он пошел дальше. Уже к вечеру вышел на большое поле пшеницы. Тут лесная дорога влилась в живую, накатанную. И он пошел по ней, блаженно улыбающийся и где-то уже подсмеивающийся над собой, над своими слабостями.

Вскоре показалась и деревня. Дальше крайнего дома он не пошел. Настолько устал. Попросил молока. Старуха вынесла ему парное, в литровой банке. Он осушил ее мгновенно. На крыльцо вышел старик. Сел на приступку. Закурил. Его можно было спросить: какая это деревня, куда в конце концов он выбрался? Но ему было все равно. И действительно, какая разница, главное — вышел!

Постепенно разговор завязался. И все было рассказано: и о том, как заблудился, и о зимовке, и о скелете.

— Где, где, говоришь, это?— заинтересовался старик.

Он объяснил.

— Так это что же, за кочуринские болота тебя унес-

ло? Эва куда... И увал ты перешел с овражком? И еще дальше был? Так, так... Вот, значит, где подох. Так, так...

— Про кого вы?

— Про дезертира... Прятался тут один в войну...

— Вот как обернулось!— сказал мой попутчик и неожиданно засмеялся.

Я недоуменно взглянул на него: чего он смеется? Череп-то в ушанке есть, смерть и ужас одиночества были? Чего же тут веселого? И понял, почему он засмеялся: не охотник умер, охотника он пожалел бы, тут бы он смеяться не стал... Жестоко? Ну, на это, видно, у него были свои основания...

И что удивительно: при всем своем неумении он все же оказался настоящим рассказчиком!

ДОРОГИЕ ПАПА И МАМА...

Конечно, все дело в моем голосе. Слишком уж он у меня громкий. Я говорю, а другим кажется, будто я кричу. Привычка такая,— в цеху шумно, ну вот и нажимаешь на басы. Я и не хотел, чтобы мальчонка услышал, но, видно, не остерегся, громко говорил, и он все узнал. И теперь нет его. Вот уже три года, как его нет. И вряд ли вернется. Он ушел. А я все жду. Все надеюсь — раздастся звонок, и он войдет. Хотя понимаю — ждать бесполезно. Пропал мальчонка. Именно пропал. Иначе написал нам хоть бы несколько строк. Но он молчит...

Я и не думал, что у нас есть такие барьеры, через которые даже доброму сердцу не пробиться. Всегда полагал: если хочешь совершить хорошее, так пожалуйста, сколько угодно. А оказывается, нет. Одного доброго сердца мало. К нему надо еще другое доброе сердце, от которого все дело зависит. А другого-то сердца и не оказалось... Только не надо бы мне так громко говорить...

Все началось с того, что я приехал в Кутаиси. Лечился в Цхалтубо. Оставалось всего два дня до конца срока, и я решил наведаться в этот городок. Наши многие туда ездили. На рынок. Это уж как дань всех отъезжающих — купить фрукты: мандарины, «корольки», виноград. Цены там ничуть не дешевле, чем у нас в Ленинграде, но уж так принято.

Вход на рынок через ворота. Вот у ворот-то он и стоял. Лет двенадцать ему было, не больше. На ногах рваные сандалишки, в рубашонке, штаны в носки заправлены. Сразу видно — безотцовщина. Спрашивается, чего торчит у ворот? Чего ему надо на базаре? Подошел к нему. Спросил. Отца, говорит, жду. Ну, отца так отца. Походил я по рынку, купил фруктов. Иду обратно. Стоит мальчонка.

«Где же отец?»

Молчит.

«Чего ж ты молчишь?»

«А вам чего?»

«А того, что ты врешь. Чего тут делаешь?»

Ну, резко, наверно, спросил. Пошел он.

«Да ты постой! — ухватил я его за руку. Он вырвался. Глядит так это зверовато и напуганно.— Ты не бойся. Я плохого тебе не сделаю. Отец, мать есть?»

Молчит. Но не уходит.

«Ну, чего ты молчишь? Ты говори».

«А зачем это вам?»

«Опять двадцать пять! Да я, может, тебе помочь хочу. Родители есть?»

«Отца нет».

«А мать?»

«Бросила меня».

Бросила! Тут не знаешь, о чем и говорить дальше. Что ни скажешь, все невпопад.

«Может быть, есть хочешь?»

«Не...»

«Ну как же «не»... Идем!»

Глянул на меня, словно проверяет, что из этого дальше для него последует.

«Не...»

«Да чего ты боишься? Шашлык закажу. Наверно, не каждый день шашлык-то ешь?»

Усмехнулся. Дернул плечом.

«Идемте».

Ну, там этих столовок, буфетов хватает. Заказал по шашлыку. Я есть и не очень хотел,— уже привык к режиму, но ради него решил и сам пожевать, а то ему неловко будет.

«Как же она тебя бросила?»

«А вам зачем это, дядя?»

«Да жалко мне тебя. Как же она могла допустить такое? Или ты опять врешь?»

«Не... Как отец умер, мы все вместе жили: и Галька с Зиной — это мои младшие сестренки, и я, и она. А потом дяденька стал к ней ходить. Не полюбил он чего-то нас, и она отдала и сестренок, и меня в детдом. А я убежал оттуда. И сказал ей, каждый раз буду убегать к ней. В Сочи мы тогда жили. А потом сюда переехали. Он не хотел меня брать с собой, но я упросил маму, чтобы она не отдавала меня, чтобы я с ней всегда был. Плакала она. Говорила — не отдаст. А сама уехала с ним. Я еще спал, когда они уехали. Проснулся — их нет, и вещей нет. Спросил хозяйку, где они. А она и сама не знает».

«Неужели так и бросила?»

«Так и бросила».

«Может, чанахи хочешь?»

«Не, я много не ем».

«Ну, чаю?»

«Ладно».

«И что же ты?»

«Ничего... На рынок пошел. Кому поднести чего. Разные попадаются, больные, или старые, или такие, кто не хочет сам нести. Мы не воровали».

«Это кто же мы?»

«А нас тут пятеро. В подвале живем».

«А другие откуда?»

«А тоже кто как... Я пойду, дядя».

«Чего торопишься? Может, еще чего хочешь?»

«Не... спасибо, дядя».

«И родных у тебя или знакомых никого?»

«Не».

«А в детский дом, ты, значит, никак?»

«Не».

«Что ж, или там хуже, чем на улице?»

«Я пойду, дядя. Спасибо вам».

«Ну, не буду, не буду. Сиди».

Приглядываюсь к нему, и все больше сердечное расположение овладевает мною,— и жалко мне его, и помочь не знаю чем. Хороший такой мальчишка. Волосы светлые, носишко шлепочком — этакая лумпетка. Чистый русачок. И глаза живые, с озорнинкой. Глянет на меня, и нет-нет чего-то в них веселое прострочит и на губах улыбка дрогнет. Ах ты, думаю, палец тебе в нос,

чем же помочь тебе? Денег оставить, а что ему деньги? Да и нет у меня таких, чтобы его обеспечить надолго. Да и глупость это — дать денег. И так не могу, чтобы вот накормить его и уйти. И уже чувствую, что где-то в душе зреет — взять его к себе. Но это еще только так— не решение, а предчувствие: жалко мне его, и я отгоняю мысль, чтоб взять...

«Спасибо, дядя. Пойду я...»

«Ну что ж, ладно. Ты вот что,— говорю ему,— ты приезжай завтра в Цхалтубо».

«А зачем?»

«В гости. Денег я на автобус дам. Санаторий «Шахтер». Комната сто седьмая. Как приедешь, так сразу заходи. Только не позднее семи, так, что-нибудь, часов в пять. Ты бывал в Цхалтубо?»

«Нет».

«Ну, найдешь. «Шахтер» недалеко от автобусной станции».

На всякий случай дал ему денег в оба конца,— мало ли что, вдруг разминемся, хотя этого не должно было случиться.

«Приедешь?»

«Ладно».

На другой день жду его. После обеда в комнате у себя сижу. Пять прошло, а его нет. Шесть стукнуло. Нет его. И ругаю уже себя,— надо бы сразу забрать с собой... Пришли товарищи по комнате, с которыми жил. Поставил им вина на прощанье. Выпили. А его все нет. Вот уже и к семи идет. Пора на автобус. Пошел. Провожают меня. Нет его. Вышел к автобусу. Гляжу, бежит ко мне.

«Где ж ты пропадал?»

«А меня не пускали. Я уже давно тут».

«Ну, коли так, поехали. Садись в автобус».

Он юркнул, и там. Едем.

«А куда мы?»

«На вокзал. Уезжаю я,— и тут же, не дав ему опомниться,— я тебя с собой забираю. Нечего тебе тут слоняться».

Он зыркнул на меня глазенками,— что-то и радостное в них и настороженное. И так это неуверенно:

«А где вы живете?»

«В Ленинграде. Где же еще!»

«А чего я буду делать у вас?»

«Чудак человек,— засмеялся я,— да разве я тебя беру к себе, чтобы ты чего делал у нас. Я сам работник. Будешь у нас жить как сын родной. Оденем тебя как подобает быть. В школу пойдешь. Ну, а после школы видно будет, чего делать. Может, на завод ко мне, а то и в институт».

Молчит. Думает. Ну и ладно. Пускай думает.

Приехали к вокзалу. Взял я чемодан да авоську с фруктами. Идем к поезду.

«Давайте помогу».

Дал ему авоську. Тащит, старается. На перроне светло как днем. Пассажиров немного.

«Ну, так как, спрашиваю, едешь или нет? Если едешь, то надо билет покупать. Если нет, то оставайся тут, дуй на рынок. Воровать научишься, водку пить».

«Я с вами хочу... Как сын хочу».

Глянул я на него, а у него глаза темные стали, широкие. А может, у меня потемнело, как он сказал — «сыном хочу».

Ах ты, парень ты мой хороший! Соскучился без родителей. Я к кассе скорей. Есть ли билеты-то? А вдруг нет? Есть! Купил, правда, не в свой вагон, в свой не было. К нему бегу,— времени-то мало осталось. Стоит он возле чемодана и авоськи, и так это осанисто поглядывает на всех, кто проходит мимо.

«Получай билет!»

Взял он его и так улыбнулся, так поглядел на меня, что я не выдержал, стал сморкаться. Фу ты, думаю, вот ведь какая она, жизнь! Все кажется ладным, пока тебя не касается. Думаешь, как ты живешь, так и все живут, а чуть вглядишься, сколько еще всякого неблагополучия. Ну что бы стоило не приехать в Кутаиси, или хотя бы и приехал, а он куда-либо отлучился, и поди знай, как у него сложилась бы жизнь. А тут, на вот тебе, со мной едет. Теперь уж не пропадет, по прямой дорожке направлю его. Это уж я сделаю. Да и жена поможет.

«Звать-то тебя как?»

«Толя».

«Ну, пошли, Толя, на поезд!»

Сели мы с ним в разные вагоны. Не успел я разместиться, а он тут как тут.

«Папа, постель мне брать или так проваляюсь на полке?»

Во как, папой назвал! Тут уж совсем дожало меня. «Зачем же валяться, бери».

Дал ему деньги. Гляжу на него и даже не по себе стало, до того он плохо одет. Раскрыл чемодан, достал рубашку. Но куда она ему. Утонет. Таких, как его шея, три в мой ворот войдет. Ладно, свитер оказался. Отдал ему. Куртка была из толстой материи, я все в ней на процедуры ходил. Вроде пиджака ему пришлась. На ногах носки рваные, грязные. Носки дал. Ну, полотенце, мыло. Отправил в уборную.

«А что снимешь, выбрось!»

«И рубашку выбросить?»

«Бросай!»

Убежал он, а соседи на меня с любопытством глядят.

«Что ж это, сын ваш?» — спрашивает один, лысый такой.

Ну что ему ответить? Да и зачем? Любопытствует из пустого, сразу видно. Промолчал я. Тогда соседка — она напротив меня разместилась в купе — тоже интересуется.

«Почему же он у вас в таком виде?»

Вижу, все равно не отмолчаться. Рассказал.

«Ой, смотрите, не раскайтесь,— сказала соседка, — как-никак, а он уже испорченный. Получше присматривайте, особенно первое время. А то и ограбить может».

Ушел я. Не терплю таких людей. Сами палец о палец не ударят, чтобы помочь человеку, а вот чтобы смуту внести другому, кто отзывчив, на это их хватает. Стою у окна. Курю. Думаю. Радуюсь, что мальчонку подобрал. Не стеснит он нас. Квартира хотя и малогабаритная, но двухкомнатная. Сын был. Женился. Ушел к жениной родне. Вот его место и займет мальчонка... Вдруг кто-то тихонько в спину — толк. Оглянулся, Толя стоит. Умытый, причесанный, в свитере и куртке. Глаза блестят. Улыбается... Уж больно хорошая у него улыбка оказалась, мягкая, доверчивая.

«Ну вот, все получше,— сказал я,— а как приедем домой, купим по размеру». И так на сердце стало хорошо, как давно уже не было. Так давно, что не помню когда, если и было. Это, верно, потому, что жил хоть и честно и работал как надо, а ничего похожего не происходило. День за днем, месяц за месяцем, то на работу, то с работы, в кино другой раз сходим, в гости, к нам кто придет. Собой жили. А тут вон какой случай. И чув-

ствую, как все родней мальчуган мне становится, и уже радуюсь тому, что не обошла меня доброта стороной.

«Ну что ж, теперь и поесть можно. Пошли-ка. Проголодался, наверно».

«Да нет... Я другой раз дня по два не ел, а нынче сытый. Шофера в санатории накормили. Так что до утра хватит».

«Ну, до утра. Утром мы само собой, а сейчас тоже надо».

В купе, как мы вошли, затихли. Мальчонка сразу почувствовал, что разговор, видно, о нем шел. Остановился в проходе.

«Иди, иди, сынок,— позвал я,—садись смелее, это моя лавка»,— и попросил лысого, чтобы он уступил место.

Доехали мы до Ленинграда хорошо. И все было хорошо. Жена обрадовалась мальчонке, как родному. Да я и не сомневался, полагал, так и должно быть.

Ну, первым делом, конечно, одели его. Все, как полагается, вплоть до школьной формы. Портфель купили, тетрадки, карандаши, ручку. Сводили его в цирк, в ТЮЗ. Рад-радешенек. Как щегол — только и вертит головой туда-сюда. Все ему интересно. Стол ему поставили, за которым он будет делать уроки. Пришел я как-то с работы, гляжу — чего-то пишет.

«Это я, говорит, папа, сестренкам пишу, как мне хорошо у вас».

Повела его жена в школу. Я на работе был. Мне и в голову не приходило, что могут возникнуть какие-то осложнения. Конечно, понимал — мальчонка пропустил год, да и в этом году опоздал чуть ли не на два месяца. Ну и что? Ведь бывает же, что и по второму году другие ученики остаются в том же классе. Но оказалось совсем другая причина. Директор школы — и ведь женщина, вот что непонятно мне,— отказалась его принять, побоялась, что на учеников он может плохо повлиять. Жена и так ей и этак, ну да разве докажешь, если человек не расположен.

«Ладно,— говорю жене,— не расстраивайся. Не одна школа. Есть и другие. Завтра отпрошусь с работы, сам схожу».

И пошел. Мальчонку взял с собой. В другой школе директором оказался мужчина. Объяснил я ему.

«Хорошо, пускай приходит. В четвертый «Б» класс его зачислим, только документы на него принесите».

«Да нет ничего у него»,— говорю.

«А вы сходите в милицию. Пусть хотя бы прописку дадут».

«Это, говорю, можно. Схожу».

Тут же и пошел. Толю отправил домой, а сам пошел. Сначала к паспортистке сунулся, но она говорит — надо к начальнику идти. Пошел к начальнику. Принял он меня. Выслушал и говорит:

«Для того чтобы его прописать, надо вам сначала усыновить его. А чтобы усыновить, нужно разрешение матери».

«Да какое же может быть разрешение, если она бросила его?»

«А этого ни вы, ни я не знаем».

«Как же мы не знаем, если он мне все рассказал?»

«Мало ли что он расскажет. Он, может быть, сбежал от матери».

«Зачем же ему бежать от хорошей матери?»

«Бывает, что и от хорошей бегают. Всякое случается».

«Да где же ее найдешь? Она, может, и фамилию свою сменила».

«А может, она сама уже подала в розыск?»

«А если не подавала и не собирается, потому что ей мужик дороже своих детей, тогда как?»

«Тогда ее искать надо».

«Да как же ее найдешь? Может, она и, верно, фамилию сменила?»

«А вы спокойнее, не кричите».

«Я не кричу. Это уж у меня голос такой. Только где же ее искать-то?»

«Этого я не знаю. Но без разрешения матери нельзя усыновлять. К тому же, может, он из детского дома сбежал?»

«Это сначала сбежал, а потом она бросила его».

«Это все он говорит».

«Да не только он, и я говорю. Вы мне поверить можете? Ведь я и на войне был. И вот уже двадцать лет на одном заводе работаю. Орденом недавно меня наградили. Почему же вы не хотите мне поверить?»

«Вам я верю. А вот ему погожу. У нас на этот счет всякие случаи бывали».

«У меня только один интерес, товарищ начальник, чтобы мальчонка не пропал. Ведь на базаре его подобрал».

«Ну, если бы не вы, милиция подобрала бы его. Не пропал бы. У нас на этот счет государство заботится».

«Но если мальчонка не хочет в детский дом, в семью хочет, и мы хотим?»

«Так я не возражаю, только надо как следует оформить усыновление».

«Так помогите мне! Как же я усыновлю, если не знаю, где его мать?»

«Вы опять кричите».

«Да не кричу я, это от работы такой у меня голос. Извиняюсь. Только мне одно непонятно, что же такого я плохого делаю, что вы не можете мне помочь. Или вам потом будет приятней заниматься с ним, когда он станет преступником?»

«Ну, до этого не допустим».

«Я бы не допустил! А теперь как? Что с ним делать-то?»

«К нам приведите».

«То есть как это к вам?»

«Да так, вы не имеете права без документов его держать. Приведите к нам, а мы его определим куда следует».

«Да вы что? Как же я тогда ему в глаза посмотрю. Ведь я же обнадежил его, обещал, что он у меня будет жить. А теперь что же выходит? Обман!»

«Слишком вы доверчивы. Ведь вы же ничего не знаете о нем. Мало ли чего он вам наговорил. А где у вас гарантия? Он поживет у вас какое-то время и сбежит, да еще кое-что прихватит. У нас и такие случаи известны».

«Не сделает он этого. Поверьте мне... Очень прошу, дайте ему прописку».

«Не могу».

«Ну, на мою ответственность».

«В таких случаях я сам за вас отвечаю».

Вышел я от него сам не свой. Домой идти никак не могу. Что там скажу? Как объясню мальчонке, чтобы он понял, если я сам ничего не понимаю? Долго я ходил из улицы в улицу, и вдруг меня осенило. Я снова к начальнику. Повезло, застал его.

«Ладно, я же не возражаю, согласен, можно и к матери обратиться. Искать ее буду, только пусть мальчонка у меня это время живет. Может, за месяц какой ее найдем. Ему в школу надо...»

«Я же сказал вам — так нельзя. Я не хочу отвечать за него и за вас. И вы должны привести его сюда, или я буду вынужден прислать к вам милиционера. Нельзя, поймите вы меня!.. Ну, побудет он в детском доме, найдем мать, и если она разрешит, так разве я возражаю? А так нельзя!»

Ушел я от него убитый. Прямо убитый ушел. До вечера домой не показывался. Ну конечно, явился чернее тучи. Жена сразу поняла. Встревожилась. Прошел я к Толе в комнату. Сидит он за столом, тетради надписывает: «Ученик четвертого класса «Б» Анатолий Васютин». Чуть не сорвался я, чего-то к горлу такое подкатило, что и дышать стало нечем. А он спрашивает:

«Папа, когда в школу, завтра?»

«Завтра, говорю, а теперь пора спать».

Ну, когда он улегся, рассказал я все жене. Заплакала, конечно.

«Неужели поведешь его?»

Что ей ответить? Что сказать? Сам не поведу — придут. Так и сказал. Да, видно, громко...

Всю ночь мы не спали. Так, к утру, задремали немного. И то ли послышалось, то ли на самом деле стукнула дверь. Вскочил я, прошел в прихожую. Сразу увидал — нет Толькиного пальто. В комнату к нему. Никогда постель не заправлял, а тут заправлена. Ушел!

А через день получили мы письмо:

«Дорогие папа и мама!

С приветом к вам Галя. Папа, мы очень просим, забирайте нас к себе. Мама, мы будем слушаться. Мама, как здоровье Толи? Папа, я учусь на четверки, только одна тройка. Папа, мама, возьмите к себе...»

КАК ЖИВОЙ

— ...Никуда он не уезжал из деревни. А в деревне кто ж карточку сделает?

Она мне рассказывает, я слушаю и смотрю на портрет ее сына. Портрет висит в простенке, прикрытый, как

водой, зеленоватым стеклом. Рисунок сделан углем. Есть в нем то, что заставляет неотрывно глядеть на него, испытывая почему-то и чувство жалости к этому большеглазому парню и тревогу в каком-то недобром предчувствии за его жизнь.

— Сколько я испытала да перенесла из-за него, так и за ночь всего не перескажешь. Один он у меня был. На всю жизнь один.

Лоб у Анны Семеновны красный, словно ошпаренный, под глазами фиолетовые пятна, щеки в коричневых, твердых, как старые шрамы, морщинах, у стянутых в узелок темных губ белые пятачки. Видно, немало постаралась жизнь, чтоб так изукрасить ее лицо. Но в глазах извечная бабья доброта, и только стоит в памяти чуть коснуться хорошего, как теплеет взгляд и столько в нем еще чудом сохранившегося жизнелюбия.

— Родился Гришенька здоровущий, на загляденье. Три подбородка, и плакать не может. Басом тянет.— Здесь Анна Семеновна улыбнулась и посмотрела на меня с гордостью.— Окрестили мы его в церкви. Идем домой. С маманей я жила. Ни отца, ни братьев у меня не было. Померли от тифа. Потому и заступиться было некому. А навстречу вот он и сам. Маманя и потянула меня к нему.

«Взгляни, Василий Петрович, твое ведь дитя» — это мать сказала. А он нехорошо так ответил и пошел. «Ой, накажет тебя, Васька, бог за это»,—сказала ему маманя.

— Лихой он был, засмеялся,— и с горечью давней обиды и с непогасшим сквозь долгие годы восхищением перед тем, кого когда-то любила, сказала Анна Семеновна и вздохнула.

— Годика два было Грише, маманя умерла. И остались мы с ним вдвоем. Он да я. Я да он. У других ребята как ребята, у меня что ни день, то беда. Уж сколько он переболел, так одно мое сердце знает. И кровавый понос, и ветрянка, и глотошная. И чего-то с ним не было! А врачей в деревне нет. К бабке бегу. Жила такая у нас Аграфена Жукова — все травами лечила. Даст травок. Пою ими, а сама вся в огне от страха. Ночами не сплю. А ему уж и дышать нечем. И губушки пеплом подернуты. Упаду перед иконой: «Господи, спаси! Не допусти, господи!»

Выжил. Бегает. А лето жаркое. Скотина — и та под

куст прячется. Ребятенки днями на речке пропадают. И вдруг бежит соседский Колюшка: «Тетка Анна, Гришка твой утонул!» Омуток там был. Сразу с берега глыбь. Он и оступился. Кинулась в чем была. А и сама-то плаваю как топор... Нет, уж верно сказано, если на роду не написано утонуть, не утонешь. Ведь достала его. За руку ухватила — будто он сам мне ее протянул. Откачали его.

«Смертынька ты моя,— говорю ему,— да разве так можно?»

«А я, говорит, рака ловил...»

Она печально и мягко улыбнулась. Помолчала.

— Всякое с ним было, будто в наказание мне за его безотцовщину. А он весь капля в каплю в Василия. Грудь высокая и голову держит как на отлете. И все первым. Лихой, тоже в него. Никто, а он на самую макушку за грачиными яйцами залезает. Так-то глянула однова, и сердце обмерло. Почудилось — сорвался. Закричала, наземь грохнулась.

«Ты гляди, как другие»,— скажу ему. Где там, такой прыткай. Боялась я за него. Так ведь и то сказать — весь свет в моем окошке. Так вот мы и дожили с ним до войны. Школу уж кончил он. Ладный парень вытянулся. На тракториста захотел учиться. Да только предписание пришло. В армию взяли. Тогда уж ему девятнадцать было. Я в голос. А он рад-радешенек. И дожидаться не стал, чтоб остригли,— сам волосы снял. Была машинка у председателя. К нему сбегал... Не провожала его. Силы не было. Так на полу он и оставил меня...

Я потупился, чтоб не видеть ее слез, мелких, привычно покатившихся по желобам морщин.

— Пришло письмо от него. С Урала. В танковом училище он. Обрадовалась я,— думаю, хорошо, все подальше от войны. А больше писем от него и не было. Похоронная пришла. На Курской дуге его убили...

Получила я похоронную и как пустая сижу. «Пал смертью храбрых...» Да не может того быть,— думаю я,— да как же это, чтобы моего Гришеньку убили? И закричала я, зову его. И плачу, и уж не знаю, что со мной было. Хоть бы на тебя взглянуть разочек, милый ты мой... И все силюсь вспомнить его, каким был, когда при мне жил. И не могу. Ну словно смыло из памяти. Будто никогда и не видала его. И страшно мне стало. Ночь уже, а его все нет в моих глазах... Да как же, думаю, Гри-

шенька ты мой, да как же, думаю, родной ты мой, как же мне повидать-то тебя? Явись ты ну хоть на минуточку, посмотри на меня своими ясными глазыньками, пожалей ты меня, никому не нужную... Кричу я, мечусь и уж не помню себя. И не сказать, как тяжко мне было... Теперь-то уж поотошло, считай, больше двадцати лет минуло, а тогда, не приведи господь никому такое перенести... И уж не знаю, услыхал ли он меня, или уж так сердце у меня опалилось, но только встал он передо мной. Вот так вот, посреди кухонки, глядит на меня улыбается... И сколько так времени прошло — не знаю, но только нашла я себя за столом, уголь откуда-то в руке, вожу им по бумаге. А с бумаги на меня смотрит Гришенька. А я плачу... Всю-то бумагу слезами залила... Пришла наутро соседка. Как глянула на портрет, так и вскрикнула: «Как живой Гриша-то!»

Портрет висит в простенке, прикрытый зеленоватым, как вода, стеклом.

ЧТО С ВАМИ?

У меня дом уже был построен, когда появился этот человек. Лет пятидесяти семи. Был он не толст, но вял. И лицо у него было вялое. Обычно люди с такими лицами не способны к сопротивлению. И никакой роли тут не играют ни нос, ни рот, ни уши. И все это чепуха, когда говорят: если губы тонкие, то это признак ехидства, если толстые — добродушия. Лицо было плоское. Вялое было лицо.

Ему захотелось построить свой дом рядом с моим только потому, что я тоже горожанин. В другом бы месте он чувствовал себя одиноко. Поэтому он и решил свой дом поставить рядом с моим.

Лучшего соседа, как показала жизнь, не могло и быть. Очень вежливый, очень мягкий, совершенно ненавязчивый человек. Каждый выходной проводил он на своем участке. Закладывал молодой сад. Ну, тот, кто знает, что такое молодой сад, поймет, сколько надо вложить труда, чтобы саженцы яблонь, слив, груш хорошо принялись. Особенно у нас, на севере, когда морозы жмут на сорок, да еще ветры. Клены не выдерживают.

И весной не легче, особенно в мае. Нет дождей. И ве-

тер день и ночь дует с юга. Для дачников славная пора. Но жители поселка, как и земля, изнемогают без дождя.

— Николаевна!— зовущим голосом, в котором были и уважение, и забота, и жалость, говорил он моей жене.— Отдохни... Успеется...

А сам таскал воду— по сорок ведер. С озера. Правда, оно было близко. Но все же сорок ведер. Потом он приобрел электронасос. Иногда протягивал шланг через забор.

— Николаевна, возьми,— предлагал он зовущим голосом.

До пенсии ему оставалось два года. Хотелось, чтобы к этому времени был большой сад. И он развел его. Пятнадцать яблонь зацвели раньше моих.

Осенью он принес моей внучке яблоки. Крупные, красивые яблоки.

— Осеннее полосатое,— сказал он и стеснительно улыбнулся, будто извиняясь, что у него появились яблоки раньше, чем у нас.

Хорошие были яблоки! Правда, жестковаты немного. Но мы и виду не показали, что они жестковаты. Он был очень доволен. Больше моей внучки. Он глядел, как она ест, и говорил о воспитании детей.

— Наказывать, делать ребенку больно нельзя!— говорил он.

А я видел, как однажды он трепал за ухо своего внука. Конечно, он меня не заметил, иначе бы не стал проповедовать то, во что сам не верил. Внук извивался. И молчал, потому что в их семье всегда было тихо. Не услышишь ни громкого смеха, ни веселых криков. Тихая была семья. Незаметная.

Он любил ловить рыбу. Случалось, выезжал без подсачка. Как нарочно, в этот день брал крупный лещ. И он не мог его вытащить. И лещ уходил. Но сосед никогда не огорчался. Может, внутри у него кипела досада, но по виду никак нельзя было подумать, чтобы он огорчался. Мне это было непонятно. Я всегда ругался, если уходила большая рыба. Я не понимал его.

Он был очень вежлив, даже излишне. Своей вежливостью Степанов напоминал моего дядю-кузнеца. В пьяном виде дядя обращался к собаке на вы. «Что вы на меня лаете?»— вежливо спрашивал он наседавшую на него дворнягу.

Степанов был вежлив до приторности. Проходил месяц за месяцем, менялась жизнь, а он все так же при встрече со мной, или моей женой, или дочкой подымал руку, еще издали завидя нас, приветливо качал ею и своим зовущим, заботливо-жалостным голосом произносил: «Здравствуйте... здравствуйте...» Без восклицательного знака. И на его плоском лице лежала вялая вежливая улыбка.

У него был очень трудный путь в науку. Русак, выходец из деревни, он никогда бы не стал ученым, если бы не Советская власть. И все равно у него был очень трудный путь в науку. «Только из снисхождения к его труду и упорству, да еще вежливости, которая переродилась в постоянное согласие со всеми и со всем,— как мне сказал Николай Хохлов, более упорный и более пробивной, но не более способный, чем Степанов,— Степанову дали просто так, из снисходительного сочувствия, степень кандидата наук. Философских наук».

— Что с вами?— однажды спросил я его.

Между нами был забор из штакетника. Половину строил я, половину — Степанов. «Так правильнее,— говорил он мне.— Надо всегда строить, не залезая в душу и в карман другому, иначе могут испортиться отношения». У нас отношения не портились.

— Что с вами?— спросил я потому, что был он какой-то грустный. Какой-то даже не грустный, а уменьшенный. Будто его придавили к земле, будто ему положили на голову — у него была голова лысая — тяжелую руку и придавили его книзу. К земле.

— Что с вами?

К этому времени мы с ним были уже откровенны.

— Что с вами?

Я очень жалею, что в тот час, когда он мне ответил, у меня не нашлось нужных слов, чтобы его успокоить. Впрочем, у меня и сейчас их нет, хотя уже прошло три года, как он умер. Да если бы они и были, то все равно не помогли бы. Это зависело не от меня. И не от него. Это был результат прожитой жизни. Тут уже не поправишь. Это он прекрасно понимал.

— Что с вами?

— Я учил тысячи студентов. Тысячи! Десятки тысяч... А теперь преподают по другим учебникам... А я уже на пенсии...

Нет, тут никаких слов все равно не нашлось бы для утешения.

Его жена — сухонькая, подвижная женщина. В прошлом была учительницей. Сейчас на пенсии. Все, что делается в стране, все, считает она, делается правильно. И поэтому всегда бодрая. Она очень активна. Не может жить без общественной работы. В этот день она уехала в библиотеку. Бесплатно работать. На общественных началах. Она уехала утром. Часов за пять до того, как с ее мужем случился инфаркт. До сих пор она не знает причины инфаркта. Я бы мог ей сказать, но что это даст? Да и вряд ли она мне поверит. Больше того — вряд ли поймет!

Он шел с рыбалки к своему дому. По тропе. Метров сорок ему нужно было пройти — с веслами, с удочками. Его видела Круглова, когда он шел с веслами и удочками. Она спускалась к озеру за водой.

— Здравствуйте... — заботливо-жалостным голосом сказал он ей.

После этого его никто не видел, но можно было представить, как он, неожиданно выронив весла и удочки, согнулся. Прижал руки к груди. Так, со сложенными на груди руками, стоял несколько минут. Потом пошел. Медленно пошел дальше, к дому. Не отпуская от груди рук, будто нес сердце в ладонях.

Упал.

Долго лежал на тропе. В саду. Рядом никого не было. Были яблони. Они цвели. Хотя наступал уже вечер, пчелы еще гудели. Брали весенний взяток.

Когда жена нашла его, он смотрел вверх. Но тогда была уже ночь...

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

В этом большом городе, где было громадное количество тяжелых многоэтажных домов, где в величественном спокойствии давным-давно замерли великолепные соборы, где всечасно, даже по большим праздникам, дымились заводские и фабричные трубы, где были широкие проспекты, где единым прыжком мосты охватывали берега многих рек, где сверкали на ветру глянцевитой листвой парки и сады и громыхали, грохали, визжали, тарахте-

ли, гудели то с нарастающим, то с затихающим лязгом трамваи, автобусы, троллейбусы и всякого рода грузовые и легковые машины, где по улицам, проспектам, переулкам сновали миллионы людей разных профессий, мастерства и учености, разного возраста, разного положения, разных судеб,— в этом городе был единственный дом, куда ежедневно, а особенно по воскресным дням, устремлялись самые счастливые, самые влюбленные...

Назывался этот дом — Дворец бракосочетания.

Самарины — семья жениха — прибыли сюда раньше семьи невесты, и это дало матери возможность немного отойти от замешательства и волнения, которыми она была скована всю ночь и все утро. Она мало обращала внимания на убранство, освещение, торжественный порядок и чистоту Дворца, ее взгляд был устремлен только на своих детей и мужа. Особенно на мужа. Она все боялась, как бы он не исчез, но похоже было, что он никуда не собирался отлучаться. Он стоял у вешалки, курил и, снисходительно улыбаясь, что-то рассказывал гардеробщику, толстому, гладко выбритому старику.

Она знала обычную манеру мужа привирать, хвастать несуществующими знакомствами с генералами, но выдавать это с такой убежденностью, что человек начинал невольно верить. Конечно, у него были встречи и с генералами, потому что отслужил он в армии около пятнадцати лет и видал их на парадах, видал во время войны, но вряд ли бывало так, что они знали его, советовались с ним, просили что-то сделать такое, чего другой никто не мог бы сделать.

Кашляя, глубоко, жадно затягиваясь, будто век не курил, он говорил только сам, не давая и слова вставить гардеробщику, хотя тот вряд ли и стремился к этому и слушал только потому, что ему некуда было деваться. На муже был надет хорошо отутюженный костюм старшего сына, и хотя Андрей, как и подобает всем молодым людям, был строен, костюм на муже морщился и казался мятым из-за худобы, сутулости, ввалившейся груди.

Оглядев мужа и уверившись в том, что он пока никуда не собирается исчезнуть, она перевела взгляд на старшего сына. Андрей, хотя и старался казаться спокойным, все же нервничал и то и дело поглядывал на входную, окованную медью дверь, каждую секунду ожидая прибытия невесты и ее родни. Видя сына, такого отчуж-

денного сейчас от нее, занятого только своим интересом, она нисколько не испытывала горечи от этого, понимая, что ему и верно не до нее. И если что ее заботило в нем, так это как он выглядел. А выглядел он, на ее взгляд, отлично! На нем был новый костюм. И так-то стройный, он был сейчас похож на тех молодых людей, которых рисуют в журналах «Моды». Высокий, узкий в талии, длинноногий,— как он напоминал отца, нет, не теперешнего, а того, с которым познакомилась, когда он, белозубый лейтенант, танцевал с ней, улыбался ей... Как он напоминал отца!

Открылась дверь, с улицы потянуло теплом — это вошла группа людей и остановилась, не зная, что делать, и тут же вся, дружно, устремилась к гардеробу. Женщины, суматошась, окружили невесту, помогли ей снять плащ, легкую косынку, такую, чтоб не помялась прическа, и отошли, окинули ее всю взглядом, ее венчальное платье, белое, воздушное, ставящее ее сразу в иной мир, в ее прекрасный мир, от которого пожилым людям всегда становится немного грустно, ее снежную фату, ее прическу, туфли. А она стояла смущенная, не зная, куда смотреть, что делать с оголенными до локтей руками.

Нет, это была еще не та, которую ждал Андрей! Он только мельком посмотрел на нее и тут же закурил и попрежнему неотрывно, упорно стал глядеть на дверь.

Мать хотела было подойти к нему, сказать, чтобы он не волновался — приедут,— но не решалась, зная резкий его характер. Нет, нет, он не виноват в таком характере. Уж очень тяжелое время выпало на его детство, да когда и подрос, тоже не было сладко. Война. Это разве детство? Блокадный город. Это разве детство? А после войны, где оно было, детство? Это теперь они живут в четырехкомнатной квартире, а тогда жили в тесной комнате впятером. И рядом с их комнатой и по другую сторону комнаты было еще тридцать комнат, и в каждой семья, и на всех один длинный, как труба, коридор и одна кухня — старый дом «Резиновой мануфактуры». Каждый день у кого веселье, а у кого ругань, у кого горе, а у кого радость. Там прошли детство и юность ее старшего сына. Малыши всегда путались под ногами, всегда чего-то просили, плакали, а ему надо было делать уроки, в этом гаме, в сутолоке, в этой прокуренной комнате, где на полу валялся пьяный отец. И она ничем не могла

помочь, потому что работала на заводе. Прибегала домой, и только одна забота: накормить, обстирать, прибрать, уложить спать и отобрать остатки денег у мужа, чтобы не пропил все до конца. А он пил... Он начал пить вскоре как кончилась война. Инженер авиации. Майор. В то время многих демобилизовывали,— давали офицерам большое выходное пособие, хорошую пенсию, гектар земли, чтобы построить дом. И он соблазнился. Но его не отпускали, хотели куда-то послать. Он отказался. И вышел в отставку. Он был уверен, что ему хватит отслуженных лет в армии для пенсии, но просчитался, не учел, что на Севере один год за два, а не за три, как на войне. И ничего ему не дали: ни пособия, ни пенсии, ни земли. И тогда он стал пить... Да, тяжелое досталось детство старшему сыну. И все же выстоял. Теперь студент, и работает, и учится, только уж очень раздражительный. Леонид спокойнее...

Он стоял, привалясь к косяку двери, в несколько небрежной позе, и равнодушно, даже чуть презрительно посматривал на всех. Глупый еще. Впервые надел взрослый костюм и показывает свою независимость. Большой, а не понимает, как тяжело живется. «Андрюшке купила, а мне нет».— «Так ведь Андрюша жених».— «Ну и что?» Ох, уж это «ну и что?»... Ладно хоть младший покладистый. Она улыбнулась, глядя на Игоря. Стоит, скучает...

И только теперь оглядела себя. Что ж, тоже неплохо. Конечно, не новое все, но ничего. Платье приличное, правда перешитое из сестриного, но ничего... хорошее платье. На ногах туфли на микропористой, за шесть рублей. Новые, так что и не стыдно. И она вышла из тени на свет лестничной площадки. В ее руке были три белые розы.

Странно было видеть эти цветы в ее маленькой руке с тяжелыми узлами на суставах пальцев. Было похоже, будто она продает их. Она поднесла цветы к лицу. Медленно, с наслаждением вдохнула их запах. Закрыла глаза. А когда открыла, увидала старшего и невесту. Они шли к ней. Она растерянно улыбнулась и, боясь что-то упустить и от этого не зная, что сказать, как вести себя, побежала впереди их, указывая ту комнату, где надо было быть невесте, совсем позабыв про то, что надо бы розы отдать.

Андрей задержал ее у дверей и сказал, чтобы она от-

дала розы. И она отдала. Поцеловала невесту. И уже в комнате невест села рядом с ее матерью, уже близким человеком, но все еще малознакомым,— всего только и встречались два раза. И поэтому ей ничего не приходило в голову, что бы сказать, а сказать надо было.

У невесты на коленях лежали букеты, и в целлофане и просто так. Были там и три белые розы. Какая-то женщина, конечно, родственница невесты стала раздавать цветы. И розы отдала кому-то.

— Вы меня извините,— сказала мать Андрея,— но, пожалуйста, мне одну розочку дайте.— И крепко и бережно ухватила за стебелек одну розу, когда ей дали ее. И тут все, торопясь, пошли к выходу.

На площадке, у широкой мраморной лестницы, стояли Леонид и Игорь. «А где же отец?» — встревоженно подумала мать. И увидала его. Он стоял у мусорницы. Курил. И она подошла к нему, потому что как-то получилось, что осталась одна. Да и он стоял один. И ей стало жалко его.

— Ну, пошли,— сказал он и, плюнув на окурок, бросил его и взял ее под руку. И они стали подниматься вслед за всеми по мраморной лестнице и вошли в светлый зал.

Солнце, голубое небо, яркий свет свободно вливались в большие, высокие окна, и от этого создавалось такое ощущение, будто стен нет, а есть только простор, которому нет конца.

Они встали у дверей, но к ним подошла какая-то женщина, видимо, распорядительница, и провела к стульям. Они сели. Теперь ей хорошо было видно сына. И Катеньку хорошо было видно. Стояли, чуть склонив голову, держа друг друга за руку. Наступила тишина. И в ней раздался голос. И тут же, только тихо-тихо, откуда-то донеслась музыка, нежная, как дыхание весеннего ветра, чистая, прозрачная. И мать уже не смогла слушать, что́ там говорили. Не мысли, а чувства, обостренные невзгодами, тяжелой жизнью, грубостью, вечными заботами, вдруг, толпясь, нахлынули на нее, ударили, сжали сердце, и стало трудно дышать. И вспомнилось все, что давным-давно миновало. Но было! Было ведь все это! Ну не так— без Дворца,— но было. И столько же света было вокруг, и счастья, и радости, и веры...

Музыка стала громче, торжественней, и уже послышалось пение птиц, и как будто уже рассвет наступил, и

во всем этом было что-то очень знакомое, но неуловимое, но такое близкое только ей одной, и тут до нее донеслись слова:

«Будьте счастливы!»

Будьте счастливы! Боже мой, будьте счастливы!

Она уже не могла сдержать слезы. Они душили ее. Она всхлипнула и, не думая, что делает, а только видя сына и невесту в радужном венце своих слез, встала и пошла к ним и протянула розу.

— Будьте счастливы! — сказала она.

И тут все окружили их, и стали поздравлять, и оттеснили ее. И музыка заиграла уже свободно, радостно, легко и мужественно. Под эту музыку можно было идти на праздник и в бой, сражаться и побеждать, любить и быть любимым, и чувствовать себя сильным, и знать, что ты окружен счастьем.

И весь день — и на свадьбе и дома — эта музыка не покидала ее.

ВРЕМЕНА ЖИЗНИ

Каждое утро, когда я просыпаюсь и подымаю сделанную из деревянных полосок желтую штору, всякий раз вижу ее. Высокая, стройная, она всегда перед моим окном. В осенних ночах ее не видно, она сливается с древней темнотой, и если верить в необычное, то можно подумать, что она куда-то уходит, потому что ее не видно. Но с наступлением первых минут рассвета, когда все дневное еще спит и только еле уловимо слышится дыхание утра, она уже на своем месте.

Я гляжу на нее, и странные мысли приходят мне в голову. У нее, конечно же, должна быть своя жизнь. И кто знает, будь я наделен всеми совершенными органами для познания природы, передо мной, наверное, открылся бы удивительный мир, с особыми, непонятными человеку большими и малыми чувствами, которые присущи всему живому. Но у меня только пять чувств, да и те с веками человечества стали несовершенны.

А она живая! Она растет, и с каждым годом все выше, и теперь уже мне надо пригибать голову, чтобы увидеть в окно ее легкую, как дыхание, прозрачную верхушку. А еще лет десять назад она умещалась в полрамы.

ВЕСНОЙ

Ее ветви еле-еле отходили от долгих морозов. Они еще были жесткие, хрупкие, как перекаленный металл. И ветер сквозил в них со звоном. И еще не было птиц, чтобы им вить гнезда в ее густой кроне. Но она оживала. Об этом я узнал однажды утром.

К ней подошел сосед. Он пробуравил в ее стволе длинным буром глубокую дыру. Вбил в кору желобок из нержавеющей стали, так, чтобы из его дыры капал сок. И сок закапал. Светлый, как слезы, и чистый, как смерть.

— Это же не ваша береза,— сказал я соседу.

— Но и не ваша,— ответил он мне.

Да, она стояла за моим забором. Она была не моя. И не его Была общая или, точнее, ничья, и поэтому он мог ее губить, а я не мог ему запретить.

Он перелил из банки в стаканчик светлую кровь березы и маленькими глотками выпил ее.

— Мне сок нужен,— сказал он.— В нем глюкоза.

Он пошел к себе, оставив у березы трехлитровую банку, чтобы в ней собиралась глюкоза. Капли быстро, одна за одной, падали, как из водопроводного крана, когда он неплотно прикрыт. Сколько же он пробил капилляров, если так обильно льет сок?.. Может, она стонала? Может, боялась за свою жизнь? Я ничего этого не знал. Не знал потому, что у меня не было ни шестого, ни седьмого, ни сотого, ни тысячного чувства. Я мог ее только жалеть...

Но через неделю рану затянуло коричневым. Это она сама себя вылечила. И как раз в это время у нее стали набухать почки. И полезли из них зеленые язычки. Тысячи. Из каждой почки вылез язычок. Я глядел на этот зеленоватый туман и радовался. Она была мне нужна, эта береза. Я привык к ней. Привык к тому, что она всегда стояла перед моим окном, и в этом верном постоянстве или в привычке было то, что помогало мне находить хорошее настроение. Да, она была нужна мне, хотя я-то ей был совершенно не нужен. Она прекрасно обходилась без меня, как и без любого подобного мне.

ЛЕТОМ

Она защищает меня. Мой дом стоит метрах в ста от дороги. По дороге идут машины: грузовые, легковые, автобусы, бульдозеры, самосвалы, тракторы. Их сотни. Ту-

да, сюда. И пыль. Какая пыль стоит над дорогой! Летит к моему дому, и если бы не она, не береза, сколько бы ее врывалось в окна, оседало бы на столе, на постели, в легких. Всю эту пыль она берет на себя.

Летом у нее отличная зелень. Она кипит при малейшем дуновении ветра. Густа, непроницаема. Даже солнце не может пробиться в окна. Но летом оно в комнате и не нужно. Куда лучше прохладная тенева. Зато береза вся в солнце, и листва у нее от этого яркая, сочная, и ветви растут, наливаются силой и становятся прочными.

В июне не выпало ни дождины, даже травы начали желтеть. Но она, видно, впрок запасла для себя влаги и нисколько не пострадала от засухи. Ее листва была все такой же упругой и глянцевитой, только повыросла, и края у листьев стали округлые, а не зубчиками, как это было весной.

А потом налетела гроза. Она весь день кружила возле моего дома, все мрачнела, глухо — где-то внутри себя — погромыхивала и к вечеру разразилась. Было время белых ночей. Сначала ветер словно попробовал ее — как она, крепка? Устойчива? В ответ она затрепетала листвой, не то чтобы боясь, но как бы волнуясь в предчувствии беды. И тогда ветер взвыл и налетел, как разъяренный бык, и ударил ее в ствол. И тут она пошатнулась, и всю листву, что была на ней, откинула по ветру, чтобы ей легче было выстоять. И ветви, как сотни зеленых ручьев, потекли от нее. Сверкнула молния, грянул гром. И ветер стих. И пошел крупный, тяжелый дождь. И тогда береза все свои ветви опустила вдоль ствола, и с них, как с опущенных рук, потекли ручьи на землю. Она знала, как ей себя вести, чтобы выстоять, сохранить жизнь.

В конце июля она осыпала всю землю вокруг себя маленькими желтыми самолетиками. И с ветром и без ветра она выпускала их во все стороны, чтобы только подальше от себя. Чтобы не помешала ее могучая крона набирать побольше необходимого им солнца и дождя. Чтобы она не помешала им стать сильными. Да, у нее, не как у нас, свои законы. Она не держит своих детей около себя, поэтому и не вырождается.

Много в том году появилось березовых всходов: на полях, в лугах, в ложбинах. И только не было на дороге.

Если есть что самое несчастное у земли, так это дороги. На них ничего не растет. И никогда ничего не вырастет. Где идут дороги, там голая земля.

ОСЕНЬЮ

Солнце обходит мой дом. Обходит и ее. И сразу стала желтеть листва. И все больше, больше, словно заклиная его вернуться. А его нет и нет. Сизые облака, как тревожный, напоминающий войну дым, наступают по всему небу. Идут вал за валом, затягивают все. Идут низко, чуть ли не касаясь телевизионных антенн. И пошли дожди. Они слабо шелестели, скатываясь с ветки на ветку.

И день и ночь лили дожди, и все стало мокрым, и земля перестала впитывать воду, может потому, что всему растущему влага уже не была нужна.

Я проснулся ночью. Как было темно в комнате! Как тихо!.. Только шорох падающих с ветвей капель. Печальный шорох погибающего и вечно живущего дождя. Я встал, закурил и открыл окно, и увидел ее, еле различимую в черном полумраке осени. Она стояла неприкрытая, отданная ненастью. А наутро ударил заморозок. Потом еще были заморозки, и вокруг березы золотым кольцом улеглась листва. И все это было во мгле. Но когда деревья оголились, выглянуло солнце, и какой грустью повеяло отовсюду, а особенно от нее. Ведь совсем недавно была буйная кипень зелени, все сверкало, лоснилось, цвело. Все было так прекрасно и жизнерадостно, и вдруг исчезло. И исчезло надолго. Будут идти моросящие дожди, будет чернеть гниющая листва, будут зябко стучать на ветру окостеневшие ветви деревьев, будут стыть лужи. Улетят птицы. И потянутся длинные глухие ночи. Зимой они будут еще длиннее. Завоют метели. Ударят морозы...

ЗИМОЙ

Я уехал. Я не мог оставаться в этом тоскливом отмирании того, что еще совсем недавно радовало, вселяло уверенность в жизни. Летел самолетом. Из Симферополя

ехал на такси, удивленно-радостно оглядывал старую зелень теплого юга. Негромко засмеялся, увидев Черное море.

Большая теплая вода. Я зарывался в нее. Уходил лицом ко дну, к ее зеленым камням. Пил сухое вино. Ел виноград. Изнемогал на горячем песке. И глядел на море. На чаек, на вечно голодных чаек, орущих из-за куска хлеба. И снова уходил в теплую воду, взлезал на волну, и скатывался с нее, и снова взлезал. Пил сухое вино. Ел шашлык. Зарывался в горячий песок. И рядом со мной были такие же, как я, сбежавшие со своих мест в эту благодать. Смеялись, шутили, искали на берегу разноцветные камешки и старались не думать о том, что было дома. Так было легче и проще. Но от дома, как от самого себя, никуда не уйдешь.

И я приехал домой.

Все было в снегу. И она стояла в сугробе. Пока меня не было, ликовали дерущие морозы. И разодрали ей ствол. Не очень сильно, но белая мякоть, запорошенная снегом, лезла мне в глаза. Я прикоснулся к ее стволу. Кора на нем была сухой, грубой. Это была рабочая кора, не то что там, на юге, у какой-нибудь «бесстыдницы». Тут все было для борьбы с ненастьем, вьюгами, ветрами. И, как всегда, при встрече с ней в голову мне полезли странные мысли. Я стал думать о том, что вот она не ушла со своего места, не покинула эту суровую землю, на которой выросла сама и растут ее дети. Не ушла, а только крепче затаила свои почки, сжала их, чтобы сохранить от морозов и весной взорвать листьями, а потом вырастить семена и отдать их земле, чтобы жизнь была вечной и прекрасной. Да, у нее свои обязанности, и выполняет она их стойко и честно. Как и всегда надо выполнять то, что необходимо для жизни.

Подул северный ветер. И ветви, как кости, сухо защелкали одна о другую. Северный никогда не бывает кратковременным. На неделю, на две разыгрывается он. И тогда берегись все живое, да к тому же если еще мороз. Хорошо, что мой дом хоть в какой-то мере защищает ее. И все равно холодно. И это холодно будет долго. Так долго, что многие слабые не доживут до весны. Но она дождется. Она выстоит и еще не один год постоит перед моим окном...

ЗА ВТОРОЙ СКОБКОЙ

Мне бы с самого начала отказаться: нет, нет, мол, я один езжу, не люблю, когда мне мешают,— и все было бы как надо. Так нет, обязательно нужно быть добреньким. Старею, что ли... «Геник не видал Ладоги... Геник очень хочет...» А он тут же стоит и молчит, похожий на фавна, с толстыми, яркими губами, не по возрасту упитанный, с нечесаной бородой, в заграничных кедах и в кожаной куртке на «молнии». И поглядывает на меня, и в глазах снисходительная ухмылка. Тут бы отказаться, да куда там! «Хорошо, хорошо! Давайте!» И стал расхваливать Ладогу, будто она нуждается в рекомендациях.

Удочек, конечно, у них не оказалось. «Ничего, ничего, я сделаю, все приготовлю, и термос возьму. А как же? Хорошо попить горячего чайку в лодке». И только потом, когда они ушли, спохватился: червей надо копать. Вот и заставить бы их копать червей. Так нет, сам больше часа внаклонку перекапывал огород. А потом весь вечер готовил им снасти. И в пять утра уже был на ногах, затопил плиту, приготовил для термоса чай, уложил в рюкзак кастрюлю, миски, ложки — уху-то будем варить,— хлеб, сахар, несколько картофелин, соль, перец, ну а кроме того, плащ, сумки для рыбы, полотенце, мыло. Еле застегнул рюкзак. «Ну ничего, думаю, Геник поможет».

Мы условились встретиться ровно в шесть на остановке. Автобус приходит в пять минут седьмого. В шесть их не было. В пять минут седьмого пришел автобус. И только тут они показались на шоссе, метрах в ста от меня. Если бы я был на их месте, то припустил бы бегом, закричал, чтоб задержать машину. Но они и не думали торопиться. Фавн шел так, будто прогуливался. Он даже не ускорил шага, когда я замахал руками, стал звать.

— Еще минутку, ну пожалуйста.— Это я упрашиваю кондукторшу.

— Чего же они не торопятся?— Это кондукторша спрашивает.

— У него нога болит.— Это я вру.

Лиля несет сумку. Фавн идет рядом с ней и что-то говорит.

— Эгей! Эгей! — Это я закричал им.— Давайте, давайте!

Лиля побежала с сумкой, а он так и дошел не торопясь.

— Да давайте же! — Это я крикнул.

Но он на меня и внимания не обратил, будто и не знает.

— Ты у окна сядешь? — Это Лиля его спросила и тут же уступила ему место у окна, потому что он лез туда.

За всю дорогу он ни разу не посмотрел на меня. Лиля что-то говорила ему, смеялась, а он смотрел в окно и, похоже было, не слушал. «Какой чванливый»,— подумал я и тут в первый раз пожалел, что связался с ними. Я уже чувствовал — доброй рыбалке не бывать.

Но автобус катил. За окном было солнечно. День обещал быть ясным, безветренным. И я стал постепенно набираться хорошего настроения. А тут еще показалась Вуокса, рыбаки на берегах, и я повеселел.

Немного омрачилось настроение в Пятиречье, когда мы вылезли из автобуса. Я думал, парень прихватит рюкзак, но он разглядывал поселок, и я, прождав с минуту, взвалил рюкзак на спину и пошел.

Я люблю этот путь от Пятиречья до берега Ладоги. Дорога сначала идет полем, потом круто поворачивает и устремляется напрямую к побережью. Она и тут идет полем, мимо остатков фундамента бывших финских домов с одинокими кривыми одичавшими яблонями; затем пересекает высыхающий летом ручей и неторопливо входит в тенистую прохладу леса. Когда идешь полем, то становится радостно оглядывать его простор, видеть недалеко открытое небо и с этим ощущением доходить до развалин. Тут уже четверть пути за спиной. Я всегда немного задерживаюсь в этом месте, думаю о том человеке, который здесь жил, выходил по утрам из дому, смотрел на небо и приступал к работе. Это был, наверно, хуторянин со своей семьей, своим полем. Война сорвала его с этих мест, разрушила дом, хозяйство, и вот теперь только руины. И одичавшие старые яблони.

У ручья — половина пути. Весной в низинке вода, и, чтобы перейти на ту сторону, приходится прыгать с камня на камень, но сейчас сухо. Итак, позади половина пути.

— Мы уже прошли полдороги,— оборачиваясь, говорю я.

Лиля несет сумку. Геник удочки. Они связаны в двух местах шнуром, чтобы не рассыпались. Лиле нести нелегко — лицо раскраснелось, и рот полуоткрыт, как у птицы в жару.

— Дайте вашу сумку,— говорю я.

— Нет, нет, вам и так тяжело...

— Что вы, мне одно удовольствие тащить рюкзак. Давайте сумку.

По наивности я думал, что ее муж догадается взять у нее сумку, но он занялся шмелем, стал сгонять его с ромашки. Все же сумку она не отдала, и мы пошли дальше.

Теперь дорога шла лесом. Стало прохладнее, но я уже успел разгорячиться, пока шел полем, и пот вовсю течет по лицу. Можно бы отдохнуть, но мне жаль минут, потраченных на бездействие. Они так пригодятся на Ладоге. По песку идти тяжело, но теперь уже недалеко. Вон виднеется отворот вправо, а там всего метров двести — и «кордон». Когда-то здесь была граница, после войны она отодвинулась, и теперь здесь рыбацкая база, но название в народе осталось старое.

Жена егеря подмигнула мне, когда увидала нас. Ее удивила косматая борода на толстом лице Геника. Я вяло махнул рукой, чтобы она не обращала внимания. Мало ли кому что взбредет в голову, хотя мне-то стало немного неловко за такого спутничка. Ведь она подумает, что он мой приятель, хороший знакомый. А как же еще она может подумать?

Мы получили от нее весла, спасательный круг, якоря и пошли к причалу. Мы — это я и Лиля. Геник остался у рюкзака и сумки. Когда мы проходили мимо него, он взял у жены весла и понес их к лодке, оставив на земле рюкзак и сумку. Он все делал как будто нарочно, чтобы разозлить меня. А может, и нет. Кто его знает? Как можно спокойнее я сказал ему, когда мы подошли к мосткам:

— Несите сюда рюкзак и сумку.

— И рюкзак?— спросил он.

— Да. В нем ложка, которой вы будете есть уху.

Я спрыгнул в лодку и стал раскладывать вещи по своим местам. Лиля мне подавала с мостков. Подала и сумку. Рюкзака еще не было. Я посмотрел. Фавн тащил его волоком по мосткам.

— Вам что, не поднять его?— крикнул я, боясь, как бы не оборвался заплечный ремень.

— А зачем поднимать, если можно и так?— ответил он, продолжая тащить.

«Ну, леший с ним, не надо волноваться»,— сказал я сам себе и положил рюкзак в корму. Велел Лиле пройти туда, фавна усадил на нос и стал отталкиваться веслом, выводя лодку из канала. Тут было мелко, и надо было знать, как ее выводить.

По Ладоге сквозил слабенький ветерок, который неизвестно где возникает и неизвестно где гаснет. Вода от него не тревожилась, и тростники отражались в ней так же четко, как выделялись на фоне блеклого, уже не утреннего, но еще и не дневного неба. Плыть надо было километра два, до бухты,— там можно при желании пристать к берегу, набрать сушняку — он там всегда есть — и развести костер. Но это позднее, если будет улов. Мне опять стало спокойно и хорошо.

— Гребите,— сказал я Генику.

Теперь уже можно было и ему грести — началась глубина. Он пересел на мое место. Я сел на корму, пропустив Лилю на нос. Мне с кормы было удобнее наблюдать, как лучше плыть.

Ох уж этот Геник! Будто не мог раньше покурить, нет, вот именно теперь, протянув ноги, так что его кеды чуть ли не уперлись в мои ботинки, неторопливо достал пачку сигарет, вынул одну, раскурил и только после этого взялся за весла и начал слабо водить ими по воде. И каждый раз, затягиваясь, переставал грести, и лодка чуть ли не останавливалась.

— Ты не устал?— спросила его Лиля.

Я думал, она подсмеивается над ним,— ничуть, она спрашивала озабоченно.

Фавн неопределенно пожал плечами.

— Покури, а я пока погребу,— сказала Лиля.

Он оставил весла, перебрался на ее место и отвалился, подставив лицо небу.

«Черт с ними, пускай гребет, если такая дуреха»,— подумал я и сказал, чтобы она выровняла лодку левым веслом, не то залезем в тростники.

Она старательно пополоскала левым и, когда я сказал «хватит», стала грести обоими.

«Пускай гребет,— подумал я, хотя мне стало неловко оттого, что в лодке два мужика, а везет их женщина,— ну, пускай погребет немного, потом я сменю ее». Фавн снял

свою куртку с «молнией» и стал загорать, положив голову на спасательный круг. У него была пухлая, розовато-белая волосатая грудь. Я не стал смотреть на него. Лиля, выставив острые коленки, натруженно изгибалась взад и вперед, гребя тонкими руками. На лице ее было старательное выражение. Я видел, она очень хотела, чтобы я был доволен.

— Давайте я погребу,— сказал я ей.

— Нет, нет, что вы, я не устала!— даже испуганно ответила Лиля. Она, наверно, боялась, как бы я опять не посадил за весла ее муженька.

— Надо поскорей на место встать, а так мы протянемся с час, не меньше,— сказал я.

— Я плохо гребу?

Но я уже шел к ней. Мне еще и потому хотелось сесть за весла, чтобы не видеть пухло-розовой груди фавна... Теперь была у меня перед глазами Лиля, маленькая, с тонкой шеей, крупным, оттянутым книзу лицом, с жиденькими волосами. Что-то было жалкое в ней... Она глядела поверх моей головы на мужа и улыбалась ему.

Неожиданно слева от лодки, у тростника, заплескалась вода — окуни гоняют малька! Они били сильно, яростно то там, то там, и вода прямо кипела.

— Здесь остановимся,— сказал я и торопливо опустил якорь с кормы.— Опускайте свой!— крикнул я.

Раздался сильный всплеск. Это фавн выбросил якорь.

— Можно бы и тише,— сказал я.— Шуметь не рекомендуется.— Но это я уже так, про себя бормотал, охваченный тем нетерпением, которое всегда предшествует приближающемуся азарту... «Все правильно — малек в нагретой воде, тут и ловить надо. Окуни еще придут, только надо подождать. А то, что они сейчас отошли... испугались шума, это ничего... ничего... ничего...» Это я приговаривал, а сам, уже собрав удилище, глядел, куда бы лучше забросить мормышку с насадкой. И забросил и стал ждать. И только когда поплавок успокоился, поглядел на своих спутников. Фавн по-прежнему лежал бородой вверх. Лиля копалась в своей сумке.

— Чего вы не готовите удочки?— спросил я, забрасывая донку.

— Геник хочет есть,— ответила Лиля. — Вы будете?

Я не ответил. Глядел на поплавок: вроде бы его кач-

нуло? Да, вот еще раз, и он тут же, поплясав, ушел под воду. «Окуневич. Вот я и обрыбился!» И, поправив червя, снова закинул. Попался еще окунь, покрупнее. Я достал садок, привязал веревку к уключине и опустил туда рыбу. Теперь уже я успокоился и находился в том бодром состоянии, когда появляется уверенность, что без рыбы не будешь. И верно, еще клюнуло. На этот раз плотвица. И ее в садок!

— Геник, смотри, сколько уже рыбы!

Ага, восхищаются! Что ж, я был рад и не утерпел, взглянул. Фавн держал на ладони банку с консервами, его губы лоснились от жира,— ему было не до рыбалки. Он был занят едой. Борода его была в томатном соку.

Опять заплескало у тростника. Я подбросил туда мормышку, и на жилке заходил окунь. Он здорово потянул удилище книзу, пришлось взять подсачок.

— Вот это да! — воскликнула Лиля.— Геник, смотри! Ты какую возьмешь удочку? Эту? Пожалуйста.

Он себе взял с длинным удилищем. Ей коротенькую. Лучше бы наоборот... Ну да ладно. Теперь уже три поплавка были на воде — два подальше и один, Лилин, у лодки.

— Ой! — вскрикнула Лиля и тут же выдернула из воды порядочного окуня. Он закружился над лодкой, ей никак было не поймать его рукой, и он сорвался за борт.

— Надо сразу в колени, к себе,— сказал я.

— Еще лучше в рот,— сказал фавн, перебросил удочку и даже не посмотрел на мормышку, есть ли там хоть наживка-то. Он сел так, чтобы теперь загорать грудью. Достал из куртки очки с защитными стеклами и посадил их на нос. И отвалился на спасательный круг, предоставив рыбе самой ловиться на его крючок.

Хорошо, что клевало, я был занят своим делом, и мне было не до него. А тут еще далеко-далеко, словно в воздухе, проплывают корабли — это из-за марева,— тоже отвлекает и успокаивает. На небо посмотришь, там, будто приклеенные, неподвижно стоят дневные облака... Хорошо! А тут еще клюет, и снова, как на аркане, ходит сильная рыба. Чего еще надо?

Лиля вытащила плотвицу. Закричала от радости.

— Можно, я в ваш садок опущу ее?

— Конечно.

Фавн загорал. В конце концов я перестал обращать

на него внимание. Черт с ним, пускай спит! Я бы даже забыл о нем, если бы Лиля время от времени не вскрикивала: «Смотри, Геник, еще поймала!» Мне нравилось ее оживление. Это хорошо, когда человек заинтересованно относится к делу. Хоть и к рыбалке,— если пришел ловить рыбу, надо ловить или по крайней мере стараться поймать, а не валять дурака... Задергало донку, и я вытащил хорошего подлещика. А после него как отрезало! Это, наверно, потому, что появился ветер, и малек ушел в тростник.

— Ну что же, поедем к берегу,— сказал я,— в полдень рыба плохо берет. Сварим ушицу.

— Геник, ушицу будем варить!— воскликнула Лиля.

Фавн готов был плыть к берегу, он расторопно натянул на себя майку, куртку с «молнией» и поднял якорь.

— Садитесь на весла,— сказал я ему.

Он холодно посмотрел на меня выпуклыми глазами и нехотя сел. Закурил. И начал грести. И так же, как в тот раз, прежде чем затянуться, выпускал весло из руки, медленно выдувал изо рта дым и неторопливо начинал шевелить веслом.

— А если побыстрее?— сказал я.

— Если вам так хочется, я с удовольствием уступлю свое место.

«Ну и хам!» — подумал я, но ничего не сказал. Сдержался. А фавн, словно дразня меня, стал еле шевелить веслами. Ну и пускай, может, самому надоест. Хорошо, что нас немного подгоняло ветерком, иначе бы мы и за час не добрались до берега.

У самого берега было мелко. Я выскочил в воду и потянул лодку за нос.

— Вам нужна сумка?— спросил я у Лили.

— Да. Пожалуйста.

Развести костер ничего не стоит, и вскоре огонь заметался в поленьях, облизывая дно алюминиевой кастрюли.

— Надо чистить рыбу,— сказал я Лиле.

— С удовольствием. Геник, я почищу, а ты отдохни. Хорошо?— сказала она.

Фавн разостлал свою куртку и лег бородой к небу.

— Вы, верно, не очень здоровы?— спросил я как можно спокойнее, чтобы не выдать своего раздражения.

— А что?— не шевелясь, спросил он.

— Ничего. Просто интересно. На вид здоровый человек, а вялый какой-то вы.— Мне приятно было ему сказать, что он вялый.

— Из чего же это вы заключили?— по-прежнему не шевелясь, спросил он.

— Из наблюдений.

— Наблюдения — еще не оценка.

— Но я сделал и оценку. Вы действительно очень вялый человек.

— А вам хочется меня видеть «парнем с огоньком»?

— А что, неплохо бы!— сказал я, подвешивая котелок с водой на треножник.

— Удивляюсь, как он у вас сохранился, этот «огонек». Вы, наверно, в моем возрасте рвали и метали.

— Что-то мне не очень понятно, что вы имеете в виду.

— Так и должно быть, чтобы вы меня не понимали.

— Это почему же?— уже раздражаясь, спросил я.

— Вы даже этого не знаете?.. Ну, как бы вам объяснить... Мы с вами люди разных времен.

— Разные люди?

— Разных времен люди, и нам трудно понять друг друга.

— Это я вижу.

— Уже прогресс!

Я чувствовал, что он желает показать свое превосходство и, как ему кажется, успешно этого достигает. Ну-ну, вот чего еще мне не хватало сегодня, чтобы этот парень считал себя выше меня.

— Значит, вы вполне здоровы,— возвращаясь к началу разговора, сказал я.— Тогда почему же все-таки вы такой вялый? Или ленивый?

— Вы хотите, чтобы я ррработал? Греб веслами, бегом таскал рюкзак, по вашей прихоти выполнял любую вашу команду, и все это с улыбкой на устах и с песней в горле? Если вы этого хотите от меня, то тут я вялый. Но вы не заметили меня в другом, где я активен.

— В чем же?

— В наслаждении. Когда вы тащили рюкзак, гребли, я наслаждался солнцем, ничегонеделанием. Есть такая штука — свобода, когда делаешь то, что хочешь делать, и не делаешь того, чего не хочешь делать!

— Это я заметил, и у меня не раз появлялось желание турнуть вас с лодки.

— Это вы могли сделать, но заставить рюкзак таскать не заставили бы.

— Вы даже жену не щадили.

— Она мне не жена. Ей нравится кормить меня, ухаживать за мной, а мне нравится это принимать.

Он по-прежнему лежал на спине, раскинув толстые ноги, подсунув руки под голову. Солнце било ему в лицо, и борода казалась еще больше спутанной, а под ней белела толстая короткая шея.

— Нашли чем хвастать,— не сразу с неприязнью сказал я.

— А я не хвастаю. Я сказал правду. Я хотел ее сказать и сказал.

— Это, видимо, тоже относится к свободе, к свободе поведения?

Подошла Лиля.

— Вот рыба,— сказала она.— Опускать в котел?

— Опускайте.

И она стала опускать по рыбке в кипящую воду.

— Э, что же мы делаем,— с досадой сказал я.— Ведь надо же картошку сначала. Заговорился тут. Давайте скорей, вымойте. Потоньше порежем, дойдет вместе с рыбой.

Лиля взяла картошку и побежала к воде.

— Вам хотелось бы, чтобы вот так бегали по вашей указке?— спросил он.

— А зачем вы поехали со мной?

— Чтобы поглядеть Ладожское озеро.

— Ехали бы один!

— С вами удобнее.

— Это не очень порядочно.

— Абстракция.

— То есть? — Я уже с ненавистью глядел на его жирную шею.

— Опять объяснить? Неужели непонятно, что то, что считалось в ваше время порядочным и правильным, сегодня уже не является порядочным и правильным?

— Смотря для кого!

— Я говорю про себя.

Подбежала Лиля.

— Вот картошка.— Она подала ее мне, мокрую, скользкую, и я стал нарезать тонкими ломтиками, чтобы она быстрей сварилась.

— Вы солили?— спросила Лиля.

— Да.

— Ой, Геник, какая будет чудесная уха!— воскликнула Лиля и подсела к нему.— Тебе хорошо, да?

Бедняга, как она унижалась, как была бессильна. Он мог в любую минуту встать и уйти от нее, и она это знала и ничем бы не смогла остановить его.

Он, как слепой, нашарил ее и положил пухлую руку ей на колено. Лиля встревоженно взглянула на меня и сняла его руку. Но он снова положил.

«Ну-ну,— подумал я,— это тоже, видимо, входит в его понимание порядочности и свободы». Но не хотелось больше думать о нем, было противно, и я пошел к озеру мыть руки.

Ветер стал посильнее, и на берег, через поломанные тростники, набегала грязная пена. Пришлось зайти подальше, где вода была чище. Небо затягивало с юга плотной мглой, и хотя солнце еще светило в чистой половине синевы, но чувствовалось — ненадолго, через каких-нибудь полчаса и его затянет. И наступит серенький денек, без дождя, а возможно, и без ветра.

Вернувшись, я увидал следующую картину: фавн нес из кастрюли на ложке самого большого окуня, того, который ходил, как на аркане, когда я его вываживал. От окуня валил пар. Странно, я не мелочный человек, но тут почувствовал, как начинаю мельчиться и обращать внимание на то, на что не следует обращать. Подумаешь, в конце концов кому достанется окунь! И все же не удержался, сказал, что я им хотел угостить Лилю. Я и на самом деле хотел угостить Лилю!

— Нет, нет, я не люблю крупную рыбу,— тут же поспешно ответила Лиля.

Фавн усмешливо взглянул на меня и начал есть. И получилось так, что я как бы совершил бестактность.

Я взял рюкзак и снес его в лодку. Потом стал сталкивать лодку с берега. Ее засосало в ил, но я все же сдвинул, а дальше она пошла легче. Я влез в нее и стал отталкиваться веслом.

— Вы что, уезжаете?— донесся до меня Лилин голос.

Я не глядел на них и не хотел отвечать.

— А как же мы?— Это все она кричала.

Я оглянулся. Они стояли на берегу — Лиля встревоженная, фавн — озабоченный.

— Вы приедете за нами?— Это все Лиля.

— Нет!— Я уже греб веслами. Тут было глубоко.

— Это все же непорядочно!— крикнул фавн.— Бросать!

— Берег не остров,— ответил я.

Он что-то еще кричал, но я уже отплыл и за шумом весел не слышал его слов.

— Но почему же «фавн»?— спросила жена, когда я вернулся домой и рассказал эту историю.— Помнится — это бог полей и лесов...

— Что ты говоришь?— в раздумье сказал я.— Неужели я запамятовал? Уж что-что, но мне никак не хотелось своего фавна делать богом.

Я достал с полки «Словарь иностранных слов», открыл на букву «ф». Да, действительно, фавн в древнеримской мифологии — «бог полей, гор и лесов». Мало того, еще «и покровитель стад». Что же я, с сатиром его спутал, что ли? Но тут, на мое счастье, за второй скобкой значилось: «фавн — американская обезьяна с двумя хохолками на темени».

— Вот именно это я и имел в виду, когда прозвал его фавном,— сказал я жене и громко, с выражением, прочитал ей то, что было за второй скобкой.

ПРОЩАНИЕ С ЛЕСОМ

Анатолию Ивасенко

Весь август и сентябрь в лесу не умолкали голоса. Грибники целыми корзинами таскали белые и подосиновики. И никто уже не считал на штуки — укладывали одни шляпки, так много было грибов. Ехали в поездах, на машинах, мотоциклах, велосипедах — и всем хватало. И длилось это долго, до тех пор, пока не ударил заморозок. И сразу остудило возбужденный люд, и в лесу затихло. А дни после этого, как нарочно, установились сухие, солнечные, тихие — совсем не осенние, и показалось, что лето еще не кончилось, что погода постоит, и снова потянуло в лес.

И я поехал туда, где провел лето. В поселке ко мне

пристала бездомная собака Рыжуха, за последний месяц изрядно похудевшая, потому что дачники, те, кто подбрасывал ей остатки еды, давно уехали. Я поделился с ней булкой, и она увязалась за мной, преданно заглядывая в глаза.

С утра по небу вяло тянулись низкие рыхлые облака, я даже подумывал: не посеет ли дождь? Но как взойти солнцу, стало прореживать, облака погнало быстрее, они заклубились, словно дым на ветру, и местами стало просвечивать голубое небо, но уже не теплое, как летом, а холодноватое, и вскоре открылось все, чистое, ясное, и по нему свободно поплыло солнце. И ветер стих.

— Ну, куда пойдем?— спросил я Рыжуху.

За поселком можно идти в любую сторону, всюду лес. Но меня потянуло к Щучьему озеру. До него далеко, километров пять, но это и хорошо. Хотелось идти и идти, уходить в тишину, вдаль. Я люблю бродить лесом один, чтобы не быть связанным, не ожидать отставшего, не идти на его голос. Было время — и я робел забираться в неведомое. Вот так однажды случилось, когда я вышел к Щучьему озеру, где до этого никогда не бывал. Но прежде чем попасть, заблудился, влез в какую-то топь, заросшую густым кустарником, долго продирался сквозь него, собирая лицом всю паутину, перелезал через рухнувшие стволы, перепрыгивал канавы с коричневой, подернутой маслянистой пленкой водой и уже раскаивался, что полез в эти заросли, когда сплошняк стал редеть, и я вышел на поляну, и неожиданно уперся в кривое, похожее на подкову, черное озеро. Оно насторожило меня своим застывшим покоем. Было ощущение, что я забрел не туда, куда следует заходить человеку. Там даже птиц не было слышно, не плескала рыба, и ветер не трогал гладкую, как плексиглас, плотную воду, заваленную у берегов мрачными топляками. И мне стало не по себе, и я ушел, и рад был радешенек, когда выбрался на дорогу. Но позднее, уже не раз побывав в этих местах, узнал, что в низинке бывает полно «путиков» — этих серых, крепеньких, с трубчатой ножкой соляников, а на гребне холма, среди берез, немало вытянувшихся, как по команде, высоких черноголовиков, и уже не испытывал той робости, какая заставила меня в тревоге уйти в тот первый раз, и уже отдыхал на берегу и смотрел, как щука нет-нет да и ворохнет тихую воду.

И теперь, в последний раз в этом году, мне захотелось побывать там. Если уж прощаться с лесом, то надо начинать с любимых мест. А они пошли сразу же за болотом.

Я знал это большое болото летом. Тогда, на рассвете, куда бы я ни посмотрел, всюду виднелись подвешенные в воздухе круглые, как в тире мишени, паучьи тенета, унизанные росой. Их было тысячи, больших и малых кругов. Теперь же ни одного. Видно, заморозок ударил и по мелкой живности. Чистое, тихое пространство ровно освещалось холодным солнцем. И ни души. Ни звука. Только всхлипы сапог, когда я шагал по зыбкому, податливому мху.

Мой лес начинался с другого края болота. Вначале засоренный, он вместе с ольховником взбирался на бугор и дальше уже, оставляя позади всякую мелкую поросль, вымахивал ввысь, бронзовея свечами сосен, темнея шатрами елей. Он то густел, то прореживался небольшими полянами, покрытыми белым мхом вкупе с канаброй — высокой травой с мохнатым подбоем на листьях,— верными селениями белых; то переходил в мелколесье, прогретое солнцем, где так много было красноголовиков, то снова смыкался так, что не было видно неба, и ветер не мог прорваться сквозь его плотную крышу и только сердито шумел, раскачивая вершины.

Вот такой был лес. Теперь же все неузнаваемо изменилось. Было такое ощущение, будто я попал в незнакомый, но более прекрасный. Там, где летом было тесно и сумрачно, стало светло. Солнце сюда и сейчас не пробивалось, но — удивительно — желтое излучение шло со всех сторон. Откуда оно? Березы! Ах, как их опалило осенним огнем! Они стояли, прижавшись друг к другу, еще не сбросившие лист, и светились, и освещали этот глухой закраек леса. Вот отчего он стал светлым и легким. И где же мне было сразу узнать его в новых красках.

Я стоял и глядел и не мог наглядеться. До чего же красива наша северная осень! Ну с чем ее можно сравнить? Я был на юге, но там нет этого, а здесь не оторвать взгляда, на что бы ни посмотрел. Вон в своей багрянице алеет осина. Ведь надо же так изумительно раскрасить каждый лист. Не найдешь двух схожих. Все разные — от желтого до багряного. Зачем это ей? Ведь

отцвела она еще весной, когда распускала сережки. Кого она манит? Кто ей нужен? Зачем это ей осенью, перед сном, такая красота? Не знаю. Но ей, наверно, надо... Вон рябина. Как ее обчистили дрозды. Всего несколько ягод, как брызги крови, осталось в поблеклой листве. Как их видно! Каждая из них кричит, зовет к себе. И сколько их набросано у ствола. Неужели не могли дрозды поаккуратнее есть? Щедро вели себя, не жадничали, съели сколько надо, и посеяли. И на будущий год, по весне, из ягод проклюнутся тоненькие росточки и незаметно потянутся к небу, и приди сюда лет через десять, и не узнаешь, уже по-настоящему не узнаешь этого места.

Как тихо!.. И как светло!.. Как прозрачен стал лес! Да, он совсем другой, нежели летом. Тот был каким-то лохматым в своем буйном расцвете, а этот стал строгим. Он словно очистился и затих в ожидании того неминучего, что скоро принесет ему время. И принесет холод, и надо собраться с силами, чтобы выстоять. Надо, надо готовиться, и он готовился, и я ощущал, как в окружающем меня совершается извечное таинство, и хотя лес впустил меня, но не принял. Он был занят своим делом. И я боялся нарушить его покой.

И Рыжуха вела себя как-то не по-собачьи, не носилась с веселым лаем, не порскала в кустах, а стояла у моей ноги и поглядывала на меня, будто силясь понять, зачем я пришел сюда, что мне здесь надо.

— Ну, идем, идем,— сказал я ей.— Ты-то уж совсем отвыкла от леса. А ведь мы с тобой — части этой природы, или уже перестали быть ими?

Она глядела на меня, вертела хвостом и ласково и выжидающе глядела в глаза. Я дал ей кусок булки, она тут же разделалась с ним и, наверно, по-своему поняла, зачем я тут, потому что вскочила и положила мне лапы на грудь.

В бору сосны еще летом сбросили прошлогодние иглы — устлали ими всю землю, и она стала мягкой и теплой, а сами оделись в свежую сильную зелень, уже готовые ко всему, что принесет зима. Здесь, в бору, когда-то было много белых, но теперь, сколько я ни вглядывался, не находил. Что ж, всему свое время. Но я не очень и жалел. Я видел лес, видел его таким, какого еще не знал. Никого, кроме меня, здесь не было. И никто не мешал мне. Сейчас грибникам лес не нужен. Им нужны

были грибы, и тогда аукались, кричали, заполняли его, и перестали ходить, сделав свое. Нет, им лес не был нужен, и если бы грибы росли на асфальте, то, верно, и не заглянули бы сюда. Ах, бедные горожане!

Я шел, останавливался, смотрел на эту первозданную вечную красоту, и не мог наглядеться, и чувствовал, что во мне происходит что-то хорошее, что мне несказанно отрадно среди притихших деревьев, что от них идет ко мне спокойствие, и те мрачные мысли, тот страх перед неизбежным, который время от времени угнетает меня, теперь здесь становился нестрашным.

Но вот и Щучье озеро. Как всегда, вода его таинственна и мрачна. И какой бы ни был ветер, сюда он не доходит, и поэтому всегда в нем отражаются деревья. Сейчас на его воде лежат желтые березы, и от этого Щучье кажется светлым. Я попил из него воды, холодной, слегка припахивающей болотом. Рыжуха осторожно вошла, полакала, посмотрела на меня. И мы пошли дальше. Нет, нет, не домой! Дальше, за озеро. Так хорошо было уходить вдаль. Что дом, я еще успею туда, а здесь я в последний раз в этом году. И я шел, то взбираясь на бугры, то выходя на солнечные прогалы, то продирался сквозь заросли еще зеленой ольхи и скатывался на дно оврага. Мне нравилось уходить. И не пугало, что я устану, что со мной может что-то случиться, что я один. Не знаю, может, мое состояние такого тихого восторга передалось Рыжухе, но она стала носиться, кататься по густой, еще не вылинявшей осоке на дне впадин,— может, что-то проснулось в ней от того далекого, когда лес был ее домом.

— Так, так, Рыжуха!— подбадривал я ее.— Вспоминай, вспоминай! Узнавай свой дом! — И мне было любо видеть, как среди деревьев огненное мелькало ее вытянутое тело, как она внезапно останавливалась и настороженно-чутко ставила острое ухо на какой-то слышимый ею звук.— Вперед! Вперед! — кричал я. И она мчалась, и пропадала, и возвращалась ко мне, поглядывая веселыми блестящими глазами.

Как-то я совсем забыл про грибы, и вдруг, да, именно вдруг, на опушке из ельника и осинок бросился мне в глаза большой, с тарелку, никак не меньше, желтоголовый подосиновик, и тут же в траве зажелтели еще несколько тарелок. И все на удивление крепкие. И вдруг — белый! Ах, какой роскошный, и с ним еще три. И еще

один... И все. И сколько я ни всматривался, ни ворошил траву, больше ничего.

Последний привет осеннего леса!

Постепенно я отвлекся от поиска и опять вошел в тихий мир лесного таинства, который впервые за всю мою жизнь открылся здесь и очаровал меня своим желтым свечением. И я уже чувствовал, что приобщаюсь к нему, что еще немного, и я пойму что-то такое, что до этого дня было мне недоступно, чего я не знал. Я даже не вздрогнул, как это обычно бывает, когда с треском взлетела в нескольких шагах от меня глухарка, и спокойно проводил ее взглядом, а ее долго было видно в просветах деревьев, словно она сшивала их невидимой нитью.

Я ушел далеко за Щучье, и все еще не хотелось возвращаться. Но надо было идти. Солнце уже тянет к западу. Я остановился и окинул прощальным взглядом весь лес. Он золотел, тихий и сильный.

— Прощай! — крикнул я.

— Ай! — ответило эхо.

Дома я выложил на удивление семье последние грибы, оставив корзину на полу. К ней подошла кошка и стала тереться, вынюхивая лесные запахи. Потом неожиданно вскочила туда, и улеглась, и закрыла глаза, наверно представляя себе, что находится в лесу.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОЕЗДКИ

На родине я не был сорок лет. В детстве с отцом мотался по всей стране, в юности без отца,— и где только не был. Взрослым жил в Ленинграде, но и оттуда выезжал то на Дальний Восток, то на Кавказ, то на Урал. Бывал и за границей. И только никак не то чтобы не удосужился побывать там, где родился, но даже и в голову не приходило поглядеть на бабушкин дом, по крутой лестнице которого не раз проносился вверх и вниз, походить по улицам своего городка. И лишь теперь, когда перевалило за полсотни, вспомнил о своей самой главной родине, вспомнил, что я ведь родился там, в этом уездном городке, ставшем теперь районным центром, вспомнил, по рассказам бабушки, как я в два годика кричал ей: «Татись, татись!» — и тянул к ее ногам маленькую скамеечку, и она садилась, а я начинал перед ней

плясать. Вспомнил, что, когда мне было тринадцать лет, я провел с братом в бабушкином доме все лето. И еще вспомнил, что, когда было шесть лет, я побывал с отцом на его родине, в селе Великом, у своего деда, и на всю жизнь врезался в память мне маленький, как присядыш, дом с окнами чуть ли не у земли, а за домом большая березовая роща. И там захотелось побывать. И все это неудержимо потянуло меня на Ярославщину.

У нас на севере было холодно. В Первомай шел снег, летела крупа, дул холодный ветер, и деревья стояли голые, с закрытыми почками, и еще не было травы. А там, на подъезде к Ярославлю, уже вовсю лоснилась зеленая листва, шумела, плескалась на ветру и солнце, цвели раскидистые яблони, воедино слились вишни и черемуха, и всюду была густая трава, уже уверенно пошедшая в рост и при каждом движении ветра сама приходившая в движение. И всюду было солнце. И в раскрытое вагонное окно бил теплый, мягкий ветер, и густо пахло березой. И после холода, после нашего ненастного серого неба, которого весна еще и не коснулась, эта райская благодать была настолько неожиданна, и для меня это было так незнакомо, что я почувствовал себя как бы обворованным. Ведь надо же мне было прожить столько лет, безо всякого принуждения, в холодном, суровом краю, где обычный день облачный, куда редко заглядывает солнце, где на месяц позднее приходит весна и на месяц раньше туманная осень. А тут! Я жадно глядел на землю своей родины. Я и не представлял себе, до чего же она прекрасна! И это всего в каких-то четырнадцати часах езды от Ленинграда.

Выехал я вечером. Еще думал, не взять ли с собой проверенный демисезон, и хорошо, что не взял, а прихватил болонью, этот легкий плащик, пришедший к нам из Италии и так быстро прижившийся по всей огромной стране. И уже досадовал, что взял с собой увесистый чемодан, а не рюкзак, который был бы куда сподручнее, если придется шагать по дорогам. Да, выехал вечером, и вот утро. Только еще утро раннее, часов пять, не больше. И совсем другой мир. Цветущий. Теплый. Ясный.

И сложное чувство сожаления и радости, утрат и встречи овладело мной. И снова нахлынули воспоминания о далеком. И это далекое показалось близким, будто и не было долгих, и радостных и горьких, сорока лет. И я уже

все видел, о чем бы ни вспомнил, о чем бы ни подумал, и нетерпение с каждой минутой все сильнее подгоняло меня ехать туда, где когда-то жил, и все большее волнение охватывало, и где-то уже пробуждалось чувство неловкости, когда мне придется объяснять кому-то, почему же я так долго здесь не был.

Как материнский укор забытого и утраченного мною, потрясло название вокзала ЯРОСЛАВЛЬ, выведенное по всему длинному фронтону славянской вязью. И с этой минуты, на что бы я ни поглядел, что бы ни слушал, о чем бы ни спрашивал, все в моем сознании проходило через эту старинную вязь, как бы неотступно напоминавшую мне об истории моей земли, о предках, которые здесь жили, готовили эту землю для потомков, в том числе и для меня, и о том, что позабыл я эту землю, оторвался от нее,— хотя вне родины себя никогда и не чувствовал. Только родина, внушенная мне с детских, школьных лет, была вся страна — каждый ее клочок, будь то на востоке, или на юге, или на западе, или на севере. Вся земля, которую я знал и не знал, была моя родина... И как жаль, что не нашлось ни одного человека, который бы научил меня глубоко любить, всегда помнить вот эту землю, по которой я шел сейчас...

Я не буду рассказывать о Ярославле. Был я в нем только проездом. Есть там Красная площадь, пересеченная трамвайными и троллейбусными проводами, есть кремль с куполами церквей и высокой стеной. Есть театр, носящий имя Волкова, основоположника русской сцены. Есть тихие улицы, напоминающие скорее захолустный городок, нежели областной центр. Есть многотысячный Шинный завод. Есть кварталы новых жилых домов с широкими проспектами. Есть автовокзал.

К нему я доехал на троллейбусе. А от него до села Великого на автобусе. Народу было не много, и поэтому всем было хорошо и свободно. Я сидел у окна, глядел на мелькающие мимо дома деревень, все в узорчатых старинных наличниках; на плывущие в зеленом весенние леса, весело мелькающую то там, то там живую речку Которосль, на волнистые в свежем разнотравье луга, на высокие, недвижимые редкие облака. И надалеко было видно всю раскинувшуюся теплую землю, согретую солнцем, которую, верно, не раз видел и мой отец, направляясь из села Великого в Ярославль. И я старался смотреть

его глазами и понять, что́ он думал, любил ли ее, тосковал ли, покинув на долгие годы. Может, и тосковал, только никогда об этом не говорил...

Глядел я и на тех, кто ехал со мной. Слушал их окающий говор и вспоминал, как мальчонкой, прожив лето в Любиме, вернулся в Ленинград и «окал», и как смеялась надо мной моя двоюродная сестра, а я смущался. Чего? Деревни? Но ведь и сестренка была из деревни. И как же быстро она отторглась от нее, и с каким пренебрежением уже относилась к ней, если смеялась надо мной только за то, что я привез оттуда звук родной речи. Деревня... И я старался больше молчать, чтобы поменьше «окать», чтобы не смеялись надо мной и другие, и незаметно научился «акать», как и все горожане...

Сошел я в селе Великом. Автобус помчался дальше, в Гаврилов-Ям.

Село Великое! Конечно же, оно когда-то было великим, если его так назвали. Но никакого величия в нем не увидел я теперь. До сих пор село делится на посады, но можно бы и не делить — невелико. В центре, когда-то шумевшем бойким торговым людом, сохранились купеческие лабазы, сохранились и двухэтажные каменные дома, занятые почтой и другими тихими учреждениями. Это в центре. А по бокам примолкшие улицы с маленькими, в два-три окна, домиками с занавесками и геранью. Я приехал, когда прошла уже пора ростепелей и первых дождей, когда ветер и солнце обсушили землю, и тем безотрадней был вид у дорог — рытвины, ухабы, колдобины, ямы, бугры, гребни и еще бог знает что — все было на дорогах, проходивших улицами села.

Глядя на все это, я себя ловил на том, что где-то уже это видел. Но где? Где? И вспомнил — в кинофильмах, ежели нужна была старина времен Островского или Чехова. Да, да, вот такие лабазы, вот такие дома, площадь с храмом, и ленивая собака, остановившаяся в раздумье, и безлюдье, и высоко кувыркающиеся голуби.

Я ходил по улицам. Какие они были тихие в весеннем приветливом освещении, с редкими деревьями перед окнами, с мягкими тенями, лежащими на земле, с лавочками у калиток, с одинокими фигурами греющихся на солнце старух. День был праздничный — Девятое мая. Но как пусто было на улицах! Это, наверно, потому, думал я, что еще не наступил тот час, когда должен высы-

пать из домов отдыхающий люд. Я переходил из улицы в улицу, перебираясь по окаменевшей грязи дорог, и вспоминал рассказы отца о том, как он мальчишкой катался по селу на санках, запряженных собаками. Любил собак. Всю жизнь возился с ними, приводил брошенных, больных, старых...

И удивительно мне было глядеть на эти улицы, и думать, что по ним когда-то бегал мой отец в детстве. Вряд ли они изменились с тех пор, скорей всего такими же и остались в своем нерушимом рисунке, с вкрапленными в них старыми кирпичными домами с железными дверьми и решетками бывших лавок в нижнем этаже.

В поисках дома своего деда, после долгих расспросов и уточнений, от одного великосела к другому («Ворониных-то у нас много. Какого же это — Василия или Петра? А то и Иван есть»), я наконец встретил Николая Петровича Воронина, крепкого старика, в кепке, в тяжелом черном пиджаке,— а припекало уже основательно,— безбородого, безусого,— теперь скорее встретишь бородатых в городах, нежели в деревне,— прямого, поджарого.

Его мне помогли разыскать на площади, у пожарки.

К площади со всех сторон сходился народ. Шли к памятнику павшим в Великой Отечественной войне. Несли цветы к его каменному подножию. В ограде, у самого памятника, духовой оркестр из пяти солдат играл старинную песню о героической гибели русских матросов. Шли женщины — больше пожилые. Шли мужчины — больше старики. Молодежи было мало. Подходили, в поклоне клали весенние цветы. Застывали в скорбном молчании. Плакали...

В больших городах этот день празднуется весело. Здесь же я увидал его народную печаль. Сюда собирались те, для кого война не кончилась и не кончится, пока они живы. Ярко светило солнце, ветер шевелил поникшие цветы, гонял у ног клочки бумаг, теребил концы платков, путал седые волосы на склоненных головах. И неожидан был для меня «Варяг» в исполнении маленького дружного духового оркестра.

Тут, неподалеку от памятника, мы и встретились. Про отца я не говорил, вряд ли знал его этот старик, но деда должен был знать, хотя и прошло многим больше сорока лет после его смерти.

— Дед мой жил в вашем селе, Воронин Иван Василь-

евич,— сказал я ему,— да и похоронен он здесь. Может, знали?

— Ну как же, Ивана Васильевича-то? Знаю. В слободе он жил,— с радушной готовностью ответил Николай Петрович.— Знаю.

— У него четыре сына было,— еще не веря, что так легко мне удалось найти того, кто знал моего деда, уточнял я.— Петр, Дмитрий, Алексей — это мой отец...

— Ну, Алешу-то... Знаю Алешу. Проворный был. К отцу приезжал из армии. Знаю. Мне тогда годов пятнадцать было, а ему, пожалуй, лет двадцать пять. Как же, знаю. Проворный, проворный был!

Я растерянно глядел на него. Мой отец умер в тридцать третьем году. Уже и я-то стал редко его вспоминать, так, от случая к случаю, и как же неожиданно прозвучали для меня слова этого незнакомого старика. Он говорил с такой убежденной ясностью, будто вчера видел моего отца.

— Значит, знали его?

— Сказал! — Николай Петрович пригляделся ко мне.— Вы на него будете похожи, только постарше. А он тоже носил усы. Молодой, а усы носил...

«Я постарше отца»,— это уж потом я думал об этих странно прозвучавших словах, но в ту минуту, охваченный волнением, тем, что передо мной человек, знавший не только деда, но и моего отца, я не думал и, словно еще не веря ему, спрашивал:

— И еще Николай был, младший сын...

— А, зимогор-то. Из тюрем не выходил, знаю. Как же!

Это верно, младший брат отца не выходил из тюрем. Как-то после очередной отсидки он приехал к нам в Крестцы. Мне тогда было одиннадцать лет. Высокий, с красиво посаженной головой, с негромким, спокойным голосом и постоянной, не сходящей с тугих губ улыбкой, он хорошо мне запомнился.

— Все, Алеша, на этом конец,— сказал он отцу.— Я ведь и шапошник неплохой. Буду жить честно.

И вскоре откуда-то появились у него деревянные болванки, и он уже сидел за маминой швейной машинкой и стачивал клинья. Отец не мог нарадоваться, глядя на такую картину.

— А что, Николаша,— однажды сказал он ему,— не мешало бы тебе и жениться.

— Я, братец, не возражаю, если найдешь подходящую. Сам-то я не решаюсь...

После этого отец с матерью долго и не раз куда-то ходили. Но еще не скоро наступил тот вечер, когда они взяли с собой дядю Николая, прихватили и нас с братом.

Теперь я уже не помню ни улицы, на которой жила тихая женщина, ни ее имени, но помню — в ее доме прыгали белые козлята, и она, еще молодая, но какая-то очень стеснительная, все приговаривала: «Козочки, козочки», и все старалась угодить нам, гостям. Мы с братом пили густое козье молоко, играли с козлятами. Взрослые потихоньку осушили бутылку красного вина, прихваченного отцом. Дядя Николай от вина отказался.

— Да выпей,— упрашивал его отец.

— Нет, Алеша, если уж я завязал, то — ша!

Потом была свадьба. Венчался дядя Николай в церкви, так пожелала невеста, и он не упрямился. Ни я, ни брат в церковь не пошли — пионеры, но это не мешало мне торчать на крыльце своего дома и ждать выхода новобрачных. И, как сейчас, вижу дядю Николая, быстро шагающего площадью, впереди невесты шагов на десять. Он словно убегал от нее. И действительно, через месяц убежал, прихватив за проданных козочек деньги и все сбережения, какие были у молодой жены. И пропал. И долго о нем не было ни слуху ни духу, и только уже незадолго до смерти отца пришло от него письмо с Кольского полуострова,— просил он прислать что-нибудь из теплой одежды и табаку. Отец послал. И уже после этого никаких известий о нем не было.

Не очень-то приятные воспоминания оставил по себе мой дядюшка, младший брат отца. Не очень приятно мне было выслушивать «зимогора» про него, но зато всякие сомнения после этого уже совершенно отпали — старик знал мою родню. Но я еще не ведал того, что меня ожидает.

— Так ты постой, постой, ты что же, Алеше-то сын, что ли?

— Сын. Я же говорил...

— Говорил, тут сразу-то и не сообразишь. Так если дело такое, то ведь я тебе двоюродным дедом прихожусь. Дед я твой! Чего глядишь-то? Не вру, дед я твой!

Он глядел на меня растроганно. А я уже совершенно растерялся.

— Да поцелуйтесь же! Экое ведь дело-то радостное!— воскликнула стоявшая рядом какая-то старуха.

И мы поцеловались. И если первый поцелуй был как бы еще нерешительный, то второй и третий по-старинному, со щеки на щеку, были уже поцелуи настоящие, вызвавшие и у меня и моего деда хорошие слезы.

— Ну вот, больше я и не сирота,— сказал я.

— А что, разве Алеша-то помер?

— Давно уже...

— Ты скажи... А проворный, проворный был. Гляжу на тебя — Алеша, и все! В отца пошел!

Конечно, было выпито, и от этого мы стали друг другу еще ближе.

— Ведь это, значит, как,— объяснял мне мою родословную Николай Петрович,— отец мой, Петр, будет родным братом отцу твоего деда — Василию. А я твоему деду, Ивану, двоюродным братом прихожусь. А ты ему внук, значит, я тебе — двоюродный дед. Вот кто я тебе!

— Это хорошо... Значит, моего прадеда звали Василий, а по отчеству как?

— Александрыч!

— Значит, прапрадеда звали Александр?

— Ага, а отчества его я не упомню.

— А чем занимался он?

— А жил. Дом у него был. Обыкновенно жил... Да ты идем-ка, идем, я тебе покажу, где жил твой дед. В слободе он жил. В слободе! — Мой дед великолепно «окал», и, произнося слово «слобода», мне казалось, он катит колеса.

— У него за домом была березовая роща...

— Ну-ну, знаю, как же!

И мы пошли в слободу.

— Расскажи про Алешу-то, как он жил. Сказывали, году в двадцатом приезжал сюда. Меня-то здесь не было, на гражданке воевал, ну, а он, говорят, был. Ну-ну, слушаю.

— Из Сибири мы тогда приехали.

— А чего туда упалили?

— Послали от Петрокоммуны.

— Партиец он был?

— Да. Но пробыли мы там не долго, всего два года.

— Чего ж так?

— По болезни откомандировали его.

— Ну, а ведь здоровый был.

— Не хватило его здоровья. Кулачье там зверствовало. Сотрудников убивали. Дошло до того, что подымали с постели электричеством...

— Это как же?

— Ночью тревога, а он встать не может. Ну, там был какой-то фельдшер, прибежит со своим аппаратом, всунет в руки медные стержни и пустит ток...

— Скажи на милость! И что же?

— Ну и очнется.

— Значит, чего-то у него с нервами было неладно. Сдали. А ведь здоровый был.

— Пятипудовики на себе таскал. Бороться любил.

— Знаю!.. А дальше что?

— Работал, пока мог, потом прихварывать стал все чаще. Умер от рака.

— Да... Жалко Алешу. Жалко! Быстро он сносился... А здоровый был, здоровый!

Мы подошли к слободе. Может, она чем и отличалась когда-то от посадов, но теперь по обе стороны дороги стояли такие же приземистые деревянные дома, как и по всему селу. Было пусто и тихо, и пока мы шли в самый конец длинной, поросшей травой улицы, никто не показался, не попался навстречу. За невысокими заборами цвели вишни, яблони. Скворцы, отливая вороненой чернью, хлопотали у скворечен. Белые облака, редкие и спокойные, величаво лежали на ярко-синей тверди.

— Вон он — дом твоего деда, Ивана Васильевича. Вон, смотри!

Мы подходили к маленькому присядышу. Удивительно, но я узнал его. Мне тогда было шесть лет. Но я помню, как выбегал на эту улицу и смотрел на нее из конца в конец. На ней росла трава — она и сейчас растет, и на другой стороне стояли такие же низенькие дома — они и сейчас стоят. И окна дедушкиного дома на полметра от земли. Да, да, все так... А если войти в дом, то вначале попадешь в кухоньку, отгороженную от горницы ситцевой занавеской. И только уж потом в горницу. И мне захотелось побывать там.

— Идем, идем! — сказал дед и смело вошел в калитку.

Залаяла собака. На крыльцо выбежала девушка.

— Здесь когда-то мой дед жил,— сказал я, чтобы объяснить ей наше появление.

— Здесь, здесь! Входи, входи! — авторитетно заявил дед.— Тут он жил. Как же, тут!

Маленький был дом моего деда — до потолка рукой достать. Кухонька отгорожена ситцевой занавеской, вернее, дверка завешена ею. Сумрачно, немного светлее в горнице. Помнится, я сидел вот у этого кухонного окошка, в то время как за столом, в горнице, шло веселье. Перед каждой песней отец ударял двумя пальцами по краю стола, медленно подносил к уху, прислушивался, изображая камертон, и начинал тянуть нужную ноту густым басом, после чего уже все дружно подхватывали. Бабушку я не запомнил. Она была какая-то незаметная, сливалась с кухонным полумраком, когда выходила из горницы. Но дед запомнился отчетливо — сухой, небольшого роста, подвижной, с колючим взглядом неласковых глаз, он то появлялся в кухне и, не замечая нас,— меня и брата, что-то искал в горке или в столе, то выбегал во двор и, возвращаясь, еще с порога подхватывал скрипучим голосом песню и тут же обрывал ее, звал отца, всех гостей в сад. «Вот они, матушки!— кричал дед, бегая от одной березы к другой. Был вечер, и четко, куда бы ни поглядеть, светились они белыми стволами.— Умру, только они одни не покинут!»

— Он воронинский,— объяснял девушке Николай Петрович,— тут мальцом был. А ты разве не помнишь Ивана-то Васильевича? Хотя где тебе помнить. Молода еще, молода!

В сенях раздался кашель, и в дом вошел хозяин.

— Иван-то Васильевич не здесь жил,— сказал он,— через два дома от нас.

— Но до чего же похожий,— сказал я.

— А они все здесь одинаковые, как желуди на дубу,— сказал хозяин.

— Верно! — охотно согласился дед. — Давно уж не был в слободе, потому и не признал... А ты обрадовался, говоришь, вот он, дом. А дом-то и не тот! Пойдем-ка!

— На его месте новый дом,— сказал хозяин.

— Ну-ну, как же, знаю!— ответил дед, и мы вышли на улицу.

Да, на месте дедова дома стоял новый, бревенчатый.

Хозяев не было, но дед уверенно вошел во двор и прошагал к огороду. Открыл туда дверку:

— Тут твой дед жил!

Белея стволами, тихо качали свои упругие ветки молодые березы. Их было немного. И, конечно, не те, которые я видел в шесть своих лет. Те, как позднее выяснилось, сожгли в войну на дрова. А уж это — молодая, послевоенная поросль. Но все же они были на земле моего деда, от корней тех, старых берез.

Оригинальным человеком был мой дед по отцу. У всех великоселов в садах росли яблони, вишни, и только у него вместо сада вымахала березовая роща. Любил березы... Я помню, как мы с братом бегали среди них, прятались за их стволы... Неужели это было здесь? Как это было давно! Словно в другой жизни... Давно уже нет брата, давно нет и тех берез.

Я сфотографировал эти молодые, пусть не те, среди которых мы играли с братом, но все равно березы на дедовой земле. Хотя теперь это уже и не дедова...

Но есть и дедова. Она на кладбище. Надо побывать на его могиле. И мы пошли туда.

У кладбища нас встретил грачиный грай. Черные крупные птицы неуклюже ворочались в своих гнездах, возились в кривых сучьях старых деревьев и кричали, наполняя все призывами к жизни.

Ах, до чего же хорош этот весенний грай! И не таким уж грустным кажется поселение мертвых. К тому же оно все в зелени, молодой, веселой, глянцевитой, радующейся каждому движению ветра. И над ним синее небо. И достигающие его вершины вековых тополей, и горящий на солнце крест, и, конечно же, летающие, возбужденные весной черные добрые птицы.

Мы долго ходили, отыскивая могилу деда. И направо и налево от нас зеленели холмики с покосившимися крестами и без крестов, с новыми пирамидками и с поваленными мраморными плитами, на которых можно было разобрать имена купцов, и просто безвестные могилы.

— Вроде бы вот тут должна быть,— остановясь, сказал Николай Петрович,— вроде бы тут его положили... Да нет, пожалуй, не здесь... Все сыны-то его разлетелись, внукам ни к чему, кто же последит за могилой. Сколь уж годов прошло... Если б хоть крест сохранился, а то вон

сколько могил без имени. Так, бугорок, и все, а кто под ним лежит — поди, угадай...

Мы не нашли могилу и присели у одной безвестной. Грело солнце, хорошо пахло молодыми травами. Было тихо. Дед сидел задумавшись, глядя в землю. О чем он думал, проживший долгую жизнь человек? О памяти ли, которая коротка даже у близких людей? О том ли, что смертен человек, но бессмертна жизнь? О себе ли он думал, а может, вспоминал моего отца, деда? Я его не спрашивал. Я о многом не спросил его. Даже о том, как у него сложилась жизнь...

Чтобы нарушить это грустное молчание, я сказал:

— Давай-ка я тебя сфотографирую на память.

— А что, давай!— оживился он. Встал, выпятил грудь, но что-то помешало ему принять бравый вид, и опустил голову. Таким я его и снял.

День уже подходил к вечеру. Пора было собираться в обратный путь. Был принят «посошок», и мы направились к автобусной остановке. Было грустно. Грустно оттого, что вряд ли я сюда еще приеду, и кто знает, увижу ли еще раз своего деда. То же, верно, чувствовал и он.

— Прощаться буду — заплачу, не по тебе, по Алеше,— сказал дед.— Не гляди на меня, не могу. Алешу вижу!

Мне радостно было слышать эти слова. Давно уже никто не говорил, что я похож на отца. И с годами утраченное чувство с каждым словом старика все теплее обнимало мое сердце.

— Пиши мне, пиши!— кричал дед в окно автобуса, и по щекам его текли слезы.

— Буду! Ты мне пиши!

— Буду!

Я, конечно, напишу. Я буду писать ему письма. Когда умер отец, то я еще оставался за матерью, но когда умерла и мать, я впервые понял, что меня уже никто не заслоняет, и я оказался один на переднем крае. Но вот теперь появился дед — и я за ним. И я хочу, чтобы он долго жил. Ведь живут же другие по сто тридцать лет. Почему бы и моему деду не прожить столько? Пусть живет! Дай бог ему здоровья!

«Пиши мне!» — слышу я его голос.

* * *

Не успели еще отстояться великосельские впечатления, как нахлынули новые.

Любим. На что бы я ни поглядел, все вызывало воспоминания, и это понятно — мне было тринадцать лет, и я многое запомнил в то прожитое здесь лето.

Сорок лет! Целая жизнь. Чего только со мной не случалось за эти годы... Всякое бывало — и хорошее и худое, и доброго было много и немало зла, и обиды были и несправедливости хватало, и любовь была и дружба, и разочарование и горечь утрат. Все было... Но жизнь идет и вселяет уверенность, что впереди ждет хорошее. Ах, какой это славный закон человеческого бытия — вера в хорошее! Не будь его — и жизнь была бы невозможна.

Любим! По преданиям, здесь было любимое место охоты Ивана Грозного. Приезжал он сюда из Москвы. Не ленился. И, видно, не раз побывал, если прозвал его любимым. И была Соколенская улица. Значит, с соколами охотился Грозный. Городок и теперь называется Любим, но вместо Соколенской улицы — Социалистическая. На ней дом моей бабушки. Он был крайним на улице, дальше шло поле, версты на три, до самой железной дороги.

Бабушкин дом... Сколько с ним связано в моей жизни! Сюда приехала из Питера мать, родила меня, окрестила в церкви Иоанна Предтечи и уже со мной уехала обратно. Я и прожил-то в Любиме всего два месяца, но на всю жизнь этот маленький городок стал моей родиной. И не сетую. Здесь земля моих дедов и пращуров, мое праотечество. Отсюда я иду. И все равно — где бы я ни родился, хоть на Камчатке, по крови я — ярославец. Исконный русак! И горжусь этим!

Через два года мать снова привезла меня к бабушке. Шла первая мировая война. Отец был на фронте. В дороге я заболел — «таял на глазах». Только-только успели добраться, как от отца из госпиталя пришло письмо. Он был тяжело ранен, просил мать приехать. И она поехала со старшим сыном, оставив меня у бабушки.

«Если уж помрет,— плача сказала она,— то и похороните без меня».

«Бом! Бом!» — играл я в колокола. И бабушка крестилась и просила бога, чтобы он не забрал меня к себе.

Надоедало играть в колокола, и я кричал: «Блины! Блины!» — и бабушка пекла блины и кормила меня ими наперекор фельдшеру, и как я выжил, этого никто не знает. А был у меня кровавый понос.

В то время еще был жив дед Михайло, но я его не запомнил. Впрочем, вряд ли я помнил и себя в два года,— всего скорее запомнил рассказы бабушки и матери о себе. Но зато многое запало в память, когда был во второй раз в Любиме.

Это было летом.

Летом всегда хорошо. Но, наверно, потому, что ни отца, ни матери не было — устраивались после многолетних скитаний на жилье в Ленинграде,— и потому еще, что брат матери, дядя Коля, человек крутого характера, с утра и допоздна работал в кузнице на железной дороге и в доме оставались только бабушка и тетя Настя, которые потворствовали нам, и мы пропадали то в поле, то на речке, то в лесу,— день мне казался огромным, и такого длинного беспечального лета, как в тот год, я никогда уже больше не видел.

О бабушкином доме мама рассказывала много. Сначала жили в маленьком, подслеповатом. Жили трудно. Всех детей перебывало у бабушки двенадцать. Нужда порой доходила до того, что приходилось скупать у нищих куски, тем и кормить всю ораву. Но, как и в большинстве многодетных семей, «бог прибирал» ребятишек,— кто умирал от болезни, кто погибал по недосмотру, и осталось всего пятеро — два сына и три дочери. Дед, тогда еще молодой, работал в Питере маркером при гостинице. Семье почти что и не помогал, но раз в году обязательно приезжал домой, и непременно со станции на тройке. Гремя бубенцами, звеня колокольчиками, тройка лихо подворачивала к воротам, и из тарантаса выскакивал щеголевато одетый человек — мой дед. Денег у него, как правило, не было. Ямщику платила бабушка, выбирая из комода последние гривенники. И хоть бы слово упрека мужу. Она была старше его на восемь лет и почитала за счастье, что Миша ее не забывает. Пробыв неделю, дед уезжал, а спустя определенное время в доме уже суматошилась повивальная бабка и на свет божий появлялся еще один отпрыск чистяковского рода.

Но всему приходит свой час. Пришел он и для деда — остепенил его, и в последний раз, приехав из Питера, дед

явился уже не на тройке, а пешим, зато с деньгами,— все, что за год выиграл на бильярде, сберег на чаевых, все принес домой. И начали строить дом. Строили три года.

В первую же ночь, как только въехали, на чердаке начал кто-то катать чурбан.

«Домовой-батюшка,— сказала бабушка и перекрестилась. Дочки, еще девчонки, испугались.— Чего боитесь, радоваться надо — обживает. Вишь, чурбан на место ставит».

Утром братья, а с ними и Дуняшка, моя мать, взлезли на чердак. Перекрестились. Чурбан стоял в углу, а накануне, как утверждал Николашка, любимый брат матери, он стоял на середине, у стояка.

Сколько потом я ни допытывался у матери — правда это или выдумка, так и не мог узнать.

«Я, конечно, в домовых не верю,— отвечала она,— но а кто же все-таки чурбан-то в угол поставил?»

В новом доме жизнь пошла лучше. Сынов дед Михайло отправил в Питер на обученье ремеслам, дочери определились в мастерскую белошвейки. Стали шить и на себя, наряжаться, и про них любимские парни говорили уже так: «Во, соколенские модены пошли!»

Я без труда нашел бабушкин дом, ни у кого не спрашивая. Он так и остался угловым, только теперь уже выходил не в поле, а боком на новую улицу, протянувшуюся по границе поля.

Странное состояние было у меня, когда я смотрел на него. Словно из другого мира, из другой жизни был этот дом. Даже не верилось, что я в нем жил, выбегал из калитки, куда-то мчался по своим мальчишечьим делам, смотрел из окон на дождь, засыпал в нем и просыпался с великолепным чувством здоровья и беззаботности. Лишь один его вид вызвал столько воспоминаний о близких, кого уже нет в живых, что само собою стеснилось дыхание.

— Вам кого?

В верхнее окно глядела на меня старуха. Глядела удивленно на человека в легком плаще, с фотоаппаратом через плечо, в шляпе, стоявшего посреди дороги.

— Вас,— ответил я.— Можно зайти?

— Заходите...

Что-то случилось со двором, наверно, перестроили, и

я его не узнал. Но лестницу, по которой не раз взбегал,— вспомнил сразу. И я поднялся по ней. Ступени тихо поскрипывали под ногами. Может, они и тогда скрипели, но я не замечал, тогда мне было не до таких мелочей. Тогда я летал, как птица, а сейчас размеренно переступал с одной на другую.

Горница! Я узнал ее. Тогда она, конечно, была больше, теперь меньше, но та же! И окна те же! И я смотрел в них и видел такое же небо, синее с белыми облаками, и под ними вдали станцию, и за ней лес, такой же, синеющий темной гребенкой.

Веселыми, улыбающимися глазами смотрела на меня хозяйка. Ждала, что скажу.

Я сказал.

Она ахнула, подвинула мне стул, морщинистая, ласковая, полная простодушного любопытства. К ней тут же прильнули две внучки.

— Матушка, ну-ко ты, кто приехал,— не могла надивиться она, и с каждой минутой все больше лучились ее добрые глаза.— Матрена-то Яковлевна жива ли, да нет, поди-ка, уж померла...

— Да... В блокаду.

— Спасибо ей, ввек не забыть ее доброты...

И тут выясняется то, чего я не знал.

Один за другим покидали этот дом дети. Умер дед Михайло. Последним уехал младший сын — Николай. И затосковала старая. Одна, все одна. И зачем этот дом, и хозяйство зачем? И решила продать и уехать в Ленинград — там две дочери, там ее сын. И продала, вот этой, с добрыми глазами. Но у новых хозяев не хватило денег, чтобы рассчитаться, и уже готовы были продать корову, но бабушка, узнав об этом, воспротивилась.

— Да кто ж это продает корову, если в семье малые дети?— с укором сказала она.— Погожу с деньгами. Не куда-нибудь, к детям своим еду, да и не пустая, вон сколько денег дали. Погожу. Тогда дошлете.

— Заплакала я, хотела руку ей поцеловать за ее доброту, так она осердилась...

Да, добрая была. Все другим, себе ничего. Такой и умерла. Отдавала свой единственный кусок хлеба, блокадный, сыну Николаю, лежавшему в госпитале, обрекая себя на смерть. И умерла февральским утром на улице, и где ее прах — никто не знает.

— Так, мои милые, так... — грустно качает головой Александра Николаевна, так зовут хозяйку.— Значит, внучек будете ее?

— Да... Вот здесь мы с братом жили. Теперь у вас по-другому, а тогда была лежанка...

— Плиту поставили.

— Да, да...

И верилось и не верилось. Неужели здесь слышался бабушкин голос, кликавший нас к столу, неужели здесь, в этой комнате, набегавшись за день, усталые, мы засыпали рядышком, и в эти окна заглядывала к нам луна, и здесь на полу до изнеможения мы боролись, и здесь я пристрастился к чтению, обнаружив в углу множество книжечек, приложений к «Гудку»... Те же окна, тот же невысокий потолок, и вид из окна тот же. Будто сорок лет, как белые облака, прошли над крышей, не коснувшись ее.

— Николай-то Михайлыч как?— спрашивает Александра Николаевна.

— Умер.

— Так, так... — Это ее не удивляет, да и горечи нет в этом «так, так».

А мне становится тяжело. Никого уже не осталось в живых: ни отца, ни матери, ни дядьев, ни дедов. Каждую потерю я переживал в отдельности. Но здесь, в этом доме, все утраты как бы сосредоточились и навалились на меня из каждого угла.

Только теперь я понимаю, каков он был, брат моей матери. Нет, он не относился к той категории передовых рабочих, которые выступали на собраниях, брали на себя повышенные обязательства, были застрельщиками в соревновании, нет, но он всегда был рабочим. «Бражка мастеровая» — как он любил называть всех равных себе. Мальчишкой был отправлен в Питер. Там, в мастерских, прошел всю школу — от таски за вихры с беганьем для мастеров за водкой до обученья всем скабрезностям и непристойностям городской жизни. Ютился по углам. Нагляделся и натерпелся всякого. Научился мастерству. Научился и пить. И стал бешеным во хмелю и сумрачным, малоразговорчивым в трезвости. Но работу свою любил и гордился кузнечным мастерством.

Суровы бывали у нас порядки, но его в дни запоя не увольняли, дожидались выхода, ценили умелые руки.

И это он понимал и, выходя, работал так, что не одна Почетная грамота вручалась ему в дни больших празднеств.

Женился он так.

Как и многие подмастерья, уже получавшие от хозяина деньги, он снимал в квартире «угол». Прибирала за ним Настенька, молоденькая жена хозяина, крепкого старика. «Деваться ей было некуда, потому и пошла за старого пса»,— пояснял дядя Коля. И вот молодые стали переглядываться, улыбаться друг другу и в один прекрасный день сговорились уйти, чтобы жить вместе.

— Что, тебе других мало?— загородил дверь хозяин.— Ты молодой, любую возьмешь. А эту не тронь! Не пущу ее!

— А я тебя и спрашивать не буду,— сказала Настенька.

— Молчи, дура! Не ты решаешь. Вот что, Николай, дам я тебе пять сотенных, и отваливай отсюда, будто и не знавал Настюхи,— сказал хозяин и протянул деньги.

— Засмеялся я, обнял Настену, и пошли мы. Кричал старик, веришь ли, плакал, обещал еще больше денег, да разве я променял бы ее тогда на какие деньги? Ни в жизнь! А теперь бы за «маленькую» хоть самому сатане сплавил.— При последних словах он озорно блеснул глазом на уже постаревшую свою Настену и весело рассмеялся, когда она обрушилась на него, обозвав «лысым чертом, который никак не может подохнуть от водки!» Но это ею говорилось без злобы, просто меж ними уже давно установилась такая манера обращения, чтобы не показать на людях, что до седин сохранилась любовь.

Пил много, но бывали и светлые полосы в жизни. Однажды семь лет не притрагивался к вину и нарушил зарок только в войну, получая в блокаду специальные талончики на водку. «Продавать или менять не обучен. Мы — бражка мастеровая, у нас своя честь и совесть. Но и бросать рука не подымается»,— объяснял он. И опять втянулся. И только за два года до смерти бросил пить. Тогда ему было уже семьдесят лет. Находился на пенсии, но сидеть дома не мог, работал в артели инвалидов. Предлагали ему служить гардеробщиком при ресторане, он наотрез отказался. «Чтобы я — бражка мастеровая, подавал кому пальто! Ни в жизнь!» — и с удовольствием пошел на завод охранять шкафчики с одеждой рабочих.

На старости лет пристрастился к чтению. И стал рас-

суждать и, к своему удивлению, обнаружил себя «философом».

— Я, племяш, много думаю. И пришел к мысли, что мало кто из людей знает, зачем живет. Вот спрашиваю своего напарника по работе: «Скажи, Андрей Капитоныч, зачем ты живешь?» А он отвечает: «А хрен его знает, теперь уж немного осталось».— «А раньше, спрашиваю, зачем жил?» — «А я, говорит, не задумывался. Как сокол летал, а теперь как лягуха прыгаю». На том и разговору конец... А ты мне вот что скажи, был Христос или нет? И вообще о боге. Я понимаю так, что бог был придуман, чтоб человек больше боялся. А теперь чего бояться, лишь бы милиция не узнала. Я, племяш, много думаю...

Умер он от рака пищевода. Лежал. Ничего не ел.

— Плохой, совсем стал плохой,— сокрушенно глядя на него, говорила Настена.

— И скажи, племяш, куда сила девалась? Ведь я же здоровый был. Помнишь мускул-то?

Я помнил. Ему нравилось любоваться своей силой. Напряженно, так что дрожал кулак, подтягивать его к плечу и глядеть, как вздымается высоким белым бугром перепоясанный синими жилами бицепс. И всегда просил, чтобы кто-нибудь потрогал его. «Мускул» был каменным.

— Все уходит, племяш. Сейчас мне ничего не хочется и ничего не страшно... И ты не бойся смерти. И не думай о ней, не стоит она того... Она только издали страшная, а вблизи... слова не стоит...

Умер он спокойно. Отвернулся к стене и уснул.

К известию о том, что дядя Коля умер, Александра Николаевна, как я уже сказал, отнеслась спокойно. Видно, в ее жизни дядя Коля прошел стороной. О Настене почему-то и не спросила. И повела меня в летнюю комнату, чтобы показать икону, которую ей оставила бабушка.

Чтобы попасть в летнюю комнату, надо только перейти сени. Конечно же, я не раз пробегал по ним, скупо освещенным маленьким оконцем, и не раз бывал в этой летней комнате, но почему-то не запомнилась мне она — большая, с низким потолком.

В ней было полно разного хлама. На шатком столе в темном углу тускло светилась черным лаком большая икона в потускневшей медной оправе.

— Этой иконой благословляли Матрену Яковлевну на брак,— сказала Александра Николаевна.

Этого я совершенно не знал... Да и вообще, как все же мало знаю о своей родне. И не понимаю, как могло случиться, что у меня, да и только ли у меня, нет естественной любознательности к своим предкам. Спросил ли я у матери хоть раз, кто у нее был дед, кто бабушка? Знала ли она их? Как жили? Не спросил. И не знаю. И теперь уже никогда не узнаю.

«Мы — не Иваны, не помнящие родства»,— одно время это изречение звучало довольно часто. И тогда действительно думалось, что «мы — не Иваны», и только теперь, вот в этом чулане, перед бабушкиной иконой, я понял, что я-то как раз и есть тот Иван, и не знающий, и не помнящий родства! И один ли я такой?

Передо мной старая икона. Ею благословляли бабушку Матрену, тогда молодую. И держал икону ее отец, мой прадед. Ведь был же он! Был! Ведь в тот час он и мое будущее благословлял. Будущее продолжение русского рода. И родилась мать, и родился я, породивший дочь, а она дочерей и сына, и стою, и гляжу на икону, не знающий родства правнук...

Тот же дом, та же кухня внизу — я пришел и ее посмотреть, и те же два оконца в метре от земли, и та же русская печь, из которой бабушка доставала горячие хлебы, раскаленные щи, топленое молоко с толстой румяной пенкой — все так же, как и тогда! Но тогда было все просто, бездумно-празднично, а теперь, спустя годы, ото всего веяло щемящей грустью.

Бывало, приходил сюда с «железки» дядя Коля. И тетя Настя начинала, не мешкая, накрывать на стол. Неторопливо он мыл руки, лицо, шею из большого медного умывальника, надевал чистую косоворотку, причесывался и, угрюмовато поглядывая на всех, садился на свое место, на котором когда-то сидел дедушка Михайло. Руки у него были небольшие, с короткими, но сильными пальцами. В его миску, кроме мяса, всегда клали еще и кости. Он любил их грызть и обделывал так, что собаке уже ухватиться было не за что. После обеда закуривал трубку. Посасывая ее, начинал говорить с братом,— на меня он почти не обращал внимания. Брат же ему нравился за то, что любил паровозы, и из них особенно отли-

чал «сормовский декапот». В моем брате ему виделся в будущем машинист — «бражка мастеровая».

Кухня... Я не торопился уходить. Вряд ли приду сюда еще раз, и потому хотелось представить, не вспомнить уже, а представить, как за этим столом собирались дед, бабушка — молодые еще, как, гомоня, усаживалась многочисленная ребятня. В доме было тепло, а за окнами ухал мороз, ярославский, крещенский. Быстро наступал вечер, и сестры собирались на посиделки и убегали, и в доме наступала тишина, только слышалось похлопывание ладоней о бока сита — это бабушка готовила новую опару на утро. Дед Михайло в очках читал газету. Эту привычку он привез из Питера, за что уважался соседями.

Об этом рассказывала мать. И еще о том, как вот сюда, в кухню, пришел мой отец сватать ее. Он приехал в гости к своему брату и в первый же вечер увидал на качелях мою мать. Тогда ей шел семнадцатый год, отцу было двадцать пять. Осанистый, круглоголовый, «проворный» — как сказал про него великосельский дед, он сразу отметил среди других смуглую девчонку в развевающемся платье и, как только представился случай, тут же вскочил на качели и, решив показать себя, пошел вкруговую. А ей еще не приходилось крутить «солнышко», но и перед незнакомым парнем не хотелось себя уронить, и, побледнев, вцепившись намертво в шест, не спуская своих темных глаз с парня, начала сама все сильнее раскачивать качели, чтобы оробел парень. И только один раз негромко вскрикнула, когда качели на мгновение встали свечой. Но не успел еще опасть подол, как с размаху ринулись вниз, и снова взлетели, и, перевалившись через вал, снова вниз, и снова вверх, и снова вниз, и стало уже не страшно, и любо было глядеть в серые глаза отчаянному парню.

Конечно же, он провожал ее до дому. И что-то говорил такое, что нравилось ей и дало ему основание явиться в ее дом со своим братом. Дед Михайло сидел в кухне. Дмитрия — брата отца — он знал как мужика серьезного, непьющего, что было крайней редкостью среди сапожников. Обычно начинают разговор сваты, но отец этот порядок нарушил. Четко, по-солдатски он доложил деду Михайлу о том, что любит Дуняшу и хочет на ней жениться.

«Быть по сему!» — тут же решил дед.

Бабушка заахала, замахала руками, куда, мол, ей, девчонке, еще по черемуху лазает, вчера только снимала ее с дерева, зацепилась подолом за сук, но поглядела на вспыхнувшее радостью лицо дочери, посмотрела на грозно сдвинутые брови Михайлы и заплакала, понимая, что дело уже решенное, и тут же стала накрывать на стол, потому что Дмитрий уже ставил бутылку водки.

Позднее дед Михайло так объяснял свое быстрое решение: «Я как увидел его, как он отрапортовал мне, сразу понял — не пропадет Дуняшка. Деловой!»

Ах, кухня, кухня, бабушкин дом!

— Приезжайте к нам,— сказала Александра Николаевна,— по осени грибов у нас много. Я вам места укажу — и рыжики и белые. У меня и жить будете...

— Да, да... Спасибо... Спасибо...

Я простился. На улице еще и еще раз посмотрел на бабушкин дом и тихо побрел вдоль домов. За заборами цвели яблони. Блистали молодой листвой, лопоча что-то свое, придорожные деревья. Теплый ветер касался лица. Перекликались петухи. Все было спокойно в этом мире, но на сердце у меня была осенняя грусть, и чувствовал я себя одиноко.

Я шел на кладбище,— надо было постоять у могилы деда Михайлы. Забор — дом, забор — дом, забор — дом,— так и чередовались они от окраины до самого центра, пока я не вышел на площадь. С одной ее стороны тянулись старинные торговые ряды, с другой широко раскинулся «Вал» — так еще при мне называли высокий берег Обноры с вековыми громадами деревьев. Среди могучих крон виднелись купола церквей.

В парке было светло и празднично. Пересвистывались птицы, мягко шумели деревья. Школьники в трусах и майках бегали по песчаным дорожкам. Светло сверкала внизу Обнора. В райкоме партии мне сказали, что сейчас она не так красива, но когда закроется плотина, и подымется вода, и зальет большое пространство, вот тогда она станет по-настоящему красивой. Наверно, это так. Но и в этот день она была хороша, типичная река средней русской полосы, с ее веселыми изгибами, прозрачной водой, когда можно, стоя на мосту, видеть стаи взблескивающих рыб, с ее неторопливым течением и склоненными к воде ивами.

Я постоял на мосту и пошел к единственной действующей церкви, стоявшей на окраине. Кладбищенской. Мне хотелось побывать на могиле деда Михайлы.

Пусто было в церковном дворе, и поэтому особенно громко стучали ботинки о каменные плиты дорожки. Могилы начинались сразу же за оградой, как всегда, в начале кладбище более тщательно охраняемое, железными оградками, с портретами на крестах и пирамидах, но чем дальше я шел, тем заброшеннее они были. И в конце уже оплывшие, со вросшими от времени железными крестами, так что виднелась над землей только верхняя перекладина. Обойдя многие свежие и еще больше отметив взглядом старых, безымянных, я понял, что повторяется та же история, что и в селе Великом,— могилу деда мне не найти.

Так оно и случилось, я ее не нашел. И грустно стало и стыдно за себя. Да что же это такое? Да почему же только через сорок лет я вспомнил о своей родине? Где же я был раньше-то? Даже могилы дедов затерял! Нет, тут никакого не может быть оправдания. И впервые в этот горький час я задумался о родине, о России: а так ли я понимаю Россию, как надо понимать, да и понимаю ли ее вообще? Доходит ли до меня глубинный смысл этого великого слова? Или я просто привык к тому, как им оперируют в нужных случаях, и не задумываюсь над его сущностью?

В глубоком раздумье я вышел на берег Обноры. Тихо и беспрерывно несла она свои воды в синеющую даль. Журчала, струилась, накатываясь на берег. И мысленно я представил себе, как долго она будет бежать по равнине, среди полей и лугов, то приближаясь к селениям, то уходя от них, пока не сольется с рекой Костромой, и уже вместе с ней поспешит дальше, по пути напоит Костромское водохранилище и оттуда войдет большой водой в могучую Волгу, чтобы прибавить ей силы, чтобы не оскудела она, великая река России.

ЧУДНОЙ

На деревне шло гулянье: праздновали осеннего спаса. Пели, плясали, пировали. В доме Ивана Кочурина было тихо, жена еще с вечера ушла в соседнее село, к своим,

и он остался один в пустом, чисто прибранном доме. Солнце, за весь день так ни разу и не показавшись, уползло за край земли, и теперь отовсюду, а больше всего из леса и глухого оврага, выползали густые сумерки. Темнело. И как всегда в такие праздные часы, на Ивана наваливалась гнетущая тоска. Он знал: чтобы избавиться от нее, надо было занять себя чем-то или пойти к людям, и обычно шел в клуб, но теперь из-за праздника, из-за того, что там толкались загулявшие мужики, путь был только один — на станцию.

До станции не так-то уж близко, километров восемь. Но если идти спорым шагом, то часа за два можно добраться, раньше никак, потому что дорога расхлюпана, тропа же, что бежит обочь дороги, склизкая, да и вечер, уже темно, того и гляди съедешь в канаву.

Иван шел тропой, шел быстро, широко размахивая руками, твердо ставя ноги, будто и не было гладкой глины, и ни разу не остановился, не прислушался к затихающему ору загулявшей деревни. Но он чувствовал ее даже спиной, эту свою родную деревню, в которой родился, вырос и вот уже старится. За прожитые им пятьдесят лет она стала лучше, светлее, но как еще трудна ее жизнь, как неустроенна, мотает ее из стороны в сторону. А помнится, еще давно отец говорил: «Для тебя, сынок, будет жизнь легкая, радостная...» Отца убили кольями за то, что писал заметки про кулаков. Кулаков теперь нет, но и той жизни, о которой мечтал отец, тоже пока не видно. «Может, она и есть, только не в нашем колхозе,— с горечью подумал Иван,— может, где в другом месте». И как-то незаметно для себя отдавшись думам, стал перебирать в памяти все, что видел и знал о своей деревне.

Всякого он насмотрелся за свою жизнь. Было и радостное и горькое. Всякого хватало, и как только терпения набралось, чтоб не плюнуть на все да уйти из деревни. На что уж у Ивана жена тихая, а и то как-то сказала:

— Какой-то чудной ты, Иван, и чего за колхоз цепляешься? Вон люди-то: не хуже тебя, а ушли в город. Шел бы и ты, право, все легче стало бы...

— Как же это уйти? Ведь эдак если мы все поразбредемся, то и колхоз загинет,— помнится, ответил он ей.

— А тебе что, больше всех надо, что ли? Вон сапоги-то прохудились, так и кожи не достать, чтоб подколо-

тить. Что кожи, резины — и той нет. И чего ждешь? Савельев-то опять пьяней вина приволокся вчера. Остатнее пропивает...

— За пьянство его ответ, а мое дело свою работу исполнять.

— А проку?

— Будет прок. Земли-то вон сколько теперь. Я ведь помню, как батька радовался, когда колхоз затевали, тогда что, клочок был у нас, а теперь-то... ого! Только вот одна беда — хозяевать не умеем. Ну, да ничего, все наладится,— веселея, говорил он,— такая будет жизнь—душа запоет, это уж ты верь мне.

— Право слово, чудной ты: и в парнях все обнадеживал, все манил, и теперь несешь, сам не знаешь чего, будто и не видишь, как живем. И что это, всамделе, за жизнь, если хлеба невдосталь, на картошках сидим. Ладно, хоть детей нет, не то взвыли бы. И когда конец этому будет? Не две жизни — одна...

Ну, что ей можно было ответить? Что сказать? И права, и не права. Как землю-то бросить? А и пожить хочется, ведь не хуже других его Анна, да и сам он ни в чем не провинился, все делал, что велели.

— Ничего, Анна, наладится, дело-то новое, только работать надо. Без работы все прахом пойдет. А что Савельев пьянствует, так и на него найдется управа. Что во вред народу, тому завсегда будет конец. Это уж точно, ты верь мне,— и для внушительности подымал заскорузлый палец с толстым, как луковица, выпуклым ногтем. Вздыхал и радостно говорил:— Вот весна скоро придет, тогда, смотришь, и дела новые заварятся. Весной завсегда веселей, верно?

Приходила весна. Чернел на ветру и солнце Иван, пропадая днями и ночами на полях. Когда спал, и сам не ведал.

— Весенний день год кормит. А как же! Тут уж не зевай,— появляясь дома, чтоб отмыться да набрать еды, бодро говорил он жене. И Анна, видя его таким, веселела, начинала думать: а может, и прав Иван, должен же быть когда-то конец и ихнему бездолью.

— Земля нынче хоть куда,— говорил Иван, уминая сковороду картошки,— однако что-то плохо МТС разворачивается, один трактор, чего тут наработаешь; я уж и то ребят уговорил в ночную пахать, и воду им вожу,

и с сеялки не слазю, а дело туго идет. Надо бы Савельеву в район сгонять.

— Отгонялся,— с сердитым весельем в голосе говорила Анна.

— Чего так?

— Люди сказывали, будто снимают его. Нового назначать будут.

— Нового? Вот не время.

— Тебя не спросили.

— А что, и не спросили. Пойду, скажу.

И шел. Крутил ручку телефона в сельсовете и обстоятельно доказывал, что Савельева снимать теперь никак нельзя.

— Ну, вот и пойми вас, товарищ Кочурин,— осуждающе говорил секретарь райкома,— то сами сигнализируете, что пьянствует председатель, губит хозяйство, теперь же говорите иное.

— Снимать его беспременно надо,— мучился перед трубкой Кочурин,— только не время сейчас, лучше б после сева. Отсеемся, тогда уж и снимайте.

— Да зачем же он вам нужен, если пьянствует?

— Дык новый-то приедет — мешать станет. Путать начнет попервоначалу, а тут самый разгар, тракторов у нас не хватает...

— Ну это вы глупости говорите. Пришлем такого, чтоб не только не мешал, а наоборот, всячески содействовал выводил ваш колхоз в передовые.

Приезжал новый, но дела в колхозе шли по-старому. Приезжал другой новый, а дела шли все хуже. Как-то предложили Ивану стать председателем.

— Обеими бы руками ухватился,— ответил он,— да куда мне, я еле подпись свою рисую...

Отстали, а дело шло все хуже. И вдруг умер Сталин. Словно небо рухнуло на землю. Как жить? Но прошло время, а жизнь стала лучше. Налоги сбавили, цены на заготовки повысили, коров разрешили держать. Повеселела деревня. А когда по призыву партии приехал в колхоз ее посланец, то Иван в этот день, хотя и была среда, сходил в баню, побрился и пришел в контору в чистой рубахе. Говорить он ни о чем с приезжим не говорил, только смотрел на него, слушал и радовался. Для него этот человек был самой верной надеждой.

И не ошибся: пошли дела в гору. Скотный двор по-

строили, электрический свет по избам провели, на трудодень хлеба дали. Да жаль, недолго пробыл посланец, отозвали его в другое место, а в колхозе опять началась чехарда с председателями. Сколько их сменилось с тех пор — человек шесть, не меньше... Нынешний вроде бы и ничего, усердный. Только одно плохо — народ устал от всей этой неустроенности...

Впереди засветились редкие огни станции. Они были похожи на звезды, низко припавшие к земле. Одна из них была зеленая. «Семафор» — определил Кочурин и пошел быстрее. Сначала тихо, а потом все громче стала доноситься музыка. Она лилась из вокзального репродуктора, уносилась в поля и где-то вдали затихала. Ивану чудилось, что под ее тихие звуки засыпали в кустах птицы, прыгали по озими зайцы. Она была для всей земли, для всех.

В зале ожидания был буфет с двумя столиками. Покачиваясь, к Ивану подошел Игнат Тряпицын — полевод колхоза, одно время работавший завклубом.

Мигал он медленно, как голубь, и веки, будто пленки, затягивали ему глаза, но сказал он твердо и четко:

— Надо понимать и динамику и жизнь. Я могу работать в любом плане, по теме и не по теме. Но дайте мне кусок лирики, песню в жизни!

Иван ничего ему не ответил и прошел на перрон. Там одиноко гулял милиционер. Он был франтоват и несколько величествен. Увидя Кочурина, остановился и спросил:

— Как на деревне, спокойно?

— На полях спокойно, а в деревне пируют,— невесело ответил Кочурин.

— Происшествий нет?

— Покуда нет.

— Глава артели в отсутствии?

— Да, не любит он этого.

— Насколько я понимаю, у него такая привычка — от праздников ликвидироваться. Такой же факт был в троицу.

— Видно, такая,— нехотя согласился Иван,— а что станешь делать, если они и слушать никого не хотят. И ведь, главное, в бога не верят, а пируют.

— Несознательный элемент. Насколько я примечаю, ты не употребляешь крепкие напитки?

— Нет.

— Это хорошо. Если бы все были вроде тебя, тогда милиции можно бы спокойнее работать...

Из-за семафора раздался протяжный гудок, и не успел он заглохнуть, как тут же показался большой светлый глаз. Он стал быстро увеличиваться, и вот уже на него больно смотреть. Паровоз, обдав жаром, прошел мимо, и, все замедляя ход, потянулись вагоны.

Это был единственный поезд, который задерживался на Ломпади, все остальные шли напроход — и курьерский, и скорый, и пассажирский. Только почтовый останавливался тут. Почтовый с единственным мягким вагоном и двенадцатью плацкартными, жесткими. В мягком ехали люди в пижамах. Смешно вспомнить, но Иван поначалу думал, что они пошили себе костюмы из матрасов, и только позднее узнал, что есть даже шелковые пижамы, стоившие подороже его грубошерстного костюма. В общих же вагонах был разный люд — военные, едущие в отпуск или возвращающиеся в часть, женщины с детьми, старики, молодежь. Поезд шел в Москву, и поэтому те, кто находился в нем, тоже ехали в Москву,— так полагал Кочурин. За всю свою жизнь он покинул деревню всего один раз, когда ушел на войну, а так жил безвыездно. Москву он видел только в кино, знал, что это очень большой город — с Кремлем, со множеством автомобилей, весь в огнях. И еще он знал, что там есть выставка достижений народного хозяйства и что на эту выставку приезжают те, кто удостаивается высокой чести за свой труд.

«Есть же люди,— думал в такие минуты Иван,— и колхозы есть, не чета нашему. Вот и живут как надо... Когда же мы-то?»

Почтовый стоял всего пять минут. И поэтому, да, верно, еще и потому, что стал накрапывать дождь, пассажиры из вагонов не выходили, только промчался к буфету матрос. Иван неотрывно глядел в освещенные окна вагонов — везде были люди; иные смеялись чему-то, другие разговаривали, стоя у окон, читали газеты, курили.

«Вполне возможно, что есть в этом поезде люди, которые едут на выставку,— подумал Иван,— не может того быть, чтобы изо всего поезда не нашлось нескольких человек, которые бы не отличились в труде». И он старался по лицам определить таких людей. Это сделать ему было

легко. Он знал: у тружеников лица открытые, немного усталые, серьезные. Вот взять хотя бы того узколицего. Морщин-то у него не по годам, сразу видно — старатель... Подойти, спросить бы; может, и верно едет на выставку; потолковать бы, узнать, за какие добрые дела он отмечен... Но не пойдешь же в вагон, да и времени не осталось. Вон и матрос уже бежит обратно...

Вслед за матросом вышел с флажком дежурный по станции. Он поднял флажок, и поезд тут же тронулся с места. И окна с людьми поплыли мимо Кочурина. Проплыл и узколицый. Иван приветливо улыбнулся ему, подумав: «А что, если и верно, едет он на выставку? Тогда пускай человеку во всем будет удача».

Поезд ушел. Иван долго смотрел ему вслед, пока не затерялся во тьме сигнальный огонек на последнем вагоне, потом облегченно вздохнул и направился к вокзалу.

В буфете шумел Игнат Тряпицын.

— Идем-ка домой,— сказал ему Иван.

— Нет, ты постой,— сразу же прицепился к нему Игнат.— Давай выпьем!

— Ты же знаешь, я не пью,— вразумляюще, как малому, сказал Иван.

— Во, чудной! Да мы всего по сто. Ну, а?

Но Иван вел его уже к выходу.

— Идем, идем,— приговаривал он,— ночь-то, смотри, какая темная, а дорога склизкая. Где тебе дойти, такому-то... А завтра работать надо.

— Не буду работать,— вырвался из рук Кочурина Игнат.

— Будешь, как же иначе... Надо.

— А я, может, в театр хочу,— ломался Игнат,— может, у меня душа песню просит. Кусок лирики.

— Ну что ж, пой.

Игнат что есть силы запел. Кочурин не любил этого пьяного рева, но тут не мешал; пускай поет — каждому свое: один отводит душу песней, другой — дальними поездами.

Они уже вышли из полосы света и теперь шагали по дороге. Игнат поскальзывался, Кочурин подхватывал его под руку, помогал выровняться, поддерживал. Милиционер удовлетворенно смотрел со ступенек вокзального подъезда на удаляющуюся пару.

НОВЫЙ ЕГЕРЬ

На станции их встретил егерь, рослый мужик с бородой и без усов. Он помог погрузить вещи на телегу, усадил Клавдию Алексеевну и легонько тронул вожжами лошадь. Поехали. Не больше, как с час назад, прошел дождь, на дороге лежали лужи, но уже солнышко приветливо освещало мокрые кусты, поля, перепаханные под озимь, озерко, по берегам заросшее камышами.

Клавдия Алексеевна сидела среди вещей, придерживая их обеими руками, глядела по сторонам, проявляя скорее настороженность, чем любопытство, и чем дальше уходила дорога в лес, тем строже становилось ее лицо. Она совсем не представляла, что ожидает ее впереди, и вся эта поездка казалась ей непонятной и дикой. Но она привыкла во всем подчиняться мужу. Подчинялась и теперь.

Он же, радостный, даже счастливый, что вот наконец-то достиг своего, размашисто шагал рядом с егерем. Он был в болотных сапогах, в короткой куртке, с прилипшими ко лбу седыми волосами. Привычно отмечал все, достойное внимания охотника, и если спрашивал о чем-либо Макарова — так звали егеря, то единственно ради своего удовольствия. Он не понимал, почему этот человек уходит отсюда. И все опасался, как бы тот в последнюю минуту не передумал и вдруг не изменил своего решения. Ему трудно было постичь: как это можно отказаться от такой благодати.

«Не шутка — любить дело и как следует не прикоснуться к нему,— размышлял Николай Васильевич.— Но теперь-то уж я не только коснусь, а влезу в само нутро природы».

Всю жизнь он тосковал по деревенским зорям, по речке, узенькой, мелководной, в которой «щупал» рыбу под корягами с ребятишками, по болотам с тихими озерками, с которых снимались утки и улетали вдаль по вечернему небу. Все это было отнято у него. Мальчишкой послали в город, в обучение. И детство и юность прошли сначала в чадной мастерской, потом в грохочущем цехе. А тут еще женился, появились ребята, и далеко-далеко, как несбыточное, отодвинулись алые зори.

Повеселее стало, когда догадался купить ружье и начал пропадать выходные дни на охоте. Утро еще только

дымится. Тишина. Чуть слышно лопотание осинника. Сладковатой прелью отдает прошлогодняя листва. Стоят папоротники. Если потереть лист папоротника, запахнет свежим огурцом. Разве это не жизнь? Нет, что ни говори, а человек имеет право пожить в свое удовольствие, пожить так, как ему хочется. Он, слава богу, поработал. Немало потрудился. Девчонок вырастил, выдал замуж. Можно подумать и о себе.

Дорога отвернула влево. Подвода въехала в густой ольшаник. Когда-то его подрубали, но теперь он разросся и образовал собой настоящий свод. И сверху и с боков доносился птичий пересвист. Но не тот летний, озорной, а скорее озабоченный, и лишь стоило телеге стукнуть о камень, как в кустах зашумело и птицы стаей снялись. Конец сентября чувствовался не только в этом. Тяжелые пожелтевшие листья отрывались от веток и, словно в раздумье, плавно качаясь, тихо падали, устилая дорогу.

Жаль было, что лето уже кончилось. Но и осень хороша! В ней особенно много чуткой тишины, спокойного отдохновения после страдной поры душного лета, грозовых ливней, слишком яркого солнца. Пожалуй, Николай Васильевич любил осень больше, чем другие времена. Ему так и рисовалась охота по чернотропью, когда заяц уже успел побелеть и так четко виден среди мокрых, почерневших кочек и кустов.

— И зайцы есть?— спросил он Макарова.

— Есть,— беспечно улыбаясь, ответил егерь.— К дому подбегают. Яблони оберегайте.— Он забежал поперед лошади, сбросил на землю жерди с изгороди, и подвода въехала на участок. И сразу подул ветер. По обе стороны от дороги закачались, закланялись, будто приветствуя, кусты черносмородинника. Зашумели яблони. И на фоне серой воды показался дом. Он стоял на берегу бухты. По ее краям рос высокий камыш. Вода в бухте лежала спокойно, а там, на выходе, видно было, как серые волны, перекатываясь, уходят в простор. И простору этому нет конца.

Вплотную к домику подходили высокие, обрывистые скалы. На их камнях, неведомо как держась, росли сосны. Они, словно по ступеням, подымались до вершины, спускались и появлялись вновь уже далеко, на другой вершине, более темные и слитные.

«Эх, жалко, нет солнца, при нем бы вся эта местность выглядела куда веселее! — подосадовал Николай Васильевич и посмотрел на жену: нравится ли ей?

Клавдия Алексеевна, не выражая никаких чувств, осматривалась. Мысленно она уже в сотый раз хвалила себя за то, что настояла не брать всех вещей, не отметилась в домовой книге и вовремя успела прописать младшую дочь. Поэтому ни восторга, ни разочарования Николай Васильевич на ее лице не увидал.

Перетаскав вещи, он не утерпел и вышел к воде. Бухта оказалась не такой уж маленькой, как он думал, стоя у дома. Она зализывала землю, растекаясь в маленькие бухточки, и, чтобы ее обойти, приходилось взбираться на крутые обрывы, прыгать по камням, петлять. Но это как раз и было хорошо! Чем глуше, дичей, тем лучше!

Выйдя на Ладогу, он остановился. Как было много воды! Она накатывалась волнами на берег, била в камни, ползла к его ногам и, оставляя на гальке щепу, ветки и белую пену, уходила обратно, словно для того, чтобы разбежаться и еще дальше продвинуться по земле.

Диковато было здесь. Ни судна, ни лодки не виднелось на водном просторе. Далеко в дымке смутно вырисовывались острова. Неподалеку от Николая Васильевича сел куличок и, не обращая внимания на человека, стал озабоченно ходить по песку. Потом свистнул и низко, почти над самой водой, полетел дальше.

Дома Николай Васильевич застал чудесную картину. Макаров, только что проверив жерлицы, принес пару здоровенных щук и, сидя на полу, потрошил одну из них. Ему помогала жена, маленькая, узкоплечая Анна. На коленях Клавдии Алексеевны сидела их дочурка, светловолосая, с крепенькими ножонками Женька, и ласково, тягуче говорила:

— Я тебя люблю-у!—В руках она держала конфеты.

Николай Васильевич не утерпел, чтобы не поглядеть щук вблизи. Он присел на корточки и, уцепив рыбу за глазные впадины, поднял ее, показал жене и остался очень доволен, когда Клавдия Алексеевна милостиво улыбнулась.

Первую ночь пришлось провести в комнате для приезжих охотников. Домик был маленький, и, кроме кухни

да еще одной комнаты, в которой жил егерь с семьей, ничего не было.

Ночью, просыпаясь несколько раз, Николай Васильевич слышал за стеной глухой шум и всплеск воды. И когда утром вышел, то увидал, что ветер дует прямо в бухту, нагоняя большие, с белыми гребнями волны.

Сдача и прием имущества не заняли много времени, и к тому часу, когда приехал заведующий охотничьим хозяйством района, сухощавый, бронзоволицый, словно высушенный ветром и прокаленный солнцем человек, все уже было оформлено. Отныне Николай Васильевич становился обладателем, а вместе с тем и ответственным за шесть лодок, кучу деревянных чучел, пять железных кроватей с постельными принадлежностями и журнал, в который он должен был записывать погоду, появление и отлет птиц и всякие иные наблюдения.

Заведующий скрепил своей подписью акт.

— При желании жить можно богато,— сказал он новому егерю.— На первое время я бы советовал обзавестись козой. Вот тебе молоко. Купить кур. Другой раз приезжают охотники без харча. Ты ему яичко, он тебе рубль. Дальше: весной засади огород картофелем. С осени поросенка заведешь. Своя ветчинка. Через годика два коровой обзаведешься. Так живут у меня егеря. Один начал с жерлиц. Полторы сотни ставил. Завалил базар щуками.— Он помолчал, хмуро посмотрел на Макарова, собиравшего вещи, вспомнил: то же и ему говорил — и удрученно вздохнул. Надо сказать, что с базой в бухте Ладоги ему не везло. За короткое время сменилось несколько егерей. То попадали мало знающие дело, то нерадивые, и с ними приходилось расставаться, а то и такие, как Макаров, что сами уходили.

— В общем, жить хорошо можно. К тому же премии бывают,— сказал заведующий и, пожелав новому егерю и его жене всего доброго, уехал. Часом позднее уехал и Макаров, оставив на память жерлицы и две удочки.

И вот они остались одни. Потрескивали в печке дрова, в окна, пробившись сквозь тяжелые тучи, заглянуло солнце, ветер понемногу начал утихать. Клавдия Алексеевна занялась хозяйством: застелила своим бельем постель, прибрала комнату, повесила занавесочку на окно, и стало уютно. Николай же Васильевич некоторое время

находился в состоянии растерянности, не зная, за что ему приняться. Потом надумал проверить жерлицы.

Хотя ветер и поутих, но расходившаяся волна все еще била в берег, и лодки вздымались и опускались на приколе. Не без труда он отъехал от берега и направил лодку вдоль камыша. И сразу приметил шесты с рогульками и отвесно опущенными в воду нитями. Многие из жерлиц были не распущены, на двух не было живцов, и лишь на одной вся нить размотана. Она уходила в глубь камыша. Пришлось немало повозиться, пока он подобрался к концу, и тут, к своему удивлению, заметил плавающую среди камыша утку. Это была чернеть. Увидав человека, она нырнула, и тут же шнур начал дергаться, и егерь понял, что утка попалась на живца. Это было здорово! Это было просто здорово! Николай Васильевич прижал утку к себе и, отрезав шнур, поспешил к берегу.

— Смотри-ка, что я поймал!— сказал он жене и тут же осекся, увидав незнакомых людей. Он совсем и забыл, что сегодня субботний день. Охотники обступили его, посмеялись на глупую утку и стали собираться на озеро. Им нужны были утиные чучела. Но один из них, пожилой, с мясистым лбом, спросил, что думает делать егерь с чернетью.

— Добить придется,— ответил Николай Васильевич.

Охотник достал нож, попросил иголку с ниткой и сделал надрез на зобу. Утка задергалась, но он властно приказал Николаю Васильевичу крепче держать ее и быстро извлек крючок.

— Посадите в корзину. Накройте плотной материей,— сказал он уже выходя.

— Начало хозяйству положено,— засмеялся Николай Васильевич.— Чернеть быстро становится ручной. Лишь выжила бы.

Ему все больше нравилась новая жизнь.

Вернулись охотники поздно вечером, когда уже совсем стемнело, обвешанные утками. Чучела здорово помогли. В ожидании, пока «хозяюшка» (так они ласково называли Клавдию Алексеевну) грела им чай, расположились в своей комнате и стали расспрашивать егеря, почему уехал Макаров и где до этого места работал он, Николай Васильевич.

Николай Васильевич, как мог, ответил им про старо-

го егеря и более подробно, хотя и несколько стесняясь, рассказал про себя, не зная, как отнесутся к этому охотники.

— Нет, это вы хорошо надумали,— с любопытством оглядывая егеря, сказал полный, с солидным брюшком охотник в кожаной куртке.— Ах, с каким бы удовольствием и я бросил свое бухгалтерское дело и засел бы вот в такой бухте! Но тяжел на подъем. Помечтать еще могу, а уж дальше — ни шагу.— Он лежал на постели, положив толстые ноги на стул, и курил.

— Да, это было бы неплохо,— произнес третий, еще довольно молодой, с трубкой во рту, протирая ружье.— Надо только решиться сломать свою накатанную, привычную жизнь.

Николай Васильевич счастливо улыбался, слушая такие отзывы. Да, каждый охотник в душе стремится вот к такой жизни, какую устроил он себе, но не каждый найдет в себе смелость бросить работу, отказаться от привычек.

— Слыхала? — негромко спросил он жену, выйдя на кухню.

— Да ведь я же ничего тебе не говорю,— тихо ответила Клавдия Алексеевна.— Если тебе хорошо, так и мне ладно.— Она понимала состояние мужа: Николай Васильевич все еще никак не мог привыкнуть к новой жизни. Железная дисциплина завода въелась ему в кровь и в мозг. Он все время ловил себя на том, что делает что-то незаконное, достойное осуждения, и в то время как там, на заводе, люди работают, он как бы лодырничает, живя здесь.

При охотниках неудобно было отлучаться из дома, но как только они уехали, сразу же направил лодку на Ладогу. Его манили острова.

В этот день озеро было удивительно спокойное, словно отлитое из стекла. Ни единой морщинки не лежало на нем. Гладкое, ровное, четко отражающее в себе и солнце и берега. Плыть было легко. Николай Васильевич бездумно смотрел на удаляющийся берег, на дымок, идущий из трубы своего домика. Видел, как дымок становился прозрачнее, как все больше вытягивался берег и все, что было на нем, сливалось в одну сизую полосу. Далеко кружили чайки. И все; и больше ни одной живой души. Только в стороне плеснул тюлень, несколько

секунд держал торчмя круглую черную голову и бесшумно скрылся под водой.

Прошло не меньше часа, прежде чем егерь достиг островов. Никогда еще ему не приходилось видеть такой красоты. Берега островов были скалисты, обрывисты. Камни разных красок и оттенков, от багрово-красных до синих, отражались в стеклянной воде, и острова казались подпоясанными драгоценными поясами. В протоках тихо шелестели камыши, в них плескались щуки. Николай Васильевич пожалел, что не взял с собой дорожку на щук, но тут же забыл про нее, увидя выплывающую из-за мыса стаю уток. Он выстрелил — раз на воде, другой — влет, и суматошно заработал веслами, подгребаясь к убитой дичи. Четырех серых! Не так уж плохо! Он держал каждую из них, ощущая приятную теплую тяжесть. И вдруг над его головой пролетели еще утки. Он выстрелил. Смазал. И уже более внимательно стал просматривать этот неизвестный ему край. Выплыв за острова, он увидал новый простор Ладоги, незаметно переходивший в небо. Он сверкал на солнце и, манящий и величественный, преграждал путь дальше. В километре от себя егерь различил серое пятно. Он даже не успел сообразить, чтó это, как пятно взмыло вверх, и только тут он понял, что это гуси. Сотни гусей! Да, здесь было где поохотиться.

К вечеру на Ладоге поднялся ветер, и через каких-нибудь десять минут уже навстречу лодке покатились тяжелые валы. Темнело быстро. Лодка с трудом продвигалась вперед. Но это все были пустяки. Отныне он узнал замечательные места. И теперь при каждом удобном случае будет ездить в острова.

Прошло некоторое время, и Николаю Васильевичу острова уже не казались такими заманчивыми. Они были знакомы. А для человека пытливого то, что знакомо, уже неинтересно. Дальше искать по озеру было невозможно: бескрайний простор лежал непреодолимой преградой,— и егерь устремился на освоение берегов. Он уплывал с утра и возвращался вечером, а то и ночью.

Между тем отлет птиц уже окончился. Все чаще по утрам схватывало у берегов воду. С Ладоги дул студеный ветер. Листва осыпалась. Мелкий снег кружил в воздухе. И однажды, проснувшись, Николай Васильевич увидал, что все побелело. Снег лежал и на земле, и на скалах, и на яблонях, и только в бухте чернела вода.

Первая пороша! Зайцы за ночь напетляли и теперь после жировки спят где-нибудь под кустом или в канаве. Значит, надо быстрей собираться. Не упустить святого часа.

Клавдия Алексеевна только осуждающе посмотрела вслед мужу. Все охота, охота. Целыми днями пропадает то на озере, то в лесу. Приходит усталый, мокрый. Поест и заваливается спать. А утром, уже чуть свет, снова уходит с ружьем. А она опять целые дни одна. Нет, она не упрекала. Даже не говорила, что щуки ей настолько приелись, что она их и видеть не может, что уже давно соскучилась по простой селедке. Что и от уток ее отворачивает, и куда было бы лучше сварить кусок говядины, чем все эти жаркие да супы из дичи. Но она молчала и только про себя вздыхала, вспоминая прежнюю, городскую жизнь.

Особенно ее угнетала тишина. Как было тихо! Сюда к ним никто не заходил. Охотники перестали ездить: далеко от города. И целые дни одна. Развлекала утка. Она поправилась и действительно стала ручной. Ходила за хозяйкой по пятам, негромко покрякивая, напоминая о себе. Большей частью Клавдия Алексеевна находилась дома. Снаружи ветер, крутящийся снег. Вязала скатерть и все думала о том, как безвольно складывается у нее жизнь. Никогда она не собиралась бросать город, жить вот здесь... И надолго ли все это? На год? На всю жизнь?

После первого снега утки ушли со стола, теперь их заменили зайцы. Но и они быстро надоели. В сенях, на морозе, висело больше десятка освежеванных тушек. Клавдия Алексеевна не могла на них смотреть. А Николай Васильевич, обветренный, как никогда здоровый и сильный, сердился на нее, не понимая, чего она привередничает. Он и раньше отличался завидным аппетитом, теперь же съедал все, что бы она ни приготовила. И все нахваливал.

Ел он торопливо и сразу же после еды садился на пол и начинал снимать шкурки, растягивать их на распялке. Управившись, чистил ружье, набивал патроны и после этого заваливался спать. Каждое утро он выходил к бухте, пробовал ногой лед. Но лед еще был слаб. Однако наступил такой день, когда нога не проваливалась. Егерь осторожно прошел шаг, другой... Лед слегка прогибался, но выдерживал. И хотя было рискованно идти дальше,

Николай Васильевич все же пошел. В правой руке он нес пешню, в левой была удочка, у пояса — мешок. Возле берега рыбы не было. А дальше начиналась глубина. Вода подо льдом черная. И если провалишься, то вряд ли сумеешь спастись. Но какой-то бес все время толкает вперед и заставляет все дальше уходить к середине. Не шагая, а скользя подошвами валенок, каждую секунду готовый отпрянуть назад, упасть, Николай Васильевич продвигался по льду в поисках рыбных мест. Неожиданно лед треснул сзади. Егерь замер и невольно оглянулся на берег: далеко ли? Еще страшнее стало, когда от первого удара пешни трещины, гулко ухая, покатились по всей бухте. Вода выплеснулась из глубины, растеклась по льду. Николай Васильевич перевел дух и, волнуясь, опустил в лунку блесну, начал подергивать. И тут же кто-то дернул снизу. Егерь быстро смотал на руки леску и выбросил на лед окуня. Горбатый красноперый красавец начал прыгать и так и этак, тяжело шлепая своим телом об лед.

Самое замечательное в ловле то, что никогда не знаешь, кого поймаешь. Может хватить и окунишка, и судак, и щука килограммов на пять. Тогда уж только сумей вытащить. В азарте Николай Васильевич уходил все дальше, оставляя позади себя множество лунок.

Незаметно угасал день. Край неба, куда опускается солнце, багровел. Синел воздух. Вначале слабо, потом все больше разгораясь, запылали звезды. Воздух намораживался, прихватывал руки. И, чтобы согреться, надо было быстро идти. А лед тонкий. А тут еще мороз начал его сколачивать, открыл стрельбу, И жутко и радостно. Бывало, и раньше Николай Васильевич выезжал в отпуск на охоту или рыбалку. Но тогда отравляло всю прелесть сознание того, что с каждым днем все ближе конец отпуска. А теперь, теперь все время его.

Как-то в середине зимы Клавдия Алексеевна сказала о том, что соскучилась по внучатам и не худо бы их проведать. Николай Васильевич не стал возражать. Хочешь — так поезжай. Но только ненадолго — на неделю, не больше. Клавдия Алексеевна обрадовалась, оживилась и стала собираться. Чтобы доказать дочкам, что батька и на новом месте живет неплохо, егерь нагрузил жену зайцами, дал окуней, пару судаков и проводил до вокзала.

Клавдия Алексеевна пробыла ровно неделю в Ленин-

граде, и эта неделя показалась ей бесконечно длинной, как ночная осенняя дорога. Только первые дни она жила, забыв все, а потом уже подумала о муже: как он там, здоров ли, не случилось ли чего? И с теплым чувством вспоминала свой домик, занесенный снегом, тишину, которая так угнетала тогда и которой так не хватало теперь. Она бы уехала и раньше, но побоялась одна идти лесом, потому что Николай Васильевич, как они условились, должен был ее встречать в точно обусловленный день и час.

Он ее встретил. И по тому, как у него улыбались глаза, как он бережно вел ее по скользкому перрону (была оттепель), Клавдия Алексеевна поняла, что муж скучал и очень рад ее приезду. Она рассказала, как были рады зайцам и окуням, как все удивлялись и ахали. На самом же деле к подаркам отнеслись довольно равнодушно, но Клавдия Алексеевна скорее бы откусила себе язык, чем решилась огорчить мужа.

— Сказала бы: пусть приезжают погостить,— проговорил Николай Васильевич.

— Приедут. Как тепло станет, так и приедут. Уж больно Лизонькин Сашенька просился.

— Ну и что? Взяла бы.

— Побоялась. А ну, что случится, заболеет. И врача нет... Ну, а ты как жил? Поди-ка, и не вспомнил?

— Ждал тебя.

В этот день он на охоту не пошел, не пошел и на рыбалку. И на другой день все утро помогал ей топить печку. С этого времени Клавдия Алексеевна стала замечать в муже некоторую перемену. Он лишь изредка, да и то ненадолго, выходил с ружьем. Может, потому поостыл к охоте, что в лесу навалило снегу по пояс, а лыж у него не было? Стал не так уж часто и с пешней выходить. Лед чуть ли не метровой толщины, и пробить в нем лунку не так-то легко. И хотя теперь Николай Васильевич часто оставался дома и, казалось бы, должно стать повеселее, все же зима проходила скучно. Ложились спать рано, старались просыпаться позднее, но, когда вставали, за окнами все равно еще было темно.

Однажды к ним приехал заведующий охотничьим хозяйством. Клавдия Алексеевна поставила на стол чайник, подала сковородку жареной рыбы. Заведующий нехотя ковырнул вилкой рыбешку, съел ее. Он ничего не

спросил, но сразу понял, что его совета не послушался новый егерь: ни козы, ни кур не завел. И это заставило насторожиться.

— Дай-ка журнал,— потребовал он.

Николай Васильевич подал ему журнал. Заведующий послюнил пальцы и стал перелистывать.

— Прилет свиристелей отмечен — это хорошо. Снегирей не вижу. Температуру и ветер отмечаешь — это хорошо. Но плохо, что нет записи беличьего гона. Белки уже весну чуют.— Он отложил в сторону журнал. Все же аккуратные записи его несколько успокоили.

— Кто такой егерь? — спросил заведующий и ответил: — Это естествоиспытатель. Раз. Второе — задача его не в том, чтобы помогать охотнику убивать птицу и зверя, а закалять организм охотника. Для этого, прежде чем отвести его на ток, надо измотать. Глухариные тока не искал? Пора уже. На снегу крыльями чертят.— Он надел шапку и ушел, надеясь, что новый егерь приживется.

Весна наступает задолго до того, как начнет оплывать снег, задолго до сосулек. Сначала намечается оживление в лесу. Тетерева подолгу греются на опушках леса, сидя на освещенных солнцем березах. Надалеко слышно их гурлыканье. Поют птицы. Снегири собираются на север. Потом начинает оголяться первый, самый большой выступ на скале. Солнце пригревает, и все дальше отходит от него снег. Камень начинает дымиться. И день за днем все больше проталинок, и ветви на деревьях шумят мягче, когда на них налетает ветер. И уже на озере появляются маленькие лужицы.

С наступлением весны Николай Васильевич опять с утра и допоздна пропадал в лесу. Оброс седой щетиной. От постоянного напряжения глаза приобрели острый блеск, ходить он стал неслышно, нередко пугая внезапным появлением жену. Но к тому времени, как начал оттаивать лед у берегов, несколько поостыл и два дня кряду провел дома, делал блесны на щук. И поймал себя на том, что ему нравилось надфилем снимать грубые риски напильника, делать поверхность гладкой.

В один из предвыходных дней приехали охотники. Те самые, которые были первый раз. Они встретили егеря и его жену словно родных. Обрадовался их приезду и Николай Васильевич. Не дожидаясь расспросов о токах, стал сам рассказывать. Да, он нашел три больших

глухариных тока. Не так чтобы уж близко. Но зато хороши! Есть и тереревиные, с шалашиками. Рассказывал и удивлялся самому себе, как это он легко, не жалея, открывает тока, отдает их.

Попив чаю, охотники вышли на крыльцо покурить. Присел с ними и егерь. Ему хотелось, чтобы они еще порасспрашивали его про тока, но охотники вели свой разговор: о клинике и о каком-то старом ординаторе, который умер на работе. Особенно его жалел врач с мясистым лбом, тот, что сделал операцию утке: он все сокрушался, что ординатор не успел закончить какую-то очень важную работу и что если бы закончил, то болезни сердца стали бы неопасны в жизни человека. Он жалел еще и потому, что ординатор все собирался уйти на пенсию, пожить в покое, но откладывал, говоря: «Не время еще уходить в затишки». Мудрый был старичок. Потом разговор перешел на дела клиники.

Егерь еще посидел немного и ушел, понимая, что у этих людей свои заботы и ему тут делать нечего.

Ночью он повел охотников на ток. В лесу было туманно, сыпала мелкая изморозь, воздух был плотный, и без того тихая глухариная песня была в этот раз еле различима. Пройдя километров шесть, остановились передохнуть, покурили, потом егерь повел охотников дальше.

«Тэк-тэк! Тэк-тэк!» — послышалось в утреннем сумраке.

Егерь молча направил молодого врача вправо, бухгалтера влево, а сам с хирургом, то замирая, то пробегая прыжками пять-шесть шагов, стал подбираться к «соловью каменного века».

«Тэк-тэк! Тэк-тэк!» Большая черная птица, еле различимая в сумраке, сидела на толстом сосновом суку.

Хирург, прежде чем выстрелить, несколько минут глядел на глухаря, любуясь им, потом, не торопясь, поднял ружье. Глухарь качнулся и, скатываясь по ветвям, упал. Почти в ту же минуту раздался выстрел слева. И все стихло.

Возвращались домой не спеша. Два раза садились покурить. Бухгалтер был недоволен охотой: все никак не мог простить себе промаха. Молодой врач остался без выстрела, но это его не огорчало. Он скользил взглядом по верхушкам деревьев, по голым ветвям, с наслаждением втягивал пахнущий прелью воздух, следил за качаю-

щимся полетом серėньких птичек. Глядя на него, Николай Васильевич вспоминал, что вот так же и он, выбираясь из города, радовался лесу. Теперь все для него стало обыденным. И от этого на сердце становилось грустно.

Охотники, не заходя на базу, попрощались и направились к станции. Егерь их ждал в следующую субботу, но они не приехали. Зато прибыло сразу пять охотников — рабочих ленинградского завода. Они по-деловому спросили, где тока. Егерь рассказал. И они ушли, не взяв его с собой. Вернулись к полудню следующего дня с глухарями, тетеревами, усталые, но оживленные. Сели в саду за столик, достали пол-литра водки, колбасу, хлеб. Предложили выпить и егерю, но он отказался, сел в стороне от них, на крыльце. Пригретые солнцем мухи ползали по стене. Было тепло и спокойно. «Попробовать бы на мух плотву половить»,— лениво подумал Николай Васильевич, невольно прислушиваясь к разговору за столом. Там уже выпили, закусили, вспоминали какого-то токаря Понамарева, который поехал в отпуск, потом стали говорить о своих цеховых делах. Егерь насторожился, словно разговор зашел о его цехе. Теперь, когда охотники подзакусили, он посчитал удобным подсесть к ним и сел рядом с сухощавым рабочим. Но разговор тут же как-то сам собой прекратился, и охотники стали собираться домой. Уложив в рюкзаки глухарей и тетеревов, довольные, что так хорошо поохотились и отдохнули, они помахали егерю шапками и ушли.

«Вот приехали, отвели на природе душу и вернулись к своим делам, а я остался здесь, не особенно-то и нужный им»,— с грустью подумал о себе Николай Васильевич и вышел из-за стола. «Но ведь надо кому-то и егерем работать?» — тут же спросил он себя и почему-то вспомнил старого ординатора, про которого говорил хирург. Ведь этот ординатор тоже был не прочь пожить в покое и тишине, «как ему бы хотелось», но почему-то не ушел из клиники.

В последующие дни размышления все больше овладевали Николаем Васильевичем. И то чувство неосознанной вины перед заводскими товарищами, которое было тогда, раньше, становилось теперь осознаннее. Этому еще способствовало то, что уже каждую субботу приезжали охотники, и всё разные, и все они в той или иной мере

говорили о своих делах, о том главном, что было в их жизни. И впервые вот здесь, в глухой бухте Ладоги, когда уже не мешали воспоминания о деревенских зорьках, когда не было сосущей тоски по охоте, которая закрывала все остальное для него в жизни, Николай Васильевич всерьез подумал о себе. Вспомнил бедное детство, зуботычины, себя, бегающего в опорках на босу ногу в мороз за водкой для подмастерьев. Революцию, когда он понял, что у него больше не будет лютого хозяина. Завод, где к нему начальство относилось как к равному. Тогда он здорово работал, дни и ночи, готовя вместе с другими бронепоезд для своих, для красных. Это было отличное время! Но потом, когда жизнь наладилась и он женился, то стал думать все больше о себе. Нет, его никто не мог упрекнуть, что он плохо работал. Работал честно, не хуже многих других, но стоило только кончиться смене, как он забывал и завод, и свой цех, и верстак до следующего дня.

«Неладно получилось, что я ушел в затишек,— все глубже разбираясь в себе, думал Николай Васильевич.— Для егеря можно бы и не быть слесарем-лекальщиком седьмого разряда».

Это была последняя, завершающая мысль, показавшая всю несостоятельность его прежних дум — жить как захочется.

Испытывая крайнюю досаду на себя, стыдясь, но чувствуя, что так надо, он все рассказал жене, что его мучило последние дни. Клавдия Алексеевна молча выслушала. Она всегда во всем подчинялась ему. Только ей очень не хотелось уезжать от весны.

А весна шла вовсю! Высовывая остренькие язычки будущих листьев, раскрывались почки. У окошек скворечен пели, свистали скворцы. Зеленела на пригорках трава, и с каждым днем становилось все отраднее.

Клавдия Алексеевна совсем по-иному думала провести весну. Она уже условилась с дочерьми, что они приедут к ней в отпуск с внучатами. Тут уж не так плохо в этой бухте. Ребятишки могут остаться на лето. А уж осенью все переберутся в город. Но Николай Васильевич и слышать не хотел ее доводов. Теперь, когда ему все было совершенно ясно, каждый лишний день, прожитый в бухте, только усиливал тревожное состояние виноватости, и поэтому хотелось лишь одного: скорее туда,

где люди, где большая жизнь, где главное дело. Он отлично знал, что в этой большой жизни встретит опять свой старый цех, будет делать то, что делал всю жизнь,— маленькие детали к большим машинам, но теперь это было все пронизано новым пониманием своего места в жизни, и оно, это место, представлялось ему значительным. Он даже не думал о том, как его встретят на заводе. Может, будут посмеиваться. Это не имело значения.

Легкий сквозной ветер морщил бухту. Весеннее солнце подскакивало на гребешках волн. Николай Васильевич сильными ударами весел гнал лодку. В его ногах стояла корзина. Выехав на Ладогу, он достал из корзины утку и выпустил ее на волю. Утка, не уходя от лодки, стала мыться, поднялась на лапы, замахала крыльями и удовлетворенно крякнула. Как видно, она не собиралась покидать егеря. Тогда он махнул веслом. Чернеть испуганно шарахнулась и тут же взлетела. Было мгновение, когда она почти опустилась на воду неподалеку от лодки, но, верно, так было хорошо состояние полета, что она замахала крыльями еще быстрее и понеслась над водой. Николай Васильевич проследил за ней, пока она не затерялась вдали; после этого окинул взглядом водный простор, острова, стоявшие в дымке, пустынные берега и, не испытывая сожаления, что со всем этим миром расстается, направил лодку к берегу. Он постиг этот мир, узнал ему истинную цену и от этого только обогатился. Он сюда еще вернется. Никуда эти острова от него не уйдут. Теперь уже никуда не уйдут. Он знает места и еще поохотится! Но все это не помешает ему жить полной жизнью.

В ОСТРОВАХ

Острова видны с берега только в ясную погоду. Тогда они кажутся ставшими на якорь военными судами — узкие полоски с неровными очертаниями поверху. Вблизи неровные очертания превращаются в сосны, чудом укоренившиеся в голых нагромождениях камней. Но большей частью островов не видно. Туманы, дожди, знойное марево заслоняют их. В такие дни об островах не думаешь. Нет их — и не надо. Но когда видишь — тянут они

к себе. И если хоть раз побывал там, никогда не забудешь.

Игорь Николаевич бывал в островах. Как-то ездил туда с товарищем на моторке. Веселая была эта прогулка. В протоках меж островов наловили много щук, наколотили уток и засветло вернулись домой. Прошло время, и снова потянуло, но товарищ уехал, а память об островах осталась, чтобы звать, манить. И вот он собрался. Ехал поездом, шел пешком и наконец добрался до устья речки, что впадает в озеро. На выходе этой речушки стоят пять-шесть домиков. В них живут рыбаки. Рядом с домами маячок. Это не тот маяк, который бросает луч в черную пучину моря. Нет, это просто огонек, добродушно подмигивающий запоздавшим рыбакам: дескать, ничего, ребята, я тут. Следит за маячком бывший боцман Александр Макаров, человек молчаливый, с глубокими морщинами по всему лицу, хотя и не старый. Часть морщин у него лежит вертикально — это по щекам. У глаз они расходятся веером. Но веер — это уж слишком деликатное для него сравнение, поэтому лучше сказать: они похожи на окуневый верхний плавник. На лбу морщин не много, но они лежат прочно. Он может делать все: разводить сад, ловить рыбу, бить зверя, сделать лодку, может служить на судах, и служил. Кроме того, что умеет делать, может сделать все, что бы ни заставили. Но он не любит, когда его заставляют. В охотку же Ладогу ведром вычерпает. Жену он любит редкой любовью: баловать не балует, даже ласковым словом не пригладит, но зато и не расстраивает. Живет она спокойно, за все десять лет, как поженились — а взял он ее вдовую, с девчонкой,— ни разу не всплакнула, ни разу не задумалась. Он был похож на маячок и как будто говорил Анне: «Ничего, все хорошо будет. Я тут». И всегда освещал ее своими серыми, оттянутыми к вискам глазами ровно и спокойно.

Игорь Николаевич не знал его, но надеялся, что кто-нибудь из местных возьмется довести его до островов. В конце концов в деньгах всегда можно сойтись. Но Макаров о деньгах и слышать не захотел. Ему самому уже давно хотелось побывать в островах, да как-то недосуг, а тут случай хороший, и согласился, наказав Анне собрать ему хлеба и лука с солью.

И вот они в лодке. Макаров гребет, Игорь Николае-

вич рулит. Он держит весло и смотрит по сторонам. Видимость отличная. Острова прямо-таки покоятся на воде. За кормой тихо журчит вода. Ни ветерка, ни шелеста. И на небе ни тучки. Нет, это не совсем так: над головой ни тучки, а в левом углу что-то мглистое. Но лучше не думать о неприятном... А Ладога хороша! Гладкая голубизна. Только изредка покажется круглая, как в скафандре, голова тюленя или всплеснет, выйдя на солнце, стая лещей, а то просвистят над головой утки. Немного утомляет солнце. Оно отражается от воды, и приходится все время жмуриться. И Игорь Николаевич жмурится. Жмурится еще и потому, что хочется спать. Вода за кормой журчит и журчит, журчит и журчит. Макаров гребет и гребет, гребет и гребет. А вода журчит и журчит... И он уснул, предварительно закрепив весло курсом на острова. И, как показалось ему, тут же проснулся. Но, видимо, прошло около часа, не меньше, потому что все небо было затянуто тучей, из которой падал крупный холодный дождь. По Ладоге шла волна. Острова были рядом, еще каких-нибудь сто ударов веслами — и путь окончен. Макаров как сидел полусогнувшись, так и продолжал сидеть и греб не по-спортивному — откидываясь всем телом, а по-рыбачьи — одними руками.

— Устали? — чувствуя некоторую вину перед ним, спросил Игорь Николаевич.

— От такого уставать нам не полагается...

Дождь пошел крупнее. Ветер подул с силой, подталкивая лодку, и они быстро, как на парусе, вошли в проток и ткнулись в берег. Выскочили из лодки, спрятались под приземистой елью. Дождь с нее стекал, как с капустных листьев. Стоять под ней было хорошо. В протоке пузырилась вода, в сером тумане терялась Ладога, а под елью было сухо, как под крышей.

Но стоять и пережидать — дело скучное, и ладно, что, кроме снастей на щук, Макаров захватил удочки, к тому же в лодке оказалась консервная банка. На ее дне, сбившись в кучку, лежали черви. От нечего делать, пережидая дождь, закинули удочки. И сразу же поплавки скрылись. Макаров вытащил крупную плотвицу, на полкилограмма — не меньше. Такую же выхватил Игорь Николаевич. И началось! Не успевали они забрасывать удочки, как поплавки тут же тонули, и в воздухе сверкали рыбины. Игорь Николаевич удивлялся, торопился и от

этого ловил хуже, чем Макаров. Макаров же спокойно поправлял толстыми, плохо сгибающимися пальцами червя, плевал на него, забрасывал и тут же вытаскивал рыбину, опускал ее в оцинкованное ведро, где уже прыгало и металось более полутора десятка плотвиц. Игорь Николаевич косил на них глазом и досадовал, что не догадался предупредить Макарова, чтобы он клал свою рыбу отдельно. Теперь попробуй разберись, где его, а где чужая. Так они ловили до тех пор, пока были черви. Даже на кожицу, на объедки хватала плотва. Наверное, ветер загнал в проток с Ладоги большой косяк. Только этим и можно объяснить такой сумасшедший клев. Но кончились черви. Поплавки лежали неподвижно. Игорь Николаевич стал рыться под елью, отдирая мох, вороша тонкий слой слежалых иголок.

— Тут червей не бывает,— сказал Макаров, поглядывая на Ладогу.

Дождь перестал. Но ветер усилился. Теперь уже по всему простору с равномерными накатами одна за другой шли тяжелые волны, потряхивая белыми шапками. Макаров окинул взглядом мглистый простор, прислушался к глухому шуму воды. Снова пошел дождь. С ветром. И все помутнело. Только хорошо, четко был виден небольшой круг взъерошенной воды. А за ним мгла, и оттуда беспрерывно накатывались в этот круг волны, качали лодку и шлепали по берегу.

— Надо обратно,— сказал Макаров.

— А может, переждем?

— Ждать придется до утра, не меньше. Поехали.

Игорь Николаевич, опасливо поглядывая на волны, достал из рюкзака плащ, накинул капюшон и сел на корму. Того берега, куда надо было плыть, не было видно. Да и никакого берега не было видно, и Игорь Николаевич не знал, куда править.

— Положите весло. Я один управлюсь.

Игорь Николаевич послушался. И тут же ухватился за борт лодки. Началась качка. Лодка отошла от острова, и ее тут же подкинуло. С разгону волна налетела на лодку, тряхнула ее и выплеснула на днище ведро воды. Правый рукав у Макарова стал мокрым. Макаров покосился на волны и выровнял лодку. Теперь уже волны не наталкивались на борт, они только скользили по нему от удара по носу. Так шли около получаса. Остров уже

давно скрылся. И теперь, куда бы ни смотрел Игорь Николаевич, всюду была серая непробиваемая завеса. Лодку опять стало качать, опять налетела на нее бортовая волна. Снова на днище выплеснуло с ведро воды. Игорь Николаевич быстро взглянул на Макарова. Тот сидел, низко опустив голову. Он был весь мокрый. По вертикальным морщинам, как по желобам, стекала вода. И тут впервые напал страх, и Игорю Николаевичу стало совершенно ясно, что если только лодка опрокинется, то кричи не кричи — никто не услышит.

— Послушайте, на кой черт мы поехали? Надо было переждать!

Макаров ничего не ответил, даже не посмотрел на него. Все так же сидел, низко опустив голову.

— Вы что, не слышите?

Теперь Макаров медленно поднял голову, посмотрел на него, но все равно не ответил. «Странно»,— подумал Игорь Николаевич и тут же заметил:

— А куда же исчезли чайки, утки? Почему никого нет? Прячутся. Даже им опасно быть на открытом. А нас черт понес в такой...

Но что «в такой», он не успел досказать: сверху наискось, как изломанный, метнулся тонкокрылый «рыболов» и тут же пропал. «Какой бешеный ветер!» Снова волна перехлестнула через борт. Но теперь уже нельзя было заметить, потемнел или нет рукав у Макарова, хотя его и окатило волной. «Это потому, что уже смеркается»,— решил Игорь Николаевич и оглянулся. По-прежнему ничего не было видно. «Куда же мы плывем?»

— Послушайте, куда же мы плывем? — сердито спросил он Макарова.

— Домой.

— Но ведь нет же никаких ориентиров!

— А ветер? Садитесь на мое место.

«Переходить меняться местами в лодке при такой погоде? Это по меньшей мере неосторожно»,— хотел сказать Игорь Николаевич, но не сказал, потому что Макаров уже шел к нему.

— Ну, быстрей, быстрей,— сказал он,— пока не развернуло.— А лодку уже разворачивало.

Игорь Николаевич, качаясь, пробежал вперед, сел и ухватился за весла. До этого дождь бил его в спину, теперь начал хлестать в лицо. Грести было трудно. То од-

но, то другое весло зарывалось в воду или летело по воздуху.

— Э, да вы грести не умеете! — беззлобно сказал Макаров.— Давайте по местам! — и твердо, как по земле, прошел к средней банке.

— Осторожно! — крикнул Игорь Николаевич, цепляясь руками за борт.

Макаров сел и начал грести. Дождь лил ему в лицо. Лодку качало. Опять била бортовая волна. Всплески перепадали на днище. В ведре рыба уснула. Только одна плотвица, забившаяся под мостки, шевелила хвостом. Ей воды хватало.

— Далеко еще?

Макаров не ответил.

— Почему вы молчите?

Он опять ничего не ответил. Темнело. Теперь уже заметно было, как чернеет вода, как ниже придвинулось к Ладоге небо. Конечно, о солнце нечего было и думать, оно уже закатилось, но и заката не видно: все закрыли облака. Но куда они плывут? Вполне возможно, что и в Ладогу! Тут еще некстати вспомнилось, что ее глубина достигает ста метров...

— Послушайте, вы уверены, что мы правильно плывем?

— Скоро маячок засветит. Проверимся.

Теперь Игорь Николаевич с нетерпением стал ждать сигналов с берега. Но, как назло, темнеть перестало. Это верховой ветер разорвал облака, и на озеро пролился слабый свет. И дождь перестал. Только ветер стал еще сильнее. Он не то чтобы гнал, а прямо-таки подстегивал волны, и они неслись, потряхивая белыми шапками, как все равно какие-то горцы. Стало холодно. Облака снова сомкнулись. Теперь уже начало темнеть быстро. И как только стемнело, правее лодки мигнул красный огонек.

— Вон он, вон! — закричал Игорь Николаевич.— Правей надо, правей!

Он схватил весло и стал направлять нос лодки на огонек. И только выровнял, как тут же волной окатило по всему борту и лодка накренилась так, что другой борт чуть не черпнул воды.

— Положи весло! — впервые крикнул Макаров.

Игорь Николаевич послушно положил. Нос лодки

опять отвернулся от маяка. Теперь два страха толкались в сердце: один был рожден тем, как лодка чуть было не опрокинулась, другой — уходящим все правее огоньком маяка. И какой страх был сильнее, понять было невозможно.

Макаров безостановочно греб, но лодка, казалось, стояла на месте. По крайней мере маячок не приближался. Волны все время налетали на левый борт. Лодка все время качалась, иной раз черпала воду. И всему этому не было конца. «Ведь так же можно утонуть,— чувствуя, как поджимает сердце, подумал Игорь Николаевич,— да-да, утонуть, и все!» Он видел в темноте черный контур фигуры Макарова, но даже не подумал, что и тот может о чем-то сожалеть. Нет, все опасное касалось только его, Игоря Николаевича. «А дождь сечет... И маячок не приближается. Ну конечно, мы топчемся на одном месте. И что значат жалкие усилия Макарова, когда такая волна? И ветер... А дома ничего не знают. И черт дернул поехать на острова! Одно дело — на моторке. А тут...» Лодку качнуло, и снова плюхнула на днище вода.

— Надо было остаться на островах!— крикнул Игорь Николаевич и посмотрел на маячок. Он был совсем вправо.

Макаров ничего не ответил.

— Это же черт знает что!

И опять Макаров промолчал. Неожиданно ветер стал дуть в спину, и лодка понеслась к маячку. «Вот это здорово! — радостно подумал Игорь Николаевич.— Значит, он специально забирался в Ладогу, шел против волны, а теперь волна гонит к берегу...»

— Мы идем к маячку! — крикнул он.

Макаров ничего не ответил. А маячок мигал, звал к себе, как бы говоря: «Ничего, ребята, я тут». Одно время казалось, что лодка не приближается к нему, потому что он как был маленьким огоньком, таким и оставался, но потом — это получилось как-то быстро — вдруг стал отчетливее, а потом оказался совсем рядом. Зашуршали камыши. Это лодка врезалась в них и, не дойдя до берега, уткнулась в песок. Макаров выскочил, потянул ее на сухое. Игорь Николаевич быстро прошел в нос, спрыгнул на берег и помог Макарову.

Дождь не переставал. Ветер дул с подвывом. Волны

лезли на берег. Но все это не имело значения. Теперь уже не имело значения. Игорь Николаевич с удовольствием прошелся по земле, вдавливая песок твердыми каблуками.

Макаров взял ведро с рыбой.

— Мешок есть? — спросил он.

— Да... конечно...

Игорь Николаевич достал из рюкзака пластикатовый мешок и подставил его. Макаров вытряхнул в него рыбу из ведра, оставив себе трех плотвиц, и пошел к дому, позвякивая ведром. Игорь Николаевич влез в лодку, достал застрявшую плотвицу и бросил ее в мешок. Догнал Макарова и зашагал за ним.

Теперь маячок был за их спинами, и они не видели, как он подмигивал кому-то во тьме. Но зато навстречу им приближались теплые огни из окон.

— Черт! Ну и погодка! — сказал Игорь Николаевич, чувствуя необходимость поговорить. Ему было легко и радостно.

Макаров ничего не ответил. У дома они остановились.

— Может, у меня заночуете?

— Нет, нет, спасибо... Благодарю вас за поездку,— сказал Игорь Николаевич и пожал твердую и толстую, как горбыль, руку Макарова. Все вежливо, все как надо...

До станции он шел быстро, с удовольствием разминая ноги. На душе было весело. «Как все хорошо окончилось! — думал он.— А ведь могло бы случиться так, что и не шагал бы сейчас... Вот ужас-то был бы!»

На вокзале, в теплом, уютном буфете, ярко освещенном электрическими лампами, Игорь Николаевич выпил стакан портвейна. От этого стало еще лучше. Потом подошел поезд. Игорь Николаевич сел, и когда поезд тронулся, то настроение у него было совсем отличное. Он сидел в купе и рассказывал двум женщинам и одному степенному, весьма солидному гражданину, как поехал на острова, как поднялся ветер, как шел дождь и стало темнеть, а ему надо было возвращаться, и как это было опасно. Он ничего не прибавлял, в отличие от других рыбаков. Его слушали, удивлялись, верили и смотрели как на человека, совершившего подвиг. О Макарове же ни слова не было сказано, как будто его и не было.

Впрочем, для Макарова это не имело значения. Он пришел домой, бросил трех рыбин коту, поел и лег спать. Все, что произошло с ним в этот день, было делом обычным. Грудь его мерно вздымалась и опускалась, большие, тяжелые руки спокойно лежали вдоль тела. Он просто устал, только и всего. Все же пришлось немало поработать. Ладога — она такая, она редко бывает спокойная...

СЕРЕБРЯНОЕ ПЯТНО

Чаек не видно, и ничего не видно: ни берегов, ни маяков, одна вода, беспредельная, во все стороны. Не надо большого воображения, чтобы представить себе море, даже океан. Но это Ладога, озеро. Витька стоит на палубе маленького рыболовецкого тральщика. Зеленоватые тяжелые волны накатываются откуда-то из далеких, неведомых просторов, подымают и опускают судно. Поднимут — много воды, опустят — совсем мало. А если разыграется шторм? Ладога капризна. Вот сейчас тихо, только гладкие волны подымают и опускают на своих гребнях тральщик М-24, на котором впервые в жизни ходит Витька Пронин. Он матрос, единственный рабочий. Остальные — начальство: капитан, помощник капитана, механик, тралмастер. Все они знают свое дело, и никто заменить их не может. А его Витьку, каждый может заменить, потому что он матрос. Простой матрос, к тому же всего первые сутки на этом судне, да и вообще всего первые сутки на Ладоге. До этого дня Ладогу он знал только с берега, ну, на лодке выходил на рыбалку, но чтобы так далеко забираться — никогда еще не приходилось. Озеро. Ничего себе озеро! Вот уже несколько часов идут и идут прямым ходом, и никаких берегов. Одна вода. И откуда столько ее набралось? Ничего себе чашечка! Озеро. Море, самое настоящее море. Если берегов не видно — значит, это море. Вряд ли Цимлянское море больше Ладоги. А если говорить о глубине, то и сравнивать нечего. Больше ста метров глубина Ладоги. Никто еще никогда не доходил до ее дна — живой, конечно.

А чаек не видно. Сколько ни вглядывайся, не увидишь. А стоит только бросить рыбину за борт, так... вот чудеса...

Витька взял круглого подлещика, оглянулся, чтобы

никто не заметил, и бросил за борт. И как только подлещик коснулся воды, сразу же поднялась от воды чайка и, тяжело подминая крыльями воздух, полетела к тральщику. Откуда она взялась? Откуда она узнала, находясь не меньше километра от Витьки, что он бросил рыбину — именно рыбину: ведь мог бросить и бумагу и тряпку. И бросал нарочно бумагу и тряпку, бросал, и не летели, а вот стоит только кинуть рыбу, они тут как тут. Вот еще одна поднялась, еще... И летят прямо к тральщику. И уже орут, отнимая у той, которая подхватила подлещика.

— Ты чего дурака-то валяешь? — доносится из рубки голос капитана. Он смотрит на Витьку в открытую дверь. Удивительно, когда Витька бросал рыбину, капитан сидел к нему спиной и никак не мог видеть, а теперь смотрит и выговаривает.

— А чего? — на всякий случай прикидываясь простачком, спрашивает Витька и пялит на капитана круглые, зеленоватые от воды глаза.— Чай скипел, кубрик прибрал.

— А рыбу зачем бросаешь?

— Какую рыбу?

— Трави еще мне.— Капитан закрыл дверь и снова сидит к Витьке спиной.

Витька его знает давно, как себя помнит. Только тогда капитан еще не был капитаном, был парнем, таким же, как он, матросом, потом ушел в армию, а уж после армии стал капитаном. Курсы кончил. Теперь ему лет двадцать семь. Женатый. Двое пацанов каждый раз встречают его, когда он сходит на берег. Витьку он взял нехотя. Тетка упросила. Кроме тетки, у Витьки никого нет. И чего ей взбрело в голову, что он отбивается от дома? Плохо учится. А зачем учиться? И так можно прожить. Не все ученые. Вон сколько в колхозе неученых. Живут. А пока молод, надо брать свое — гулять, дружить с ребятами, рыбалить, в кино ходить. Как послушаешь взрослых, так на то же и выходит: «Золотая пора — молодость. Потом уж не вернешь». Жалеют свою молодость. А когда парень живет как ему хочется, наслаждается своей молодостью, то осуждают, лоботрясом зовут. Чудные. Из зависти, что ли? И тетка тоже: «Что с тобой делать — ума не приложу. Совсем от рук отбиваешься. И когда ты будешь самостоятельным?»

Ну вот, теперь он самостоятельный. Зато и от ее рук отбился. Матросом стал. Вчера вечером вышли. Вот уже ночь прошла, а он еще и глаз не сомкнул. И ничего, и спать не хочется. Даже интересно: что-то во второй раз вытянут тралом? В первый килограммов десять попало, а таскали трал часа три. Рыбачки тоже. А еще — «чего дурака валяешь?»

— А сам-то чего валяешь? — Это сказал Витька вслух и плюнул за борт. «А помощник спит,— подумал он.— Чего ж ему не спать? Тесть капитану. А какой он помощник, он и сам-то всего первый месяц на тральщике. До этого колхозником работал, был одно время председателем — сняли, подался на курсы и вот теперь — помощник».

— Зови всех наверх! — крикнул из рубки капитан.— Трал подымать будем.

— Дело! — звонко ответил Витька и побежал в кубрик, дернул за ногу тралмастера, спокойного, молчаливого дядьку лет под пятьдесят. Тот словно бы и не спал, тут же встал и спокойно стал подыматься на палубу.

— Дед, вставай! — толкнул он в бок помощника капитана. Толкнул подходяще, а то уж больно сладко храпит, будто и не на судне, а дома на печи развалился, черт косматый.

— Какой я тебе дед? — огрызнулся помощник.

— Давай, давай, капитан сердится, я тебя второй раз бужу. Трал подымать надо.

— Чего ж плохо будил-то, комар тебе в ухо,— уже встревоженно бормочет помощник и торопливо натягивает с лоснящимися раструбами резиновые сапоги. Со сна лицо у него все мятое, под глазами бугры, а глаз, считай, и не видно — во как храпанул!

— Давай, давай, в третий раз будить не буду, сам капитан придет. Команда серчает.— И хохочет, видя, как помощник, цепляясь за каждую ступеньку, неумело лезет наверх. Ничего себе помощничек.

На палубе солнце. Ладога стала еще огромней, теперь уже вокруг вода и солнце, солнце и вода, и ничего больше. Волны стали покатее, этакие широкие валы, идут один за одним, гладкие, как тюленьи спины. У борта стоят все, поднялся и механик из своего машинного отделения. Наступил самый торжественный момент — подъем траловой сети. Рыба, черт бы ее побрал, ходит

там, где ей вздумается. Говорят, есть рыбьи тропы, но мало кто их знает. Нет и самолета, который бы указывал, где бродят косяки, поэтому вся надежда на капитана. Хороший капитан знает Ладогу, как свою ладонь. Но бывает часто, что и хороший капитан зря таскается по воде, а какой-нибудь незадачливый вдруг подцепит тонны две, а то и три за одну тоню. Тут тебе сразу и заработок и план.

Рокочет лебедка, наматывая трос. Все ближе к тральщику сеть. Сверкают на солнце стеклянные шары — поплавки. Когда рыбы много, то еще метров за двадцать от катера всплывает белым пятном мотня. И тут всплыла.

— Есть! — ликующе закричал Витька и окинул взглядом рыбаков. Улыбаются, щурятся, словно смотрят на солнце. Молодец капитан! Знает свое дело. Ах, как повезло всем, что у них такой капитан! От капитана все зависит, вся жизнь команды, ее счастье, ее судьба, даже настроение зависит от капитана. Толковый капитан — и жизнь толковая у людей, а попадется бестолочь, начнет дергать катеришко туда-сюда, не зная ни Ладоги, ни рыбы,— и команде хоть плачь. Пожаловаться бы на такого капитана, чтоб сняли его, другого поставили, да попробуй пожалуйся. Хорошо, если снимут, а если оставят, каково тогда работать? Съест тогда капитан жалобщика, на берег спишет, дружкам своим, капитанам, накажет, чтоб не брали жалобщика на свои суденышки. И не возьмут — кому нужен жалобщик? Так и молчит команда, кряхтит, меж собой другой раз перекинется забористым словцом и опять молчит...

Но, слава богу, на тральщике М-24 капитан что надо. Не гляди, что молодой, а все рыбьи повадки знает, как своих пацанят. Толковый капитан! Не кричит, не горячится, а спокойно отдает команду, как надо тянуть сеть, а у самого в голосе булькает радость.

— Тонны две будет, а? — спрашивает всех сразу Витька. На меньшее он не согласен. Две тонны, а как же иначе!

Но никто ему не отвечает, только у всех порхает на обветренных губах сдержанная улыбка. А чайки уже тут как тут. Орут, скрипят, каркают, выхватывают из мотни рыбешек. И кто это придумал, что у чаек стонущий, печальный крик? Безобразно орут они, хуже ворон.

«Пальнуть бы их из ружья, чертей окаянных!» — со злостью думает Витька и не понимает, как могут так спокойно относиться рыбаки. А рыбакам хоть бы что.

— Рыбы-то сколько утащат! — кричит капитану Витька.

Но капитан тоже не обращает на чаек внимания. Он машет рукой, и лебедка вновь визжит, с трудом наматывая на вал стальной трос. Теперь уже почти вся сеть на палубе. Надо тянуть мотню. А она уже у самого борта. Вот это рыбы!

— Тонны три, не меньше, будет! — кричит в азарте Витька.

Но ему никто не отвечает. Лица у рыбаков почему-то стали хмурыми. И чем ближе тоня к людям, тем сумрачнее становятся они. Что за черт? Чего они не радуются? Рыбы — битком, вся мотня набита, как селедками. Только бы не оборвалась...

А мотня уже раскачивается над палубой. В ней кишит серебро.

— Сиги! Это сиг, сиг! — орет Витька. Никогда еще столько враз сигов ему не приходилось видеть. Лучшая рыба. В сельском магазине ее никогда не бывает. Ловят много, а вся уходит куда-то. И никогда не попробовал бы ее Витька, если бы сам не рыбалил. Несколько раз попадались ему на удочку сиги. Он-то знает эту рыбу.— Сиги! — орет он.

Но почему-то и на этот раз никто не радуется. Витька вертится у мотни. И отскакивает. К его ногам льется, хлещет серебряный поток. Это тралмастер открыл мотню. Вся палуба в кипящем серебре. Радоваться бы, но все молчат, хмуро смотрят на рыбу.

— За борт! — кричит капитан и сам, схватив большую лопату, начинает торопливо сбрасывать сигов в воду. И все остальные кидают ее, выплескивают.

Чайки обезумели. Не успевают сжирать. И словно весенний измятый лед, все бóльшим кругом охватывает снулая рыба суденышко.

— Быстрей! Быстрей! — орет капитан.

«Что же это такое?» — хочет спросить Витька, но спрашивать боится. Далеко-далеко виднеется катер. Вроде он идет к ним. Капитан все чаще и тревожнее посматривает на него. А чайки орут, их тысячи. И все равно не управляются с выброшенной мертвой рыбой.

Она уже, как пена на солнце, сверкает своей белизной. Рыбаки тяжело дышат, все потные, и Витька потный, хотя и не понимает, что происходит, зачем выбрасывают первоклассных сигов. Правда, они не крупны, каждый, как на подбор, граммов двести, больше не будет. Но Витька и такому бывал всегда рад, когда он попадал на удочку. А тут целый косяк завалился. Но он ничего не спрашивает, он понимает: значит, так надо. Только зачем так надо, ему еще невдомек.

А катер все ближе.

— Быстрей! — И капитан матерно ругается. А чайки орут, вот теперь они уже стонут, даже плачут. Со всей Ладоги, черти, собрались. И рыбы уже не видно. И на палубе ее нет. Вся за бортом. А катер еще далеко, хотя и можно его разглядеть.

— Тральщик,— успокоенно выдыхает капитан.— Пошли скорей.— И механик срывается в свое машинное отделение. И вот уже капитан резко разворачивает штурвал, и катер М-24 уходит в сторону. Идет без сетки. Легко. И все дальше серебряное пятно чаек. Они сидят на воде. Отдыхают. Сытые.

— Дядя Митя, зачем бросили? — спрашивает Витька тралмастера.

— Незаконник попал, черт его сунул. Ладно, хоть на инспектора не нарвались.

Легкий, освежающий ветерок проносится по палубе. Смывает в Ладогу рыбий настой. Сушит крашеные доски.

То, что несколько минут назад произошло, глубоко потрясает Витьку. Выбросить столько рыбы... Зачем же так делать? И рыба погибла, и пользы никакой, кроме как чайкам, этим прожорливым, ненасытным птицам.

— А как же получилось, дядь Мить?

— А так, что не надо было брать частик,— хмуро отвечает тралмастер и, словно досаду, смахивает с коричневого, обветренного лба липкий пот.

Что такое «частик», Витька знает — это мелкоячеистая сеть.

— Новые на станцию поступили, может, на селедку готовили в океан, а попали к нам. Да ведь я же говорил Александру, чтоб не брал, а он ухватился — капроновые. Вот тебе и капроновые...— вздыхает тралмастер и идет к лебедке: пора снова запускать сеть.

— А если еще раз попадет «незаконник»? — говорит

Витька, и голос у него становится жалостливым, как у мальца-несмышленыша. Вообще-то Витька — парень отчаянный, он даже с девчонками не теряется и не одну тискал по углам, но тут произошло такое, что ой-ой...

Но тралмастер не отвечает. Просмоленными, в черных трещинах толстопалыми руками он включает лебедку, и мотня отрывается от палубы.

И снова катер М-24 тянет за собой траловую сеть. С широко разинутой, жадной пастью она тащится за судном и слепо захватывает все, что попадает на ее пути.

Капитана сменяет помощник. К этому времени на палубе уже все готово к завтраку. На крышке люка стоит большая алюминиевая кастрюля, в ней уха — первая Витькина уха. Когда варил ее, боялся не угодить рыбакам, а теперь, после всей этой истории с «незаконниками», Витька равнодушен, ему наплевать. Но уха нравится, видно: едят и не ругают кока. Сейчас Витька — кок. В обязанности матроса входит еще и готовить пищу, кормить рыбаков. Матрос должен уметь делать все. И все выполнять беспрекословно, потому что он на катере единственный не специалист. Ну что ж, он все далает. Ешьте!

И рыбаки едят. Хлебают молча. Потом, когда уха уже съедена, выбирают рыбу.

— Сигов отобрал на обед? — спрашивает капитан. Килограммового окуня держит на растопыренной ладони и посыпает солью.

— Каких сигов?— спрашивает Витька.

— Дурак,— не глядя на Витьку, бросает капитан. У него большой рот, крепкие белые зубы: когда он смеется, то, глядя на него, хохочут все, но смеется он редко. Сейчас его рот Витьке кажется еще больше,— он его раздвигает от уха до уха, заправляя в него большие куски окуня.

Конечно, надо было бы оставить на обед «незаконников», но он совсем позабыл про это, глядя, как уничтожается первоклассный сижок.

— А все же рыбка ходит, есть рыбка,— наливая из чайника в кружку, миролюбиво говорит механик. Ему лет сорок, на палубе он бывает редко, только когда опускают и достают сеть, а так все время сидит возле своих машин, поэтому на палубе всегда с пристальной любовью вглядывается в Ладогу, в ее то синие, то зеленова-

тые, то черные воды. Глядит на небо, шарит по небу взглядом, улыбается.— Главное, рыбка есть!

Но ему никто не отвечает. Да и что толку в этом пустом разговоре?

— А если опять попадет «незаконник»? — обращается к нему Витька. Он никак не может забыть серебряное пятно мертвых сигов.

— Какой «незаконник»? — зло спрашивает капитан.— Чего ты болтаешь тут? Никакого «незаконника» не было. И не трави мне! Усвоил? — Он поднимается и уходит спать.

Уходит и механик, но, прежде чем спуститься к своим машинам, еще раз окидывает улыбающимся взглядом громадное небо с легкими волнистыми облаками, солнце, зацепившееся за край прозрачной тучки, и воду, которой нет конца и края.

Тралмастер начинает пить чай. Пьет он его помногу, кружек шесть-семь. Витька оставляет ему чайник, забирает всю остальную посуду. Моет ее. И ложится спать. Он тоже всю ночь не спал, и стоило только залезть на верхнюю подвесную брезентовую койку, как тут же на него навалился сон, теплый, ласковый, дурманящий.

Проснулся Витька от голоса дяди Мити. Начинался подъем трала. Солнце уже стояло высоко. По Ладоге сквозил тугой ветерок. Вода, ерошась, бежала на юг. Катер стоял, покачиваясь на волнах. Урчала лебедка, наматывая трос. Все ждали, навалясь грудью на борт, когда всплывет мотня. Больше пяти часов таскал сеть помощник капитана. Должно же что-нибудь попасть? Но вот уже и стеклянные шары, а мотни не видно. Рыбаки сильными, ухватистыми руками перебирают шесты, складывают на палубе сеть, а мотни все еще не видно. Не всплывает проклятая! У капитана не лицо, а камень. Только руки все быстрее и проворнее тянут сеть. Но вот уже и мотня показалась: лезет из воды, как тряпка. Да тряпка и есть! Рваная, одни лохмотья. И в ней трепыхается единственный окунишка, застрявший жабрами.

Все стоят и молча глядят на сеть.

— Я ж говорил ему, чтоб не шел близ гряды,— недовольно роняет слова тралмастер.— А он прет и прет, окуня хотел захватить.

Помощник капитана как-то по-дурацки улыбается и

разводит руками. Теперь все смотрят на него. Капроновая сеть — дорогая штука, и вот вместо нее — лохмотья. Механик начинает часто-часто переступать ногами, что-то шепчет, наверно, ругает помощника, но сдерживается, ждет, что скажет капитан. И Витька ждет, что скажет капитан. Вообще-то он даже доволен, что «частик» разорван, по крайней мере не будут уничтожать рыбу зазря. Но все же, что скажет капитан? А капитан молчит. Он только смотрит, не мигая, на своего помощника. Смотрит и вспоминает, как получилось, что он взял его к себе на катер. Он, конечно, мог бы взять другого, опытного помощника, взамен своего, которого перевели на тральщик капитаном, но тут как раз и подвернулся тесть, он только что кончил курсы. Ему бы надо походить в матросах хотя бы одну путину. А он сразу в помощники. Жена упросила, ей спокойнее будет, если они станут работать вдвоем. И отказать было неловко. Взял в помощники. А какой он, к черту, помощник! Но при людях не будешь ему выговаривать. Тесть. А и скажи — дочке нажалуется, дома неприятности будут.

— Ну, чего застолбились? — глухо сказал всем капитан.— Не то бывает. Давай, дядя Митя, запасную, а эту чинить. Черт ее, эту Ладогу, знает да тюлень.

— Заменить можно, да ведь непорядок, Сашка,— сказал тралмастер.— Он и другую запорет.

— Не бойся.

— Я не боюсь. Только уж больно ты спокойный нынче. Был бы кто другой на месте твоего тестя, ты бы показал, как тюлень рыбу жрет. Ну да и то сказать, сетка-то не твоя, государственная. Верно?

Капитан приблизился к нему и тихо сказал:

— Ты не трави мне, ты мой характер знаешь. Я не работаю с теми, кто мне поперек становится. Не нравится у меня — иди на другой катер. Держать не буду. Усвоил?

В глазах тралмастера мелькнули черные искры. Витька ждал, что он скажет сейчас такое капитану, что тот заткнется, но дядя Митя сдержал себя.

— А и ладно,— сказал он,— ты капитан, ты и в ответе за все. Только и нас поимей в виду, зазря неохота работать. Считай, день прошел, а кроме убытку — ни хрена.

— Ладно, сейчас пойдем к Конивцу, там возьмем.

Только быстро давай. У Конивца рыба завсегда табунится к вечеру.

Не сразу, но наступил и вечер. Катер М-24 шел вдоль острова. Навстречу ему попался тральщик М-37.

— Как дела? — крикнул из рубки Сашка-капитан.

— Плохо,— ответил М-37.— А у вас?

— Не слаще!

И разминулись.

К ночи поднялся ветер. Ладога заиграла. Волны с нахлестом шлепались о маленькие борта тральщика, сбивали его с курса, мыли палубу. Пошел дождь. Витька забрался в кубрик. Он лег, но долго не мог уснуть, все думал о прошедшем дне. Каким большим и сложным он показался ему! Раньше, когда рыбаки приходили домой с малым уловом, над ними потешались ребята, смеялся над ними и он, Витька Пронин, но только теперь он понял, до чего нелегкая и незадачливая жизнь рыбацкая... Все зависит от удачи. Она, конечно, могла бы приходить почаще, но для этого надо что-то еще знать капитану. Ему надо быть толковым, но это очень трудно — быть толковым. Наверное, надо родиться таким, чтобы знать Ладогу, понимать рыбью жизнь, как, скажем, тюлень. Тут, может, особое чутье надо иметь, может, нужен талант, чтобы водить тральщик верным путем, где ждут только удачи. Но где же взять этот талант, если его нет, поэтому и приходится тягать трал наудачу. А удача — она такая штуковина, что за хвост ее не ухватишь...

Примерно так думал Витька и не замечал и не знал, как он поумнел за эти первые сутки. А сколько таких дней ждет его еще впереди?..

А катер идет, машины работают, и где-то в глубинах Ладоги тянется с широко раскрытой пастью громадная сеть.

НАЕДИНЕ

— Не ездил бы... Будет гроза.— В ее голосе звучала тревога. Весь день стояла томящая жара. Было душно. Было душно даже и теперь, в этот вечерний час.

— Да нет, не будет грозы!— Он знал: она всегда боится за него, оберегает даже от сквозняков. Она была бы рада держать его возле себя в четырех стенах. Лю-

бит. Но где-то и любовь должна знать меру... Он взглянул на небо. Далеко, нависая над лесом, темнело растянутое облако. Оно совсем не двигалось, будто уснуло там.

— Не ездил бы... Будет гроза.— Она смотрела на него преданно и умоляюще. Стояла вокруг глухая тишина. Она присмирила все голосистое. Молчали птицы, молчали собаки, петухи. Молчали деревья, травы. — Я прошу тебя...

Он и сам чувствовал, что будет гроза. И в другое время не поехал бы. Но так надоела эта заботливая любовь.

— Да нет, не будет грозы.— Он быстро вышел из дома, спустился с крутого берега к лодке. Она была привязана к стволу кривой ольхи. Корни старухи, горбатые, ободранные волнобоем, цепко держались за глинистое дно. Он положил в лодку спиннинг с донкой, бросил на лавку плащ и оттолкнулся от берега.

Озеро было гладким. Вода казалась густой, как олифа. На ней неподвижно лежал закатный столб, к которому сколько ни плыви, не доплывешь. Молча пролетели вороны.

Лодка, чуть слышно журча кормовой водой, уходила все дальше от дома. Береговая зелень, еще такая отчетливая совсем недавно, теперь уже слилась в сплошную полосу и потемнела. И только старая ольха, тускло светясь кривым стволом, четко виднелась, протягивая с берега сухие, горбатые ветви, словно звала обратно.

У острова, охваченного, как зеленым ошейником, густым тростником, было совсем тихо. Даже не качались метелки. И вода тут казалась еще гуще, чем у своего берега. Почему бы это? Он посмотрел на растянутое облако. Оно стало больше и, кажется, придвинулось. Но все же было еще далеко. Якоря с кормы и носа бесшумно опустились на дно. Жужжа, пронеслась над водой донка и, чмокнув, пошла в глубину. Груз долго тонул, прежде чем жилка ослабла, тогда он подтянул ее, и она стала тугой. Закурил. Да, теперь можно было сидеть и курить в ожидании поклевок. В прошлый раз он здесь выхватил хороших лещей. Что ж, может, и на этот раз повезет...

Дым от папиросы не уходил: так было тихо. «А все же гроза будет,— с тревогой подумал он и тут же, успо-

каивая себя, решил: — Пройдет стороной». Это потому он так решил, что растянутое облако разрослось, закрыло всю правую сторону неба, и хотя там начинало посверкивать и рокотать, но к нему это облако не приближалось.

Лодка стояла неподвижно. Не клевало. Наверно, и рыба затаилась в предчувствии грозы. Обычно в это время плавилась уклейка, жировал окунь. Теперь же и они куда-то ушли. Закатный столб стал быстро уменьшаться, будто кто-то огромный потащил его с озера на берег. И когда совсем втащил, то сразу стало мрачнее и еще тише, хотя после захода солнца всегда бывает ветер. А тут его почему-то не было...

В правой стороне сверкнула молния. «Пятнадцать»,— насчитал человек, пока до него докатился глухой рокот грома, и успокоился. Но тут же неожиданным всполохом сверкнула молния над головой, и треснуло небо. Он посмотрел вверх и увидал большую, рваную, куда-то удирающую тучу. Ее настигала другая, захватывая косым громадным крылом. И в какую-нибудь минуту и рваная туча и то черное небо, что было справа,— все это слилось и стало перебрасывать молнии из края в край. Гром не успевал за ними. Метался по небу, с грохотом закрывая двери, из которых неудержимо вылетали бешеные всплески огней. Наверху творилось черт те что, а на земле, на воде было по-прежнему тихо.

«Хоть бы пошел дождь»,— испытывая какое-то странное состояние и тревоги и тоскливого ожидания, подумал человек и увидел, как вправо от него полосой пронеслось по воде что-то длинное, светящееся. Он даже не успел сообразить, что это, как еще такая же полоса пронеслась следом за той, но поближе к нему, и третья — где-то между ними. Эти полосы наискось падали в воду, подымая двухметровый столб клубящегося дыма. «Что это?»— уже несколько растерянно подумал он. И тут же что-то сильное, мягкое толкнуло его в спину. Толкнуло и лодку, и она, накренившись, чуть ли не хватая бортом воду, быстро пошла от острова. Ее понесло. И уже совсем рядом он увидел косую светящуюся полосу. Это шел ливень. И все смешалось.

Никогда еще ни у кого он не видел такой бурной встречи, как у ливня с озерной водой. Наконец-то вместе! Сверху протягивал длинные руки ливень, снизу к нему тянулась озерная, давным-давно брошенная на зем-

лю вода. Они переплетались, кипели от яростного восторга. И уже все озеро клокотало, освобожденное от замкнутого покоя, слившееся с той свободой, которой доступно все: и небо, и материк, и океаны.

«Ах, черт возьми!» — восхищенно подумал человек. А молнии уже сверкали беспрерывно, они падали рядом. Ему даже слышалось, как они, шипя, гаснут в пенящейся воде. И в эти краткие вспышки было видно белую дымящуюся двухметровую стену воспрянувшей воды, над которой стояла другая стена — громадная, бесконечная, черная, разрываемая на куски слепящими огнями, всполохами, стрелами, громом.

А лодку несло. «Она же на якорях!»— с удивлением подумал он и только сейчас понял, что его несет куда-то к погибели, где кричи не докричишься в этом безлюдном одиночестве, зови не дозовешься. И тут он вспомнил жену, ее слова: «Не ездил бы». А лодку несло. И он понял, что и на самом деле может погибнуть, если будет вот так сидеть сложа руки да озираться по сторонам. Тогда он вытащил нож и легко, словно волос, перехватил веревку, на которой держался кормовой якорь, перебежал к носу и там полоснул ножом,— лодку сразу же стало качать вниз и вверх. Теперь на весла! И шквал уже ничего не мог поделать с ним. Он только тыкался упрямым лбом ему в спину. И хотя по-прежнему полыхали молнии, грохотал гром, лупил вовсю дождь, но страшно уже не было. Не было потому, что та минута, когда было опасно, прошла. А теперь-то уже не страшно. Теперь даже если и доведется погибнуть, то это будет дело только слепого случая, потому что весла уверенно гребут к острову, глаза уже привыкли и к черноте и к вспышкам, и сердце стучит спокойно, как и полагается ему стучать, когда его хозяин находится в состоянии борьбы.

«Главное не испугаться, не унизить себя страхом, — как-то свободно, легко подумал он,— человек не должен бояться ни природы, ни людей».

У острова ветер был тише. А может, шквал пролетел?

«Пожалуй, можно сворачивать донку»,— подумал человек и стал сматывать жилку. Потом поехал домой. Чтобы плыть безопаснее, можно бы добираться побережьем, но он плыл серединой, напрямик, и, чувствуя

в себе что-то новое, сильное, чего не знал раньше, с радостным удивлением смотрел грозу.

Гроза же, видимо, зарядила на всю ночь. По крайней мере она и не думала затихать и каждую минуту вырывала из тьмы берег, то голубой, то ярко-синий, то зеленый, то белый, и каждый раз в этом беспокойном свете появлялся дом, белый, словно сделанный из жести, с черными провалами окон. И только в одном из них, в нижнем, желтел свет, не гаснущий даже и при вспышках молнии. Он звал к себе, обещая покой, тишину.

«Черта бы я все испытал и понял, если бы послушал ее»,— глядя на это окно, сердито подумал человек о жене.

В берег била сильная волна. Корявая ольха стояла наклонно, подавшись грудью на ветер. Волны легко и небрежно окатывали ее пенной водой, качали, били, размывали липкие суглинки, за которые цепко держалось старое дерево. На сильном ветру оно раскинуло свои корявые ветви, как бы стараясь сдержать, не выпустить озеро на берег.

Он собрал удочки, вскинул на плечо весла, посмотрел на озеро и не увидал его. Вокруг было черно. Но снова сверкнула молния, осветив все: и озеро, и острова, и множество ярких вспышек на волнах. Теперь, с берега, озеро в своей мрачной нелюдимости уже казалось страшным, но только с берега. Там же, на просторе, было не таким. Он знал его.

Жена ждала. Она вышла встречать с лампой. Он остановился перед ней, мокрый, с прилипшими ко лбу волосами, с приставшей к груди рубахой.

— Господи, ведь я же говорила, что будет гроза,— с укором и радостным прощением в голосе сказала она.

— Да, ты была права,— усмешливо ответил он и бросил на пол мокрый плащ.

— Вот видишь, а ты не верил мне,— вешая плащ, удовлетворенно сказала она.— Разве я плохого желаю...

— Нет, нет, что ты.— Он даже не хотел с ней спорить. Зачем говорить о том, что испытал и понял он? Это ее может только встревожить. Пусть она думает, что он такой же для нее, каким был всегда.

А за окном в черном мраке по-прежнему полыхали молнии, рокотал гром, ливень шумел на крыше. И при каждом ударе жена вздрагивала и испуганно глядела

на мужа. А он стоял у окна и пристально, неотрывно смотрел в грозовую ночь. И жена, глядя на него, успокаивалась.

В ЕЕ ГОРОДЕ

Это у него уже вошло в привычку: по утрам, после зарядки, принимать холодный душ, докрасна растирать махровым полотенцем располневшее тело и, полулежа в удобном кресле, просматривать до завтрака газеты.

Так было и в этот день. И зарядка, и душ, и махровое полотенце, и газета. И уже хотел было пойти завтракать, как его внимание привлекло на последней странице областной газеты маленькое сообщение, замкнутое в черную рамку.

Партийные и советские организации
г. Демьяновска с прискорбием сообщают
о преждевременной кончине врача
Ксении Ивановны Ковалевой.
Гражданская панихида...

Пожалуй, он бы не придал некрологу значения, если бы не фамилия умершей. Он тоже был Ковалев. Ну и что ж, мало ли на свете Ковалевых?.. Но не успел отложить газету в сторону, как тут же понял, что эта Ковалева не просто однофамилица, а именно та Ксюша, с которой он когда-то учился, которую любил...

С тех пор прошло почти тридцать лет. Годы, как и расстояние, сглаживают все. Постепенно и тоска по Ксюше и вина притушились. Но вот теперь, когда ее не стало, многое вспомнилось.

Не сразу, словно сквозь туман, пришла к нему из юности Ксюша — веселая, в юнгштурмовской гимнастерке, остриженная под мальчишку, с тонкой, слабенькой шеей.

— Я из детского дома, а ты?— спросила она.

— Я с родителями...

— Какой ты счастливый. А я никогда не видела отца. Он погиб на войне... И мать плохо помню.

У нее были маленькие руки. Когда она здоровалась, то ее рука терялась в его руке.

— Ты, наверно, очень сильный. Да?

— Не очень, но сильный.

— Я прямо тебе завидую. У врача должны быть руки уверенные. А у меня...— Она протягивала свои руки ладошками кверху.

Он смотрел и удивлялся: «Ну, просто руки ребенка».

Ковалев в замешательстве подошел к окну. Он понимал всю бессмысленность воспоминаний. Прошло три десятилетия. Она прожила свою жизнь. Он доживает свою. К чему все эти мысли о прошлом? Зачем они?

На улице стоял уже октябрь. Но день выдался сухой, ясный. Солнце косым лучом упиралось в стену, освещая угол большой картины в тяжелой бронзовой раме. И этот весело освещенный угол — край леса с куском голубого неба в какой-то странной связи с прошлым напоминал то время, когда он, Ковалев, жил с Ксюшей.

— Гога!

В дверях кабинета стояла жена. На ней был шелковый японский халат с летящими птицами, тростинками камыша, маленькими фигурками человечков.

— Завтрак давно готов,— мягким укором, улыбаясь, сказала она.

— Я не буду завтракать,— отрывисто отозвался Ковалев, раздражаясь на это глупое и такое неуместное сейчас «Гога» и на «птичий» халат жены.

— Что с тобой? — недоуменно пожав пышными плечами, спросила она. И, словно догадавшись, поспешно подошла к нему.— Буров не отдает долг?

Это было единственное, что за последнее время омрачало ей жизнь. Не имея привычки давать в долг, они почему-то решили помочь Бурову, давнему другу их дома, и теперь она терзалась мыслью: отдаст или не отдаст деньги этот злосчастный Буров?

— Господи!— вырвалось у Ковалева.— Неужели ты не можешь понять, что у меня, как у всякого человека, могут быть свои и радости и горести. Неужели даже час нельзя принадлежать себе?

— Ну хорошо, хорошо!— повышая голос, придвинулась к нему жена.— Можете оставаться сколько угодно с самим собой.— Когда она обижалась на него, то переходила на вы.— И давно пора сказать, что я вам надо-

ела. Люди в вашем возрасте бесятся, бросают семьи... что ж!— Последние слова она произнесла со слезами в дрожащем голосе. И, прижав пухлые короткие пальцы к полной груди, покачиваясь, вышла.

— Ай-ай-ай-ай-ай!— простонал Ковалев и обхватил голову руками, сцепив на затылке пальцы.

Когда этот приступ раздражения и бессилия перед глупостью прошел, он еще раз прочитал сообщение.

— Город Демьяновск...— прошептал Ковалев и вспомнил, что это был тот самый городишко, а вернее, какое-то захолустье, куда его послали с Ксюшей после окончания института. «Значит, там она и прожила всю свою жизнь?— с жалостью и чувством вины перед ней подумал Ковалев и тут же решил: — Надо что-то сделать... Надо хотя бы проститься с ней...»

— Я уезжаю. Надо проститься с товарищем,— сказал Ковалев жене. Он хотел объяснить, с каким товарищем, как проститься, но жена, протестующе подняв руку, остановила его:

— Можете не только прощаться. Можете навсегда уехать с ним!

Электричка, трубно гудя, проносилась мимо пустых полей, опаленных осенью перелесков, потемневших от дождей пригородных поселков. День, солнечный с утра, затянулся серыми тучами. Они шли сплошняком, в несколько рядов — нижние с лохматыми дымящимися краями, над ними густые, с черными подпалами, и, накрывая их, раскинулась по всему необъятному небу непробиваемая холодная мгла. Все это было тяжелое, слитное, и не верилось, что где-то там, за тучами, есть солнце. И от этого, на что бы ни смотрел Ковалев, все казалось ему невеселым, отжитым. Мелькали голые деревья с черными обугленными ветвями, желтела опавшая листва.

Он глядел в окно, а в памяти вставало давнее. Вот по этой же дороге он ехал тогда с Ксюшей. Поезд еле-еле тащился, подолгу простаивая на каждом полустанке. В вагоне было душно. Народ стоял даже в тамбуре. Но им повезло. Они лежали на полке, смотрели в верхнюю часть окна и украдкой, чтобы никто не заметил, целовались.

— Я люблю тебя... Я тебя очень люблю,— шептала Ксюша.

Он чувствовал на щеке ее горячее дыхание, видел большой, с синеватым белком, глаз, вздрагивающие ресницы, восторженно приподнятую бровь и радовался, что все это принадлежит ему. Радовался тому, что вот они двое молодых врачей, едут неведомо куда и там будут жить, будут вместе... Тогда была тоже осень, но она не угнетала.

Торжественный трубный звук плыл впереди электрички. Выходили пассажиры. Все меньше оставалось людей в вагоне.

Ковалев зябко поежился.

— До Демьяновска, не скажете, далеко еще?— спросил он соседа, длинноносого старика, одетого в поношенный ватник.

Тот хмуро посмотрел на него, остановился взглядом на велюровой шляпе, на бобровом воротнике и сухо ответил:

— Чего ж не скажу — скажу. Вот проедешь две остановки и слазь.

Ковалев удивился. Оказывается, всей езды было не больше двух часов. А тогда они тащились чуть ли не целый день. Помнится, на какой-то станции он бегал за кипятком. На другой покупал вареный рассыпчатый картофель. Ксюша смеялась, принимая все это в окно. И опять они ехали, тесно прижимаясь друг к другу.

В Демьяновске Ковалев вышел вместе со стариком.

— Не скажете ли, где городская больница?— спросил он.

И опять старик строго и чуждо посмотрел на него и ответил еще суше:

— Это почему ж не скажу? Вот пройдешь прямо, а потом свернешь на Покровскую. А там спроси, тебе каждый покажет.— И, помолчав, удовлетворенно заметил:— Горе-то, как видно, всех равняет...

Ковалев, не понимая хмурости этого старика, неловко улыбнулся и, притронувшись к шляпе, поспешно зашагал к Покровской.

Демьяновска он не узнавал. Это уже не было захолустье с деревянными похилившимися избами, с развороченной, полной воды в колеях дорогой, с дощатыми прогибающимися мостками. Город, с двухэтажными каменными домами, с магазинами, в витринах которых стояли и сидели манекены в шляпах и платьях, с ас-

фальтированными тротуарами, начинался от вокзала и уходил во все стороны. И, возможно, потому, что ничего знакомого тут не видел Ковалев, город не произвел ни грустного, ни радостного впечатления, какое обычно бывает при посещении мест, связанных с чем-то дорогим. И только удивительно было сознавать, что это то самое захолустье...

По тротуарам переметало листья, забивало их в углы подъездов, в подворотни, к заборам. Бежали из школы первоклассники в новеньких формах с непомерно большими портфелями. Озабоченно шли женщины, неся в кошелках продукты. Нет, ничего знакомого тут не видел Ковалев. И вдруг, грохоча на стрелках, весело названивая, вывернулся из-за угла трамвай. Старенький вагон, выкидыш большого города, с неуклюжей дугой, с висячей подножкой, с «колбасой» на задней стенке вагона. И словно сразу пахнуло на Ковалева годами юности. Сколько раз вот на таком трамвае он ездил с Ксюшей в институт, как порой они мерзли, стоя на открытой площадке вагона, как злились на его медлительность... Было в этой встрече что-то очень грустное, от чего не уйдешь, не откажешься.

Покровская оказалась широкой, длинной улицей. Ковалев шел по ней долго, чуть ли не до конца ее. Потом, спросив, как дальше идти, шел уже переулками, проездами, пока не остановился у железных решетчатых ворот больницы. Спрашивать, где проходит панихида, не пришлось — висело объявление.

Уже у ворот он услышал медные траурные звуки духового оркестра. Было мгновение, когда он хотел остановиться, не идти в красный уголок, где проходила гражданская панихида. Зачем эта последняя встреча? Проститься? Но ведь ей теперь ничего не нужно... А ему? Зачем ему? И все же стал медленно подниматься по широким выбитым ступеням каменной лестницы. Он взбирался будто на крутую гору. И наконец наступил тот последний шаг, который поставил его на порог, и он увидал ссутуленные спины людей, обнаженные головы и за ними, в просветах, в зелени и поздних осенних цветах пламенеющий кумачом на длинном столе узкий гроб.

Духовой оркестр играл шопеновский марш. Протяжные, наплывающие из глубин горя и страданий, эти

звуки еще сильнее увеличивали боль по утраченному. Многие плакали. Ковалев тихонько, по полшага, стал приближаться к той, с которой когда-то думал прожить всю жизнь.

Даже и теперь, под белым покрывалом, было видно, какая она маленькая. На груди ее острыми бугорками выпирали сомкнутые руки. Строгое, застывшее лицо было замкнуто. Он узнал ее и опустил голову.

В наступившей тишине послышался приглушенный старческой хрипотцой неторопливый голос. У гроба стоял сутулый старик. Голова его, как-то странно прижатая к левому плечу, натягивала сухую кожу обветренной шеи.

— Это теперь в Демьяновске спокойно,— говорил он, смотря на Ксению,— а тогда ночью не покажись. Тяжелая была обстановка. Как вам известно, коллективизация шла... борьба с кулачеством. Стреляли в меня... Ксения Ивановна пули достала из груди и вот отсюда,— он показал на шею,— на память дала мне.— Старик разжал ладонь, и все увидали две сплюснутые почерневшие пули.

Ковалев вспомнил,— действительно, тогда было такое время. Но уехал-то он по другой причине. Он больше не мог оставаться в захолустье. Ему разом, на всю жизнь опротивела деревня с ее тараканами, клопами, вонью в избах от телят и пеленок, с ее бескультурьем, когда верят больше знахарю, чем врачу. У него перехватывало горло от одной мысли о том, что приходится спать на полатях, на печи, в ворохе нагретого, дурно пахнущего тряпья, есть из одной миски со всеми. Он не мог жить в деревне.

— Я готовил себя не для такой скотской жизни,— возмущенно говорил он Ксении.

— Но ведь ты же комсомолец!

Но он и слушать ее не хотел. Домой, только домой! В город, где чистота. Где есть электричество, квартира... Сначала поживем с родителями. Потом найдем отдельную... Он торопливо собирал вещи, запихивал их в мешок.

— Ну, что же ты? — крикнул он Ксюше.

Она ничего не ответила. Чужими глазами смотрела на него.

— А, капризы! Ну и оставайся! — Был он тогда мо-

лод, горяч.— Оставайся! — крикнул он уже в дверях, думая, что она побежит за ним, остановит.

Но она не побежала. Не остановила. Она навсегда осталась здесь. Было от нее три письма. Она писала, что любит его. Просила вернуться. Говорила, как трудно ей. «Бросай все. Приезжай»,— коротко отвечал он ей, твердо веря, что она вернется, приедет к нему. Он звал ее. Больше года ждал. Но она не приехала. Так и расстались...

Старик замолчал. И снова раздалась скорбная музыка. Ковалев стоял, не смея поднять головы. Ему думалось, после слов старика все смотрят на него, и боялся, как бы его не узнали.

И опять тишина. Теперь уже какая-то женщина, утирая глаза концом платка, сквозь плач рассказывала о том, как Ксения Ивановна, тогда еще молоденькая девчонка, спасла ей жизнь. Рассказ был сбивчив, но все же можно было понять, что у нее были тяжелые роды, что всю ночь Ксюша не отходила от нее и что к утру родилась девочка.

И тут Ковалев припомнил, что в каком-то из своих писем, пожалуй, в последнем, Ксюша упоминала что-то похожее на рассказ этой женщины. Что ей пришлось в осеннюю непогодь бежать по непролазной грязи в парусиновых ботинках за обезумевшим от беды мужиком, что все же она успела и спасла жизнь и женщине и ребенку, но сама заболела и просила его приехать. Но он не приехал. Не поверил ей. После этого она перестала писать...

Пожилую женщину сменил военный. Он говорил о фронтовых делах Ксении Ивановны. Оказывается, она работала военным хирургом. Потом выступала девушка, которой она тоже спасла жизнь. Это уже было недавно.

Снова полилась музыка. Люди засуетились у гроба. Начался вынос. Женщины разбирали венки. Венков было много. На шелковых лентах были написаны слова любви и доброй памяти и от сослуживцев, и от тех, кому она помогла в тяжелый для них час, и от школьников, но, сколько Ковалев ни вглядывался, не было венка от родных, от ее семьи. Он не хотел этому верить. И нарочно встал в проходе, чтобы прочесть все надписи на венках, когда их будут проносить мимо. И не нашел

такого венка. «Что же это, неужели она всю жизнь прожила одна?» — с болью подумал Ковалев. И тут на глаза ему попался официальный венок от какой-то организации: «Дорогому товарищу Ковалевой...» И лишь теперь до его сознания дошло, что она так и осталась Ковалевой. Не сменила его фамилию... Сердце ударило больно и глухо. В какое-то мгновение он снова вспомнил все, что было связано с Ксюшей. И это было так ярко, что он снова увидел ее вздрагивающие ресницы, удивленно приподнятую бровь, почувствовал ее горячее дыхание... «Я люблю тебя»,— донесся издалека ее голос.

«Как же так получилось?» — думал Ковалев, не замечая слез, которые текли по щекам неровными дорожками, терялись в аккуратно подстриженных усах.

Словно в тяжелом сне, Ковалев вышел во двор больницы. Он видел, как, тихо переговариваясь, провожающие внесли гроб в автобус, как сели в машины. Уехали... Он еще долго стоял один, совершенно один на пустом больничном дворе. Потом медленно вышел за ворота больницы. Медленно пошел по длинной Покровской улице. Над городом висело серое, однотонное небо. Ветер переметал под ногами сухую листву. Зябко дрожали деревья.

ВСТРЕЧА НА УНГЕ

Вот уже пять дней они живут в болоте. Без костра. Без палаток. Они уже не разговаривают друг с другом, и не потому, что перессорились, как это случается, когда люди по чьей-то вине попадают в безвыходное положение, нет, молчат потому, что так легче переносить отчаяние. Даже Нина, девятнадцатилетняя девчонка, лаборант-коллектор, и та молчит.

Опухшие от комарья и гнуса, измененные до неузнаваемости, с заплывшими глазами, изодранными в кровь лицами, они были страшны и поэтому старались не смотреть друг на друга, понимая, что каждый из них сам не краше. От густых, пряных запахов багульника и болиголова все испытывали какое-то странное состояние нереальности происходящего. Громадное, необозримое болото, с редкими тоненькими черточками хи-

лых лиственниц, простиралось во все стороны. И ни звука, ни зверя, ни птицы.

Чем дальше они шли, тем зыбучее становилось болого. Они пробирались по нему, как альпинисты, связанные друг с другом веревкой. Связаться они догадались после того, как погиб Коля Березкин, молоденький техник, схваченный трясиной.

С кочки на кочку, а то и по колено, а то и по пояс в ржавой жиже, они брели на северо-запад к большой светлой реке, брели по компасу, с которым ни на минуту не расставался начальник гидрометрического отряда Александр Парахин. Метров за двадцать, за сорок, а иногда и за триста, если в створе их пути попадалось дерево, намечал он ориентир и непреклонно, слепо пробирался к нему напрямик, безо всяких обходов, и только уж в тех случаях, если на этой зримой линии попадало провальное окно, отворачивал в сторону, чтобы вскоре снова выйти на дрожащую стрелку магнитного компаса.

Он понимал всю ответственность, которая на нем лежит. Понимал, что будут тяжелые объяснения с начальником экспедиции за гибель техника Березкина, понимал, что немало будет у него передряг из-за потерянных лошадей, оставленных в трясине этого болота. Но все это — он понимал — будет не скоро, будет через бесконечно длинное время, если он сам останется жить.

В короткие прояснения, когда голова освобождалась от однообразного, неотступного напряжения, он начинал припоминать, как все это случилось. И в сознании возникало сухое раннее утро сентября, когда они — восемь человек с пятью вьючными лошадьми — вышли из железнодорожного поселка и направились на северо-запад, к большой светлой реке Унге.

Путь был ясен, его сам Парахин нанес на карту аэрофотосъемки. Он провел прямую от поселка до места изысканий будущего железнодорожного моста через Унгу. Даже время рассчитал. День уйдет на перевал. За ним будет долина. В ней предполагается болото, но его можно обойти. Дальше лес, и за ним река. Весь путь займет не более трех дней.

И хорошо все шло сначала. Перевал они взяли легко. Редколесный, пологий, он обнадеживал, что и дальше путь будет таким же простым и неутомительным. Меньше чем за сутки они миновали его и наутро, хорошо

выспавшиеся, плотно поевшие, вошли в долину. И здесь путь был хорош. Сухая, ровная, кое-где поросшая сосняком, приняла их долина. Но потом она стала влажнеть, стало почавкивать под копытами лошадей, появилась мошка, и все же путь еще не внушал опасений. Нет-нет да кое-где и сухоглинка появится. Но от километра к километру все больше становилось воды. Пошел кочкарник. Тут бы остановиться, подумать, но, как нарочно, словно заманивая, подворачивалась твердь, и Парахин вел отряд дальше. Так было в первый день на болоте. К вечеру они разбили лагерь среди торчащих в разные стороны сухостойных лиственниц, развели костер и, полные надежд на то, что и завтра все будет хорошо, легли спать.

Если бы болото началось сразу после перевала, если бы своевременно определить, что оно непроходимо, то можно было бы и вернуться, поискать другого пути, но какое-то звериное коварство было заложено в нем. Когда люди уже всерьез начинали тревожиться, то снова болото как бы отступало, исчезала трясина, и все веселели, веря, что топь кончается, что скоро начнется сушь.

На второй день болотной жизни погибли лошади. Они проваливались по брюхо с ходу, рвались из трясины, потрясающе жалобно ржали. Их развьючивали, подсовывали веревки, тащили, уходя сами по пояс в трясину. Вытаскивали. А через несколько шагов лошади снова вваливались, и снова над болотом разносился жутко-тоскливый крик.

Было, когда Парахин решил вернуться и пошел уже, повел караван обратно, но тут-то и началось непонятное. Не прошли и десятка метров, как две лошади сразу ушли с головой в зыбун, ушли вместе с вьюками. И стало понятно, что возвращаться не менее опасно, чем двигаться вперед.

На третий день отряд прошел от силы километр. Пробирались кто как хотел. Прыгали с кочки на кочку, брели по колено в ржавой жиже, иногда пробирались ползком. Техник Березкин отошел в сторону. Он почему-то решил, что там лучше, отошел метров на триста от людей и никогда уже больше не вернется. И никто не узнает, как он погиб. Болото словно проглотило его, он даже не успел крикнуть. После этого Парахин запретил

уходить от него и приказал связаться веревкой друг с другом.

И четвертый день мало чем порадовал. Всю ночь они провели без костра, мокрые, сидя на кочках, уткнув лицо в колени.

И вот уже пятый день на болоте. А леса еще не видно. Над головой неотвязное облако разной дряни: тут и мокрец — еле различимая глазом мошка, и какие-то желтые комары, и мошкара. И все они лезут в глаза: накомарники не спасают — мокрые, рваные тряпки. Но люди уже настолько привыкли к этому, что вроде и не замечают. Впереди идет Парахин, прыгает с кочки на кочку, срывается, падает руками в воду, тяжело подымается и упрямо бредет дальше. Неожиданно заплакал завхоз. Плач у него начался с хриплого воя. Он стоял по пояс в воде и закрывал лицо руками.

— Ну, как вам не стыдно,— сказала Нина.— Надо быть мужественным.

И, может, потому, что сказала она, единственная женщина среди мужчин, завхоз перестал выть. Может, стыдно ему стало.

— Простите,— сказал он.

И снова пошли дальше. Это был единственный случай проявления слабости в этом отряде. Знамя мужества и упорства незримо реяло над ними, и, пожалуй, больше всех это знамя чувствовал Парахин. Может, даже он его придумал. «Если только дойдем, а дойти мы обязаны,— мечтал он,— то наш подвиг должны оценить в штабе экспедиции. Какие замечательные люди! Какие сильные! Я никогда не думал, что они способны так стойко переносить лишения, и все безропотно, все во имя единственной цели — выполнить задание. Как мы еще мало знаем людей. Но неужели для того, чтобы узнать, нужны такие тяжелые испытания? Как мы еще мало ценим людей. Памятники надо ставить таким людям! Песни слагать!» Он был человек романтического склада, к тому же не лишенный сентиментальности.

Идущий вслед за ним инженер-гидрометрист Завьялов думал совсем иначе. Прежде всего он целиком винил во всей их беде Парахина. «Легкомысленный человечишка,— думал он,— завел черт знает куда, и это называется руководитель. Смеяться будут над нами в штабе экспедиции. Это же позор для изыскателя — застрять в

болоте, перетопить все снаряжение, потерять человека. Что толку, что он способный инженер,— он никудышный организатор. И кто это придумал, что если человек разбирается в своем деле, то ему следует доверять общее руководство?» Завьялов, конечно, был человек совершенно иного склада, нежели Парахин. Романтиком он не был и всякие слезливые сантименты не терпел. К делу относился серьезно, безо всяких там улыбочек и острот.

За ним шел буровой мастер, грузный человек, как и его фамилия — Чугунов. Он весил сто пять килограммов, а размер обуви, как нарочно для этого болота, тридцать девятый, поэтому он не вылезал из воды: уцепится за кочку, подтащит себя, высвободит ногу, перекинет ее вперед, и опять за кочку, опять подтащит себя, и другую ногу вытащит. О чем он думал? «Поскорее бы кончилось болото»,— вот о чем он думал. И иногда вспоминал войну. Но, как ни странно, вспоминал с улыбкой, она ему казалась теплее и суше, чем это болото.

За ним брел завхоз, он больше не выл, но состояние у него было ужасное. «Зачем, зачем я поехал на эти проклятые изыскания? Ведь я же могу тут загинуть, как погиб Березкин»,— неотступно терзал он себя. Завхоз был впервые на изысканиях, и это единственное, что могло в какой-то мере оправдать его малодушие.

За ним шла Нина, тоненькая, легкая, ее каждая кочка удерживала. «Боже мой,— думала она,— как хорошо, что ничего мама не видит, не знает сейчас, где я. Она бы умерла со страха. Но ничего, все хорошо будет, только надо собрать все свое мужество, не терять веру. Ведь идем же по карте». Она верила в то, что иного пути нет, и поэтому ей было легко.

За ней шел рабочий Никитин, человек лет пятидесяти. За свою жизнь он всякого нагляделся, и его нисколько не удивлял такой переход. Он знал, что рано или поздно вся эта чертовщина кончится и он будет сидеть у костра.

За ним шел второй рабочий, помоложе, Озеров. «И занесла нас нелегкая сюда,— думал он,— неужели другого пути не было?»

...И пятую ночь они провели на болоте. Ночь тянулась бесконечно, думалось — никогда не взойдет красное солнышко, будет вечно непроглядная тьма и вечно будет стонущий звон комарья! Молчали. Никто никого не утешал,

потому что каждый мог любого утешить и ободрить. Каждый, кроме завхоза. Но он не в счет.

Ночь тянулась бесконечно, но рассвет все же пришел. Он не мог не прийти, чудесный рассвет, с чистым небом и большим солнцем. От болота оторвался туман и поплыл вверх, где и растаял.

«Сегодня мы должны выйти из болота,— ободренно думал Парахин,— где-то и ему должен быть край».

Незаметно, как к человеку приходит совершенствование, болото стало отступать. Все реже попадались провальные места, все меньше люди вваливались в трясину, все больше стало появляться мелких кочек, и вот они уже идут сплошняком. И вот уже под ногами обугленная, черная, мертвая земля и кое-где уцелевшие головни деревьев.

— Вот почему мы не видели леса,— радостно закричал Парахин,— он сгорел!— Все же Парахин был доволен, вел отряд правильно.

Видно, таежный пожар здесь порезвился вовсю, подъел дочиста. Когда он был? Может, год назад, но до сих пор еще попахивало гарью.

Человек всегда ждет радости. Он никогда от нее не отказывается, пусть она будет мала, как копейка. Он и живет-то от радости к радости; может, только поэтому и способен переносить все беды и горести, которые пытаются свалить его с ног. Для маленького отряда, пробирающегося к месту изысканий, горелый лес оказался громадной радостью.

Для таежного охотника Афанасия Закрепкова этот же горелый лес был сущей бедой. Теперь ему приходилось уходить на охоту либо на другой берег Унги, либо далеко в сторону от погорелья. Он был немолод, так лет шестидесяти. Вся жизнь его прошла в тайге, он уходил из дому на осень — зиму и возвращался в колхоз по весне с немалой добычей. Лес для него никогда не был чужим, он знал его лучше, чем людей. И зверей он знал лучше, чем людей, легко разбирался в их следах, повадках, понимал голоса. «Со зверями проще, чем с людьми» —так он утверждал.

Он сидел на берегу светлой большой реки. Ее воды стремительно проносились мимо него в бесконечное. От-

куда она бралась, эта вода, куда уходила? На плоских, растянутых волнах качалось немеркнущее солнце. Таежник сидел у костра. Отдыхал.

Дым его костра первым заметил завхоз, первым потому что больше всех истосковался за эти дни по человеческой жизни.

— Дым!— закричал он и побежал к тоненькой белесой синеве, спиралью уходящей в небо.

Афанасий Закрепков встретил людей спокойно. Он нисколько не удивился, что люди пришли к его костру. Удивился бы другому — если бы зверь пришел на огонь. А люди — что ж, они всегда тянутся к огню. Он не удивился и тому, как были измучены люди. Тайга не балует, только опытный охотник не потеряет себя в ней, а тут, судя по всему, горожане, наверно — геологи, люди смелые, но не всегда опытные. Он ни о чем их не расспрашивал, знал, сами расскажут. И не ошибся, рассказали, и он узнал, как шли они семь суток до этого места, из них пять — болотом, как погиб их товарищ, как потеряли они лошадей, как обрадовались горелому лесу. Он все узнал.

— Зачем же вы так шли-то?— недоуменно глядя на Парахина, спросил он.

— А как же,— ответил Парахин.

— Надо было другим путем.

— Каким же другим? Другого пути нет,— убежденно сказал Парахин.

— А как перевал прошли, видал сопку справа? Ну, по ней с лошадьми не пройдешь, а вот за ней сколько угодно,— сказал, раскуривая трубку, Афанасий.

— Да ведь за нею река,— удивляясь неосведомленности таежника, сказал Парахин.— Ее надо два раза переходить.

— Какая же там река, ручей Арыгач, восемь шагов поперек да по ступню глыбь,— меж затяжками сказал Афанасий.

Чтоб не спорить с ним, Парахин достал карту аэрофотосъемки и показал охотнику сопку на ней и рядом широкую полосу реки, немногим меньше Унги.

— Неправильная карта,— сказал таежник.

— Как же это неправильная, это аэрофотосъемка,— сворачивая карту в трубку, усмехнулся Парахин,— фотография.

— Арыгач бывает широким только в июле, когда ливни, в паводок, а сейчас он маленький, по ступню глыбь.— Таежник пососал трубку и продолжал:— Я за два дня хожу тем путем, когда нужно на железку смотаться.

Наступила жуткая тишина, когда люди неожиданно прозревают и начинают понимать то, что до этого было скрыто от них.

— Но, позвольте, как же?..— растерянно сказал Парахин и чуть не умоляюще поглядел на таежника: мол, ты же шутишь, ну, скажи — шутишь?

— А так! Надо бы тебе поговорить с местными, прежде чем пускаться в путь,— ответил таежник. И впервые в его голосе прозвучал упрек, а во взгляде появилось пренебрежение.— Советоваться надо. А так ведь и всех мог загубить.

...Нина плакала.

ГАНТИАДИ

Так вот оно какое, Черное море! Громадное, с зеленой водой, с белыми вспышками солнца на волнах, с горячим галечным берегом, с дельфинами — они эластично врезались в воду, как в густое масло,— с мальчишками, загорелыми, уверенными. Они как дома в этом море. Издалека нарастает, несется к берегу волна, все выше, выше — и вот уже закрыла своей вспененной вершиной и море, и небо; она сейчас все сокрушит на своем пути. Бегите, мальчишки! Спасайтесь! Но мальчишки не бегут. Они ждут волну. Ждут. И вот уже, сомкнув над головой руки, полувыскочив из воды, гибко изогнувшись, уходят в нее. Их нет. Волна же обрушивается на берег, грохочет тяжелой галькой, сползает обратно, плоская и обессиленная, перекатывая мокрые камни. А ребят нет. Где же они? Да вон, вон! Плывут к берегу, смеются и плывут.

— Чего стоишь! Иди к нам!— Это зовет ее самый коричневый, самый ловкий.

И Наташа идет по горячей гальке, подошвам щекотно, ноги подворачиваются.

— А вода теплая?— спрашивает Наташа. Она еще не знает южной воды. Не знает, какая это чудесная, бар-

хатная вода. Она все еще судит по своему далекому северу.— А вода теплая?— Она осторожно касается белой ногой моря.

— Ну как, нравится?— Это спрашивает ее самый коричневый.

Море швырнуло его к ее ногам. Он глядит снизу вверх, у него большие глаза, дерзкие, смеющиеся. И вдруг он вскакивает и, ловко изогнувшись, уходит в волну. И опять его нет. А волна с размаху шлепается на берег, несет, будто на вытянутых руках, кипящую пену, обдает солеными брызгами Наташу. Ах, как хорошо! Но где же он? Другие мальчишки ныряют, плавают, но нет среди них его. Даже становится страшно.

— Ну что же ты стоишь, Наташенька? Иди, не бойся,— говорит мать и берет ее за руку.

— Подожди, мама...— Наташа неотрывно смотрит на море. Ведь должен же появиться самый коричневый. Но его нет. До сих пор нет...

— Ну, смелее, смелее,— смеется мама.— Посмотри, все купаются.

Наконец-то она увидела его. Как он далеко от берега! Возле какого-то красного шара.

— Какая теплая вода!— кричит Наташа и вырывает свою руку из руки матери, но ее тут же сшибает волна, тащит на берег по жестким камням.— Ой!— кричит Наташа, теперь уже море волочит ее обратно.— Ой!— По ее ногам прыгают камни. И все. Волна отступила, оставив на мокрой гальке длинноногую беленькую девочку в розовом купальном костюме, в розовой резиновой шапочке. Наташа смеется и бежит в море, плывет, ее подхватывает волна, подымает вверх, скатывает словно с горы, и снова вверх, и снова с горы...

— Не заплывай далеко!— кричит мама.

Как легко плыть! Мягкая вода ласково качает ее, с волны на волну, с волны на волну, туда, где у красного, какого-то непонятного шара коричневый мальчик.

Но его опять нет, только на воде качается красный шар. До него не так уж далеко. Взмах, еще взмах руками. И вот он рядом. Да это же футбольная камера! Зачем она здесь? И в ту же минуту появляется из воды самый ловкий. Лицо у него багровое, он жадно хватает ртом воздух, что-то опускает в мешок, привязанный к футбольной камере.

...В солнечный день костер горит прозрачным, почти невидимым огнем. Мальчуган подбрасывает в него белые, словно кости, омытые водой, высушенные жарой палки. На огне старый оцинкованный таз. В тазу, в кипящей воде раковины. Рядом с костром валяется пустой мокрый мешок.

— Зачем тебе так много раковин?— спрашивает Наташа.

— Мне нужны деньги на акваланг,— хрипловатым голосом отвечает мальчуган.— Я их продаю; вот эти — по десять копеек,— он выковыривает из раковины моллюска и показывает Наташе раковину, которая стоит десять копеек. Она маленькая, не больше вазелиновой коробочки.— А вот эта,— теперь он показывает другую, покрупнее,— двадцать копеек.— Он ее протирает тряпкой, очищает от склизкой зелени.— Мне бы только купить акваланг, тогда бы я достал большую раковину. Ты знаешь, как она шумит? Как море. И днем и ночью.

— Я никогда не видала такой раковины,— говорит Наташа и прикладывает к уху двадцатикопеечную раковину.— А эта не гудит.

— Потому что маленькая,— отвечает мальчуган.— Я знаю место у скалы, там глубина— двенадцать метров. Там наверняка есть большие раковины, но без акваланга трудно их достать.

К ним подходит высокий парень с такими же светлыми большими глазами, как у коричневого мальчугана.

— Ты что, Колька, опять за свое?— строго говорит он.

Мальчуган молчит.

— Придется матери сказать...

Мальчуган быстро и ловко выковыривает из раковин моллюсков.

— Живых ни за что не вытащишь, а вареные как пробки выскакивают,— негромко объясняет он Наташе.

— Придется сказать матери,— говорит старший брат и уходит.

— Чем он недоволен?— спрашивает Наташа.

— Боится, что я из-за воды оглохну,— пренебрежительно усмехнулся мальчуган.

— А из-за воды можно оглохнуть?— с тревогой спрашивает Наташа и прислушивается: хорошо ли она слышит, не стала ли после купания слышать хуже? Нет,

вроде так же слышит. Это, наверно, потому, что у нее резиновая шапочка.— А ты надевай резиновую шапочку, тогда вода не будет попадать в уши.

— Глохнут не потому,— снисходительно поясняет мальчуган,— а потому, что раковины на большой глубине — восемь метров. Ну, глубина и давит на уши. Только глохнут те, у кого уши слабые, а у меня они сильные...

Наташа смотрит на него восхищенно. Еще никогда она не слыхала, чтобы у людей были сильные уши. Могут быть сильные руки, сильные ноги, сильная спина, сильная шея, но чтобы уши были сильными — нет, такого человека она еще не встречала. Но вот он сидит перед ней на корточках и как ни в чем не бывало смазывает раковины каким-то маслом, и они блестят, как новенькие; сидит перед ней и даже не зазнается.

— Я рада за тебя, рада, что у тебя такие сильные уши,— улыбаясь, говорит Наташа, и смотрит на его уши. Они у него маленькие, чуть оттопыренные, обыкновенные уши, но они, конечно, не такие как у всех, они очень сильные.

...Ребята заняты какой-то очень быстрой и веселой игрой. Ныряют в волны, выскакивают, уходят в новую волну. И там, в волнах, ищут друг друга.

— Иди к нам!

— Мама, меня зовут играть, можно?— радостно спрашивает Наташа.

Мать сидит под зонтом, вчера она перегрелась и теперь прячется от солнца.

— Кто зовет?

— Коля.

— Ну, если ты его знаешь, то иди...

— Я иду, иду!— кричит Наташа и бежит навстречу зеленой волне и, как мальчишки, вскинув руки, изогнувшись, уходит в нее. Волна незаметно прокатывается над ее головой, проходит так легко, что Наташа совсем ее не замечает. «Значит, волн бояться нечего, если нырять в них»,— взволнованная своим открытием, думает Наташа и ныряет в новую волну — и опять не чувствует, как эта новая волна прокатывается над нею.

Теперь хорошо бы открыть глаза и посмотреть, что

делается в море. И Наташа открывает глаза. Перед нею колышется солнечная зелень, на дне лежат светящиеся камни. От волн, от неустойчивого света они качаются. Вот проплыла какая-то маленькая рыбка. И вдруг что-то темное, большое надвигается на нее сверху. Что это? Скорее, скорее вверх, в сторону! Но это «что-то» хватает ее за ногу; закричать бы, но всюду вода, вода; скорее вверх. Мамочка! Вверх!

— Ах!— Над головой солнце, громадное синее небо, воздух. И рядом смеющееся лицо Коли.

— Это ты меня схватил за ногу?— Нет, она не сердится, ей даже смешно.— А я думала...

— Это была акула,— совершенно серьезно говорит Коля,— но я пырнул ее ножом, и она убралась.

— Верно?

— Да нет, я пошутил, никаких тут акул нету...— И, озорно улыбнувшись, говорит:— А у меня что-то есть для тебя. Давай скорей к берегу.

На берегу он показывает раковину. Она громадная, как тарелка, с зазубренным входом в храм гладкого розового перламутра.

— Послушай, как она шумит.

И Наташа, держа обеими руками возле уха тяжелую раковину, слушает. На нее волнами накатывается из какой-то неведомой дали глухой беспрерывный шум. Он то усиливается — и тогда раковина уже гудит, как телеграфный столб, то затухает — и шум становится похожим на шипение волны, обессиленно сползающей по берегу в море. В ее шуме Наташе слышится вой ветра, он сливается с голосами людей, в нем скрип мачт и гудение парусов, крики о помощи и счастливый смех, встречи и расставания, прошедшее и будущее. Почему она так шумит?

Наташа вслушивается. Никогда еще не было у нее такого задумчивого лица, никогда еще ее глаза не были так глубоки; в них синева моря, зелень волн, свет солнца; рот чуть полуоткрыт, на губах дрожит улыбка...

— Здорово?

— Да.— Наташа вздохнула.— Никогда еще я не слушала такую раковину. Это чудесная раковина.

— Можешь взять ее себе,— как бы между прочим говорит Коля.

— Ты отдаешь ее?

— Бери. У меня теперь акваланг, я не такую еще найду.

— Ты купил акваланг? Я очень рада за тебя! Но мне все же неудобно, такая красивая раковина.

— Вот и бери красивую... Ну, я пошел,— неожиданно заканчивает он разговор и не идет, а бежит, и не в море, а вдоль берега.

— Выходит, это ради тебя он нырял у скалы?— раздается голос старшего брата. Сухо и строго он смотрит то в Наташины глаза, то на большую раковину, которую Наташа держит в руках.

— Я не знаю...

— Он еле выплыл, глупыш, чуть не задохся. У него из ушей пошла кровь.

— Кровь?

— И ты больше не проси, чтобы он доставал тебе раковины,— строго говорит старший брат и идет в ту сторону, куда убежал Коля.

— Но я его не просила!— крикнула ему вдогон Наташа.— Он мне сам дал. Сказал, что у него теперь есть акваланг.— Наташа бежит, догоняет старшего брата.

— Никакого у него акваланга нет, придумывает он все,— не останавливаясь, говорит старший брат.

— Но я же ничего не знала, и, пожалуйста, возьмите, возьмите, пожалуйста, и отдайте Коле. Я у него не просила, он сам мне дал эту раковину.

— Ну если дал сам, зачем же отдаешь?

— Но вы же сказали.

— Ничего я не говорил, а ты вот что: никого он не слушает, скажи ему, чтобы не доставал больше раковин, а не то оглохнет.— И уходит.

Дома хозяйка передала им телеграмму. В ней говорилось, что изыскательская партия на месяц раньше срока закончила работу и отец уже едет домой.

Мама торопливо собирает вещи. Все делается быстро. Неумолимо быстро.

— Наташенька, ну что же ты стоишь, принеси с умывальника зубные щетки, мыло...

— Спасибо за все, до свидания,— говорит мама хозяйке.

— Мало вы пожили у нас,— говорит хозяйка.— Приезжайте еще...

— Спасибо, спасибо...— Это мама говорит уже в калитке. И вот они идут по улице, у мамы чемодан, у Наташи на спине рюкзак. Навстречу им проносятся легковые машины. Где-то, словно задыхаясь, кричит ишак. И вот уже позади остался ларек, в котором мама обычно покупала сливы, персики, виноград.

Вот и вокзал.

И вот уже мчится поезд. За окном мелькают дома, знакомые улицы, прошумел мост, под которым еще совсем недавно, какой-нибудь час назад, проходила Наташа, возвращаясь с моря, проехали пляж, проехали то место, на котором она стояла и слушала раковину. И вот уже все знакомое позади.

Море темнеет. Усиливается ветер, волны все дальше заползают на берег. Куда-то пролетели утки, над самой водой пролетели и скрылись. Море стало черным. Его треплет ветром, со дна вздымается темная вода, оно совсем непохоже на то, какое было в Гантиади. «То» осталось где-то далеко-далеко...

— Мы даже поесть не успели, так все неожиданно.— Мама смеется и целует Наташу.— Скоро увидим папу. Как хорошо!

— Да,— говорит Наташа и удивляется, не понимает, что с ней происходит. Ей что-то мешает радоваться. Что же? И почему-то хочется держать в руках раковину. Она достает ее из рюкзака. Какая она тяжелая и холодная.

— Мама, что такое Гантиади?

— Как что? Это местечко, в котором мы жили.

— А что оно означает?

— Ну, откуда я знаю... Но как хорошо, что мы успели на поезд. Послезавтра мы уже увидим папу...

«Гантиади... Что оно означает, это слово?— думает Наташа. Она смотрит на раковину, словно спрашивает у нее. Мысли нахлестываются одна на другую, как волны на берег.— Значит, у него акваланга нет? И все же он решился нырнуть на такую глубину. Он хотел достать большую раковину и достал, но почему же отдал ее?» Ни на один вопрос ответить она не может. Ей непонятно. Ей не разобраться. Сердце то сжимается — жалеет этого самого ловкого, самого коричневого мальчишку; то начи-

нает стучать сильнее — радуется за него: все же достал большую раковину; то замирает — почему отдал ее?

А поезд идет, все дальше увозит ее от Гантиади, где купаются ловкие мальчишки, ныряя из волны в волну, где на дне лежат большие чудесные раковины.

Она обеими руками прижимает раковину к щеке, ей приятно прижаться, почувствовать ее прохладу, и вдруг, сначала тихо — из-за шума поезда,— а потом все сильнее, доносится гул большого моря. Ее моря, громадного, с зеленой водой, с белыми вспышками солнца на волнах, с горячим галечным берегом. О чем еще говорит раковина? О море, о его больших глубинах, куда не проникает солнце, о рыбах, бесшумно скользящих меж светящихся камней и диковинных водорослей. Водоросли похожи на густой, дремучий лес, в них можно заблудиться, и вот уже маленькая рыбка заблудилась. Она отскочила от стайки и никак не может выбраться, тычется глупой мордочкой туда-сюда, туда-сюда и никак не может выбраться:

«Чего стоишь? Иди к нам!»— Это зовет самый коричневый, самый ловкий.

Наташа сидит, повернувшись к окну, но не смотрит в него: глаза у нее закрыты — она слушает, что еще скажет раковина. Волнами на нее накатывается из неведомых глубин глухой беспрерывный шум, он то усиливается, и тогда раковина грозно гудит, то затухает, и шум становится похожим на шипение волны, обессиленно сползающей на берег. В ее шуме Наташе слышится вой ветра, он сливается с голосами людей, в нем скрип мачт и гудение парусов, крики о помощи и счастливый смех, встречи и расставания, прошедшее и будущее. Почему она так шумит? Зачем?

НАШ ДОМ

— До свидания,— сказала Анна Николаевна, и на глазах у нее блеснули недоплаканные, еще не последние слезы.

— Счастливого пути,— живо ответил ей новый хозяин ее дома.

Энергично пожал руку, наверно, и не почувствовал, что сделал больно, и тут же занялся своим делом. Каким?

Не имеет значения. У этого человека всегда хватало своих дел.

— До свидания,— тихо сказала Анна Николаевна его жене.

— До свидания,— улыбнулась ей новая хозяйка.

Но в ее улыбке не было ни добра, ни сожаления, ни зла. Ничего не было. Она зря своих чувств не растрачивала.

Анна Николаевна окинула печальным взглядом комнату с окном на реку, маленькую теплую кухню, в которой зимними вечерами сидела с мужем, и, прерывисто вздохнув, вышла из своего, теперь уже не принадлежавшего ей дома. Можно бы и совсем уйти — калитка рядом, но что-то еще удерживало... Да, надо проститься с сиренью!

На большом, открытом солнцу участке неподвижно, как застывшие в почетном карауле часовые, стояли молодые липы, ясени, клены, березы, дубы. Это он их посадил, ее муж, полковник в отставке. Он часто говорил, что в долгу перед землей, и вот на пустыре растут деревья... Анна Николаевна пошла к реке. Там куст сирени. С реки набежал ветер, и листва зашелестела, замахала зелеными платочками, ветви стали кланяться, словно прощались. Анна Николаевна ласково провела рукой по листве, обошла весь куст и остановилась на берегу — и вспомнила, как она с мужем впервые стояла тогда на этом месте.

...Перед ними текла неширокая, ласково освещенная уходящим солнцем река. У нее были заводинки, поросшие желтыми кувшинками, плотно прилипшими к воде круглыми зелеными листьями. У берега на песчаной отмели стайка мальков грела темные спинки. Покоем и светлой грустью веяло от тиховодья реки.

— Ну как?— спросил муж.

— Мне нравится,— негромко ответила она.

— Ты здесь окрепнешь. Болезнь в тебе до сих пор сидит.

— Ну что ты... Я себя хорошо чувствую.

— По лицу не вижу.

— Но ведь и годы...

— Что там годы! Подумаешь, пятьдесят лет. Я видал старух, у которых не щеки, а яблоки.

— Красные?— улыбнулась жена.

— Конечно, не антоновка!— при этом муж тоже улыбнулся. (Анна Николаевна вздохнула, вспомнив это. Когда-то ее муж любил весело пошутить, много смеялся, но это было давно. Очень давно.)

— Весь участок заполним деревьями: липами, кленами, дубами,— мечтал он.— Сирень посадим. Вот на этом самом месте, где сейчас стоим.— Он окинул взглядом тенистые берега и тихое, засмотревшееся в воду небо.— Чтоб здесь был большой куст. И под прикрытием всей этой зелени поставим дом. Ну как? — И скупая улыбка чуть дернула его короткие жесткие усы. Вид земли радовал его, волновал, и поэтому он был словоохотлив.— Вообще здесь можно создать живописный уголок. Дом срубим из сосны... У нас в деревне дом тоже был из сосны. Сколько же лет я там не был? Пожалуй, лет сорок. Как ушел в армию, так и не вернулся. Хороший был дом, пятистенка. Отец не хотел делиться, так и жили в одном доме — двое старших братанов женатых и я, холостой... Теперь никого нет... Кто сам ушел, кого война унесла...

— Да, война,— тихо ответила Анна Николаевна и опустила голову.

Они помолчали, переживая каждый в себе смерть двух сыновей, погибших на войне. У них было молча условлено не говорить о ребятах: иначе трудно было бы жить.

— А я, знаешь, сейчас смотрю на землю и чувствую, что крестьянское начало во мне никогда и не умирало. Просто был большой интервал, и вот я снова на земле...— Он задумался и с горечью сказал:— Сколько было разрушено! У меня в глазах до сих пор стоят сожженные деревни, покалеченные сады. Как много было в войну изничтожено красоты... И я не последний участник в этом деле.

— Но ведь ты должен был так делать.

— Конечно. Когда выполняешь долг солдата, ничего нельзя жалеть. Но все же у меня такое ощущение, что я перед землей должник.

Солнце гасло за изгибом реки. И как только скрылось, сразу же из леса потянулись синие сумерки. Чем гуще они становились, тем ярче разгоралось небо. Оно было и оранжево-желтым, и бирюзово-золотистым, и багровым с розовой каймой — и все это отражалось в воде.

Река качала эти яркие ленты, играла с ними, несла к берегу.

Жизнь природы, так долго от него скрываемая городами, армейской службой, теперь широко и доверчиво раскрывалась перед Родионовым. Он смотрел и задумчиво улыбался. Его губы, потеряв обычную твердость, помягчели, и от этого на лице полковника появилось такое выражение, словно он увидел молодого птенца, который еще и летать-то не умеет, кувыркается в воздухе. И глаза Родионова помягчели. И только один шрам на лбу, в ямку которого мог бы легко войти пятак, оставался суров.

Стало смеркаться.

— Ну что ж, пойдем,— сказал Родионов. Но прежде чем уйти, еще постоял несколько минут, глядя на гаснущее небо, и удивленно заметил:— Смотри, река рядом, а комаров нет.

— Мне нравится, — все так же негромко сказала Анна Николаевна.

— Ну, а коли нравится, то будем форсировать.

С этого дня жители районного городка видели Родионова то едущим в грузовой машине, то шагающим за подводой, то быстро идущим с каким-нибудь мастеровым. Он сам вместе с помощником лесничего ходил в лес клеймить двадцатиметровые сосны, помогал рубщикам трелевать бревна к дороге, жег сучья, толкал машину, если она буксовала, и каждый раз возвращался домой за полночь, усталый, но удовлетворенный. Нужны были кирпич, цемент, песок. И он шел, и договаривался с грузчиками, и помогал, совестясь сидеть сложа руки, в то время как люди работают на него. Надо было пилить бревна на доски, договариваться насчет шифера, ехать в город за стеклом, искать толевые гвозди, натуральную олифу — на все эти хлопоты уходила уйма времени; порой приходилось нервничать, кому-то что-то доказывать, и он был счастлив, когда от всей этой строительной возни выкраивался свободный часок и он сам мог взять в руки лопату.

Она легко, «на штык» входила в обильно смоченную осенними дождями землю. Корни трав с сухим, электрическим треском лопались, когда лопата отжимала отрезанный пласт от земли. Теперь этот пласт надо было ловко выбросить — так, чтобы он перевернулся и упал

травою вниз. И он падал, как этого хотел Родионов. И так шаг за шагом. И вот уже вскопана земля. На это дело ушел весь сентябрь и половина октября. Вместо чертополоха и лебеды на земле должны расти деревья. И вот уже стоит деревцо, потряхивает тоненькими косичками, радуется солнцу, жизни. И это дерево посадил он, Родионов, полковник в отставке. Оно будет расти годами, десятилетиями, даже и тогда будет расти, когда не будет на земле Родионова.

Работы было так много, что день проходил мгновенно.

— Я и сотой доли не успел сделать того, что замышлялось с вечера, а солнце уже демобилизовалось,— удовлетворенно говорил он, ополаскивая натруженные, горячие руки в холодной, уже по-осеннему прозрачной речной воде. Все тело его было полно той сытой усталостью, когда хочется только спать.

Но спал он плохо, часто просыпался среди ночи.

— Ты очень много работаешь,— говорила жена.

— Глупости. Все хорошо. Главное — успеть с посадками. Весной, знаешь, как все зазеленеет? Ты горожанка, а я парень крестьянский. Я за три года вижу вперед, что сделается с землей. У меня такое чувство, будто я должник...

— Ты уже говорил об этом...

— Да, и до тех пор буду говорить, пока не рассчитаюсь со своим долгом.

— Только береги себя. Молоко будешь пить?

— А как же!

Он пил молоко и был уверен, что сил у него много и здоровья хватит до старости. Но однажды случилось так, что сердце вдруг сорвалось, на мгновение замерло и тут же начало быстро и тревожно стучать, словно просилось домой, а его не пускали. Это произошло рано утром, когда он колол дрова. Резко махнул топором, что ли? Он чуть не упал, на какое-то мгновение все заволоклось туманом, но рассеялось быстро, и тут же он услышал, как часто стучит напуганное сердце. Потом прошло, и он опять перестал его чувствовать. К тому же после слякотной осени наступила морозная зима. Все побелело, стало спокойнее.

К этому времени дом был уже совсем готов. Небольшой, шесть на шесть — две комнаты и кухня,— он уютно тянул к небу синеватый дым. В окна светило морозное

солнце. Было тихо, как обычно бывает тихо зимой за городом. Казалось бы, теперь можно отдохнуть, но не сиделось сложа руки. Родионов и не предполагал, что в его возрасте можно увлечься чем-то всерьез. Казалось, все лучшее позади, все, что могло звать, что заставляло мечтать, ради чего стоило стремиться к лучшему, ушло в прошлое, и вдруг появились веселые заботы, тревоги и радости за каждый куст, за каждое дерево: не обгрызли бы зайцы, не подточили бы мыши, не померзли бы тоненько чернеющие среди снега молоденькие саженцы.

Родионов вставал рано, когда еще ярко светлели на темном небе низкие звезды. Он затапливал печь и шел на реку. За ночь прорубь схватывало, приходилось скалывать лед топором. Он набирал в ведра настывшую, с мелкими льдинками воду и неторопливо возвращался, прислушиваясь к зимней тишине. Было еще темно, а из райцентра уже доносился бодрый голос, призывавший к утренней зарядке. Неслышно падал мягкий редкий снег. В зимнем покое чернели с накинутыми на плечи белыми полушалками молодые сосенки. Полковник в отставке останавливался и смотрел на зачарованную родную спящую землю. Чувство тихой радости, полное любви и верности к ней, заставляло сладостно замирать сердце. Но отчего-то вдруг становилось тревожно, и сами собой роились в голове мысли. Думалось о прошедшей войне, о сынах. Они лежат — один возле Волоколамского шоссе, другой — неподалеку от Берлина. Лежат порознь, а в сердце у него вместе.

— Сегодня буду делать скворечни,— говорил за чаем Родионов жене.— Штук шесть надо сделать.

— Скворушки — хорошо,— отвечала жена и задумывалась.

По ее глазам, по голосу он понимал, что она вспоминает ребят, и старался отвлечь ее:

— Смешное дело, мальчишкой любил зорить гнезда. Мне ничего не стоило залезть на самое высокое дерево. Помню, как обороняли гнездо дрозды. Всего облили пометом...

Жена слабо улыбнулась.

— А теперь и подумать не могу, что-то перевернулось в сердце. Нежность какая-то ко всему появилась.— Он замечал улыбку жены, опускал седую голову, испытывая чувство неловкости. Она всегда знала его суро-

вым. Он даже не плакал, когда пришла вторая похоронная. «Пали смертью храбрых!» Он знал, его ребята стояли насмерть! Не дрогнули!.. А вот теперь стал мягок, из-за каких-то скворечен может допустить на глаза слезу. И поэтому он сидит, опустив седую голову, чтобы жена на заметила в нем этой непривычной слабости.

— Еще выпьешь чаю?

— Да, покрепче... Сегодня проснулся от выстрела.

— От выстрела?

— Долго лежал, не понимая, приснилось или на самом деле стреляли. Меня ведь, знаешь, ничем не разбудишь (а она знала, что он от каждого шороха просыпается), но выстрел услышу на другом краю света. Долго лежал с открытыми глазами. И еще раз у самого уха рвануло.— Родионов скупо улыбнулся.— Мороз углы дома рвет.

— Ах, вот что,— облегченно вздохнула жена,— а я уж на самом деле подумала, может, кто стреляет... на зайцев охотится...

— Скорей бы весна,— выходя из-за стола, мечтательно говорил Родионов.

— Да, скорей бы весна...

— Весной хорошо. Ручьи бегут... Надо побольше цветов развести. Люди увидят — понравится, у себя захотят посадить. Это уж твое дело — цветы.

— Тюльпаны посажены. Есть семена хризантем. Левкой бы достать. Очень я люблю этот цветок.

— Достанем,— уверенно сказал Родионов.

Весны он не дождался. Умер. Еще утром ходил, радуясь солнышку, звонкой капели, готовил побелку для деревьев. Потом пришел домой, прилег отдохнуть. Она думала, он спит, и ушла в магазин. А он в это время умирал. Смотрел в окно, но видел не белые сплошные снега, что расстилались на сотни километров,— виделись ему дымные, стелющиеся по земле и небу плотные тучи, из которых вырывались черные хлопья и красные огни. Пепел и огонь глушили все живое на земле. Вместо деревень — зола. Вместо садов — седой пепел и красные угли. И солдаты, идущие по пеплу, с черными лицами, усталые и злые. И он с ними, как всегда, с ними.

Когда Анна Николаевна вернулась, в доме было тихо и сумеречно.

— Ваня!— позвала она мужа.

Он не отозвался. Тогда она включила свет, подошла к нему, тронула за плечо. Но он и тут не отозвался...

...Из-за куста донесся голос нового хозяина.

— Строить зачем? Надо брать готовое. Это самое выгодное.

— Но, знаешь, мне не нравятся простые деревья. Надо весь участок засадить земляникой. Я люблю ее со сливками,— послышался голос его жены.

— Ну что ж, срубим. Найдем людей, и они сделают все...

Новые хозяева о чем-то еще говорили, но Анна Николаевна уже не слышала. Она была потрясена словами: «Надо брать готовое». Она, конечно, понимала: если что продается, то это кем-то сделано, оно готово к тому, чтобы им пользовались, но ведь тут совсем другое. Иван не жалел себя, нигде не жалел. Ни в войну, ни в мирное время. Был искалечен, подорвал сердце, и вот этот дом, эта земля — последнее, куда он отдал свои силы. И теперь они будут жить на готовом. Что ж это такое? Они берут наш дом и делают своим! Честные уходят, и их дом занимают чужие люди...

Она вышла из-за куста. Новые хозяева поняли, что Анна Николаевна слышала их разговор, и, несколько смутившись, стали ждать, что будет дальше. А она, словно впервые видя этих людей, недоуменно глядела на маленького, в выпуклых очках человека и его жену, тонконогую полную женщину.

— Вы еще здесь?— растягивая слова, спросил новый хозяин и чуть наклонил голову, пряча за толстыми стеклами очков настороженный взгляд. Он не любил споры, шум, скандалы. А тут что-то назревало подобное, поэтому он и спросил, а вообще-то ему с ней разговаривать было не о чем.

— Я не продам вам дом,— бледнея, сказала Анна Николаевна.

— Он уже продан,— ответил новый хозяин и не удержался — торжествующе улыбнулся.

И жена его тоже торжествующе улыбнулась.

С реки налетел ветер, и молодые ясени, дубки, березы, клены, словно прощаясь, стали качаться, кланяться, замахали зелеными платочками.

— Нет, нет!— задыхаясь от волнения, сказала Анна Николаевна.— Деньги я вам верну, а купчая еще не состоялась, не оформлена... Это наш дом! Наш!

ПРОЩАНИЕ НА ВОКЗАЛЕ

Варвару Николаевну провожали родственники— сестры, их дети и зять-художник, муж одной из сестер. Это с одной стороны, с другой — товарищи по работе, по заводу, точнее — по цеху, в котором она работала вместе с ними. А работала она в испытательном цехе, в котором проверялись детали на холод. Каждое утро она надевала валенки, натягивала на себя полушубок, кутала голову в шерстяной платок и отправлялась в цех. И там, в этом промороженном помещении без окон, проводила весь день. На улице мог идти дождь, могло светить солнце, могли распускаться цветы, бежать весенние ручьи, но для нее всегда была зима, даже не зима, а просто холод.

И вот теперь она уезжает. Нет-нет, не потому, что ей надоело мерзнуть, хотя она и проработала в этом «холодильнике» восемь лет,— уезжала она совсем по другой причине. Ей надоело возвращаться в одинокую тихую комнату, надоело, а это случалось довольно часто, простаивать часами у ночного окна, смотреть на засыпающий город и вспоминать тех, кого давно уже рядом нет. А был муж — веселый, влюбленный в нее, талантливый молодой инженер. Он погиб на Синявинских болотах в последнюю войну. Даже могилы его нет. И не найдешь: Синявинские болота большие, в них ржавая вода, трясина... С тех пор прошло почти двадцать лет. Муж для всех остался молодым, веселым, влюбленным в нее, а ей уже пятьдесят... Был сын, теперь бы ему было двадцать пять лет. Но ему никогда не будет двадцать пять. Он умер — в блокаду от голода — четырех лет. Она тогда работала автоматчицей на Кировском заводе. Пришла домой, а он ей не отозвался. И долго потом она слышала свой голос, зовущий и не получивший ответа.

Да, в то время жизнь человека, как никогда, подвергалась испытаниям больших трагических чувств. Эти чувства можно сравнить с длинным пастушьим кнутом, они хлещут по обнаженному сердцу так, что только

диву даешься, как оно выдерживает. Сколько потерь, сколько смертей близких, сколько горьких дней, мучительных раздумий, разочарований, и все это надо перенести одному беззащитному сердцу. Ему легко ожесточиться, и, бывает, черствеют люди, становятся равнодушными к горю ближнего, со многими сердцами такое случается, но этого не произошло с сердцем той женщины, о которой я рассказываю. Почему? Не знаю, мне она не говорила, а спросить как-то не пришло в голову. Теперь бы я, конечно, спросил, но ее уже нет. Она уехала.

Уехала на целину. Разумеется, для человека ее возраста это несколько неожиданно. Обычно туда валом валит молодежь: молодой человек заполнит парой белья рюкзак, сунет туда кусок мыла с полотенцем, еды на дорогу и — айда! Но для человека, которому пятьдесят, к тому же женщине, оторваться от всего привычного — от родных, друзей, знакомой обстановки,— согласитесь, не так-то просто.

Как же она решилась? К сожалению, мы мало знаем о том, как человек живет после работы. Что его ждет дома? Мы об этом мало думаем. А жаль, надо бы, чтобы потом не осуждать своих товарищей за плохие поступки или с поздним сожалением не говорить, какие это были хорошие производственники и чуткие люди. О ней тоже мало думали. Но решила она уехать на целину не только потому, что была одинока. Решила потому, что целина представилась ей каким-то совершенно иным миром, ни на что известное ей не похожим, где люди все одинаковы. Они уезжают от родных; от друзей поодиночке, а там все вместе. Там и она будет такая же, как все. А это очень важно: быть такой, как все! Тогда нет места чувству обиды, малозначимости. Великолепно быть такой, как все! Никогда не покажется, что ты чужая. А у нас еще часто случается, вдруг человек становится не как все, и, вы заметьте, с ним уже люди не откровенничают. А это плохо. Очень плохо, когда человек не откровенен с человеком. Но такое к Варваре Николаевне не относится. Она никогда не была чужой. Быть такой, как все. Жить, как все. Вот к чему она всегда стремилась.

Итак, ее провожали родственники и товарищи по работе. Можно бы отметить, что в этот день было много солнца, но вряд ли такой факт имеет значение. А если бы шел дождь? Какая разница, она все равно бы уехала.

Поезда ходят в любую погоду. Но все же солнце было, спокойное, жаркое, такое солнце редко бывает в наших местах. По перрону, не боясь людей, вперевалку ходили сытые голуби. Тут же сновали шустрые воробьи. Носильщики, их вернее называть бы «возильщиками», возили на шарикоподшипниковых тележках горы чемоданов и портфелей. Провожающие мирно беседовали с уезжающими. Как видите, ничего удивительного во всем этом не было.

И все ж удивительное было. Но оно относилось только к провожавшим Варвару Николаевну. Все они испытывали чувство недоумения,— правда, в разной степени.

Особенно недоумевал художник, мрачный по своему виду, еще сравнительно молодой человек, с тяжелой нижней челюстью, характеризующей скорее упрямство, нежели упорство. Он даже был рассержен и не пытался скрывать своего раздраженного состояния. Чуть ли не с явно брезгливой усмешкой смотрел он на заводских и ничего не находил в них такого, чем так бурно восхищалась Варвара.

«Он славный, с громадным лбом, умница,— не раз восторженно говорила Варвара Николаевна о мастере цеха. — Он чуть-чуть косит на правый глаз, но ему идет, чувствуется мудрость в этом прищуре».

Художник смотрел на мастера цеха и видел не лобастого, а плешивого, косящего на правый глаз, ничем не примечательного человека — ни ростом, ни даром речи. На взгляд художника, он был таким же, как миллионы ему подобных.

— Жаль, очень жаль, что уезжаете от нас, Варвара Николаевна,— говорил мастер цеха.— Мы к вам привыкли, как к родной, — говорил он густым, глубоким голосом.

«Обыкновенные, затасканные слова», — раздраженно подумал художник, передернул плечами и стал смотреть на приемщицу Дусю.

Варвара Николаевна и о приемщице Дусе говорила восхищенно. По ее словам, эта женщина миловидна, синеглаза, очень стройна. Про нее она говорила даже так: «Вся ее прозрачная душа в ее глазах».

Художник смотрел на приемщицу и видел не такую женщину, какой ее расписала Варвара Николаевна, а худенькую, суетливую, с маленькими, ничего не выра-

жающими, кроме какой-то внутренней озабоченности, и уж конечно, не синими, а скорее серыми глазами. Он фыркнул и стал смотреть вдаль. «Как все же нельзя верить людям,— думал он, — вот поверь ей, пойди в цех, а ведь хотел уже идти, и оказался бы в дураках. Понятие о прекрасном дается немногим. Но какое уродство глáза! Откуда она взяла громадный лоб, если у него огромная плешь?»

— У тебя плохое настроение?— подошла к нему Варвара Николаевна. Она была ему по плечо, не больше, полная, но это обычная полнота для многих женщин в пятьдесят лет, в косыночке, напоминавшей «делегатку» двадцатых годов. Она смотрела на него так, будто забыла все на свете, и то, что она уезжает, что, кроме художника, есть еще рядом люди, смотрела так, словно главное для нее — заботы и огорчения художника.

Он не заметил в ее взгляде участия.

— Для меня наступает самое плохое настроение, когда мне мешают,— сквозь зубы ответил он и, придвинув ладонь к глазам, стал ею качать, бесцеремонно высматривая игру света и тени от фигуры Варвары Николаевны.

— Извини, — тихо сказала Варвара Николаевна и отошла к сестрам. Но от нее не ускользнуло некоторое недоумение, которое легко читалось в глазах мастера цеха.

Да, он тоже недоумевал, но, конечно, по-своему, не как художник. Он не раздражался, а просто не понимал. Дело в том, что Варвара Николаевна, приходя в цех, часто говорила о своих сестрах, и по ее рассказам получалось, что сестры у нее — красавицы. Мастер цеха и ожидал увидеть красавиц, но, к своему сожалению такими он их не увидал. Может, когда-то они и были красивы, но сейчас той красоты, о которой говорила Варвара Николаевна, в них не осталось. Одна из сестер — высокого роста женщина, с впавшей грудью, седая, в очках — о чем-то говорила со своей сестрой. «Это, верно, вдова с тремя ребятами, — подумал с жалостью мастер цеха, — верно, на ребят и ушла вся ее красота». Он посмотрел на ребят, это были хорошие, скромные парни. «Каких подняла, молодчина! — подумал мастер и стал смотреть на вторую сестру. — Конечно, и эту нельзя было назвать красавицей — обыкновенная женщина, с добрыми, мяг-

кими глазами, судя по всему, не очень решительная, наверно, муж отучил ее быть самостоятельной, что-то есть в ней приниженное. А в свое время была, наверно, орел. Зато он вон какой стоит гордый. Боком ко всем стоит».

Варвара Николаевна и о нем отзывалась восторженно, говорила, что он очень талантливый. «Что же, может быть, но ведь если человек талантливый, то он не может быть злым. Прежде всего он должен любить людей, должен быть мягок в обращении с ними. А у этого слишком холодный взгляд, — подумал мастер. — А все же, почему она их видит красавицами?» — продолжал размышлять он и стал всматриваться в сестер, настойчиво искать то, о чем говорила Варвара Николаевна. Но сколько ни вглядывался, не увидел.

Недоумевала и приемщица Дуся, она тоже мечтала поглядеть на красавиц сестер и тоже такими их не встретила, но по доброте своей все же находила очень милыми.

Так провожающие разглядывали друг друга, конечно, не очень уж открыто, а как бы исподволь, и все испытывали в разной степени чувство неловкости. И только Варвара Николаевна ничего этого не замечала.

Она была счастлива, что ее провожают хорошие, добрые люди, что они не посчитались с временем и приехали. Ее глаза не переставали восхищенно сиять, глядя то на одного, то на другого, то на всех вместе, и всем вместе и каждому она посылала во взгляде, в голосе, в улыбке свою любовь и признательность. Правда, было у нее какое-то минутное замешательство, когда она вдруг подумала: «А надо ли уезжать? Оставить все позади, расстаться с этими милыми людьми, которых любишь, без которых тяжело будет жить. Но, если оставить — значит самой уйти. Уйти от привычного, простого и дорогого к неведомому. А неведомое — всегда впереди. Неведомое — прекрасно! Там много нового, необычного. Оно всегда зовет, всегда обещает жизнь. Страшна неподвижность, это удел камней, но не человека. Человек должен всегда находиться в движении».

Она перецеловала всех, всплакнула, долго махала рукой, стоя у окна, даже и тогда махала, когда скрылся вокзал. Уехала.

Выпало только одно звено, и цепочка непрочных человеческих отношений распалась, теперь уже ничто провожающих не связывало. Они распрощались и пошли в

разные стороны: заводские — к автобусу, родственники— к трамвайной остановке.

И жизнь у всех пошла, как и шла раньше. Только теперь о Варваре Николаевне говорили в прошедшем времени, она жила уже в воспоминаниях, хотя и слала письма.

Однажды пришло письмо и на квартиру художника. Это было вечером.

— Письмо от Вари,— дрогнувшим от радости голосом сказала жена. — Хочешь, почитаю?

Он ничего не ответил, ел суп. Настроение у него было скверное — не работалось, и не потому не работалось, что не хотелось, а потому, что не знал, что писать: у него часто такое случалось. Загорится, увлеченно начнет рассказывать жене о своем новом замысле, убежит с этюдником, что-то схватит с натуры, сам не зная зачем, без настроения, без мысли, и остынет, и бросит начатое, чтобы никогда к нему уже не возвращаться. Тем более что все написанное-то — плохо, в грязных красках. Есть такая порода художников, она самая незадачливая, потому что по своей натуре они никакие не художники, а уж так случилось, что по формальным признакам приняли их в институт, и они стали художниками. Поэтому такие художники часто бывают злыми, раздраженными и, как правило, если не всем, то многим в жизни недовольными. Таких немало и среди писателей, и среди композиторов, и среди артистов. Такие люди достойны жалости, но не помощи и не сочувствия.

Итак, он не ответил, но жена все же стала читать:

«Я и не ожидала здесь встретить столько замечательных людей, — писала Варвара Николаевна. — Особенно комбайнер Николай Тарасов. Молодой парнишка, но такой сильный работник, а какой умница! У него открытый взгляд, он всегда смотрит в глаза, когда говорит с человеком, а это свидетельствует...»

— У нее вечно прекрасные, вечно замечательные!— раздраженно фыркнул художник. — Восторги, ахи, восклицательные знаки. Противно слушать!

Жена покорно убрала письмо в конверт.

— Как же, она иначе не может, только все в высоких выражениях, только прекрасное, только замечательное,— продолжал раздражаться художник, и вдруг его поразила мысль: «А почему она иначе не может? Почему

она видит людей только прекрасными? — Он выскочил из-за стола и начал быстро ходить от окна к двери и обратно. — Почему? Вряд ли она притворяется, играет в восторженную. Значит, такими людей видит? Почему же она такими их видит? Почему ей надо такими их видеть? Такими прекрасными должен видеть только художник. Зачем же ей дано видеть прекрасное, ей, которая не оставит после себя никакого следа. Какая ирония!»

— Прочти до конца, что там она еще пишет,— сказал художник жене.

— Зачем?— с обидой спросила жена. —Ты же ее не любишь!

— Читай!

Жена стала читать. Он слушал. Чего он ждал? Может, того, что где-нибудь Варвара Николаевна обмолвится словом и о плохих людях, может, где-то проскользнет нотка сожаления, что она уехала, но не дождался — плохих людей в ее письме не оказалось.

— Значит, только прекрасное! Это смешно, — зло рассмеялся художник. — Плохих нет. Или для нее нет? Может, она сама прекрас-на?!— И он эффектно всплеснул руками.

...Теперь ее в нашем городе нет. Вы можете обойти все улицы, площади, проспекты, заглянуть во все дома и квартиры и все равно не найдете ее. А жаль, вам надо бы знать ее. Впрочем, когда она жила рядом, с вами, вряд ли вы замечали ее. Но теперь поздно сожалеть — ее нет в нашем городе. Она уехала и вернется ли — кто знает?

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Ладно, хоть не было дождя. Но ветер, ветер... Прежде чем ударить меня в спину, он, словно для разбега, проносился через всю Ладогу, намокший, северный, с каждой минутой все сильнее и крепче. Тяжелые волны безостановочно бухали в береговые камни. Швыряли прошлогодний почерневший тростник, били, то подымая, то опуская ободранное белое сосновое бревно. В наступающих сумерках, а они, как всегда в конце августа, наваливаются быстро, бревно было похоже на человеческое тело, и, чтобы его не видеть, я сел спиной к воде, к ветру, да так

оно было и удобнее — не то задохся бы от дыма, если б сел по другую сторону костра.

Порыбалилось плохо. Рыба, чуя непогоду, с глубины не пришла, и вся вечерняя зорька у каменных гряд пропала зазря. Но это бы все ничего, если бы к утру ветер стих. Только вряд ли, северный если уж задует, то надолго — и два и три дня будет гнать воду в берег, взбаламутит ее, смешает с илом, и даже местная рыба отойдет на глубину, за гряды.

Когда я причалил к берегу, то еще хорошо был виден обрыв и высокие, остановившиеся на его краю могучие сосны. Но теперь уже ни обрыва, ни сосен не было видно. Только доносился с глухим посвистом тяжелый шум. Это ветер ворочался в густых кронах. Все вокруг было непроницаемо черно. И в этом большом, черном, заполнившем и землю и небо, метался только мой костер. Ветер раздувал его, качал пламя из стороны в сторону, гасил в далекой глубине тьмы сонмища искр. Я уже успел напиться чаю и собирался спать, когда услышал за спиной хруст гальки. Быстро оглянулся и увидал близко приземистого, в парусиновом плаще и железнодорожной фуражке, рыбачка. Я его сразу узнал и успокоился, — мы вместе ехали в автобусе, вместе добирались до егеря за лодками, только немного удивился — чего это он так поздно причалил к берегу.

— Клевало, что ли?—спросил я.

— Черт тут клюнет, а не рыба, — бросая мешок с едой на землю раздраженно ответил он.— Разве это рыбалка? Да тьфу ты, провались она пропадом! Разве сравняю когда с Волховом. Там ямы, эх, какие там ямы! Хошь щучьи, хошь лешшовые, — он выхватил из костра головешку, прикурил. — Дурак, что послушал... А как не поверишь? Говорит, за одну зорьку возьмешь килограммов шашнадцать, а то и больше. И все отборный окунь, по полкило, не меньше. Так и обещал. А то, говорит, и на килограмм. Только успевай таскать. А на поверку что? Он сердито посмотрел на меня малоподвижными, выпуклыми, красными не только от костра, но и от ветра и от возраста — ему было под шестьдесят — глазами. — Тьфу ты, и все! Ненавижу, когда врут. Вот собственной рукой взял бы и вырвал поганый язык. — Он сердито развязал мешок, вытащил бутылку с молоком, кусок колбасы, хлеб и стал молча есть.

— Тут рыбалка хорошая, — сказал я, — да только все дело ветер испортил.

— А-а, брось ты, какая там рыбалка! Тут воды конца-края нет. Где рыба стоит, знаешь?

— У гряды.

— А одна, что ль, гряда? Сегодня рыба у той, завтра у энтой, вот и гоняйся. Не знаешь и молчи! То ли дело Волхов. Я с одной ямы брал по дюжине щук. Что б я когда пустой? Никогда! И заметь — не вру. Не имею такой привычки. А то лешшовые ямы. Пускай хоть самый рассеверный ветер, там он никакого значенья не имеет. А тут, конечно, он тут хозяин, — ишь, сволочь, как разбушевался. Лодку швырнул на камень, думал, опрокинусь. Черт, из-за него удилище сломал, будь он неладен! Наступил и сломал...

Он еще долго ругал ветер, Ладогу, рыбака, который ему посоветовал приехать сюда, потом успокоился — наверно, наелся.

— Вот приезжай на Волхов, места покажу — ахнешь, — лежа на тростнике у костра, говорил он. — Я не то что другие, не затаиваюсь, я открытый. Мне не жалко, рыбы на всех хватит. Только надо ее взять... Рыбалка для меня — это самое удовольствие. Вот скоро на пенсию выйду, тогда уж каждый день буду пропадать... Я ведь с мальства к рыбалке приучен. Со стариком ходил, был такой у нас на Волге, по судакам первый мастер. И, заметь, даже черного доставал. Другие рыбачки и так и сяк к нему: дескать, научи, покажи, но только он молчком и в сторону. И мне все говорил: «Сиди у ведерка и никого не подпускай», а сам спать завалится. А я и сижу, несмышленыш, нет, чтоб заглянуть в ведерко, узреть, чего там, сижу, глупыш, и не думаю даже, тем более что старик обещал мне сам свой секрет раскрыть. Он спит, а судак сам на крючки садится, да здоровый, килограммов по пять, во какой бывал! «Ну, — один раз говорит мне дед, — завтра покажу тебе тайну, как судака добывать, на что ловить его...» Всю ночь я проворочался, глаз не сомкнул, только и жду, чтоб поскорее утро. Дождался, прибег к старику, а он помер. И тайну с собой унес... — Он бросил с досады окурок в огонь. — Вот черт, а! Так и не знаю способа... А то вот отец рассказывал, в деревне у них случай был, с его братом. Шел он, дядька мой, лесом. Дело, конечно, к вечеру, и слышит, как кто-то его зо-

вет: «Иди сюда! Иди сюда!» Негромко, но так, что хорошо слышно. Дядька, значит, поглядел туда-сюда и видит за кустом старушонку, махонькая, с аршин, не больше, а горб у нее здоровый, считай, вся в этот горб ушла. Вот она глядит на дядьку и манит его пальцем, а палец сухой, как сучочек, и так тихо: «Иди сюда! Иди сюда!» Ну, он хоть и оробел малость, а пошел. Старушонка вперед, он за ней. Она в чащу, он не отстает. Она завлекает все дальше, к болоту потянула его. Дядька видит, тут дело нечисто, как трахнет ее по башке, а она и рассыпалась. Золото и серебро перед ним в куче, браслеты всякие, кольца... Убежал дядька от страха. А потом пришел к брату, к моему отцу, говорит: «Так и так, идем, а то я боюсь». Ну, отец мой, конечно, согласился. Условились они пойти на другой день, чуть свет. Ну, как стало светать, так отец к нему — они рядом домами жили, — а дядька лежит на полу... мертвый. Будто кто задушил его, синий... Умер и тайну унес. Может, и сейчас то золото лежит...

Костер стал прогорать, и тьма придвинулась. Ветер еще сильнее заворочался в соснах. И волны вроде поближе забухали. Я оглянулся и в отсветах костра увидал смутно белеющее длинное тело. И рыбачок почему-то изменился: он уже не был похож на того, которого я знал, а стал маленький и совсем молодой.

Хорошо, что я еще с вечера запас валежнику, — подбросил, и огонь отодвинул тьму, и рыбачок опять стал стариком.

— А то вот такой случай был, с соседом моим. Выиграл он по вещевой лотерее «Волгу». Ведь ты скажи, какое может подвалить счастье человеку. За тридцать копеек — и «Волгу». Показал мне он этот билет и побежал в сберкассу. А она напротив нашего дома, через дорогу. И как раз угодил под трамвай. Насмерть. И, главное, билет никак не могли найти. Будто съел он его. А я сам видел, собственными глазами...

— Чего это все какие у вас истории неприятные, — сказал я, подбрасывая в огонь сушняк.

— А это уж как в жизни... Но ты ведь то скажи, еще бы чуть-чуть — и человек зажил счастливо, а тут как раз и подвернется что-нибудь... — Он уставился на меня малоподвижными своими глазами.— Почему такое?

Я молчал.

— Судьба!—твердо сказал рыбачок.

«Тоже мне фаталист!» — с досадой подумал я и спросил:

— Спать, что ли, будем?

— А чего спать, дома отоспимся, да еще в поезде можно отхватить. Да и не уснуть здесь, вона как ветер спину пробирает. Будь он неладен!

Ветер, верно, все больше набирал силу, подул холодный, и волны еще тяжелее захлопали по камням. Костер уже гудел, и чем больше я подбрасывал в него, тем быстрее все прогорало.

— А то вот еще случай был, в нашем доме. Старуха травами лечила. К ней много шло. Пришел к ней раковый. Ну, совсем уж на последнем издыхании — кожа да кости. Вылечила ведь! Врачи, доктора, профессора самые известные отказались, а она, вот тебе, будь здоров, вылечила! Ну конечно, ее врачи вызывать к себе. Как, мол, так она рак вылечила. А она не идет. Послали на дом человека. А ему: «Ее уже и в живых нет, схоронили», говорят. И верно, умерла. Вот и опять тайну с собой унесла. Много таких печальных историй...

— Куда больше, — буркнул я, укладываясь поудобнее у костра.

— Да-а... Часто вот так получается, ну пустяк остается человеку до счастья, а тут как раз его и подсечет. Или вот возьми хоть такой случай... У нас на Волхове. Рыбачок один, незадачливый — ужас! У других улов, а у него полтора ерша. Даже притчей стал, смеются над ним, да и все. Что ты сделаешь? Ну, как-то еду с утренней зорьки мимо него. «Как дела?» — спрашиваю. А он вместо ответа подымает садок из воды, а в нем, в садке-то, полным-полно лешшов, да все здоровые, есть кило по три. Ну, скажи, удача какая!..

— Утонул, что ли?— не выдержав, спросил я.

— Точно. А ты откуда знаешь? Или слыхал про него? Степан Васильевич Боков фамилия ему. Утонул. В тот же день и утонул. Ведь чудо пришло к нему, сколько он ждал такого случая, а вот кто-то не хочет, чтоб доставалось оно человеку. Пошел снимать якорь с кормы, да и запнись за веревку, с тем и в воду, и поминай как звали. Нашли его через неделю, внизу, во куда снесло. И вот опять тайна: место там плохое для рыбы, как же он взял лешша? Видно, свою приманку применил.

А какую, про то никто не знает... — Он пошевелился, укладываясь поудобнее. Помолчал, затем улыбнулся и сказал: — А на Волхове рыбалка куда тебе. Там и энтот ветер не во вред. Станешь с подветренной стороны и лови себе. Ты вот приезжай, покажу места. И щучьи и лешшовые. Мне всего пустяк до пенсии остался, как раз к маю будущего года получу, уж тогда отведу душу. Поставлю на берегу палатку и все лето — а что!— все лето проведу там... Сам себе хозяин, никуда торопиться не надо. Наездился я, проводником работаю. Надоело мотаться, а тут благодать. Костерок, ушица... Ни одну зорьку не пропущу. Это главная мечта моей жизни. Хорошо!— Он засмеялся, в глазах у него неожиданно появилось столько мягкой, душевной теплоты, что нельзя было в ответ не улыбнуться. — Во! Ты понимаешь это дело. Вот такие люди мне по сердцу. Ты приезжай, а? Давай мне свой адрес. Как выберусь на пенсию, так и отпишу тебе, будешь жить у меня в палатке. Приезжай.— Он порылся в кармане, достал карандаш. — Бумаги бы какой клочок. У тебя нет? — У меня не было.— Вот ты жалость какая!— с сожалением воскликнул он. — А на память я не надеюсь... А, постой-ка...— Он полез в мешок и достал мятую газету. — Вот тут и запишем. Говори адрес!

Но я не мог сказать: все эти истории с трагическими концами каким-то образом насторожили меня, и я, никогда не веривший во всю эту чертовщину, поддался ей, — может, тому причиной была ненастная ночь, ветер, может, человек, ожидающий чуда, чтобы наконец-то в его жизни произошло что-то удивительно радостное, но я почувствовал, что давать адрес нельзя, что если я дам, то, черт ее знает, а вдруг появится еще одна история, и в ней уже буду героем я, не узнавший ни щучьих, ни «лешшовых» ям.

— Ну, чего же ты, говори, — настойчиво сказал рыбачок. — Я ведь тоже не каждому покажу, а тебе, коли нас судьба свела у твоего костерика, с полным удовольствием.

— Ни к чему мне это. Уезжаю в другой город, — соврал я.

— Э-э, жалко... Ну, да ладно, чего ж делать... А то показал бы...

Я ничего не сказал, и он замолчал.

Ветер к утру не стих. По небу неслись серые лохматые тучи. Солнца не было и в помине. Вдоль всего берега шевелилась грязная пена.

— Будь ты неладна и Ладога эта! Черт ей друг,— злился рыбачок, уводя лодку от камней. — Эва, что делает! Нет, ты смотри, как бьет она! Да она, проклятая, так и лодку размочалит... Тьфу, будь ты неладна!

Он что-то еще говорил, ругался, но я уже не различал за воем ветра и плеском волн его слов, — выводил лодку в открытую воду, подальше от берега, от подводных камней, глядел на рыбачка, направлявшего лодку вразрез волне, и где-то в душе надеялся еще раз встретиться с этим человеком.

В МЕТРО

Она сразу узнала его! Он мог быть в шляпе, без шляпы, в кепке, седым, с усами или бородой, — все равно узнала бы, потому что все эти долгие годы помнила его и не раз с грустью вспоминала тот горький день, когда расстались.

Узнала и резко отвернулась, чтобы он не увидал ее. И, чего уже давно с ней не случалось,— смутилась, покраснела от стыда за себя — беззубую, неряшливо одетую, без времени постаревшую.

За окном проносилась серая полоса туннеля, освещаемая на равных промежутках одинокими лампами. Вагон раскачивало. Мягкий искусственный ветер с одинаковой силой овевал лицо, успокаивал, и сердце постепенно стало стучать тише, и тогда появились мысли.

«Боже мой, это он... Он!» — была первая мысль.

«Он почти не изменился»,— была вторая.

И вслед за ней хлынул целый поток мыслей, вызвавших воспоминания, и никакой уже последовательности не было — кусками врывались из прошлого то дни, то короткие минуты, то какое-то слово, его голос, или вдруг набегало на нее, как теплое облако, удивительное состояние далекой беспечности, и тогда она слышала свой смех и словно в зеркале видела свой рот, белозубый, с несколько полноватой нижней губой, которая так ему нравилась, и видела его глаза, яркие, влюбленно глядевшие на нее, и вокруг было солнце...

В то время шла война. И там, на войне, был ее муж, авиационный техник, сутулый, сумрачный человек, отравивший ей жизнь ревностью, унижающими подозрениями. Он все никак не мог понять, почему она, красивая, вышла за него замуж? И пьяный хватался за пистолет и клялся, что убьет ее, если только что заметит. Даже рождение сына не смягчило его, а еще больше усилило подозрения...

Что удерживало ее уйти от него? Любовь? Но любви не было. Жалость? Нет, тогда уже и жалости не было... Что же тогда удержало ее? Стыд. Да, глупый стыд перед родными, знакомыми. Если уйдет — поймут, что ошиблась, и начнутся насмешки... Как она тогда была глупа!.. И кто знает чем бы все это кончилось,— может, в шальную минуту он и застрелил бы ее. Но фронт приблизился к аэродрому, и всем семьям было приказано срочно эвакуироваться, и она поехала к сестре, на Кавказ, на изыскания какой-то дороги, имеющей важное промышленное значение.

До последней минуты, до того как тронуться поезду, она все еще не верила, что уезжает, и улыбалась мужу, его холодным глазам, успокаивала, чтобы он не думал о ней плохо, что все будет хорошо, и лгала улыбкой, печалью, чтобы только он не понял, как она рада, что уезжает от него. И даже когда поезд уже пошел, скрылась станция, и он остался далеко, и уже ничто не могло вернуть ее обратно, все еще не верила своему счастью. И только на другой день, когда позади осталась Волга и потянулись степи,— страх отошел, и она поняла: вырвалась!

Изыскатели жили в высокогорном селении армян. Удивительно было ей, никогда не бывавшей на юге, видеть, как облака, дымясь, сползали по отрогам гор, текли, клубясь и шарахаясь от встречного ветра, закрывали солнце,— и тогда мягкая тень ложилась на все, что было внизу. И теснее смыкались плоскокрышие, сложенные из грубого камня, дома, и люди казались легкими, они бесшумно скользили по крутым тропам, сливались с виноградниками, и таинственнее становилось ущелье, со дна которого доносился глухой шум горной реки... Но уходили облака, и тогда все озарялось солнцем, и высоко в небе сверкали вечной чистотой белые снега, и явственнее слышался гортанный говор армян, и четко вставали

громады деревьев грецкого ореха. И воздух был ясен. И прозрачна и близка даль...

Все было удивительно в этом крае, совсем не похожем на тот, в котором она жила раньше: болота, дожди, низкое, припавшее к земле небо. И самое удивительное — любовь! Она и не думала о ней, и не ждала, и не заметила вначале. Ей просто было легко и весело разговаривать с рослым инженером, ходившим в косоворотке, забранной в брюки, и накинутом на плечи чесучовом пиджаке. Но и с другими она легко и весело разговаривала, потому что душевно отходила от всего тяжелого, что угнетало ее в последнее время.

— Ника, попробуйте, какой чудесный виноград! — входя к ней в прохладу веранды, говорил он мягким густым голосом и вываливал на стол из соломенной шляпы кучу плотных виноградных кистей.— Вы когда-нибудь ели «вороний глаз»?

— Впервые слышу.

— Григорий, сюда! — Он сажал на колени ее сынишку и давал ему липучую от сладости гроздь тяжелых черно-сизых ягод.— Ника, прошу к нашему шалашу.

Было в нем столько непосредственного и располагающего, что никак нельзя было отказаться или заметить ему, что этого делать не следует. И она садилась и с улыбкой глядела на него — большого и сильного, трогательно выбиравшего ей самую красивую гроздь. И, встречаясь с ним взглядом, понимала, что нравится ему, и не отводила своего лица, только чуть прикрывала глаза, чтобы он не увидел, как они темнели.

С веранды открывался вид на горы. Они начинались сразу же за ущельем, по дну которого подскакивала река. Ступенями подымались все выше, пока не упирались снежными шапками в небо.

— А почему бы нам не сходить в горы,— как-то сказал он.— Пойдемте!

И она пошла.

На ней тогда было легкое платье с большим вырезом на груди, без рукавов. Оно туго охватывало в поясе, стянутое лакированным ремешком,— и от этого бедра казались круче и ноги длиннее, и хотя она знала, что это красиво, стеснялась, и, проходя по узкому мосту через ущелье, пропустила его вперед. Для такой прогулки ей надо было надеть тапочки «на резиновом ходу», и тогда

не было бы так скользко, как в туфлях с кожаной подметкой. Чуть ли не каждую минуту она поскальзывалась на отшлифованных веками плоских камнях, он крепко подхватывал ее за руку у плеча и не торопился выпускать, но она мягким движением освобождалась, чувствуя, как всякий раз прикосновение его рук заставляет замирать сердце. И старалась выбирать места поровнее, аккуратно ступала.

Горы ей почему-то представлялись голыми, но только стоило выйти за аул, как сразу же начались поросли грубых кривых кустарников. Среди них попадались кусты ежевики, облепленные синими ягодами. Она стала их срывать. Он помогал, притягивал из колючей гущи самые плодовые ветки. И скоро и у нее и у него губы стали сизыми. И это было смешно. И она смеялась.

— Какая вы чудесная! — с восторгом сказал он.

— Ну что вы... просто здесь хорошо. Даже не верится, так хорошо!

— Если бы даже было плохо, все равно вы чудесная.

Муж никогда так не говорил. Даже когда ухаживал, не говорил, не называл ее чудесной.

— Мы же собрались в горы. А это разве горы?— в замешательстве сказала она и поспешила вперед.

Тропа пошла круче. Светило солнце, но уже потекла прохлада, дышалось легко, и когда они поднялись на вершину и им открылся во все стороны бескрайний простор заснеженных гор, глубоких впадин, обрывистых скал, то ими обоими овладело радостное возбуждение; было такое ощущение, что они одни во всем этом диком и прекрасном мире. И тогда ей подумалось, что до этого дня она еще и не жила и что жизнь начинается только теперь.

— Ника!

И словно впервые она увидала его широкие светлые брови, загорелую шею, влюбленно глядевшие на нее глаза. И вспомнила о муже,— он там, на войне. И с ним миллионы мужей, отцов, сыновей... И словно померк день. Она опустила голову и медленно, а потом все быстрее, быстрее пошла обратно. Он догнал ее. Несколько шагов шел молча, но потом остановил:

— Что случилось, Ника? Я чем-нибудь обидел?

— Нет.

— Тогда что же случилось?

Она не могла выдержать его взгляда, столько в нем было горечи и недоумения. Отвернулась и глухо ответила:

— У меня на войне муж.

— Но вы же его не любите?

— Нет. Но он на войне... Вчера я получила от него письмо.

Она не лгала — получила от мужа письмо. Но даже и с фронта, из своей смертной дали, он угрожал ей: «Смотри, Вероника, держи себя как положено. Жив буду — вернусь, если что — сама на себя жалуйся!»

С этого дня она словно оделась в черное. И когда он приходил,— большой, по-прежнему веселый и шумный,— отвечала ему сдержанно и все чаще брала на руки сына. И однажды сказала, чтобы он больше не приходил.

И он перестал приходить. И только тут она поняла, как привыкла к нему, к его голосу, к его сильным и легким шагам, когда он подымался по лестнице и входил на веранду, глядя на нее веселыми глазами, и поняла, что отказалась от своего счастья. Стала худеть и все чаще плакала.

— Ничего, это пройдет,— сказала ей Арчик Гульянес, хозяйка ее дома, мать пятерых детей.— Зачем ходить другому мужчине, если есть муж. Надо быть честной. Таких мужья любят.

— Я не хотела вмешиваться,— сказала сестра,— но внутренне была против. Ведь надо же подумать и о ребенке. Лишить отца...

Жены проектировщиков стали к ней приветливее. Оказывается, все замечали, всем было до нее дело... Ну что ж, теперь никто ничего плохого подумать не может — совесть ее чиста. Только очень грустно...

— Вы чересчур много работаете. Скоро война кончится, вернется муж. Надо быть в форме,— сказал ей главный инженер, сухой, горбоносый старик, и неожиданно молодо сверкнул на нее глазами.— По вечерам можете не работать.

Все стали внимательны, заботливы и приветливы.

— Я как все,— ответила она главному инженеру и печально себе улыбнулась: «Как все...»

Да, не переступила, опять связали условности. Как же, муж на войне, жена фронтовика... У ребенка должен быть отец. Все так... Все правильно...

Встретилась она с ним только в день отъезда. Работы были закончены, и ее отправляли с первой партией. Изыскатели, оживленные, шумные, весело толпились на перроне. Она держала сынишку за руку и смотрела вдаль, на снежные вершины гор. Чистые, величаво спокойные, они были недосягаемы. Они были так далеко, что хотелось плакать.

— Куда же вы уезжаете, Ника?

Она посмотрела на него и поразилась. Он очень изменился — резко обозначились скулы, чесучовый пиджак висел на нем свободно.

— Вы болели?— с жалостью спросила она.

Он слабо улыбнулся и махнул рукой.

— Нет. Не болел... Значит, уезжаете?

— Да...

— Куда же?

— В Ленинград. К маме...

— Да-да, вы ведь ленинградка... Как я вас давно не видел, Ника...

— Я тоже...

Подошел поезд. И все, сколько было народу на перроне, кинулись к вагонам, но проводники за четыре года войны набрались опыта,— они быстро выстроили всех вдоль вагонов и стали первыми пускать матерей с детьми.

— Прощайте, Ника,— сказал он и грустно улыбнулся.

— Прощайте, Михаил Григорьевич,— ответила она, и, задыхаясь от слез, припала к его груди. И тут на какое-то мгновение подумалось: «Зачем уезжать? Что меня ждет там? Остаться, надо остаться!», но подумала о сыне — как же так он без отца, а тут еще закричали, стали торопить, чтобы не задерживала. И уехала.

Нет, муж не изменился.

— Нагляделся я на вашего брата,— в первый же день сказал он ей,— ППЖ! И ты, верно, в тылу была не лучше?

И в первый же день напился.

Ну что, что удержало ее тогда? Уйти бы, и все! Еще было не поздно. Но какая-то сила держала ее. А он пил, оскорблял. И пошли год за годом... Сын вырос, женился, уехал. И редко шлет письма. А муж все пьет. Разрушил печень, и вот теперь она едет к нему в больницу...

За окном проносилась серая полоса туннеля, освещаемая на равных промежутках одинокими лампами.

«Боже мой, это он, он!» — еще раз подумала она и осторожно, так, чтобы он не увидал ее, поглядела в его сторону.

Но там, где он был, сидел уже другой человек — бородатый парень, читавший какую-то книгу.

КЛЮЧ В ДВЕРЯХ

Вот и все... Осталось только закрыть дверь и вынуть ключ. До этой минуты все еще была надежда — может, придет. Ну, просто так, по-человечески. Ведь было же, было то, что никогда не забудется, что осветило на всю жизнь счастьем!

В комнате пусто — все вещи вынесены. Надо уходить. Мрачная комната. Солнце в ней бывает только ранним утром, да и то летом... Тогда оно вошло в пять часов. Сначала озарило правую сторону, и вся комната наполнилась золотым воздухом.

— Сколько же времени? — Он взглянул на часы.

— Тебе надо идти?

— Теперь уже все равно...

— Почему все равно?

— Так...— Он приподнялся на локте, склонился над ее лицом.— Ты как индианка. Бронзоволицая.

— Это от солнца.— Она застенчиво улыбнулась и закрыла глаза. Он поцеловал ее.

— Ты меня любишь? — Это спросила она. Спросила с закрытыми глазами.

— Да... А я тебе нравлюсь?

— Я тебя люблю! — Это сказала она, никогда не верившая в любовь. Смеялась над старшей сестрой, когда та говорила о своей любви, потому что сама вышла замуж не любя: Павел валялся в ногах, плакал, обнимал колени... Пожалела. От него родила сына, и все равно не любила. Он погиб в первые дни войны, и она не плакала... Ей нравились сильные, высокие, а Павел был маленький, щуплый. За два года, прошедших со дня его гибели, редко вспоминала. Правда, и не до того было. Голод. Холод. Артобстрелы. Трупы на улицах... Еле дошла до родильного дома. И там родила сына. А молока нет. А он плачет,

кричит... Как выжил — и сама не знает. Протирала через марлю хлеб, тяжелый, блокадный, варила сушеную морковь,— спасибо зятю, достал в интендантстве; приходила Варя, его жена, та самая старшая сестра, которая говорила о любви, приносила горсть крупы, в кулечке сахарный песок. Выжил. И вот уже теперь ему два года. Будет жить, похожий на отца, которого она не любила... А этого любит. Полюбила, как только увидала его...

Была еще блокада. Но было и лето. И она жила с Варей, ее ребятами и своим сынишкой в двенадцати километрах от Токсова. Работала в подсобном хозяйстве. И после зимы, голода, холода вдруг оказалась среди солнца, зелени и тепла. И это было как чудо! Далекие разрывы снарядов еле слышно доносились из Ленинграда сюда, в маленькую покинутую деревушку. Они жили в просторной избе, две женщины и трое детей. К этому времени уже и муж Вари погиб. И та сразу постарела и не могла без неприязни смотреть на Асю:

— С ума сойти, на тебя солдаты заглядываются!

А что она могла поделать с собой, если жизнь буйно ворвалась в ее тело, если глаза стали такими же синими, как небо, и грудь высоко подымалась от счастья дышать и жить.

По улице, мимо их дома, ходил солдатский патруль. Обычно двое. Иногда они заходили в дом, спрашивали, только для того, чтобы оправдать свое появление: «Не замечали ли чего подозрительного?» — и совали ребятам сахар.

— А вот это не нужно! — строго говорила Варя.

Ася молчала, и тогда пограничники улыбались, доставали кисеты, закуривали.

Вот так однажды появился и он. Высокий, с накинутой на плечи плащ-палаткой, в пилотке, сдвинутой на висок. Был уже вечер. Солнце спокойно опускалось за синий лес, и на земле воцарялась мирная тишина. Ребята играли возле дома. А она, Ася, сидела на лавочке у калитки с Варварой. Весь день они проработали на прополке и теперь отдыхали. Он шел в паре с другим солдатом, маленьким, щуплым, как Павел. Но она только сравнила маленького с мужем и не вспомнила мужа. Глядела на этого рослого парня в плащ-палатке. Они встретились взглядами.

— Прямо даже преступно выглядеть так, как ты,—

сказала Варвара.— С ума сойти! Будто и блокады не было.

— Была.

— И муж не погиб...

— Погиб.

Солнце опустилось, и небо стало розовым. И по розовому пролетели черные вороны. Они махали крыльями, как тряпками. И стало еще тише. Патруль прошел до конца деревни и повернул обратно.

— Идем домой,— сказала Варвара.

— Я посижу,— ответила Ася.

Патруль поравнялся с ними.

— Добрый вечер,— сказал высокий.

Варвара демонстративно ушла.

— Добрый вечер,— ответила Ася.

— Ты иди,— сказал высокий напарнику,— я побуду.

Напарник ушел.

— Разрешите,— сказал высокий.

Ася сказала:

— Садитесь.— И он сел на лавочку.

Так они познакомились. Его звали Борис Маевский. Художник.

Никогда Ася не верила в любовь, считала — если она и есть, то только в книгах да в песнях, а тут полюбила. И он это понял. А она и не скрывала. Но и она поняла, что нравится ему, видела это по его глазам, большим, тревожно-радостным. Им легко было разговаривать. О чем бы ни заговорили, все было интересно. Об искусстве, она могла и об искусстве,— не зря же училась три года в Герценовском институте. О природе,— она любила природу. Она все любила, что было дорого ему. И только не говорили о войне и об отце Вовки. Но про Павла она сама сказала ему. Сказала в тот день, когда поехала в город за карточками. Они встретились на дороге. Она шла к станции. Мимо проходили военные машины,— как правило, они не брали гражданских, и поэтому она шла пешком.

— Я помогу вам,— сказал Борис и поднял руку проходившей машине. И машина остановилась, потому что военного не могла не взять. А вместе с военным была Ася.

Они влезли в кузов.

— Но как же вы... Вам можно?— спросила Ася.

— Не очень, но кто же остановит машину, когда вам придется возвращаться обратно...

После этого они позабыли все и были счастливы, что находятся вместе и никто им не мешает и не может помешать. Машину подбрасывало, их наталкивало друг к другу плечами, и обоим было приятно, и оба делали вид, что не замечают, как их плечи сталкиваются.

И в поезде им было хорошо. Он еле тащился, пропуская грузовые и военные составы, в вагоне было мало народу, и им никто не мешал глядеть друг на друга и говорить все, что придет в голову. Они удивились и засмеялись, узнав, что прошло два с лишним часа в поезде, а им показалось, что только сели и вот уже выходить.

Потом ехали в трамвае. Молчали. И все равно и молчать было хорошо. Потом шли к дому, держась за руки, и о чем-то говорили, и смеялись, и прохожие глядели на них недоуменно и хмуро, потому что они — Ася и Борис — были для них из какого-то совершенно другого мира, где нет ни войны, ни страха, ни мук, ни смерти.

Предполагалось, что как только Ася получит карточки и выкупит по ним продукты, так они сразу же поедут обратно. Но тотчас обратно они не поехали — решили зайти к Асе домой и попить чаю.

И остались на всю ночь. Она ничего от него не скрыла. Рассказала про Павла, про то, что не любила его. Что он погиб. И он не встал тенью между нею и Борисом. Для нее его не было. Для Бориса он был, но был таким, какого Ася не любила.

— Я тебя люблю,— сказал Борис.— Я тебя сразу полюбил, как только увидал.

У него был сильный голос. У него были крепкие руки. Широкая грудь. Крупная голова. Белые зубы. И твердые губы.

В комнате было темно. Но потом стало светать. Он медленно проявлялся для нее, красивый, сильный. И вдруг вошло солнце. Это было в пять утра.

— Ты как индианка. Бронзоволицая,—сказал он.

— Это от солнца,— ответила она и улыбнулась.

А потом его, за самовольную отлучку, отправили в штрафной батальон. «Хорошо, что попал командир добрый, могли бы осудить за дезертирство»,— это он написал ей уже с фронта.

Она получила от него пять писем. И во всех он писал, что помнит ее, тоскует, любит. И она писала ему, что любит его, тоскует, ждет. И теперь уже Варвара не корила

ее красотой «до неприличия». Ася подурнела — боялась за него, к тому же была беременна. Она и об этом ему написала. И он обрадовался. «Мы уже за Одером,— писал он,— скоро Берлин. Береги себя! Береги! Я приеду!»

Она родила ему дочь. Но писем уже не получала. Убили? В плену? В госпитале? Ничего она не знала. И мучилась. И страдала. И ждала. Ждала каждый день, каждый час, каждую минуту. С утра начинала ждать, прибегала с работы, глядела в дырочки почтового ящика,— черно, всегда черно,— ждала вечером. Засыпала в ожидании письма завтра. И так каждый день. Каждый час. Каждую минуту.

И война кончилась. И все вернулись, кто должен и мог вернуться домой. А его все не было. И тогда она стала его искать. Посылала запросы, письма. Может быть, в госпитале? Может, лежит изуродованный и боится о себе напомнить? В госпиталях его не было. Нашли его в Москве. Не поверила. Не он! Другой с такой же фамилией, именем! Попросила Варю, когда та будет в Москве,—а она бывала там по делам службы,— зайти по адресу и убедиться, что это не он.

Варвара нашла улицу, дом, квартиру, в которой жил Борис Маевский. Позвонила. Открыл дверь он! Из коридора донесся плач ребенка. Может быть, его ребенка, может, не его.

— Извините, здесь живет Попов? — спросила Варвара.

— Нет,— ответил Борис Маевский. Он не узнал Варвару.

— Извините,— сказала Варвара и ушла. Она так должна была поступить — уйти, ничего не говорить,— так ей велела Ася: «Если это он, то ты даже вида не должна подать, чтобы он не догадался... Но это, конечно, не он».

Варвара приехала и сказала, что это он.

— Я его сразу узнала, хотя и прошло пять лет, как видала в последний раз. Он мало изменился.

«Почему он так поступил? — стала теперь неотступно спрашивать себя Ася.— Почему? Разлюбил или не любил? Ребенок? Но ведь он же обрадовался, когда узнал, что родилась дочь. Он написал об этом, а потом уже письма перестали идти. Почему же он так поступил?.. Может, потому, что я легкомысленной ему показалась? Пока шла война, он мог и с такой жить, но война кончи-

лась — зачем ему такая? Конечно, он решил, что я легкомысленна... Мог подумать — если бы не он, так другой... Наверно, он так подумал...»

С этого дня Ася уже не ждала Бориса как мужа, как того, кто обнимал ее, целовал, говорил о любви. Стала ждать как отца своей дочери. Почему бы ему не приехать? Не так уж далеко Москва от Ленинграда. Одна ночь езды — и здесь. Почему бы не приехать, не прийти, не поглядеть на дочь? Ну, почему бы не прийти к дочери?

И она снова стала каждый день ждать его. И каждый день готовилась к такой встрече. «А вдруг приедет?» И всегда была одета так, как если бы он вот-вот должен был приехать. Она не хотела, чтобы он застал ее, мать своей дочери, растрепанной, неопрятной. Нет-нет, она всегда должна быть одета аккуратно. Не раскошно. На это у нее нет денег. Подымать двоих детей трудно. Ей никто не помогал,— пенсия за Павла не так уж велика,— все сама. И все равно, это не дает ей право опускаться. Надо быть гордой и держать голову высоко! Все сама! Она кончила курсы и стала работать диспетчером цеха. А была работницей на конвейере. Прибавилась зарплата, и стало полегче. И больше времени для ребят — не так устает. По вечерам — с ними. На утренник — с ними. За город — с ними. Нет-нет, он может приехать в любую минуту, и ей не будет стыдно за себя и за детей. Пусть приезжает...

Но он не ехал. Ушел служить в армию сын. Поступила в институт дочь. Все самое главное сделано — дети выросли! Может и теперь приехать, но она бы к нему не вышла. Тогда ей было двадцать пять лет, теперь под пятьдесят... Уже все позади. И тем более, ну почему бы ему не приехать? Ну, просто так, хотя бы из доброй человечности? Ведь было же, было то, что никогда не забудется! Вот в этой комнате он говорил ей о любви, называл ее индианкой... Пусто в комнате. Все вещи вынесены, погружены на машину. Осталось только вынуть ключ из дверей и уехать на новую квартиру. Из комнаты в квартиру. Теперь у нее будет квартира. В которой он никогда не был и вряд ли будет...

— Мама, ну что же ты!

Перед ней стояла Светлана. Да, она так назвала свою дочь, за тот свет, который принесла ей любовь к ее отцу.

Сильная, рослая очень похожая на отца, она нетерпеливо глядела на мать... Похожая на отца, которого никогда не видала... Ну, что бы стоило ему приехать хоть раз, ну просто так, по-человечески. Он бы увидал, какую она вырастила и воспитала дочь. Ей бы не было стыдно за нее...

— Мама, шофер ругается, говорит — ехать надо!

— Да, да, иду...

«А что, если он приедет, а нас нет? Может быть, оставить ключ в дверях? Войдет в комнату, увидит, что она пустая, и поймет — переехали... И не так уж трудно будет нас найти...»

И оставила ключ в дверях.

ЖЕНЩИНА С ПЕРЕГОВОРНОГО

Все ожило! Все куда-то двигалось, спешило, радовалось... И не хотелось возвращаться домой, и я шаг за шагом, а потом все быстрее, быстрее шел по дороге, щурясь солнцу, открывая рот теплому ветру, слушая пересвисты синиц, возбужденные крики ворон.

Нынче весна пришла рано, и не только мы, люди, даже грачи поверили ей. Они неуклюже ворочались на старых гнездах, укладывали кривые ветки, выбрасывали то, что не нужно, и орали радостно и сердито. И уже открылись бугры, радуя глаз первой зеленью, и ручьи, звеня и всплескивая, стали размывать зимние утоптанные тропы. И на лесных озерах живо заходила рыба. Начали боевой ток тетерева. И солнце, большое, круглое, не уходило весь день. И дымились дороги. Дрались воробьи. И в серебре белых зайчиков ивы пробовал свой голос отливающий сизой чернью влюбленный скворец.

Я все это видел и шагал, шагал по теплой дороге, среди пересвиста птиц и ликующего звона ручьев, и на сердце было весело и легко, и казалось — где-то здесь, рядом, за поворотом, ждет меня радость, и я шагал все быстрее, врезаясь в лужи, прыгая через ручьи, хотя и знал — никакая радость меня не ждет и все будет так же, как и в прошлые разы, когда я приходил на переговорный. Да, да, все будет так же, как бывало и осенью, когда я срывался и шлепал по тяжелой дороге, еле выволакивая сапоги из глины. И зимой, пробиваясь через метель. И звонил. Кому? Это неважно...

Важно было другое, что толкало меня по четырем деревянным ступеням вверх, к дверям, над которыми было написано: «Переговорный пункт». И я подымался по деревянным, то осклизлым, то рассохшимся, то обледенелым ступеням и входил в маленькую комнату с застекленным окошком в стене и одинокой будкой для переговоров. И заказывал Москву. Там у меня друг. Как он там? Жив ли? Да и о себе напомнить не мешало бы... Впрочем, я заранее знал, какой у нас будет разговор.

Я скажу:

— Здравствуй, Семен!

— А-а,— скажет он,— это ты? Как живешь?

— Хорошо,— отвечу я.— Как ты?

— Ничего.

— Порядок! — скажу я.

Собственно, после этого говорить нам уже будет нечего, и тогда я скажу:

— Передавай приветы!

— Добро!— ответит он. Потом скажет: — Ну, будь!

— Будь! — отвечу я и повешу трубку.

И загляну в окошко...

Иногда я считаю, что мне здорово везет. Ведь могло бы на этот раз ее и не оказаться. Но нет, она сидела.

— Здравствуйте! — сказал я.

Впервые я увидал ее шесть лет назад. В тот самый год, когда приехал в эти места.

У меня не очень складно сложилась семейная жизнь. Теперь, когда уже прошло время, я думаю, что, пожалуй, все это и к лучшему, и хорошо, что мы расстались, но тогда я себя чувствовал особенно одиноко. К тому же оторвался от друзей. И вот в одну безысходно грустную минуту потянуло меня позвонить хоть кому-нибудь, и я пришел на переговорный и увидал ее. И тогда же, помнится, подумал: «Ведь есть же такие счастливые, которые женятся на таких хороших, милых женщинах!» От нее так и веяло семейным уютом. Все у нее было как-то округло, мягко, и чувствовалось, что она очень уравновешенна и дома у нее порядок. И, наверное, есть дети. Сынишка и дочь. Почему-то в таких спокойных семьях всегда мальчик и девочка. И все они садятся за стол, родители и дети, и о чем-то весело говорят, и все у них хорошо.,. Я поздоровался с ней и улыбнулся,— мне приятно было на нее смотреть,— но она не ответила на мою

улыбку, и это меня не огорчило — она так и должна была поступить. Зачем ей улыбаться каждому, кто подходит к ее окошку?

Я даже не помню, кому тогда звонил, но ее хорошо запомнил, и от этого мне стало не так уж одиноко... Но все же бывали дни, когда тоска наваливалась, становилось невмоготу, и тогда я спешил на переговорный, и там заказывал Москву, и звонил кому-нибудь из ребят. «Привет!.. А, это ты? Ну, как?.. Ничего! А ты?.. Порядок!.. Ну, будь!» И подходил к окошку, чтобы рассчитаться, и видел ее склоненную голову, мягкий овал щеки, вздернутый носишко, и жизнь не казалась мне такой уж нудной, как до этой минуты.

— Здравствуйте! — сказал я и, как обычно, добавил: — Мне Москву.

— В течение часа,— ответила она.

Я поглядел ей в глаза и увидел, что она по-прежнему ко мне безразлична, и опять подумал о том счастливом, кто живет с ней. И, конечно, вскользь подумал и о себе — почему у меня не так сложилась жизнь?.. Почему первые, самые лучшие чувства были отданы той, которая не любила меня? Почему я не смог найти ту единственную, с которой бы прожил всю жизнь?.. Думал и не находил ответа. Потому что такого ответа нет.

Кроме междугородной, на этом пункте была и местная станция, и все время, пока я сидел, до меня доносились два голоса — ее и другой телефонистки. Но я голос другой не слушал. Слушал только ее — спокойный, мягкий. И мог на что угодно поспорить, что и дома ее голос никогда не повышался, не бывал резким. И думал о том, что, видно, хороший попался ей мужик, если она не верещит, не срывает на ком-то злость, не нервничает. От таких дум становилось на сердце светло. И, конечно, немного грустно... Но грустно ведь только мне, так что это можно и не принимать в расчет.

Я знал, что до моего разговора еще не менее получаса, и все же спросил:

— Еще не скоро?

Она быстро взглянула на меня:

— Через полчаса.— И тут же отвернулась.

Но мне и этих секунд было достаточно, чтобы увидеть в ее глазах мягкий свет. Я улыбнулся и сел на лавку, чтобы дальше слушать ее голос.

Хлопнула дверь, и вошел высокий мужик в белом, до колен, полушубке, и в ботинках, что не очень-то уж шло одно к другому. Ему было лет тридцать, а может, и больше, потому что он был светлый, а блондины всегда кажутся моложе. Он сунулся в окошко, ничего не сказал, но она тут же вышла. «Муж!» — догадался я. Догадался еще и потому, что она поправила ворот его рубахи. Как я и предполагал, она оказалась небольшого роста и от этого еще миловиднее. Он что-то сказал ей и надавил пальцем на ее вздернутый носишко. Она засмеялась... И тут словно что ударило меня по сердцу. Мне представилось, как было бы здóрово, если бы она хозяйничала в моем доме! Тогда бы и сосны так глухо не шумели, и веселее стали бы по утрам играть птицы, и солнце наконец пробилось бы в мои окна. И я чуть ли не с ненавистью посмотрел на ее мужа. По какому такому праву у него это счастье, а у меня нет? Почему... Но тут другая закричала: «Москва!» — и я вбежал в кабину.

— Здравствуй, Семен! — Это сказал я.

— А-а, это ты?— ответил он. Как живешь?

— Хорошо! Как ты?

— Нормально.

— Порядок!

Собственно, после этого говорить стало не о чем. Мы помолчали, и тогда я сказал:

— Передавай приветы!

— Добро! — ответил он. Потом помолчал и сказал: — Ну, будь!

— Будь! — ответил я и повесил трубку.

Раньше, до этого дня, мне всегда после переговорного становилось легче, но теперь было тяжело... Странно, ведь я же знал, что у нее есть муж, и никак бы не должна была подействовать на меня встреча с ним, и все же подействовала... К тому же в окошечке ее не было.

Я рассчитался с другой телефонисткой, зачем-то сунул квитанцию в карман и пошел в буфет, благо он был тут неподалеку.

Они стояли у калитки. Он — в своем немыслимом полушубке, она — в легкой кофточке. Оба в солнце, на мягком ветру. До них было шагов восемь. И пока я шел эти восемь шагов, она неотрывно глядела ему в лицо, держала его руку своими маленькими руками, и — нет, я не мог ошибиться, я это видел, так было со мной когда-то —

лезла к нему, как лезут брошенные, но еще не потерявшие надежду. А он вяло отталкивал ее. И по всему его виду, по тому, как он снисходительно усмехался, как пренебрежительно глядел на нее, нетрудно было понять, что никаких надежд для нее нет.

— Ну, ладно, Нюська,— сказал он, когда я уже подошел к нем.— Пойду, бывай!

И пошел в своем белом полушубке, в узких брюках, ставя ботинки на землю, как печати. Она стояла в калитке, и мне было не пройти. Глядела ему вслед. И мягкий ветер сквозил ее кофточку. Потом она повернулась и, не замечая меня, прошла к себе.

В состоянии удрученной задумчивости я вошел в буфет, в прокуренный, кислый воздух. Там уже сидел ее муж с каким-то приятелем. Я подсел к ним, теперь уже более придирчиво оглядывая того, кто был ее мужем. Странно, за что он мог ей нравиться? Даже с первого взгляда можно было определить, что он человек ненадежный: маленький запавший лоб, вялые губы; да разве у такого человека найдешь сочувствие? Черствость, самовлюбленность — да.

— А ну ее,— говорил он, презрительно кривя губы,— надоела.

— А денег дала?

— Трояк.

— Тогда-то что!

— Да нет, надо кончать, помоложе есть.— Он посолил пиво и стал пить.

— А дети? — Это я спросил. Не вытерпел.

— Какие дети? — Он обалдело глядел на меня.

— Мальчик и девочка... Сын, дочка! У Нюси!

— Во чокнутый! — хохотнул он.— Да у нее и семьи-то никогда не было. Бывай! — И отвернулся.

Лязгали кружки. С застывшими лицами сидели багровые пьяницы.

— Водку не держим! — кричала буфетчица.— Только вермут.

«Что же это такое?— ошарашенно думал я.— Как же это так у нее нет семьи? Что же помешало ей создать семью?» Думал и не находил ответа, хотя, казалось бы, чего легче ответить именно мне, не нашедшему своей семьи.

ТОМКА

Ей одиннадцать лет. Когда мать смотрит на нее, то в ее взгляде пока еще нет ни тревоги, ни грусти. По крайней мере лет на пять ей гарантировано такое беспечальное состояние,— Томка еще ребенок.

Скуластенькая, длинноногая, с неровным частиком белых зубов,— это в отца, которого она видит чуть ли не каждый день и не знает, что это ее отец. С вьющимися волосами, ясноглазая,— это в мать, которую она любит и тоскует, если долго ее не видит.

Тогда она садится на верхнюю ступеньку крыльца и, охватив острые коленки тонкими руками, пристально смотрит в даль дороги, откуда приходит автобус. Но так как дорога пуста, то Томкин взгляд начинает скользить по фасадам домов с узорными наличниками, с занавесочками, по тополям, седым от пыли. Минует песчаные прибрежные бугры с ярко-зелеными порослями жестких трав и останавливается на громадном просторе воды.

Как ее много! Это даже удивительно, столько воды! Кто говорит, что Чудское озеро названо от слова «чудо»,— и верно, разве это не чудо? Кто говорит, потому так назвали, что раньше псковитяне звали эстонцев, живущих на другом краю озера,— чудью, чудны́ми людьми. Отсюда и пошло Чудское озеро. Но так или иначе, а хорошо называется эта громадная, как море, вода. Чудское озеро!

На него можно глядеть долго — и не надоест. Оно бывает настолько тихим, что на нем видна даже пыль, как на зеркале. Так и хочется вытереть его тряпкой. И тогда не поймешь, где озеро сливается с белесым небом. Кажется, вот тут, совсем рядом. Но это, конечно, не так,— Томка узнала в школе про горизонт и знает, что это такое. Но бывает Чудское бурным, с пенными заворотами волн. И тогда оно словно кипит! Особенно яркие вспышки у самого берега. До Томки доносится влажное дыхание пропитанного запахами рыбы и прогретой воды теплого ветра. И Томка не выдерживает, бежит туда. Ноги ее, узкие, с огрубевшими ступнями, легко несутся по острому гравию дороги, по жесткой, объеденной овцами, траве, по мягкому раскаленному песку, в котором утопают по щиколотку, и останавливаются в теплой воде. Томка поддергивает подол платьишка и дает волне набежать на ее

колени. Откуда примчалась эта волна? Из какой дали? Где она родилась? Может, у берегов Эстонии? Крутая, сильная! Хорошо, что Томка еще выше подняла подол, иначе бы замочила... С Томкиных ног медленно сползает пена, пузыри ее лопаются, и становится щекотно.

На всем длинном пустынном берегу никого нет, и все же Томка оглядывается. Быстро снимает с себя платье, кидает его на прибитый водой прошлогодний тростник и, высоко вскидывая ногами, бежит навстречу волнам.

Ее тельце, тоненькое и длинное, смугло. Как оно красиво среди бегущих волн. Их тысячи, а оно одно. И все бегут к нему. И ластятся, как ягнята. И чем дальше забегает Томка в воду, тем выше по ее телу забираются волны. И вот уже начинают ее качать. И тогда Томка плывет. Хлопает ладошками по волнам, играет с ними. И все дальше, дальше плывет... к горизонту. И кажется ей, что она уже далеко от берега, в бескрайнем, как океан, морском просторе... А потом позволяет волнам вынести себя на песчаную отмель. И волны выносят. И Томка лежит, вытянувшись, положив голову на руки, и волны перекатываются через нее и, беззлобно шипя, гаснут у берега.

В деревне никого, все на работе: в полях, на фермах. И Томке немного скучно. Она уже давно сварила суп из сушеной рыбы — мужика дома нет, но время от времени приезжают рыбаки и тут же, на берегу, продают окуней по три рубля за ведро. Томка научилась их солить, вялить и варить из них вкусный суп. Нажарила она и картошки. И вот теперь сидит на крылечке и опять смотрит в даль дороги. Когда же придет автобус?

Солнце с левого бока озера медленно переползает на правый. Небо чисто, и ничто ему не мешает, раскаленному, усталому за день, погружаться в прохладную воду Чудского. Ветер, дувший с озера, стихает. Его сменяет ветер полей. И теперь уже пыль, если по дороге промчится машина, плывет к озеру.

Солнца нет. Оно все ушло в воду. И небо начинает медленно остывать. Теперь уже осталось ждать недолго.

Четкая, как в кино, далеко-далеко появляется на дороге машина. Нет, не автобус. Грузовая, с сеном. Мчится. И до Томки доносится ее грохот. Дорога не асфальт,— подскакивает машина. Гремит.

Дядя проехал. Ее родной дядя. Который не любит ее. За что? Этого Томка пока не знает. И маму, свою родную сестру, он не любит. Почему — Томка пока не задумывается. Но будет такой день, когда она спросит мать, и той придется ответить, почему их не любит ее родной брат. Да и не только он,— вся деревня не любит, особенно женщины. Даже старухи — и те хмуро смотрят на них своими выцветшими глазами, когда Томка с матерью идут по улице.

Еще совсем маленькой,— этого Томка не помнит, но было, — подбежала она к соседской девчонке, и тут же из дому вышла старуха и, толкнув Томку, сказала: «Иди-ка, иди, нечего тебе тут!»

Томка заплакала и побежала.

«А ты и не ходи. Играй одна, — прижимая к себе дочь, сказала мать.— Вон у тебя сколько игрушек, и кукла, и заяц...»

И Томка стала играть одна. Мать весь день в соседней деревне на почте. И Томка весь день одна. И привыкла, и никого уже, кроме матери, ей не надо.

Если задуматься, ведь это же очень печально, когда сам по себе живет маленький человек... Но он растет. Станет взрослым. Что он тогда скажет людям? Будет ли добр? Поможет ли в беде? Или будет также безучастен и черств, как были к нему безучастны и черствы люди в его детстве?

Где-то далеко-далеко есть у Томки брат. И еще дальше, на самом Дальнем Востоке, живет ее сестра. Она замужем, у нее двое сынов. Но никогда Томка не видала ни своего брата, ни сестру, ни племянников. Как ни удивительно, а она уже тетка, хотя племянники на несколько лет старше ее...

Редко, очень редко приходят от них матери письма. И хоть бы в одном было словечко о Томке, будто ее и нет. Почему? Об этом тоже пока Томка не задумывается. Но придет день, и она все узнает. И с горечью повзрослевшего человека все поймет.

«...1943 года, месяца февраля, дня четырнадцатого... В боях за Родину пал смертью храбрых...»

Так Томкина мать потеряла мужа.

«...1950 года, месяца сентября, дня четвертого... Вам надлежит явиться в райвоенкомат к десяти утра, имея при себе...»

Так ушел в армию сын. И не вернулся в деревню. Живет в Норильске.

«Дорогая мама! Я учусь на крановщицу. Строительство у нас большое и жизнь интересная...»

Это из письма дочери. И еще, из другого:

«Дорогая мама! Не ругай, что не посоветовалась с тобой, но так уж все сложилось. Я вышла замуж...»

Так Елизавета Никитична осталась одна. И страшно ей стало, когда она подумала о том, что ждет ее впереди. А что — она знала. Видела одиноких, как обугленные головешки, старух, покинутых своими детьми. Да, дети подрастали и уходили, чтобы не вернуться в деревню. И оставались одни старики да инвалиды, да, вроде нее, овдовевшие без времени бабы. И представилось ей знобкое одиночество, хоть и далекая — неприютная старость. Когда нет никого рядом, когда за окном стонет ветер и ночь длинна, и только ходики тревожат черную тишину. И так будет долго, бесконечно долго, пока она не умрет. А она здоровая. Ей жить и жить. «Сорок лет — бабий век. Сорок пять — баба ягодка опять!» А ей сорок пять... Ягодка... Что же, так и прожить? Гаснуть год от года?

— Иван Степаныч, зашел бы. Чего-то печь дымит, — как-то сказала она печнику, одноногому веселому мужику.

— Коли дымит, прочистить надо, — хохотнул он.

— Да уж чистила, а все равно дымит. Зашел бы...

И он зашел.

— Ну, чего у тебя тут?

Обошел вокруг печки, заглянул в устье, подмазал трещины.

— Наверх не полезу, не с ноги, — заворачивая в мешковину инструмент, сказал он, — а так все в порядке.

— Ну, тогда и ладно. Прости, что побеспокоила.

— Невелико беспокойство.

— Все же... — А сама уже поставила на стол бутылку самогона — достала у бабки Авдотьи, наложила в миску рыжиков, залила их сметаной. — Не побрезгуй, Иван Степаныч...

— Кто ж таким делом брезгает, — заулыбался печник. — Да по мне если каждый день такое, только приплясывать стану, хоть и на одной ноге.

Она налила ему полный стакан и себе немного в чашку.

— Будь здоров, Иван Степаныч!

— И тебе того же!

Выпил. Закусил рыжиком и посветлевшим взглядом, словно ему сбросили десяток лет, посмотрел на Елизавету.

— А ты ничего, в теле, — сказал он и опять хохотнул, взблеснув крепкими неровными зубами.

— А кому нужно мое тело-то? — с грустью усмехнулась Елизавета.

— Ну, не скажи...

Она налила еще ему и себе для храбрости.

Печник выпил и загрустил:

— Зараза война, твоего убрала, меня укоротила, тебя обездолила. Гляжу на тебя и жалею. Мужика бы тебе подходящего. Чего, в самом деле!

— Где его найдешь? Не валяется...

— Да, прозрачно стало в нашем Кузёлеве... А раньше-то хороводы водили, в петров день как высыпют все на улицу, на гулянье, что тебе ярмарка какая...

— Ладно тебе о старом! Чего его вспоминать. Ты ведь веселый, — сказала Елизавета и тронула рукой его волнистые, подбитые сединой волосы. — Мягкие... Добрый должен быть...

— А и не жадный...

Ох как трудно было ей сблизиться с ним. Без любви, без чувства. Ладно, помогла самогонка.

— Ну, Лиза, согрешили мы, не дай бог моя баба узнает...

— А ты не говори, так и не узнает.

— Ты не скажи кому.

— Зачем же... Не с радости — с горя... — И уже вслед ему сказала: — Не осуждай...

Вот так родилась Томка. Больше ни разу не был ее отец у Елизаветы. Приходил. Не пускала.

— Ветром, что ли, надуло? — неприязненно оглядывая ее живот, говорили бабы.— Эва как, ни стыда ни совести, в такие-то годы...

Брат приходил. Брезгливо морщил сухие губы:

— Чего это ты? С кем?

— С кем надо. А тебе что?

— А то, что позоришь!

— Мое дело.

— И меня касается, брат твой. Эва вздуло как, к носу подпирает.

— И хорошо. Сама захотела.

— Ну и черт с тобой! Но чтоб больше твоей ноги в моем доме не было!

— И на том спасибо, — ответила ему Елизавета. — Только не подумал ты, мой братенник, что я одна осталась...

— Не ты одна такая, а другие себя соблюдают. — Плюнул и ушел.

Так с братом рассталась.

Старухи гадали:

— От кого же она понесла? И не уезжала, вся на глазах, а схитрила...

И не одна женка думала: «Уж не с моим ли схлестнулась?»

И неприязнь отсюда к ней, а от нее — к Томке. Сын с дочкой узнали, и все реже письма, сдержаннее. Осуждать не осуждали, а холодком потянуло. Ну, бог с ними. Где им понять?.. Но есть Томка, кусочек солнышка, и тепло и светло...

Вот она бежит, еще издали видно — вся светится. Смеется во весь рот, — еще бы, маму увидала!

— Ух, как ты долго! А я ждала, ждала. Суп-то уж остыл... Да нет, нарочно я. Укутала его, горячий-прегорячий! — Она прижимается к матери, заглядывает снизу, показывая неровный частик белых зубов... Такой же, как у Ивана Степаныча. Ой, догадаются бабы, тогда уж будет разговору! Ну и пускай, не привыкать ни им, ни ей... А что Иван-то Степаныч, так ведь тоже хорош — не подойдет к ребенку. Боится. Как же, а вдруг отцом признают его.

Они идут веселые, радостные, — весь мир в них самих, и никого им не надо. Мать глядит на Томку, и в ее взгляде нет ни тревоги, ни грусти. По крайней мере, лет на пять ей гарантировано такое беспечальное состояние. А там видно будет.

ПЕТРОВ ДЕНЬ В КУЗЁЛЕВЕ

Эта туча пришла с запада, и сразу рванул ветер, и все крепче, крепче. И уже нет тучи — солнце, а ветер все яростней. И не утихает. Гнет деревья, и они тянут в поля свои ветви, и, наверно, не рады густой листве. А ветер все злее,— откуда-то пригнал клочья облаков, и они, как пороховой дым, потекли по небу. И вывернул всю листву наизнанку, и старая ива стала серебряной. Поднялся жаворонок и тут же косо отлетел в сторону. И легла трава. И все сильнее раскачивается шест на колодезном журавле. Он, как маятник древних часов, отмеряет время тревоги.

Всю ночь выл ветер. И вот уже утро, а он не утихает. И вот уже день, и с деревьев, как дань, летит листва, падают сухие ветви, и в небе нет ни одной птицы, и трава как легла, так и лежит затаенно. И дым из труб далеко отлетает в поля.

Говорят, такие ветры часто бывают на побережье Чудского озера,— для местных это обычное явление. Но мне тревожно. Я всего тут неделю. Проездом, впервые, увидал Чудское и решил провести здесь отпуск. Притянули пустынный песчаный берег и громадная вода, и почему-то подумалось, что здесь будет хорошо. И жене понравилось. И обоим нам вспомнилось, как давно-давно мы были вдвоем на Черном море и нам никто не мешал, и показалось, что здесь *то* время может вернуться. И мы приехали сюда.

Тогда озеро было спокойно, и вода прогрелась у берега до того, что стала теплей земли. И мы грелись в ней, лежа на песчаном дне. И глаза у жены были синие — от воды, от неба, и округлые плечи блестели от воды, и матово светилась грудь, и,— чего я давно уже не испытывал, что забыл,— жена напоминала ту, о которой когда-то я мечтал, робея ухаживал и считал себя самым счастливым, узнав, что любим ею.

Я взял ее за руки, и мы, как дети, стали хлопать по воде. И смеяться. И от этой забытой радости глаза у нее посинели еще больше.

— Послушай!— сказал я.— Я совсем отвык от твоих рук. Я не помню, когда держал твою руку в своей...

Ее рука была маленькая и жесткая. Совершенно незнакомая рука...

— Удивительно, какая у тебя узкая рука,— сказала жена и стала ее разглядывать так, что мне стало неловко.

И что-то после этого нарушилось. И вечером она уехала. Никаких причин уезжать не было, но она уехала к сыну. А зачем ехать к сыну? Он в военном училище, и перед отъездом мы его видели.

— Знаешь, я волнуюсь, мало ли что...

Нет, лгать она никогда не умела, и тут у нее получилось плохо, но она старалась казаться искренней, такой, чтобы я поверил ей. И я сделал вид, что верю:

— Да, да, я и сам волнуюсь, мало ли что...

Наш разговор был похож на последние капли, падающие с замерзающей сосульки.

— Через два дня я вернусь...

— Не больше! Не задерживайся!

— Нет, нет...

Но вот прошло уже три дня, а она все не едет. И я понимаю почему. Нужно время, чтобы мы забыли про руки, чтобы это стало мелочью, такой же, как множество разных отчуждавших нас ранее мелочей. Мы забывали их, прощали друг друга, хотя они всегда оставляли горький след.

Всего три автобуса проходит мимо Кузелева. Два уже прошли, остался третий — последний. Он приходит поздно вечером.

Мне было бы куда легче, если бы я хоть кого-нибудь знал в этой деревне, но я никого не знаю, кроме старушки Лукерьи, живущей напротив меня. Да и ее я знаю мало, только в лицо.

Весь этот воскресный ветреный день из трубы ее маленького дома валил дым. Как и все в деревне, она готовилась к празднику. Кого-то ждет. Но, как видно, пока еще никого нет, хотя в другие дома с автобусной остановки шли дружно. И с первым и со вторым автобусом приехало много, а к ней никого. Я потому это знаю, что каждые полчаса она выходит к дороге и глядит туда, откуда к ней могут приехать. А вдруг на попутной?.. И у меня тоже зарождается надежда — а вдруг и жена приедет? Почему бы ей не приехать на попутной, не дожидаясь вечера?

Опять вышла старуха, и ветер тут же начал полоскать ее длинной широкой юбкой, как флагом, и стал бить по

лицу концами платка... Пустая дорога. Даже пыли на ней нет,— все смел западный ветер...

Выйти хоть на крыльцо, что ли? Так мертво в пустом доме. До нашего приезда он был заколочен, старый покинутый дом.

На крыльце ветер рвет, сталкивает. По всему Чудскому несутся табуны белых волн, и нет им конца-края. И с прибрежных бугров, как дым, летит на меня песок. И все деревья и кусты зачесаны на одну сторону. И шест колодезного журавля, взблескивая ведром, все шире захватывает пространство. Есть единственный заслон от ветра — прижаться к фасаду дома. Да, здесь тихо. Только шумит над головой листва желтеющих лип. Отсюда еще лучше видна пустая дорога, и я неотрывно гляжу в ее даль...

Машина!.. Но даже издали видно, что это не автобус, не грузовая. Так оно и есть — «Победа». Прошуршала мимо меня и остановилась у розового дома, и сразу же оттуда торопливо вышли хозяева, начались поцелуи, объятия, и приехавшие вместе с хозяевами ушли в дом.

А старуха все глядит. Надеется, ловит концы платка, чтобы не мешали смотреть.

Я видел ее утром стоящею на берегу в ожидании рыбаков. Они вышли на заре, на своих сильных, с задранными носами, просмоленных лодках, в каждой по десять человек. Разломали тишину моторами и ушли к каменным грядам, чтобы добыть крупного окуня. Без ухи немыслим праздничный стол — таков уж порядок в этой приозерной деревне... Нет, Лукерья ничего не просила, когда стали возвращаться лодки. Но каждый рыбак бросал в ее ведро по краснoперому уснувшему горбуну...

Еще прошуршала машина кофейного цвета, и за ней, подскакивая, старенький «Москвич». Из кофейной вышел плотный толстяк, и вслед за ним посыпали ребятишки. Из «Москвича» — здоровенный детина с такой же здоровенной женщиной, и непонятно было, как они там могли уместиться. Всех приехавших встретили и увели.

И опять дорога пуста...

Ко мне идет Лукерья. Руки у нее сунуты под передник. Еще издали улыбается,— это из вежливости, потому что ей совсем улыбаться ни к чему.

— Хозяйка-то где? — интересуется она.

— К сыну уехала,— говорю я, разглядывая ее безбровое, с расплывшимся носом лицо.

— А я тоже одна. Никого, окромя внука, нет, да и тот забыл. Петров день ведь... Все, какая есть родня, съезжаются... Вон к Слепову сам генерал прикатил. Уж так заведено, день такой... А было три сына. Внук-то от старшего. Все погибли. А если б жили, разве забыли б маму свою... Теперь никого, только четыре звездочки на дому...

Мне их хорошо видно, эти четыре красные звезды, вырезанные из дерева. И на других домах есть звезды: по одной, по две, по три. По всей деревне звезды. Это чтоб знали, сколько в каждой семье погибло в войну.

Что ей сказать? Чем утешить? Все уже пережито. И самое лучшее — не расспрашивать; но и молчать нехорошо, и я говорю о внуке:

— Может, приедет?

— Навряд ли. — Она вздохнула и тут же виновато поглядела на меня. — И чего я на тебя тоску нагнала? Праздник ведь... Вот подожди, к вечеру гулянье начнется, все из домов высыпят. Хорошо у нас...

Ушла. А я опять гляжу на пустую дорогу. Но теперь уже в сердце какая-то глухая пустота. От того ли горького, что услышал? Или коснулось одиночество другого человека, и я еще сильнее почувствовал свое одиночество?.. Не знаю. Но почему она не едет? Что могло ее задержать? Ну что из того, что я позабыл, какие у нее руки? Ведь и она забыла, какие у меня! Я гляжу на свою ладонь, на пальцы,— почему узкая? Рука как рука. А вот у нее действительно маленькая и жесткая... А была мягкой... Почему она не едет?

Опять Лукерья вышла и смотрит на пустую дорогу. А там никого нет. Но теперь ветер еле шевелит концы ее платка, она уже не придерживает их. Солнце садится, и через дорогу, как черные шлагбаумы, все дальше тянутся в поле длинные тени. Позднее они сольются друг с другом, и тогда наступит ночь.

Я не могу, больше не могу видеть эту старуху! Ведь надо же, чтобы изо всей деревни только двое — она и я — оказались в таком безысходном одиночестве. Но у нее понятно — у нее все погибли! А у меня живы...

На крыльце тихо. Западный угомонился, и уже нет бешеного кипения на Чудском...

— Вот мы и остались с тобой одни...

Это подошла ко мне Лукерья, и уже, как к своему, присела рядом на ступеньку.

— Почему же, еще будет последний автобус,— отодвигаясь от нее, говорю я.

— Дай-то бог... Только проку-то мало, вон уж гулянья начались.

На улицу из каждого дома, торжественно и важно, выходят хозяева и гости. В новых костюмах, в новых платьях. На девчонках «мини-мини». У ребят в руках транзисторы. Один играет на гитаре. Идут, держа друг друга под руку, плотной шеренгой, занимая всю дорогу. Идут веселые, смеются, что-то кричат друг другу. Здороваются со встречными. Раскланиваются.

— Вон полковник идет. Степан Васильич. С моим старшим в дружках бегал. Каждый год приезжает... А мой внучек забыл.

Рядом с полковником идет, стараясь держаться прямее, сухой старик,— дед его, наверно?

— Отец это, Василий Игнатьич. Довольный. Да ведь как не быть довольным, одно слово — полковник! — Лукерья утирает концом платка глаза. — А это вот шахтер, из Сланцев приехал. Ага... Хорошо живет. Ну да он часто наезжает к нам, помогает родителям... А вон тот, в военной форме, летчик. Тут у нас что ни человек, то сила.

Летчик идет в окружении женщин. Что-то говорит им смешное, и они хохочут, заглядывают ему в лицо, и он сам смеется, и чувствуется, очень доволен и праздником, и своей родней, и тем, что приехал в свою деревню.

— А вон тот, толстый-то, в шляпе, директор завода. Моему среднему годок... — Лукерья с радостным удовольствием оглядывает проходящие, как на параде, шеренги и обо всех рассказывает, и вначале удивительно, а потом как-то и совершенно понятно становится то, что среди гостей и полковник, и директор, и шахтер, и летчик, и врач,— так и должно быть, а откуда же еще им выходить, как не из этой русской деревни.

— Разве б не прошла и я по улице, если б приехал,— доносится до меня голос Лукерьи,— кому не в честь показать своих...

К нам идет шахтер — тот самый громадный человек, который вылез из «Москвича». Идет в окружении всех

своих родственников, старых и молодых, под руку с женой.

— Здравствуй, Лукерья Ильинична, — теплым басом говорит он.

Лукерья поспешно поднимается, улыбчиво смотрит на шахтера:

— Здравствуй, Николай Иванович. Приехал, не забываешь...

— А как же. Тут родился. А чего ж ты одна? Или Васька не приехал?

— Да вот, не приехал...

— Чего ж это он? Поганец! Ходи к нам.

— Да уж куда я...

— Ну-ну, в такой праздник одному быть не полагается. — Он глядит на меня, широкоскулый, с твердо поставленными глазами в черной звезде ресниц. — Дачник?

— Да.

— Чего ж скучаете? Идемте с нами.

— Жену ждет, да, видно, не дождется,— говорит Лукерья.

— Тогда тем более. — Голос у шахтера уверенный и добрый. — Идемте, идемте!

И вслед за ним вся его родня начинает приглашать меня. Я благодарю и отказываюсь. Говорю, что без жены не привык ходить по гостям.

— А-а, тогда это дело другое, — говорит шахтер и смеется, прижимая к себе могучую руку супруги. — Жены не любят, когда без них по гостям ходишь!

— Да не приедет она. Не приедет! Идем-ка! — уже радостно зовет меня Лукерья.

— Приедет. Еще будет последний автобус. Приедет!

Они уходят. Шахтер ведет под руку Лукерью. Мне видно, как она старается приноровить свой мелкий шаг к крупной шахтерской поступи. А я остаюсь ждать последний автобус.

Тени слились. И озеро стало темным. Только в той стороне, где село солнце, багрово в одной линии вспыхивают и тут же гаснут спокойно идущие волны. Но я уже почти не смотрю туда. Все жду, когда появятся огни последнего автобуса. На улице никого. Все разошлись по домам. В каждом доме свое веселье. И только в двух — у Лукерьи и в моем — темно...

Но ведь есть же еще последний автобус!

ЧУЖОЕ ПИСЬМО

«...Только теперь я понимаю, как мы были неосторожны друг к другу. Да, только теперь! Но неужели, чтобы это понять, надо было уехать в тайгу, где так бесприютно шумят оголенные лиственницы и свирепствуют белые морозы, откуда так далеко-далеко ты... Я все думаю о том, как это могло у нас так бессердечно получиться? У нас — любивших друг друга! Ведь я же не мог часа пробыть без тебя, с работы я несся к тебе домой на крыльях, и когда переступал порог и видел твои глаза, не было человека счастливее, чем я! И по твоим глазам я видел, как счастлива ты. Так куда же все это ушло? Почему? Зачем? Вот что меня мучает... Нет, я никак не могу согласиться, что мы не были предназначены друг для друга! Мы нашли себя в этом огромном мире, наша встреча не была случайной. Так должно было произойти, так и произошло! И ведь ты же помнишь, как мы были счастливы... Тем горше мне сознавать, что мы стали чужими...»

Инженер Игнатов зачеркнул слово «чужими» и продолжал:

«...другими, что нас начали раздражать какие-то мелочи, которых мы раньше не замечали, что нам стала в тягость наша близость. Но вот прошло всего полгода, как мы расстались, и я в отчаянии, я теперь понимаю все, и если б можно было перечеркнуть ту страшную минуту, вернуть прошлое, как бы я был счастлив! Я все жду от тебя писем, но их нет...» Игнатов посмотрел на прораба Денисова, здорового тридцатилетнего геолога. Он, как часто уже в последнее время, сидел с опущенной головой, зажав в руке давно погасшую трубку. «Я все жду от тебя писем, но их нет...» — перечитал последнюю фразу Игнатов и чуть было не добавил: «...и, знаю, не придут», но после того, как поглядел на Денисова, написал другое: «Но я жду. Я жду! Слышишь? Если бы ты знала, как мне тяжело. И с каждым днем все хуже, мрачнее. Я не боюсь быть перед тобой таким откровенным, не боюсь, потому что мне дорого наше счастье, и ты не усмотришь в этом моей слабости, а поймешь, как и надо понять, когда человек идет к другому человеку с открытым сердцем. Не знаю, как ты там живешь, но я страдаю. У меня такое ощущение, будто впереди ничего уже нет и не будет... Я не

могу примириться с мыслью, что ты утрачена для меня навсегда!»

Игнатов снова посмотрел на прораба, горько усмехнулся и вычеркнул всю последнюю фразу. Поглядел в узкое окно — там было уже темно. Выл ветер, и, хотя порог был заложен мешковиной, все равно по полу тянуло холодом.

«...Почему, когда мы вместе, не ценим хорошее друг в друге и только начинаем понимать на расстоянии, да при этом еще в долгой разлуке? Или уж так устроен человек, что ему все, даже очень хорошее, становится привычным и отсюда недорогим? Откуда такая неудовлетворенность? Оттого ли, что мало хорошего видал человек в жизни? Тогда тем более должен беречь! Почему все так сложно?..»

— Ты умеешь рассуждать? — неожиданно спросил Игнатов.

— А я и сейчас рассуждаю... Думаю, — хмуро ответил Денисов.

«...Ты видишь, сколько я себе задаю вопросов? Их много. И не на все я могу ответить, потому что ответа может и не быть. Но задумываться, спрашивать себя надо, хотя бы для того, чтобы не жить вслепую. Поэтому мне бы хотелось, чтобы и ты задумалась. Ты должна задуматься. В какой-нибудь вечер ты будешь одна, — а ты одна, это я знаю, потому что нужно очень много времени, чтобы забыть все, что было нам дорого. Это только нам думается, что мы — это каждый сам по себе, нет, мы все равно связаны — прошлое не вычеркнешь!» Тут Игнатов укоризненно, как бы сам на себя, качнул головой, зачернил все слова до фразы: «Ты должна задуматься», — и продолжал:

«...обо всем, что тревожит и мучает меня. И, если и тебя тоже эти вопросы встревожат и взволнуют, тогда, я уверен, наша жизнь наладится и все будет хорошо, как было и раньше. Самое главное — это я понял глубоко и безошибочно,— не надо торопиться со своими решениями. Не всегда они бывают правильными. Нужно время, чтобы проверить себя, как нужно время, чтобы проверить и свое решение. Разрушить так просто, а потом? Что будет потом? Ты подумала об этом? Только в том случае надо уходить друг от друга, когда есть серьезные причины, не позволяющие жить вместе, но если их нет, тог-

да зачем же нам терзать друг друга? А мы терзали, хотя тех причин, о каких я сказал, не было. Не было ведь! Это я тебе могу легко доказать, потому что люблю тебя! А так бы я должен был ненавидеть тебя, а я люблю. И как жаль, как жаль, что ты так от меня далеко. Я бы тебе все объяснил, и ты бы поняла, и мы перестали бы терзаться... Вот открылась бы дверь и ты вошла б... Но ты даже не знаешь мой адрес, как и я не знаю твой...» Последнюю фразу Игнатов перечитал и вычеркнул.

— Чай будешь пить? — спросил его Денисов.

— Подожди, — отмахнулся от него Игнатов.

— Да ладно, потом допишешь.

— Не мешай. Немного уж осталось.

Денисов раскурил трубку и стал внимательно глядеть на Игнатова, на то, как тот время от времени задумывался и склонялся над столом. В зимовке было сумрачно, потому что горела одна свеча. Можно бы и вторую зажечь, но не к чему. Так даже было лучше — тихо и грустно.

«...Убей меня бог, но я не верю, что ты спокойна и не думаешь обо мне, — продолжал писать Игнатов. — После всего, что у нас с тобой было искреннего, страстного, не может быть такого скорого забвения. Любовь — а она была у нас — остается на всю жизнь. И остается не просто для спокойных воспоминаний, а для горестных сожалений, для бесконечной тоски по утраченному, по тому, что никогда не возвращается. Ах, как мне хотелось бы хоть на секунду заглянуть в твое сердце, — неужели оно спокойно? Меня особенно мучает последний день, — сколько было зла, сколько мы наговорили грубого друг другу. Зачем? Ты же знаешь, я по натуре не злой человек, да и ты не такая, откуда ж у нас столько вывалилось скверны? Нет, никогда, никогда больше я бы так себя не вел! Никогда... Ты можешь подумать, что я прошу прощения, нет, тут даже не раскаяние, тут больше — тут казнь самого себя и клятва во имя любви! Если бы и ты, со всей моей остротой боли, поняла, что испытываю я, то нам даже не помешало бы и это громадное расстояние, разделяющее нас. Что могут значить тысячи километров, если сердца вместе! Но у тебя другая жизнь — с городом, с его занятиями, с людьми, которые отвлекают тебя, с развлечениями, и вряд ли ты сможешь понять все страшное, что произошло с нами. И тем ужаснее будет тебе понять это, когда уйдет время, Оля!»

Он вычеркнул слово «Оля» и продолжал писать:

«...Да, тогда будет поздно, но сейчас еще есть возможность. Только надо понять со всей серьезностью, чтó мы с тобой теряем...»

— Ну, что уж так расписался! — с неловкой усмешкой в голосе сказал Денисов. — И не стоит она того, чтоб столько время на нее тратить.

— Не мешай! — раздраженно ответил Игнатов.

— Ну-ну... — Денисов подбросил в печку поленья, и в трубе радостно завыло. По всей зимовке мягкими волнами пошло тепло.

Игнатов напряженно потер лоб, перечитывая последнюю страницу, и вычеркнул все, что было написано после перечеркнутого слова: «Оля!»

«Что мне еще тебе сказать? — писал дальше он.— Я закрыл глаза и вижу тебя. И понимаю — всегда любил и люблю. И сознание того, что тебя нет рядом, что ты бесконечно далека, мне невыносимо. Вижу тебя во сне, но не ту, которую поцеловал впервые, а сегодняшнюю. И ты не сердитая — добрая, смеешься и обнимаешь меня... Но просыпаюсь — в зимовке лютый холод, в окошке еще чернота, хотя на часах уже восемь утра. И я встаю, разжигаю печь, набиваю чайник снегом, — он твердый и сыпучий, как песок, потому что морозы у нас до шестидесяти. И с грустью думаю о тебе. Ухожу на трассу и там думаю и живу весь день надеждой — приехал из штаба нарочный и привез твое письмо...»

— На, читай! — сказал Игнатов и отдал листки исписанной бумаги Денисову.

Денисов с деловым видом принял их и подсел к свече. А Игнатов стал нервно ходить по зимовке. И, не отрываясь от него, по стене и потолку, сломанная углом, закачалась его большая тень.

Денисов читал медленно и долго, и все это время в зимовке стояла тишина, и только слышно было, как за дверями шумели на ветру деревья да с сухим шорохом проносился по плоской крыше подхваченный снег. Несколько раз Денисов хмыкал, раскуривал трубку, что-то обдумывал, наконец окончив чтение, сказал:

— Это ты все здорово, Владимир Николаевич, расписал. Все в точности понял, что испытываю... Даже растрогал...

— Ну и ладно. Перепишешь и посылай.

— Да нет, хоть это все и так, а не годится оно. Ты не знаешь мою Александру: ведь она задерет нос, когда получит такое письмо...

— Разве это самое главное? Если она тебе дорога, я бы так написал.

— Со стороны-то легче, — качнул головой Денисов, — а вот когда самого касается, тут другое дело... К ней нельзя на карачках ползти, тогда совсем житья не будет.

— Дай-ка сюда, — Игнатов взял письмо у Денисова, смял его и бросил в печь.

Денисов встревоженно поглядел на него:

— Обиделся? Но ведь, понимаешь, такое письмо никак для нее не годится. Вот если б ты потверже написал...

— Пиши сам.

— Если бы умел... А она молчит. Чего вот она молчит?

— Давай пить чай.

— Да нет, что-то не хочется... — вздохнул Денисов. — Растревожил ты меня своим письмом. Вот если бы я такое получил, я бы, конечно, обрадовался, а для нее такое нельзя. Нет, нельзя! — с твердой убежденностью сказал Денисов. — С ней надо построже. Чтоб она была виноватая!

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

Сергей Алексеевич Воронин

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Повести и рассказы

Редактор **М. Соколова**
Художник **А. Бобров**
Художественный редактор **Б. Мокин**
Технический редактор **Н. Боярская**
Корректоры **В. Марычева, Т. Храпонова**

Сдано в набор 26/II-1974 г. Подписано к печати 25/VII-1974 г. А 10186. Формат бум. $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. № 1. Печ. л. 17,5 + 1 вкл. Усл. печ. л. 29,51. Уч.-изд. л. 30,71. Тираж 300 000.
Заказ № 4-457. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР.
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4.

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии ЦК КП Белоруссии на книжной фабрике им. М. В. Фрунзе, Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении направлять по адреси:
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»

1р. 20к.